ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Столетие

1859—1959

со дня рождения



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в шести томах

Редакционная коллегия:
М. С. БЕЛЕНЬКИЙ, Вс. В. ИВАНОВ, Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

РАССКАЗЫ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Составитель тома
Р. РУБИНА

Перевод с еврейского

Оформление художника
Г. А. КРАВЦОВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАССКАЗЫ

Записки коммивояжера

К ЧИТАТЕЛЯМ

Я — путешественник. Почти одиннадцать месяцев в году я в дороге. Еду большей частью поездом, почти всегда третьим классом и, по обыкновению, посещаю еврейские города и местечки. Где евреям жить запрещено *, мне делать нечего.

О боже, чего только не насмотришься в пути! Жаль, что я не писатель. Хотя, если хорошенько поразмыслить, чем я не писатель?.. Собственно, что такое писатель? Каждый человек может быть писателем, тем более еврейским. «Жаргон» — тоже мне дело! * Бери перо и пиши!

Но, с другой стороны, не всякий должен браться за перо. Каждый должен держаться своего дела: заработок есть заработок. Так я думаю. Вот когда делать нечего, тогда и это — занятие.

Мне, как путешественнику, частенько приходится в дороге сидеть без дела, — палец о палец не ударишь; хоть головой о стенку бейся. Вот я и надумал: купил себе чистую конторскую книгу и карандаш и все, что вижу и слышу в дороге, заношу туда. Так вот у меня и скопилось, не сглазить бы, порядочно материала. Наверно, хватит на целый год читать. И тогда я стал размышлять: что мне со всем этим делать? Выбросить? Жалко. Почему бы не издать это книгой

или не напечатать в газете? Дай мне бог столько счастья, сколько печатают рассказов похуже моих.

И вот я засел, разложил свой товар по образцам, «брак» вышвырнул, оставил только лучшее, — первый сорт, «экстра», — разделил все это на отдельные рассказы: рассказ № 1, рассказ № 2 и так далее. Каждому рассказу дал свое название, все честь честью, как подобает купцу. Не знаю, то ли заработаю на этом деле, то ли, потеряю, шею сверну себе. Дай бог хоть свое выручить!..

Спрашивается, зачем мне вся эта затея? Не знаю. Ничего не могу сказать. Очень может быть, что все это глупости. Но сделано — пропало. От одного я себя оградил — от критики: скрыл имя своей фирмы. Черта с два они обнаружат, кто я такой. Пусть критикуют, пусть смеются, пусть хоть на стену лезут — боюсь я их, как Аман, трещотки *. Я не сочинитель, не меламед *, не батлен * — я купец.

Некий коммивояжер

РАССКАЗ № 1

«Конкуренты»

Всякий раз в самое горячее время, когда люди мечутся — кто туда, кто сюда, а в вагоне идет борьба из-за мест, как — не будь рядом помянута! — в синагоге в большие праздники, — как раз в это время появляются они оба: «он» и «она».

«Он» — черный, толстый, взлохмаченный, с бельмом на глазу. «Она» — краснощекая, тощая и рябая. Оба — оборванные, обшарпанные, оба в заплатанной обуви и оба с одним и тем же товаром: он с корзиной и она с корзиной. У него — витые булки, яйца вкрутую, бутылки с сельтерской водой и апельсины, и у нее — те же булки, яйца, бутылки и апельсины.

Бывает иной раз, что у него в корзине — фунтики с вишнями, с черной черешней или с зеленым, кислым, как уксус, виноградом. Тогда и она является с теми же вишнями, черешнями или виноградом.

И оба они всегда приходят одновременно, ломятся в одну и ту же вагонную дверь и говорят на одном и том же языке, но по-разному выговаривая. Он немного картавит, не выговаривает буквы «р», мямлит, словно языком не ворочает, она шепелявит, а язык — будто весь рот занимает.

Вы, может быть, думаете, что они сбивают друг другу цены, конкурируют, соперничают? Упаси бог!

Цены у них обоих одни и те же, и конкуренция между ними состоит только в том, что каждый старается вызвать к себе больше сочувствия. Оба умоляют вас сжалиться над их пятью детьми-сиротами (у него пятеро детей-сирот и у нее пятеро детей-сирот). Оба они заглядывают вам в глаза, суют свой товар прямо в лицо и уговаривают до тех пор, пока вы — нужно вам или не нужно — обязательно что-нибудь купите.

Правда, от этих речей, плача и упрашиваний вы малость дуреете. Не знаете, у кого покупать: у него или у нее? И вы, конечно, решаете никого не обижать, то есть купить у обоих. Но они не согласны.

— Покупаете — покупайте у одного... На двух свадьбах сразу не пляшут.

Вы хотите поступить по справедливости, купить раз у него, а в другой раз у нее, — но за это вас обругают на все корки:

— Милостивый государь! Чем это я вам сегодня не понравилась?

Или так:

— Уважаемый! На прошлой неделе вы покупали у меня и, кажется, не отравились и не подавились?..

Тогда вы впадаете в тон моралиста и начинаете поучать: у того, мол, тоже душа, тому тоже надо жить, как немцы говорят: «Жить и давать жить другому»... На это вы получаете ответ — не по-немецки, а на простом еврейском языке, несколько, правда, иносказательно, но вполне понятно:

— Дяденька! С одной «извините за выражение» на две ярмарки сразу не ездят...

Так-то, друг мой! Всему свету угодить не пытайтесь, это вам никогда не удастся, а вздумаете за справедливость ратовать — боком выйдет. Я знаю это по собственному опыту. Я мог бы рассказать вам интересную историю о том, как я однажды дурака свалял, собрался помирить мужа с женой, а кончилось это тем, что мне основательно влетело от моей собственной жены. Однако я боюсь смешать одну историю с другой, чтобы не отвлечься в сторону, хотя на деле случается и так, что предлагаешь что-нибудь

одно, а несешь при этом такую околесицу несусветную... В общем, возвращаюсь к нашей истории.

Было это осенью, в дождливый день. Небо плакало, на земле — мрак и унынье, а на станции полно людей. Пассажиры входят и выходят. Все бегут, толкаются, а наш брат, как водится, больше всех. Торопятся, лезут один через другого с чемоданами, узлами и постелью. Шум, гам, гомон! И в самой гуще — он и она. Оба нагружены всякой снедью, как обычно; оба лезут в одну дверь, как всегда. И вдруг... Что случилось? Обе корзины на земле, булки, яйца, бутылки с сельтерской и апельсины валяются в грязи, а в воздухе — крики, визг, слезы и проклятия сливаются с хохотом кондукторов и голосами пассажиров. Звонок, свисток, еще минута — и мы едем.

В вагоне — разговор, люди судачат все сразу, как женщины в молельне или как гуси на ярмарке... Трудно уловить, в чем суть разговора. Прорываются лишь отдельные фразы:

— Урожай на плетеные булочки...

— Разгром яиц...

— Чем ему не угодили апельсины?

— Что тут спрашивать? Жандарм!

— Во сколько вы оцениваете убытки?

— Поделом! Пусть не лезут, пусть не надоедают!

— А что же им делать? Люди ищут заработка!

— Ха-ха-ха! — доносится густой басовитый голос. — Еврейские заработки!

— Вот как? — слышится в ответ визгливый голосок. — Вы можете предложить лучшие? Давайте их сюда!

— Молодой человек! Я не к вам обращаюсь! — гремит бас.

— Не ко мне обращаетесь? А вот я обращаюсь к вам: вы можете предложить лучшие заработки? Ах, вы молчите! Почему же вы молчите?

— Чего от меня хочет этот молодой человек?

— Чего мне хотеть? Вы говорите: «Еврейские заработки», — я и спрашиваю: у вас есть лучшие? Давайте их сюда!

— Вот еще пристал! Скажите на милость!

— Тише! Тише! А вот и она.

— Кто?

— Да вот эта женщина, что с корзиной.

— Где она, эта красавица? Где?

— Да вот же, вот!

Конопатая, раскрасневшаяся, с глазами опухшими от плача, проталкивается она с пустой корзиной, ищет места, потом садится на опрокинутую корзину, прячет глаза в порванную шаль и потихоньку плачет.

В вагоне воцаряется тишина. Разговоры прекратились. Все словно лишились языка. И вдруг раздается густой бас:

— Чего же вы молчите, люди добрые?

— А чего нам кричать?

— Надо бы собрать сколько-нибудь.

Интересная история! Знаете, кто это говорит? Тот самый, что смеялся над еврейскими заработками. Странная личность в странном головном уборе — нечто вроде картуза с прямым глянцевитым козырьком. К тому же он носит синие очки, так что глаз не видать. Глаз нет, только нос торчит, мясистый, толстый, картошкой.

Недолго думая он срывает с головы свой картуз, первый бросает в него несколько серебряных монет и переходит от одного к другому, гремя своим басовитым голосом:

— Давайте, сколько кто может. Кто побольше, кто поменьше, — дарованному коню в зубы не смотрят!

Люди полезли в карманы, раскрыли кошельки, и в картуз посыпались монеты — серебряные и медные. Сидел среди пассажиров русский человек в больших сапогах, с серебряной цепочкой на шее. Он зевнул, перекрестился и тоже опустил монету. И только один пассажир отказался, ничего дать не пожелал. Как раз тот, что так яростно выступал в защиту «еврейских заработков», — молодой человек, интеллигент, с пухлыми щечками, рыжей бородкой клинышком и в золотом пенсне. Один из тех молодых людей, которые имеют богатых родителей, богатых тестя и тещу

и сами набиты деньгами, но едут в третьем классе, — так им жалко денег.

— Молодой человек, пожертвуйте сколько-нибудь! — обратился к нему тот, что в синих очках.

— Я не жертвую! — ответил интеллигент.

— Почему?

— Так. У меня такой принцип.

— Я так и знал.

— Откуда вы знали?

— Видать по щекам, что́ по вкусу зубам... Видно пана по халяве...

Интеллигент вспыхнул, даже пенсне уронил и налетел на очкастого с визгом:

— Вы игнорант! Грубиян! Невежа! Нахал! И наглец к тому же!

— Слава богу! Лишь бы не свинья! — произнес с самым добродушным видом бас и обратился к плачущей женщине с опухшими глазами: — Тетенька! Может быть, хватит плакать? Ведь вы же портите ваши прекрасные глаза! Подставляйте-ка пригоршни, получайте вашу мелочь!

Странная женщина! Я думал, что она, увидев столько денег, начнет рассыпаться в благодарностях и пожеланиях. Ничего подобного! Вместо добрых пожеланий посыпались из ее уст проклятья. Прямо-таки источник прорвало и забил фонтан ругани:

— А все он, свернуть бы ему себе шею, разбиться бы ему вдребезги на ровном месте, господи милосердный! Все из-за него, — прибрала бы его мать сыра-земля, отец-вседержитель! Не добраться бы ему живому до дому, погибель на него, холера, огонь, чума! Чтоб он распух! Чтоб он высох! Чтоб его скрючило!..

Господи, откуда у человека берется столько проклятий! Хорошо, что пассажир в синих очках перебил ее:

— Довольно благословений, сударыня! Скажите-ка лучше, за что к вам придрались кондуктора?

Женщина подняла на него свои опухшие глаза:

— Все из-за него, гром его разрази! Побоялся, что я перехвачу у него всех покупателей, полез первым

в вагон, я забежала вперед, а он ухватился и держит мою корзину... Я стала кричать, тогда подошел жандарм и мигнул кондукторам, а те взяли да и высыпали обе корзины в грязь, — засыпало бы его косточки песком, бог ты мой! Можете мне поверить, говорить бы мне так с тем, кто мне люб, — с тех пор как я торгую своим товаром и разъезжаю по этой линии, меня никто ни разу не тронул! А почему? Думаете, по доброте? Столько бы болячек ему, сколько пирожков и яиц приходится раздавать на станции! Всем, от самого младшего до самого старшего, надо глотку заткнуть. Наступает день, и начинается раздача: одному хворобу, другому лихоманку, третьему болячку. Старший кондуктор сам берет, что ему вздумается, а остальным надо раздать — кому пирог, кому яйцо, кому апельсин. Чего уж больше, — даже истопник, холера на него, — и тот не прочь закусить, — не то, пугает, он донесет жандарму... Не знает, ломота ему в кости, что и жандарм «подмазан». Тому каждое воскресенье преподносишь порцию апельсинов. Да и то он выбирает какие побольше, покрасивее да получше...

— Тетенька! — перебил ее тот, что в синих очках. — Насколько я понимаю, вы по вашим делам должны бы в золоте ходить.

— Что вы! — отвечает женщина, точно оправдываясь. — С трудом выручаешь то, что затрачено! А иной раз, случается, и докладывать приходится, разоряешься!

— Для чего же вам вся эта торговля?

— А что же мне делать? Воровать? У меня пятеро детей, пять холер ему в живот! И сама я больная, болеть бы ему в больнице от сегодняшнего дня и до будущей осени! Ведь он же все дело угробил, — самого бы его угробить! Такое дело, такое дело, такое выгодное дело!

— Выгодное дело?

— Золотое дело! Прибыльное! Прямо-таки хоть ложкой черпай!

— Позвольте-ка, тетенька, ведь вы же только что сказали, что это разорение!

— А что же это, по-вашему, прибыль, когда раздаешь больше половины бесплатно кондуктору и старшему кондуктору, а по воскресеньям — жандарму? Что у меня — неисчерпаемый источник? Колодец? Или деньги краденые?

Тот, что в синих очках, начинает терять терпение:

— У вас, тетенька, не разберешь: то лето, то зима!..

— А что я могу поделать? Разве я виновата? Все он, погубитель мой, погибели на него нет! Был всего-навсего портнягой, заплаты ставил, портачил и кое-как зарабатывал, как говорится, на воду к каше. Так нет же, позавидовал мне, увидал, чтоб ему повылазило, что я кормлюсь, червей бы ему кормить, и содержу при помощи этой корзины пятерых сирот... И вот, соль ему в глаза да камни на сердце, — пошел, душа из него вон, купил себе корзину, купить бы мне ему на саван, господи боже мой! Что это такое, спрашиваю? «Корзина» — отвечает. «А что ты, говорю, будешь делать с корзиной?»— «А то же, что и ты!»— «Что значит?» — спрашиваю. «А то и значит! — отвечает. — У меня тоже пятеро детей, которым кушать надо... Ты, говорит, их не прокормишь...»

Ну, что ты будешь делать? И вот так, как видите, он ходит следом за мной с корзиной, перетаскивает всех моих покупателей, таскали бы у него зубы изо рта, вырывает последний кусок, разорвало бы его в клочья, господи милосердный!

Пассажиру в синих очках приходит в голову удачная мысль, которая, собственно, и нам всем приходила на ум:

— Зачем же вам обоим топтаться на одном месте?

Женщина устремляет на него глаза:

— А что же нам делать?

— Поищите себе другое место. Линия велика.

— А он как же?

— Кто?

— Муж мой!

— Какой муж?

— Мой второй муж.

— Какой такой второй муж?

Красное конопатое лицо женщины еще пуще краснеет.

— Что значит, какой второй муж? Ведь он же, проклятый, и есть мой второй муж, — горе мне!

Все вскакивают с мест.

— Он, вот этот ваш конкурент, ваш второй муж?

— А что же вы думали? Первый? Э-хе-хе! Если бы мой первый муж, царство ему небесное, был жив!.. — протяжно и нараспев произносит женщина и, видимо, хочет начать рассказывать, кем и чем был ее первый муж.

Но кто станет слушать? Все говорят, шутят, острят и смеются, смеются, смеются!

Может быть, вы скажете, над чем тут смеяться?..

Конец рассказа № 1.

РАССКАЗ № 2

Самый счастливый человек в Кодне

— Знаете, когда приятней всего путешествовать в поезде? Осенью, примерно после праздника кущей *.

Не холодно и не жарко. Вы не видите ни заплаканного неба, ни лежащей в трауре омраченной земли. Капли дождя стучат в окно и скатываются вниз по запотевшему стеклу, точно слезы. А вы сидите, как барин, в вагоне третьего класса между такими же аристократами, как и вы сами, и время от времени поглядываете в окно. Вы видите, там вдалеке плетется возок, вязнет в грязи. На возке, согнувшись в три погибели и накрывшись мешком, сидит этакое божье создание и вымещает свою злобу на бедной лошадке, тоже божьем создании. И вы славите господа бога за то, что вы сами под крышей и среди живых людей... Не знаю, как вы, но я очень люблю ездить по железной дороге осенью, — примерно после праздника кущей.

Главное для меня — это место. Если я захватил место, к тому же с правой стороны у окна, я чувствую себя королем. Достанешь, это, портсигар, закуришь и, потягивая папиросу за папиросой, смотришь между тем, кто же едет с тобой, с кем тут можно перекинуться словцом о деле. Пассажиров, слава богу,

словно сельдей в бочке. Бороды, носы, шапки, животы — все как у людей. А человека нет. Но погодите, вон там в уголке в одиночестве сидит какое-то странное существо. Человек этот не походит на остальных. У меня на этот счет острый глаз. Необычного человека я среди сотни найду.

То есть на первый взгляд это заурядный человек, как у нас говорят: «обыкновенный еврей», — из тех, которых идет двенадцать на дюжину. Но одет он действительно странно: кафтан не кафтан, халат не халат; не то шапка на голове, не то ермолка, а в руках зонтик не зонтик, веник не веник. Странное облачение!

Но дело не в наряде, а в самом человеке. Человеку этому не сидится, — он ерзает, поглядывает по сторонам, а лицо у него сияет, прямо лучится радостью и счастьем.

Не иначе, человек выиграл в лотерее, либо дочку в добрый час замуж выдал, а может быть, сына в гимназию определил. Он поминутно вскакивает, смотрит в окно и говорит сам себе: «Станция? Нет еще!» Снова садится и с каждым разом все ближе ко мне, сияющий, веселый, счастливый.

Должен вам сказать, что я по натуре такой человек: не люблю, как иные, другому в душу влезать, выспрашивать — что да как. Я иду своим путем: *если у человека есть что-либо на душе, он сам это выложит.*

И действительно. Проехали мы две станции, и беспокойный человек подсел ко мне поближе, то есть весьма даже близко, — рот его очутился у самого моего носа.

— Куда едем?..

Однако по его вопросу, по почесыванию в голове, по всему его виду я понял, что ему не столь важно знать, куда я еду, сколько хочется рассказать, куда он сам направляется. И я сделал ему одолжение, ничего не ответил на его вопрос, но, в свою очередь, спросил его: «А вы куда?»

И пошло.

— Куда я еду? В Кодню. Слыхали про Кодню? Я тамошний, кодненский. Недалеко отсюда. Третья

остановка. Это значит, отсюда еще три станции... Ну да! А там в Коднгю надо еще часа полтора на лошадях добираться. Положим, это только говорится так — полтора, на самом деле это целых два, битых два часа с гаком, и то, если дорога хорошая и ехать в фаэтоне. Я уже заказал по телеграфу, послал депешу, чтобы выслали фаэтон на станцию. Для себя, думаете? Не беспокойтесь, я могу и шестым пассажирским на обыкновенной подводе прокатиться. А если нет, беру зонт в руку, узелок в другую и — наилучшим манером прямо в город пешечком. На фаэтоны, видите ли, нам не хватает. По моим замечательным делам мне можно было бы и вовсе дома сидеть. А? Что вы сказали?

Тут мой собеседник делает паузу, вздыхает, потом снова заговаривает, но уже потише, прямо в ухо мне, предварительно поглядев по сторонам, не подслушивает ли кто.

— Я не один... С профессором еду... Какое я имею отношение к профессору? А история такова. О Кашеваровке вы когда-нибудь слыхали? Местечко есть такое, Кашеваровкой называется. И вот живет там богатый еврей, выскочка, может слыхали, Бороденко, Ицик Бороденко. Как вам нравится эта фамилия? Настоящее русское прозвище! Но что из того, русское ли, еврейское ли имя — деньги-то у него! И много денег, очень много. Одним словом, у нас в Кодне этого человека оценивают в полмиллиона. А если вы будете сильно настаивать, я соглашусь, пожалуй, что он владеет и целым миллионом. Если же, извините, судить по его свинству, то он может владеть и двумя миллионами. Вот вам доказательство. Хотя я вижу вас первый раз, я все же понимаю, что ездите вы чаще моего. Так вот скажите мне по правде: слыхали вы когда-нибудь, чтобы этот Бороденко проявил себя как настоящий хороший еврей, пожертвовал бы крупно или еще что? У нас в Кодне об этом что-то не слыхивали пока. Впрочем, в господних стряпчих я не числюсь, а на чужой карман благодетелей много. Но я не говорю о благотворительности и пожертвованиях, я говорю о человеч-

ности. Господь тебе помог, ты так богат, что можешь себе позволить выписать профессора; что же приключится, если благодаря тебе еще кто-нибудь воспользуется этим случаем? Денег у тебя не просят, доброго слова только просят, чего же тебя черт мордует? Так вот послушайте...

Должно же ведь случиться такое! Проведали у нас в Кодне (у нас в Кодне все знают), что у кашеваровского богача, у этого самого Ицика Бороденко, о котором я вам рассказываю, заболела дочка. И чем бы, вы думаете, она заболела? Чепуха какая-то — любовь! Влюбилась она в русского парня, а парень отказался от нее, она и отравилась (у нас в Кодне все знают). Это случилось только вчера. Сейчас же помчались, приставили к ней профессора, самого известного профессора. Такому богачу разве трудно? Вот и мелькнула у меня мысль: ведь профессор-то не навсегда там останется, не сегодня, так завтра поедет обратно. А ехать ему обязательно мимо нашей станции, это значит — мимо Кодни. Почему бы ему не заскочить от поезда до поезда к нам, ко мне, значит? У меня, видите ли, не про вас будь сказано, ребенок слег. Что, вы думаете, у него? Я и сам не знаю. Внутри что-то неладно. Кашлять он, слава богу, не кашляет, сердце тоже не болит. Что же, однако, у него? Ни кровинки в лице и слаб, слаб, как муха... И все потому, что не ест. Ничего! Так-таки ничего. Ну, куска в рот не берет. Выпьет иногда стакан молока, да и то через силу; приходится упрашивать, чуть не плакать. А больше не ест ничего: ни ложки супу, ни крошки хлеба. О мясе и говорить нечего. Мясо он терпеть не может, прямо не переваривает... Началось у него это с того времени, когда кровь горлом пошла. Нынешним летом. Один раз, правда, но сильно. А больше, слава богу, не показывается. Но как он ослабел, вы и представить не можете, еле-еле на ногах держится. Шутка ли, человека лихорадит, как в огне горит. С самой пятидесятницы у него — тридцать девять и пять десятых, и ничем не поможешь! Не раз уже у доктора с ним бывал. Но что они знают, наши доктора? Побольше кушать,

говорят, да побольше воздуху. Но куда там кушать, когда о еде он и слышать не хочет. А воздух? Откуда у нас воздух? В Кодне воздух! Ха-ха! Славное местечко Кодня, настоящее еврейское местечко. Есть у нас, слава богу, евреи, есть синагога, молитвенный дом, раввин и все прочее. Только от двух вещей избавил нас бог: от заработков и от воздуха. Ну, о заработках нечего говорить. Зарабатываем мы, слава тебе господи, один у другого... А насчет воздуха... Если нам нужен воздух, мы отправляемся в помещичий «двор». Во «дворе», видите ли, воздуху действительно много. Раньше, когда Кодня принадлежала польским панам, нельзя было и носа сунуть во «двор». Паны и близко не подпускали. Не так паны, как панские псы. Но с тех пор как кодненский «двор» перешел в руки евреев, собаки перевелись, да и сам «двор» стал совсем другим. Приятно зайти туда. Теперь там тоже паны, помещики, но еврейские помещики... Говорят по-еврейски, как мы с вами. Придерживаются еврейских обычаев и уважают еврея. Одним словом, настоящие евреи. Не скажу, чтоб они были большие праведники. Слава богу, в синагогу к нам они не очень спешат. А в баню к нам — и подавно. Нарушить субботний закон они не особенно боятся. И зажарить цыпленка на коровьем масле — тоже для них грех небольшой. Ну, а стричь бороду, ходить с непокрытой головой* и тому подобное — тут уж и говорить не приходится: это теперь везде привычное дело. Даже у нас в Кодне водятся молодчики, которым шапка на голове тяжела... Да, Кодне нечего плакаться на своих помещиков. Наши еврейские паны хорошо обходятся с местечком, стараются показать себя с наилучшей стороны. К осени они пришлют сотню-другую мешков картофеля для бедных, зимою дадут соломы на топливо, перед пасхою — денег на мацу. Недавно они подарили кирпич для синагоги. А как же! Хорошо, благородно, честь честью, как и полагается. Кабы еще вот этого цыпленка в масле не было! Ох, уж этот цыпленок! Вы не подумайте, я их вовсе не хочу оговорить. Наоборот, я против них ничего не имею. Да и

они меня на котелок борща не обменяют. Ведь реб Алтер (это мое имя, меня зовут Алтер) у них, можно сказать, целая шишка. Как только у них какая нужда в городе — календарь, скажем, нужен к Новому году или маца к пасхе, вербы к празднику кущей и тому подобные вещи, необходимые в обиходе у евреев, так сразу посылают за реб Алтером. И у жены моей в лавочке (моя жена содержит лавочку) они на большие деньги покупают: соль берут, перец, спички, всякую всячину. Это сами помещики! А их дети, студенты, — эти души не чают в моем сыне. Приедут на лето из Петербурга и давай обучать «моего» всему; сидят с ним целые дни над книжками. А «мой» за книжку, надо вам сказать, жизнь отдаст, отца с матерью не пожалеет. Боюсь сказать, но мне кажется, что книжка его и погубила. От книжки-то все несчастье и пошло... Жена, положим, уверяет, что это у него от призыва *. Но при чем тут призыв? О призыве мы уже давно и думать забыли. Ну да ладно, как бы там ни было, книги ли, призыв ли, — а сын мой лежит и чахнет, избави бог всякого, тает, бедный, как свечка. Ах, смилостивился бы господь!..

На минуту его сияющее лицо как бы заволокла тучка, но не больше чем на одну минуту. Вскоре выглянуло солнышко, прогнало тучку, и вновь засияло лицо, зажглись глаза, заулыбался рот. И вот он уже снова рассказывает:

— Итак, на чем мы остановились? Да! И вот я поразмыслил — дай-ка слетаю в Кашеваровку, к Ицику Бороденко, к богачу этому. Понятно, я пустился в дорогу не просто так, с пустыми руками, как говорится. Понимаете, письмом я запасся, письмом. От раввина нашего (коднeнский раввин славится далеко!). Письмо замечательное! «Так как господь бог благословил дом ваш достатком, и вы в состоянии выписать себе профессора, и так как у нашего реб Алтера, не приведи господи, сын лежит на смертном одре, то не пробудится ли в сердце вашем искра милосердия, не снизойдете ли вы с высот вашего благополучия и не войдете ли в его положение; может быть, вам удастся добиться у профессора, чтобы он на об-

ратном пути, — ведь он все равно проезжает мимо Кодни, — заехал бы к нам хотя бы на четверть часа, от поезда до поезда, осмотреть больного. За каковую милость господь благословит вас...» Ну и так далее. Замечательное письмо!

Внезапно донесся гудок, и мы остановились. Мой спутник сорвался с места:

— Ага! Станция! Я заскочу в первый класс только на минутку. Взгляну лишь на моего профессора и вернусь, тогда уж и кончу свой рассказ.

Возвратился мой спутник еще более сияющий. Я бы сказал, если можно так выразиться, что божья благодать покоилась на нем. Нагнувшись, он тихо прошептал мне на ухо, точно боясь кого разбудить:

— Спит мой профессор. Дай бог, чтобы он хорошо выспался, чтобы со свежей головой приехал к нам... Одним словом, на чем же мы остановились, — на Кашеваровке?

Приезжаю, значит, в Кашеваровку и направляюсь прямо к дому, звоню у двери раз, другой, третий. И вот высовывается какая-то морда, откормленная, скобленая, облизывается, как кот, и спрашивает по-русски: «Что надо?» А я по-еврейски: «Значит, надо. Если бы не «надо», я бы не притащился сюда аж из Кодни». Он слушает меня, жует, облизывается и мотает головой. «Наши сейчас не принимают. У них профессор...» — «Это-то и хорошо, что у них профессор, говорю, ради этого профессора я сюда и приехал». А он мне говорит: «Какие у вас дела с профессором?..» Поди расскажи ему! Тогда я подаю ему письмо: «Хорошо, говорю, тебе разглагольствовать там, по ту сторону двери, а каково мне здесь, под дождем? Вот этот документ, говорю, передай, будь добр, сейчас же хозяину, в собственные руки». И вот я остаюсь на улице, жду, когда меня позовут. Жду полчаса, час, жду два. Дождь льет как из ведра. Меня не зовут. Мне становится обидно. Не столько за себя, сколько за нашего раввина. Ведь письмо-то не от мальчишки какого-нибудь, как-никак пишет раввин (родненский раввин славится далеко!)... Я дергаю звонок еще и еще раз. Выскакивает та же самая

рожа, рассвирепела, кричит: «Это нахальство так трезвонить!» — «Это нахальство, — говорю я, — заставлять человека стоять два часа под дождем». И подвигаюсь к двери, хочу войти. Куда там! Как хлопнет дверью перед самым моим носом — и делу конец. Что же все-таки предпринять? Невесело как-то. Ехать обратно ни с чем очень уж неприятно. Во-первых, самому за себя стыдно. Ведь я какой-никакой, а все же хозяин в Кодне, не нищий... А потом душа болит: бедное дитя мое...

Но всемогущ бог в небесах. Гляжу — подъезжает карета, запряженная четверкой, и прямо к крыльцу. Я к кучеру: «Что за карета, чьи лошади?» Узнаю, карета Бороденко, и лошади Бороденко. Для профессора. На станцию повезут. «Если так, думаю, значит хорошо. Замечательно!» Не успеваю оглянуться, как открывается дверь и появляется он сам, профессор, махонький, старенький, с лицом — ну, как бы вам сказать — ангела, небесного ангела. Провожает его сам богач Ицик Бороденко, кстати без шапки. А совсем позади то самое существо с бритой мордой несет чемоданчик профессора. Посмотрели бы вы на богача, чуть ли не миллионера! Да простит меня господь за эти речи! Пиджак на нем из обыкновенной диагонали, такие и у нас в Кодне носят, руки он держит в карманах и смотрит куда-то в сторону, косит. Я стою и думаю: «Владыка небесный! Вот у этого создания — миллионы!» Но пойди потолкуй с богом! Увидел меня миллионер и давай шпынять косыми глазами. Затем спрашивает: «Что вам нужно?» — «Так, мол, и так, говорю, это я вам привез письмо от раввина». А он мне: «От какого раввина?!» Как вам это нравится, он уже не знает, от какого раввина. «От кодненского раввина, говорю. Я и сам тамошний, из Кодни, значит. Я специально приехал к господину профессору — просить, не потрудится ли он заехать к нам в Кодню, от поезда до поезда, и всего-то на четверть часа, к моему сыну? У меня дитя, не приведи господи, при смерти». Вот так прямо и сказал ему. Я ни капельки не преувеличиваю, ни на волос! На что я рассчитывал? Думаю: «Человека

постигло несчастье — дочка отравилась. Авось, думаю, смягчится у него сердце, пожалеет бедняка отца...» Ничего подобного! Не сказал и полуслова в ответ. Только взглянул косыми глазами на краснорожего детину, как бы говоря: «Убрал бы ты с дороги этого еврея». А профессор мой тем временем забрался с чемоданчиком в карету. Еще минута — и прощай, профессор! Что же делать? Вижу, вся игра к дьяволу, решаюсь: эх, была не была!.. Нужно спасти дитя! Набрался смелости и бух — прямо лошадям под копыта. Чтобы очень хорошо было лежать под копытами — этого сказать не могу. Не помню, долго ли мне пришлось так лежать, и лежал ли я вообще. Может быть, и не лежал. Знаю лишь, что длилось это не дольше мгновенья, в какое я рассказывал вам об этом, а старичок профессор уже стоит надо мной: «Что такое?» Потом: «Голубчик!..» — чтоб я ему, значит, все рассказал, выложил без всякого стеснения и боязни, чего я, собственно, хочу. Богач стоит в стороне и разглядывает меня своими косыми глазами, а я говорю. Вы должны знать, что я далеко не мастер говорить по-русски. Но на этот раз господь помог мне, и я заговорил. Я ему все рассказал, выложил все, что было на душе. «Так и так, господин профессор, может быть, суждено, чтобы вы были посланцем неба и спасли мое дитя, моего сына, единственного из шести, оставшегося у меня на долгие годы... И если, — говорю я, — это должно стоить денег, то, пожалуйста, у меня есть целая четвертная, двадцать пять рублей. Не мои, боже упаси! Откуда у меня такие деньги? Четвертная эта моей жены. Она собиралась съездить в город за товаром. Но бог с ней, с четвертной, и со всей лавочкой жениной, только бы дитя спасти!» Говорю вот так и расстегиваю кафтан, хочу достать свои двадцать пять рублей. Но старичок профессор кладет мне руку на плечо: «Ничего!» — и велит мне лезть в карету. Чтоб я так увидел своего сына здоровым, как говорю вам правду! Ну вот я вас спрашиваю: стоит ли Ицик Бороденко и мизинца моего профессора? Ведь чуть не зарезал меня без ножа этот Бороденко! Хорошо, что все обошлось

благополучно. А если бы, не дай бог, наоборот? Что тогда? А?..

В вагоне вдруг засуетились, и мой собеседник кинулся к кондуктору:

— Кодня?

— Кодня.

— Будьте здоровы! Счастливого пути! Прошу вас, никому не говорите, с кем я еду. Я не хочу, чтобы у нас в Кодне знали, что я привез профессора. Все сбегутся.

Так сказал мне по секрету мой спутник и, пожав мне руку, исчез.

Через несколько минут, когда поезд уже тронулся, я увидел в окно: от станции, покачиваясь, отъезжает старый тарантасик, запряженный парой облезлых, угрюмых серых лошадок. В тарантасике сидит маленький, старенький человек, в очках, с юношескими красными щечками и седой бородкой. Против него в фаэтоне сидит мой знакомец, вернее висит, точно на ниточке, подпрыгивает на ухабах и заглядывает старичку в глаза, а лицо у него сияет, и глаза вот-вот выпрыгнут от радости.

Жаль, что я не фотограф и не везу с собой фотографического аппарата. Следовало бы запечатлеть моего знакомца в это мгновенье. Пусть все знают, что такое счастливый человек — самый счастливый человек в Кодне.

Конец рассказа № 2.

РАССКАЗ № 3

Станция Барановичи

На этот раз нас было десятка два — не больше, и сидели мы в вагоне третьего класса, можно сказать, довольно просторно. Собственно, сидели только те, кто вовремя захватил место. Остальные стояли, пристроившись в проходах. Но все же и они принимали участие в беседе наравне с сидящими. А беседа шла у нас весьма оживленная. Все говорили. Все разом, по обыкновению.

Было утро. Народ выспался, помолился, перекусил, чем пришлось, накурился досыта, был в прекрасном настроении и расположен к разговорам. О чем? О чем угодно. Каждому хотелось рассказать что-нибудь свеженькое, животрепещущее, такое, чтобы дух захватывало и приковало бы слушателя. Никому, однако, не удавалось задержать внимание пассажиров на чем-либо одном. Каждую минуту перескакивали на другую тему. Вот как будто заговорили об урожае, — пшеница и овес нынче уродились, — а вот уже толкуют о войне (какая связь?). Не задержались на войне и пяти минут и тут же метнулись к революции. От революции кинулись к конституции, а от конституции, само собой, перешли к погромам, изуверствам, новым преследованиям евреев, изгнании из деревень, бегству в Америку и всяким иным напастям, которых

вдоволь наслышишься в нынешние замечательные времена: банкротства, экспроприации, военное положение, виселицы, голод, холера, Пуришкевич *, Азеф... *

— Азеф!

Один произнес это имя, другой подхватил, и весь вагон всполошился: «Азеф!» Снова «Азеф», еще раз «Азеф» и опять «Азеф»!

— Извините, но вы все, с позволения сказать, ослы. Что творится? Ажеф! Тьфу! Целый тарарам! Что такое Ажеф? Ничто, бездельник, паршивец, доносчик, ноль, ничтожество из ничтожеств. Попросите меня хорошенько, и я расскажу вам об одном доносчике из наших же, каменковских, и, уж не беспокойтесь, вы сами скажете, что Ажеф против него щенок.

Так заговорил один из пассажиров без места, который нависал прямо над нами, держась за полки.

Задрав голову, я вскинул глаза и увидел упитанного человека в шелковой субботней каскетке. У него было красное веснушчатое лицо и смеющиеся глаза, а спереди недоставало зубов, самых передних, отчего буквы «з», «с» и «ц» он произносил с присвистом, и Азеф получался у него как Ажеф.

Мне сразу понравился этот господин. Пришлись по душе его развязность, его язычок и даже то, что он назвал нас ослами. Люблю, завидую такому человеку.

Получив неожиданно аттестацию ослов, пассажиры на мгновенье опешили, точно их окатили ушатом холодной воды. Вскоре, однако, они пришли в себя и, переглядываясь, заявили каменковскому:

— Хотите, чтоб мы вас просили? Что ж, просим. Расскажите! Послушаем, что такое произошло у вас в Каменке... Отчего вы, однако, стоите? Почему не сядете? Негде, говорите? Люди, потеснитесь! Выкроим местечко! Сделайте одолжение!

Пассажиры, и до того сидевшие довольно тесно, сдвинулись плотней и высвободили для каменковца место.

Человек расположился довольно свободно (вроде приемного отца на обрезании, когда вносят ребенка),

сдвинул каскетку на затылок, подвернул рукава и непринужденно начал:

— Слушайте же, мои дорогие! То, что я вам расскажу, да будет вам известно, не вымысел, который вычитаешь из книжки, и не сказка из «Тысячи и одной ночи». Это истинное происшествие, которое имело место у нас, в нашей Каменке. Мой отец, царство ему небесное, говорил, что сам он не однажды слышал, как историю эту рассказывал его отец. Событие это было как будто описано даже в книге записей нашей общины, однако книга эта давно сгорела. Можете, конечно, смеяться, но, уверяю вас, очень, очень жалко, что она погибла. Там, говорят, было немало занимательных историй, получше тех, которые печатаются в нынешних газетах и книжках.

Короче говоря, это было в царствование Николая Первого, во времена экзекуций. Что вы усмехаетесь? Наверно, не знаете, что такое экзекуция? Экзекуция, видите ли, такое наказание, когда прогоняют сквозь строй. Что такое сквозь строй тоже не знаете? Стало быть, надо и это объяснить. Представьте себе — в два ряда выстроились солдаты с железными прутьями, а вы прогуливаетесь между ними раз двадцать туда и обратно, извините, нагишом, в чем мать родила, и с вами проделывают то, что учитель проделывал в хедере*, когда вы ленились учиться. Надеюсь, вам уже ясно, что такое прогнать сквозь строй? А теперь слушайте дальше!

И был день... Приходит от губернатора приказ, — губернатором был тогда Васильчиков, — подвергнуть экзекуции некоего Кивку. Кто был этот Кивка и в чем он провинился, я вам не скажу, кажется, был он шинкарем. Неприглядный человечек, к тому же засидевшийся холостяк. И должно же было ему взбрести в голову разговориться в шинке как раз в воскресенье о вере. «Наш бог, ваш бог...» Слово за слово — и вот уже вызвали старосту, пристава и, как полагается, составили протокол. Возьми же, шинкарь ты этакий, поставь ведро водки — и протоколу конец! «Нет, — говорит он. — Кивка свои слова обратно не берет». На горе себе он был еще и упрямец. На что ж

он надеялся? Думал, оштрафуют на трешку, и будь здоров. Кто мог ожидать, что вынесут такой приговор? Чтоб за глупое слово человека прогнали сквозь строй! Одним словом, схватили нашего молодца и, не извольте беспокоиться, тут же посадили в тюрьму; это значит, до той поры, когда ему, извините, устроят весь парад, как бог велел, всыплют двадцать пять горячих.

Ну, ладно! Вы, конечно, понимаете, что творилось у нас в Каменке, когда люди услышали все это. И в какой, думаете, день стряслась беда? Как раз в ночь под субботу. Только встали утром, явились в синагогу, а там вопят: «Кивку арестовали!»— «Присудили к экзекуции!» — «За что? Почему?» — «За глупость! За слово!» — «Навет». — «Какой там навет?» — «У человека длинный язык». — «Восемнадцать раз длинный язык, но, подумайте,— экзекуция!»— «Как можно допустить, чтобы гнали сквозь строй?!» — «Нашего, каменковского?»

Всю субботу до самого вечера кипело как в котле. А вечером, едва прочитали молитву прощания с субботой, ввалились с воплями к моему дедушке (его звали Нисн Шапиро):

— Что же это вы, реб Нисн, молчите? Как можете допустить, чтобы пороли нашего, каменковского?!

Вы, конечно, спросите, почему прибежали именно к моему деду? А потому что дедушка, — да будет ему земля пухом! — был, говорю это без бахвальства, самый замечательный, самый богатый, самый знатный человек в городе и к тому же настоящая голова и уважаем начальством. Выслушав эти крики, он несколько раз прошелся по комнате (у него была привычка, как рассказывал покойный отец, во время раздумья шагать по комнате взад-вперед), затем остановился и сказал:

— Дети мои, идите домой и не печальтесь! Бог даст, все обойдется. Не было в Каменке поротых до сих пор, с божьей помощью не будет и дальше.

Вот так им мой покойный дедушка ответил. А в городе знали — раз реб Нисн Шапиро сказал, значит кончено. Переспросить у него — как, да что,

да когда? — неудобно. Не любил он этого. Богатый человек, понимаете ли, вхож к начальству и к тому ж голова, — к такому люди всегда почтение имеют.

И что ж вы думаете? Как дедушка сказал, так оно и было. Вот послушайте дальше.

Заметив, что люди в вагоне захвачены рассказом и готовы его слушать, каменковский пассажир умолк, вынул из кармана большой портабак и не спеша скрутил папиросу. Несколько человек разом кинулись к нему со спичкой. Вот какое уважение он завоевал в вагоне! Прикурив, затем как следует затянувшись, каменковский с новыми силами принялся за свой рассказ:

— Теперь послушайте, что может сделать мудрый человек. Я говорю о дедушке, да будет благословенна память праведника! Он обмозговал все как полагается и сотворил эдакий пустяк: договорился с начальством, чтобы заключенный Кивка на минуточку помер в тюрьме. Что вы уставились? Не понимаете? Может, думаете, что его, упаси бог, там отравили? Не беспокойтесь, у нас не травят. В чем же штука? Все было сработано гораздо тоньше. Сделали так, чтобы заключенный лег спать в полном здравии, а встал утром мертвым. Теперь разжевали? Или вам еще нужно сунуть палец в рот, чтоб вы его откусили?

Так оно и свершилось.

Однажды утром приходит к дедушке посланец из тюрьмы с бумагой: так как этой ночью в тюрьме умер еврей по имени Кивка, а мой дедушка самый почтенный горожанин и староста погребального братства, то ему следует позаботиться, чтобы труп убрали и погребли по еврейскому обряду...

Что скажете про такую работку?! Не правда ли, хорошо? Но погодите радоваться. Не так скоро дело делается, как сказывается. Не забудьте, что здесь не просто умер еврей; здесь замешаны блестящие пуговицы... губернатор... экзекуция!.. Шутка сказать?!

Перво-наперво надо было добиться, чтобы не производили вскрытия. Пришлось обратиться к доктору, просить у него бумагу за подписью и печатью о том, что он обследовал умершего тотчас после кончины и

нашел, что покойник умер от разрыва сердца или, как говорят, от апоплексии, не про вас будь сказано. Договорились и с остальным начальством, чтобы они поставили свои подписи на бумаге. И делу конец. Нету Кивки! Помер Кивка!

Ну, ладно. Во что это влетело городу, желаю всем присутствующим здесь так зарабатывать каждый месяц. Если боитесь рискнуть, готов войти в компанию. И кто все это сотворил? Дедушка, царство ему небесное. На моего дедушку можно было положиться. Обделал он дело гладко, кругло, умно, с большим искусством... В тот же день, под вечер, в тюрьму явились служки погребального братства, честь честью обрядили умершего и с помпой понесли покойничка на кладбище — два конвойных сопровождали носилки, а позади шествовал весь город. Да что и говорить! Кивка никогда и не мечтал о таких похоронах. А когда подошли к кладбищенским воротам, солдат как следует угостили водкой, а покойника внесли за ограду. Там уже стоял наготове возница Шимн (это имя называл покойный отец) с четверкой добрых коняк. И раньше, чем петух прокукарекал, наш покойник был далеко за рогаткой, а там, в добрый час, покатил в Радзивилл, оттуда через границу и — тютю! — в самые Броды.

Это уж вы, конечно, понимаете — пока Шимн-возница не вернулся из Радзивилла, город глаз не сомкнул, люди потеряли головы. И больше всех волновался дедушка. Мало ли что бывает! А вдруг покойничка на границе схватят да доставят в полном здравии, тогда ведь целый город в Сибирь пойдет. Зато, когда Шимн вернулся из Радзивилла на своих лошадках и привез собственноручную записку Кивки: «Имею честь уведомить, что я в Бродах», — в городке было настоящее ликование. Закатили пир, опять-таки в доме у дедушки, и пригласили пристава, смотрителя тюрьмы, доктора и все прочее начальство. Играла музыка, гуляли вовсю. Напились так, что смотритель тюрьмы лобызался с дедом и со всей его родней раз по десять. Пристав уже под утро отплясывал у деда на крыше, простите, в одном исподнем. Шутка сказать,

вызволили живую душу из заточения! Спасли человека от порки!

Хорошо ведь, не правда ли? Однако не спешите, дорогие, — здесь только и начинается настоящая заварушка. Если хотите дослушать — прошу чуть потерпеть, я на минутку соскочу на этой станции и поговорю с начальником, пусть толком объяснит — далеко ли еще до Барановичей. Еду я, собственно, дальше, но в Барановичах у меня пересадка...

Что поделаешь — приходится потерпеть. Каменковский пассажир пошел разговаривать с начальником станции, а люди в вагоне стали обмениваться мнениями о нем и о его истории.

— Как он вам нравится?

— Славный человек.

— Толковый.

— И наговорит с три короба.

— Да, языкатый.

— А его рассказ?

— Хорош рассказ...

— Да короток...

Нашлись люди, которые заявили, будто у них случилось такое же происшествие, то есть не совсем такое, но очень схожее. А так как каждому хотелось рассказать, какое именно происшествие у них случилось, в вагоне стало как на ярмарке. Это длилось до тех пор, пока не явился каменковский. Как только он вошел, все сразу стихли, сгрудились вокруг него и давай слушать дальше.

— На чем же мы остановились? Ага, стало быть, погубили, с божьей помощью, еврея по имени Кивка. Так ведь, не правда ли? Ошибаетесь, дорогие. Прошло полгода, а может, год, не скажу точно, — присылает наш Кивка письмецо, опять-таки на имя дедушки: «Во-первых, имею честь уведомить, что я, слава создателю, здоров, дай бог слышать от вас то же. Во-вторых, я остался без гроша за душой и без работы в чужом краю, среди немцев. Они не понимают моего языка, я не понимаю их речи. А заработать негде, хоть ложись и помирай. Посему прошу выслать...» Каков умник! Вышли ему денег! Посмея-

лись, посмеялись, порвали письмо в клочки и про все забыли. Не прошло, однако, и трех недель, как от покойника прилетело новое письмецо, — и снова в адрес деда, и снова: «Имею честь уведомить...» и «...прошу выслать...» На этот раз «прошу выслать...» сопровождалось целым рядом претензий: «Что ж это вы сотворили со мной? Лучше б уж меня выпороли! Раны давно зажили бы, и я остался бы при своем деле, и не ходил бы без дела среди немцев, и не пухнул бы с голоду».

Получив такое послание, дедушка созвал к себе горожан: «Что делать? Человек с голоду помирает. Надо что-нибудь послать». Ну, раз реб Нисн Шапиро предлагает — нельзя быть свиньей. Сложились чин чином (больше всех дал, понятно, дедушка), выслали немного денег и тут же забыли, что был еврей по имени Кивка.

Но Кивка не забыл, что существует город по названию Каменка. Минуло еще полгода или год, не скажу точно, и снова прибыло письмо, — и вновь на дедушкино имя, и снова: «Имею честь уведомить...» и «прошу выслать...» А просьба сопровождалась радостной вестью: «Поелику, — писал он, — я недавно стал женихом и беру славную невесту, благовоспитанную, из хорошей семьи, прошу выслать... То есть пришлите вы мне двести крон, которые я обещал в приданое. В противном случае свадьба расстроится». Что вы скажете на этакое горе? Кивка, упаси бог, останется без невесты! Что и говорить! С письмом носились по Каменке как с чем-то путным, и люди хохотали до упаду, до колик в боку. Город потешался и острил: «Поздравляем! Кивка женится!», «Слыхали? Двести крон приданого!», «Благовоспитанная девица! Ха-ха-ха».

Однако это «ха-ха-ха» недолго длилось. Недели через две от Кивки прибыло новое письмо и опять на имя дедушки. Теперь здесь не было: «Имею честь уведомить», а только: «Прошу выслать». «Меня удивляет, — писал он, — что до сих пор мне не выслали двести крон, которые я обещал. Если немедленно не вышлют деньги, свадьбе не бывать, а мне, чтобы из-

бежать позора, останется только либо головой в воду, либо с одним кнутовищем вернуться в Каменку...»

Последнее здорово шибануло в нос, и в городе перестали смеяться. В тот же вечер у дедушки состоялось совещание самых состоятельных людей. Порешили так: несколько почтенных горожан, среди них, конечно, и дедушка, возьмут платочек в руки и отправятся собирать приданое для Кивки. Куда деваться? Пришлось к тому же написать жениху и поздравление, пожелать, чтобы все у него свершилось в добрый час, чтобы он состарился со своей супругой в богатстве и чести, чтобы дождался внуков и правнуков. Все честь честью. На что же город надеялся? Женится — остепенится; заморочит ему все это голову, и он волей-неволей забудет, что существует на свете Каменка. Однако не тут-то было. Не прошло и полугода или года, не скажу вам точно, и снова от него письмо. Что там еще? «Женился я, — пишет он, — удачно, бог послал женушку, дай бог каждому. Чего же еще? Но все хорошо не бывает. Отец у нее — пропасть бы ему! — обманщик, плут, мошенник, форменный бандит. Выманил у меня двести крон и выгнал с женой на улицу. Посему, — пишет он, — прошу выслать, то есть нужны немедленно другие двести крон, иначе остается только живым в реку или вернуться домой с одним кнутовищем».

Это уж возмутило город не на шутку. Два раза приданое! Похоже на подлость. И порешили на письмо ничего не отвечать.

Подождал Кивка две-три недели и вновь прислал письмо на имя дедушки:

«Так, мол, и так. Что у вас там думают? Почему не высылают двести крон? Я буду ждать не больше полутора недель, и, если за это время мне не вышлют денег, пусть Каменка готовится встречать гостя». А в конце еще прибавил: «Аминь». Вот бездельник!

Как вы понимаете, это уж привело всех в ярость. Но что станешь делать? Снова собрались у дедушки, и снова самые почтенные горожане пошли с платочком по городу. Люди, конечно, мялись, давали для подлеца неохотно. Но как тут откажешь? Раз реб

Нисн Шапиро предлагает дать, нельзя быть свиньей. Все же каждый заявил, что дает в последний раз. Да и дедушка предполагал, что это уже последний раз. Так он ему и написал, Кивке, — твердо, непреклонно: посылаем, мол, в последний раз, и чтобы больше о деньгах не смел заикаться. Но как вы думаете, здорово испугался этого наш жулик?!

Однажды, под какой-то праздник, от молодца опять пришло письмо и, конечно, в адрес дедушки. Что теперь?

«Поелику, — пишет он, — я повстречался в Бродах с весьма порядочным и честным немцем и порешил в компании с ним открыть торговлю фаянсом, а дело это верное, настоящее дело и может давать приличный доход, прошу выслать, то есть отправьте мне четыреста пятьдесят крон. Шлите немедленно, не откладывайте, так как компаньон не хочет ждать. У него, говорит, найдется еще десяток таких, как я. А если я не вступлю в дело, то останусь ни при чем, а тогда придется мне только головой в реку или вернуться домой с одним кнутовищем». Старая погудка!

Письмо заканчивалось таким намеком: если в течение двух недель не вышлют четыреста пятьдесят крон, это обойдется городу дороже, так как придется еще оплатить расходы по его поездке из Брод в Каменку и обратно. Вот негодяй!

Нужно ли рассказывать, какой это был мрачный праздник для города, и в особенности для дедушки? Покойному, как вы понимаете, досталось сполна. Когда после праздника вновь стали совещаться, люди недовольно ворчали:

«Хватит! До каких пор будет он из нас деньги тянуть? Все должно быть в меру. Даже кушать пельмени и то надоест. Ваш Кивка сделает нас нищими!» — «Почему мой Кивка?» — спросил дедушка. «А чей же? — ответили ему. — Кто это постарался, чтобы выродок этот вдруг умер в тюрьме от разрыва сердца?»

Из этих слов дедушка понял (это был мудрый человек), что все его разговоры впустую, денег город больше не даст. Тогда он кинулся к начальству, ведь

и у них рыльце в пушку, — авось хоть немного помогут. Какое там! Что это взбрело деду на ум? Его и слушать не стали. И что же вы думаете? Пришлось бедняге дедушке раскошелиться и послать разбойнику — да будет вычеркнуто его имя из списка живых! — собственные деньги. А письмецо дедушка написал уж настоящее (покойный, когда хотел, умел это делать).

В письме он как следует обругал Кивку, обозвал бездельником, неучем, отщепенцем, ловкачом, кровопийцей, пьявкой, злодеем, выродком и еще по-всякому и наказал раз и навсегда перестать писать письма, а о деньгах и не заикаться. Напомнил, что есть на свете бог, который все видит и все знает и отплатит за все сторицей. А закончил он свое письмо мольбой (все-таки еврейская душа!) пожалеть его старость и не обездолить целый город, и тогда господь воздаст ему за все как подобает и обретет он счастье во всех своих делах и начинаниях.

Вот такое письмо отправил ему дедушка и подписался полным своим именем: «Нисн Шапиро». И это было, да простит он мне, самой большой его глупостью, как вы узнаете в дальнейшем из моего рассказа.

Тут каменковский пассажир остановился, вынул портабак и не спеша принялся скручивать папиросу, затем прикурил и сильно затянулся — и раз, и другой, и третий, совершенно не обращая внимания на то, что пассажиры сгорают от любопытства, жаждут узнать, чем все это кончится. После того как каменковский как следует накурился, откашлялся и всласть высморкался, он вновь подвернул рукава и продолжал все тем же тоном:

— Вы, может, думаете, мои дорогие, что собачье отродье сильно испугалось письма дедушки? Ошибаетесь! Не прошло и полугода или года, как от этого выкреста прибыло такое посланьице:

«В первых строках имею честь сообщить, что мой компаньон, немец этот — все несчастья на его голову! — объегорил меня, обобрал с ног до головы и вышвырнул вон из дела. Я хотел затеять суд, взыскать с него, но понял — это то же, что искать вче-

рашний день. Начинать тяжбу с немцем, значит распрощаться с жизнью. Это такие выродки, что лучше с ними не связываться. Поэтому я приторговал лавку рядом, дверь в дверь с ним, и открываю свою торговлю фаянсом. С божьей помощью я немца заживо закопаю, он у меня землю будет грызть. Одно только требуется для этого — монета, по крайней мере тысяча крон. Посему прошу выслать...» Письмо это Кивка закончил так: «А если в течение восьми дней не вышлете тысячу крон, перешлю ваше последнее письмо, подписанное собственноручно «Нисн Шапиро», прямо в губернию и расскажу всю историю от первой до последней буквы: как я скончался в тюрьме от апоплексии и как воскрес на кладбище; как Шимн-возница доставил меня здравым и невредимым в Броды и как вы мне несколько раз высылали деньги, чтобы я никуда не сообщал об этом. Все, все расскажу — и пусть они знают, что есть бог на свете, а Кивка не умер».

Как вам нравится такое приветствие?!

Едва дедушка, царство ему небесное, прочитал это письмецо, ему стало дурно и он упал замертво. У него отнялись, не про вас будь сказано... Люди, да мы стоим! Где мы?

— Станция Барановичи... Станция Барановичи... — прокричал, пробегая под окнами вагона, кондуктор.

Услышав название станции, наш каменковец сорвался с места, схватил свой узел, какой-то мешок, набитый бог весть чем, и, натужась изо всех сил, поволок его к двери. Мгновенье — и он, весь взмокший, уже стоял на платформе, толкался среди людей и, заглядывая каждому в лицо, переспрашивал:

— Это Барановичи?

— Барановичи.

Это было похоже на то, как евреи приветствуют друг друга при благословении луны:

— Шолом алейхем.

— Алейхем шолом [1].

---

[1] Шолом алейхем, алейхем шолом (приветствие) — мир вам, и ответное: вам мир (*еврейск.*).

Многие из нашего вагона, и я в том числе, кинулись за ним следом и ухватили его за полы:

— Послушайте, нельзя же так! Мы не отпустим вас! Вы должны досказать, чем все кончилось... Конец истории!..

— Какой конец? Это только начало. Но оставьте меня в покое! Хотите, чтобы я из-за вас пропустил поезд? Странные люди! Слышите ведь: Барановичи! Станция Барановичи!

Не успели мы оглянуться, как его и след простыл.

Чтоб ей сгореть, этой станции Барановичи!

Конец рассказа № 3.

РАССКАЗ № 4

Принят

— Вот вы говорите... А я расскажу вам более интересную историю. Есть у нас некий Финкельштейн, богач, денежный мешок. Двое сыновей у него. Будь у меня его деньги, я, кажется, плюнул бы на весь этот тарарам. Во что, думаете, ему все это обошлось? Дай нам бог обоим хотя бы половину!..

— Ко всем чертям! Я в прошлом году еще говорил... Вот увидите, говорил я, больше половины примут православие...

— То же самое говорил и я. Был у нас некий Маршак. Изъездил весь свет из конца в конец... Нигде не допустили! Тогда он взял да и отравился!..

— Дай мне бог не соврать, говорил я, вот увидите... Как начнут у нас креститься, — ни одного еврея не останется, ко всем чертям собачьим! А что же? Разве мыслимо вынести все эти горести — с процентами да с циркулярами? * Что ни день — новый циркуляр! Сколько детей, столько и циркуляров! Вот увидите, говорил я, доиграемся до того, что и вовсе принимать перестанут. Да вот возьмите, к примеру, Шполу. Шпола — еврейский город, не правда ли?

— А Немиров? Вот у меня письмо из Немирова. Мне оттуда сообщают очень невеселые новости!..

— А в Лубнах, думаете, лучше?

— А что в Лубнах?

— Или, скажем, в Ананьеве. В Ананьеве каждый год, бывало, принимали не меньше трех евреев.

— Да что там Ананьев. Возьмите лучше Томашполь. В Томашполе, говорят, в нынешнем году не приняли ни одного еврея, хотя бы на развод, что называется!

— А у нас в нынешнем году приняли восемнадцать евреев.

То был голос сверху. Оба мои пассажира (и я с ними) задрали головы и подняли глаза на верхнюю полку. Оттуда свисали две ноги в глубоких резиновых калошах. Ноги в глубоких резиновых калошах несли на себе человека с черной взлохмаченной головой, с заспанным, словно опухшим лицом.

Мои пассажиры разглядывают заспанного с опухшим лицом, едят его глазами, как если бы это было существо, которое в наших краях и не водится. Оба оживились, обрадовались и со сверкающими глазами спрашивают у пассажира с верхней полки:

— У вас, говорите вы, приняли восемнадцать евреев?

— Восемнадцать штук, один в одного, и моего в том числе.

— Вашего тоже приняли?

— Да еще как приняли!

— Где это? Где?

— Да у нас же, в Малом Перещепине.

— В каком Перещепине? Где это такое — Перещепино?

Оба вскакивают с мест, глядят друг на друга и вместе — на пассажира с верхней полки. А тот смотрит на них сверху заспанными глазами.

— Малого Перещепина не знаете? Местечко есть такое. Никогда не слыхали? Есть два Перещепина — Малое Перещепино и Большое Перещепино. А я из Малого Перещепина.

— В таком случае вас надо поздравить! Слезайте! Чего вы там будете сидеть один под самым небом?

Обладатель ног в глубоких резиновых калошах, кряхтя, слезает вниз. Оба пассажира, потеснившись, освобождают место для третьего и набрасываются на него, как голодная саранча:

— Значит, вашего, говорите вы, приняли?

— Да как еще приняли!

— Скажите же, дорогой друг, как же так? У вас там, видать, не гнушаются барашка в бумажке?

— Что вы! Упаси бог! О деньгах даже упоминать нельзя! То есть в свое время у нас деньги были в ходу. Да еще какие деньги! Ого-го! К нам изо всех окрестных городов ездили. Знали, что Перещепино — это место, где берут. Но вот уже несколько лет, с тех пор как донесли, у нас перестали брать деньги.

— Что же? Протекция?

— Какая там протекция! Они сговорились раз навсегда: коль скоро еврей, — принимать! Принимать — и никаких!

— Да что вы говорите? Это серьезно? Или вы смеетесь над нами?

— Смеюсь? Что я за пересмешник такой?

Все трое переглядываются, будто желая прочесть, что у них написано на лицах. Но так как на лицах ничего не написано, мои двое спрашивают у третьего:

— Погодите-ка, как вы сказали? Откуда вы?

— Из Перещепина! — с некоторым раздражением отвечает тот. — Я уже три раза говорил вам: из Малого Перещепина.

— Вы не обижайтесь. Но мы впервые слышим о таком городе.

— Ха-ха-ха! Перещепино — город! Тоже мне город! Перещепино — не город, а городишко, деревня можно сказать, местечко.

— И тем не менее у вас имеется... в этом самом... Как называется местечко? Пер... Пере...

Пассажир из Малого Перещепина сердится уже не на шутку:

— Странные люди! Не можете еврейского слова выговорить, что ли? Пе-ре-ще-пи-но. Пе-ре-ще-пи-но!

— Ну ладно, ладно. Пускай будет Перещепино. Чего же тут сердиться?

— Я не сержусь. Я просто не люблю, когда меня переспрашивают девяносто девять раз об одном и том же.

— Не обижайтесь. Ведь у нас та же болячка, что и у вас. Услыхали, что вашего приняли, вот нас и задело. Потому-то мы и расспрашиваем. Сказать вам по чистой совести, мы никогда не представляли себе, что у вас, в этом... как его там... Пере-Перещепине имеется гимназия!

Перещепенец широко раскрывает глаза и смотрит сердито:

— А кто вам говорил, что у нас в Перещепине имеется гимназия?

Оба мои пассажира с удивлением смотрят на третьего.

— Ведь вы же говорите, что вашего приняли у вас в Перещепине!

Перещепенец смотрит на них с озлоблением. Потом встает и выкрикивает им прямо в лицо:

— В солдаты его приняли! В солдаты! В солдаты!

За окнами уже день. К стеклам приник голубовато-серый свет. Пассажиры помаленьку просыпаются. Один расправляет кости, другой кашляет. Кое-кто собирает свои узлы, готовясь к выходу.

Мои три пассажира разбрелись в разные стороны. Дружба кончилась. Один отвернулся в угол и молча закурил папиросу. Другой раскрыл молитвенник и, прикрыв один глаз, шепчет утренние молитвы. Третий, сердитый пассажир из Малого Перещепина, принялся за еду.

Удивительно: эти трое вдруг почему-то стали чуждаться один другого. Не только не говорят ни слова, но даже не смотрят друг другу в глаза. Как если бы все трое вместе совершили что-то очень нехорошее, постыдное...

Конец рассказа № 4.

РАССКАЗ № 5

Человек из Буэнос-Айреса

В поезде вовсе не так скучно, как некоторые думают. Подобралась бы только хорошая компания. Вот едешь иной раз с каким-нибудь коммерсантом, настоящим дельцом, так и не заметишь, как время пролетит. В другой раз у тебя попутчиком не коммерсант, а так, просто бывалый человек, видавший виды, — умная голова, дока, тертый калач. С таким человеком ехать одно удовольствие, да уму-разуму от него наберешься. А не то бог пошлет просто бойкого соседа, веселого, говорливого, балагура. Он говорит без умолку — рта не закрывает. И только о себе, все только о себе.

Вот с таким-то субъектом довелось мне однажды проехать в поезде довольно изрядное расстояние.

Наше знакомство началось... Ну, с чего обычно начинается вагонное знакомство? С пустяка. Спрашивают: «Не знаете ли, как эта станция называется?» Или: «Не скажете ли, который час?» Или: «Нет ли у вас спичек?» Очень скоро мы с ним окончательно подружились, точно были знакомы невесть сколько времени. На первой же станции, где поезд стоял несколько минут, он подхватил меня под руку, потащил к буфетной стойке и, не спрашивая, пью ли я, велел налить две рюмки коньяку. Затем кивнул мне, при-

глашая взять вилку. А когда мы покончили со всякими соленьями и закусками, обычными для станционного буфета, он велел подать по кружке пива, достал две сигары — себе и мне,— и наша дружба была скреплена.

— Скажу вам откровенно, без комплиментов,— сказал мой новый знакомый, уже сидя в вагоне, — поверите ли, вы мне сразу понравились. Ну, сразу, с первой же минуты. Едва только я взглянул на вас, как сразу сказал себе: вот с этим человеком можно будет поболтать. Понимаете, не могу сидеть, как бирюк, и молчать. Мне нужно поболтать с живым человеком. Потому-то я и взял билет третьего класса, чтобы иметь с кем душу отвести. Обычно я езжу вторым классом. Ну, а первый, думаете, мне не по карману? У меня и на первый хватит. Скажете, я хвастаю? Нате, смотрите!

Тут мой попутчик быстро достает из заднего кармана брюк туго набитый бумажник, раскрывает и, хлопнув по нему, словно по мягкой подушке, снова сует в карман.

— Не беспокойтесь, найдется еще!

Я разглядываю этого субъекта и никак не могу определить его возраст: ему может быть лет сорок, но может быть и двадцать с небольшим. Лицо круглое, гладкое, чуть-чуть излишне смуглое. Усов, бороды — и следа нет. Глазки — крохотные, масленые, смеющиеся. А сам он — кругленький, маленький, ерзающий, живчик какой-то. Одет он с иголочки, по-модному, именно так, как это мне нравится: белоснежная рубашка с золотыми запонками, пышный галстук с красивой булавкой, новый элегантный синий костюм настоящего английского шевиота, лакированные ботинки, — загляденье! На пальце у него тяжелый золотой перстень с брильянтом, переливающимся на солнце тысячами огней (такому перстню, если только камень в нем не фальшивый, цена не меньше четырех-пяти сотен).

По-моему, самое важное для человека — хорошо одеваться. Сам люблю хорошо одеваться, люблю, когда и другие хорошо одеваются. По одежде я вам сразу

определю, приличный это человек или нет. Есть, впрочем, люди, утверждающие, что все это ровно ничего не доказывает. Бывает, говорят они, по одежде — щеголь, а на деле — проходимец. Но если это действительно так, то я спрошу вас: скажите, пожалуйста, с какой это стати все люди наряжаются? Почему один надевает такой костюм, а другой — иной? Зачем один покупает галстук «дипломат», атласный, гладкий, жемчужно-зеленого цвета, а другой ищет обязательно «регату» — красный с белыми крапинками?

Я мог бы привести много таких примеров, думаю, однако, что это ни к чему. Времени жаль. Вернемся лучше к моему новому знакомому и послушаем, что он нам расскажет.

— Так-то вот, дружище! Как видите, второй класс мне вполне по карману. Думаете, денег жалко? Деньги — пустяки, но, поверите ли, я люблю третий класс. Я сам человек простой и простых людей уважаю. Я, понимаете ли, — демократ. Свою карьеру я начал с малого, ну, совсем с крохотного, вот с этого! (Мой знакомый опускает руку до земли, показывая уровень, с какого он стал выбиваться в люди.) И рос все выше и выше. (Мой новый знакомый поднимает руку к потолку, показывая, как высоко он вырос.) Не сразу, конечно! Так не бывает. Потихоньку да полегоньку... Сначала в людях служил, — да нет, что я говорю, служил, — ха-ха-ха! Пока достиг этой высокой ступени — «состоять на службе», много, много воды утекло! Как подумаю иной раз, чем я был в детстве, то, поверите ли, волосы дыбом становятся. Не могу спокойно вспоминать об этом. Не могу, да и не хочу! Думаете, стыжусь? Ничего подобного! Наоборот, я всем рассказываю, кто я такой. Когда меня спрашивают, откуда я родом,— я, не стесняясь, заявляю, что родина моя — Сошмаки, есть такое «великое государство» на земле. Знаете ли вы хоть, где они, эти Сошмаки? Это городок в Курляндии, неподалеку от Митавы. Городок этот я теперь наверняка мог бы купить целиком, со всеми потрохами. Разве только он изменился, вырос. В мое время, поверите ли, весь

городок обладал одним-единственным апельсином, который переходил из рук в руки, от хозяйки к хозяйке; им украшали субботний стол в честь важного гостя.

Вот в этих-то Сошмаках меня ласкали звонкими пощечинами, добрыми затрещинами, увесистыми подзатыльниками и нянчили так, что искры из глаз сыпались; из синяков я никогда не вылезал, и живот у меня постоянно сводило от голода. Ничто мне так не запомнилось, как этот голод! Голодным я на свет божий явился, и голод я терпел, сколько сам себя помню. Голод, сосет под ложечкой и тяжко мутит... Погодите!.. Живица... Знаете вы, что такое живица? На деревьях? Музыканты употребляют живицу взамен канифоли. Поверите ли, вот ею-то я и пробавлялся почти целое лето. Это было в то лето, когда мой отчим, курносый портняжка, вывихнул мне руку и прогнал из родного дома, я и бежал из Сошмаков в Митаву. Вот эту самую руку — видите, здесь, наверное, еще и поныне знак остался.

И мой знакомый, засучив рукав, показывает мне здоровую, пухлую, холеную руку. Потом продолжает:

— Голодный, раздетый, разутый, слонялся я по Митаве, со всеми свалками познакомился там, пока наконец, слава тебе господи, не получил работу. Первую работу в жизни! Я стал поводырем у старого кантора *. Когда-то это был знаменитый кантор, а на старости лет он ослеп и вынужден был побираться. Вот у него-то я и сделался поводырем. Служба эта сама по себе была бы, пожалуй, и неплохой, если бы не капризы кантора, которые я не в силах был переносить. Понимаете, он постоянно был чем-нибудь недоволен. Он беспрерывно ворчал, щипал меня, без конца мучил. Все попрекал, что я не веду его куда следует. Чего он хотел, куда я его должен был вести,— я до сих пор не пойму. Сумасбродный какой-то был кантор! К тому же он толкал меня на «хорошие» дела. Он хвастался перед всеми, поверите ли, что мой отец и мать выкрестились, хотели и меня крестить, а он едва-едва, с большим трудом, с опасностью для жизни вырвал меня из рук иноверцев. И я должен был

выслушивать эти россказни и не сметь улыбнуться. Больше того, он требовал от меня, чтобы я в это время делал скорбное лицо.

Короче говоря, решив, что не стариться же мне с этим кантором, я послал свою «должность» к дьяволу и отправился в Либаву. Побродив там некоторое время голодным, я пристал к ватаге эмигрантов-бедняков. Эмигранты эти собирались отправиться на корабле очень далеко, чуть ли не в Буэнос-Айрес. И я стал просить их взять меня с собой. Куда там! Это, мол, невозможно, это зависит не от них, а от комитета, как комитет скажет. Пошел я тогда в комитет, стал плакать, умолять — еле упросил, чтобы меня взяли в Буэнос-Айрес.

А спросили бы меня тогда: что это такое — Буэнос-Айрес, зачем он мне? Но раз все едут, еду и я. Лишь когда мы туда прибыли, я узнал, что едем мы, собственно, дальше, а Буэнос-Айрес только передаточный пункт, откуда нас направят в разные страны. Так оно и вышло. В Буэнос-Айресе нас сразу переписали и разослали по таким уголкам, которые и прародителю Адаму не снились. И тут же поставили на работу. Вам, наверное, хочется узнать, на какую работу? Уж лучше не спрашивайте! Наши предки в Египте *, верно, не исполняли таких тяжелых работ, какие взвалили на нас. А страдания, которые испытали наши предки (как рассказывается в пасхальных преданиях), не составили бы и десятой доли, должен вам сказать, того, что нам пришлось здесь претерпеть. Наши прадеды, говорят, месили глину, обжигали кирпич и строили города Писем и Рамсес. Подумаешь, невидаль! Попробовали бы они голыми руками поднять безбрежную дикую целину, поросшую колючим кустарником; походили бы за громадными буйволами, которым затоптать человека — сущие пустяки; повозились бы с дикими мустангами, за которыми надо гоняться с арканом сотню миль; переспали бы хоть одну ночь с москитами, которые могут съесть человека; отведали бы твердых, как камень, сухарей; попили бы заплесневелой воды, кишащей червями... Как-то глянул я в реку — увидел там свое отражение

и, поверите ли, сам испугался. Кожа облупилась, глаза опухли, ладони как пампушки, ноги в крови, лицо заросло до самых бровей. «Ты ли это, Мотек из Сошмаков?» — сказал я себе и рассмеялся. В тот же день я плюнул на буйволов и мустангов, на голую степь и воду с червями и двинулся пешком назад, в Буэнос-Айрес.

Однако мы, кажется, остановились у станции с порядочным буфетом. Загляните-ка в расписание. Не думаете ли вы, что нам пора подкрепиться? Кстати, и сил будет больше, чтобы продолжать рассказ.

Закусив как следует, мы выпили пива, вновь закурили сигары — прекрасные, ароматные, настоящие гаванские сигары из Буэнос-Айреса! — и вернулись в вагон на свои места. Мой новый знакомый продолжал свой рассказ:

— Буэнос-Айрес, должен вам сказать, это такой уголок, что с самого сотворения мира... Погодите! В Америке вы бывали? В Нью-Йорке, скажем? Никогда? А в Лондоне? Нет? В Мадриде? Константинополе? Париже? Тоже нет? Ну, тогда я не знаю, с чем сравнить Буэнос-Айрес. Могу лишь одно сказать — это омут, ад. Ад и одновременно рай. Вернее сказать, одному — ад, другому — рай. Тут, если не зевать и уловить подходящий момент, можно составить целое состояние. Золото, поверите ли, на улицах валяется. Вы прямо-таки ходите по золоту. Нагнитесь, протяните руку и берите сколько душе угодно. Но берегитесь, чтобы вас не растоптали. Главное — не останавливаться, не задумываться, не размышлять: прилично ли это или неприлично? Все прилично. Быть официантом в ресторане — прилично, приказчиком в лавке — прилично, мыть бутылки в погребке — хорошо, возить тележку — прилично, выкрикивать газетные новости — прилично, купать собак — хорошо, ходить за кошками — хорошо, крыс морить — прилично, и обдирать с них шкурки — тоже прилично. Одним словом — все прилично, все я испробовал, но везде, должен вам сказать, я замечал одно: работать на другого — последнее дело. Пусть уж лучше другие на меня работают. Ничего не поделаешь, сам бог велел,

чтобы кто-то варил пиво, а я его пил, чтобы кто-то скручивал сигары, а я их курил, чтобы машинист вел паровоз, кочегар подсыпал уголь, смазчик смазывал колеса, а мы вот с вами сидели бы в вагоне и рассказывали друг другу занимательные истории. Если кому не нравится, пусть перестраивает мир.

Я гляжу на своего соседа и думаю: кто он такой? Новоявленный богач, бывший портной, а ныне хозяин магазина готового платья в Америке, может быть фабрикант, домовладелец или вообще капиталист, живущий на проценты? Нет, пусть сам о себе расскажет: он это сделает лучше.

— Мир, скажу я вам, умно устроен; мир прекрасен, замечателен, и жить в этом мире — одно удовольствие! Только надо, чтоб никто не плевал тебе в горшок. Я метался во все стороны. Пустился, как говорят, во все тяжкие, и ни одна работа не казалась мне тяжелой, ни один заработок — зазорным. Зазорных заработков, если хотите знать, и вообще не бывает. Всякий заработок хорош и приличен. Только бы поступать честно и не нарушать слова. Я знаю это по себе. Не стану, понимаете ли, хвастать, что я праведник какой-то, вроде львовского раввина. Но можете мне поверить на слово, что вором я никогда не был, разбойником подавно и мошенником также. Прожить бы нам столь же счастливо этот год, сколь честно я веду дела. Торгую я добросовестно, никого не обманываю, торгую только тем, что имею налицо. Кота в мешке не продаю. Короче говоря, хотите знать, кто я такой? Я всего лишь поставщик товара или, как у вас это называется, «подрядчик». Я всему свету поставляю товар, тот товарец, понимаете ли, про который все знают, да помалкивают... А почему? Мир уж больно умен, а люди лицемерны. Не любят они, когда черное называют черным, а белое — белым. Наоборот, они предпочитают, чтобы черное называли белым, а белое — черным. Ну, что ты с ними поделаешь?

Гляжу я на этого субъекта из Буэнос-Айреса и думаю: «Господи боже мой, что же это за человек? Какой такой товарец поставляет этот «подрядчик»? И что за странные такие слова говорит он: «черное — белое,

белое — черное»?» Прервать его и спросить: «А чем же вы, сударь, торгуете?» — мне не хочется. Пусть лучше рассказывает дальше.

— Итак, на чем мы остановились? На моем предприятии в Буэнос-Айресе. Собственно, мое предприятие не в Буэнос-Айресе. Если хотите знать, оно раскинулось по всему миру: оно в Париже, в Лондоне, в Будапеште, в Бостоне, но главная контора, управление его — в Буэнос-Айресе. Жаль, что мы с вами теперь не в Буэнос-Айресе! Я повел бы вас к себе в бюро и показал бы контору со служащими... У меня люди, поверите ли, живут как Ротшильды*. Работают восемь часов в день, и ни одной минуты больше. У меня служащий — это человек. А знаете почему? Потому что и сам я когда-то был служащим, и именно у моих теперешних компаньонов. Нас теперь трое компаньонов. Раньше их было двое, а я у них служил, правой рукой был. Все дело, можно сказать, на мне держалось. Купить товар, продать его, оценить, рассортировать — все я... Такой уж у меня наметанный глаз, поверите ли, стоит мне взглянуть на товар — как сразу определю, какая ему цена и где его сбыть. Но этого недостаточно. В нашем деле глаз еще не все. Надо еще и нюх иметь, так сказать верхнее чутье. За версту надо учуять, где что лежит. Надо знать, где дело сделаешь, а где шею себе свернешь, да еще по уши в грязи увязнешь, так что потом вовеки не выберешься! Понимаете ли, слишком много наблюдателей развелось на свете, слишком много глаз обращено в нашу сторону, — а наше дело как раз дурного глаза и боится, ха-ха!.. Один неверный шаг — и готово, в десяти водах не отмоешься. Чуть что — сразу гвалт, шум, трезвон в газетах. А газетам только это и подавай, рады-радешеньки, когда есть о чем трезвонить. Поднесут это на семидесяти тарелочках, раздуют, поднимут на ноги полицию. Хотя полиция всего мира, скажу вам по секрету, — ха-ха! — вот тут, у нас в кармане. Назови я вам сумму, в которую ежегодно влетает нам одна полиция, — вы бы ахнули. У нас, поверите ли, подношение в десять, пятнадцать, даже двадцать тысяч — плевое дело!

Сверкнув брильянтом на перстне, мой спутник пре-

небрежительно машет рукой, как человек, который привык швыряться тысячами. Человек из Буэнос-Айреса приостанавливается посмотреть, какое впечатление произвели на меня его тысячи, и валит дальше.

— А если иной раз необходимо «дать» больше, разве это нас остановит? Тут между нами полное согласие. Я имею в виду нас троих, компаньонов. Какие бы тысячи ни понадобились на полицию, мы друг другу на слово верим. Расходы у нас на доверии основаны. Один от другого не скроет ни на столько. А впрочем, пусть попробует скрыть, не поздоровится, пожалуй! Мы, понимаете ли, хорошо знаем друг друга, хорошо знаем рынок, и все на свете нам известно. У каждого из нас везде свои агенты и соглядатаи. А как бы вы думали? Раз дело идет на совесть, иначе нельзя. Не находите ли вы, что сейчас было бы очень кстати прополоснуть горло? — говорит вдруг мой спутник, берет меня за руку и заглядывает в глаза.

Вполне понятно, что я не возражаю, и мы отправляемся на вокзал «прополаскивать» горло.

Хлопает пробка за пробкой, мой спутник пьет свой лимонад с такой жадностью, что начинаешь ему завидовать. Но меня мучает все та же мысль: каким же все-таки добром торгует этот человек из Буэнос-Айреса? Почему он так швыряется тысячами? Каким это образом полиция всего мира у него «в кармане»? И для чего ему агенты и шпионы? Не контрабандой ли он занимается? Фальшивыми брильянтами? Может быть, краденым? А может, он просто хвастун, фанфарон, бахвал, из тех, которые возьмут да и наврут вам с три короба. Когда к нам, вояжерам, затешется вот этакий фокусник, трепач, мы его по-своему именуем: «ангросист», то есть человек, у которого все «ангро». А попросту говоря — лгун, звонарь, сочинитель...

Мы вновь закуриваем по сигаре, садимся на свои места, и человек из Буэнос-Айреса продолжает трещать:

— На чем же мы остановились? Да, на моих компаньонах. То есть на теперешних моих компаньонах.

Прежде они были моими хозяевами, а я, как уже говорил вам, состоял у них на службе. Не стану на них клеветать, будто они были плохими хозяевами. Да и как они могли относиться ко мне плохо, если я был им предан, как собака? Хозяйский цент был мне, знаете ли, так же дорог, как свой собственный. А каких врагов я нажил из-за них, прямо-таки смертельных врагов! Бывали времена, поверите ли, когда из-за моей преданности меня даже хотели отравить. Ну да, попросту отравить. Честно скажу, послужил я своим хозяевам верой и правдой, дальше некуда! Правда, я и себя не забывал! Человек никогда не должен забывать себя. Человек должен помнить, что он всего только человек. Сегодня он жив, а завтра?.. Ха-ха! Вечно ходить в людях — это не по мне. Что я, без рук, без ног, без языка? Тем более я знал, что без меня им и дня не обойтись. Не смогут и не посмеют. Потому что, знаете ли, есть тайны, тайны и тайны. Ну, как водится в деле. И вот в один прекрасный день, понимаете ли, являюсь я к своим хозяевам и говорю: «Адье, господа!» Они уставились на меня: «Что значит «адье»?» — «Адье,— говорю я,— означает будьте здоровы!» — «В чем дело?» —спрашивают они. «До каких пор? — говорю я. — Хватит!» Они переглядываются между собой и спрашивают меня: «Твои капиталы?» — «Сколько бы ни было — мне на первое время хватит, говорю, если же туго придется, то господь бог у нас на небе, а Буэнос-Айрес на земле. Найду!» Они, конечно, правильно меня поняли. Да и почему бы им не понять — мозги у них высохли, что ли? Вот с тех пор мы и стали компаньонами. Три компаньона, три участника на равных паях. У нас этого нет — одному больше, другому меньше. Что господь пошлет — то поровну. И ссориться мы не ссоримся. К чему нам ссориться, если зарабатываем мы, слава богу, вполне прилично, и дело растет? Что ж, мир велик, а товар все дорожает. Каждый из нас берет на расходы столько, сколько ему нужно. Тратим мы все помногу. У меня самого ни жены, ни детей, а уходит, поверите ли, втрое больше, чем у иного с целой семьей. Другой мечтал бы заработать столько, сколько у

меня уходит на одну благотворительность. Я на все даю, понимаете, все, все стоит мне денег: и синагога, и больница, и эмигрантское бюро, и концерты. Буэнос-Айрес, слава тебе господи, город не маленький! А ведь есть еще другие города. Поверите ли, даже Палестина стоит мне денег. Совсем недавно получаю я письмо из одного иерусалимского ешибота *, учтивое такое письмо со «Щитом Давида» *, с печатью и за подписями раввинов. Письмо адресовано лично мне, и начинается оно так: «Достопочтеннейшему и знаменитому благотворителю рабби Мордухаю...»

«Э-э-э! — думаю я. — Раз такие уважаемые люди величают меня по имени, тут уж нельзя быть свиньей, надо им послать сотенку». Это, так сказать, случайное пожертвование. Ну, а мой родной город, Сошмаки? Поверите ли, Сошмаки стоят мне ежегодно кучу денег. Из Сошмаков мне то и дело шлют письма: то у них одно несчастье, то другое. Про «пасхальные» деньги я уж и не говорю, каждую пасху — сотенка. Это уже закон. Вот еду я сейчас в Сошмаки и заранее знаю, что тысчонкой я не обойдусь. Да что я говорю, тысяча! Обойтись бы двумя, а скорей все три уйдут. Шутка ли, человек так долго на родине не был, с самого детства. Ха-ха! Сошмаки — ведь это моя родина! Знаю наперед, весь город будет на ногах. Сбегутся со всех сторон. «Мотек приехал, наш Мотек из Буэнос-Айреса!» Событие! Поверите, там ждут меня, словно мессию. Что ж, бедняк на бедняке! С каждой станции я им даю о себе знать. Каждый день депешу шлю: «Еду. Мотек». Да и сам я, поверите ли, хотел бы уж поскорей прибыть в Сошмаки, посмотреть Сошмаки, припасть к родной земле и праху Сошмаков. Пропади они пропадом — Нью-Йорк, Лондон, Париж! Ха-ха! Сошмаки ведь моя родина!

Лицо у моего спутника вдруг преобразилось. Совсем другое лицо! Будто моложе. Моложе и красивей. Маленькие масленые глазки заблестели совсем поиному, в них вспыхнул огонек радости, гордости, любви, настоящей, неподдельной любви. Только жаль, я все еще не знаю толком, чем же он торгует. Однако

мой попутчик не дает мне долго раздумывать и катит дальше:

— Собственно, зачем, вы думаете, еду я в Сошмаки? Отчасти соскучился по городу, отчасти захотелось побывать на родных могилах. У меня ведь там на кладбище отец, мать, братья, сестры — целая семья. К тому же я собираюсь жениться. До каких это пор мне быть холостяком? А жену я хочу взять именно из Сошмаков, из своего города, из своей родни, своего уровня. Я уже об этом списался с некоторыми друзьями из Сошмаков, пусть присмотрят что-нибудь подходящее. Они мне ответили: «Только приезжай в добром здравии, а уж тут все наладится». Вот какой я сумасшедший! Поверите ли, мне сватали в Буэнос-Айресе мировых красавиц. Я мог бы добиться такого, чего и сам турецкий султан не имеет. Но я сказал себе раз и навсегда: нет! Жениться я еду в Сошмаки. Я хочу взять честную девушку, из хорошей семьи. Пусть она будет самой бедной, я на это не посмотрю. Я озолочу ее. Родителей осыплю золотом. Весь дом осчастливлю. А ее самое увезу к себе в Буэнос-Айрес. Я ей обставлю, знаете, такой дворец, как у принцессы. Пылинке не дам на нее сесть. Заживет она у меня счастливо, поверьте мне, как ни одна женщина в мире. Никаких забот она у меня знать не будет — только хозяйство, муж и дети. Детям образование дам. Одного в доктора выведу, другого в инженеры, третьего в адвокаты. А дочерей в закрытый еврейский пансион определю. Знаете в какой? Во Франкфуртский.

Тут в вагон вошел кондуктор отбирать билеты. Вечно нелегкая приносит кондуктора (я это уж сколько раз замечал!), когда он вовсе не нужен. В вагоне подымается шум, суета. Все хватаются за узлы, и я в том числе: мне предстоит пересадка. Человек из Буэнос-Айреса помогает мне увязать вещи, и мы продолжаем тем временем наш разговор, я излагаю его здесь точно, слово в слово.

Человек из Буэнос-Айреса. Ах, жаль, что вы не едете дальше. Не с кем будет поговорить.

Я. Ничего не поделаешь! Дела — прежде всего!

Человек из Буэнос-Айреса. Хорошо сказано! Дела прежде всего! Боюсь, что мне придется доплатить и перебраться во второй класс. Мне, впрочем, и первый класс нипочем. У меня, когда я еду по железной дороге...

Я. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. У нас только полминуты осталось. Я хотел бы вас спросить...

Человек из Буэнос-Айреса. Например?

Я. Я, например, хотел вас спросить... О, уже свисток! Чем вы, собственно, занимаетесь? Чем торгуете?

Человек из Буэнос-Айреса. Чем я торгую? Ха-ха! Только не райскими яблочками, мой друг, не райскими яблочками я торгую.

Я уже совсем выбрался из вагона со своим багажом, но перед глазами у меня все еще продолжал стоять человек из Буэнос-Айреса с его гладкой, самодовольной физиономией и неизменной сигарой в зубах; а в ушах у меня все еще звенело его зловещее: «Ха-ха! Только не райскими яблочками, мой друг, не райскими яблочками я торгую...»

Конец рассказа № 5.

РАССКАЗ № 6

Могилы предков

— Вы — на «ярмарку», а мы — с «ярмарки». Я уже свое выплакал. А вы ведь едете плакать — значит, нужно вам уступить место. Подвиньтесь, прошу вас, чуть ближе, сюда, вам ведь там неудобно...

— Ну вот!

Так разговаривают за моей спиной два пассажира. Верней, говорит один, а другой время от времени поддакивает.

— Мы едем вдвоем. Я и моя старуха. Она вон там, на полу, лежит. Уснула. Наплакалась, бедняжка, за всех на свете поплакала. Ни за что не хотела уходить с кладбища. Припала к могиле — не оторвать. Пытаюсь успокоить: «Ну, довольно, говорю, слезами, говорю, ее не воскресить...» Как о стенку! Да удивительно ли? Такое несчастье! Одна-единственная, свет очей моих... К тому же удачная! Красавица! Умница! Прогимназию окончила... Вот уже два года, как умерла. Думаете, от чахотки? Крепкая была, здоровая!.. Сама, сама покончила с собой!

— Да что вы?

Я начинаю понимать, о какой «ярмарке» идет речь. Вспоминаю, что сейчас начало элула *. Печальный, милый месяц элул! Евреи кочуют из одного города в другой, направляются к родным могилам давно умер-

ших родителей, братьев, сестер, детей, родственников. И исстрадавшиеся матери, осиротевшие дочери, одинокие сестры и просто несчастные женщины припадают к дорогим могилам, плачут, изливают свое горе, облегчают наболевшую душу.

Удивительное дело! Я разъезжаю, слава богу, не первый год и могу смело сказать, что давно уже не было такого паломничества к родным могилам, как в этот элул... Железная дорога, слава богу, торгует, вагоны переполнены. У мужчин грустные лица. У женщин красные опухшие глаза и лоснящиеся носы. Кто едет на «ярмарку», кто с «ярмарки»... А на дворе уже элул. По-элуловски тоскливо на душе, и тянет, тянет домой... Я невольно прислушиваюсь к разговору тех двоих за моей спиной.

— Может быть, думаете, несчастье из нынешних? Черные косоворотки?.. Красные флаги?.. Тюрьма?.. Ни-ни... От этого меня господь избавил. Верней, я сам себя избавил. Как зеницу ока берег я ее. Шутка ли, одна-единственная дочь, свет очей моих. К тому же удачная! Красавица! Прогимназию окончила! Я делал все, что мог: следил, куда она ходит, с кем говорит, о чем говорит, какие книжки читает. «Доченька, говорю, хочешь читать книжки? Читай на здоровье! Но я тоже, говорю, должен знать, что ты читаешь...» Правда, я не большой знаток в этих делах, но нюх у меня, слава богу, есть. Я, если только загляну в книгу, пусть она будет даже на французском языке, сразу скажу, чем она пахнет...

— Ишь ты?!

— Не хотел я, чтобы мой ребенок играл с огнем,— что же, казнить меня за это?! Вы думаете, я ей устраивал скандалы, ругал ее? Нет, по-хорошему, только шуточкой. «Доченька, говорю, пусть себе в мире все идет как идет. Не мне и не тебе, говорю, все это остановить...» Вот так я, бывало, говорю ей. А она, думаете, что? Молчит! Золотое дитя, тихая голубица. Что же сделал господь? Прошли наконец тяжелые времена. Перенесли мы, слава богу, всякое — и революцию и конституцию! Нет уж черных косовороток, красных знамен, стриженых волос, черт его знает

чего, бомб... Я думал, зубы потеряю тут от страха. Шутка ли!.. Ведь одна-единственная дочь, свет очей моих, к тому же удачная, прогимназию окончила...

— Конечно!..

— Короче говоря, пережили мы, слава тебе господи, это горькое время. Теперь можно наконец и о женихе подумать. Приданое? Послал бы только господь хорошего человека! И началась суетня: предложения, сваты, женихи. Гляжу я на дочку — что-то не того... Вы думаете, что? Ничего особенного. Сказать, чтобы она была против замужества? Нет. Так в чем же дело? А вот послушайте. Начинаю я присматриваться, приглядываться и узнаю такую историю: читают книжку, прячутся. И не она одна, втроем читают: она, ее подруга, дочь нашего кантора, тоже удачная девушка и тоже прогимназию окончила, и еще третий — парень из Новогрудка. Что это за парень, хотите знать? Да тут и знать-то нечего. Никчемный парень, все лицо в прыщах, глаза больные, без ресниц, зато золотые очки на носу, некрасивый, грязный парень, куска хлеба при нем не проглотишь, противно. К тому же въедливый, проныра, червяк, настоящий червяк! Знаете, что такое человек-червяк? Я вам объясню. Бывают разные люди на свете: есть человек-осел, есть человек-скотина, бывает человек-собака, человек-свинья. А есть человек-червяк. Теперь вы поняли?

— Ага!..

— Откуда же у меня в доме этот червяк? Все из-за дочери кантора. Он ей приходится двоюродным братом. Учится на аптекарского провизора, или юриста, или дантиста, — черт его батьку знает! Знаю лишь одно — он мой погубитель. Мне этот молодчик в очках сразу же не понравился. Я даже жене сказал... А жена отвечает: «И чего ты только не придумаешь!..» Приглядываюсь, прислушиваюсь — не нравится мне это чтение втроем, и разговоры, и пыл, и то, что они горячатся... И вот я говорю как-то дочери: «Доченька, говорю, что это вы так усердно читаете втроем?» А она: «Ничего, книжку». Я ей говорю: «Вижу, что книжку, но какую книжку?» А она мне: «А если ска-

жу, ты разве будешь знать?» — «Почему бы мне не знать?» Рассмеялась: «Это не то, что думаешь... Книжка эта называется «Сани», роман Арце Башес» *. — «Арце Башес, говорю, был когда-то меламед, слепой старик, давно умер». Снова смеется. А я думаю: «Эх, дочурка, дочурка, ты смеешься, а у отца сердце кровью обливается...» Что же я предполагал? Да чего уж тут спрашивать? Я думал, может, снова начались прежние дела. И вы думаете, я не решился прочесть эту книжку?..

— Удивительно...

— Не сам, конечно, при помощи другого, своего человека, приказчика. Паренек он знающий, по-русски читает, как воду пьет. Стащил я как-то ночью у дочери книгу, отдал ее приказчику. «На, Берл, говорю, прочитай эту книгу, а завтра, говорю, расскажешь, о чем в ней речь». Еле дождался утра. Пришел Берл, я сразу: «Ну, Берл, что за книга?» А он мне: «Ох и книга! — и скалит зубы. — Всю ночь, говорит, оторваться не мог». — «Вот как! Ну что ж, говорю, расскажи мне, послушаю и я эти диковинки». И мой Берл стал рассказывать... Что вам сказать? Слово со словом не вяжется. Вот вы сами услышите, что за чепуха. Жил-был, рассказывается там, детина, по имени Сани, любил он как следует выпить и закусить соленым огурцом. Была у детины сестра, по имени Лида, она сильно любила одного доктора, но тяжела стала от офицера. Был еще студент Юра, этот был влюблен в учительницу, по имени Красавица. Однажды ночью она каталась на лодке, вы думаете — со своим женихом? Вовсе нет, с этим пьяницей Сани... — «И это все?» — «Погодите, — говорит приказчик, — еще не все. Был там еще учитель Иван, и он ходил с Сани смотреть на голых девушек, когда они купаются...» — «Короче, говорю, какая же там мораль, в этой книге?» — «А такая, говорит, что пьяница Сани ржал, как жеребец, и даже к своей родной сестре Лиде, когда он пришел домой...» — «Тьфу, пропади ты! Довольно, говорю, тебе о пьянице! Скажи мне лучше, каков конец этой истории?» — «А конец, говорит, таков: офицер застрелился, студент застрелился, Красавица отрави-

лась, а еврей Соловейчик там есть, тот повесился...» — «Чтоб тебя, говорю, повесили вместе с ним!» — «Что же вы ругаетесь? — спрашивает Берл. — В чем я-то виноват?» — «Я не тебя, отвечаю, а Арце Башес». Говорю я так Берлу, но на уме у меня не Арце Башес, а этот новогрудковский парень, все несчастья на его голову! Вы думаете, я не отозвал однажды этого парнюгу в сторону?

— Неужели?

— «Скажи мне, говорю, где ты выцарапал такую чепуху?» Он как уставится на меня своими очками: «Какую чепуху?» — «Да вот этот роман Арце Башес, говорю, про пьяницу, которого зовут Сани». — «Сани, — говорит он, — не пьяница». — «А кто же он такой?» — говорю. «Он, говорит, герой!» — «Чем же, говорю, он герой? Не тем ли, что водку пьет стаканами, закусывает соленым огурцом и ржет, как жеребец?» Как вскипит мой парень, очки даже снял, смотрит на меня своими красными глазами без ресниц. «Вы, говорит, дяденька, слыхали звон, да не знаете, где он. Сани, — говорит он, — человек природы, человек свободы; Сани говорит, что думает, и делает, что хочет». И пошел и пошел молоть, черт его знает что: свобода, любовь, и снова свобода, и опять любовь. И при этом он выпячивает свою цыплячью грудь, машет руками, кипятится — ни дать ни взять проповедник на амвоне. Я гляжу на него и думаю: «Господи, вот этот грязный парнишка говорит о таких вещах?! А что было бы, если бы я, скажем, схватил его за загривок и вышвырнул за дверь, да так, чтобы он костей не собрал?» Но тут же я и по-иному думаю: «Что тут такого? Дурак парень? Если бы он о бомбах говорил — было бы лучше?» Поди знай, что есть вещи похуже бомб, что из-за такой чепухи я потеряю золотое дитя мое, мою единственную, свет очей моих, что жена у меня чуть с ума не сойдет, а я сам, подавленный бедой и позором, закрою дело и сбегу в другой город. Вот уже второй год, как я переехал. Но я перескакиваю с одного на другое. Лучше уж расскажу по порядку, как дошло до этого и с чего все началось...

Началось это с аграрных волнений... *

В наших местах начались аграрные волнения, и мы опасались, что дело кончится еврейским погромом; мы жили в постоянном страхе. Но если господь хочет, он являет чудо, и зло обращается в добро. Вот пример: прислали к нам из губернии полк солдат, и сразу стало тихо — благодать! Городок ожил. Ибо что может быть лучше для торговли, нежели целый полк солдат, с фельдфебелями, фельдшерами, офицерами, ротными и всякими другими командирами.

— Что и говорить!

— Так вот, поди угадай, что дочь кантора влюбится в офицера, захочет креститься, не иначе, и выйти за офицера замуж!.. Что тогда творилось в городке! Но будьте спокойны, дочь кантора не крестилась и за офицера не вышла; когда прекратились аграрные волнения, полк выступил, а офицер, видимо от великой спешки, забыл даже попрощаться со своей невестой... Зато уж дочь кантора не позабыла своего офицера. О, горе родителям! Сколько им пришлось вытерпеть! Город кипел. Всюду, на каждом шагу: «Дочь кантора, дочь кантора...» Злым языкам была работа. Кто-то подослал к канторше акушерку. Кантора спрашивали, какое имя он собирается дать ребенку. Впрочем, вполне возможно, что вся эта история — сплошная выдумка. Вы и не представляете, что могут наплести в таком городишке длинные языки!

— Еще бы!

— Страдания обоих, то есть кантора и его жены, не передать. А на самом деле чем они, несчастные, виноваты? Все же я своей дочери наказал раз и навсегда — что было, то прошло, а теперь с дочерью кантора не водиться. А у меня, если сказано, значит — сказано. Она у меня, правда, единственная, однако отца нужно уважать. Но поди знай, что она втайне все же встречается с дочерью кантора. И когда я об этом узнал? Только вон когда, уже после всего...

За моей спиной послышался кашель и кряхтение спящего человека. Рассказчик умолк, переждал немного, а затем продолжал свой рассказ, но уже тоном ниже:

— Случилось это как раз в первое утро молитв «Слихес» *. Как сегодня помню это. Наш бедный кантор читал эти молитвы так, что за душу хватало. Когда он произносил: «Душа — твоя и тело — творение твое», — камни могли заплакать! Никто, никто не чувствовал его горя так, как я... Нынешние дети! О, горе родителям! Помолившись, прихожу домой перекусить, потом отправляюсь на базар, открываю склад и ожидаю приказчика. Жду полчаса. Жду час. Нет приказчика. Наконец вижу — идет. «Берл, почему так поздно?» — «У кантора, говорит, был».— «Почему это вдруг у кантора?»— спрашиваю. «Разве вы не знаете, что случилось с Хайкой?» (Так звали дочь кантора.) — «Что же случилось с Хайкой?» — «Как, говорит, ведь она отравилась!»

— Да ну?!

— Услыхал я это и сейчас же кинулся домой. Первой мыслью было: «Что Этка скажет?» (Этка — моя дочь.) Прихожу домой к старухе: «Где Этка?» — «Этка спит еще... А что такое?» — «Как, говорю, разве ты не слыхала: Хайка отравилась!..» Не успел я это вымолвить, жена как схватится за голову: «Разбойница! Злодейка! Горе мне!» — «Что? В чем дело?» — «Ведь вчера ночью Этка чуть ли не два часа гуляла с ней?!!» — «Этка, говорю, с Хайкой? Что ты говоришь, как это может быть?» — «Ох, говорит, не спрашивай. Мне пришлось уступить ей. Этка так упрашивала меня не говорить тебе, что она каждый день встречается с ней. Чую, несчастье случилось!.. Дай бог, чтобы я обманулась!» Сказала, бросилась в комнату Этки — и тут же повалилась на пол. Я кинулся за ней. Подбежал к кровати: «Этка, Этка!» Какое там! Кричи не кричи, ничего уже не поможет! Нету Этки!

— Нету?

— Умерла. Лежит на кровати мертвая. На столе — бутылочка, записка тут же, собственной рукой ее написана, по-еврейски. Хорошо писала по-еврейски. «Милые и дорогие мои родители, — пишет она в записке, — простите меня за горе и позор, которые я вам причиняю. Сто раз прошу — простите! Мы дали друг другу слово, я и Хайка, что умрем в один день, в один

час и одной смертью, так как мы не можем жить друг без друга... Я знаю, — пишет она, — мои милые и дорогие, что я совершаю великое преступление против вас. Я долго колебалась. Но это суждено, и быть иначе не может. Единственная моя просьба к вам, мои дорогие: похороните меня рядом с Хайкой — могила к могиле. Будьте здоровы, — кончает она письмо, — и забудьте меня, забудьте, что у вас была дочь Этка...» Вы понимаете? Чтобы мы забыли, что у нас была дочь Этка...

. . . .

За моей спиной слышится шорох, что-то ворочается, кряхтит, а затем раздается осипший, заспанный голос:

— Авремл, Авремл!

— А? Что, Гитка? Выспалась? Чайку выпьешь? Сейчас будет станция. Где чайник? А чай и сахар где?..

Конец рассказа № 6.

РАССКАЗ № 7

Праздношатающийся

Знаете, чем лучше всего ехать? Лучше всего, покойней, вольготней? «Праздношатающимся».

Так прозвали богопольцы поезд узкоколейки, идущей мимо таких городков, как Богополье, Гайсин, Теплик, Немиров, Хащеватое и им подобных благословенных мест, где нога прародителя Адама сроду, конечно, не ступала.

Богопольцы, слывущие на белом свете острословами, не нахвалятся преимуществами «праздношатающегося».

«Во-первых, — говорят они, — вам нечего бояться, что вы опоздаете. Когда бы вы ни пришли, он стоит. А чего сто́ит то, что вам не нужно драться за место? — спрашивают они. — Вы можете проехать неведомо какое расстояние один-одинешенек в вагоне, можете, как барин, вытянуться во всю длину и переворачиваться с боку на бок сколько душе угодно».

И это чистая правда. Вот уже недели три, как я путешествую в «праздношатающемся» по этим краям, и я почти все на том же месте. Прямо какое-то колдовство! Не думайте, однако, что я огорчаюсь. Наоборот, я очень доволен. Ведь здесь я повидал столько занимательного, наслушался таких былей и

небылиц, что не знаю, когда и кончу записывать все это в свой дневник.

Начать хотя бы с того, как строили эту железную дорогу. Об этом, безусловно, стоит рассказать.

Когда из Петербурга пришла весть о том, что здесь будут прокладывать дорогу (министром был тогда Витте), люди говорили: «Враки! К чему Теплику, Голте или Гайсину железная дорога? Без нее не обойдутся? Не то воспитание?» Так болтали местные жители. Что уж говорить о богопольцах! Эти, по обыкновению, сыпали остротами, издевались, многозначительно показывали на ладонь: «Когда вот здесь волос вырастет!»

Позже, когда в этих местах появился инженер, стали производить съемки и мерить землю, люди прикусили языки, а богопольские острословы поглубже запрятали руки в карманы. (Богопольцы обладают одним достоинством: не угадав, они не огорчаются. «Календарь, — говорят они, — тоже иногда врет...») И тут со всей округи кинулись к инженеру люди с рекомендациями, с протекциями, с письмами, с просьбами дать им работу. Что ж, люди ищут заработок! Ведь теплицкие, бершадские, гайсинские и богопольские жители давно прослышали, что при постройке железной дороги люди богатеют. Вот, к примеру, Поляков... *

И дельцы, — не только те, что промышляют лесом и кирпичом, но и те, что торгуют рожью и пшеницей, — бросились к железной дороге. Все стали вдруг подрядчиками, концессионерами, строителями. «Наши Поляковы» — прозвали их в Богополье и принялись заранее подсчитывать, сколько они могут здесь хапнуть.

Одним словом, округу охватило некое смятенье, род железнодорожной лихорадки, которая не миновала ни одного человека. Бес-искуситель, как известно, очень силен, и кому не хочется стать Поляковым в наших благословенных местах?!

Конкуренция, драка между подрядчиками, концессионерами и всякими иными строителями до того разгорелись, что работу пришлось распределять по

жребию. Кому бог судил счастье и кто завоевал у инженера симпатии, тот получал работу, а кому дела не досталось, довольствовался хотя бы долей с доли. И долю эту приходилось выделить непременно, иначе обойденный давал понять, что и он знает, в какой стороне Петербург и где находится правление дороги. Люди позакладывали женины жемчуга, субботнее платье и принялись строить дорогу. При этом они потеряли все до гроша и наказали внукам и правнукам даже близко не подходить к железной дороге.

И все же одно другого не касается: бедолаги действительно разорились, но, как они выражаются, добились своего — железную дорогу проложили. И хотя в Богополье этот поезд, как мы знаем, наименовали «празднoшатающимся», все ж люди не нахвалятся им и рассказывают о нем всяческие чудеса. Например, заявляют, что с той самой поры, как «праздношатающийся» стал «праздношатающимся», с ним еще не стряслось ни одной беды, как с иными поездами. В чем же дело? А все это, говорят они, очень просто: тихо шагаешь — не потеряешь... И «праздношатающийся» действительно ходит тихо. Да еще как тихо! Богопольские умники, которые вообще склонны все преувеличивать, рассказывают историю, которая стряслась с их же богопольцем. Он как-то отправился с «праздношатающимся» к своему свату в Хащеватое на обрезание младенца, а прибыл к его бармицве *.

А еще они рассказывают о бершадской девице и молодом человеке из Немирова, которые направились в условный пункт на смотрины. Пока они съехались, молодой человек стал сизым, как голубь, а девица потеряла все зубы. Из-за этого помолвка и не состоялась.

Знаете, однако, что я скажу? Не люблю я богопольских остряков и не выношу их шуточек. Если я уж описываю что-либо, так только то, что вижу собственными глазами или по крайней мере что слышу от солидных людей, от коммерсантов.

Например, я сам слышал от гайсинского купца, что несколько лет тому назад в седьмой день праздника кущей с «праздношатающимся» случилась большая

беда, можно даже сказать, катастрофа, вызвавшая панику по всей линии и взволновавшая всю округу. Катастрофа произошла из-за одного еврея и священника. Передаю это в отдельном рассказе, точно так, как мне об этом сообщил гайсинский купец. Люблю рассказывать только то, что сам слышал. Почитайте и вы тоже убедитесь, что все это сущая правда.

Гайсинский купец не соврет.

Конец рассказа № 7.

РАССКАЗ № 8

Чудо в седьмой день кущей

— «Чудо в седьмой день праздника кущей», — так назвали у нас железнодорожную катастрофу, которая произошла в седьмой день кущей после «приговора» *. И стряслось все это вот здесь, в нашем Гайсине, то есть не в Гайсине, а за две остановки до него — на станции Соболевка.

Вот так, степенно, не спеша, принялся мне рассказывать гайсинский купец, по-видимому весьма солидный человек, о катастрофе, происшедшей у них на узкоколейке, где поезд называют «праздношатающимся» (о нем я уже рассказывал вам раньше). А так как купец рассказывал мне эту историю, сидя в этом самом «праздношатающемся», которому всегда не к спеху, а в вагоне было нас всего лишь двое, — он расстегнул, как полагается, все пуговицы, развалился, как у отца в винограднике *, и говорил не торопясь, смакуя каждое слово, поглаживая при этом свой животик и посмеиваясь от удовольствия, которое, по-видимому, доставлял ему его рассказ.

— Вы ведь едете в нашем «праздношатающемся», слава богу, уже вторую неделю, значит, знаете его манеру. У него такое обыкновение — прибудет на станцию, станет и уж никак не распрощается с ней. По расписанию ему, понятно, положено стоять определенное время. Например, на станции Заткевичи его стоянка — час пятьдесят восемь минут, на станции Со-

болевка, о которой я рассказываю, — ему надо стоять час и тридцать две минуты, ни секунды больше. Но пусть ему будет столько болячек, сколько лишних минут он простаивает и в Заткевичах и в Соболевке сверх двух, а то и сверх трех часов. Все зависит от того, сколько времени занимают «маневры». А что у «udазднoшатающегося» называется «маневрами», вам ведь нечего рассказывать. Выпрягают паровоз из оглобель, и вся бригада — кондуктора, машинист, кочегар — садится с начальником станции, жандармом и телеграфистом пить пиво — бутылку за бутылкой.

Ну, а что делают пассажиры во время «маневров»? Да вы и сами видели, что они делают. Не знают, куда деваться, бьются головой о стенку: кто зевает, кто, забившись в угол, дремлет, а кто прохаживается, заложив руки за спину, по платформе и тихонько напевает.

И должно же произойти такое на станции Соболевка во время «маневров»! Стоит однажды утром в седьмой день кущей, заложив руки за спину, обыкновенный любопытствующий еврей из Соболевки и глазеет на отцепленный паровоз. Что, однако, нужно здесь соболевскому еврею? Ничего. День праздничный, помолился в свое удовольствие, отбил гейшайнес; * сходил домой, поел; на душе полупразднично-полубуднично, судьба его там, наверху, подписана, дома делать нечего, вот он взял палочку и побрел на вокзал встречать поезд.

Встречать поезд — это, должны вы знать, обычное занятие в нашем краю. Настает время прибытия поезда, и все мчатся на вокзал в надежде кого-нибудь встретить. Кого встретить? Что встретить? Теплицкого еврея, ободивковскую еврейку, голованивского священника? Тоже мне счастье! И все же идут. Правда, железная дорога была еще тогда в диковинку, «праздношатающийся» только что пошел, и было на что поглядеть и что послушать. Как бы там ни было, утром в седьмой день праздника кущей после «приговора», как я уже говорил вам, стоял полупразднично-полубуднично настроенный соболевский еврей с палочкой в руке и глазел на выпряженный из оглобель паровоз.

Ну и что же? Кому какое дело, если соболевский житель стоит и разглядывает паровоз? Пусть себе стоит на здоровье. Так нет же! Должен найтись среди пассажиров священник из здешних мест, из Голованивска. Это недалеко от Гайсина. Нечего делать — вот и расхаживает священник по платформе, как все прочие, заложив руки за спину, и тоже останавливается перед паровозом.

«Послушай-ка, Юдко! — обращается священник к еврею. — Чего ты здесь не видал?» Отвечает ему сердито еврей: «Почему это Юдко? Меня зовут не Юдко, а Берко». — «Пусть будет Берко. Что ты здесь глазеешь, Берко?» — «А вот стою и разглядываю божье чудо, — отвечает еврей, не сводя глаз с паровоза. — Как будто совсем пустяк, чепуха — стоит повернуть один винтик сюда, другой туда — и такая махина начнет ходить». Тогда священник вновь обращается к нему: «Откуда ты знаешь, что, если повернуть один винтик сюда, другой туда, машина начнет ходить?» — «А если б не знал, зачем бы я говорил?» — «Кугл * ты знаешь как едят, — говорит священник, — вот что ты знаешь». Не мог стерпеть такого поношения еврей (соболевские евреи все с амбицией). «Ну-ка, батюшка, потрудись взобраться со мной на паровоз! — говорит еврей. — Я тебе в момент растолкую, почему паровоз ходит и почему останавливается». Это задело священника не на шутку. Как? Этот еврейчик будет ему объяснять, почему паровоз ходит и почему останавливается?! И он сердито говорит: «Лезь, Гершко, на паровоз!» — «Я не Гершко, а Берко», — поправляет его еврей. «Пускай Берко. Полезай, Берко!» — «Что значит полезай? — спрашивает еврей. — Почему мне лезть? Полезай сначала ты, батюшка!» — «Да ведь ты меня учишь, а не я тебя, — ядовито говорит священник, — значит, тебе первому и лезть». Одним словом, спорили они, спорили, наконец кое-как оба взобрались на паровоз, и соболевский еврей принялся объяснять священнику всю премудрость машины, затем тихонько тронул один рычаг, другой, и раньше, чем они опомнились, паровоз тронулся с места и, к их великому ужасу, пошел.

Сейчас как будто самая пора оставить еврея и священника на паровозе, — пускай себе мчатся на здоровье, мы же тем временем займемся одним из них. Кто он, этот соболевский еврей, который набрался смелости и полез вместе со священником на паровоз?

Берл-уксусник — так зовут еврея, о котором я здесь рассказываю. Почему его зовут уксусником? Потому что он изготовляет самый лучший уксус в нашем крае. Профессия эта досталась ему по наследству от отца, но он достиг в ней особого искусства, придумав, как он говорит, машину, которая дает самую лучшую эссенцию. Будь у него время, он мог бы снабдить уксусом целых три губернии, как он заявляет, но нужда его не заедает, а богатства он не ищет. Вот каков наш уксусник! Нигде не учился, а знает всякое тонкое ремесло и сведущ в машинах. Откуда же это у него? Тут можно и самому догадаться. Изготовление уксуса похоже на винокурение, а винокурение пахнет заводом. На заводе же, говорит он, почти такие же машины, как на паровозе. Завод, говорит Берл, свистит, и паровоз свистит. Какая же тут разница? Главное, говорит Берл, размахивая руками, это сила, которую дает машине топка. От топки нагревается котел, вода начинает кипеть, толкает, говорит, вал, и колеса начинают вертеться куда угодно. Хотите вправо — поверните регулятор вправо, хотите влево — поверните регулятор влево. Это так, говорит, просто, что проще и быть не может... Теперь, когда я вас познакомил с соболевским евреем, вы, надеюсь, получили ответ на множество ваших недоуменных вопросов, и мы можем вернуться к катастрофе.

Надо ли вам рассказывать о панике, которая поднялась среди пассажиров на станции Соболевка, об ужасе, охватившем людей, когда они увидели, как их паровоз безо всякой причины сам по себе ринулся вперед с невиданной быстротой? Думаю, вы это сами понимаете. Ну, а переполох в бригаде?! Поначалу она бросилась бежать за паровозом, хотела, видно, поймать его за хвост. Вскоре, однако, люди убедились, что их труд напрасен. А паровоз как назло мчался теперь словно бешеный. Ни разу еще с той

поры, как пошел «праздношатающийся», не случалось, чтобы паровоз несся с такой скоростью. Окончательно убитая бригада возвратилась на станцию с пустыми руками. А вернувшись, она вместе с начальником станции и жандармом составила протокол, затем разослала по линии депешу: «Ушел паровоз без прислуги. Примите меры. Телеграфьте!»

Легко представить, какую панику вызвала телеграмма на линии! Во-первых, ее не поняли. Что это значит — ушел паровоз без прислуги? Как может сам паровоз уйти? А во-вторых, что означает — примите меры? Какие тут можно принять меры, кроме рассылки телеграмм? И полетели по всей линии телеграммы. Телеграф работал как бешеный. Станции без конца переговаривались между собой, и вскоре страшная весть докатилась до городов и местечек края. И тогда только началось форменное светопреставление. У нас в Гайсине, к примеру, уже подсчитали, сколько человек убито. И суждена ведь несчастным такая страшная смерть! И когда?! Как раз в седьмой день кущей, после «приговора»! Так уж, видно, было решено на небесах!..

Толки подобного рода можно было услышать в Гайсине и в любом местечке вокруг него. Не описать наших страданий и мук. Но все это не идет в сравнение с муками несчастных пассажиров, которые остались на станции Соболевка, яко овцы без пастыря, — без паровоза посреди дороги. Как быть? Что делать? Куда кинуться? Разве только проторчать последние дни праздника здесь, в местечке? Ах, загубленный праздник кущей!.. И пассажиры сбились в одном углу и принялись обсуждать свое положение и судьбу «беглеца», как они назвали сбежавший паровоз. Кто знает, что еще с ним случится? Шутка сказать — летит по линии этакая машина, одна-одинешенька! Ведь где-нибудь с «беглецом» неминуемо столкнется встречный «праздношатающийся», идущий из Гайсина на Соболевку. Что будет с теми пассажирами? И воображение рисует страшное столкновение с обычными подробностями большой железнодорожной катастрофы. Людям явственно видятся

опрокинутые вагоны, раскатившиеся колеса, человеческие головы, изуродованные ноги, оторванные руки, растоптанные, окровавленные чемоданы... И вдруг телеграмма! Прибыла депеша из Затковичей. Что там? А в ней написано: «Мимо Затковичей со страшной скоростью проскочил паровоз, на нем два человека. Один с виду еврей, другой — священник. Оба махали руками, ничего не поняли. Паровоз промчался на Гайсин».

Тут-то и началась самая кутерьма. Что сие значит? Еврей и священник на сбежавшем паровозе! Куда они сбежали? Зачем? И кто этот еврей?.. Стали разнюхивать, расспрашивать у одного, у другого — дознались: еврей этот местный, из Соболевки. Кто такой? Вы его знаете? Что за вопрос! Берл-уксусник из Соболевки. Откуда известно, что это он? Известно! Соболевцы клянутся, что сами видели, как он стоял со священником у отцепленного паровоза и размахивал руками. Ну, что же это творится? Какие дела у еврея со священником и зачем ему понадобилось стоять с ним да еще размахивать руками? Болтали так долго, пока наконец история эта не докатилась до самой Соболевки. И, хотя от станции до местечка рукой подать, событие это, переходя от одного к другому, беспрерывно видоизменялось, так как каждый добавлял что-нибудь свое. Когда же история со священником добралась до домика Берла, она выглядела так дико, что горемычная жена уксусника падала раз десять в обморок и пришлось вызывать врача. А на станцию из местечка высыпало народу, как звезд в ясную ночь, и поднялся такой гвалт, что начальник станции отдал жандарму распоряжение очистить перрон от соболевских жителей. Ну, а раз так, то и нам нечего здесь делать. Давайте лучше посмотрим, что происходит на сбежавшем паровозе; как себя чувствуют еврей и священник на «беглеце».

Однако легко сказать — что делается на сбежавшем паровозе! Кто может знать, что там происходит? Тут уж приходится верить соболевскому уксуснику на слово. Он рассказывает о своем путешествии такие чудеса, что если бы это даже наполовину было прав-

дой, то и того достаточно. Но, насколько я знаю, этот уксусник из Соболевки не любит преувеличивать.

Поначалу, когда паровоз тронулся, рассказывает Берл, он почти ничего не помнит, что с ним было. И вовсе не с перепугу, а главным образом потому, что он не мог понять, отчего паровоз не слушается его. По правилам, говорит он, после того как второй раз крутанешь регулятор, паровоз должен немедленно остановиться, а он вместо того понесся пуще прежнего, точно тысяча чертей толкали его в спину. Паровоз мчался с такой скоростью, что телеграфные столбы мельтешили у Берла в глазах, точно мухи, кружилась голова и подкашивались ноги. Немного погодя, когда он опомнился, ему пришло в голову, что паровоз должен иметь тормоз, задерживатель такой, которым его можно в любой момент остановить. «Есть тормоз ручной и есть воздушный», — поясняет Берл-уксусник и показывает руками, что сие значит. Это такое колесико, которое, если его как следует крутануть, прижмет рычаг, и колеса сами остановятся. «Не пойму, — говорит он, — как это могло вылететь у меня из головы». И Берл мгновенно кинулся к колесику, чтобы повернуть его вправо. Но тут его кто-то схватил за руку: «Стоп!» Кто же это? Представьте, священник, полумертвый, еле шевелит губами. «Что хочешь делать?» — спрашивает он с дрожью в голосе. «Ничего, — отвечает Берл, — хочу остановить машину». — «Упаси тебя бог прикоснуться к машине! — заявляет священник. — А не послушаешься, схвачу за шиворот да швырну с паровоза — сразу забудешь, что тебя звали когда-то Мошкой».— «Не Мошка, а Берка»,— поправляет Берл и собирается объяснить ему значение колесика, называемого тормозом. Но противный поп и слышать не хочет. «Хватит крутить! — твердит он. — Ты уж и без того достаточно накрутил, чтоб тебя всего перекрутило, проклятущий человек! Лучше б ты себе шею свернул до того, как свалился на мою голову!» — «Ты, батюшка, видно, думаешь, — замечает Берл, — что мне моя жизнь не так дорога, как твоя тебе!» — «Твоя жизнь?! — отвечает желчно священник. — Чего стоит собачья жизнь?!» Это задело Берла не на шут-

ку, и он принимается отчитывать священника так, что тот запомнит надолго. «Во-первых, — заявляет Берл, — и собаку тоже жалко. По нашим законам и собаки нельзя тронуть. Все живое нуждается в сострадании. А во-вторых, чем это моя жизнь хуже пред господом богом любой другой жизни? Разве не происходим все мы от прародителя Адама и разве не возвращаемся в одну и ту же землю? А теперь, — добавляет Берл, — замечай, батюшка, разницу между мной и тобой: я делаю все возможное, чтобы паровоз остановить, значит, забочусь о нас обоих, а ты до того рассвирепел, что готов сбросить меня с паровоза, то есть хочешь убить человека». И еще немало подобных прекрасных слов говорил Берл, читал всяческую мораль, приводил притчи, так что священника чуть не хватил удар. Разговаривая таким манером, они оба вдруг увидали пред собой станцию Затковичи, начальника станции и местного жандарма на платформе. Тут и Берл и священник принялись махать руками. Никто, однако, не понял, чего они хотят, и «беглецу» пришлось мчаться дальше, на Гайсин. «Теперь, — рассказывал Берл, — священник стал гораздо мягче, но прикоснуться к машине все же не давал». Внезапно священник обратился к Берлу: «Ответь-ка мне, Лейбка, на один вопрос». — «Меня зовут не Лейбка, а Берко», — поправил уксусник. «Пускай Берко, — кивнул священник. — Ответь-ка мне, Берко, согласен ли ты спрыгнуть вместе со мной с паровоза?» — «Зачем? — спросил Берл. — Чтобы, упаси боже, разбиться насмерть?» — «А мы все равно разобьемся насмерть», — заявил священник. Тогда Берл спросил: «Откуда это тебе известно? Это еще надо доказать. Если бог захочет, он ого-го что может сделать!» — «Например?» — спросил священник. «А вот я тебе скажу, батюшка, — ответил Берл. — У нас, евреев, сегодня седьмой день кущей. В этот день каждому человеку, каждой твари утверждается на небесах его судьба — жить им или умереть, а если умереть, то какой смертью. Ну, так вот — судил мне бог умереть, тут уж ничего не попишешь. Какая же мне разница, умру я, спрыгнув с паровоза, на самом паровозе или меня гром убьет?

Ну, а на ровном месте, — продолжал Берл, — разве нельзя поскользнуться и расшибиться насмерть, если на то божья воля? Но если мне начертали сегодня жить, зачем же я стану прыгать?»

«Что вам сказать? — продолжает Берл-уксусник свой рассказ и клянется такими клятвами, что даже выкресту можно было бы поверить. — Не помню, как это случилось, но, когда мы приблизились к Гайсину и уже увидали заводскую трубу, паровоз вдруг замедлил ход, стал идти тише, тише и наконец совсем остановился. Отчего это? Да, видно, в топке не стало угля, а когда на паровозе, — говорит Берл, — кончается топливо, вода перестает кипеть, колеса перестают вертеться, и всему конец. Точно, говорит, как если б человеку, не про вас будь сказано, не давали б кушать». Конечно, Берл тут же сказал священнику: «Ну, батюшка, что я тебе говорил? Если б создатель не присудил мне сегодня жить, кто знает, на сколько хватило бы в паровозе топлива и где бы мы с тобой сейчас были». А священник, рассказывает Берл, стоит, опустив глаза, и молчит. Да и что ему, бедняге, говорить?! А прощаясь, священник подошел к Берлу и протянул руку: «Прощай, Ицко». — «Я не Ицко, а Берко», — поправил уксусник. «Пускай Берко, — заявил священник. — Послушай, Берко! Я и не знал, что ты такой...» И больше уксусник ни слова не услышал от него, так как священник, подхватив полы своей рясы, быстро зашагал назад по дороге, видать, в свой Голованивск. А Берл двинулся прямо в город, к нам, в Гайсин. У нас он провел эти праздники, вознес молитву об избавлении от беды, рассказал не меньше тысячи раз свою историю от начала до конца, дополняя ее каждый раз новыми чудесами и приводя все новые и новые подробности. Всякий тащил соболевского уксусника к себе домой, желая видеть его гостем у себя за праздничным столом, а кстати послушать от него самого о чуде в седьмой день кущей. И, как вы уж понимаете, это был у нас настоящий праздник! Всем праздникам праздник!

Конец рассказа № 8.

РАССКАЗ № 9

Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось

— Я, кажется, обещал рассказать вам еще про одно чудо, случившееся с нашим «праздношатающимся»: как благодаря этому «праздношатающемуся» мы спаслись от великого бедствия. Если хотите послушать, прошу вас, перейдите на эту скамейку, а я лягу на ту. Здесь мне неудобно разговаривать.

Так сказал мне однажды все тот же гайсинский купец, сидя со мной в вагоне узкоколейки, поездá которой в здешних местах прозвали «праздношатающимися». А так как и в этот раз нас в вагоне было только двое и стояла теплынь, мы, простите, сняли пиджаки, расстегнули жилеты и расположились как у отца в винограднике. На одной скамье он, на другой — я. Он, по своему обыкновению, степенно, не спеша рассказывал, а я со вниманием слушал, запоминая каждое слово, чтобы затем все это передать его же словами.

— Было это, чтоб им не повториться, во времена конституции *, когда начались так называемые «высочайшие милости» для евреев. Правда, у нас в Гайсине, должен вам сказать, мы никогда погромов не боялись. Думаете, почему? Просто из-за того, что у нас некому бить евреев. Впрочем, как вы понимаете,

если хорошенько поискать, то и у нас найдутся такие, которые не прочь чуть-чуть проветрить нас, или, попросту говоря, как следует пересчитать ребра. А вот и доказательство. Когда отовсюду до нас стали доходить «приятные» вести, некоторые наши подлые паны под большим секретом написали куда следует: «Было бы очень кстати сотворить что-нибудь такое и в Гайсине. Однако делать это здесь некому. Поэтому просим помочь и бога ради побыстрей прислать нам «людей»... И представьте, не прошло и двадцати четырех часов, как прибыло известие, опять-таки под большим секретом, что «люди» идут. Откуда? Из Жмеринки, из Казатина, из Раздельной, Попельни и им подобных мест, отличавшихся своими громилами. Спрашивается, как проведали у нас про тайное тайных? На это у нас, видите ли, есть свой «источник», зовут его Нойах-тонконог. Что это за человек? Вы едете в наши края, стало быть нужно вам его представить, чтобы вы его знали.

Нойах-тонконог в длину, безусловно, больше, чем в ширину. Господь наградил его парой ног, и он пользуется ими вовсю: ни часу не отдыхает, редко когда его дома застанешь. Тысячи дел заботят его, и все больше чужие. Сам он типограф. И вот благодаря типографии, единственной в Гайсине, он вхож к начальству, имеет дело с панами, связан с чиновниками и знает всякие секреты.

Вот из этого «источника» и узнали мы «приятную» новость. Собственно, сам «источник» раззвонил об этом по всему городу. Понятно, каждому в отдельности он по секрету шептал на ухо: «Это я говорю только вам, другому ни за что не сказал бы...» И вот так весь город, из конца в конец, узнал, что в Гайсин спешат хулиганы и выработан план погрома. Известно даже, когда, в какой день и час начнут бить евреев, откуда начнут бить и как пойдут громилы, — все рассчитано, как в календаре. В городе, как вы понимаете, началось светопреставление. И где, вы думаете? В первую очередь у тех, кто победней. Странное дело, слышите ли, с этими бедняками! Ладно, когда богач боится такой штуки, это еще понятно. Несчастный

страшится, как бы его, упаси бог, вмиг не обратили в нищего. Но вы, вечные нищие, чего вы дрожите? Чем вы рискуете? Нет, вы посмотрели бы, как они побросали все свои пожитки, схватили детишек и давай прятаться. Ну, где, например, прячутся евреи? Кто у доброго русского человека в погребе, кто у нотариуса на чердаке, а кто у директора на заводе. Каждый находит свое место. Только я один, какой я ни на есть, не захотел прятаться. Говорю это не потому, что хочу порисоваться перед вами, я докажу вам всяческими доводами, что я не совсем неправ. Во-первых, спрашивается, почему нужно бояться погрома? Пусть будет что будет... Во-вторых, ничего не скажешь, я, может, и сам оставил бы гордыню и попробовал бы спрятаться, чтобы переждать горячую минуту. Но вот вопрос — где спрятаться? Вы понимаете? Помимо всего прочего, как это вообще оставить город на произвол судьбы? Взять да убежать — это не фокус. Надо постараться что-нибудь сделать. Но что могут, с позволения сказать, евреи сделать? Вот начальство!.. Верно, и у вас в городе есть какой-нибудь влиятельный человек, который вхож к начальству? У нас в Гайсине один такой есть. Его зовут Нахмен-косой. Он подрядчик. У него круглая борода, бархатный жилет и собственный дом. А так как он подрядчик и орудует на шоссе, то вхож к исправнику; пьет с ним чай за одним столом. А исправник, представьте, был тогда у нас совсем хороший человек. Золотой человек! Почему? Не отказывался от рублика. Но брал все через Нахмена-косого. То есть брал он у каждого. Почему бы не брать? Но через Нахмена он брал охотней. Как у подрядчика, понимаете?

Короче говоря, люди повидались с Нахменом, составили список, и появились деньги, и, как вы понимаете, порядочные деньги. Как же в самом деле прийти в такое время к барину и не позолотить ему ручку так, чтобы, как говорится, пальцы обожгло? Понятно, барин тотчас успокоил нас. Он твердо заявил, что мы можем спокойно спать, ничего не будет... Хорошо ведь, не так ли? Однако в Гайсине у нас имеется «источник», для которого тайное тайных открыто. Вот

он и распустил, Нойах-тонконог, по всему городу слух, по секрету, конечно, что от черной сотни уже получена телеграмма; клянется, что сам ее видел, видать бы ему так счастье на земле! Что же там, в этой депеше? А в депеше только одно слово: «Едем». Противное слово! Конечно, кинулись к исправнику: «Барин, а ведь дело плохо!» — «Чем плохо?» — спрашивает он. «Депеша получена», — отвечают. «Откуда?» — спрашивает. «Из тех мест», — говорят ему. «Что написано в депеше?» — «Едем», — отвечают ему. Расхохотался исправник и говорит: «Вы порядочные дуралеи. Я вчера вызвал из Тульчина сотню казаков...» Услышали мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело лишь в том, кто раньше явится — казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки. Понятно, черная сотня должна прибыть раньше, потому что она направляется поездом, а казаки — верхом на лошадях. Вся надежда на «праздношатающегося». Может, великий бог сотворит чудо и «праздношатающийся» хоть на несколько часов запоздает. А ведь это у него обычное дело, такое случается с ним почти каждый день. Но, представьте, на этот раз с ним такого чуда не произошло. Как назло он двигался от станции к станции точно по часам. Можете представить, сколько это нам стоило крови и какая в городе поднялась паника, когда проведали, конечно из «источника», что уже с последней станции прибыла депеша: «Едем». Причем там было не только «едем», но и «ура»... Новость эту, понятно, тотчас отнесли к исправнику, упали в ноги и упросили не надеяться на казаков, которые когда-то еще явятся из Тульчина, а выслать на вокзал полицию, хотя бы для вида — пусть *те* не думают, что здесь ни закона, ни суда нет и можно творить произвол. На этот раз исправник не заставил себя долго просить, потрафил городу, сделал даже больше, чем от него ожидали. Что именно? При полной форме и во всех регалиях собственной персоной во главе всей полиции явился на вокзал встречать поезд.

Но те несколько подлых панов, со своей стороны, тоже не дремали. По-праздничному вырядившись и нацепив ордена, они прихватили с собой священников и тоже пришли встречать поезд. Исправник спросил их: «Что поделываете здесь?» Но и они задали ему тот же вопрос: «А вы что поделываете здесь?» Слово за слово — и исправник дал им понять, что их труды напрасны. Пока он здесь исправником, заявил он, в Гайсине погрома не будет. Так твердо и заявил. Те с усмешкой выслушали его, затем дерзко сказали: «А вот мы сейчас посмотрим!..» Не успели они это выговорить, как вдали послышался гудок. От этого гудка у всех нас, как вы понимаете, душа в пятки ушла. Вслед за этим мы ожидали услышать второй гудок, а затем крики «ура». А что следует за таким «ура», нам уже сообщили из других городов. И что же оказалось? Вскоре действительно раздался гудок, однако это был напрасный гудок. И вот почему. Такое может случиться только с нашим «праздношатающимся». Вот послушайте!

Подкатив к станции, машинист затормозил паровоз и спокойно сошел на платформу, а там по привычке направился в буфет. Тут его и остановили: «Дружище, а где вагоны?» — «Какие вагоны?» — «Разве не видишь, что приехал на паровозе без вагонов?» Машинист вытаращил глаза, затем заявил: «А мне какое дело? За вагоны отвечает бригада». — «Где же бригада?» — «А я откуда знаю? — снова ответил машинист. — Кондуктор дал знать свистком, что готов, я ему ответил свистком, что тоже готов, и пустил машину. На затылке у меня глаз нет, чтобы видеть, что сзади делается». Вот эдак ответил машинист, и вроде он по-своему прав. Одним словом, толкуй что хочешь — «праздношатающийся» здесь, а пассажиров нету. Как говорится, была бы свадьба, да музыки не нашлось.

Как после выяснилось, к нам ехала замечательная компания, уж сами понимаете, отборные парнюги, один к одному, со всеми орудиями избиения — дубинками, резинками и всякими иными принадлежностями. Пили они водку, веселились вовсю и на радостях, на

последней станции, в Криштоповке, как следует заложили за воротник, а заодно напоили и бригаду — кондукторов, кочегара, жандарма. При этом забыли про одну мелочь — прицепить состав к паровозу. Вот он и ушел в положенное время на Гайсин, а весь «праздношатающийся» остался в Криштоповке. И еще того замечательней! Никто — ни теплая компания, ни бригада, ни другие пассажиры — не заметил, что они стоят, и все продолжали опрокидывать бутылку за бутылкой. Наконец начальник станции спохватился, что паровоз ушел, а вагоны стоят, и поднял шум. Тут только все обнаружилось, и пошла такая руготня, что держись. Молодцы крыли бригаду, бригада — молодцов. Продолжалось это до тех пор, пока все наконец порешили взять ноги на плечи, глаза в руки и — айда в Гайсин. Куда ж им в самом деле деваться? Так они и сделали. Собрались с духом и зашагали по шпалам в Гайсин. Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, понятно, с криками «ура», — как сам бог велел. Только они чуть-чуть опоздали. По улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в руках. В каких-нибудь полчаса от черной сотни и помина не осталось. Разбежались, как крысы от голода, растаяли, как снег в солнечный день.

Ну, вот я вас спрашиваю: разве не достоин наш «праздношатающийся», чтобы его одели в золото или по крайней мере посвятили специальный рассказ его деяниям?!

Конец рассказа № 9.

РАССКАЗ № 10

Талескотн *

— Вы толкуете о несчастьях, о нынешних пожарах? Хотите, я расскажу вам замечательную историю о том, как вырывают сотенный билет на погорельцев у богача, скупердяя, форменной свиньи? У человека, который готов удавиться за копейку, который за всю свою жизнь никому ни разу не подал милостыни? — обратился ко мне сосед по вагону однажды утром после завтрака. Тут он закурил и угостил меня папиросой.

По-видимому, история, которую он собирался рассказывать, была весьма занимательной, нравилась ему настолько, что, еще только подумав о ней, он уже расхохотался, как человек, которому пришло на ум что-то очень забавное. Он покатывался со смеху. В таких случаях лучше всего дать человеку как следует нахохотаться, иначе рассказ противно будет слушать.

И вот мой сосед досыта посмеялся, откашлялся и начал так:

— Я уже изобразил вам целую галерею людей нашего города. Теперь представлю еще один экземпляр. Его зовут Иоель Ташкер. Посмотрели б вы на него! Ломаного гроша не дадите за эту фигуру. Маленький, щупленький, сухонький, бороденка редкая, не ходит, а семенит, одежда — и врагу не пожелаешь.

А ведь богач! Да что я говорю богач, — толстосум, миллионщик! То есть миллионы его я не считал. Может, у него миллион, а может, далеко и до полумиллиона. Но сколько бы у него ни было, поверьте, он и того не стоит. Потому что это свинья свиньей. Выдрать у него милостыню, все равно что море рассечь. Нищие не упомнят, когда бы Иоел Ташкер подал им кусок хлеба. В городе уж знают эту персону, и, когда, случается, нищий выразит недовольство подаянием, ему говорят: «Подите к Ташкеру, там вам больше дадут». Вот каков наш богач! Может, думаете, — это злодей, неуч, низкого происхождения? Боже упаси! Он из хорошей семьи, знаток талмуда, человек благочестивый — чужого не тронет, только бы его добра не взяли. Мое — мне, твое — тебе. Понимаете? Занимается ростовщичеством. У него собственные дома, и ведет он дела все больше с помещиками. День и ночь занят, всю жизнь в разъездах, в беготне; не ест, не спит, обходится без приказчика, всюду сам, один. И ни детей, ни близких. Были, правда, у него дети, но он их сам разогнал. Говорят, в Америке они. Умерла жена, он их и разогнал. А умерла она, говорят, с голоду. Но это уж, видать, вранье, а может, и правда. Во всяком случае, со второй женой он уже через две недели разошелся. Угадайте, из-за чего? Из-за стакана молока, ха-ха-ха. Честное слово. Однажды, застав ее с кувшином молока в руке, он заявил ей: «Если ты пьешь молоко потому, что чахоточная, на что ты мне сдалась? Если лакаешь его просто так, за здорово живешь, значит, ты мотовка...»

Одно достоинство у него (нет людей только с недостатками): он набожен, набожен до безумия. Что ж, хочешь быть праведником, пожалуйста! Кому какое дело?! Нет, ему нужно, чтобы все были праведники. Господень стряпчий! Не может стерпеть, если еврей без шапки ходит, злится из-за того, что у молодух собственные волосы *, изводит родителей, отдающих ребят в гимназию. И все в таком роде.

Должен же бог сотворить так, чтобы во дворе у него снял квартиру адвокат, из прежних адвокатов, ну, как их там называют, частный поверенный, не

слишком богобоязненный еврей: ходит без шапки, бреет бороду, курит по субботам *. Все как полагается, будьте уверены, хуже не придумаешь. Фамилия его Компаневич. Высокий, плечистый, чуть сутулится, с впалыми щеками и плутоватыми глазками, но молчальник, тихоня, — одним словом, хитрый беспутник. Собственно, живет он больше картами, нежели адвокатурой. У него собираются замечательные молодые люди, того сорта, что любят картишки, рюмочку, колбаску и тому подобные прелести. Ну, хорошо! Живет у тебя не очень большой праведник, какое тебе до этого дело? Я говорю о Ташкере. Ну, не кумись с ним! Чего тебе еще? Но нет! Не может Ташкер стерпеть того, что у Компаневича по субботам ставят самовар, что у Компаневича едят мясное в постные дни, что у Компаневича перед пасхой не омывают новую посуду в реке и тому подобное. Вот он и гневается на жильца, оговаривает его повсюду, рассказывает о нем каждому и всякому да погромче: «Видали дерзость вероотступника! Живет у меня в доме и ставит по субботам самовар!» Услышит это Компаневич и велит в следующую субботу раздуть два самовара. Наш Иоел рвет и мечет, его чуть кондрашка не хватает. Человече! Возьми да откажи ему в квартире — и горю конец! Не тут-то было! Жалко потерять жильца, ведь он платит аккуратней всех. Ха-ха-ха.

Итак, я познакомил вас с двумя личностями. Теперь разрешите представить третьего — Фройку-плута. Тоже хорош типчик и имеет отношение к моему рассказу. Собственно, с него и начинается вся история.

Это уж субъект из тех, что служат и нашим и вашим. Полуфанатик-полуеретик. На плечах у него длинный сюртук, а на голове шляпа; белая рубашка, красный бантик, а из-под рубашки выглядывают шерстяные кисти талескотна. В городе поговаривают о нем что-то некрасивое насчет чужой жены. Но в синагогу он мчится стрелой. Одним словом, это то, что у нас называют «готс ганев» [1]. Чем же он занимается?

[1] Ханжа (*еврейск.*).

Денежным маклерством. Займы, векселя — вот его дело. Через его руки проходят тысячи и тысячи рублей. Никому Ташкер так не доверяет, как этому Фройке. Как дойдет дело до денег — боится выпустить сотню из рук. Стоит, однако, Фройке сказать, что это человек верный, и разговор кончен. Может, думаете, Фройка уж очень честен в денежных делах? Гарантии не даю. Но это умная бестия, пройдоха, продувной малый и к тому же страшный наглец. К нему на язычок попасться, все равно что свалиться в геенну огненную. Достаточно сказать, что зовут его Эфроим Кац, а именуют Фройка-плут.

Вот вам все три героя. И должно тут произойти этакое событие: началось лето — пошли пожары, и целый город Деражня, не про нас будь сказано, превратился в пепелище. Стали оттуда приходить письма, мольбы, депеши; упрашивают, чтобы выслали сколько возможно и поскорей, так как целый город валяется под открытым небом и помирает с голоду. Конечно, у нас принялись вопить: «Милосердные, сыны милосердных! Что молчите? Почему у нас ничего не предпринимают?» Судили, рядили и, наконец, остановились на сборе пожертвований. Послали несколько человек собирать по городу в пользу погорельцев. Кто же в этой «депутации»? Конечно, я да еще два-три состоятельных человека из наиболее почтенных. Ну, и Фройка-плут за компанию, потому что в таком деле без наглеца не обойтись. Прихватили платок и отправились. С кого же начать? Конечно, с богача. Пришли к Ташкеру. «Здравствуйте, реб Иоель». — «Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь! Что скажете?» Что ж, замечательно, лучше быть не может. Нужно вам сказать, что вообще-то этот Ташкер довольно гостеприимный человек. Зайдете к нему — велит подать стул, попросит сесть, будет беседовать с вами — все честь честью, пока не заговорите о деньгах. Но стоит вам заикнуться о наличных, как он тут же переменится в лице — один глаз закроется, левая щека перекосится, как у парализованного, не про нас будь сказано. Жалко, говорю, на него тогда смотреть. Вот какой это типчик! Итак, на чем мы остановились? Да,

пришла, стало быть, к Ташкеру депутация. «Здравствуйте, реб Иоел». — «Здравствуйте. Добрый день. Присядьте. Что скажете?» — «Мы пришли к вам за пожертвованием». Тут у него закрылся один глаз и, не про нас будь сказано, дернулась щека. «Пожертвование?.. Вдруг, ни с того ни с сего, пожертвование?» Тогда ему Фройка говорит — ведь он среди нас самый наглый: «Пожертвовать необходимо, очень необходимо! Вы уж небось слыхали, целый город сгорел. Деражня...» — «Что вы сказали? Деражня сгорела? Пропал я совсем! Ведь у меня в Деражне размещено столько денег! Разорили! Совсем разорили!» Фройка принялся уверять, что его должников это не коснулось, пострадала, мол, только беднота. Но поди говори с ним, когда тот и слушать не хочет, носится как безумный, руки ломает и кричит не своим голосом: «Пропал! Разорили! И не говорите со мной! Убили вы меня! Не переживу этого!»

Посидели мы, посидели и поднялись: «Прощайте, реб Иоел». Это называется — поцелуй пробой и шагай домой. Вышли мы, а Фройка и заявляет: «Послушайте, не буду я Эфроим Кац, если не выдеру у этой псины сотенную на деражненских погорельцев!» — «Да что ты, Фройка, болтаешь? С ума спятил!» — «Какое вам дело? Раз я говорю — выдеру, значит выдеру, будьте покойны! На то я Эфроим Кац».

И что же? Вот послушайте дальше. Дня через два едет реб Иоел Ташкер на ярмарку в Толчин. Едет и его квартирант Компаневич. Едут люди из Толчина, из Умани, — словом, полон вагон. Разговаривают, толкуют и, по обыкновению, все разом. Забравшись в уголок, сидит Иоел Ташкер и заглядывает одним глазком в божественную книгу. Какое он имеет отношение ко всем этим людям, тем более к этому вероотступнику, бритую морду которого он видеть не может? А Компаневич как назло уселся напротив и молчит. «Господи, — размышляет Иоел, — как мне избавиться от этого свинячьего уха? Перейти во второй класс — жалко денег; остаться здесь — противно мне видеть это скобленое рыло и глаза ублюдка». Короче, господь совершил чудо — на первой же станции за-

явился знакомый человек, не кто иной, как Фройка-плут. Ташкер, завидя Фройку, весь просиял. Будет с кем словцом перекинуться. «Куда это вы едете?» — «А вы куда?» Разговорились. О чем же? О прошлогоднем снеге как говорится, о ярмарке в поднебесье, и в конце концов набрели на тему, которая Ташкеру по душе. «Нынешние дети, пустоголовые парни, распутные девицы, все пошло прахом!» Фройка-плут припомнил старую историю об уманской снохе, удравшей с офицером; о молодом человеке, который дважды женился в двух городах; историю о мальчишке, который отказался класть филактерии *, а когда отец отколотил его за это, ударил отца. «Ударил отца? Родного отца?!» И вагон зашумел. Всех взбудоражило это, особенно Ташкера. «Что я говорил? Ха-ха-ха. Все идет прахом. Еврейские дети не хотят молиться, не хотят класть филактерии!» — «Пусть бы только не клали филактерии, — отозвался вдруг Компаневич, который до сих пор молчал. — Филактерии можно класть, можно не класть. Это меня мало волнует. Вот талескотн — другое дело! Я зол на наших молодых людей за то, что они не носят талескотна. Ну, ладно, класть филактерии — это похоже на работу, их надо надевать, их надо снимать. Но талескотн! Какой труд носить его под рубашкой, где он совсем не виден?!»

Так стал вдруг рассуждать этот вероотступник Компаневич. Говорил он тихо, не торопясь, но так серьезно, что, ударь гром с ясного неба или опрокинься вагон, Ташкер не был бы так изумлен, как сейчас. «Что сие значит? Мессия явился? Этот вот колбасник ведет разговоры о талескотне?» И он обратился к Фройке, конечно не к Компаневичу: «Что ты скажешь об этом праведнике? Хе-хе-хе... Он тоже разговаривает о талескотне?!» — «А почему бы и нет? — прикинулся дурачком Фройка. — Разве они не еврей?» Этого уж Иоел Ташкер не мог стерпеть. Во-первых, что это за «они»? Во-вторых, какой же Компаневич еврей? Хе-хе-хе. Хорош еврей! Еврей, который в субботу ставит самовар, жрет мясное в пост, не омывает в реке посуду к пасхе?! Вот этот еврей разговаривает о талескотне?! «А что ж такого? — глуповато

спросил Фройка. — Какое имеет отношение одно к другому? Такой, как Компаневич, может делать все, что вы перечислили, и все же под рубашкой носить талескотн». — «Кто? — не своим голосом вскрикнул Ташкер. — Вот этот скобленый?! Этот шалопай?! Вот этот восставший против нашего бога?!»

Притихшие пассажиры поглядывали на Компаневича, а Компаневич молчал. Помалкивал и Фройка-плут. Внезапно он вскочил; похоже, его озарила какая-то мысль, и он решил пойти на риск. «А знаете что, реб Иоел? — заявил он. — Я придерживаюсь такого мнения — еврейскую душу так просто не разгадаешь. Раз он говорит о талескотне, значит носит талескотн. Ставлю сотню на деражненских погорельцев, кладите и вы сотню и давайте попросим вашего квартиранта тысячу раз извинить нас и расстегнуть кафтан да рубашку и показать, есть ли на нем талескотн или нет». — «Верно, верно!» — закричали пассажиры, и вагон сразу завопил, загалдел. Лишь один Компаневич продолжал сидеть тихо, как совершенно посторонний, будто это его вовсе не касается. А наш Ташкер? Бедняга будто в парильне побывал, будто испытывал адовы муки. Никогда в жизни он ни с кем не бился об заклад, даже на два гроша, и вдруг ставь целую сотню?! А если, упаси бог, этот колбасник все же носит талескотн?! Нет, это невозможно себе представить. «Куда там! Компаневич? Этот вероотступник! Тут даже и думать нечего». И он широким жестом распоясался и вынул сотенную. Выбрали двух незнакомых, но вполне порядочных людей, и оба спорщика отдали им свои деньги. А затем принялись за Компаневича — предложили ему раздеться. Куда там! Он и слышать не хочет. «Что я, говорит, мальчишка какой-нибудь или комедиант? С какой это стати я стану раздеваться среди бела дня вот здесь, в вагоне, при народе?!»

Услышав такие речи, наш Ташкер расплылся от удовольствия. «Ага! — с сияющим лицом сказал он Фройке. — Кто прав, я или ты? Я уж знаю наших людишек. О талескотне разговаривает вот этакий человечишка! Ха-ха-ха».

Да, дело дрянь! Тогда за Компаневича взялись все разом: «Как можно? Либо так, либо эдак, но сотенная-то все равно на погорельцев пойдет!» — «На несчастных погорельцев», — поддержал их Иоель Ташкер, не глядя на Компаневича. «Бедняги с женами и детьми под открытым небом валяются», — снова напомнили Компаневичу. «Бедняги под открытым небом», — повторил Ташкер. «Неужели в вас жалости нет?» — «Жалости нет», — подтянул Ташкер.

В конце концов уговорили Компаневича расстегнуть кафтан, жилет и верхнюю рубашку. И представьте себе — у Компаневича под рубашкой оказался талескотн. Да еще какой! Большой, добротный, бершадский, с синими полосами по краям, с толстенными, в восемь раз скрученными кистями по углам, под стать любому раввину. Ха-ха-ха. Словом, всем талескотнам талескотн! На такую проделку способен только этот пройдоха, Фройка-плут! Правда, клиента в лице Ташкера он потерял навсегда, и по сей день не смеет ему на глаза показаться. Зато он выдрал целую сотню на деражненских погорельцев! Целую сотню! Да еще у кого! У богача, толстосума, свинтуса, который за всю свою жизнь милостыни не подал, куска хлеба нищему не отрезал!.. Ах, подохнуть бы ему! Я говорю, конечно, о Фройке.

Конец рассказа № 10.

РАССКАЗ № 11

«Шестьдесят шесть»

Мне это рассказал в поезде еврей лет шестидесяти, весьма приличный человек, видно, такой же коммивояжер, как я, а то и купец. Передаю его рассказ слово в слово — таково мое правило в последнее время.

— В дороге, знаете ли, если рассчитывать только на пассажиров, с которыми можно завести знакомство и поболтать, с ума сойдешь от скуки.

Во-первых, пассажир пассажиру — рознь. Есть такие, которые любят много говорить, иногда даже слишком много, так что у вас голова кругом идет и в ушах звенит от этих разговоров. А бывают, наоборот, такие, которые вовсе не разговаривают. Ни слова! Почему они не хотят разговаривать — неизвестно. Может быть, у них неприятности, может быть, их мучает катар желудка, меланхолия или зубная боль. А может быть, у них в доме ад — сварливая жена, неудачные дети, злые соседи, к тому же и дела плохи, — как узнаешь, что у другого на душе.

Правда, вы скажете, есть выход: если не с кем поговорить, можно газету почитать, в книжку заглянуть. Ах, газеты! В дороге не то, что дома. Дома у меня *своя* газета. К *своей* газете я привык, ну, примерно, как к *домашним туфлям*. У вас, может быть,

новые домашние туфли, а у меня старые, похожие, извините за выражение, на блин. Но у моих туфель есть одно достоинство, которого нет у ваших, — *они мои*...

С газетой точно так же, как с туфлями, хоть это и разные вещи. У меня есть сосед, живет со мной в одном доме, на одном этаже, дверь против двери. Он выписывает газету, и я выписываю газету. Он — свою, я — свою. Вот я и говорю ему: «Зачем вам отдельно выписывать газету и мне отдельно? Внесите свою долю, и выпишем вместе мою газету». Послушал он меня и отвечает: «Отлично, внесите вы свою долю на мою газету». Тогда я говорю: «Ваша газета — дрянь, а моя газета — настоящая газета». — «Кто вам сказал, что моя газета — дрянь? А может быть, наоборот!» — «С каких это пор вы стали разбираться в газетах?» — говорю я. А он отвечает: «С каких это пор вы стали разбираться в газетах?» — «Э, — говорю я, — да вы просто нахал, с вами и разговаривать не стоит!»

Словом, он остался при своей газете, а я — при своей. На этом дело и кончилось.

Но однажды случилась история. Это было, не про нас будь сказано, во время холеры в Одессе. И у меня и у моего соседа дела в Одессе, у меня — свои дела, у него — свои. Как-то спускаемся вместе с лестницы и встречаем разносчика; я беру свою газету, сосед — свою. Идем, значит, и просматриваем на ходу газеты, я — свою, он — свою. Что прежде всего читаешь в газете? Конечно, телеграммы. Прочел я первую телеграмму из Одессы: «Вчера заболело холерой 230, умерло 160. Толмачев * приказал вызвать к себе всех старост еврейских синагог...» — и так далее. Ну, что касается Толмачева и старост еврейских синагог — это понятно. Это для меня не новость. На то он и Толмачев, чтобы, так сказать, интересоваться еврейскими синагогами. Меня же занимает холера в Одессе. Обращаюсь к своему соседу (он идет тут же, по тому же тротуару; нельзя ведь быть грубияном?!).

— Как вам нравится Одесса? — говорю. — Опять холера!

— Быть не может! — отвечает он.

Меня это задело: как это «быть не может»? Перечитываю ему телеграмму из Одессы, напечатанную в моей газете: «Вчера заболело холерой 230, умерло 160. Толмачев приказал вызвать к себе всех старост еврейских синагог...» — и так далее. Сосед выслушивает меня и отвечает: «А вот посмотрим...» И шмыг носом в свою газету. Меня это взорвало. «Что же вы думаете, говорю, в вашей газете другие телеграммы?» — «Кто его знает», — отвечает он сквозь зубы.

Это меня, разумеется, еще больше задело.

«А может быть, в вашей газете другая Одесса, другая холера и другой Толмачев?» — говорю я.

На это он мне ничего не отвечает, только усиленно ищет в своей газете телеграмму из Одессы. Поди поговори с таким бревном!

Нет! В дороге есть лучший способ убить время — картишки, «шестьдесят шесть».

Карты, вообще говоря, большой соблазн. Это вы, конечно, знаете. Но в дороге карты — спасение. В поезде перекинешься в картишки и не заметишь, как время пролетит. Разумеется, для этого нужна хорошая компания, иначе в беду попадешь, избави боже. Главное, не наскочить на шайку картежников, которые только и высматривают фраера, чтобы обобрать его как липку. Шулера обычно трудно отличить от порядочного человека. Напротив, эти молодчики выглядят большей частью невинными младенцами, прикидываются тихонями, составляют между собой «блат», горячатся при проигрыше, пока наконец не втянут вас в игру. Тогда они дают вам возможность выиграть и раз, и другой, и третий, а затем карта изменит вам, и вы начинаете проигрывать, и вот тогда вы готовы. Будьте уверены, вы уж не уйдете от них, пока не проиграете часов вместе с цепочкой, всего, что имеет какую-нибудь ценность! Вы чувствуете, что имеете дело с шайкой шулеров, и все же, как овечка, лезете прямо волку в пасть. О, я знаю этих молодцов! Я дорого заплатил за эту науку!.. Я мог бы рассказывать и рассказывать об этом. Когда поездишь с мое, всего наслушаешься...

Знаю я, например, историю с кассиром, который вез с собой чужие деньги — и крупные. Уселся он с такой компанией и продулся в пух и прах так, что даже выброситься из вагона собирался.

А вот история с одним молодым человеком из Варшавы, до этого он жил на хлебах у тестя, и все приданое теперь было при нем; спустил он его до копейки и тут же на месте грохнулся без чувств.

Знаю я еще историю со студентом, который ехал на праздники домой в Черниговскую губернию, вез с собой жалких несколько рублишек, добытых в поте лица летними уроками. Дома его ждала старуха мать и больная сестра.

Как видите, все эти истории имеют одинаковое начало и одинаковый конец, и никто не знает их так хорошо, как я. Меня теперь не проведешь. Дудки! Один раз обжегся — довольно. За версту я вам узнаю эту братию, сразу скажу, что это за птица. У меня уж такое правило: с незнакомыми в карты не играть. Озолотите меня, в дороге не сяду играть с компанией. Разве только вдвоем в «шестьдесят шесть». В «шестьдесят шесть», ах, с величайшим удовольствием! Вдвоем в «шестьдесят шесть» — пожалуйста, какая тут может быть опасность? Да к тому же — собственными картами, кого мне бояться? У меня всегда при себе колода карт. Как талес и филактерии у доброго еврея, так у меня колода карт, простите за сравнение.

Признаюсь: люблю «шестьдесят шесть». «Шестьдесят шесть» — это еврейская игра. Не знаю, как вы, но я играю по-старому — с двадцатью и сорока. Девятка меняется. Есть взятка — могу крыть, нет взятки — крыть не могу. Благородно, не правда ли? Так играют все евреи. Так мы играем дома, и так я играю в дороге. Что касается меня, то я могу засесть — в дороге, разумеется, — за «шестьдесят шесть» и просидеть так день и ночь, играть и играть без устали. Не люблю только, когда стоят за спиной и заглядывают мне в карты, не люблю, когда дают советы, как мне идти, крыть или не крыть. Еще скажу вам по совести, наши евреи, да простит мне господь, пренеприятный народ. При евреях трудно сыграть в «шестьдесят шесть»!

Вас тотчас же окружат со всех сторон, начнут заглядывать вам в карты, давать советы, как пойти, и все они умеют играть в «шестьдесят шесть»! От них никуда не спрячешься, никак не избавишься. Ну, как мухи летом! Сколько их ни гони, как ни брани их: «Да кто вас, дядюшка, спрашивает?», «Послушайте, уважаемый, кто вас сюда звал?», «Сударь, не торчите над головой, ведь несет от вас!..» — ничего не помогает, как об стену горох!

Из-за одного такого советчика случилась с нами однажды беда; мы еще счастливо отделались. Не могу удержаться, должен вам рассказать.

Это было зимой, и тоже в дороге, вагон был битком набит. Жарко, как в бане. Мест мало, а пассажиров, не сглазить бы, уйма. Как звезд на небе. Сидят голова к голове, негде иголке упасть. И тут мне бог посылает партнера, можно составить «шестьдесят шесть». Это был простой еврей, неразговорчивый, но его так же тянуло сыграть в «шестьдесят шесть», как и меня. Мы ищем место, где бы положить колоду карт, — но места нет, хоть умри! Тут господь пришел нам на помощь. Как раз напротив нас на другой скамейке растянулся монах в смушковом тулупе; лежит лицом вниз и дрыхнет. Храпит — дай ему бог здоровья — на весь вагон. Взглянул я на моего партнера, партнер — на меня, словно сговорились. А монах был жирный, гладкий, откормленный, тулуп мягкий, — сам бог велел на таком сыграть в «шестьдесят шесть». Недолго думая разложили колоду карт у монаха на этом самом месте — и пошла игра.

Как сейчас помню, козырем были пики: у меня валет, дама, козырный король, туз трефей, король бубен. Шестая карта, шестая карта... забыл, не то валет червей, не то дама червей — кажется, валет червей. А может быть, и дама червей. Впрочем, это не важно. Главное, у меня на руках прямо-таки божественные карты: чистых сорок, — верных три очка! Вопрос только в том, с какой карты пойдет мой партнер. «Сходи он с трефей, — думаю я, — вот был бы умница! Я бы его полюбил за это».

Так оно и вышло. Мой партнер думал, думал (господи боже мой, что он там придумает?) и пошел как раз с десятки трефей. Расцеловать бы его! Однако у меня такая манера, когда я играю в «шестьдесят шесть», не люблю пороть горячку, как другие. Лучше потихоньку да полегоньку! Времени хватит! Люблю иногда и позабавиться. Тру лоб, делаю недовольное лицо. А что мне, пусть партнер радуется, пусть думает, что мои дела плохи... Но поди знай, что за спиной у тебя стоит какой-то еврей — стать бы ему столбом! — и заглядывает в твои карты, чтобы у него глаза повылазили! Увидев десятку треф, он вырывает у меня из рук трефового туза, бьет десятку и, ударив ладонью по колоде карт, лежащей на спине у монаха, как заорет:

— Крыто!

. . . .

Десятью водами я от этого монаха отмыться потом не смог. Проклятья, которыми он нас осыпал, да обрушатся на его голову. Он угрожал, что на первой же станции сойдет и отправит телеграмму самому Пуришкевичу. Ну, что вы скажете?

Но не в этом суть. Я лишь, между прочим, хотел вам показать, что иногда приходится испытать в дороге такому заядлому игроку, как я, ради партии в «шестьдесят шесть». Сама же история, которую я хочу вам рассказать, только начинается. Послушайте-ка!

Дело было зимой, как раз в это время, в праздник хануки *, тоже в поезде. Ехал я в Одессу и вез с собой деньги, порядочную сумму, — дай бог нам обоим зарабатывать столько каждый месяц. У меня такое правило: если у меня при себе деньги в дороге, я не сплю. Правда, воров я не боюсь, потому что деньги я держу, видите где, вот здесь, в боковом кармане, в хорошем бумажнике, завязанном двумя тесемками. Никакой вор туда не доберется. Черта с два! Но все же в наше время... хулиганы, экспроприации. Кто его знает?.. Сижу я, значит, один, то есть не совсем один, есть еще пассажиры, но не евреи. Какое мне до них дело? Не с кем сыграть в «шестьдесят шесть»... И вот сижу это я, пригорюнившись, и мечтаю о партнере.

Вдруг открывается дверь, — это было еще за много станций до Одессы, — и входят два пассажира. И, представьте себе, как раз наш брат — евреи. Я еврея сразу узнаю, пусть он хоть двадцать один раз оденется как настоящий русский и говорит не только по-русски, но даже по-турецки. Один из этих пассажиров был постарше, другой помоложе, и оба были в таких хороших шубах и хороших шапках, что просто загляденье! Поставили они чемоданы и, сняв шубы, и шапки, закурили — предложили и мне папиросу — и разговорились. Сначала, как водится, по-русски, а потом по-еврейски. «Откуда едете, куда?» — «А вы куда едете?» — «В Одессу». — «И я в Одессу». Стало быть, все втроем едем в Одессу. То — другое, завязался разговор. «А знаете, какой у нас сегодня праздник?» — «Какой?» — «Неужто забыли? Ханука!» — «Ах, ханука! Да в хануку ведь сам бог велел в картишки перекинуться, в «шестьдесят шесть»!» — «Правильно!» Молодой человек встает, извлекает у старика из кармана колоду карт и говорит ему: «Папаша, в честь хануки — партию в «шестьдесят шесть».

Ага, значит, это — отец и сын! Интересно посмотреть, как отец с сыном играют в «шестьдесят шесть». Я бы и сам не прочь сыграть в «шестьдесят шесть», да ведь поддаваться соблазну нельзя. Достаточно и того, что я буду смотреть, как другие играют...

Перевернули чемодан, поставили его между колен и роздали карты. Итак, у отца первая рука, у сына вторая рука, играют в «шестьдесят шесть». Сижу в сторонке, заглядываю старику в карты. А старик, словно невзначай, спрашивает меня, играю ли я в «шестьдесят шесть». Я, конечно, рассмеялся: хорошее дело, я, можно сказать, сам игру эту выдумал, а он спрашивает, играю ли я в «шестьдесят шесть». И вот сижу я в сторонке и смотрю, как они оба, отец и сын, играют в «шестьдесят шесть». Смотрю — и едва сдерживаю себя: старый хрыч делает такие ходы, что можно помереть со смеху. Ну, представьте себе: у человека два козыря с девяткой — две большие пики и одна трефа, — пошел бы ты с трефей, прикупил бы еще козыря, чтобы иметь сорок, и, очень может быть,

крыл бы игру. Нет, он пошел с младшей пики и остался, как болван, с голой десяткой пик! А сынок, сокровище это, прикрыл, разумеется, игру, козырнул раз и другой, как бог велел, забрал десятку пик, объявил «двадцать», и будьте здоровы. Три очка в кармане.

Ну и ходы у папаши!

В следующей партии он играл еще хуже, прямо возмутительно! Послушайте-ка: у человека есть уже шесть очков, только одного очка не хватает. А у партнера, то есть у сына, всего лишь два очка. На руках у старого хрена целых три козыря и «двадцать». И вот он кроет и не спешит отыграть поскорей козыри, — нет, он объявляет сразу «двадцать». Тогда партнер, то есть сын, забирает у него эти «двадцать» козырем и еще какой-то картой и сам объявляет «двадцать» — и три очка готовы! Меня это прямо взорвало: это называется сыграли в честь хануки! Нет, я больше не могу! «Простите, пожалуйста, — обращаюсь я к старому чудаку, — у меня правило не вмешиваться в чужую игру, но все же хотелось бы знать, какой смысл был в том, что вы прикрыли игру? Нет, вы скажите мне, какой у вас был расчет? В самом деле, если у вашего партнера разные масти, то ведь ваше дело в шляпе. А вдруг у него золотая карта? Ну и пусть на здоровье! Чем вы тут рискуете — одним очком, но у вас их целых шесть, а у него только два! Нет, это прямо преступление!» Молчит старый пес, а сынок, наследничек, улыбается: «Да, папаша у меня, говорит, играет слабо, совсем слабо. Папа не умеет играть в «шестьдесят шесть». — «Вашему папаше, — говорю я, — нельзя играть в «шестьдесят шесть». Разрешите-ка мне сыграть в «шестьдесят шесть»!» Но это старое животное ни за что не хочет уступить и продолжает игру. И делает такие ходы, что можно лопнуть. С трудом удалось мне наконец упросить старого черта, чтобы он уступил мне место только на две-три партии. «Разрешите и мне, говорю, сделать доброе дело в честь хануки».

«Почем играем?» — спрашивает меня сынок. «Почем хотите». — «По одному?» — «Давайте по одному,

но с условием, — говорю я шутя, — чтобы ваш папаша не заглядывал вам в карты и не давал, упаси боже, советов...» Расхохотались мы тут все и стали играть. Сыграли одну партию, другую, третью. Везет мне невероятно, не сглазить бы. Мой партнер горячится. Он хочет, говорит, учетверить ставку. Хочешь учетверить — давай учетверим! И опять сел. Тут уж он вовсе разошелся — хочет играть на четвертную. Тогда выскакивает папаша, «праведник» этот, и заявляет, что он этого не допустит. Но сынок на него, конечно, нуль внимания, и мы сыграли на четвертную. Опять он проиграл. Старик чудак рассвирепел, вскочил с места, но сейчас же опять сел, заглядывает мне в карты, напевает и все шмыгает носом. А партнер мой горит, как в лихорадке. Чем больше он проигрывает, тем сильней горячится, а чем сильней горячится, тем больше проигрывает. Старый индюк вне себя. Он кричит, ругается, заглядывает мне в карты, напевает и все шмыгает носом. А сынок — умница эта — проигрывает партию за партией, прогорает вконец. «Клянусь жизнью, — говорит ему отец, — ты больше не играешь!» — «Папа, — умоляет его сын, — еще только одну партию, не больше, вот с места не встать мне, только одну!» — «Только одну партию, — говорю я старому мерзавцу, — разрешите ему еще одну...»

Словом, карты розданы, — ну, слава богу, он выиграл. Я и сам рад, что он выиграл. Но он, оказывается, желает сыграть еще одну партию. Ну, что же! Нельзя ведь быть грубияном, когда он так проигрался... А после этой партии — еще одна, и еще одна, и еще одна. Что вам сказать, — счастье повернуло в его сторону. «Ну, — говорю я старому злодею, — почему вы теперь не ругаете своего наследника?» — «Я уж дома с ним посчитаюсь. Он меня попомнит!» — отвечает старый мошенник, а сам не перестает заглядывать мне в карты, напевать, покашливать и шмыгать носом. Мне с самого начала не понравилось его заглядывание в карты, пение, покашливание и шмыганье носом. Но покуда карта шла, я не придавал этому значения. «Пой себе, кашляй, шмыгай носом!» Теперь же, когда счастье повернулось ко мне спиной, я стал

прислушиваться к этому пению, кашлю и шмыганью, нет ли здесь какого-нибудь подвоха. Тем временем карты опять розданы. Я все проигрываю и проигрываю. То и дело отхожу в сторону, отстегиваю боковой карман и вытаскиваю сторублевку за сторублевкой. Плохо дело, уже светает. Вдруг старый бандит хватает меня за руку. «Клянусь, — говорит он, — я вам не дам больше играть; ведь это ваши последние сто рублей!» Я, понятно, вскипел: «Откуда вы знаете, что последние?..» И ему назло ставлю целую сотню.

Лишь когда я спустил все до нитки и остался чистеньким, голеньким, как мать родила, так что больше ставить на карту было нечего, а партнер застегнулся на все пуговицы (щечки у него раскраснелись), только тогда я стал осматриваться — на каком же это я свете. Сердце мое чуяло, что я попал в болото, запутался в сетях. Мне уже сдавалось, что отец — вовсе не отец, и сын — не сын. Подозрительными показались мне взгляды, которыми они обменивались, не понравилось мне также, как сынок встал, отошел в сторону и как пошел за ним отец. Старик как будто шепнул что-то молодому, а молодой, я готов поклясться, что-то сунул старику в руку...

Первая моя мысль была: «Не выброситься ли мне из окна?» Но потом я подумал: «Нет, лучше уж им нож в горло или пулю в сердце, а не то просто броситься на них, схватить за глотку и душить, душить». Но что тут поделаешь, когда я один, а их двое? А поезд все идет, колеса стучат, голова у меня кружится, в груди огонь... Что теперь будет? Не успеешь оглянуться, и мы уже в Одессе. Что я буду делать? Куда пойду? Что скажу?.. Смотрю, мои молодчики берутся за чемоданы. «Где мы?» — «В городе, именуемом Одессой», — говорят они. Хватаюсь за карман — даже носильщику нечем заплатить! Меня холодный пот прошиб. Слезы навернулись на глаза, руки затряслись. Подхожу к старому живодеру. «У меня к вам, говорю, просьба. Хоть двадцать пять рублей...» — «Почему же вы обращаетесь ко мне? Попросите у него!» — отвечает старый разбойник, показывая на молодого. А молодой жулик покручивает усы, делает

вид, что не слышит. Паровоз свистит. Стоп — мы в Одессе. Вы уже сами понимаете, что первым из вагона выскочил я. И крик там поднял тоже я. Я кричал, что было сил: «Жандарм! Жандарм!» Не прошло и секунды, как предо мной вырос жандарм, потом еще два жандарма, да еще три жандарма. Однако младший негодяй уже успел смыться, осталась только старая развалина, которого я крепко-крепко держал за руку, чтобы он не убежал. Ну, конечно, со всего вокзала сбежался народ, настоящее столпотворение! Пригласили нас обоих в отдельную комнату. Там я рассказал всю историю с начала до конца. Не пожалел и слез, излил всю душу. Мой рассказ, должно быть, всех тронул, и на старого фокусника сразу же насели, чтобы он выложил всю правду! Но где там! Он, оказывается, ничего знать не знает и ведать не ведает. Я не я и лошадь не моя! Что за «шестьдесят шесть»? Какие карты? Какой сын? У него сына никогда и не было. «Этот человек не в своем уме», — говорит старый плут и показывает на голову, что я, мол, не совсем здоров... «Ах, вот как, — говорю я. — Тогда попробуйте-ка его хорошенько обыскать». И вот взяли его и раздели, простите, догола — нету ни карт, ни денег. Всего-то у него оказалось наличными двадцать два рубля и семьдесят копеек. И выглядел он таким несчастным, таким невинным агнцем, что я уж и сам начал сомневаться, в своем ли я уме. Может, мне приснилось, что они отец и сын, что я играл с ними в «шестьдесят шесть» и спустил целое состояние? Чем все это кончилось? Не спрашивайте. Давайте лучше, чтобы разогнать мрачные мысли, сыграем партию в «шестьдесят шесть», в честь хануки...

Так закончил свой рассказ пассажир — весьма приличный человек, может быть такой же коммивояжер, как и я, а то и купец. И вот уже колода карт у него в руках, и он уже тасует их, кому ходить первому. «Почем играем?»

Смотрю я на этого субъекта — что-то уж очень ловко он тасует карты, чересчур ловко и быстро. И очень уж у него белые руки, слишком белые и хо-

леные. И недобрая мысль мелькает вдруг у меня в голове.

— С удовольствием, — говорю я, — сыграл бы с вами партию в «шестьдесят шесть» в честь ханукки, но я, право, не знаю, с чем это едят. Что это, собственно, такое «шестьдесят шесть»?

Мой собеседник посмотрел мне прямо в глаза, едва заметно улыбнулся и, вздохнув, без звука опустил карты обратно в карман.

На первой же остановке его не стало. Я не поленился обойти два раза все вагоны из конца в конец, но его и след простыл.

Конец рассказа № 11.

РАССКАЗ № 12

Гимназия

Зима. Напротив меня сидит человек средних лет. Рыжеватая бородка серебрится проседью. Бобровая шуба не первой свежести.

Разговорились...

— Самый заклятый враг, знаете, — обращается он ко мне, — не сделает вам того, что сам себе человек может натворить! Особенно, если в дело вмешается женщина, то есть жена...

О ком я, думаете, говорю? О себе самом. Взять, к примеру, меня... Казалось бы, если взглянуть со стороны, — человек как человек, на носу у меня не написано, имею я деньги или не имею... А вдруг я и вовсе ко дну пошел! Возможно, что в свое время я и был при деньгах, но дело не только в них, деньги — ерунда! Дело в заработке — почетном и спокойном. Я не из тех, что шумят, гремят, как некоторые другие, которые любят фи-фу-фа!.. Нет!.. Я придерживаюсь того мнения, что лучше, когда все идет тихо, чинно... Я тихо и чинно торговал, несколько раз тихо и чинно объявлял себя банкротом, без лишнего шума улаживал свои дела с кредиторами, а потом снова помаленечку да потихонечку приступал к делу. Есть, однако, господь на небе, — вот он и осчастливил меня, наградил супругой... (Ее здесь нет, и, стало быть, можно

говорить откровенно). Жена, в сущности, такая же, как и все жены. На вид очень даже «ничего себе»: особа, не сглазить бы, раза в два крупнее меня, недурна собой, красавица, можно сказать! Неглупа, умница, собственно говоря, мужская голова на плечах... Но вот это как раз и есть главный недостаток! Беда, говорят, тому, у кого жена за мужчину в дому! Будь хоть тысячу раз умна! А все-таки господь создал раньше Адама и только потом — Еву...

Поговорите, однако, с ней, — она на это отвечает:

— То, что бог создал раньше вас, а потом нас, — это его дело. Но в том, что у меня по его милости в пятке больше ума, нежели у тебя в голове, я не виновата!

— Это ты, — спрашиваю, — к чему говоришь?

— А к тому и говорю, что обо всем у меня должна голова сохнуть. Даже и о том, чтобы сына в гимназию определить, обязана думать я.

— А где это, собственно, сказано, что непременно в гимназию? По мне, он всю эту премудрость может и дома одолеть.

— Я тебе уже тысячу раз говорила, — отвечает она, — что тебе не удастся заставить меня жить наперекор всему свету! Нынче такая мода: дети должны обучаться в гимназии!

— По моему разумению, — говорю я, — твой свет попросту с ума спятил!

— Если бы весь свет жил по твоему разумению, — отвечает она, — хорошо бы он выглядел!

— Каждый поступает по своему разумению...

— Моим врагам и врагам моих друзей, — говорит она, — иметь бы столько в кармане, в сундуке и в шкафу сколько у тебя этого самого «разумения» в голове!

— Горе, — отвечаю, — тому мужчине, о котором судит женщина!

— Горе, — огрызается она, — женщине, имеющей мужа, о котором женщина должна судить!

Вот и столкуйся с женой! Вы ей про Авраама, а она вам про Адама. Скажешь ей слово, а она вам двенадцать сдачи. Попробуешь отмолчаться, а она как

расплачется... А не то возьмет и шлепнется, извините за выражение, в обморок!.. Тут уж я вам и вовсе не завидую! Словом, вы же понимаете, что в конце концов поставила на своем она! Давайте говорить начистоту: если она чего-нибудь захочет, так уж тут никакие отговорки не помогут!

В общем, что тут рассказывать! Началась канитель — гимназия! Нужно, стало быть, готовить мальчишку в «младший приготовительный»! Шутка ли, «младший приготовительный»! Такая премудрость! Казалось бы, самый ледащий мальчишка в хедере, карапуз, и тот всех их трижды за пояс заткнет! А тем более такой, как у меня: всю империю изъездишь — другого такого не найдешь! Конечно, я отец... Но у него голова на плечах — единственная на всем свете!

Короче говоря, мальчик пошел, держал экзамен и... не выдержал! В чем дело? Получил двойку по арифметике: слабоват, говорят они, в счете, в математике то есть...

Как вам нравится такая история? У парнишки, можно сказать, голова одна на всю империю, а они мне байки рассказывают: «математика»!

Однако факт — не выдержал! Досадно, конечно! Уж если пошел держать, пускай бы лучше выдержал. Но ведь я же не женщина, я, как мужчина, подумал: «Ко всем чертям! Нашему брату не привыкать стать...»

Но подите поговорите с моей женой, когда та вбила себе в голову: «Гимназия!» — и ничего больше знать не хочет.

— Скажи мне, — пробую я убедить ее, — голубушка, на что это тебе? Для заработка ему гимназия нужна, как собаке пятая нога; а чем плохо, если он будет лавочником, как и я, или таким же купцом, как другие? А ежели ему, упаси бог, суждено быть богачом или банкиром, — я тоже горевать не стану!

Но — говорите со стенкой! Она не слушает и толкует о своем:

— Пожалуй, даже лучше, что он не попал в младший приготовительный.

— Почему?

— Так! — отвечает она. — Сразу пойдет в старший приготовительный!

Ну что ж, пускай будет старший приготовительный. Подумаешь, какая важность, когда у мальчугана голова — одна на всю империю...

Чем же это кончилось? Когда дошло до дела — снова двойка! Правда, на этот раз не из-за математики... Новое несчастье: правописание хромает. То есть пишет он вообще как полагается, но на одну букву малость прихрамывает — на букву «five»! * Ставить это самое «ять» он ставит. Почему его не ставить? Беда только, говорят они, что он ставит его не там, где надо...

Понимаете, какое несчастье? Прямо-таки не знаю, как я буду ездить в Полтаву или в Лодзь на ярмарку, если сын мой будет ставить букву «ять» не там, где им нравится!

Словом, когда нам сообщили эту добрую весть, жена моя стала землю носом рыть: бегала к директору, убеждала, уговаривала, клялась, что мальчик знает, умеет, может... Пусть его вызовут, пусть переэкзаменуют, пусть спросят снова... Но кто станет ее слушать? Вкатили двойку, да еще какую двойку — с минусом! И делай что хочешь!

Шум, крик:

— Помилуйте! Опять не выдержал!

— Ну, что же делать? — говорю я. — Жизни, что ли, решиться по этому случаю? Нам не привыкать стать...

Тогда она вспыхивает, начинает горячиться, ругаться, проклинать, как «они» умеют. Но уж это куда ни шло! Его, беднягу, жалко! Малыша! Прямо-таки душа болит! Помилуйте, такое горе: все вырядятся в белые пуговицы, а он нет...

— Глупенький! — говорю я ему. — Дурачок! Разве могут быть все на свете приняты? Должен же кто-нибудь и дома оставаться...

Тут налетает на меня жена:

— Утешитель нашелся! Кто тебя просит успокаивать мальчика такими умными речами? Позаботился

бы лучше о том, чтобы найти для него хорошего учителя, специально по русскому языку, по грамматике!..

Слыхали разговор? Значит, я уже двух учителей должен держать! Одного учителя, не считая меламеда, мало! Словом, говори не говори, а поставила на своем, конечно, она, а не я. Уж если она так захотела, значит, никаких отговорок...

В общем, что тут рассказывать? Наняли нового учителя, русского (не еврея, упаси бог, — фи!), настоящего русского, потому что грамматика для поступления в первый класс — это горше хрена! Шутка ли, грам-ма-ти-ка! Буква— «ять»! И чего только не натерпелись мы от этого богом данного учителя! Даже рассказывать совестно! Он всех нас с грязью смешивал, смеялся прямо в лицо! Например, когда нужно было учить с мальчиком грамматику, он ничего, кроме чеснока, выискать не мог: «чеснок», «чеснока», «чесноку», «чеснокою»... Черт бы его взял! Если бы не жена, взял бы я его за шиворот и вышвырнул бы за дверь ко всем чертям собачьим вместе с его хваленой грамматикой! Но ей все ладно: зато мальчик будет знать, где ставить букву «ять», а где не ставить.

Можете себе представить, что ребенка основательно помучили всю зиму, и весной ему опять нужно было идти на заклание.

Пришла весна, он пошел, держал и принес уже не двойку, а четверку и пятерку! Радость! Ликование! Поздравляю!

Впрочем, не торопитесь с поздравлениями: еще неизвестно, принят ли он, об этом мы узнаем только в августе. Почему не сейчас? Подите спросите их. Но что поделаешь? Нам не привыкать стать...

Наступил август. Вижу — моя места себе не находит, бегает от инспектора к директору, от директора к инспектору.

— В чем дело? — спрашиваю. — Чего это ты носишься, как затравленная мышь, от Шмуни до Буни?..

— Что значит «чего»? Ты что — с луны свалился? Не знаешь, что по нынешним временам творится в гимназиях с процентами?..

И действительно! Оказывается, не приняли! Почему? Потому, что не две пятерки. Если бы он получил две пятерки, он, может быть, был бы принят! Понимаете, — «может быть»! Как вам это нравится?

Я уже не говорю о том, какую сцену закатила мне жена. Но малыша мне жаль! Лежит, бедняга, уткнувшись лицом в подушку, и, не переставая, плачет.

Долго ли, коротко ли, — пришлось взять нового учителя, студента из той же гимназии, и стали готовить мальчика уже во второй класс, но по-другому, потому что второй класс — это дело не шуточное. Тут уже требуется, помимо математики и грамматики, и география, и чистописание, и сам не знаю, что еще!.. Хотя, с другой стороны, все это гроша ломаного не стоит! Уверяю вас, что любой трактат талмуда труднее всех этих наук, а может быть, и заковыристее... Но что прикажете делать? Наш брат привык...

И вот началась возня с уроками: только встал — за уроки! Помолился, закусил — за уроки; весь день — уроки. До поздней ночи только и слышишь, как он тарабанит: «именительный — дательный», «сложительный — вычитательный». В ушах трещит... Где там кушать? Какой там сон? Взяли, говорю, ни в чем не повинную душу и мучают ни за что ни про что!

— Ребенка, — говорю, — пожалейте! Как бы он не захворал!

— Типун тебе на язык! — отвечает она.

Короче говоря, он снова пошел на заклание и принес круглые пятерки! Да и что удивительного? У него голова — одна на всю империю!..

Казалось бы, все хорошо? Не правда ли? И тем не менее, когда вывесили списки принятых, оказалось, что моего среди них нет!

Шум, крик: «Как же так? Разбой! Круглые пятерки!!!» Вот она пойдет, вот она побежит, вот она их и так и этак!..

Словом, она и ходила и бегала — и добегалась до того, что ее попросили не морочить голову. А когда ее прогнали, она ввалилась в дом и подняла крик до самого неба:

— Что ж это значит? Какой же ты отец? Был бы ты настоящим отцом, преданным, любящим, как другие, — поискал бы какие-нибудь пути к директору, знакомства, связи!..

Как вам нравится такая бабья выдумка? Мало того что у меня мозги сохнут от своих дел, что голова у меня вечно занята сезонами и ярмарками, квитанциями и векселями, протестами и прочими несчастьями! Уж не хочешь ли ты, чтобы я обанкротился из-за твоей гимназии и твоих классов, которые у меня уже вот где сидят?

Ведь мы же, как говорится, всего только люди, а у каждого человека есть желчь. Нет-нет да и выпалишь... Но поставила на своем, конечно, она, а не я, потому что раз она захотела, стало быть, никаких отговорок...

В общем, что тут рассказывать? Я начал искать протекции, знакомства. Я унижался, терпел позор, потому что каждый спрашивает, — и правильно спрашивает! — в чем дело? Ведь вы же, реб Арн, говорят они, человек состоятельный, имеете всего-навсего одного-единственного сынишку... Куда же вас нелегкая носит? Что заставляет вас соваться с ним, куда не следует?.. Поди расскажи им, что есть у меня супруга, — жить бы ей до ста двадцати лет! — которая втемяшила себе в башку: «Гимназия, гимназия и гимназия!»

Однако и сам я, как видите, не из тех, кого за ручку водят: проторил-таки себе, с божьей помощью, дорожку куда следует, пробился к самому хозяину, то есть к директору в кабинет, и сел с ним толковать: так, мол, и так. С начальством я, слава тебе господи, говорить умею, за язык тянуть меня не надо.

— Что вам угодно? — спрашивает он и просит присесть.

— Господин директор, — говорю я ему тихо, на ухо, — мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться, и я хочу, а моя жена очень хочет!

— Что вам угодно? — спрашивает он снова.

Я подсел поближе и повторяю:

— Дорогой господин директор! Мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться, и я хочу! Но моя жена очень хочет!..

При этом я нажимаю на «очень», чтобы он понял... Но голова у него тупая, и он никак в толк не возьмет, чего я хочу.

— Так что же вам угодно? — спрашивает он уже сердито.

Тогда я осторожно сунул руку в карман, осторожно достал и говорю потихоньку:

— Извините, господин директор, мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться. И я хочу. Но моя жена *очень* хочет!

И еще сильнее нажимаю на «очень» и сую ему...

Словом, клюнуло! Он понял, в чем дело, достал какую-то книжечку и стал расспрашивать, как зовут меня, как зовут сына и в который класс я намерен его определить?

«Вот так и говори!» — думаю я и выкладываю: зовут меня Кац, Арн Кац, а сына звать Мойше, то есть Мошко, а определить его я хочу в третий класс. Тогда он мне отвечает: коль скоро меня зовут Кац, а сына звать Мойше, то есть Мошко, и поступить он хочет в третий класс, то я его должен привести в январе, и тогда он, наверное, будет принят. Понимаете? Совсем другой разговор! Не подмажешь — не поедешь!.. Нехорошо, правда, что не сейчас. Но что поделаешь? Велят ждать — надо ждать. Нам не привыкать стать...

Наступил январь. Снова началась кутерьма, беготня туда и сюда: не сегодня-завтра должно состояться собрание, совет то есть. Соберутся директор, инспектор и все учителя гимназии, и лишь после собрания, после совета, будет известно, принят он или нет. В доме все вверх дном: жены нет, обеда нет, самовара нет, ничего нет! Где же она, жена моя? В гимназии! Вернее, не в гимназии, а возле гимназии: бродит с самого утра на холоде, ждет, когда будут расходиться с собрания, то есть с совета.

Мороз трещит, вьюга на дворе рвет и мечет, а она топчется на улице и ждет! Интересная история! Знаешь, кажется, — раз обещано, значит — свято! Тем более... Понимаете? Но попробуйте поговорите с женщиной! Ждет час, другой, третий, четвертый... Все ребята уже по домам разошлись, а она все еще ждет. В общем, ждала, ждала и дождалась: отворились двери и выходит один из учителей. Она подскочила к нему и спрашивает, не знает ли он, чем кончилось собрание, то есть совет. «Почему же мне не знать? — говорит он. — Принято всего восемьдесят пять человек — восемьдесят три русских и двое евреев». Кто именно? Одного зовут Шепсельзон, а другого — Кац!

Услыхав фамилию Кац, моя благоверная стремглав прилетела домой с радостной вестью:

— Поздравляю! Слава тебе господи! Благодарю тебя! Принят! Принят!

А у самой слезы на глазах.

Мне, конечно, это тоже приятно, но плясать по этому поводу я не нанимался, — на то я и мужчина, не баба...

— Для тебя, вижу я, — говорит она, — это не такая уж большая радость?

— Из чего, собственно, ты это заключаешь?

— Ты вообще, — отвечает она, — не из горячих. Если бы ты знал, как ребенок волнуется, ты не сидел бы сложа руки! Давно бы уже позаботился о мундирчике, о фуражке и ранце, устроил бы вечеринку для друзей и знакомых...

— С чего это вдруг вечеринки? Что это — «бармицве» или помолвка? — говорю я спокойно, как подобает мужчине.

Тогда она вспылила и перестала разговаривать. А когда жена перестает разговаривать, то это в тысячу раз хуже руготни и проклятий. Потому что когда она проклинает, так хоть голос человеческий слышишь, а так... поди поговори со стенкой! Словом, о чем тут гадать? Поставила на своем, конечно, она, а не я, потому что раз она захотела, значит — никаких отговорок...

Закатили вечеринку, созвали родных и знакомых, мальчишку нарядили в прекрасный мундир с белыми пуговицами, в фуражку с финтифлюшкой на околышке — губернатор, да и только!

Его, малыша моего, бедняжку, прямо-таки осчастливили, будто новую душу в него вдохнули, оживили. Он сиял, говорю я вам, точно солнышко в июне! Гости пили и выражали пожелания: «Пусть учится на здоровье, пусть гимназию окончит и двигается дальше и дальше...»

— Ну, — говорю я, — это вовсе не обязательно... Окончит несколько классов, а там я его, бог даст, женю, с божьей помощью...

А жена ухмыляется и смотрит на меня во все глаза.

— Скажите ему, — говорит она, — что он жестоко ошибается: он все еще живет по старинке...

— Скажите ей, — отвечаю я, — дай мне бог столько добра, насколько старый порядок был лучше нынешнего...

— Скажите ему, — снова говорит она, — что он, да простит он мне...

Гости смеются.

— Ох, реб Арн, — говорят они, — жена у вас, не сглазить бы! Казак, а не жена!..

Тем временем хватили по рюмочке, нализались и так основательно, что пустились в пляс. Устроили круг, взялись за руки, мальчика поставили посередине и прыгали, можете себе представить, до самого белого дня. Утром пошли мы с ним туда. Пришли, конечно, ни свет ни заря. Ворота и двери на запоре, как говорится, ни одной бешеной собаки в бабьей молельне... Постояли на улице и основательно продрогли на морозе. Прямо-таки ожили, когда отворили двери и нас наконец-то впустили в помещение. Вскоре начали собираться ребятишки с сумками и ранцами на плечах: шум, гам, гомон, смех — столпотворение.

Между тем подходит к нам некто с золотыми пуговицами, видимо учитель, с листом бумаги в руке и спрашивает, что мне нужно. Я указываю на своего

парнишку, — привел, мол, учиться в хедер, то бишь в гимназию.

— В который класс? — спрашивает он.

— В третий, — отвечаю. — Недавно принят.

— Как его звать?

— Кац. Мойше Кац, то есть — Мошко Кац.

— Мошко Кац? — говорит он. — Такого у меня в третьем классе нет. Есть Кац, но не Мошко, а Мордух...

— Какой Мордух? — спрашиваю. — Мошко, а не Мордух!

А он мне: «Мордух!» — и тычет мне в лицо свою бумагу.

Я ему снова — «Мошко», а он мне «Мордух»! Словом, «Мошко — Мордух», «Мордух — Мошко»... «Мошковали» мы и «мордуховали» до тех пор, пока не выяснилось... Замечательная история: то, что полагалось мне, досталось другому! Понимаете, какая штука? Ошибка, вот и все. Приняли действительно Каца, но по ошибке — другого, не нашего! В городе у нас имеются две кошки... *

Что вам сказать? Нужно было видеть горе мальчика, когда ему пришлось снять финтифлюшку с фуражки! Ни одна невеста перед венцом столько слез не проливала, сколько в тот день пролил мой сынишка! Уж я и утешал его и грозился...

— Видишь? — сказал я жене. — Видишь, что ты натворила? Не говорил я тебе, что твоя гимназия для него зарез? Дал бы бог, чтобы все обошлось благополучно, чтобы ребенок не расхворался...

— Пусть мои враги хворают, если им так хочется! Мой ребенок обязательно должен попасть в гимназию! Если не в нынешнем году, так в будущем, если не здесь, так в другом городе! Но попасть он должен! Разве что я закрою глаза и уйду в могилу!

Слыхали разговор? И как вы думаете, кто поставил на своем? Я или она? Не будем себя обманывать: если она чего захотела, так уж тут никаких отговорок!

В общем, не буду больше растягивать, — повозился-таки я со своим сыном, весь свет из конца в конец

изъездили, во всех городах, где только есть гимназии, побывали, всюду держали, всюду выдерживали, и хорошо выдерживали, и нигде не попадали! Из-за чего? Из-за процентов!

Можете мне поверить, я сам на себя в то время смотрел, как на сумасшедшего: «Дурень! В чем дело? Чего это ты носишься из одного города в другой? На какого лешего тебе это нужно? Ну, а если он поступит, что тогда будет?» Нет, говорите что хотите, но настойчивость — великое дело! Меня и самого захватило нечто вроде азарта! И господь сжалился надо мной, наскочил я где-то в Польше на какую-то гимназию — «коммерческую», в которой принимают поровну евреев и неевреев, то есть пятьдесят процентов. Но с тем, однако, что каждый еврей, который желает определить своего ребенка, должен привести одного русского ученика. И если этот русский ученик выдержит экзамены и за него будет внесена плата, то есть «правоучение», тогда есть кое-какая надежда... Иначе говоря, вместо одного узла, надо таскать два... Понимаете? Мало того, что мозги сохнут за своего, я должен еще морочить себе голову за другого, потому что если, упаси бог, провалится «Исав», так ведь и «Яков» * летит в тартарары! И действительно! Покуда я отыскал какого-то сапожника по фамилии Холява, у меня глаза на лоб вылезли! А когда дошло до дела, мой Холява, думаете, не провалился, как Койрах? * И как раз по «Закону божьему»! Словом, мой вынужден был собственной персоной засесть и зубрить с ним «Закон божий»... * Спросите, какое отношение имеет мой сын к «Закону божьему»? Но об этом спрашивать нечего: у него голова — одна на всю империю! О чем же тут говорить!

Короче говоря, господь помог, наступил добрый, счастливый час: оба приняты! Думаете, теперь уже все? Пришла пора записаться и получить квитанцию, а моего Холявы нет! В чем дело? Отец, видите ли, не желает, чтобы его сын находился среди стольких евреев! Хоть режь его! Он говорит: на что это ему, когда перед ним и так все двери открыты и он может пойти куда хочет? Извольте доказать ему, что он не

5*

прав! «Чего же ты хочешь, пане Холява?» — спрашиваю я. «Ничего!» — отвечает он. Словом, нашлись добрые люди, затащили его в трактир, выпили с ним по рюмочке, да по другой, да по третьей... В общем, пока сын попал наконец в гимназию, пришлось-таки натерпеться. Но, слава тебе господи, я произнес молитву: «Благословен еси, что избавил меня...»

Приезжаю домой — новое несчастье! Что еще? Жена думала, думала и надумала: помилуйте, один-единственный сын, один глаз во лбу, и будет он где-то там, а она здесь? Для чего же ей тогда жить?

— Чего же ты, собственно, хочешь?

— Не знаешь, чего я хочу? Хочу, — говорит, — быть с ним!

— А как же дом?

— Дом, — говорит, — домом!

Что на это можно было ответить? Словом, она села и поехала с ним туда, а я остался один во всем доме. Да и какой же это дом? Такую бы жизнь моим врагам! И жизнь не в жизнь, и дела пошли кувырком. Все пошло прахом, а мы только и делаем, что письма пишем: я пишу ей, она отвечает, туда письма, сюда письма... «Привет дорогой супруге...»— «Привет дорогому супругу». «Ради бога, — пишу я ей, — чем это кончится? Ведь мы же всего только люди! Без хозяйки, прости господи...» Словом, помогло мне все это, как прошлогодний снег. Поставила на своем, конечно, она: уж если она захотела, значит — никаких отговорок...

Кончаю, в общем... Я все сломал, все разорил, с делом покончил, распродал все, превратился в нищего и перебрался туда, к ним. Приехал на место, стал приглядываться, принюхиваться, искать... Кое-как, с трудом, выбился, наткнулся на компаньона — купца, очень как будто бы порядочного человека... Да! Человек самостоятельный, в Варшаве на Налевках у него дело, староста в синагоге... Но по существу — аферист, жулик, карманник! Чуть не погубил меня. Сами понимаете, чем голова у меня была занята.

Между тем прихожу однажды домой, а сын меня встречает какой-то странный, чего-то краснеет, а фуражка без финтифлюшки.

— Скажи-ка, — обращаюсь я к нему, — Мойшеле, а где же твоя цацка?

— Какая цацка?

— Ну, бляха!

— Какая бляха?

— Которая на фуражке. Ведь только на праздники купили фуражку с новенькой блямбой...

Еще пуще покраснел мой парень и отвечает:

— Снял...

— Что значит «снял»? — спрашиваю я.

— Я свободен! — говорит.

— Что значит — ты «свободен»?

— А мы все свободны... — отвечает он.

— Что значит — вы «все свободны»?

— Мы уже не ходим...

— Что значит — «мы уже не ходим»?

— Мы сговорились, чтобы больше не ходить... — отвечает он.

— То есть как это, — спрашиваю, — «сговорились»? Что еще за сговоры? Ради этого я положил столько трудов и денег? Собою жертвовал ради тебя, чтобы ты потом «сговаривался»? Горе тебе, и мне, и всем нам! Хоть бы обошлось все это и нас миновало, потому что всегда ведь и за все мы в ответе!..

Говорю я все это и начинаю горячиться, мораль читать, как обыкновенно отец с детьми разговаривает... Но ведь имеется еще и жена, дай ей бог долгие годы! Прибежала и обрушилась на меня: я, мол, уже выдохся, понятия не имею о том, что на белом свете творится... Жизнь, говорит, нынче стала иной, умнее прежнего, наступили времена свободы, равенства, нет больше богатых и бедных, господ и рабов, кончились овечки и стригуны, ушли в прошлое и собачка-гав, и кошка-царапка, и мышка-кусачка...

— Те-те-те! — говорю я. — Откуда у тебя, супруга моя дорогая, такие странные речи? Новый какой-то язык, новые слова... Может быть, ты бы и кур выпустила из клетки: «Киш-киш на свободу»?

Вспыхнула она, будто я на нее десять ведер кипятку вылил, и — пошла, да так, как они умеют... Ну, ничего не попишешь, надо выслушать всю речь до конца, да вот беда — конца-то как раз и не видать...

— Знаешь что? — говорю я. — Довольно! Хватит! Каюсь: виноват, согрешил, и кончено, и пусть будет тихо!

Но она ничего слушать не хочет.

— Нет, — говорит она, — мне хочется знать, почему, отчего, как же это так, мыслимо ли это, возможно ли, что это значит, как это могло случиться, и опять-таки и снова... . . . .
. . . .
. . . .

— Скажите на милость, кто это выдумал... жену?

Конец рассказа № 12.

РАССКАЗ № 13

С призыва

— Откуда я еду? — обратился ко мне высокий, тощий бородатый человек в плисовом картузе. Он только что кончил молитву и складывал свои талес * и тефилн. — Откуда я еду? Ох, горе мое горькое, из воинского присутствия. Вот этот молодой человек, что растянулся на скамье, — мой сын. Едем мы с ним из Егупца, с адвокатами советовались, а заодно и у профессоров побывали — послушать, что они скажут. Ох, и наградил же меня господь! Четыре раза призывался, а конца все еще не видно... А сын — один-единственный, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник... * Что вы на меня уставились? Удивляетесь? А вот послушайте.

История этого происшествия... Тут вот какая вышла оказия. Сам я межеричанин, из Межерича. То есть уроженец я, как говорят, Мазеповский, а приписан в Воротиловке. Когда-то, не теперь будь сказано, я жил в Воротиловке, а теперь живу в Межериче. Кто я такой и как меня зовут, вам, я думаю, безразлично. Но имя моего сына я должен вам сообщить, потому что это имеет отношение к делу, и не малое! Имя его Ицик, то есть Авром-Ицхок, но зовут его Алтер *. Это жена, дай бог ей здоровья, так назвала

его, потому что он у нас один-единственный и дрожим мы над ним... Был у нас, собственно, еще один сын, моложе этого года на полтора. Звали его Айзик. Но с ним случилась беда: в детстве его однажды оставили одного в доме (я тогда, не теперь будь сказано, жил еще в Воротиловке), а он подобрался к кипящему самовару, опрокинул его на себя и ошпарился насмерть! С тех пор Ицик, то есть Авром-Ицхок, остался у нас один, и жена дала ему еще одно имя — Алтер.

Вы, пожалуй, спросите: как же так? Один-единственный сын,— какое же отношение он имеет к воинской повинности? В том-то и дело, это-то и досадно! И может быть, вы думаете, что он, упаси бог, здоровенный парень, как это бывает с теми, что растут в роскоши? Ошибаетесь! Вы за него и ломаного гроша не дадите. Дохлятина! Квелый! Он, правда, не больной, но и здоровым его никак назвать нельзя! Жаль, он сейчас спит, я не хочу его будить. Вот проснется, тогда увидите, что это за фигура: кожа да кости, долговязый, тощий, лицо с фигу, вобла, а вытянуло его, как жердь... Весь в нее, в жену то есть, та тоже высокая да тощая, субтильная то есть... Вот я и спрашиваю: приходилось ли мне думать о солдатчине, когда он явно не годен и, кроме того, имеет льготу первого разряда?

Однако подошло время призыва, и — где там «льгота», какая, к шуту, льгота? Ничего подобного! В чем дело? А очень просто: второго мальчика, Айзика, который в детстве, не про вас будь сказано, ошпарился самоваром, видимо, забыли вычеркнуть из метрических записей. Я, разумеется, кинулся к нашему казенному раввину *, к этому болвану, и обрушился на него:

— Разбойник! Злодей! Что вы со мной сделали? Почему не вычеркнули Айзика?

— А кто такой был Айзик? — спрашивает меня этот дурень.

— То есть как это? Вы не знаете, кто такой Айзик? Мой сын, тот самый, который опрокинул на себя самовар!

— Какой самовар?

— Здравствуйте пожалуйста! Откуда вы свалились? Ну и голова у вас! На такой башке хорошо орехи щелкать!.. Кто же не помнит историю с моим Айзиком, который ошпарился? Не понимаю, какой же вы казенный раввин? Религиозных вопросов вы не решаете, — на то у нас есть духовный раввин, да продлятся годы его! Казалось бы, могли бы вы взять на себя хотя бы наблюдение за покойниками! Иначе на что вы здесь вообще нужны с вашей таксой?..

И что же в конце концов оказалось? Зря обругал я раввина, потому что история с самоваром случилась не в Межериче, ведь это же было, когда я, не теперь будь сказано, жил в Воротиловке. Понимаете, какое дело? Ну, просто выскочило из головы!

Короче говоря, что тут долго рассказывать, — покуда я возился со всякими бумагами, мой Авром-Ицхок, то есть Ицик, которого зовут Алтер, потерял свою льготу! Нет больше льготы!

Нет льготы? Беда! Крик, шум... Как же так? Единственный сын, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник — и без всякой льготы! Но что уж тут, — пиши пропало!

Однако велик наш бог! Пошел мой Алтер, то есть Ицик, и вытащил по жеребьевке самый крупный номер — 699! Все воинское присутствие так и ахнуло. Сам «принцедатель» хлопнул моего Ицика по плечу: «Браво, Ицко, молодец!» Весь город мне завидовал: шутка ли, номер 699! Счастье! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо! И вам того же! Можно было подумать, что я двести тысяч выиграл...

Однако нашлись друзья-приятели... Дошло дело до «приема», — как стали браковать, так по сей день и бракуют: все вдруг превратились в убогих, несчастных калек, у одного один изъян, у другого — другой...

Словом, что тут долго рассказывать, — дошло и до 699-го номера, и мой Ицик, то есть Алтер, должен был явиться на прием наравне со всеми сапожниками и портными...

В доме у меня плач, — не плач, а сплошные вопли! Светопреставление! Жена убивается, невестка падает в обморок.

— Помилуйте, где же это слыхано! Единственный сын, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник — и без малейшей льготы!

А он, сын то есть, и в ус не дует, как будто не его все это касается: «Как все, так и я!» Хорохорится, понимаете, шутит, а у самого небось поджилки трясутся...

Однако велик наш бог! Вводят моего Ицика, извините, голенького, доктор начинает его осматривать, измерять вдоль и поперек, щупать, трогать. Но что там смотреть? Никуда он, пес этакий, не годен! (То есть вообще-то он годен, но в солдаты не годится.) Не хватает двух с половиной вершков в груди! Не годен, белый билет...

Снова радость, снова торжество:

— Поздравляем! Поздравляем!

— Спасибо! Дай вам бог счастья!

Созвали всю родню, поставили вино, пили-выпивали... Слава тебе господи, покончили с воинской повинностью!..

Однако опять-таки нашлись друзья-приятели... Отыскался какой-то негодяй, который в губернию настрочил донос, будто я «смазал»... И что же вы думаете, не прошло и двух месяцев, как прибывает бумага: губернское присутствие просит моего Ицика, то есть Алтера, пожаловать еще разок на испытание...

Как вам нравится такая радостная весть? Веселая история! Опять жена убивается, невестка в обморок падает: помилуйте, как же так! Дважды призывался, единственный сын, настоящий, безусловный, чистый перворазрядник!

Словом, что тут долго рассказывать: приглашают в губернию, — стало быть, нельзя быть свиньей — надо ехать... Приезжаем. Я стал бегать туда-сюда, искать протекции, добрых людей... Но кричи не кричи, поди расскажи кому-нибудь: единственный сын, нездоровый к тому же... Смеются! А сын? Краше в гроб кладут! И не потому, что он боится. Наплевать ему, говорит он, на это освидетельствование. «Если суждено мне служить, — говорит он, — пойду служить!» Он, видите ли, страдает за нас, наших мучений он видеть не может, особенно его угнетает, что женщины

наши все это так близко к сердцу принимают: как ни говори, губернское присутствие... Мало ли что? А вдруг... Ведь это же судьба, так сказать... Лотерея...

Однако велик наш бог! Ввели моего Ицика, то есть Алтера, в губернское присутствие голенького, извините, в чем мать родила, и снова начали с азов осматривать его вдоль и поперек, щупать, стукать... Ну, что там смотреть? Никуда он, пес этакий, не годен (то есть вообще-то он годен, но в солдаты не годится). Один из членов присутствия попытался, правда, заявить: «Годен!» Но доктор его тут же оборвал: «Не годен!» И вот один твердит: «Годен!», другой: «Не годен!» «Годен!» — «Не годен!» Пока сам губернатор не поднялся с места, посмотрел и сказал:

— Совершенно не годен!

Иначе говоря, ни к черту он не годится! Я тут же отправил домой телеграмму, конечно иносказательную: «Поздравляю! Товар окончательно забракован».

И вот должно же на мое счастье случиться так, что моя телеграмма попала не ко мне домой, а к моему двоюродному брату, однофамильцу, богачу и порядочной, извините, свинье. Удивительного, правда, тут нет ничего, он торгует волами, недавно отправил в губернию партию скота и ждал телеграммы — глаза все проглядел! Можете себе представить, каково у него было на душе, когда ему вручили мою депешу: «Товар окончательно забракован». Я думал, он съест меня живьем, когда я вернулся домой. Нахальство! На что способен богач, свинтус, торгующий волами! Мало того что он перехватывает чужие телеграммы, так я же, выходит, еще и виноват!..

Теперь вернемся снова к тому времени, когда я, не теперь будь сказано, жил в Воротиловке, а мой Ицик, то есть Алтер, был еще совсем ребенком.

В один прекрасный день в городе затеяли какую-то ревизию, что ли... Ходили из дома в дом и переписывали всех от мала до велика: как звать, сколько лет, сколько детей, мальчиков и девочек, как их зовут... Когда дошло до моего Ицика и спросили, как его звать, моя жена, дай ей бог здоровья, возьми да и брякни:

— Алтер!

А переписчику и дела мало: говорят «Алтер», он и записал: «Алтер».

И вот через год после освидетельствования в губернии прибывает новая весточка: разыскивают моего сына Алтера и приглашают его в Воротиловку — отбывать воинскую повинность! Вот так история! Даже не снилось! Здравствуйте пожалуйста! Новая личность — реб Алтер!

Короче говоря, что тут долго рассказывать, — зовут Ицика, то есть Алтера, снова отбывать воинскую повинность! Жена убивается, невестка падает в обморок: как же так? Где же это слыхано! Ведь это же — весь мир изъездить из конца в конец... Единственный сын, чистый, настоящий, безусловный перворазрядник, должен три раза подряд являться в воинское присутствие! Но говори по-турецки, говори по-татарски, а толку-то что? Тогда я сунулся к нашему «обществу», поднял крик и с трудом добился, что десять человек согласились присягнуть и подписаться в том, что им известно, что Ицик — это Авром-Ицхок, и что Алтер, Ицик и Авром-Ицхок — это одно и то же лицо!

Получив такую бумагу, я отправился с ней в Воротиловку. Приехал туда — встречают как дорогого гостя! Как поживаете, реб Иосл? Что поделываете у нас? Но я говорить не хочу, на что это мне? Лучше, если об этом знать не будут.

— Ничего, — говорю, — мне тут к одному барину надо...

— Насчет чего?

— Насчет проса. Купил просо, дал задаток, а не видать ни проса, ни задатка; нет, как говорится, ни бычка, ни веревочки!

И отправляюсь прямо в присутствие. Прихожу и застаю там писаря, из тех, знаете ли... Подаю мою бумагу. А он прочитал, да как вспылит, да как швырнет бумагу, да как накинется.

— Ступайте, — говорит, — ко всем чертям с вашими именами и со всеми вашими еврейскими фиглями-миглями! Отвертеться хотите, жиды-мошенники! Авром превращается у вас в Ицхока, Ицхок —

в Ицика, а Ицик — в Алтера! Нет, голубчики, у нас эти штучки не пройдут! Шахер-махер...

Ну, думаю, коль скоро речь зашла про «шахер-махер», значит он насчет целкового намекает... Достаю монету и хочу сунуть ему в руку.

— Извините,— говорю я тихонько,— ваше высокоправожительство!..

А он как вскочит с места да как закричит:

— Взятки?!

Сбежались другие писаря и, что тут рассказывать, выставили меня... Вот несчастье! Надо же было мне напороться на бессребреника!

Положим, это так только говорится: «бессребреник»... Нашел я человечка, через которого он все-таки берет... Но помогло это, как мертвому припарки. Тем и кончилось, что есть, мол, у меня еще сын по имени Алтер. Так что извольте его представить в Воротиловку для отбывания воинской повинности! Хорошо, не правда ли?

Как я пережил тот год, — сам не пойму! Крепче железа надо быть! Хотя, с другой стороны, чего я, глупец этакий, боюсь? Призывайте хоть десять раз,— я-то ведь знаю, что никуда он, пес этакий, не годится! (То есть как сказать... Вообще-то он годится, но в солдаты не годен.) Тем более что его уже два раза забраковали. Но опять-таки думаешь: чужой город, в присутствии полно «бессребреников», — мало ли что может случиться?..

Однако велик наш бог! Мой Алтер, то есть Ицик, снова тянул жребий, снова явился на прием, и господь бог совершил чудо: Воротиловское присутствие тоже сказало: «Не годен!» — и выдало ему белый билет. Так что у нас уже, с божьей помощью, два белых билета!

Приехали домой — радость и веселье! Устроили пир, созвали чуть ли не весь город, плясали до утра... Кого мне теперь бояться? И кто может сравниться со мной? Царь!

Теперь вернемся к моему Айзику, царство ему небесное, тому, который в детстве опрокинул на себя самовар. Сейчас услышите интересную историю.

Понимаете, поди будь пророком и угадай, что замечательный казенный раввин в Воротиловке забыл вычеркнуть покойного из метрических книг. Оказалось таким образом, что за мной числится долг — сын Айзик, который обязан призываться в нынешнем году! Вот так бомба! Несчастье какое-то на мою голову! Какой может быть Айзик? Тот уже давным-давно на том свете!

Толкую об этом с нашим казенным раввином, советуюсь, как быть? А он говорит:

— Нехорошо!

— Почему, — говорю, — нехорошо?

— Потому, — отвечает он, — что Айзик и Ицик — одно и то же имя.

— Как же это, умник мой дорогой, Айзик и Ицик одно имя?

— А так, — отвечает он. — Ицик — это Ицхок, Ицхок — это Исак, Исак — это Изак, а Изак — это Айзик...

Хороша притча, не так ли?

Короче говоря, что тут рассказывать! Требуют Айзика! Душу мне выматывают, чтобы я представил Айзика в воинское присутствие! Дома снова стон стоит! Да что там стон — вопли! Причитания! Во-первых, жена вспомнила об умершем, растревожила старые раны.

— Лучше бы, — говорит она, — он был жив и теперь отбывал бы воинскую повинность, нежели лежать в земле и чтобы косточки его гнили...

А во-вторых, она боится, а вдруг раввин прав, и на самом деле Ицик — это Ицхок, Ицхок — это Исак, Исак — Изак, а Изак — Айзик... Что же тогда делать?

Так говорит жена и убивается, а невестка, как всегда, в обморок падает! Шутка ли, единственный сын, настоящий, безусловный перворазрядник, три раза призывался, имеет два белых билета, и все еще не покончил с воинской повинностью!

Взял я, как говорится, ноги на плечи и поехал в Егупец посоветоваться с хорошим адвокатом, а заодно прихватил и сына, чтоб побывать у профессора, послушать, что скажут: годен он или не годен, хотя

я и сам хорошо знаю, что никуда он, пес этакий, не годен (то есть, конечно, вообще-то он годен, но в солдаты не годится). А когда услышу, что скажет адвокат и что скажет профессор, я смогу спокойно спать и не думать больше о воинской повинности. Но что же оказалось? Оказалось, что и адвокаты и профессора сами ни черта не знают. Один говорит так, а другой — этак; то, что утверждает один, отвергает другой... С ума можно сойти! Вот послушайте.

Первый адвокат, к которому я попал, оказался каким-то тупоголовым, хотя и лоб у него большой и лысина во всю голову, хоть тесто на ней раскатывай. Он никак не мог в толк взять, этот умник, кто такой Алтер, кто такой Ицик, а кто Авром-Ицхок и кто был Айзик? Рассказываю ему еще и еще раз, что Алтер, Ицик и Авром-Ицхок — это одно лицо, а Айзик — это тот, который опрокинул на себя самовар, когда я еще жил в Воротиловке... Ну, думаю, теперь ему уже все ясно, а он вдруг спрашивает:

— Позвольте, погодите-ка, кто же из них старше: Ицик, Алтер или Авром-Ицхок?

— Вот тебе и на! — отвечаю. — Ведь я уже, кажется, пятнадцать раз говорил вам, что Ицик, и Авром-Ицхок, и Алтер — одно лицо, то есть настоящее его имя — Ицик, или Авром-Ицхок, но зовут его Алтер, это мать прозвала его так. А Айзик это тот, который опрокинул на себя самовар, когда я еще жил в Воротиловке...

— Когда же, — говорит он, — то есть в котором году призывался Авром-Алтер, то есть Ицхок-Айзик?

— Что вы лопочете? Ведь вы же все свалили в одну кучу! Впервые вижу, — признался я, — чтобы у еврея была такая дурацкая голова на плечах! Говорят же вам, что Ицхок, и Авром-Ицхок, и Ицик, и Айзик, и Алтер — это одно и то же лицо! Один человек! Один!

— Тише! — говорит он. — Не кричите, пожалуйста! Чего вы кричите?

Слышите? Он еще в претензии!..

Словом, плюнул я и пошел к другому адвокату. На этот раз попался адвокат головастый, даже

чересчур... Он тер лоб, рассуждал, всячески толковал законы, доказывал, что «на основании такой-то статьи» межеричское присутствие вообще не имело права приписывать моего сына. Но, с другой стороны, существует закон, по которому рекрут, приписанный к одному призывному участку, должен быть выключен из списков другого участка. И еще имеется такой закон: если одно присутствие приписало рекрута, а другое его не выписало, то есть не выключило, то оно обязано его выключить... Однако имеется «кассация», согласно которой присутствие, которое не желает выключить...

Короче, закон такой и закон другой, одна кассация и другая кассация... Заморочил он мне голову, и пришлось обратиться к третьему. И наскочил я на новенького, свежеиспеченного, адвокатишку... Очень приветливый человечек, а язычок, что колокольчик, — так и заливается. По всему видать, что он учится еще только говорить: трещит, а сам так и тает от удовольствия. Разговорился он, разгорячился, речь закатил. Однако перебил я его на самом интересном месте.

— Все это прекрасно! — говорю я. — Вы, конечно, совершенно правы. Но что мне от ваших причитаний, от того, что вы оплакиваете меня? Вы лучше посоветуйте, что мне делать с сыном, если его, упаси бог, снова призовут?..

В общем, что тут долго рассказывать, — в конце концов я попал к настоящему адвокату. Он из старых, он понимает, в чем суть. Рассказал я ему всю историю от начала до конца, а он сидел, прикрыв глаза, и слушал. Выслушал и говорит:

— Все? Кончили? Езжайте домой, чепуха! Больше трехсот рублей штрафа вам платить не придется.

— Это все? — спрашиваю. — Э-ге, если бы я знал, что дело сведется к тремстам рублям штрафа!.. Я за сына боюсь!

— За какого сына?

— Что значит «за какого»? За Алтера, то есть Ицика.

— А какое отношение это имеет к Ицику?

— Как это «какое отношение»? А вдруг его, упаси бог, еще раз потащат?

— Так ведь у него, говорите вы, белый билет!

— У него два белых билета!

— Так чего же вы хотите?

— Чего мне хотеть? Ничего я не хочу! Я только боюсь: ведь ищут Айзика, Айзика нет. А так как Алтер, то есть Ицик, записан Авром-Ицхоком, а Ицхок, как уверяет наш казенный раввин, этот умник, — это Исак, а Исак — это Изак, а Изак — это Айзик, то ведь могут сказать, что мой Ицик, или Авром-Ицхок, то есть Алтер, — это и есть Айзик?

— Ну и что же?— отвечает он. — Тем лучше! Если Ицик — это Айзик, так ведь вам и штрафа платить не придется. Ведь у него же белый билет?

— Два белых билета! Но билеты принадлежат Ицику, а не Айзику.

— Так ведь вы же говорите, что Ицик — это Айзик.

— Кто говорит, что Ицик — это Айзик?

— Да ведь вы же только что сказали, что Ицик — это Айзик!

— Я говорил? Как я могу это сказать, когда Ицик — это Алтер, а Айзик — это тот, который опрокинул на себя самовар, когда я еще жил в Воротиловке!

Вскипел мой адвокат и гонит меня.

— Ступайте, — говорит, — вы, — говорит, — надоедливый, нудный человек!

Понимаете, что это значит? Это значит, что я — нудный человек. Слышите? Это я-то нудный?! Я!!!

Конец рассказа № 13.

РАССКАЗ № 14

Нельзя быть добрым!

— Нельзя быть чересчур добрым! — говорит, обращаясь ко мне, солидный еврей с шишкой на носу и берет у меня папиросу. — Слышите, что я вам говорю? Нельзя быть слишком добрым! Я своей добротой, своим подлым, мягким характером натворил себе дел, вырастил несчастье в своем доме, два несчастья! Можете послушать!

Сподобил меня господь совершить доброе дело, послал мне двух сирот. Наказал меня бог, не дал мне своих детей, вот я и взял чужих, делал им добро, в люди вывел, а они платят мне теперь камнями.

Прежде всего я должен вам рассказать о девушке, откуда попала ко мне сирота. А тут вот какая история. У моей жены была когда-то сестра, младшая, звали ее Перл. И была она, Перл то есть, — ну, что вам сказать, красавица единственная в мире! Все они красивые, жена моя и сейчас еще красивая женщина. За красоту женихи брали их без приданого, озолотить готовы были. Но не об этом речь.

Когда свояченица моя вышла замуж, все говорили, что она попала на золотое дно, что выпало ей счастье, какое раз в сто лет случается: сын богатых родителей, которому предстояло наследовать деду-богачу, отцу-богачу и бездетному дяде, тоже богачу, — со

всех сторон богачи,— счастье! Но не об этом речь. Беда только, что сам молодой человек — черт его знает что! То есть вообще-то он довольно славный парень, не дурак и не невежда, человек добрый, приветливый, веселый, но — что же?— шарлатан. Да простит он меня, он уже на том свете... А именно? Что значит — шарлатан? Любил картишки. Но — как любил! Жизнь готов отдать! Ради карт готов был сто верст пешком пройти! Поначалу играл в «шестьдесят шесть», в еврейское «очко», в «стукалку», в «тертль-мертль» — в своей компании, раз в месяц, в долгие зимние вечера... Потом пошло все чаще и чаще, с какими-то подозрительными молодыми людьми, с бездельниками, лодырями... А надо вам знать, что там, где карты, там и всякое другое... Кто уж там думает о предвечерней молитве? Стоит ли говорить, что они сидят с непокрытой головой? Что нарушают субботу? И о других вещах, касающихся еврейства? И, словно назло, Перл, моя свояченица, была женщина набожная, благочестивая, и, конечно, она не могла терпеть его страсть к картам и лежала, бедняжка, целыми днями и ночами, зарывшись головой в подушку, и оплакивала свою жизнь, покуда не начала прихварывать, сначала не очень серьезно, а потом все сильнее и сильнее, — словом, Перл умерла. Но не об этом речь.

Перл умерла и оставила девочку лет шести-семи. Муж где-то у черта на куличках, в Одессе, и так втянулся в игру, что ничего не осталось от его денег, от денег отца и деда, — все пошло прахом! Похоже даже, что он попал в тюрьму, потом довольно долго где-то шатался, схватил какую-то странную болезнь и умер в горькой нищете. Вот вам вкратце итог жизни целой семьи, и вот таким образом осталась у меня их дочка, сиротка, Рейзл зовут ее. Взял я ее к себе совсем еще ребенком, потому что детей, понимаете ли, у меня нет, наказал меня господь, — ну, и пусть она будет за ребенка. Все было бы хорошо, да вот беда, — что слишком хорошо, то ни к черту не годится! У другого дяди такая девочка росла бы на кухне, была бы в помощь семье, ставила самовар, бегала куда пошлют и тому подобное, а у меня она жила,

как родное дитя, — то же платье, те же ботинки, та же еда, что и моей жене, — о чем говорить, — ела за одним столом с нами. Но не об этом речь.

Позднее, когда Рейзеле начала подрастать, я отдал ее к писцу учиться, и — от правды никуда не уйдешь — она была ребенком удачным, тихая, порядочная, добрая, умная, а хороша, как божий мир: я ее поистине любил, как родное дитя! Дети, как вы знаете, растут, как грибы: не успеешь оглянуться, а уже надо о женихе думать. И как назло племянница моя росла как на дрожжах, высокая, красивая, крепкая, — роза! Жена понемногу откладывала приданое — коечто из белья: сорочки, простыни, наволочки. Я, со своей стороны, иначе и не думал, как дать ей несколько сот рублей приданого, и девушке стали сватать женихов. Кого можно сватать такой девушке, сироте? Родителей у нее нет, отец у нее был, да простит он мне, не слишком порядочный человек, тысяч в приданое я ей дать не могу, — стало быть, надо подыскать ей ровню, молодого человека, который мог бы ее прокормить. Где же найти такого, когда на жениха из зажиточной семьи рассчитывать не приходится, а ремесленника я не хочу: все-таки она мне родня, дочь сестры моей жены! Однако бог послал мне паренька, приказчика лет двадцати с лишним, который уже зарабатывает очень прилично, прикапливает и имеет уже кое-какие деньги. Словом, поговорил я с парнем, — да, это пойдет, честное слово! Она ему нравится. Поговорил с ней — где там! Что там! Каменная стена! В чем дело? Не хочет она его и не нужен он ей — и все тут! Кто же тебя возьмет? Внук барона Гирша? Молчит, как стена! Смотрит вниз и молчит. Но не об этом речь.

Теперь я должен прервать рассказ посредине и рассказать вам новую историю, которая имеет отношение к этой истории, — то есть и та и эта составляют одну историю.

Был у меня младший брат, Мойше-Гершл. И произошла с ним такая история, — у меня история из сплошных историй, — не здесь будь сказано, ни про кого не будь сказано, был он однажды в пятницу

в бане и хотел облиться холодной водой, а схватил таз горячей, опрокинул его на себя и ошпарился! Промучился дней восемь и умер, оставив жену с одним ребенком — мальчиком лет шести, зовут его Пейся. Не прошло и полугода, как вдове стали сватать женихов. Меня это задело за живое, я пошел к ней, к моей золовке то есть, и сказал: «Если хочешь выйти замуж, отдай мне ребенка». Вначале она немного поломалась, не хотела якобы и слышать об этом, но, туда-сюда, уговорил я ее. Привезла она ко мне ребенка, а сама уехала куда-то в Польшу, вышла там замуж, и живется ей неплохо... Но не об этом речь.

Благословил меня, стало быть, господь еще и сыном. Я говорю «сыном», потому что я усыновил его, а мальчик оказался очень удачным, но что называется — удачным! Ведь он сын моего брата, и хвалить мне его не пристало, но можете мне поверить на честное слово, что второго такого Пейси не найти — не скажу во всем мире, но ни в нашем городе, ни в соседних городах и даже губерниях! Что, к примеру, вам угодно? Читать? Пожалуйста! Писать? Прошу вас! Считать? Может и считать! Не хотите ли французский язык? Говорит по-французски! Желаете скрипку? Играет на скрипке! И к тому же рослый, красивый, а язык у парня подвешен... И еще, и еще, и еще... Сказано: удачный, — что уж там говорить! А к тому еще я даю ему несколько тысяч в приданое, — ведь он же дитя моего брата, мною усыновлен, значит почти родной. И не из простого рода, слава богу! Достоин он хорошей невесты, не правда ли? И, конечно, предлагали ему самые прекрасные партии, а я, разумеется, привередничал. А как же? Так это просто отдать такого молодца? Но не об этом речь.

Словом, стали к нам свататься со всего света: из Каменца и из Елисаветграда, из Гомеля и из Лубен, из Могилева на Днепре и из Бердичева, из Каменки и из Брод... Золотом меня осыпали: десять тысяч, и двенадцать тысяч, и пятнадцать тысяч, и восемнадцать тысяч, — я не знал, куда кинуться. Тогда я подумал: зачем мне соваться на чужбину, неизвестно куда и к кому? Лучше, как говорят, свой сапожник,

нежели чужой раввин! Есть у нас в городе богач, а у него — единственная дочь с добрыми несколькими тысячами приданого, да и сама девушка очень славная, и отец хочет породниться со мной, — почему бы не состояться такому сватовству? Не так ли? Тем более что сватов у нас, слава богу, два, и бегают они туда и обратно, от меня к тому, от того ко мне, и подгоняют меня, чтобы все это было поскорее, им некогда, видите ли, у них у самих дочери на выданье, да еще угостил по заслугам... Но не об этом речь.

Словом, решено было, чтобы мы встретились для сговора. Но ведь нынешние времена не то, что прежние. Когда-то, бывало, просватают молодых за глаза, придешь домой, поздравишь — и дело с концом. А нынче такая мода, что прежде всего надо переговорить с молодыми, чтоб повидались и сказали, нравятся ли они друг другу... Да и говорить незачем, они и сами встречаются... Тем лучше, стало быть. Вот я и спрашиваю своего парня: «Нравится ли тебе, Пейсеню, такая-то?» А он покраснел, как маков цвет, и не отвечает. «Ну что ж, думаю, промолчал — все равно что сказал... Ответа нет — тот же ответ». А что покраснел, наверное, застыдился. И решено было, что встретятся вечером, сперва, как водится, у невесты, а потом — у меня. Казалось бы, чего еще надо? Стало быть, пекут пряник и готовятся к ужину, как полагается. Но не об этом речь.

И бысть день, встаю утром, а мне подают письмо. Откуда? Какой-то извозчик привез. Беру письмо, вскрываю, начинаю читать, — в глазах у меня потемнело. Что за письмо? Сейчас услышите. Пишет мне мой Пейся, чтобы я не обижался за то, что он уехал вместе с Рейзл... Понимаете? Без нашего ведома пожениться... Слышите? Чтобы я даже и не пытался искать их, потому что они уже далеко отсюда... Чувствуете? А когда они, бог даст, обвенчаются, как положено по закону, они вернутся... Как вам нравится такое письмецо? Ну, о жене моей говорить не приходится, она трижды падала в обморок, потому что она ведь виновница скандала: Рейзл-то ведь ее племянница, а не моя.

— Вот тебе, — говорю я, — вырастила змею на свою голову...

И выместил на ней все, что у меня было на сердце, угостил по заслугам... Но не об этом речь.

Незачем мне вам рассказывать, вы сами понимаете, как меня это жгло и пекло. Помилуйте, берут чужого ребенка, нищую, раздетую сироту, воспитывают ее, хотят осчастливить, а она вот что делает, — совращает на скользкий путь сына моего брата... Я кричал, топал ногами, волосы на себе рвал, чуть с ума не сошел! Но, с другой стороны, подумал я, чем тут поможет мой гнев? Чего я добьюсь, топая ногами? Надо что-то предпринимать, — авось удастся предупредить, помочь. Прежде всего я бросился к «начальству», подмазал, где следует, и заявил, что жила у меня племянница, такая-то и такая-то, что она меня обокрала, сманила моего сына (он ведь был усыновлен) и вместе с ним удрала неизвестно куда. Затем я стал сорить деньгами, разослал депеши во все концы света, во все города и местечки нашей округи... И бог помог, их поймали. Где поймали? Как раз недалеко от нас, в небольшом городишке. Поздравляю вас!

Когда прибыла добрая весть, что их поймали, мы с начальством сели и поехали прямо в то местечко. Не стану рассказывать о поездке, я все время боялся: а что, если они уже успели обвенчаться, — тогда ведь все пропало, как говорится — ни телка, ни веревочки... Однако бог пришел на помощь, мы приехали, — они еще не венчались. Но тут вдруг новое несчастье: так как я заявил, что меня обокрали, то их, пока суд да дело, посадили. Посадили, стало быть,— мне это опять нехорошо, я поднял шум, что обокрала меня она, то есть племянница, а он, сын то есть (ведь он считался моим сыном), — чист. Но когда его хотели выпустить, Пейсю то есть, он заявил: «Если крали, то крали мы оба!» Слыхали? Это она, чертовка, его надоумила так говорить. На что способна, этакая тварь!.. Ну, скажите, можно ли быть добрым? Нужно ли жалеть бедную сироту? Я вас спрашиваю, стоит она того? Что говорить! Немало крови попортил я, покуда вызволил их, потому что ради него я должен был

и ее оправдать. И мы вернулись домой. Но не об этом речь.

Разумеется, что к себе в дом я ее больше не пустил, нанял ей квартиру и стол у ее же родственника, в деревне, звать его Мойше-Меер, человек простецкий, деревенщина. А моего Пейсю я взял домой и стал его уговаривать.

— Помилуй, — говорю, — я приписал тебя, как родного сына, хочу тебе дать несколько тысяч приданого, делаю тебя наследником всего, что у меня есть, а ты устраиваешь такой скандал!

— А что за скандал? — отвечает он. — Она вам такая же племянница, как я племянник. Та же самая знать.

— Что ты равняешься к ней? — говорю я. — Твой отец был мой родной брат и порядочный человек, а ее отец, да простит он мне, был шарлатан и картежник...

Смотрю, жена падает в обморок, начинается тарарам, разговоры... Что такое? Она не может слышать, зачем я так говорю о муже ее сестры? Они оба уже на том свете, надо их оставить в покое. Слыхали?

— Но ведь он, — говорю я, — да простит он меня, все-таки был негодяем!

Она снова — в обморок! Беда, да и только: в своем собственном доме слова сказать нельзя! Но не об этом речь.

Короче говоря, взял я своего Пейсю как следует в руки, стал наблюдать за ним, смотреть в оба, чтобы он снова не устроил мне тот же фокус. И господь мне помог, сын пошел по правильному пути, дал себя уговорить и сделался, в добрый час, женихом, хоть и не ахти какой невесты, но все же из порядочного дома, дочери человека с именем, с приданым, с... Ну, в общем, как мне подобает... И я был на седьмом небе. Хорошо, не правда ли? Не торопитесь однако, сейчас услышите историю.

Прихожу однажды домой обедать, умываюсь, сажусь за стол, благословил хлеб, смотрю — нету Пейси! Промелькнула мысль: а вдруг опять тягу дал? Принимаюсь за жену: «Где Пейся?» — «Не знаю!» — го-

ворит. Поел, побежал в город, туда-сюда, никто не знает! Послал гонца в деревню, к родственнику, к Мойше-Мееру, узнать, как поживает Рейзл? А он отвечает мне письмом, что она еще вчера уехала в город, на могилу матери. Я начал действовать. Выместил все, что было на сердце, как всегда, на жене, потому что все несчастья из-за нее, — ведь это же ее племянница! Но не об этом речь.

Побежал в полицию, повсюду разослал депеши, людей погнал, сорю деньгами, — нету, точно в воду канули! С ума схожу, кричу, хлопочу, извожусь — не помогает! В общем, прошло три недели, чуть с ума не сошел! Вдруг прибывает письмо с поздравлением: они уже, слава богу, обвенчались в добрый час, теперь они уже больше меня не боятся. Слыхали? Теперь за ними больше не погонятся и клеветать не станут. Понимаете? Они любят друг друга с детства и теперь добились всего, чего хотели. А на какие шиши они будут жить? Нечего о них беспокоиться: он готовится к экзамену, чтобы поступить в университет и учиться на доктора, а она учится на акушерку. Слыхали разговор? А пока они оба дают уроки и зарабатывают, с божьей помощью, до пятнадцати рублей в месяц. Квартира стоит им шесть с полтиной, восемь они платят за стол, а в остальном — бог поможет! Слыхали? «Ну-ну, думаю, станете помаленечку дохнуть от голода, тогда ко мне придете, а уж я покажу вам, кто старше». А жене я говорю:

— Теперь видишь, что значит гнилой корень? От такого отца, шарлатана, картежника, и ждать ничего хорошего нельзя было!

И тому подобные колкости отпускаю, а она хоть бы словом обмолвилась.

— Ведь ты же, — говорю я, — когда-то в обморок падала, когда я говорил о твоем шуряке, что же ты теперь не падаешь?

Но — разве стена отвечает? Вот так же и она молчит.

— Думаешь, — говорю, — я не знаю, что ты на их стороне, что ты заодно с ними? Что все это от тебя и идет?

Молчит, ни слова не отвечает. Да и что она может ответить, когда чувствует, что я прав? Знает, что мне досадно, — чем я заслужил, чтобы мне за мою доброту так платили? Но не об этом речь.

Думаете, это все? Погодите, еще не то услышите.

Словом, прошел год. Письма они пишут, но о деньгах не упоминают. И вдруг прибывает поздравление: она родила мальчика, и меня приглашают на обряд обрезания!

— Поздравляю тебя с радостью твоей! — говорю я жене. — Шутка ли, такое торжество!.. И имя ему дадут в память твоего замечательного шуряка...

Не отвечает, но побелела, как стена, оделась и ушла из дому. Думаю, сейчас придет. Жду час, жду два, жду три, жду четыре, уже вечер наступает, уже глубокая ночь — нет ее! Интересная история, хоть и короткая! Словом, что тут говорить, — уехала она к ним и вот уже скоро два года не приезжает и приезжать не думает! Слыхали что-нибудь подобное? Сначала ждал, может быть напишет, а когда увидел, что ждать нечего, сам написал ей письмо: «Как же так? Что скажет мир?» А она отвечает, что ее мир там, возле ее детей. Слыхали разговор? Внучек, который родился, — его зовут Гершеле, по имени моего брата, — ей дороже всех миров! Другого такого Гершеле, говорит она, не сыскать, хоть изъезди весь мир из края в край! И желает мне состариться в богатстве и чести одному, без нее. Слыхали разговор?..

Я пишу ей еще и еще раз и заявляю твердо, что не буду высылать ей ни гроша! А она отвечает, что деньги ей не нужны. Слыхали? Тогда я снова пишу, что лишу ее наследства и все свои деньги завещаю в пользу общины! А она не поленилась и отвечает, что не имеет ко мне никаких претензий. Понимаете? Что она живет там у детей в почете, дай бог дальше не хуже, потому что Пейся поступил уже в университет, а Рейзл уже скоро акушерка, что зарабатывают они уже чуть ли не семьдесят рублей в месяц. Понятно вам? А что касается наследства, то я могу все свое состояние пожертвовать хоть сегодня кому угодно, хоть на церковь! Слыхали разговор? А кончает она

тем, что я просто сумасшедший! Что люди в меня пальцами тыкают за то, что я проделал. «Что за беда,— пишет она, — в том, что сын твоего брата женился на дочери моей сестры? Что тебе не пристало, дурень этакий?» Слыхали? «Посмотрел бы на ребенка, на Гершеле, как он пальчиком показывает на дедушкин портрет и говорит: «Де-дя!» — ты бы сам себе три оплеухи закатил...» Понимаете? Так пишет она мне оттуда. Но не об этом речь.

Ну, разве не надо быть крепче железа? Как вы думаете, не жжет меня, когда я прихожу домой и верчусь один в четырех стенах? Начинаю раздумывать, для чего я живу, скажите, пожалуйста, на белом свете? За что мне такой конец? За что мне такая старость? За что? За мою доброту? За мой подлый, мягкий характер!..

Извините меня, как заговорю об этом, у меня от досады слезы на глаза набегают, и не могу, не могу, я говорить!

Ох, нельзя быть слишком добрым! Слышите? Нельзя быть чересчур добрым!

Конец рассказа № 14.

РАССКАЗ № 15

Погорелец

— Наши евреи, — разглагольствует один из пассажиров, а другие слушают, — наши евреи, знаете ли, — да не накажет меня бог за такие речи, — народ горячий, беспокойный... С евреем хорошо кушать кугл, читать молитвы из одного молитвенника да еще лежать на одном кладбище... А в общем, черт бы их взял совсем!

Вы спрашиваете, отчего это я так раздражен и почему так зол на евреев? Навалились бы на вас мои горести, поступили бы с вами так же, как со мной, — вы бы на людей бросались и дубиной колотили. Но я не из тех, что ссорятся со всем миром! Я рассуждаю так: где мое не пропадало? Или как там сказано: всяк живет по-своему. А значит это — пускай господь бог с ними счеты сводит и черт бы их батьку взял!

Вот послушайте! Сам я, не про вас будь сказано, богуславский, из местечка Богуслав. Местечко маленькое, да удаленькое, — из тех, о которых говорят: погуще бы их сеяли, да пореже бы они всходили... Если хотят кого-либо хорошенько наказать, — не надо его посылать в Сибирь... Зачем? Сослать бы его лучше к нам в Богуслав, сделать его лавочником, открыть ему кредит, чтобы он мог хорошенько обанкротиться, а потом — чтоб у него случился пожар, чтоб сгорело все

до последней нитки, а богуславцы говорили бы, что это он сам «благословил создателя светил огненных» для того... Понимаете, конечно, что эти люди могут выдумать, и не только выдумать, но и написать куда следует... Черт бы их взял совсем!

Отсюда вам должно быть ясно, с кем вы дело имеете. Перед вами несчастный человек, трижды несчастный, потому что на нем тройной груз: во-первых, я еврей, во-вторых, богуславский житель, а в-третьих, богуславский погорелец, да еще какой погорелец! Я, понимаете ли, в нынешнем году погорел. Но как погорел! Как соломенная крыша! Выскочил прямо-таки, «яко стрела из лука», то есть в чем мать родила... И, как бывает в таких случаях, меня как на грех дома не было! Где же я был? Неподалеку, в Таращe, у сестры на помолвке. Была шикарная помолвка, с ужином, с очень солидными гостями, — не чета богуславским паршивцам! Можете себе представить, когда одной водки было выпито полтора ведра, не считая пива и вина. Короче говоря, прекрасно проводили время, так сказать, по соизволению божьему... И вдруг получаю телеграмму: «Жена болен, дети болен, теща болен, очень опасно»! Ну, я, конечно, — ноги на плечи и — восвояси. Приезжаю домой — весело! Ни тебе дома, ни тебе лавки, ни товара, ни подушки под голову, ни рубахи нательной, «с чем пришел, с тем и ушел», — сиречь: был бедняком и остался нищим... Жена, бедная, убивается, да и дети, на нее глядя: некуда голову приклонить! Хорошо еще, что было застраховано, и как следует застраховано! И вот тут-то, понимаете ли, собака и зарыта!.. Но это бы еще с полгоря. Вся беда в том, что это уже не в первый раз: я уже, надо вам знать, однажды горел, тоже ночью и опять-таки в мое отсутствие... Но тогда все это, слава богу, обошлось благополучно: явился инспектор, переписал сгоревшее барахло, оценил убытки, поладили честь честью, десяткой больше — десяткой меньше, и черт бы его батьку взял, — и дело с концом!..

Но это было тогда. А на сей раз прислали инспектора, господи спаси и помилуй! Зверь зверем! И — на

мое счастье — бессребренник! Не берет, и делай что хочешь! Вот он и ищет, и рыщет, и роет, и копает... Добивается, чтобы я ему разъяснил, как это загорелось, отчего и насколько сгорело? И почему никаких следов не осталось?

— Вот именно! — говорю я. — И я о том же спрашиваю! Поди требуй ответа от господа бога!

— Нет, — отвечает он. — Тут что-то не так... И не думайте, что вы скоро получите от нас деньги!..

Как вам нравится такой умник? Он, понимаете ли, меня букой стращает. Точно так же, как следователь наш, который хочет поймать меня на слове. Нашел тоже младенчика.

— Скажи-ка, Мошко, — говорит он, — скажи, любезный, отчего ты каждый раз горишь?

То есть, чтоб я ему объяснил, отчего и почему...

— От пожара, — отвечаю, — ваше благородие! От пожара и горю...

— А почему, — спрашивает он, — ты застраховался как раз за две недели до того, как погорел?

— А чего же вы хотели, пане, чтоб я застраховался через две недели после пожара?..

— А почему это тебя как раз дома не бывает, когда ты горишь?

— А если бы я в это время дома сидел, вам было бы легче?..

— А почему тебе телеграфировали, что дети больны, что жена больна, что теща при смерти?

— Это для того, чтоб я скорее приехал...

— Почему же тебе не писали правду?

— Это для того, чтобы я не испугался...

— В таком случае, — говорит он, — я понимаю, что ты за птица... Да будет тебе известно, что я тебя посажу...

— За что? Про что? — спрашиваю. — Что вы имеете против меня? Берете человека, ни в чем не повинного и губите его! Фокус, что ли, зарезать человека? Хотите резать — режьте! Но не забывайте, что есть на свете закон и бог...

— Ты еще о боге будешь разговаривать! — вскипает он. — Ах ты, такой-сякой!..

Но чего мне бояться? Я чист, как золото! Как сказано: «Не придирайся попусту», что означает: кто чеснока не ест, от того и не пахнет... И черта твоему батьке, — и дело с концом!

И все было бы хорошо, но на то и Богуслав! Может разве вытерпеть богуславец, когда кто-то получает деньги за здорово живешь? И пошли писать бумаги, то есть доносы. Многие посылали по почте, другие потрудились явиться собственной персоной в страховое общество и донесли, что это я сам устроил «возжигание светил»... Понимаете, на что способны негодяи? Я, мол, нарочно уехал в ту ночь из дому, чтобы... Придумали, мерзавцы!.. И что никогда у меня не было столько товара, сколько я указываю, и что счета и книги, которые я представил, дутые, и что они могут доказать, как дважды два... И еще всякие поклепы, черт бы их батьку взял!

Но кто, скажите на милость, слушает их, когда я все-таки чист, как стеклышко! То, что они говорят, будто я сам поджег, — вообще чепуха! Ведь даже ребенок понимает, что уж если кто-нибудь намерен проделать такую штуку, то сам он этого делать не станет... Всегда найдется такой посланец из «ангелов услужающих», который проделает это за трешницу... А что? Не так ли? А у вас как? А то, что они говорят, будто я нарочно уехал из дому, — просто глупости! Ведь была же помолвка у моей сестры! Есть у меня одна-единственная сестра в Тараще, она выдает замуж свою среднюю дочь, — так что же, не ехать мне к ней на помолвку? Хорошо так? А вы, я вас спрашиваю, как бы вы поступили, если бы у вас была единственная сестра и она выдавала бы среднюю дочь? Вы сидели бы дома и не поехали бы к сестре на помолвку? Нет, почему вы молчите? Или, скажем, я должен быть пророком и знать, что как раз в то время, когда моя сестра в Тараще выдает среднюю дочь, у меня в Богуславе случится пожар? Ведь это же счастье, что было застраховано! Я и страховался из-за нынешних пожаров. Как только лето наступает, житья нет от пожаров в местечках! Пожар за пожаром — то в Мире, то в Бобруйске, то в Речице, то в Бело-

стоке... Горит народ! Вот я и подумал: «Все люди братья», — все горят, а я где же? К чему мне, дураку набитому, рисковать лавкой, надеяться на чудеса, когда я могу застраховать? А уж если на то пошло, почему не застраховать как следует? Как это говорится: «Свинину жрать, так чтоб по бороде текло!» Черт его не возьмет, это «общество», авось оно из-за моих нескольких рублей по миру не пойдет! И шут с ним, — и дело с концом!

И вот пошел я честь честью к своему агенту и говорю:

— Слышь, Зайнвл, так, мол, и так... Народ горит, к чему мне рисковать? Хочу, чтоб ты застраховал мою лавку.

— Серьезно? — спрашивает он и поглядывает на меня с этакой странной усмешечкой...

— Что это, — говорю, — ты, как лошадь, зубы скалишь?

— Я очень рад, — отвечает он, — и мне очень жаль...

— Что значит, ты рад и тебе жаль?

— Жалею я о том, — отвечает он, — что однажды вас застраховал, и рад тому, что в другой раз я вас страховать не буду...

— А в чем дело? — спрашиваю.

— А в том, что вы уже меня однажды обманули.

— Когда я тебя обманул?

— А вот тогда, когда вы погорели...

— Прибавил бы хоть: не теперь будь сказано! Грубиян этакий!

— Не теперь будь сказано! Не здесь будь сказано! Ни про кого не будь сказано! — отвечает он и смеется мне прямо в лицо... На что архаровец способен!

Можете себе представить, что я нашел другое место, где застраховаться... Подумаешь, дело какое! «Мало ли падали в Египте!» То есть не хватает, что ли, «обществ» у нас? Батюшки! Агентов, как собак нерезаных! Нашел-таки молодожена. Он только что сошел с тещиных харчей, сделался агентом одного из «обществ» и искал работы... Ну, и как вы думаете? Конечно, он тут же застраховал меня и — на

целых десять тысяч... А почему бы и нет? Что же, не пристало мне иметь в лавке товару больше, чем на десять тысяч? «Товар в обороте!» То есть нынче нет, завтра есть... Правда, богуславцы утверждают, что у меня никогда столько товару не было. Но кто их слушает? Пускай доказывают, пускай говорят, пускай брешут, пускай лают, и черт бы их батьку взял, — и дело с концом!..

Хорошо еще, что в то время, когда я страховал лавку, в Богуславе об этом никто не знал, и потому все сошло благополучно... И лишь потом, когда случилось несчастье, то есть когда я погорел во второй раз, наши богуславские друзья-приятели ринулись к агентам. Где было застраховано? Кто страховал? И когда? И на какую сумму?.. А когда узнали, что на десять тысяч, подняли невероятный шум — до небес! Как так десять тысяч!.. Мойше-Мордхе получит десять тысяч рублей?! Тысяча чертей вам в зубы! А вам какое дело до того, что Мойше-Мордхе получит десять тысяч? Боитесь, а вдруг он лишний рубль заработает? А если бы Мойше-Мордхе потерпел убыток от пожара, вы бы ему возместили?.. Но на то и Богуслав! Город сплошных праведников, честных людей! Они, видите ли, не терпят несправедливости!.. Казалось бы, у вас на глазах человека постигло такое несчастье, — еле душу спас, терпит убытки... А если не терпит убытков, так что? То есть, конечно, столько бы им болячек, сколько я заработаю сверх... то бишь меньше десяти тысяч! Ну и что же? А если бы я все десять тысяч заработал? Так что? Что?.. У кого по этому случаю должна болеть голова? Человек горит, — пускай себе горит, горите тоже, сгорите совсем! Нет того, чтобы войти в положение: а может быть, это доброе дело? Может быть, человек обременен семьей? Может быть, он собирается выдать замуж дочь — замечательную девушку, со всеми достоинствами? Может быть, он еле дождался этого, а заплатить даже свату нечем? Может быть, у него сын — золотая голова, который горит желанием учиться, а учиться не на что? Может быть, человек мучается, последние соки из себя выжимает — и ради кого? Ради жены и детей! Этого никто в

расчет принимать не желает! Все со стороны заглядывают — авось бог смилостивится, то есть я хочу сказать: а вдруг, не дай бог, я на этом деле заработаю! С какой же стати мне такие заработки? И черт бы их батьку взял, — и дело с концом!

Однако скажу вам правду: то, что лавочники мне завидуют, не так еще досадно — на то они и бедняки. Но какое до этого дело богачам? Больше всех меня возмущает сынок нашего богача. Есть у нашего богача сынок, звать его «Мойше-мудрый чего скажет»... Славный такой паренек, горячий, неглупый, и сердце у него доброе: не терпит процентов, щедрый благотворитель, горой стоит за справедливость и вообще неплохой малый... Каждый раз при встрече он меня останавливает:

— Как обстоит ваше дело? Слыхал, что вы, бедняга, понесли большие убытки?

При этом он засовывает руки в карманы, выпячивает животик, смотрит телячьими глазами и делает такую мину, что хочется отхлестать его по щекам, прямо руки чешутся...

Однако приходится помалкивать, — ничего не поделаешь... Как это сказано: «Падали не касайся...» То есть хоть лупи себя по щекам, а кажись румяным... Дал бы только бог, чтоб следствие кончилось, — я еще, надо вам знать, под следствием состою: каждый раз меня вызывает следователь и задает всякие вопросы... Трогает это меня как прошлогодний снег, потому что, скажите сами, чего мне их бояться, когда я чист, как чистое золото! Но покуда суд да дело, с меня взяли подписку о невыезде, а я, как видите, только и делаю, что разъезжаю, богуславцам назло... «Всяк стучащийся пусть войдет и вкушает», то есть я хочу сказать: кто хочет, пусть едет за мной следом, пусть жалуется на меня господу богу, — черт бы их батьку взял, и дело с концом!

Вы, чего доброго, думаете, что, поскольку на мне такое дело, «общество» не хотело бы поладить со мной? Столько бы волдырей сыну нашего богача на дурацкую его рожу, сколько тысяч я мог бы получить! Вы, пожалуй, спросите, почему же я их не

получаю? Не знаете вы меня, стало быть! Я, надо вам признаться, человек лютый, меня голыми руками не возьмешь! Я иду своим путем: «Уж если началось падение», то есть коль скоро так случилось, «то пусть падает»: так пусть уж идет как идет. А следствие — следствием! Чего мне бояться? Я все-таки чист, как стеклышко! Плохо только, что деньги мои до поры до времени болтаются зря, а я пока что так стеснен — удавиться в пору! Вот это скверно, да и досадно, право! Ведь то, что я должен получить, я все равно получу, — ничего им не поможет! Так зачем же тянуть без толку? «Отдайте мне мои деньги! — твержу я. — Деньги мои отдайте! Разбойники! Не губите моих детей! Да и много ли я у вас прошу? Отдайте мне мои десять тысяч, — деньги моих детей! Разве это мои деньги? Ведь это же деньги моих детей! Так вот, отдайте мне их и оставьте меня в покое, и черт бы его батьку взял, — и дело с концом!..

Но что толку от моих разговоров, от моих криков? Пока что скверно, дальше некуда! От дела отбился, сватовство дочери приостановлено, приданого нет, детей учить надо, деньги расходуются каждый день... А мучения какие! По ночам не спишь. Бояться хоть и нечего, — ведь я все-таки чист, как золото! А тем не менее ведь мы же всего только люди: в голову лезут всякие мысли... Следствие... Прокурор... Богуславские соседи, которые готовы пойти в свидетели и присягнуть, что сами видели, как я ночью бродил по чердаку со свечой в руках... Шутите с богуславцами! Поверите ли, есть у нас некий Довид-Герш... Так вот, дай бог мне вместе с вами заработать столько, сколько денег я переплатил ему, чтоб не брехал... А так ведь как будто приятель, и человек порядочный, и улыбается тебе, и имя божье на каждом шагу поминает: если богу угодно будет, авось бог поможет... И черт бы его батьку взял, — и дело с концом!..

Теперь вы понимаете, что такое Богуслав? Теперь вам ясно, почему я так настроен? Погодите, пусть только бог поможет мне получить мои несколько рублей, — я с ними рассчитаюсь! Первым долгом пожертвую на городские нужды — не могу сказать сколько,

но уж не меньше, чем наши богачи. Уж я, будьте уверены, перед ними лицом в грязь не ударю! При вызове к свиткам торы служка провозгласит: «Пожертвовавшему синагоге десять фунтов свечей!» — да так, чтобы зазвенело, и пускай они лопнут от зависти! О больнице и о талмудторе* говорить нечего: жертвую дюжину бязевых рубах для больных, всем ученикам талмудторы — новенькие «арбеканфесы»... А уж потом я закачу свадьбу своей дочери! Но свадьба свадьбе рознь! Думаете, я отделаюсь кое-чем, как всякие другие-прочие? Стало быть, не знаете вы меня! Уж если справлять свадьбу, то я такую справлю, какая нашим прадедам не снилась! Такой свадьбы у нас и не видать было! Шалаш на весь синагогальный двор! Музыкантов я могу себе позволить из самой Смелы! Стол на триста нищих, шикарная трапеза, пироги, добрая рюмка водки и щедрая милостыня — пятак на двоих!.. А на свадебный ужин приглашу весь город — из конца в конец... А врагов, которые меня топить хотели, — на самые почетные места, и тосты, и танцы, и опять-таки танцы! Играй, музыка, на чем свет стоит, и давайте спляшем! Вот какой я человек! Не знаете вы меня, уверяю вас! Я, если разгуляюсь, — ничего не пожалею: еще штоф водки, и еще штоф водки, и — «да погибнет душа моя с филистимлянами!» — то есть: пейте, ребята, пока не лопнете, и вон из дому! И черт бы вашего батьку взял, — и дело с концом!

Конец рассказа № 15.

РАССКАЗ № 16

Неудачник

— Вы о ворах? — вмешался в нашу беседу франтоватый пассажир, который не расставался с маленьким чемоданчиком и берег его как зеницу ока. (Дело было ночью. В ожидании курьерского поезда, который опаздывал на час с четвертью, мы втроем коротали время в зале «для гг. пассажиров второго класса» и толковали о ворах и воровстве.) — Значит, речь идет о ворах? Это по моей части. Сколько воровства бывает в нашем деле, вы нигде не найдете! Такой уж это товар — брильянты! Искушение украсть камешек так велико, что ему подчас поддаются даже покупатели. Вернее, не покупатели, а покупательницы — дамы. За каждой новой не знакомой нам дамой мы следим в оба. Не так-то просто обокрасть ювелира! Скажу, не хвалясь, сколько ни торгую брильянтами, меня еще не обкрадывали! Но если уж тебе суждено хлебнуть горя... Впрочем, послушайте.

Я по сути дела никакой не ювелир. То есть я вроде и ювелир, но по-настоящему ювелирным ремеслом не занимаюсь. Я всего-навсего торгую брильянтами, покупаю и перепродаю. Дело у меня главным образом оптовое, и занимаюсь я им главным образом на чужой стороне, на ярмарках, либо, если нападу на след

настоящего покупателя, хватаю свой чемоданчик, вот этот самый, и — на поезд, и — в путь-дорогу!

Так и на сей раз дошел до меня слух, что в городе Егупце проживает богач, который собирается выдать замуж дочку. Само собой, без брильянтов ему не обойтись. Говоря по чести, в Егупце и своих ювелиров за глаза хватает, их там даже больше, чем нужно. Но одно другому не мешает. Да будь там хоть сто тысяч ювелиров — ничего, мне бы только почуять настоящего покупателя, а там уж я покажу, кто заполучит денежки, — я или они. Торговать брильянтами нужно умеючи. Это дело деликатное. Там надо знать все до тонкости, что́ показать, да как показать, да кому показать. Не стану набивать себе цену, — я вообще терпеть не могу бахвальства, — одно скажу, потолкуйте с ювелирами, они вам подтвердят, что тягаться со мной нелегко. Где любой выручит сотнягу, я выручу три. Я эту науку насквозь прошел.

В общем, направился я, значит, в Егупец. Товару взял с собой подходяще, не мешало бы нам всем иметь столько добра, сколько поместилось тогда в этом самом чемоданчике. Забрался в вагон, сел, сижу. Чемоданишко, само собой, прижимаю изо всех сил к себе, глаз с него не спускаю. О том, чтобы вздремнуть, и думать нечего. Вёзешь товар — не спи! На каждого нового пассажира взираешь со страхом: не вор ли? На лбу-то у него не написано!

Так я, с божьей помощью, не евши, не спавши, ехал день, ехал ночь и наконец прибыл в город Егупец, к богачу, показал товар. Толковали мы с ним и так и сяк, судили-рядили, наговорились досыта, но, как это часто бывает, — профиту никакого, деньгами и не пахнет.

О богачах я худого слова не скажу, пропади они все пропадом! Они из тебя всю душу вытрясут. Каждый камешек по сто раз ощупают, осмотрят, обнюхают, а когда подходит время платить денежки, они на попятный. Ну да ладно, ничего не попишешь! Заработал не заработал — скачи дальше, мешкать нечего. Правда, скакать-то особенно некуда, а все же

скачешь. Вскочил я, конечно, на извозчика, и — обратным манером на вокзал. Вдруг слышу — кто-то сзади окликает меня: «Дядя, дядя». Оглянулся, вижу — молодой человек бежит за мной вдогонку, размахивает чемоданчиком, — а чемоданчик точь-в-точь как мой, — и говорит:

— Вот вы обронили.

Ой, горе мне! Ой, беда! Ведь это же мой чемоданчик! Где? Когда? Каким образом?.. Значит, суждено было мне потерять чемоданчик, а молодому человеку — подобрать его. Да что толковать! Я, конечно, кинулся к молодому человеку, стал ему трясти руку, стал приговаривать: «Спасибо вам, дай вам бог здоровья и счастья. Спасибо, еще раз спасибо». А он отвечает: «Не за что». А я говорю: «Как так не за что! Вы ведь, говорю, мне жизнь спасли. Вы такое, говорю, для меня сделали, что ни земных, ни небесных сокровищ не хватит отблагодарить вас. Скажите, говорю, сколько вам уплатить? Скажите, не стесняйтесь». Тут я полез было в карман. А он отвечает: «Если, как вы сами считаете, я совершил благородный поступок, зачем же я буду брать с вас деньги?» Услышав такие речи, я, конечно, кинулся к моему молодому человеку и давай его целовать. «Один бог, говорю, может вас отблагодарить достойным образом. А я могу только пригласить вас, говорю, посидеть со мной, говорю, опрокинуть по чарочке». — «По чарочке, говорит, не откажусь. Спасибо, с удовольствием». Тут мы оба взгромоздились на извозчика и поехали — не на вокзал, конечно, какой уж тут вокзал, а в кафе, посидеть и малость перекусить.

В кафе я занял отдельный кабинет, заказал всего вдоволь, и тут у нас с молодым человеком завязалась беседа по душам. Молодой человек понравился мне не только потому, что он, можно сказать, спас мне жизнь, а просто так, сам по себе. Это был хороший парень. У него было славное лицо, глубокие, черные, строгие глаза — не парень, а золото! И к тому же еще застенчивый донельзя. Я велел ему не стесняться, заказывать все самое лучшее, самое вкусное, все, что его душе угодно, а сам, как только он закажет

что-нибудь, велю, так сказать, подать вдвое. Мы с ним изрядно выпили и закусили, как положено по закону. Через край не хватили — упаси боже! Еврей меру знает.

Но когда, как говорится, «от возлияний взыграло сердце царское», я сказал своему спасителю: «Знаете ли вы, — говорю я, — что вы для меня сделали? О том, что вы помогли мне сохранить огромное богатство, об этом, говорю, я уже не говорю, — хорошо бы нам обоим, говорю, иметь столько, сколько с меня удержали бы за товар. Чужое добро, говорю, святое дело. Вы мне, говорю, не только жизнь спасли, без вас, говорю, потерял бы я доброе имя, потому что, вернись я без чемоданчика, мои кредиторы решили бы, что тут дело пахнет махинацией, вроде тех, на которые так падки наши ювелиры. Спрячут в укромном месте малую толику товара, а сами пустят слух, что их, мол, обокрали. Пришлось бы мне, говорю, купить веревку и повеситься на первом попавшемся дереве! Выпьем, говорю, за ваше здоровье, дай вам бог, говорю, удачи во всех ваших делах. Давайте поцелуемся, потому что пора, говорю, ехать».

Попрощался я с ним, рассчитался с официантом, хочу взять чемоданчик — увы! Ни чемоданчика, ни молодого человека! Сгинули!

Я хлопнулся в обморок.

Меня, конечно, стали приводить в чувство. Пришел я в себя и снова — хлоп в обморок! Только после того как меня окончательно привели в чувство, я забил тревогу, поставил на ноги всю егупецкую полицию, посулил ей какую угодно награду, обшарил с ней все злачные места, облазил все щели, повидал самых знаменитых воров, но все зря! Мой молодой человек как сквозь землю провалился. Я пал духом, белый свет мне стал в тягость. Завалился я в своем номере на коечку и стал думать горькую думу: «Как мне с жизнью покончить? Заколоться ли ножом? Удавиться ли в петле? Либо взять и броситься в Днепр?» И вот я лежу, думаю свои тяжкие думы, вдруг слышу — стучат. Кто там? А это прислали за мной из

полиции: оказывается, поймали все-таки раба божьего с поличным, с чемоданчиком да с товаром.

Надо ли вам объяснять, что со мной творилось, когда я вновь увидел свой чемоданчик и свои брильянты? Я опять упал в обморок. Это у меня уж свойство такое — обмороки. А когда очнулся, я подошел к своему молодому человеку и говорю: «Не понимаю, говорю, объясните мне, пожалуйста, иначе я с ума сойду, почему, говорю, когда вы подобрали мой чемоданчик, вы побежали за мной вдогонку и ни за что не захотели взять денег за свое благородство. Но стоило мне чуть отвернуться, как вы стащили мое имущество, мое сокровище, мою душу. Ведь вы меня, говорю, чуть не погубили, еще минута, говорю, и я был бы покойником». А он, молодой человек этот, уставился на меня своими глубокими, строгими, черными глазами и спокойно так отвечает: «Одно, говорит, к другому не относится. Благородство благородством, а воровство — это, говорит, моя специальность». А я говорю: «Молодой человек, кто же вы, говорю, такой?» — «А кем, говорит, я могу быть? Я, говорит, всего-навсего жалкий вор — вор-неудачник; детей у меня куча, а счастья — ни на грош. Работенка у меня, правда, вроде и легкая, да все не везет. Конечно, грех жаловаться, слава богу, работы хватает, да вся беда в том, говорит, что я какой-то невезучий. Нет удачи — и все».

Только потом, в вагоне, я спохватился, что совершил глупость. Ведь я мог за безделицу выручить этого воришку. Стоит ли мне заносить над ним, так сказать, свою карающую десницу. Пускай этим займется еще кто-нибудь...

Кстати, не угодно ли вам брильянтовые серьги за наличные денежки? Желаете — покажу! Такие брильянты вам и во сне не мерещились. Высший сорт, экстра чистейшей воды.

Конец рассказа № 16.

РАССКАЗ № 17

Суждено несчастье

Обстоятельно и неторопливо, взвешивая каждое слово, вел этот рассказ, рассказ о самом себе, почтенной внешности еврей, в субботнем кафтане и шелковом картузе с широким верхом. Холеное лицо его было озабочено, широкий белый лоб покрыт морщинами.

— Если суждено, скажу я вам, несчастье, так оно приходит к вам прямо в дом. И вы можете быть семи пядей во лбу, но от него не укроетесь. Я, как вы видите, человек спокойный; живу себе тихо, без шума и суеты. Общественных дел не люблю, не по мне и всякие почести, и то, и се, и тому подобное...

Но вот должна же была случиться со мной такая история. В нашем городке умер еврей Менаше-невежда. Так звали его потому, что он был, да простит он мне, грубое существо. Почти не знал молитв, как это говорится, аза в глаза не видал; не умел ни читать, ни писать, ни то, ни се, ни тому подобное...

Короче — это было простецкое существо. Но честный — исключительно честный человек. Слово его было свято, чужой рубль — святая святых. Зато скуп он был, ой, как скуп! Он дал бы себе выколоть оба глаза за один грош. Всю жизнь он копил деньги. Копил, копил — и вдруг умер! Что поделаешь: умер так умер! Никто вечно не живет. Когда Менаше умер,

приходят ко мне и говорят: Менаше оставил кругленькую сумму, много должников, и большое хозяйство, и дома, и то, и се, и тому подобное... А дела-то вести некому. Детишки еще малы — четверо мальчиков и одна девочка, — а она, сама вдова то есть, всего только женщина — не больше, поэтому предлагают мне, чтобы я стал у них хозяином, опекуном, стало быть. Я, разумеется, ни видеть, ни слышать не хочу: на что мне опачкунство это? Зачем? Так нет же, началась волынка: «Помилуйте, вы у нас единственный в городе, и то, и се, и тому подобное... Жаль такое состояние! И что станется с сиротами? Маленькие ведь дети, бедняжечки: четыре мальчика и одна девочка! Ну, что вам стоит? Вы будете их опекуном, а она, сама вдова то есть, будет опекуншей». Тогда я прошу их, умоляю: «Что вы пристали ко мне? Какой я опекун, когда я даже не знаю, с чем это едят?..» Тогда они снова начали: «Ну помилуйте, ну, где же человеколюбие, да это же доброе дело», — и то, и се, и тому подобное...

Короче — я не мог отказаться и сделался опекуном, «утвержденным», значит, опекуном, совместно с ней таки, с вдовой то есть. Когда я, с божьей помощью, сделался опекуном, я прежде всего принялся подсчитывать, сколько капиталу оставил Менаше своим несчастным детям. Я собрал все, что только у него было: дом, магазин, корову, лошадь, и то, и се, и тому подобное... Все это я обратил в деньги. Но не так-то легко мне эти деньги достались, мне пришлось-таки, представьте себе, изрядно потрудиться. Потому что Менаше, царство ему небесное, был человек богатый, крепкий хозяин, настоящий кулак. Сколько за ним ни числили, а у него оказалось больше. Однако счета деньгам у него никогда не было, он ведь был, да простит он мне, неграмотный. Рассовал деньги повсюду, то и дело отыскивался новый должник. Много, много было у него должников. Так что мне пришлось, понимаете, голову ломать: собирать долги, все превращать в деньги. А что же было мне делать? И все один я, потому что она, опекунша то есть, ничего, кроме кухни, никогда не знала. Она хорошая женщина, но голова у нее овечья. Спросите у нее,

какой вексель хороший, какой плохой, и то, и се, и тому подобное, — она не знает.

Словом — я сколотил порядочную сумму денег, сколотил с трудом и великими муками. Теперь, стало быть, надо с ними что-то делать? Мало толку, если семья будет проедать готовые деньги. Детям, бедняжечкам, нужна рубашечка, ботиночки, и то, и се, и тому подобное... В наше время сидеть на готовом? Это не дело! Они будут есть до тех пор, пока не съедят все! А что будет потом? Честный человек, понимаете ли, обязан обеспечить будущее. Стал я раскидывать умом: что делать с этими деньгами? Открыть какое-нибудь дело? Но кто будет его вести, если она, опекунша то есть, просто дура, а несчастные дети — дети? Отдать деньги в рост? А если какой-нибудь должник обанкротится, кто будет виноват? Опекун! Тогда я подумал: найдется ли лучшее дело, чем мое собственное? А? И кто более кредитоспособен, чем я? А? Я, слава богу, везде имею кредит, на всех ярмарках пользуюсь добрым именем, дай бог дальше не хуже. Разве не в тысячу раз лучше будет, если я эти несколько рублей помещу в мое же дело? Что? Оживить торговлю еще партией товара, и еще партией товара? Плохо, что ли? А когда платишь за товар чистоганом, так это таки имеет совсем другой вкус, потому что каждый хочет видеть живую копейку. В торговле наличных денег теперь, понимаете ли, мало: везде только бумага, только вексель. Пишут туда, пишут сюда, пишут и то, и се, и тому подобное...

Короче — я поместил все эти деньги в свою лавку, — и дело пошло, надо сказать, очень неплохо, и даже совсем неплохо! Выручка сделалась значительно больше, потому что, когда много товару, торгуется совсем иначе. Как вы думаете: когда много рыбы в реке, ловится ведь совсем по-другому? Не так ли? Одно было плохо — расходы! У меня теперь были двойные расходы. Два семейства, не сглазить бы: мои домочадцы — об этом и толковать нечего, ну и вдобавок вдову корми. А детям, бедняжечкам, много нужно. Пять чужих детей: четыре мальчика и одна девочка! Шутка ли: обувь, платье, платить в хедер за учение,

платить отдельно за обучение письму, наконец поездка куда-нибудь, какое-нибудь лакомство, и то, и се, и тому подобное... Все это нужно! Иначе ведь нельзя! А то — что люди скажут? Плохой опекун! Забрал себе денежки и не дает сиротам даже копейки на пряник... А то, что я тружусь, морочу себе голову, езжу за товаром, имею кучу должников, горя-злосчастья, и то, и се, и тому подобное, — это никого не касается! Но не взял же я ее, вдову значит, в компаньоны, чтобы делить с ней прибыль пополам! Ах, она вложила деньги? Так, во-первых, деньги помещены в товар, а во-вторых, деньги лежат не даром, я ведь плачу проценты!.. А чего стоит весь этот тарарам днем и ночью, и то, и се, и тому подобное?.. Попробуйте-ка быть опекуном! Я должен думать о чужих детях, хотят они учиться или не хотят; идут ли они путем праведным или неправедным, и то, и другое, и тому подобное... Что я им, действительно, отец родной, обязан обо всем заботиться? В нынешнее время и собственных детей от всего не убережешь. Особенно если еще бог даст плохого ребенка, так это совсем «благословение господне». Менаше, да простит он мне, был человек простецкий, но честный, а детей он произвел на свет, да сжалится над ними господь! Один хуже другого! Старшие — те еще как-нибудь: один — глухой и пришибленный, бедняга, так я его в ремесло определил; другой — просто идиот, но тихий, никого не трогает и ничего не требует. Третий в детстве казался хорошим ребенком, но когда подрос, связался с босой командой и сделался настоящим шарлатаном, спаси и сохрани господь! Он так долго бушевал, буянил, вытворял и то, и се, и тому подобное, что мне пришлось дать ему немного денег — и, будь здоров, поезжай в Америку! С детства его тянуло в Америку! И мы избавились... А девушку я отдал замуж. Почти тысячу рублей дал ей приданого, одел ее, свадьбу справляли с музыкой, и то, и се, и тому подобное... Все как полагается, почти как для родной дочери. А как же? Как может быть иначе?! О чем говорить? Ведь отца у несчастных детей нет, а она, мать то есть, — дура; кто же, если не я, спра-

шивается, будет себе лоб за них расшибать? «Дурак ты, дурак! — частенько говорила мне моя старуха. — Очень нужно тебе убиваться — устраивать жизнь чужих детей! Вот увидишь, как отблагодарят тебя камнями за твои заботы». Так, бывало, говорит она мне. И она оказалась права: меня действительно благодарят камнями, да еще какими! Вы сейчас услышите, какая напасть на меня свалилась. Я крепче железа, говорю я вам, если выдерживаю это.

Короче — из всех детей, которых Менаше, царство ему небесное, оставил, есть один, самый младший, зовут его Даниельчик. Вот это, хвала богу, мальчик! «Удачный» мальчик, цаца, настоящее «сокровище»! С самого детства это был не ребенок, а наказание господне! Пяти лет он бил мать голенищем по щекам, и именно в субботу утром, перед тем как отправиться в синагогу! Сорвать у матери с головы платок в присутствии посторонних — это было для него обычным делом. Эта женщина, скажу я вам, просто железная женщина, если она могла все это вынести! День и ночь только и заботы, что о Даниельчике. Каждый раз, когда я приходил к ним, я заставал ее, вдову то есть, в слезах: за что бог наказал ее таким ребенком? Почему он не сгинул у нее в утробе, прежде чем на свет божий родился? Всего, что этот мальчик творил, пересказать невозможно. Он стащил у матери колечко, серьги, нитку жемчуга, шелковый платок; унес лампочку, ножик, старые очки, и то, и се, и тому подобное... Ему все годилось! Он тащил из дому и продавал, а деньги тратил на конфеты, орехи, арбузы, на хороший табак для себя и своих товарищей. Можете себе представить этих знаменитых товарищей! Бродяги, воры, пьяницы — черт его знает, где он их выкопал! Все, что у него было, он отдавал своей шатии: шапку, новые сапоги, даже верхнюю рубашку снял с себя. «Даниельчик, что ты делаешь? Новые сапоги отдаешь?» — «Наплевать,— говорит.— Жалко: бедняга босой ходит...» Как вам нравится этот благодетель! О деньгах и говорить нечего: где только раздобудет какой-нибудь грош, тут же отдает его своей братве. «Даниельчик, побойся бога, что ты делаешь?» — «На-

плевать, — говорит. — У него тоже живая душа, ему тоже есть хочется». Как вам нравится такой философ? Какой благотворитель нашелся! Одним словом, мальчик — «чудо природы»! И может быть, вы думаете, глупый мальчик или, не дай бог, лицом не вышел? Так нет же — ловкий, красивый парень, плясун и весельчак. Но такая уж дурная кровь в нем, черт бы его побрал! Чего только мы с ним ни делали! Пытались повлиять на него и по-плохому и по-хорошему. Запирали его одного на трое суток, били, сломали на нем мою хорошую бамбуковую трость, три рубля стоила. Как с гуся вода! Отдавали его учиться ремеслу, хотели сделать из него часового мастера, ювелира, столяра, музыканта, кузнеца и то, и се, и тому подобное... Невозможно! Он не хочет работать, хоть режьте его! «Кем ты будешь, Даниельчик?» — «Вольной птицей», — отвечает он и смеется. «Вольной птицей? — говорю я. — Нет, арестантом, вором ты будешь!» — «Наплевать!» — скажет он, повернется и уйдет.

Короче — мы махнули на него рукой. Пускай растет как знает. И выросло-таки дитятко на утешение! Что вам сказать? Красть он, правда, перестал, да и нечего стало красть. Но вообще его поведение, его милые друзья-приятели!.. А его наряд?! Красная рубашка поверх брюк, большие сапоги, волосы отрастил, как дьякон, морду побрил — одним словом, хорош! Ко мне он никогда не осмеливался обращаться. Когда ему что-нибудь нужно было, он действовал через нее, через мать значит. А мать — такая дура: она его еще больше любит, сокровище свое, для нее он всегда хорош. Прихожу я однажды в магазин, смотрю: молодчик наш тут как тут, ждет меня.

— Добро пожаловать, приветствую гостя, — говорю я. — Что скажешь хорошего?

— Я пришел, — говорит он, — вам сказать, что я женюсь.

— Поздравляю, — говорю я, — в добрый час! На ком ты женишься?

— На Асне, — говорит он.

— Какая Асна?

— Наша Асна, — говорит, — которая служила у нас в доме.

— Все дурные сны на мою голову! На прислуге женишься?

— Наплевать! — говорит он. — Разве прислуга не человек?

— Горе, горе твоей матери! — говорю я. — Ты пришел, значит, пригласить меня на свадьбу?

— Нет! — отвечает он. — Я пришел поговорить относительно одежды. Мне надо к свадьбе приодеться. Мы с Асной посчитали, что нам необходимо следующее: мне — костюм суконный и костюм парусиновый на лето, дюжину сорочек и полдюжины верхних рубах; Асне — ситцу на платье и одно платье шерстяное; на сорочки кусок полотна, только морозовского; меху на шубу, два головных платка, полдюжины носовых платков, и то, и се, и тому подобное...

— И больше ничего тебе не нужно? — говорю я, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

— Больше ничего, — говорит он.

Короче — я так хохотал, что чуть не свалился со стула. На меня глядя, стали смеяться и мои служащие. Стены магазина чуть не рухнули от смеха. Насмеявшись вволю, я обратился к моему милому жениху:

— Скажи мне, пожалуйста, Даниельчик-сердце, разве ты вложил столько денег в мой магазин, что решил прийти ко мне с целым списком?

— Не знаю, — говорит он, — сколько точно приходится на мою долю. Но если деньги, которые оставил мой отец, разделить на пять частей, то этого на мою свадебную одежду хватит и еще немного, пожалуй, останется и на после свадьбы.

Короче — что вам сказать? Когда он произнес эти слова, то как будто кто-то мне в сердце из пистолета выстрелил, или обжег меня пламенем, или окатил кипятком, или я сам не знаю, что со мной сотворилось. У меня потемнело в глазах! Вы понимаете: мало того, что я нянчился с ними столько лет, что на моей шее сидела несчастная вдова с пятью детьми, что я

всех устроил, обеспечил, и то, и се, и тому подобное, — так на мою голову вырастает этот лоботряс и начинает разговаривать о наследстве!

— Ну что, получилось по-моему! Я же тебе говорила, что камнями тебя отблагодарят, — говорит мне жена.

Короче — что долго рассказывать, я дал ему все, что он хотел. Стану я связываться с таким молокососом! Только этого недоставало! На, иди ко всем чертям, пропади ты пропадом, подавись — только бы избавиться от напасти... Но вы думаете, что я уже избавился? Нет, подождите! Сейчас вы услышите, все еще только начинается.

Не прошло и месяца после свадьбы, приходит он ко мне, этот милый молодчик, чтобы я ему, ради бога, немедленно дал двести двадцать три рубля.

— Из какого это расчета двести двадцать три рубля?

— В эту сумму обойдется, — говорит он мне довольно хладнокровно, — пивная лавка с бильярдом.

— Какая пивная? Какой бильярд?

— Я нашел дело, — говорит он, — я открою пивную с бильярдом. Асна будет продавать пиво, а я буду следить за игрой на бильярде. Это может, — говорит он, — приносить приличный доход.

— Хорошенькое занятие ты себе нашел! — говорю я моему новоиспеченному дельцу. — Тебе действительно подходят такие дела: пивная и бильярд!

— Наплевать! — говорит он. — Лишь бы никого не обездолить. Сухой коркой питаться, только чужого не брать...

Как вам нравится этот Даниельчик? Он читает мне мораль!

— На здоровье, — говорю. — Продавайте себе пиво и играйте себе на бильярде. При чем же здесь я?

— Это касается вас потому, что вы должны дать денег, двести двадцать три рубля.

— Что значит я должен дать? Из каких это денег, например?

— Из денег моего отца, — отвечает он, не моргнув.

В эту минуту мне хотелось схватить его за шиворот

и выбросить вон ко всем чертям! Но тут я рассудил: с кем это буду я связываться, руки пачкать? Ну его к черту, где мое не пропадало!

— Скажи мне, Даниельчик, — обращаюсь я к нему, — знаешь ли ты по крайней мере, сколько денег оставил твой отец?

— Нет, — говорит он, — зачем мне это знать? Я с этим могу подождать до будущего года, когда мне, бог даст, исполнится двадцать один год и я стану совершеннолетним. Тогда я у вас попрошу отчета... Пока что дайте мне двести двадцать три рубля. Мне нужно идти.

От этих речей у меня в глазах потемнело. Почему? Не потому, что я, упаси бог, боюсь кого-нибудь. Чего же мне бояться? Мало я на них потратился? Шутка сказать — содержать столько времени несчастную вдову с пятью детьми, всех обеспечить, всех устроить, и то, и се, и тому подобное... А этот молокосос собирается просить у меня отчет!

Короче — я вынул двести двадцать три рубля и отдал ему, и только бога молил, чтоб на этом кончилось. И действительно, некоторое время я не видел его. Но вот прихожу я однажды домой, — ага, голубчик мой тут! Сердце у меня упало. Но показать, что я встревожен его приходом, не хочу. Прикидываюсь простачком и обращаюсь к нему:

— Вот гость! Почему это тебя, Даниельчик, не видно? Как твое здоровье? Как идут твои «дела»?

— Здоровье, — говорит, — наплевать, а дела неважные.

«Поздравляю, — думаю я себе. — Это снова пахнет деньгами».

— А именно? Что случилось? Плохо идет торговля, нет денег?

— Что деньги? Кто говорит о деньгах? Деньги — наплевать. У меня, — говорит, — нет пивной, нет бильярда, нет жены. Она меня бросила, Асна значит. Но черт с ней, наплевать! Я уезжаю, — говорит, — в Америку. Брат давно уже зовет меня в Америку.

У меня камень с души свалился, когда я услышал, что он едет в Америку. Он вдруг показался мне таким

милым, что, если б мне не стыдно было, я бросился бы его целовать...

— В Америку,— говорю я.— Правильно! Америка, говорят, свободная страна. Люди там, говорят, наживаются, богатеют. А если у кого есть там родной человек, так и совсем хорошо. Ты пришел, значит, проститься со мной? Очень мило с твоей стороны... Но не забудь хоть иногда нам весточку прислать. Все-таки свои люди, как говорится... Даниель, может быть, тебе не хватает на дорогу? Я могу тебе помочь немного.

— За этим я и пришел к вам. Мне нужно триста рублей.

— Триста рублей? Не много ли? Может быть, хватит полтораста?

— Зачем вам со мной торговаться? Разве я не знаю, что, скажи я вам четыреста, вы мне и четыреста дадите. И пятьсот тоже, и шестьсот тоже дадите. Но мне не нужны деньги. Наплевать! Мне нужно только триста целковых на дорогу.

Так говорит он мне, Даниельчик, значит, и смотрит мне прямо в глаза. «Триста болячек моим врагам! — думаю я. — Если б знать хотя, что это — все, конец: он не будет больше приходить, и то, и се, и тому подобное...»

Короче — я вынул и отсчитал ему копейка в копейку триста рублей. И купил еще подарок его старшему брату — целый фунт чаю Высоцкого, тысячу хороших папирос и несколько бутылок вина «Кармел». Кроме того, жена зажарила ему утку на дорогу, положила булок и апельсинов, и пропади ты пропадом, и то, и се, и тому подобное... И мы проводили его, как родного. Распрощались, поцеловались и плакали даже, дай мне так бог счастья. Все-таки он на моих руках вырос, и славный все-таки он был парень, зачем я буду лгать. Он только немножко озорник, но сердце у него — дай мне бог такое счастье, какое у него сердце! Правду скажу, немножко я рад был, что он уехал: избавился от напасти. И немножко мне было жаль его: совсем ведь еще мальчик, на чужой стороне; бог весть куда попадет и какая еще ждет его

доля... Хоть написал бы когда-нибудь. А может быть, лучше, чтоб и совсем не писал. Пусть живет себе там сто двадцать лет *, дай ему бог счастья. Поверьте, я молил бога за него, как за родного сына.

И что же? Не прошло и двух лет, с тех пор как он отправился в Америку, как вдруг однажды открывается дверь и входит кто-то, похожий на немца, в котелке — крепкий, красивый детина — и бросается меня целовать!

— В чем дело? — говорит он. — Вы меня не узнали или делаете вид, что не узнаете?

— Тьфу, черт тебя возьми! Это ты, Даниельчик? — говорю я и стараюсь улыбнуться. А в душе у меня огонь горит, и я думаю себе: «Почему ты не погиб, ко всем чертям, где-нибудь там в поезде или в море не утонул?» — Когда ты приехал, Даниельчик, и что ты тут думаешь делать?

— Приехал я сегодня утром,— говорит он.— А зачем я приехал? Я приехал, — говорит, — чтоб с вами рассчитаться.

Когда я услышал слово «рассчитаться», точно меня трижды насквозь проткнули. Какие могут быть счеты со мной у этого шарлатана? Но я взял себя в руки и ответил ему:

— Зачем, собственно говоря, нужно было тебе затрудняться приезжать сюда из Америки? Ты мог ведь по почте выслать мне, сколько ты мне должен...

— Что, я вам должен? — говорит он с милой усмешечкой. — Я не знаю, кто из нас кому должен. Я боюсь, что именно с *вас* причитается.

— Кому? — говорю я. — Тебе, может быть, причитается?

— Мне, — говорит он, — и моим братьям, и сестре — всем нам. Я специально для того и приехал из Америки, чтоб рассчитаться за всех нас... Я хочу получить отчет в отцовских деньгах. Что *вам* причитается, — вы себе возьмете, что *нам* причитается — вы нам выплатите. А если там будут какие-нибудь маленькие неточности, так наплевать! Мы, наверное, поладим, не поссоримся, ей-богу! Что же вы поделываете? Как дети? Я всем им привез подарки...

Еще минута — и я упал бы в обморок или схватил стул и проломил бы ему череп... Я был вне себя, но сдержался и сказал, что, бог даст, на той неделе мы увидимся и поговорим. Сам же я отправился к адвокатам разузнать, как мне быть, как выбраться из этой беды. Но адвокаты, бог их ведает, действительно ли ничего не знают, или прикидываются незнайками. Один говорит, что так как прошло больше десяти лет, то все пропало — никакого отчета спросить с меня не могут. Другой говорит: нет, пусть пройдет хоть сто лет, но, если я опекун, я должен дать отчет... Тогда я ставлю такой вопрос: «Как могу я дать отчет, если я не вел никакой книги и у меня нет никаких счетов?..» Тогда этот адвокат говорит: «Вот это-то нехорошо...» — «Что плохо, это я и сам знаю, вы скажите, что делать?!» Так он молчит...

Я железный, говорю я вам! Не знаю, как я все это вынесу! И на что мне это нужно было, скажите, пожалуйста, весь этот тарарам, и то, и се, и тому подобное...

Какой черт понес меня сделаться опекуном чужих детей?

Уж в тысячу раз лучше было бы, если б я тогда в горячке лежал, или ногу сломал, или другое какое несчастье поразило меня, нежели натерпеться горя с этим опекунством, несчастной вдовой, сиротами, Даниельчиком, отчетом... и тем, и другим, и тому подобным...

Конец рассказа № 17.

РАССКАЗ № 18

Накося — выкуси!

Против меня, у окна, сидит улыбающийся человек. Сияющие его глаза, кажется, проникают вам в самую душу. Человек этот давно уже поглядывает на меня, ждет одного только моего слова. Видать, тоскливо стало ему сидеть один на один со мной в пустом вагоне и молчать. И вот он ни с того ни с сего вдруг рассмеялся, а затем сказал:

— Вы спрашиваете, чего я смеюсь? Мне вспомнилось, как я обманул Егупец*. Ха-ха-ха. Да, да, какой я ни на есть Мойше-Нахмен из Конелы, человек с одышкой и кашлем, а выкинул я номер в Егупце. Да еще какой номер! Ха-ха-ха. Дайте срок, откашляюсь — Пуришкевичу бы такой кашель! — и расскажу, что я там натворил.

Приезжаю однажды в Егупец. Зачем может приехать такой человек, как я, с одышкой и кашлем, в город? Понятно, к профессору. Вы ведь понимаете, что с одышкой и кашлем я частый гость в Егупце, правда, не очень-то почетный гость. Куда мне, Мойше-Нахмену из Конелы, до Егупца, когда у меня нет правожительства! * Но, если у тебя одышка и кашель, едно с другим [1], и тебе нужно к профессору, — куда

[1] Одно с другим *(польск.)*.

же деться? Прячешься, страдаешь; приедешь утром, уедешь вечером. А не то словишь «проходное»*, тогда заявишься в город через некоторое время. Только бы не идти по этапу!* Пришлось бы шагать по этапу, я бы, наверно, не выдержал,— кажется, трижды скончался бы от одного стыда. Ведь я как-никак хозяин у себя в Конелах, у меня дом, корова, две дочери — одна замужем, другая на выданье, едно с другим. Как же иначе!

Итак, приезжаю в Егупец к профессору, верней, не к профессору, а к профессорам,— на консилиум к трем профессорам сразу. Решил добиться какого-нибудь толку, раз и навсегда установить, чем именно я болен. Гож я или не гож? Что у меня одышка, это они все признают, но как от нее избавиться — это дело другое. Маются, бедняги, пробуют по-всякому, идут ощупью. Вот, к примеру, прихожу я к своему старому профессору Стрицелю, — скажу вам, замечательный профессор, — выписывает мне «кодеини сахари пульвери». Стоит недорого и сладковато на вкус. Являюсь к другому профессору. Этот выписывает «тинктуру опии», капли такие, на вкус большая гадость. Третий профессор тоже выписывает капли, такую же дрянь, но называются они не «тинктура опии», а «тинктура тебиака». Понятно вам? Тогда я отправляюсь к своему профессору. Этот дает мне какую-то горечь, которая называется «морфиум аква амигдалариум». Вы удивляетесь, что я знаю латынь? Я знаю латинский, как вы английский. Но когда у человека одышка, кашель, туберкулез, едно с другим, он поневоле научится латыни.

Итак, приехал я в Егупец на консилиум. Где же остановиться такому человеку, как я, когда он приезжает в город? Конечно, не в гостинице и не в отеле. Во-первых, там шкуру сдерут; во-вторых, как могу я остановиться в отеле, когда у меня нет правожительства? Заезжаю, по обыкновению, к своему шурину. Есть у меня в городе шурин, бедолага несчастный, меламед-неудачник, бедняк, каких мало, — Пуришкевичу бы его достаток! Детей полон дом, — упаси и

помилуй! Но вот бог сжалился над ним и дал ему правожительство. Настоящее правожительство! Откуда у него это? Все дело в Бродском *. Он служит у Бродского. То есть, боже сохрани, не директором заводов. Он чтец торы в молельне для портных, в подвале синагоги Бродского. Выходит — «духовное лицо», или, как это там называется, — «обрядчик». Ну, а раз он «обрядчик», значит, имеет право жить на Мало-Васильковской, где когда-то жил полицмейстер. И вот живет он на Мало-Васильковской, поблизости от бывшего полицмейстера, а сам перебивается с хлеба на воду. Вся его надежда только на меня. Я главный богач среди родни. Приеду в Егупец, остановлюсь у них, возьму обед, ужин, сбегают они по моему поручению, едно с другим, — глядишь, рублик-другой им и перепадет. Пуришкевичу бы такие заработки!.. В этот раз приехал, гляжу — родственники мои ходят мрачные, совсем головы потеряли. «В чем дело?» — «Плохо». — «А именно?» — «Облавы». — «Тьфу! — говорю. — А я думал бог весть что. Облавы — это старая болячка, еще с сотворения мира». — «Нет, — отвечают они, — облава облаве рознь. Теперь не проходит и ночи без облавы. А поймают еврея, так кто бы он ни был, — раз, два — и по этапу». — «Ну, а деньги?» — «Чепуха». — «Рублик?» — «Не помогает». — «Трешка?» — «Даже миллион». — «Если так, говорю, то действительно плохо». — «Бывает и того хуже, — отвечают мне. — Сначала штраф, а там уж — по этапу. К тому же опозоришься перед Бродским». — «Ну, ладно, говорю, Бродский туда, Бродский сюда! Не могу же я из-за Бродского лишиться здоровья. Я приехал на консилиум к профессорам. Не бежать же мне теперь обратно!»

Однако разговоры разговорами, а день уходит. Надо бежать к профессорам насчет консилиума. Но куда там консилиум? Какой консилиум? Один может явиться в среду до обеда, другой — в понедельник после обеда, а третий — не раньше как в будущий четверг. Вот и поди ты! История на три недели да еще со средой. Какое им дело до того, что у Мойше-Нах-

мена из Конелы одышка и кашель — дай бог Пуришкевичу! — и он ночами не спит?! Между тем наступила ночь. Поужинали мы и легли спать. Только вздремнул, слышу — трах-тарарах! Раскрываю глаза: «Кто это?» — «Мы пропали!» — отвечает шурин-неудачник. Стоит подле меня ни жив ни мертв, дрожит как осиновый лист. «Что же теперь делать?» — спрашиваю я. «А это уж ты теперь скажи, что делать?» — отвечает он. «Ну, что станешь делать? Плохо. Горько». — «Горечь горечи рознь. Тут точно желчи налакался». А в дверь все: трах-тарарах! Малые ребята пробудились с ревом: «Мама!» А мать зажимает им рты, чтобы они смолкли. Веселая история! «Эх, думаю, Мойше-Нахмен из Конелы, здорово ты влип! Дай бог такое Пуришкевичу!» Вдруг в голову мне приходит одна комбинация, и я говорю шурину: «Вот что, Довид, будь ты мной, а я тобой!» Он смотрит на меня как козел: «То есть как?» — «А так, отвечаю, перепутаем все карты. Ты дашь мне свой паспорт, а я тебе свой. Ты станешь Мойше-Нахмен, а я Довид». Вот тупица! Смотрит на меня грешник этот и ничего не понимает. «Осел! — говорю ему. — Что ж тут непонятного? Кажется, простая комбинация. Малый ребенок и тот поймет. Ты покажешь им мой паспорт, а я твой, едно с другим. Ну, разжевал? Или тебе надо не только разжевать, но и в рот положить?»

Видно, дошло до него. И мы стали меняться: я ему дал свой паспорт, он мне — свой. А там уже двери трещат — трах-тарарах! Трах-тарарах! «Чего вы там? — говорю. — Времени у вас нет, что ли? У нас не горит!» А шурину напоминаю: «Помни же, тебя зовут не Довид, а Мойше-Нахмен». После этого направляюсь к двери: «Добро пожаловать, дорогие гости!» Ввалилась целая ватага всяких чинов. Как говорится, гуляй и веселись!

Понятно, прежде всего взялись за шурина. Почему так? Потому что я держу себя как подобает порядочному человеку. Говорят ведь: хоть лупи себя по щекам, а кажись румяным! А он? Дай боже Пуришкевичу! Схватили его и давай выпытывать: «Откуда явились, господин еврей?» Молчит. Тут я

выступаю в роли защитника и говорю ему: «Человече, чего ж ты молчишь? Говори! Скажи им, что ты Мойше-Нахмен из Конелы». А к ним обращаюсь с мольбой: «Так, мол, и так, ваше высокоправожительство! Бедный, несчастный родственник! Давно не виделись. Приехал из Конелы». А сам чуть со смеху не валюсь. Ха-ха-ха! Вы понимаете? Я, Мойше-Нахмен из Конелы, умоляю за Мойше-Нахмена, то есть за самого себя. Ха-ха-ха!

Вся беда в том, что мои мольбы помогли как мертвому припарки. Схватили моего молодца и потащили его по всем правилам, со всем парадом, в участок, как сам бог велел. Хотели и меня забрать, даже забрали, но сразу и выпустили. Чего они в самом деле будут меня держать? Ведь у меня в бумагах черным по белому написано, что я человек с правожительством, «обрядчик» в синагоге Бродского. Ну и рублевка, конечно, тоже пошла в ход, едно с другим, понимаете ведь. «Ладно, — говорят они мне, — господин «обрядчик»! Ты поди пока домой, поешь кугл. Мы тебе уж потом покажем, как держать контрабанду на Мало-Васильковской!» Выходит, свежеиспеченным калачом да прямо по морде! Ха-ха-ха!

Рассказывать ли дальше? О консилиуме уж говорить не приходится. Какой там консилиум, когда шурина надо спасать! От чего, думаете? От этапа? Боже упаси! Тут уж ничего не помогло. Он шел по этапу как миленький. Еще как шел, — дай бог Пуришкевичу! Мы еле дождались прихода этого бедолаги в Конелу, все глаза просмотрели, дожидаясь. А когда его уж доставили на место, тут на него обрушилась новая беда: чужой паспорт, чужая фамилия, едно с другим! Уж и не спрашивайте! Пришлось мне с ним немало повозиться. Сколько мне все это стоило, я хотел бы зарабатывать каждые три месяца. Кроме того, я и поныне содержу его семью — жену и детей. Ведь он кричит, что я погубил его, сделал несчастным; из-за меня он потерял правожительство и должность у Бродского. И, возможно, он здесь не так уж неправ. Но главное, ха-ха-ха, не в этом. Главное — это наход-

ка, это моя комбинация. Вы понимаете? Вы понимаете, что это такое? Человек из Конелы, с одышкой и кашлем да еще с туберкулезом, едно с другим, — Пуришкевичу бы такое! — и без всякого правожительства, — и все же, когда нужно, он приезжает в Егупец, останавливается на Мало-Васильковской, поблизости от дома полицмейстера, и накося — выкуси!

Конец рассказа № 18.

РАССКАЗ № 19

Третьим классом

Это уж, собственно, не рассказ, а просто беседа, несколько слов на прощанье и дружеский совет.

Дорогие читатели! Перед тем, как с вами расстаться, я в благодарность за то, что вы терпеливо выслушали все мои рассказы, хочу хоть чем-нибудь быть вам полезным, сказать несколько слов практичного человека, коммивояжера. Выслушайте меня и запишите, что я вам скажу.

Если вы собираетесь отправиться поездом в дальний путь и хотите почувствовать, что вы действительно путешествуете, получить удовольствие от всего этого, то не ездите ни первым, ни вторым классом.

Что касается первого класса, то о нем и говорить не приходится. Боже вас сохрани! То есть я говорю не о самой поездке первым классом. Ездить первым классом довольно неплохо: просторно, мягко, уютно — все удобства. Я не об этом. О людях, о пассажирах говорю. Я вас спрашиваю, что это за поездка? Сидишь один на весь вагон и не с кем даже слово вымолвить. Так можно ведь и говорить разучиться. А если и встретишь раз в десять лет пассажира, так это будет либо толстопузый барин с вздутыми щеками, как у человека, играющего на тромбоне, либо надутая дама, злая, как теща, либо безъязыкий ино-

странец в клетчатых брюках, который прилип к окну так, что его не оторвешь, если даже позади будет гореть весь вагон. Когда едешь с такими субъектами, поневоле на ум приходят всякие мрачные мысли, и ты начинаешь подумывать о смерти. К чему это вам?

Ну, а вторым классом, думаете, лучше? Рядом в вагоне сидят разные пассажиры, как будто такие же, как и вы, — те же грешные люди. Беднягам хочется говорить до смерти, хочется знать, кто вы, куда едете, откуда сами. Но все сидят как истуканы и глазеют друг на друга, набрали полон рот воды и молчат.

Как раз напротив вас сидит какой-нибудь франт. У него роскошные усы и большой ноготь на мизинце. Вы б поклялись, что знаете его, что видели его где-то. Но где именно? Вам кажется, что он иудейского племени, из наших. Но что поделаешь, когда тот помалкивает! Закрутил усы кверху, глядит в окно и насвистывает.

Если хотите такому субъекту досадить, чтобы он помер на месте, не ожил бы и при воскресении мертвых, обратитесь к нему на любом языке, когда поблизости сидят русские, особенно дамы. Но лучше всего спросите его по-русски: «Если не ошибаюсь, я имел удовольствие встретиться с вами в Бердичеве?» Это для него в тысячу раз хуже площадной брани.

Если же вы встретитесь с таким субъектом где-нибудь в Подолии или на Волыни, можете с ним заговорить по-польски: «Пшепрашам пана! Ежли шеун не змилен, то зналем ойца пана з Ярмолинцу, ктурый был в ласках у ясновельможнего Потоцкего?» По-нашему это означает: «Прошу извинения! Но, если не ошибаюсь, я был знаком с вашим отцом из Ярмолинца; его уважал граф Потоцкий». Никакого оскорбления здесь нет. Но в «Ярмолинцы» и в «его уважал граф Потоцкий» есть определенный намек.

Вот погодите, я расскажу вам одну историю, свидетелем которой я сам был.

Это случилось в курьерском. Не было третьего класса, и я вынужден был ехать вторым. Напротив меня сидел не то русский, не то еврей, скорей всего еврей. А впрочем... Кто его знает? Красивый молодой

человек, одет как спортсмен, с черным поясом на белых брюках. К тому же кавалер. Почему кавалер? Потому что он все время ухаживал за красивой барышней, настоящей фрейлейн, с высоким шиньоном и с пенсне на маленьком точеном носике. Познакомились они тут же, в вагоне, и вскоре подружились. Она угощала его шоколадом, а он развлекал ее сначала армянскими, а затем еврейскими анекдотами, и оба покатывались со смеху. Особенный хохот вызывали у нее еврейские анекдоты, которые этот субъект рассказывал с таким смаком, с каким их обычно рассказывают только черносотенцы, при этом он не обращал внимания на то, что я, может быть, еврей и это может меня обидеть... Словом, роман подвигался нормально, все шло как по маслу. Он уже подсел к ней (прежде он сидел против нее) и заглядывал ей в глаза, а она играла цепочкой от его часов, которая была прикреплена у черного пояса на белых брюках. Вдруг откуда ни возьмись на одной из станций — не помню уж на какой — в вагон заявился прихрамывающий еврей, рыжий, потный, с белым парусиновым зонтиком; он сразу же протянул руку нашему спортсмену с черным поясом на белых брюках и сказал попросту на нашем еврейском языке:

— Мир вам. Я узнал вас в окно. Могу передать привет от вашего дяди из Монастырища.

Понятно, на этой же станции нашего спортсмена как ветром сдуло, и барышня осталась одна. Но этим история еще не кончилась. Барышня — уж безусловно не еврейка, иначе зачем же было спортсмену удирать. Через несколько станций она принялась укладываться и все это время ни словом не обмолвилась со мной, даже не глянула в мою сторону, точно меня и не существует. А на станции, где она сошла, ее ожидали благообразный еврей, патриарх с бородой, настоящий праотец Авраам и еврейка в парике, с большими брильянтами в ушах. «Ривочка! Доченька!» — вскрикнули старики и со слезами на глазах припали к ее груди.

Думаю, комментарии к этой истории излишни. Я лишь хотел познакомить вас с людьми, которых

встречаешь во втором классе, доказать, что ехать вторым классом не следует, потому что там вы чужой, чужой среди своих.

Но вот если вы едете третьим классом, тут вы как у себя дома. А что и говорить, если в вагоне одни только евреи! Тогда вам лучше, чем дома. Правда, третьим классом не так удобно, место надо взять с бою, в вагоне шум, гам, толчея, галдеж; не поймете сразу, где вы находитесь и кто ваши соседи. Зато вы тут моментально знакомитесь со всеми. Все знают, кто вы, куда едете, чем занимаетесь; а вы тоже проведали о всех — кто они, куда едут и что делают. Ночью вам незачем спать, потому что у вас есть с кем поговорить; а если вы не разговариваете, говорят они и не дают вам спать. Да и что это вдруг за спанье в вагоне? Конечно, лучше потолковать с человеком, — ведь когда говоришь, всегда до чего-нибудь договоришься. Столько счастливых лет мне, сколько раз случалось, что из таких вот разговоров с совершенно чужим человеком выгорит дельце, сосватаешь кого-нибудь или просто узнаешь что-нибудь полезное для тебя.

Возьмем, к примеру, разговоры о докторах, о катаре желудка, о лимане, зубной боли, нервах, о Карлсбаде и тому подобных вещах. Как будто совершенно пустые разговоры! Не так ли? И все же со мной однажды случилось такое дело. Как-то ехал я с компанией соплеменников. Разговаривали о докторах, о лекарствах. Я тогда, не про вас будь сказано, мучился желудком. И вот один каменецкий еврей дал мне свое лекарство, порошки какие-то. Порошки эти, сказал пассажир из Каменца, прописал ему не доктор, а зубной врач, но порошки чудесные. Желтые такие. Собственно, сами порошки белые, как обычно порошки бывают, только бумажка желтая. И пассажир этот поклялся своим здоровьем, женой, детьми, что порошки эти его выручили. «Если б не эти порошки, — сказал пассажир, — я был бы уже ого-го где! Много порошков вам не нужно, — добавил он, — два-три порошка — и вы готовы. Конец желудку, —

говорит он, — конец докторам, конец хапугам, конец кровопийцам, черт бы их батьку побрал! Хотите, — заявил он, — я одолжу вам два-три порошка? Скажете спасибо».

Так оно и было. Приехал я домой, принял порошок, другой, третий, и мне стало, не сразу, а чуть попозже, к полуночи, не про вас будь сказано, так «легко», что казалось, вот-вот богу душу отдам. Мне уж думалось — ну, конец моей жизни! Вызвали доктора, второго, — еле-еле спасли... С той поры я знаю, убедился на опыте: если каменецкий еврей дает свое лекарство, желтый порошочек, — черт бы его батьку побрал! Ничего даром не дается!

Если вы утром в третьем классе спохватились, что у вас нет талеса и филактерий, — не волнуйтесь: стоит только захотеть, и вас обеспечат всем этим немедленно. Зато, разделавшись с молитвами, будьте любезны, раскройте свой чемоданчик и выложите все, что у вас там есть; имеются коржи — давайте коржи, есть водка — давайте водку, яйца — пускай будут яйца, птица, рыба! Может, у вас там яблоки, апельсины, штрудель, — вынимайте, не стесняйтесь, кладите на стол! Все закусят с вами, никто не откажется. В дороге, да еще в компании, понимаете ли, аппетит у всех особенный. Тем более, если у вас с собой стаканчик вина! Тут охотников найдется уйма, а знатоков — без счета. Каждый назовет вино по-иному, укажет другую цену. Один назовет его «Бессарабский мускат», другой — «Заграничный Аккерман». Тогда встанет третий и скажет сердито: «Какой «Мускат»! Что за «Аккерман»! Это просто «Каушанское бордо». Но тут из угла выползет еще один и с усмешкой настоящего знатока выхватит у вас стакан. Похоже, что он хочет сказать: «Спорят идиоты! Дайте-ка я приложусь!» А после того как хлебнет он раза два и щечки у него зарумянятся, как у именинника, он заявит:

— Знаете, люди, что это такое? Нет, вы не знаете, что это такое! Это обыкновенные, честные, незапятнанные, чистые «Выморозки» из Бердичева.

И все согласятся, что это настоящий бердичевский «Выморозок». А когда хлебнут немного «Выморозка», языки сами собой развяжутся. Тут каждый выкладывает все, что у него на душе, и прощупывает соседа. Все говорят, и обязательно разом. И тогда-то узнают друг от друга о всех горестях, напастях, гонениях, творимых на белом свете. Одно удовольствие!

Когда вы едете третьим классом до какого-либо города и не знаете, куда заехать, вам стоит только спросить у соседей, не знает ли кто-нибудь приличной гостиницы. И сколько в вагоне соплеменников, столько вам укажут гостиниц и отелей. Один рекомендует отель «Франкфурт» и превозносит его до небес. «В отеле «Франкфурт», — заявляет он, — тепло, светло, чисто и недорого, — просто даром». Но тут второй заявляет: «Отель «Франкфурт»? Упаси вас бог! Да ведь там холодно, темно, грязно и дороговизна невероятная. Если хотите, — добавляет он, — получить удовольствие, остановитесь в отеле «Нью-Йорк». Тут вскакивает третий: «Да что они будут делать в отеле «Нью-Йорк»? Что они, соскучились по клопам? Не слушайте их! Тоже мне, «Франкфурт», «Нью-Йорк»! Послушайте меня! Давайте ваш узелок, и мы вместе заедем в мою гостиницу «Россия». Там останавливаются евреи».

Конечно, вам нужно в это время хорошенько помнить о своем чемодане, чтобы его между делом, упаси бог, не «отговорили» у вас. Но скажите на милость, где по нынешним временам не воруют в нашем благословенном отечестве? Быть обворованным, если хотите знать, это просто рок. Если суждено, вас обворуют среди бела дня, прямо на ходу. Не спасут ни полиция, ни жандармы, ни молитвы. Вы еще поблагодарите всевышнего за то, что сами остались живы.

Одним словом, ездите только третьим классом! Это совет доброго друга и наказ практичного человека, коммивояжера.

До свиданья!

Конец рассказа № 19.

МОНОЛОГИ

ГОРШОК

— Ребе, у меня к вам дело. Вы, наверное, меня не знаете, а может и знаете, я Ента, Ента Куролапа. Я, значит, торгую яйцами да курами, курами да гусями. У меня свои постоянные покупательницы, два-три дома, они меня и выручают, дай им бог здоровья. Ведь заставь меня платить проценты, я живо вылечу в трубу. А так я держусь, — где подстрелю трешку, где отдам, возьму, отдам — вот и верчусь. Но, что там ни говори, живи сейчас мой муженек, мир праху его, я бы горя не знала. Хотя опять-таки надо признать, что мне с ним жилось тоже не так уж сладко-сахарно, потому как насчет заработков он был слабоват, не в обиду ему будь сказано, все, бывало, сидит-корпит над своими книгами, а тружусь-надрываюсь я. Правда, я к этому приучена с малолетства, меня к труду мама приохотила, ее звали Бася, мир праху ее, Бася-свечница: бывало, накупит у мясников трефного * сала и давай сальные свечи лить, ведь тогда знать не знали ни про керосин, ни про всякие лампы да стекла, которые то и дело лопаются, — у меня, к примеру, что ни неделя, то новое стекло...

Да, о чем бишь у нас шел разговор. Вот вы сказали, мол, рано умер. Еще бы не рано, ведь моему покойнику, моему Мойше-Бенциону, было всего двадцать шесть, когда он умер. Почему двадцать шесть?

Судите сами! Девятнадцать ему сравнялось в год нашей свадьбы, да после его смерти пробежало как-никак восемь годочков. Вот и выходит, по моему расчету, двадцать три. Почему не двадцать шесть? Потому что семь лет его болезни я не считаю. Он, конечно, хворал гораздо дольше, он, может, всю жизнь был хворый, верней, всю-то жизнь он, конечно, был здоровый, вот разве только кашель, он всегда кашлял, — кашель его и убил... Он всегда, не про вас будь сказано, кашлял. Впрочем, вовсе не всегда, а только когда кашель нападет. Зато уж как примется кашлять, будет кашлять и кашлять, весь изойдет кашлем. Врачи говорили, что это, мол, у него спазмы такие, хочешь — кашляй, хочешь — не кашляй! Это сущая чепуха и ерунда, от них, от врачей, толку, как от козла молока. Взять, к примеру, сына Арона-резника, Иокл его звать. Как-то схватило у него зубы; чего только с ним не делали: и кололи и заговаривали, а толку чуть. Маялся Иокл, маялся, потом взял и засунул себе в ухо чесноку, говорят, чеснок здорово от зубов помогает. Ему и вовсе невтерпеж стало, от боли на стенки лезет, а о чесноке ни слова. Приходит врач и давай у Иокла пульс щупать. Дурак этакий, причем тут пульс? Хорошо, что Иокла отвезли в Егупец, иначе он бы как пить дать отправился вслед за своей сестрой Перл, она, бедняжка, скончалась от сглазу во время родов, избави вас бог от этого...

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите — вдова. Овдовела я совсем молоденькой, осталась одна с грудным младенцем на руках, в половине дома на Бедняцкой улице, рядом со столяром Лейзером, вы его тоже должны знать, он живет за баней. Вы спросите: почему только полдома? Да потому, что другая половина не моя, а моего зятя, вы его тоже должны знать, его звать Азриел. Сам он веселокутский, из местечка, значит, Веселый Кут, и торгует рыбой, рыботорговец значит. И зарабатывает, не сглазить бы, очень даже неплохо. Все зависит от реки. В тихую погоду рыба клюет — и цена на нее вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — и цена на нее растет. И вот зятек Азриел считает, что лучше,

когда рыба клюет и цена вниз ползет. Я ему: «Какой же тебе расчет?» А он: «Расчет прямой. В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше рыба клюет и цена вниз ползет». — «Какой же тебе расчет?» А он опять: «В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет, в плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше клюет и цена вниз ползет». Тьфу, пропади ты пропадом, заладил одно, поди толкуй с этаким невеждой!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — своя квартира... Само собой, лучше свой уголок иметь и не мыкаться по чужим людям. Недаром сказано: чужое со своим не сравнишь. У меня, значит, своя половина, свое владение. Но куда мне, бедной вдове, с единственным сыном на руках, куда мне целых полдома? Есть где голову приклонить — и ладно! Зачем же мне полдома, да еще с худой крышей. Ведь который год крыша не чинена. А тут еще зятек мой, Азриел значит, пристает: «Давай класть новую крышу, давай — и никаких!» — «Ладно, говорю, давай». — «Давай крыть», — говорит он. «Давай крыть», — отвечаю я! Туда-сюда, давай-давай, судили-рядили, крыша-солома, а проку не видать. Ясное дело, ведь тут надо уйму соломы, про тес я уж и не заикаюсь, тес — это зарез. Пришлось, значит, мне сдать две комнаты, пришлось сдать. В одной живет глухой Хаим-Хоне, он уже старый и вовсе, можно сказать, из ума выжил. Его дети платят мне за него пять пятиалтынных в неделю, а кормиться он ходит к ним, правда, через день: день ест, день постится, но и в сытый день он тоже живет впроголодь. Он мне сам это говорил. А может, он и приврал немного, ведь старый человек любит поворчать. Сколько ему ни дай, куда ни посади — плохо, куда ни положи — жестко.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — соседи... Избави бог от них! О глухом речи нет, с него взятки гладки, он, как вы говорите, квартирант спокойный — тише воды, ниже травы. Но лукавый меня попутал другую комнату сдать мучной торговке Гнесе, она, значит, мукой торгует, Гнеся эта.

Ну и язва! Спервоначалу-то она была шелковая, все напевала: «Душечка, кошечка, милочка, я для вас буду делать и то и се...» И ничего-то ей, мол, не надо, только вот столечко места в печке чугунок поставить, да краешек доски раз в неделю мясца сготовить, да уголок стола раз в полгода тесто раскатать... «А куда вы, говорю, ребят ваших денете? Ведь их у вас, говорю, Гнеся, слава богу, целый выводок?» — «О чем вы беспокоитесь, Енточка, душенька! Вы не знаете, значит, моих детей. Ведь это же брульянты, а не дети! Летом они день-деньской во дворе, а зимой как заберутся на печку, только их и видели. Плохо другое: уж очень они любят поесть, уж такие охотники до еды, не напасешься на них». Да что толковать, видно, мне на роду написано страдать и мучиться. Ребята у нее оказались такие горластые — ужас! День ли, ночь — все едино, вечно у них шум, гомон, орут, визжат, кричат, ругаются, дерутся — сущий ад. И то, пожалуй, в аду легче... Но это еще не все, это еще полбеды. Ребят как-никак можно успокоить, дашь им пинка, щелчка, шлепка, они и угомонятся, на то они и ребята... Но бог ей дал мужа, его зовут Ойзер. Вы его должны знать, он младший служка малой синагоги и, видать, набожный, неглупый человек. Но как она им помыкает, Гнеся эта! «Ойзер, туда! Ойзер, сюда! Ойзер, то! Ойзер, се!» Только и слышно: «Ойзер, Ойзер...» А ему хоть бы что! Либо отделается шуточкой (он еще ко всему большой шутник), либо картузик на затылок — и был таков. Счастье, что у него характер покладистый.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: плохие соседи... Плохое плохому рознь! Избави бог, я про Гнесю худого не скажу, она не злая и даже подаст нищему ломоть. Но когда ей вожжа под хвост попадет — пронеси ты, господи! Стыд и срам! Другому я бы ни словечка, но вам, вам можно по секрету, тсс, молчок... она своего мужа того, поколачивает... да-да... тайком от всех... «Ах, Гнеся, Гнеся, — говорю я ей, — побойтесь бога, как вам не совестно, бога побойтесь». А она в ответ: «Это не ваше дело». А я ей: «Да ну вас к шуту!» А она мне: «Пускай шут унесет

того, кто сует свой нос в чужой горшок». А я ей: «Ослепни тот, кто лучшего не видал». А она мне: «Оглохни тот, кто любит подслушивать...» Вот бессовестная!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вы сказали, что я люблю чистоту... Не откажусь, верно, люблю, когда кругом чисто, ни пылиночки. Чем же это плохо? А она, Гнеся, стало быть, не терпит, что у меня все сверкает-играет, убрано-прибрано, чистота, красота... А к ней загляни! Пакость, мерзость, грязь до ушей, помойное ведро полнехонько — бррр!.. С самого утра, не успеют глаза продрать, у них уже начинается столпотворение. Разве это дети? Сущие черти, а не дети. Разве их можно сравнить с моим Давидкой, с моим сыночком! Мой Давидка, дай ему бог здоровья, весь день в хедере, а как придет вечером, тоже без дела не сидит: либо молится, либо занимается, либо книжку читает. А ее черти? То жрут, прости господи, то рвут, то дерутся, то без дела околачиваются. Скажите сами, при чем тут я, если бог ее наградил оравой сорванцов и озорников, а мне он послал чудного сыночка, настоящий брульянт, чистое золото, не сглазить бы, потому что я над ним немало слез пролила, ох, немало. Вы не смотрите, что я женщина. На моем месте ни один мужчина не выдержал бы. Иной мужчина, не про вас будь сказано, конечно, в тыщу раз хуже женщины. Чуть жизнь немного припрет его к стене, он уже и не человек! Да что далеко ходить. Взять хотя бы Осю, сына Мойше-Аврома. Пока его жена Фруме-Неха была жива, все шло хорошо. Но как только она умерла, он сразу опустился, повесил голову, раскис... «Реб Иося, — говорю я ему, — Иося, бог с вами, возьмите себя в руки, ничего не попишешь. Смерть жены, говорю, ведь это божья воля. Как там сказано в наших святых книгах — бог дал, бог и взял. Да вы это лучше меня знаете».

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — единственный сын... Он, верно, у меня один-единственный, как солнышко в небе. Неужели вы его не знаете! Имя ему дали по моему свекру, по Довид-Гиршу, значит. Посмотреть на него — вылитый отец,

дай бог ему долгой жизни, и лицо такое же желтое, как у отца, мир праху его, испитое, и весь он такой же тощий, слабенький, кожа да кости, еле-еле душа в теле... Доконали его, беднягу, и хедер и талмуд... «Хватит тебе, сынок, говорю, хватит надрываться, отдохни малость, посмотри, на кого ты похож, поешь, выпей чего-нибудь, хоть чашечку цикория». А он в ответ: «Спасибо, мама, пей сама, тебе нужней, ведь ты работаешь, надрываешься. Хочешь, я тебе помогу корзину с базара принести!» А я ему: «И не выдумывай. Таскать корзины тебе не пристало. Мои враги (а их у меня хватает) этого не дождутся. Твое дело учиться, набираться ума-разума». А сама глаз с него не свожу, до чего на отца похож, как две капли, и кашляет точно так же. Боже ты мой, за что мне такое наказание?! Как начнет кашлять, у меня сердце кровью обливается. Разве можно передать, чего мне стоило его поднять, в люди вывести? Сколько муки я приняла, сколько страданий. Ведь никто, ребе, никто не верил, что мой сынок, мое чадо выживет, потому что не было на свете болезни, не было заразы, которая бы к нему не приставала. Чем он только не болел! И корью, и оспочкой, и скарлатиной, и железками, и дифтеритом... Сколько я над ним бессонных ночей просидела, одному господу богу известно. Но, видно, дошли до всевышнего мои вдовьи слезы, и я дождалась радостного денечка, когда моему чаду сравнялось тринадцать лет и он стал совершеннолетним. Но не думайте, что этим дело кончилось. Вот слушайте. Однажды зимним вечером шел мой сынок из хедера и вдруг видит: идет по улице призрак, весь в белом, и руками размахивает. Долго ли ребенку испугаться? Он так и обмер, потерял сознание и свалился в снег. Кто знает, сколько он там пролежал, покамест его нашли и принесли домой. А как его в чувство привели, он заболел по-настоящему и пролежал, на горе своей матери, в жару, в бреду целых шесть недель! Чудо из чудес, что я все это перенесла. Чего только я с ним не вытворяла: и обет давала за него в синагоге, и «продавала» его, и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила* (Хаим-Довид-Гирш),

чтобы он долго жил и чтобы ангел смерти его не узнал, а главное — плакала, плакала над ним в три ручья. «Боже милостивый, — молила я, — ежели надо меня наказать, — накажи, только сыночка моего не отбирай». И бог, видно, сжалился надо мной, и сынок мой стал поправляться, и вот однажды он мне говорит: «Мама, я могу тебе передать привет от папы, я его видел, он навестил меня». Как я это услыхала, так внутри у меня что-то оборвалось, а сердце тук-тук-тук... «Пусть он там постарается. Это значит, что ты долго будешь жить», — говорю я, а сердце тук-тук-тук... Ну, а позже я дозналась, что это был за призрак, который белыми ручищами размахивал. Может, вы угадаете, ребе, ведь вы у нас умница! Это был Липе, Липе-водовоз. Он купил тогда новый тулуп, и как на грех белый, а мороз стоял лютый, вот он и решил согреться и давай махать руками, чтоб ему пусто было. Где же это видано, чтобы солидный человек напяливал на себя ни с того ни с сего белый тулуп!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: здоровье... Здоровье — это первейшее дело! Наш врач тоже так считает и велит ухаживать за ним, варить ему каждый день бульон, хотя бы, говорит, из четверти курицы, и если вы, говорит, в состоянии, кормите, говорит, его и молочком, и маслицем, и шоколадом, если только, мол, вы в состоянии. Что за пустые слова: «Если вы в состоянии»! Да разве есть на земле такое, чего бы я не сделала ради своего Давидки! Какое тут может быть «состояние»? Скажи мне, к примеру: «Ента, ступай рой землю, коли дрова, таскай воду, меси глину, ограбь церковь», — ради своего Давидки все сделаю, пускай в самую глухую ночь, пускай в самый страшный мороз. Этим летом, например, вздумалось ему прочитать какие-то книги, не то учебники, их у меня и в помине нет, но ведь я вхожа в богатые дома, бываю там, значит, вот он меня и просит, достань мне, мол, мама, эти не то книги, не то учебники, и написал мне их на бумажке, значит. Вот пришла я, значит, с этой бумажкой в богатый дом и выпросила эти книги — выпросила разок, другой, третий. А потом меня там на смех подняли:

«Зачем вам, Ента, эти книги? Вы что, ими своих гусей да кур кормите, что ли?» — «Ладно, думаю, смейтесь, смейтесь, зато у моего Давидки есть что читать». Ночи, ночи напролет просиживает он над этими не то книгами, не то учебниками, все читает да просит еще принести. Что ж, мне не жалко! Отнесу прочитанные, принесу новые. Тут как раз и явился этот умник, горе-врач этот, и спрашивает: могу ли я ему готовить каждый день бульончик хоть из четверти курицы? Чудак человек! А если понадобится из трех четвертей, разве я откажусь? Откуда берутся этакие врачи? На каких дрожжах их замешивают и в каких печах выпекают!

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: бульон... Я каждый божий день готовлю бульончик из четверти курицы и подаю ему вечером, когда он приходит после занятий; он ест, а я с какой-нибудь работой в руках сижу рядышком, гляжу на него, рада-радешенька, и думаю только об одном: помоги мне, господи, завтра тоже сварить бульон. А он мне: «Мама, а почему тебе не поесть со мной?» — «Кушай на здоровье, говорю, кушай, я уже ела». — «А что ты ела?» — «Что бы я там ни ела, а только я уже наелась, говорю, а ты кушай на здоровье». Потом он берется за свои не то книги, не то учебники, а я достаю из печки печеной картошки или крошу себе лучку с хлебом и заморю червячка. И хотите верьте, хотите нет, клянусь его здоровьем и счастьем, что эта луковица мне слаще самого вкусного жаркого, самого наваристого супа, потому что я рада, что Давидка мой сегодня ел бульончик и что на завтра еще осталось четверть курицы. Одна беда: уж очень сильно он кашляет, только и слышно: кха-кха... Я прошу врача: «Дайте же ему что-нибудь против кашля!» А тот все допытывается: «Сколько вашему мужу было лет, когда он умер, мир праху его, и от чего он умер?» — «От смерти, говорю, умер, от смерти. Очень просто, года его вышли, вот он и умер. При чем тут отец, когда речь идет о сыне?» А тот свое: «Нет, мне надо знать, я вашего сына осмотрел, хороший сын у вас, славный парень!» — «Спасибочки

вам, говорю, я это и сама знаю. Вы лучше дайте ему лекарство от кашля, чтобы он не кашлял, чтобы...» А тот опять: «Дело не в лекарстве, вы лучше следите, чтобы он поменьше сидел над книгами». — «А что же еще ему делать?» — «Пусть гуляет побольше и, главное, пусть не засиживается по ночам над книгами. Если ему суждено стать врачом, говорит, не беда, если он им станет на два-три годочка попозже». Эти слова мне пришлись не по нутру, нет! Неладное он толкует, сразу видно, что мозги у него не в порядке. С чего это он взял, что мой сыночек будет врачом. Он бы еще сказал — «губернатором»! Пришла я домой и все это выложила своему Давидке. А он весь покраснел и говорит: «Больше, мама, не ходи к нему и не толкуй с ним ни о чем». А я говорю: «Наплевать мне на него, я больше в его сторону и смотреть не хочу, ведь он не в своем уме. Зачем он лезет не в свое дело, зачем выпытывает, где больной работает, да как живет, да сколько зарабатывает? Какое ему дело! Тебе сунули в лапу полтинник — выпиши рецепт, — и дело с концом!»

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: хватает, мол, забот!.. Еще бы не хватало. Забот полон рот. Да и как им не быть, если на руках у тебя корзина с яйцами, да с гусями, да с курами, да с утками, да еще парочка богатых дам в придачу, которые так и норовят взять у тебя самое лучшее, самое свеженькое, боятся, что одна другую опередит! Вы сами видите, что мне не до бульонов, ведь я никогда дома не бываю. Но голь на выдумки хитра. Встану пораньше, затоплю печь и убегу на базар, потом заскочу на минутку, замочу четверть курицы, посолю ее и опять убегу. Потом снова заскочу, воду солью, поставлю горшок в печку, а сама попрошу соседку, Гнесю значит, последить за горшком: как закипит, мол, прикрыть его крышкой и задвинуть подальше в самый жар, чтобы не остыло. Что ж тут хитрого? Сколько раз, бывало, я для нее готовила полный ужин! Ведь мы как-никак все же люди, а не звери, живем не в лесу, а среди народа, значит, живем!.. А вечером, как приду с работы, разведу огонь, на-

грею, значит, и подаю ему свеженький, горяченький бульончик. Кажется, все вроде хорошо? Как бы не так! Вы забыли, что соседка у меня сущая... стыдно выговорить... не скажу кто... ну ее совсем... Сегодня утром ей вдруг приспичило угостить свою ораву молочным обедом — не то галушками, не то балабушками на молоке. Что за вкус в этих молочных балабушках! Да и при чем тут балабушки, когда сегодня не суббота, а самая обыкновенная среда, никак не пойму! Чудная она все-таки, эта торговка мукой, Гнеся эта! У нее всегда: разом густо, разом пусто. То она три дня к печке не подойдет, а то вдруг как примется стряпать, набу́хает полный котел и готовит, значит, не поймешь что, то ли пшенный кулеш, то ли кашу, причем хоть очки нацепляй, все равно ни пшенинки не найдешь. А то вдруг начистит горшок картошки, вроде как с рыбой, а на самом-то деле там один лук, за версту разит, да вдобавок еще перцу положит столько, что вся орава потом сутками не отдышится, и все они ходят разинув рты, чтоб их ветром продуло.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — не везет. Надумала, значит, моя соседка сварганить балабушки из гречневой муки и, значит, поставила в печку кувшин с молоком, чтобы, значит, вскипятить его. А ребята ее, само собой, обрадовались — давай петь, давай орать, хоть уши затыкай! Никогда, что ли, они молока не пробовали?! Да сколько там молока было, смешно сказать, дай бог нашим врагам иметь не больше. От силы две ложки — остальное все как есть вода. Но для бедняка и это радость. Вдруг нелегкая приносит самого служку. Видно, он еще в синагоге почуял, что дома пахнет богатым блюдом, вот он и пожаловал и по своей привычке шутливо говорит: «С праздником, мол, вас». А она ему в ответ: «Какой тебе, сатана, праздник, ты почему так рано приперся?..» — «Боялся, — говорит он, — опоздать к праздничному обеду. Что там у тебя в печке?» А она ему: «Специально для тебя шиш с маслом в маленьком горшочке». А он ей: «Уж лучше в большом, чтобы хватило нам обоим». Она вышла из себя

да как крикнет: «Убирайся отсюдова со своими шуточками», — да как возьмет ухват, да как подцепит свой кувшин. А кувшин хлоп на бочок, а молоко — бултых на всю печку. Тут поднялся крик, рев, шум! Гнеся принялась честить мужа последними словами. Его счастье, что он сразу ноги унес. А вся орава, значит, прыг-прыг с печки и начала реветь, плакать, причитать, словно у них отца с матерью убили... А я говорю: «Провалитесь вы с вашими балабашками, из-за них, говорю, может, бульон моего Давидки пострадал, и горшок, может, теперь, не дай бог, придется выкинуть!» * А она мне в ответ: «Черт бы побрал ваш горшок вместе с вашим бульоном, мне мои молочные балабашки дороже всех ваших горшков и всех ваших бульончиков, которыми вы пичкаете своего Давидку». А я говорю: «Один ноготок на мизинце моего Давидочки больше стоит, чем вся ваша орава». А она кричит: «Наплевать мне на вашего Давидку, он один, а у меня их вон сколько!» Такого сокровища, как эта Гнеся, еще свет не видывал. За такие слова ее бы надо как следует отхлестать мокрой тряпкой по лицу!..

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: мясному и молочному в одной печке не место... Так оно и вышло. Кувшин, значит, повалился набок, и молоко, значит, разлилось по всей печке. И если, не дай бог, хоть капля молока брызнула на мой мясной горшок, тогда мне погибель. Хотя, опять же, как могло молоко добраться до моего горшка: ведь он стоял вон там, в самой глубине, да еще был прикрыт золой. Но ручаться я не могу. А вдруг — судьба!.. Я вам все выложу начистоту, все. Бог с ним, с бульончиком, не в бульончике дело. Конечно, бульончик тоже жалко! Чем я вечером покормлю Давидку? В общем, что-нибудь соображу! Вчера я как раз принесла битых гусей, принесла, выпотрошила их, и у меня, конечно, остались потроха, значит, головки, желудочки, то-се. Что-нибудь состряпаю. Вопрос — в чем? Ведь если вы, ребе, не дай бог, решите, что мой мясной горшок стал из-за капли молока трефным, я с ума сойду, потому что больше горшков у меня нет. Правда, раньше у меня было целых три

мясных горшка, но Гнеся эта, чтоб ей пусто было, взяла у меня новенький целехонький горшок, а вернула мне битый горшок. Я спрашиваю: «Чей это горшок?» Она говорит: «Как чей? Это ваш горшок!» А я ей: «Как мой? Ведь я вам дала целый горшок, а это битый горшок». А она мне: «Тише, не кричите, не запугаете! Во-первых, я вам вернула целый горшок, во-вторых, я брала у вас битый, а в-третьих, я у вас никаких горшков брать не брала. У меня хватает своих, и оставьте меня в покое!» Видали бесстыдницу!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: горшки в хозяйстве всегда пригодятся... Осталось у меня, значит, всего-навсего два горшка целых и один битый, в общем, считай, что два горшка. Но разве бедному человеку положено иметь два горшка? Притащила я как-то с базара полную корзину кур, и вдруг на ту беду прибежала кошка и напугала, значит, моих курочек. Вы, конечно, спросите: откуда взялась кошка? Все эта самая орава. Как увидят где-нибудь котенка, обязательно подберут и начнут его мучить, пока не замучают. «Пожалейте, — просит, бывало, мой Давидка, — ведь кошке тоже больно!» Но им, этим бездельникам да озорникам, наплевать! Они кошке на хвост что-то там такое нацепили, она давай прыгать, давай рваться, куры мои перепугались, одна отвязалась, заметалась, взлетела на полку, и — трах, — оттуда горшок на пол! Ну, что ей стоило сбросить битый горшок! Так нет же! Известное дело. Битый горшок никогда не свалится, а свалится целый. Так уж оно на земле водится испокон веков!

Вот бы узнать, почему это так, вот бы... К примеру: идут двое. Один идет, и другой идет. Первый — любимый сын у своей мамаши, один-единственный, как солнышко в небе, а другой, скажем... Ребе! Помилуй бог, ребе, что с вами?! Ребе, где ваша жена! Где она там?! Живей сюда, сюда, нашему ребе плохо! Он теряет сознание! Воды! Воды!..

ГУСИ

Монолог женщины по имени Бася, которая режет гусей на ханукку и вытапливает сало на пасху

В прошлую хануку у меня, не про вас будь сказано, не про меня будь сказано, ни про кого не будь сказано, случилась беда с удачей вместе. Можете послушать! Такая история случается раз в тысячу лет! Я вот уже двадцать с лишним лет торгую гусями и пасхальным салом, а такой истории, знаете ли, со мной не случалось.

Торгую гусями... Думаете, так это просто — берут и торгуют? Прежде всего начинается целая история: как только наступает осень, после праздников надо закупать гусей, сажать их на зиму в клетку, кормить их, наблюдать за ними. А к хануке гусей начинают резать и превращать в деньги. Но вы небось думаете, что так это легко закупать гусей, сажать гусей, резать гусей и превращать их в деньги? Во-первых, покупка гусей. Надо иметь на что покупать. Наготовленных денег, своих капиталов то есть, у меня ведь нет. Надо одалживать, обращаться к реб Алтеру. А реб Алтера вы ведь знаете, — это такой человек, который и воду выварить любит. То есть отказать он не откажет, но велит прийти завтра, а завтра скажет — послезавтра, душу вымотает. А потом только начинает соки выжимать: проценты тянуть, дни присчи-

тывать... Что и говорить, хорош реб Алтер! Недаром у него такая рожа. А она, Алтериха то есть, ходит с такими щеками, хоть нож об них точи! А жемчуга у нее какие! Вот недавно она дочь просватала. Иметь бы мне вместе с вами хотя бы треть того, что стоила помолвка, мне бы не надо было гусями торговать... Хотя жениха она нашла, — накажи меня бог, если бы я за такого свою дочь отдала! Да ведь он лысый, — по-вашему, это плешь, а по-моему, парша... Но не моя это забота, ничего дурного я, упаси бог, не говорю, злословить не желаю... Путаю только одно с другим. Уж вы не обижайтесь, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Закупать гусей... Где закупают гусей? Думаете, наверное, на базаре? Конечно, как же! Если бы нам приходилось всех гусей покупать на базаре, мы бы в золоте ходили! Если хотите купить гусей для торговли, вам надо потрудиться встать до рассвета, когда сам бог еще спит, и выйти далеко за город, по ту сторону мельниц. Находится, однако, еще одна такая умница, как и вы, прибегает раньше вас и уже ждет по ту сторону мельниц. И еще, оказывается, есть одна, умнее той, и приходит еще раньше и еще раньше... короче говоря, собирается настоящая ярмарка, и все стоят, ждут и высматривают, авось господь сжалится, крестьянин вынесет пару гусей... Тогда нападают на него и на его гусей со всех сторон: «Що тоби, человиче, за гуску?» Если это торговец и человек, с которым можно говорить, то можно с ним и поторговаться! Но бывает и так, что налетите на малахольного, к которому и не подступиться, хоть ты его режь. «Геть-бо! — кричит он. — Убирайся вон! Нема у мене гуски!» И делай что хочешь! Вы ему толкуете:

— В чем дело? Що ж ты хочешь, — чтоб тебе на роже высыпало и нехай тоби боже дае хворобу в кости и добрую лихоманку!..

А он — в один голос:

— Геть! Не продаю гуску!

А уж если бог сжалился и крестьянин выпустил из рук гуся, надо этого гуся хорошенько осмотреть. А осмотреть гуся надо умеючи! Возможно, знаете ли,

что в гусях надо быть знатоком таким же, как, скажем, в брильянтах. По-вашему, например, выходит, что все гуси одинаковы. А знаете ли вы, что есть гусыни, а есть и гусаки? Гусыня — это не гусак. Гусь — это гусь, а гусак — это гусак. Гусь набирает жир, а гусак — хворобу! Как же отличить гуся от гусака? Да уж отличают! Во-первых, по чубику, у гусака на голове чубик и длинная шея. Затем гусака узнают по голосу — у него голос грубый, как у мужчины. А идет он всегда впереди гусей, тоже как мужчина, как человек. У нас мужчина, хоть будь он самая что ни на есть шляпа, шагает впереди, будто желая сказать: «Вот он — я!» К чему вам больше? Взять, к примеру, моего мужа — Нахмен-Бера. Уж на что, казалось бы, растяпа. Дальше как будто некуда? Человек, с тех пор как я за ним замужем, и двух ломаных грошей не заработал! Все счастье в том, что он знаток талмуда и что он дальний родственник нашего богача Иоськи, как говорится: нашему забору двоюродный плетень... Спросите, что я имею от этого моего родственника-богача? Иметь бы то моим врагам на обед! Досаду я имею и горести, да еще и позор, когда меня попрекают тем, что моя родственница, то есть невестка моего родственника, парика не носит, щеголяет в собственных волосах... И это не напраслина! Хороша штучка!.. Но я о ней ничего плохого не говорю, злословить не желаю. Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Закупать гусей... Когда гуси куплены, надо их, стало быть, на зиму в клеть засаживать. Но вы думаете, что засадить гусей — дело очень легкое? Ошибаетесь! Хорошо засаживать гусей, когда есть у тебя свой дом, своя кладовая, когда ты, как говорится, одна на базаре. Но как быть, если я жила, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, на квартире у Енты и отдельной кладовой не имела? А хозяйка моя, то есть Ента, и сама приторговывала гусями и пасхальным жиром, — попробуйте-ка, прошу вас, держать гусей

в одной кладовке с Ентой и не драться с ней трижды в день! Это — одно. А затем будьте умником и отличите, какие гуси ваши, а какие не ваши. Однажды, когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила у нее на квартире, у нее, у Енты то есть, сломалась клетка в кладовой, все гуси вышли и налетели прямо на мое корыто с овсом... Кто оказался в убытке? Кому пришлось кричать? Мне или ей? А она как налетит на меня! Если бы, говорит, она знала, что я торгую гусями, она бы не сдала мне квартиру ни за сто миллионов червонцев!

— А чем же, — говорю я, — думали вы, я торгую? Брильянтами?

А она — мне:

— Сами вы хороший брильянт, и муж у вас брильянт, и дети — брильянты!

Что же мне — молчать?.. Странная женщина эта Ента! Так, вообще, она готова вам душу отдать. Если вы, упаси бог, заболели, она собой пожертвует ради вас. Но только вспыльчива, — спасения нет! Вот мы однажды — было это накануне хануки... Рассказать вам, — вы бы волосы на себе рвали!.. Но я в чужие горшки заглядывать не люблю, худого ничего не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов.

Теперь начинается история: засаживать гусей... Если хотите, чтобы гуси у вас были удачные, сажайте их в клеть во второй половине месяца. Упаси бог притрагиваться к гусям в начале месяца, сразу после новолунья — это беда! Гуси не будут удачными: будут толсты в кости, а кожа будет тонкая. А уж на жир от таких гусей и рассчитывать нечего. Об этом забудьте! И днем, когда люди толкутся, гусей не засаживайте. Лучше в сумерки, при свече, или даже в темноте, но только в это время ущипните себя и произнесите тихонько три раза: «Как я в теле, так и ты будь в теле...» Мой муж, правда, смеется над этим и говорит, что это и понюшки табаку не стоит. Но я была бы хороша, если бы прислушивалась ко

всему, что он говорит! Вот он говорит, например, мой муж, — он ведь страсть какой ученый, дни и ночи над священными книгами просиживает, — что капорес * — глупый обычай! Как это вам нравится? Можете себе представить, как ему от меня влетело за такие слова!

— Это ты сам, говорю, собственным умом дошел?

— Так в священных книгах сказано! — отвечает он.

— Выходит, стало быть, что моя мама, и тетя Двойра, и Нехаме-Брайна, и Сося, и Двося, и Цивья, и Ципора, и все — дуры?

Молчит мой умник, и это его счастье, потому что я могу, знаете, устроить ему такое веселое утро, чтоб он помнил три дня подряд! Думаете, я, упаси бог, такая ведьма, злюка? Поверьте, я хорошо знаю, что такое ученый, что такое человек, сидящий над священным писанием, хоть он и палец о палец не ударяет. Думаете, он ленится? Он бы делал все, что угодно, — было бы что... Вот он и сидит над книгами. Пускай сидит. На что мне его труд, я и сама могу обойтись и с расходами по дому кое-как справляюсь, ни к кому не прибегая. Я сама, всюду сама. И на базаре, и дома, и у печи встану, поставлю варить картошку, и детей одену и отправлю в хедер, — это у меня главное! Хлеба, правда, иной раз может не хватить, халы на субботу, случается, нет, но плата за учение ребят — у меня, кроме девочек, четверо мальчиков, дай им бог здоровья, — обязательно должна быть, хоть бы камни с неба валились! Я не равняюсь по нынешним, которые суют детей своих в классы, как, к примеру, сын нашего кантора Берл — форменный безбожник! Но черт с ним, я у бога в стряпчих не состою, худого ничего не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, повадка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Засадив гусей, надо позаботиться, чтобы у них было достаточно корма; кормить их и поить вовремя. И больше ничего. Потому что гуси — это не утки и не куры. Утки боятся оспы, а куры — хорька. А гусям нужна только еда. А едят они все: гуси едят овес, гуси едят просо, гуси едят кашу, гуси едят, извините,

и кое-что похуже... Гусь не привередлив. Гусь глотает все. Гусь постоянно голоден, как ребенок у бедняка, не будь рядом помянут. У бедняка дети едят, не сглазить бы, с аппетитом все, что дадут, и никогда не бывают сыты. Я знаю это по себе. Мои дети, были б они здоровы, когда приходят из хедера, не сглазить бы, не повредил бы им дурной глаз, — не успеешь оглянуться, а буханки хлеба как не бывало, от чугуна картошки и запаха не остается! А наступает суббота, — надо каждому дать свою порцию булки, как пряника, а остальное — под замок, иначе от нее назавтра и воспоминания не останется! Дети, знаете — дело хорошее, славное. Мне бы не надоело и в тягость не было бы содержать десять ребят, пятнадцать, семьдесят пять, кабы не утроба! Богачи должны были бы себя чувствовать невесть какими счастливыми, зная, что их дети ложатся спать сытыми, что не снятся им побируши, что не проснутся они среди ночи с плачем: «Мама, ку-у-шать!..» Поверите ли, сердце болит, выскочить готово, а тут на них еще и прикрикнуть надо: «Спать, байструки! Что еще за еда среди ночи! Спать! Спать!..»

И все же видели бы вы этих богачей, как черт их за душу хватает, когда родится у них, упаси бог, лишнее дитя! Ай-яй-яй! Вот у нас недавно померла одна богачиха, женщина — кровь с молоком, добрая душа, праведница. Бейльця звали ее, красивая, здоровая, крепкая... А из-за чего, думаете? Не стоит об этом говорить, она уже на том свете, царствие ей небесное... Но я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Ну и заработок — эти гуси!.. То есть, вообще говоря, заработок неплохой, а если бог благословит, то на гусях можно и порядочно заработать. Но, видите ли, это случается раз в десять лет. Гораздо чаще бывает, что на гусях не только не заработаешь, но еще и потеряешь! А труда они требуют столько, что, право же, ни к чему весь этот тарарам. Спрашивается в таком случае: коль скоро заработка гуси не

дают, зачем же ими торговать? Но позвольте, а что же прикажете делать, если я уже столько лет торгую гусями?! Подумайте: связать тридцать с лишним пар гусей; отнести к резнику тридцать с лишним пар гусей; принести обратно тридцать с лишним пар гусей; ощипать тридцать с лишним пар гусей; разделать, посолить, вымочить, ополоснуть тридцать с лишним пар гусей, — кожа отдельно, жир отдельно, потроха отдельно, обдирки отдельно, — из всего этого надо сделать деньги, не дать пропасть ни крошке, — и все это одна я! Прежде всего выжарить кожу и вытопить жир. Я каждый год вытапливаю пасхальный жир, потому что мой пасхальный жир славится во всем городе, как наилучший, как самый кошерный*. Я, когда вытапливаю пасхальный жир, в первые дни хануки, то навожу в доме пасхальный порядок. Печь разжигаю, мужа отсылаю в синагогу — пускай там сидит над книгами. Детей выгоняю — пускай идут куда-нибудь играть в юлу. А сама принимаюсь за работу. Жир не любит лишнего глаза, а тем более — пасхальный жир. Я однажды обожглась... когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила на квартире у Енты. Были там и еще соседи. И вот вздумалось одной соседке, Гнеся ее звали, печь оладьи из гречневой муки и как раз в тот день, когда я режу гусей. Я прошу ее: «Гнесенька, душенька, любонька! Попридержите ваше желание на один денек. Вы завтра, бог даст, будете печь оладьи!» А она мне: «Я-то, пожалуй, согласна. Но дети узнают. У меня, — говорит она, — дети такие обжоры, любят поесть, если узнают, что оладий не будет, они меня живьем съедят!..» И действительно, дети, лежа на печке, услыхали, что оладьи собираются отложить на завтра, — тогда один из них, Зелик, мальчик с косыми глазенками, как раскричится: «Мама! Если не будешь печь оладьи, я сейчас упаду с печи...» Посмотрели, — горе мне, — Зелик висит головой вниз, вот еще минута, и он слетит и разобьется вдребезги! Увидав такое, я стала кричать: «Гнесенька, душенька, любонька! Пеките оладьи, пеките!» Говорят, знаете ли, что у нищего утроба без

дна. Святая истина! Посмотрели бы вы, какие у Гнеси деточки, — не накажи меня, господи! Но я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Гусиный жир... На один жир от гусей рассчитывать нельзя. Жир, когда все проходит благополучно, может вернуть то, что затрачено на гусей. А заработок должно принести все прочее. Прежде всего — тушки. Когда случится, что тушки хороши, а мясо в городе дорого, — их расхватывают! Но как же быть, если мясники у нас ссорятся, а мясо продается по дешевке, и город, богачу назло, пригласил нового резника, а старый резник подал на нового восемнадцать доносов, а кроме того, распустил слух, что он, то есть новый резник, молодчик из нынешних, из «ценистов» *, которые возятся с хедерами и собирают деньги на Палестину? Но богач этих «ценистов» не признает, он их видеть не может, они, говорит он, шарлатаны! А коли так, то и резник, значит, режет не по закону, не всякий станет покупать готовые обдирки. Я толкую своим покупательницам: «У меня вы можете спокойно покупать обдирки, моих гусей режет старый резник».

— Да, — отвечают они. — Вы, конечно, совершенно правы, но дело в том, что у обдирок на мякоти не написано, кто их резал — старый резник или новый.

— Что значит, — говорю я, — не написано? Если я говорю — старый резник, значит старый! Или вы и мне перестали верить? Тогда уже свету конец!

А они:

— Странная вы женщина! Мы вам, конечно, во всем доверяем. Но если мы и сами можем послать к резнику гусей зарезать, зачем же нам обдирки, о которых мы не можем знать, кто их резал?..

— Тьфу! Опять двадцать пять! Я клянусь вам жизнью мужа и детей! Вы знаете, это у меня клятва верная!..

— К чему вам клясться, — говорят они, — когда мы и так вам верим!

— Тогда возьмите у меня обдирки, освободите мне корзину!

— Не можем мы, — отвечают они, — взять у вас обдирки, не знаем, кто резал...

Ну, вот и теши кол у них на голове! Нет того, чтобы войти в положение! Пожалели бы: женщина мучается с гусями, все думает, чем черт не шутит, а вдруг заработает сколько-нибудь... Такая зима стоит, дров нет, солома дорога, воз соломы — червонец, а дети, бедные, босиком бегают в хедер, приходят домой посиневшие, заберутся на печку, скрючатся, как кролики, и ждут не дождутся горячей картошки, а картошка — на вес золота, много не родилось, а много и на поле осталось... Город хорош! Хоть бы оглянулся кто: бедняки от холода мучаются, нищие умирают, пухнут с голоду, дети падают, как солома, как мухи... Хорошо еще, что только бедняки помирают... Не накажи меня бог, я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Только путаю одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Гусиные обдирки... Если бы рассчитывать на одни обдирки, так хорошо бы мы выглядели с нашими гусями! Но, кроме обдирок, есть у гусей всякая мелочь: потроха, шкварки, печеночки, пупочки, головы да лапки, гортани, крылышки, язычки, сердечки и почки. А шейки?! Есть у меня покупательница, зовут ее Печериха, она забирает у меня все шейки, сколько бы ни было, — будь хоть полсотни шеек, она меня не выпустит. Муж ее, говорит она, то есть Печерица, большой любитель грудинки и шеек. Грудинку он любит холодную, приперченную, а шейки — начиненные мукой, или кашей, или фарфелем, или печенкой со шкварками, жаренные или варенные с морковью. И что же вы думаете? Как покойники едят, так они и выглядят. Он выглядит, не сглазить бы, в сравнении с моим мужем, как человек лет тридцати с лишним, хотя он старше моего мужа лет на десять. Мой муж хотя тоже никакой работы не делает, но он по крайней мере изучает священные книги, и, придя домой, он не скажет, как иные мужья: «Слышь ты,

дай-ка покушать!» Он, когда приходит из синагоги, первым долгом берется за книгу, глядит в нее и вздыхает, вздыхает потихоньку, — это значит, что он голоден. Сказать: «Давай кушать!» — этого нет. Но — что же? Стонет, хватается за сердце и произносит: «Ох-ох-ох!» Это значит, что ему сильно есть хочется. «Может быть, закусишь?» — спрашиваешь его. А он отвечает: «Пожалуй...» Сколько раз я ему говорила: «Ведь у тебя язык есть, почему не скажешь, что ты голоден? Зачем тебе сидеть и стонать?» Молчит, не отвечает... Хотела бы я посмотреть, что было бы, если бы ему три дня кряду не давать кушать? Думаете, он такой дурак? Но как может человек ученый, светлая голова, быть дураком? Если бы он при своей учености был чуть побольше пролазой, не мог бы он разве быть у нас раввином? А что бы мы стали делать со старым раввином? Но что мы станем делать со старым кантором? Очень нужно было нанимать нового кантора в синагогу, чтобы старый помирал с голоду? Или был он недостаточно беден? Только потому, что богачу захотелось пения? Хочешь пения? Иди в триатр [1], не будь рядом помянут, и будут там тебе петь песни, хоть тресни!.. Будь я мужчиной, я бы с богачами рассчиталась! Думаете, я имею что-нибудь против них? Ничего я против них не имею, но только я их терпеть не могу! Не выношу богачей! Богачей и пауков, не накажи меня бог! Я ничего плохого не говорю, злословить не люблю... Только путаю одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Зарабатываешь на гусях!.. Не думайте, что продать все сало, все обдирки и все потроха — это великое счастье. Не будь у гусей пуха и пера, не стоило бы вообще со всем этим делом возиться. Прежде всего, когда я только еще собираюсь засадить гусей в клеть, я их уже подщипываю под мышками и собираю немного пуха. А потом, когда их уже порезали, и говорить нечего: пух отдельно, перо отдельно, и я

[1] Искаженное: театр.

приготовляю себе работу на всю зиму. Вечера долгие, нащиплешься всласть. Вот я и щиплю. Сейчас у меня кое-какая помощь есть: девочки. Девочки — это не мальчики. Мальчики в хедер ходят, а девочки — что? Девочки что гуси: сидят, кормятся и растут. Вот я и сажаю их рядом с собою над решетом: «Помогайте, дети, перо щипать, дам вам за это завтра шкварок, намажу ломтик хлеба жиром, а то и вовсе сварю суп с потрохами!» А что поделаешь? Мяса всю неделю, до субботы, в глаза не видишь. Если бы я не торговала гусями, не знаю, что бы я стала делать с детьми всю неделю! А так все же перепадают им кожица, голова, лапка, потроха, немного жира — одного запаха и то довольно. Когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила на квартире у Енты, я сама слыхала, как Гнеся говорила: «Как только наступает пора хануки и вы начинаете возиться с гусями и с пасхальным жиром, моя орава словно оживает: от одного запаха у них голова кружится и кажется им, что они едят гусятину...» Думаете, приятно бывало смотреть на Гнесину ораву, не сглазить бы, как они, сидя на печи, глядят, видят перед собою такой чугун жира и столько шкварок и не смеют даже ручонку протянуть, а вынуждены, бедняжки, только смотреть, как волчата, блестящими глазенками и облизываться, — жалость за душу берет! Сунешь им шкварку, помажешь по губам каплей сала. А что же еще, скажите на милость? Как я могу накормить столько ртов, когда и сама я осыпана, не сглазить бы, ребятишками, а муж и ломаного гроша не зарабатывает, да и должна я за гусей — иметь бы нам с вами хотя бы треть того, а проценты растут, черт бы их взял, и платить нужно, не могу же я вдруг обанкротиться, упаси бог, как это сделала Ента, которая не уплатила шурину за вторую половину дома из-за сынка, который учится, говорят, в классах и пишет по субботам... * Так люди говорят, я при том не была. Не люблю я говорить о том, чего не знаю, и возводить напраслину на людей не стану. Я спрашиваю только одно: для чего Ентиному сыну быть ученым? Тот

совсем больной, прости господи, чахоточный. Все они, не тут будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, чахоточники. Пускай он живет до ста двадцати лет и принесет ей счастье, что я могу иметь против нее? Хотя, если подойти с другой стороны, она со мной не так уж хорошо поступила! Не выкуривают квартирантов перед самой пасхой! А из-за чего? Из-за того, что Менаше-водовоз может платить рубль в неделю, а я нет! Пускай похвастает, когда он ей уплатит! Говорят, что этот Менаше должен всем, — волосы и те ему не принадлежат. Забрал у всех хозяев за воду вперед за всю зиму, да и бедняк он порядочный, а жена у него, ее Песей звать, тоже хороша штучка! Не накажи меня бог, я ничего плохого не говорю и злословить не люблю... Но погодите-ка, я, кажется, хотела рассказать вам что-то интересное? Но что? Понятия не имею, сама забыла!.. Женщины, доложу я вам, — народ, с ними не шути! Вот смешала я все вместе, кашу с борщом, с печенками да со вчерашним днем — а для чего? У бабы, скажу я вам, и в самом деле слов — девять коробов!.. Придется отложить мой рассказ до следующего раза.

БЕЛАЯ ПТИЦА

Монолог дамы

Не знаю, как вы, а у меня, хоть потоп, белая курица в канун Судного дня непременно должна быть! Скажу вам по чистой совести, я даже не понимаю, как бы я могла исполнить обряд «капорес», не будь у меня белой курицы! Мне кажется, я бы весь год потом боялась смерти. Так уж я привыкла с малых лет. Все на свете — привычка. Моя мама, надо вам знать, тоже не такая уж великая праведница, но этих вещей она как раз придерживается. Например: на пасху — пасхальный борщ, на швуэс * — любисток, «капора» — белая, в ханукy — блины, в пурим — гостинцы, и тому подобные богоугодные дела я соблюдаю, как настоящая раввинша. «Поминание душ» — для нее что зеница ока, а не слушать звуков рога * для нее гораздо большее несчастье, чем для меня не слушать — не будь рядом помянут! — Шаляпина... И тем не менее, если бы вы ее знали, вы бы, наверное, подумали, что имеете дело с великосветской образованной дамой. Гете и Шиллер не сходят у нее с языка, с Цшоке * она ложится спать еще по сей день. А наступит месяц элул, и она, вы бы видели, накрывает голову белым платком и начинает водиться с «мещанками». Боюсь, не советуется ли она с ними насчет свечей для синагоги... А потом —

прошли покаянные дни — платок с головы долой, и снова Гете, опять Шиллер, сызнова Цшоке. Вот она какая женщина, моя мама, и в таком же еврейском духе она воспитывала нас, своих дочерей. Нас у нее было пятеро, и все мы вышли замуж по любви, то есть все мы были красивыми девушками, образованными и подавно, и приданого было за нами в банке по пятнадцати тысяч на каждую, — как же нас было не любить? Мы славились по всему свету, надо вам знать, не столько красотой и образованием, сколько добропорядочным воспитанием. А воспитание, знаете ли, — это великое, великое дело! Например, в некоторых отношениях мы были воспитаны нашей матерью очень свободно: мы могли говорить с кем нам захочется, могли ходить куда нам угодно и делать могли все, что вздумается. Но в том, что касалось еврейства, соблюдалась величайшая строгость! Например, снимите мне голову, но я не сниму левый башмак раньше правого!. Володя смеется надо мной и издевается, но если бы я обращала внимание на все, над чем смеется Володя, у меня бы на пасху были одни куличи да крашеные яйца и ни кусочка мацы. Мой Володя в отношении еврейства немного того... То есть вообще — наоборот! К евреям он относится с величайшим уважением. Услышит, что на евреев свалилось какое-нибудь новое несчастье, погром, — и ходит как не свой. Помилуйте, еврей! Еврейская кровь!.. Но терпеть он не может еврейских ужимок, еврейских выходок... Однако пусть кто-нибудь чужой позволит себе сказать о евреях худое слово, он готов глаза вырвать. Странный он человек, Володя! Сколько раз слыхала я, как он хвастал перед господами, которые приходят к нам иногда поиграть в преферанс, что у нас есть свой, еврейский, дипломат Герцль*, который чувствует себя своим человеком у турецкого султана. А когда сионисты пришли к нему как-то за деньгами, он с ними долго спорил и доказывал, что они носятся с химерами и втемяшили себе в башку бог знает что... Ну, а деньги? Думаете, не дал? Дал! Вот такой он человек — мой Володя. Сколько мне приходится спорить с ним из-за детей! Дети у меня,

не сглазить бы, удачные, красивые, здоровые, свежие, ясные. Чего еще надо? Но ему, Володе то есть, хочется, чтобы они все знали. Знать? Пожалуй. Я тоже хочу, чтобы они все знали. Кто же не хочет, чтобы дети все знали? Но их здоровье для меня дороже. Я мать, быть может, не такая уж горячая, но все же — мать, я знаю, что значит здоровье. Мои Сашка и Сонька, прежде чем они выросли, — э-ге-ге! А он их еще мучает, хочет, чтобы они все умели, все знали, даже еврейский, говорит он, они должны знать. Мало того что у них и гимназия, и музыка, и танцы, и всякая напасть, — не хватает им, видите ли, еще одного несчастья: учить еврейский! Если бы учили по крайней мере еврейский, как учат, например, немецкий, французский или английский. Или если бы еврейский учитель был таким же, как и все учителя. Но он, — не накажи меня бог за такие речи, — сама не знаю что. Володя тоже не выносит запаха этого еврейского учителя. Каждый раз после его ухода он раскрывает окно.

— На что он тебе нужен? — спрашиваю я.

— Нынче, — отвечает он, — еврейский язык в моде. Вот и надо, чтобы они учили еврейский.

Понимаете? Мода! На все мода! Карты тоже в моде. Мой Володя когда-то не знал преферанс, «шестьдесят шесть»... А сейчас он может засесть на целую ночь и играть до следующего вечера. Он уже почти не может обходиться без карт. Но покуда он играл дома, меня это не трогало. Я и сама не прочь поиграть в преферанс, и «очко» мне не претит. У моей мамы мы все частенько играли в «очко». Меня волнует, что он играет в клубе! Ох уж мне этот клуб! Сгореть бы всем клубам на свете! Во-первых, жалко денег. Играет он для того, чтобы выиграть, но проигрывает много денег! Я знаю, когда он выигрывает и когда проигрывает. Если пришел нервный, то есть прямо-таки помешанный, и вымещает на мне все, что на сердце, придирается на каждом шагу, — значит, проиграл. А времени сколько уходит?! Ночи! Ночи! На первых порах, пока я узнала, куда он исчезает каждую ночь, я места себе не находила, чуть с ума не

сошла! Каждый раз он придумывал новую отговорку. То третейский суд на три ночи кряду, то заседание, а то просто приятель затащил к себе на преферанс. Но ведь я же Володю знаю. Знаю, когда он врет, а когда правду говорит. Если клянется и в то же время сердится — значит, врет. Я, конечно, стала вынюхивать, прощупывать и узнала, что он ходит в клуб. Камень с души свалился! Слава богу, что не еще куда-нибудь...

— Володя, — говорю я, — играть в карты ты разве не можешь дома?

— В клубе, — отвечает он, — видишься с одним, с другим, узнаешь, что на свете творится...

Чепуха! Это, как говорится, разговоры в пользу бедных.

— Володя, — продолжаю я, — подумай, ты оставляешь меня одну на целые ночи, детей в глаза не видишь... Бога не боишься, разбойник этакий!

А он отвечает, что терпеть не может сцен и не может слышать, когда я разговариваю с богом.

Я начинаю плакать. Тогда он хлопает дверью, уходит и является утром следующего дня страшно сердитый. Понимаете? Выходит, что я еще у него в долгу! Смотрю я тогда на своего Володю и вспоминаю то время, когда он за мной увивался, сватался, умолял, шаги мои считал, оберегал мою тень. Нелегко ему далось. Прежде всего он старался понравиться моей маме, выслушивал целые страницы из Гете, из Шиллера и Цшоке. Затем он читал ей книги, и обязательно романы, и обязательно такие, от которых и камню впору слезами изойти... Держал на руках ее нитки, летом помогал варить варенье, зимой играл с ней в карты, измотался вконец, и все ради меня. По мне он помирал, готов был целовать следы моих ног. Немалую муку вытерпел, пока дождался от меня доброго слова, потому что у меня тогда было три таких жениха, не менее привлекательных, чем он. Один из них — сейчас он доктор — был в меня влюблен прямо-таки до смерти. То есть все они подыхали по мне. А сейчас? Вздумай я вскружить кому-нибудь голову, — очень это мне трудно? Вот, к примеру, апте-

карь Бренгольц, который пляшет вокруг меня — он мне сказки рассказывает, хочет убедить, что я моложе на десять лет, — и который приходит как раз тогда, когда Володи дома нет. Правда, я сама даю ему повод: хочу, чтобы Володя знал об этом и чтобы ему было досадно. Я сама потом ему рассказываю:

— Знаешь, кто здесь был?

— Бренгольц? — спрашивает он и хоть бы поморщился.

— Завтра, — говорю я, — мы с ним идем вдвоем на Шаляпина...

— С кем? С Бренгольцем?

Я смотрю на него в это время и думаю: «Погоди, я тебя дойму!» И спрашиваю:

— Как ты думаешь, Володя, ничего было бы снять вместе с Бренгольцем одну дачу?

— А что же тут такого? — отвечает он.

— Бренгольц, — говорю я, — предлагает мне поехать с ним в нынешнем году в Мариенбад.

— Пожалуйста! Счастливого пути!

Вот как? «Пожалуйста»? Ну, нет! Именно потому, что тебе хочется, я не желаю! Скажите на милость, что это стало с моим Володей? Товарищи втянули его в свою компанию... О, они умеют! От клуба ничего хорошего ждать не приходится. Из клуба каждую ночь ходят в «Парнас», в «Олимп», в «Аркадию» и тому подобные веселые места и довольно весело проводят время... Сгорел бы этот клуб! Сгореть бы картам! Сгореть бы этой компании. Когда-то мы с Володей просиживали целые ночи, и разговаривали, и разговаривали, и всегда нам хватало разных тем... Зато теперь у нас с аптекарем Бренгольцем достаточно разговоров на разные темы. Разговоры, вообще говоря, пустые: остроты, песенки, анекдоты. Ох и анекдоты у него, у Бренгольца, черт бы его побрал! И как раз анекдоты еврейские, хи-хи, разные. Я люблю хороший анекдот, слушать анекдоты мне никогда не надоедает. Вот и сидит он, Бренгольц то есть, ночи напролет и рассказывает мне анекдоты... Я знаю, что весь город обо мне говорит. Знаю отлично, что говорят обо мне, но меня это нисколько не трогает! Меня

волнует только то, что это Володю не волнует!.. Бог ты мой! Если бы в прежние годы, например, пришли к Володе и рассказали, что у меня просиживает по ночам какой-то аптекарь и рассказывает мне анекдоты... Ого-го! А нынче — ничего! Володя приходит иной раз поздно ночью и застает его у меня на балконе и — ничего.

— Что нового, господин Бренгольц?

И господин Бренгольц рассказывает ему новости. Володя курит, притворяется, будто внимательно слушает, а на самом деле думает в это время бог знает о чем, потому что голова его там... Хотите знать, где это «там»? Э, если бы я знала, было бы хорошо! Давно уж мне хочется это знать, уж я как будто и на кое-какой след напала. Недавно я у него из брючного кармана вытряхнула письмецо на розовой бумаге, пропитанное духами, за подписью «Маша»... Маша? Маша? Кто такая Маша? Вот уже две недели, как я ломаю себе голову и никак додуматься не могу... О, пусть я только узнаю наверное, уж он тогда не обрадуется! Будет ему Маша! У него в глазах «замашит».

Однако куда ж это я заехала? С чего я начала? Да, с белой курицы. Не знаю, как вы, а у меня, хоть потоп, белая курица в канун Судного дня непременно должна быть! «Как бела курица, так и я от грехов бела!» Так учила меня мама. Я следую ее примеру. Поэтому и курица мне нужна обязательно белая. И не только за меня, но и за Володю, за детей и даже за мою маленькую Лелечку, я тоже покупаю маленького белого цыпленка, маленькую белую курицу. Я за них всех приношу жертвы. Горе горькое, когда ты единственная еврейка в доме, единственная, соблюдающая еврейские законы и придерживающаяся еврейства... Я беру молитвенник, произношу молитву и верчу над головой свои жертвы, повторяя: «Это да будет моей заменой, моим искуплением», и чувствую, как крепнут мои силы, потому что это белая, белая «капора», как завещано богом!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИМЕС *

Монолог виленской женщины

Они говорят, бесстыдники эти, из нынешних, лихо им, будто тогда только люди будут счастливы, когда создадут ералаш: мое — твое, твое — мое... А вот я вам говорю, что если когда-нибудь такое случится, то это будет столпотворение, конец миру, земля кувырком. Вы только послушайте, что приключилось со мной в прошлом году, как раз в это время, в первый день кущей. Живу я, как вы, наверно, знаете, в переулке Гитки-Тойбы, в доме Гутки Нехиной. Хотя и то сказать, дом этот так же принадлежит Гутке Нехиной, как вы приходитесь мне дядей. Хозяев в этом доме предостаточно: пять братьев, с божьей помощью, имеют в нем долю и две сестры. Братья-то все умерли и сестры тоже умерли, но и те и другие оставили детей, и порядочно, можно сказать, детей. И дети никак не могут прийти к согласию насчет дома: то ли продать его, то ли разделить. Можно бы, правда, его сжечь, но жаль соседей, огонь полгорода унесет. Вот и не расстанутся наследники с этим домом, точно я — с моими горестями. Ни тебе крыши, ни лестницы, ни печи — курятник, черт его побери. А снимешь там койку, так изволь платить два с полтиной в месяц, да еще с копейками. А за что? За то, что с отоплением, видите ли. Такой бы жизни нашим недругам,

какое там отопление, — разве лишь накануне субботы или под праздник какой слегка протопят. Хозяева говорят, что от такой пропасти жильцов само собой жарко... И в самом деле жарко. Даже слишком. Подумайте, сколько жильцов, не сглазить бы, в одной квартире; вот подсчитайте-ка: стекольщик Шмерл — это раз; мясник Пине-Меер — два; сморгонский меламед Нафтоле-Бер — три; вдовец Мойшке — вот вам уже четыре. Был бы он и вправду вдовцом — это бы еще с полбеды. Но он такой же вдовец, как вы губернатор. Когда-то он и в самом деле был вдовцом, да не повторится с ним такая беда, так это звание за ним и осталось. Теперь он уже, слава тебе господи, не вдовец. Наградил его бог ведьмой, хоть бы она подольше продержалась у него...

Да, чуть не забыла, а писец реб Иоше со снохой? Вы спросите, почему я говорю «со снохой», а не с сыном? Это потому, что сын пошел на войну, и реб Иоше уступил свой угол одной счастливой чете, которую у нас прозвали «Бунимовичи» *. А прозвали их так за то, что он калека, а она слепая, и оба загребают золото. У них-то деньжонки водятся; наверно, немалый капитал уже скопили, ведь всего два человека и оба — добытчики! Корректора реб Лейбе можно не считать, ведь, кроме субботы, его всю неделю и не видно; он человек занятой, у него не меньше десяти профессий, не считая работы в типографии священных книг: он и маклер, и посыльный, и умеет трубить в рог, и псалмы читает, а в случае беды, если кто-нибудь тяжело заболеет, реб Лейбе и амулет сочинит. Да разве перечислишь все его занятия?..

Жена его тоже не сидит сложа руки, не беспокойтесь, она льет восковые свечи и торгует бобами, и — черт их знает — все равно бедняки! Да, так на чем же мы остановились? Людей у нас полон дом. Но и это бы ничего, если бы все ходили молиться в одну синагогу. Так нет же, у каждого свой норов.

Если стекольщик, скажем, молится в синагоге

стекольщиков, мясник — в синагоге мясников, а меламед — в Любавичской синагоге *, — это еще куда ни шло: каждого тянет к себе подобным, в свой цех. Но какое отношение имеет, спрашиваю я вас, вдовец к старой синагоге? Что он, такой уж знаток пения, без кантора Сироты * никак не может? Вы бы послушали этого вдовца, как он заливается по субботам. У самого-то голос недорезанного петуха, а еще хорохорится, лихо ему! Он так забивает всем головы своим «Благословен накормивший нас», что весь воскресный день у меня в ушах звенит. Не знаете ли вы, чем его там накормила его ведьма, разве лишь проклятиями и ругательствами! А потолкуйте с ней, то правда, выходит, на ее стороне: муж, говорит она, подобен изгнанию — терпишь, пока не привыкнешь. Как вам это нравится?

Казалось бы, у меня больше оснований жаловаться на всевышнего, — ведь мой-то и в самом деле овца овцой, палец о палец не ударит, день и ночь сидит в синагоге над священными книгами, а я, как вы знаете, не живу, а мучаюсь. Во имя чего, спрашивается? А мне, видите ли, кресло в раю уготовано. Вот и работай во все тяжкие, как ишак, да смотри, чтобы по субботам и праздникам у тебя все было по-царски. Почему только по субботам и праздникам? Потому что во все остальные дни муж кормится за счет Двойры-Эстер *. Чем его там кормят и как — в это я не хочу вдаваться. Знаю только, что, когда приходит суббота или другой какой праздник, у меня для него и хала есть, и рыба, и добрый кусок мяса, и тому подобное. В праздник у меня непременно и цимес должен быть: на пасху цимес из слив, на кущи — из моркови.

И вот послушайте историю: в прошлом году накануне кущей морковь страсть как вздорожала. Привозить ее, что ли, перестали, кто их знает, только каждая морковка на вес золота. Но ничего не

поделаешь, цимес моему мужу милее всего. Он и от рыбы готов отказаться, и от мяса, и от всего такого прочего, был бы только цимес. Хотя я-то знаю, что так только говорится, будто прочее ему нипочем, цимес ведь подается напоследок, — значит, нетрудно быть уступчивым...

Принесла я, значит, с базара морковь, почистила ее, нарезала и поставила к огню. Что мне вам сказать: райская еда! Недаром богачи едят цимес в будни, на это у них ума хватает. Богачи любят есть в будни то, что мы едим в субботу... Сварила я цимес и задвинула его в мой уголок — у нас у каждой жилички свой уголок в печи — и пошла на минуточку проведать сестру. У меня есть сестра Бейлка, так у нее вот уже десять лет как отнялись ноги, не про вас будь сказано, и все же она сама зарабатывает себе на пропитание: ощипывает птицу.

Зимой, значит, она щиплет перья, а летом вяжет детские чулочки и гарусные шапочки. Живет моя сестра вместе с еще несколькими семьями во дворе Лейбе Лейзерова, на Еврейской улице. Ну, что плохого в том, спрашиваю я вас, что по случаю праздника я сходила на полчаса к сестре? Кстати, я ей и халу понесла и кусок рыбы, пусть тоже почувствует праздник. Не чужое я ей понесла, упаси бог, все моим трудом добыто, даже перед мужем я не должна ответ держать — так кому какое дело?

Видимся мы с сестрой только по праздничным дням, вот мы и заговорились немного, и за мной пришли. Оказывается, муж успел уже вернуться из синагоги. Горе мне, наверно, сердится, небось проголодался, бедняга. Прибежала я домой ни жива ни мертва, а в шалаше* ужинает уже шестая по счету семья: у нас на всех жильцов один шалаш, и все разом не могут в нем поместиться. Слава богу, он мне ни слова не сказал, мой муж. Он не из тех мужей, которые что-нибудь скажут. Тихий человек. Но по тому, как смотрит, вижу, что он обижен: смотрит в книгу, значит обижен. Правда, это редко бывает,

чтобы мой муж не смотрел в книгу, но все зависит от того, как смотреть: можно смотреть по-одному, а можно и по-другому. На один глаз мой муж чуть подслеповат, вот и получается совсем невесело... Я, конечно, оправдываюсь: то да се, целую неделю с сестрой не виделись. Куда там! Мой недоволен, смотрит в книгу. Поднесла я ему кружку воды руки помыть, потом подала рыбу: пахнет — объедение! — за рыбой кусок мяса, бульон с клецками, все кругом хорошо. Дошло до цимеса, я и говорю ему, — ведь как-никак муж, который вечно сидит за священными книгами: «У меня сегодня цимес, скажу я тебе, сам царь не побрезговал бы, честное слово! Настоящий праздничный цимес, из моркови!» Услышав о цимесе, мой отложил книгу и ожил. А я тем временем направляюсь к печке. Смотрю — гром меня порази, горшок чист, хоть бы крошка осталась, цимеса как не бывало. Где же цимес? Нет цимеса! Я к тому, я к другому: «Не видели ли вы моего цимеса?» Пустое! Никто и слыхом не слыхал ни о каком цимесе. К счастью, нашлась соседка, которая сжалилась надо мной и сказала, что знает, куда девался мой цимес. Цимес, сказала она, приказал долго жить. Его давно уже съели, но кто съел, она боится сказать, потому что кому же охота связываться с кривой, с одноглазой значит... Смотрю на своего — так и кипит! Уткнулся носом в книгу — и ни слова!..

Побежала я к этой счастливой чете, к Бунимовичам: «Как же так, говорю, погибель на вас, чем провинился перед вами мой цимес?» А она, кривая эта, отвечает: «Какой цимес?» — «Праздничный, говорю, из моркови». — «Дай вам бог здоровья, — говорит она, — на что мне сдался ваш цимес, если у меня был собственный цимес, пожирнее вашего». Это меня задело за живое: какова нахалка! Я же точно знаю, что у нее ни одной морковки не было, хотя бы на пробу, а она говорит, что у нее был цимес пожирнее, то есть получше, чем у меня. «Значит, говорю, у вас жирнее?» — «Да, говорит, жирнее!» Тогда я еще раз

спрашиваю: «Жирнее?» И она еще раз: «Жирнее!» Тогда и я еще раз: «Жирнее, значит?» И она еще раз: «Жирнее!» Это было уж слишком. Пусть бы она отрицала, что разделалась с моим цимесом, это я, может быть, еще бы стерпела, я бы подумала: кто его знает, вдруг это и в самом деле не она, а кто-нибудь другой? Но утверждать, что у нее цимес был жирнее!..

Стоит ли рассказывать, что было дальше? Нехорошо получилось, очень нехорошо... Кто же виноват, что взяли людей и, словно кур, загнали их всех вместе в один курятник и живи как знаешь! А вот подите же поговорите с ними, с нынешними, значит, с этими бесстыдниками, которые хотят завести новые порядки, все перемешать, устроить кавардак, и они вам докажут, что раз умные люди так говорят, значит оно так и должно быть... А я вам еще раз скажу: это будет столпотворение, конец миру, земля кувырком и... С праздником вас!

ЯИЧНИЦА БОГАЧА

— Право, Гинда! Последние штаны продать, лишь бы богачом стать!

— Ты о чем?

— У богача был. Видел, яичницу ему подали. Райский вкус, что и говорить...

— Брось, что тут особенного? Яичница как яичница.

— Пальчики оближешь, что и говорить...

— А ты ел?

— Ел? При чем тут я?

— Откуда же ты знаешь?..

— А разве не видно? Издали посмотреть — и то удовольствие! Тает во рту, как масло...

— Известное дело, богачи, чего им не хватает?

— Разве лишь головной боли! Хотел бы я видеть, Гинда... Гм... Гм... А не сделаешь ли ты хоть раз яичницу?

— В самом деле?.. Губа не дура...

— Почему бы и нет? Ведь раз в жизни...

— С ума спятил, что ли?

— Гм... гм... Под ложечкой сосет... Сделай мне яичницу! Ну-ка, Гинда!

— Вот напасть! А из чего ее делают, ты знаешь?

— Что ты! Откуда мне знать?

— Вот и не говорил бы... Во-первых, они, богачи эти, масла не жалеют.

— Пусть без масла, лишь бы яичница!

— Вот так так! А молоко?

— Пусть без молока, лишь бы яичница!

— Хорошо. Ну, а яйца? Какая яичница без яиц?

— Яйца? Почему «яйца»? Разбей одно яйцо и сделай из него яичницу.

— Допустим, но где его взять? Было одно яйцо, так половину желтка я пустила в фарш, а часть белка — в тесто...

— Ну-ну, если только ты захочешь, то найдешь, из чего сделать яичницу...

— Из чего же? Из скорлупы, что ли? Ведь всего пол-яйца осталось...

— Откуда мне знать? Ты ведь хозяйка!

— Хозяйка, ну и что же? Разве немного муки добавить?

— Пусть с мукой, лишь бы яичница!

— Умница! А где ее взять, эту муку?

— Ну, одну горсточку, неужели не наскребешь?

— Не наскребешь... Может быть, гречневой?

— Пусть с гречневой, лишь бы яичница!

— Вот так так! А может, с лучком?

— Пусть с лучком, лишь бы яичница!

— Совсем забыла! Лука нет, чеснок только есть.

— Пусть с чесночком, лишь бы яичница!

— Хороша яичница! А чем смазать сковороду?

— Чем хочешь смажь, лишь бы яичница!

— Яичница на мою голову! Приспичило! У богача увидел! А если богач отрежет себе нос, так и ты туда же? Обезьяна! Яичница вдруг, ну, ну! Иди же, мои руки! Готова твоя яичница!

— Уже готова яичница? Вот так Гинда, люблю тебя за это... Пусть богачи не думают, что только они могут есть яичницу! Благородное кушанье... Чесноком пахнет — объедение! Славно, Гинда! Я был бы не прочь каждый день есть яичницу... Знаешь, Гинда, что я тебе скажу? Гм... Гм... Твоя яичница что-то не того... Вроде кисловатая она, клейкая какая-то, и соли как будто не хватает... Гм... Гм... Уж ты не обижайся, Гинда... Да не накажет меня бог... С души воротит, тьфу! Черт их знает, этих богачей, чем они только тешатся...

ЗА СОВЕТОМ

— Вот уже третий день заходит к тебе какой-то молодой человек. Говорит, что ему очень нужно с тобой повидаться. По нескольку раз в день наведывается.

Эту, с позволения сказать, радостную весть мне сообщили, когда я однажды вернулся домой из поездки.

Я подумал: «Вероятно, сочинитель со своим произведением».

Звонок раздался, как только я сел к столу и принялся за работу.

Вот уже открыли дверь. Кто-то там возится в передней. Снимает калоши. Кашляет. Сморкается. Да, все признаки «сочинителя». Что ж, я бы хотел скорей увидеть этого субъекта.

И вот он, с божьей помощью, входит в мой кабинет.

Он весьма любезно меня приветствовал. Точнее сказать: сделал какой-то замысловатый реверанс и, потирая руки, представился. Назвал свое имя — из тех имен, какие тотчас испаряются из вашего сознания.

— Присаживайтесь! Чем могу быть вам полезен?

— Я пришел к вам по наиважнейшему делу. Иными словами: дело, которое привело меня к вам, — чрезвычайно важное. Скажу более: дело это является

вопросом моей жизни. Я думаю, что только вы поймете, в чем тут суть. Все-таки вы писатель, много пишете и, стало быть, знаете что к чему. Иными словами: умеете взвесить и оценить все то, что происходит на свете. Да, именно так я думаю, то есть даже не думаю, а уверен, что это так...

Я поглядываю на посетителя. Это тип местечкового просвещенца, сочинителя. Молодой человек с бледным лицом и с жалобными черными глазами, которые как бы тоскливо говорят: «Пожалейте одинокую заблудшую душу!»

Нет, не люблю таких глаз. Я побаиваюсь их. В таких глазах никогда не бывает искры смеха или улыбки. Они всегда обращены вглубь. Мне решительно не нравятся такие глаза.

Я откладываю в сторону перо и говорю:

— А ну, покажите, что у вас там?

Ожидаю, что сейчас мой посетитель засунет руку за пазуху и выгребет оттуда изрядную рукопись. Быть может, это будет роман в трех частях — длинный, как еврейское изгнание. Однако не исключена возможность, что это будет драма в четырех актах, причем действующие лица будут носить имена: Мердерзон, Эрлихман, Фрумхарц, Битерцвайг [1] и тому подобные, — имена, которые сами говорят, с кем вы имеете дело...

А впрочем, возможно, что это всего лишь стихи о Сионе:

Туда, в горы, его тянет,
Туда, где орлы парят,
И там пальмы зацветают,
Там пророки отдыхают,
Мудрость бога прославляют

Мне хорошо знакомы такого рода вирши. Мне знакомы эти рифмы, от которых в ушах звенит и в глазах мелькают круги и точки. И пусто, как в самой

[1] Мердерзон — сын убийцы *(еврейск.)*. Эрлихман — честный человек *(еврейск.)*. Фрумхарц — благочестивая душа *(еврейск.)*. Битерцвайг — горькая ветвь *(еврейск.)*.

дикой пустыне, сказал бы я, делается у вас на душе после чтения таких стихов.

Однако, представьте себе, на сей раз я ошибся. Молодой человек не засунул руку за пазуху и не выгреб оттуда рукопись. У него и в помине не было ни романа, ни драмы, ни стихов.

Поправив воротничок рубашки, обстоятельно откашлявшись, мой посетитель сказал:

— Видите ли, я пришел к вам для того, чтобы излить перед вами горечь своего сердца, чтобы посоветоваться с вами. Я думаю, что такой человек, как вы, может меня понять. Вы так много пишете, что должны все знать и, стало быть, можете дать мне хороший совет. Заранее скажу, я сделаю так, как вы посоветуете. Я даже могу дать честное слово... Однако простите, быть может, я отнимаю у вас время?

— Время не имеет значения. Рассказывайте, что с вами, — сказал я ему, почувствовав, как у меня с души свалилась огромная тяжесть.

Молодой человек придвинулся к столу и стал потихоньку изливать мне всю горечь своего сердца. Сначала он делал это спокойно, но потом увлекся и заговорил с жаром.

— Видите ли, я проживаю в одном маленьком местечке. Вообще-то говоря, местечко наше совсем не маленькое. Скажу более: это большое местечко. Это, пожалуй, город. Но этот наш город против вашего города — опять-таки маленькое местечко... Конечно, вы хорошо знаете наше местечко. Однако его название я вам не открою. Мало ли: вы можете его описать. А это меня не устраивает по многим причинам... Вероятно, вы хотели бы знать, чем я занимаюсь? Гм... Я занимаюсь... Вообще-то говоря, я ничем не занимаюсь. Иными словами: я пока ничего не делаю. Скажу проще: я нахожусь на харчах у своего тестя. Не на харчах, конечно, а на всем готовом. Еще бы: она единственная их дочь, и мы у них получаем все, что нам нужно. Не убудет у них от этого, даже если они будут нас содержать еще десять лет, потому

что они состоятельные люди! Скажу прямо: они богачи. А для нашего маленького местечка так даже большие богачи. Короче говоря: у нас нет людей богаче, чем они.

О моем тесте вы, конечно, кое-что слышали. Но его имени я все-таки вам не открою. Это как-то не подобает при его положении. Хотя, между нами говоря, он любит, чтобы вокруг его имени был некоторый шум. Например, для бобруйских погорельцев он дал самое крупное пожертвование. И для города Кишинева он опять-таки дал больше всех *. Что касается нашего города, то своим землякам он почти ничего не дает. Он не дурак: он хорошо знает, что в своем городе его и без того уважают. Зачем же ему и тут еще давать и неизвестно перед кем выхваляться? Вот по этой причине он дает своим только фигу с маслом. А щедро жертвует только чужим, которые еще не знают, что он такой добрый. Но, впрочем, он и перед чужими бледнеет как покойник, когда к нему приходят с просьбой или за подаянием. Таким людям он кричит: «Ага! Вы пришли обирать меня? Нате мои ключи! Идите сами, ройтесь в моих шкафах. Берите у меня все!..» Вы, наверное, думаете, что он и в самом деле отдает им ключи? Нет, простите, вы ошибаетесь. Ключи от шкафа у него заперты в столе. А ключик от стола тоже неплохо где-то запрятан... Вот каков человек мой тесть. А каков человек — такова и его слава. В нашем местечке, между нами говоря, его называют свиньей. Но, конечно, за глаза. А вообще-то в глаза ему льстят. И так льстят, что с души воротит. А он доволен и все принимает за чистую монету. Поглаживает свой животик и живет припеваючи. Да, конечно, это и есть жизнь! Спрашивается: человек ничего не делает, живет в полном довольстве, сладко кушает, крепко спит. Ну, что ему еще нужно? Выспавшись, велит запрячь фаэтон и катается по грязи. А вечерком у него собираются гости. А это почти все хозяева города. Они сплетничают. Болтают всякую чепуху. Смеются над нашими жителями и над всем миром. Засим подают им большой самовар. И тут мой тесть непременно усажи-

вается играть в домино с резником Шмуел-Абе. Шмуел-Абе, должен вам сказать, носит пейсы, и все же он из нынешних. В белом воротничке, с начищенными сапогами, он не прочь поболтать с молодухами, хорошо поет, читает газету, отлично играет в шахматы и в домино. А в домино? А в домино он с моим тестем может играть целую ночь. А ты сиди и смотри, как они играют. Можно сказать, уже рот разрывается от зевоты. Охота встать из-за стола, уйти в свою комнату и там взяться за книгу. Так нет! Уйти, оказывается, неприлично. Мой тесть на это крепко обижается. Он тогда надувается, как индюк, и перестает с тобой разговаривать. А глядя на него и теща перестает тебя за человека считать. А уж коли родители не в ладах с зятем, то их чадо единственное тоже, как говорится, свой нос в сторону воротит. А это чадо о себе высокого мнения. Еще бы: она у родителей «зеница ока», а если ей чуть нездоровится, то немедленно появляется доктор, и все ходуном ходит. Мудрено ли, если такое создание полагает, что весь мир сотворен только для нее. А между нами говоря: она если и не дура, то и не особенно умна. Нет, когда она говорит, то незаметно, что она глупа. Напротив того, она кажется как будто бы даже не глупой, а умной. Иной раз даже может показаться, что она исключительно умна. Но что значит для нее ум, если она избалована и распущена, как дикая коза? Целые дни она либо хохочет, либо плачет, а уж если плачет, то плачет, как малое дитя. Иной раз спрашиваешь ее: «Что ты плачешь? Чего тебе не хватает?» Стена скорей ответит, чем она. Но это еще полбеды. Жена если начнет плакать, то плачет до тех пор, пока не кончит. Вся беда в теще. Она тут же является на этот плач. Является в своей турецкой шали на плечах. Ломает руки. Восклицает что-то молитвенным тоном. А у самой голос грубый, как у мужчины. Спрашивает свое дитятко: «Что с тобой? Ах, это опять твой разбойник, бандит и убийца?! Горе мне! Что ему до «зеницы ока». Что он, ее кровь пролил?» Тут разные слова сыплются у нее, как из мешка. И мне кажется, что язык у нее никогда не остановится. И мне

делается дурно, у меня сердце щемит и душа тоскует от ее слов. Причем иной раз у меня появляется дикое желание схватить ее турецкую шаль, измять ее руками, растоптать ногами, а то и порвать на мелкие куски. Хотя, конечно, если здраво рассудить, то шаль тут ни при чем. Шаль как шаль, какие обычно привозят из Брод. Вероятно, вам знакомы эти турецкие шали? Они с крапинками, в клеточку и оторочены бахромой...

Тут я перебиваю моего молодого посетителя и строго ему говорю:

— Извините, но ведь вы хотели со мной посоветоваться о деле.

Посетитель тяжело переводит дыхание.

— Ах, простите, — говорит он, — я, кажется, отнимаю у вас время? Но все это чрезвычайно важно — то, о чем я рассказываю. Вы должны немного познакомиться с домом и с людьми. Только тогда вы до конца поймете мое положение и мое дело... Да, так вот является теща в своей турецкой шали. И тут ей кажется, что ее дитятко, упаси боже, чувствует себя нехорошо, что оно не совсем здорово. Тогда в дело вмешивается тесть. Он велит запрячь фаэтон и посылает за доктором. Посылает за «новым доктором» — именно так называют у нас одного врача, черт бы его драл. Но имени его я вам не открою по некоторым причинам... Так вот, посылают за этим доктором. И тут-то и начинается вся эта история, которую я вам хотел рассказать для того, чтобы выслушать ваш совет...

Мой посетитель на минуту прерывает свою речь. Он вытирает платком вспотевшее лицо и придвигается ко мне поближе со своим стулом. И при этом он берет со стола какой-то предмет. Есть люди, которые непременно должны держать в руках какую-нибудь вещицу. Иначе они не могут рассказывать. А на моем письменном столе много всяких безделушек и среди них имеется машинка для сигар в виде крошечного велосипеда. Так вот мой посетитель облюбовал себе именно эту вещицу. Сначала, рассказывая, он только смотрел на этот велосипедик, но по-

том взял его в руки и принялся вертеть колесики. В общем, эта машинка была в его руках почти все время, пока он рассказывал.

— Так вот, — снова заговорил он, — посылают за новым доктором. А в нашем местечке, да будет вам известно, докторов что собак нерезаных. Есть у нас доктора — русские, евреи, а также и врачи-сионисты, то есть такие, которые занимаются сионизмом. Но тот доктор, о котором я вам рассказываю, — совсем молодой доктор, местный портновский сын. Иными словами, его папаша был когда-то портным. Но сейчас он уже, конечно, не портной. Зачем ему быть портным, если его сын доктор? Вернее сказать: зачем сыну-доктору иметь папашу-портного? Скажу о папаше два слова, чтобы вам иметь представление и о нем... Это человек совсем низенького роста, косоглазый и с искривленным пальцем на правой руке. Ходит он всегда в длиннополом ватном кафтане. А голос его напоминает трещотку. Целые дни он трещит и трещит о своем сыне: «Мой доктор вчера имел практику. Ну и практику! Мой доктор все умеет. Мой доктор!» Этот портной всем и каждому забивает голову своим доктором. К тому же на беду всему городу его сын — доктор по женским болезням. Иными словами: он акушер. И уж если у кого-нибудь в этом вопросе есть тайна, то эту тайну портной раззвонит по всему городу. Короче говоря: горе той женщине или девушке, которая попадает в руки к этому доктору и на язык к его папаше-портному. Была у нас одна девушка, которая...

Я снова перебиваю моего рассказчика:

— Простите, молодой человек, но вы же хотели рассказать мне о вашем деле?

— Ах, извините, — говорит он, — я чувствую, что отнимаю у вас время! Но как же быть? Ведь должен же я рассказать вам о докторе, который является моим злым гением! Ведь если бы не этот доктор, то все в моей жизни шло бы самым лучшим образом. Сообразите сами: чего мне не хватает? Детей мы пока не имеем. Жена у меня красавица, умница, единственная дочь у своих родителей. Когда они умрут,

через сто двадцать лет, все их богатство перейдет к ней, то есть ко мне. Да и сейчас, тьфу-тьфу, не сглазить бы, я уже пользуюсь некоторым уважением. В гостях за столом меня всегда сажают на почетное место, как зятя богача. Во время богослужения в праздники я всегда иду первым за моим тестем. Не совсем, конечно, первым, но я иду вслед за кантором и раввином. А уж потом — все остальные. И даже, простите за выражение, в бане я встречаю такое же отношение. Едва начинаю раздеваться, как уж банщик кричит: «Расступитесь, люди! От дверей отойдите! Сейчас пойдет мыться зять нашего богача!» Нет, эти слова банщика мне неприятны, я такого внимания не люблю. Однако что значит — не люблю? Лесть всякий любит, и от почета никто не отказывается. Но только я-то знаю, что сам я еще этого не заслужил. Да, у меня тесть — богач. Вот пусть люди и лижут его. Дикари, скажу я вам, и только. А я-то тут при чем? Тем более — кто такой мой тесть? Вот он сейчас не слышит меня, и поэтому я могу вам сказать: он невежда! С ним и говорить-то не о чем. А она — единственная их дочь. Чуть что, она бросается на постель и рыдает. И тогда, как я вам сказал, тесть посылает фаэтон за новым доктором, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Ах, поверьте мне, жизнь моя становится невыносимой, когда я вспоминаю об этом докторе. Именно тогда мне хочется схватить нож и зарезаться, либо побежать к реке и утопиться!

Молодой человек загрустил, задумался.

Тут я спросил моего посетителя, стараясь подобрать самые деликатные слова:

— Значит, вы, так сказать, подозреваете, что ваша жена...

Мой посетитель вскакивает со стула как ошпаренный.

— Упаси бог! — восклицает он. — Таких подозрений у меня нет! Что вы! Ведь это еврейская дочь! Это благочестивое дитя!.. Я говорю о докторе, об этом замечательном враче, сгореть бы ему! И главное, чтобы огонь сожрал его папашу, этого

косоглазого портняжку, который всюду шляется в своем ватном кафтане! Шляется, трещит и барабанит по всему городу. Вы, вероятно, думаете, что он что-нибудь путное мелет? Нет, он мелет всякий вздор, чепуху! Язык у него длинный, вот он и мелет. Меня это трогает, как прошлогодний снег. Но беда в том, что у человека имеются уши. Уши же любят послушать, а хорошенько прислушиваясь, услышишь такое, чего слышать не хочется. К тому же надо знать наше местечко. Оно славится на весь мир обилием сплетников и клеветников с длинными языками. Скажу больше: если человек попадает к ним на язычок, он может попрощаться с жизнью!.. В глаза они мне ничего не говорят, но зато за глаза говорят такое, что я стал приглядываться и прислушиваться. Я стал ловить каждое его слово, когда он о чем-нибудь с ней беседовал. Нет, я ничего такого не усмотрел и ничего особенного не уловил из их разговоров. И только единственно, что я заметил: она становится совсем другим человеком, когда он приходит. У нее делается другое лицо и другие глаза, то есть человеком она остается таким же, каким и была. Но в глазах у нее вдруг вспыхивает какой-то блеск. И на лице у нее появляется какое-то иное выражение, чем при мне. Я спросил ее однажды: «Скажи, душенька моя, почему ты вдруг становишься совсем другим человеком, когда он приходит с визитом?» Нет, вы никогда не догадаетесь, что она мне на это ответила. Она ничего не ответила. Она только рассмеялась таким уничтожающим смехом, что я уж думал — сквозь землю провалюсь. После этого бросилась она на кровать с рыданиями и потеряла сознание. Тут, конечно, прибежала теща в своей турецкой шали. Стала приводить ее в чувство. А тесть велел запрячь фаэтон и послал за новым доктором меня самого. И когда я привез доктора, то ей вдруг стало легче. Глаза у нее снова засверкали, как брильянты на солнце. И на щеках выступили розочки... Да, но вы представьте мое положение! Я же к нему должен был на дом ехать и везти его в фаэтоне к себе. А мне, может быть, легче в ад было войти, чем в его квартиру. Видели бы

вы эту рожу! Красная, как бурак, вся покрыта прыщами, и притом вечно улыбается. Меня доктор встречает с особой улыбочкой. Со мной он сладок, как сахар, и мягок, как пластырь, приложенный к болячке. Его доброта ко мне, я бы сказал, беспредельна. Когда я как-то заболел модной болезнью — инфлюэнцей, он так старался меня вылечить, что мне даже стало это как-то не по нутру. И удивительное дело — чем он внимательнее ко мне, тем больше я его ненавижу. И пусть простит меня бог — не могу я его видеть. Особенно не могу в тот момент, когда он сидит у нас и с ней переглядывается. Вот тогда мне кажется, что я способен схватить его за шиворот и вышвырнуть вон. Это вернуло бы мне мое утраченное здоровье. Но я без этого, сударь, дал себе слово положить конец всему. Довольно мне терпеть его улыбочки и его взгляды, когда он приходит к нам и сидит возле нее. Сколько, я вас спрашиваю, можно выносить такой позор? Ведь клеветники и сплетники нашего города уже давно мною занимаются. Нет, я принял твердое решение: развестись с ней! Иного выхода у меня нет. Однако при этом решении у меня возникает мысль: а какая мне прибыль от того, что я с ней разведусь? Ведь, с другой стороны: тесть — богач, она — единственная дочь, все их — будет мое. Но тут же я думаю: «Черт с ними, все-таки разведусь, — иного выхода нет!» А как вы думаете?

Мой собеседник перевел дыхание, вытер лицо и кротко посмотрел на меня, ожидая, что я отвечу. Я сказал:

— Да, мне тоже кажется, что другого выхода у вас нет. К тому же и вашу любовь никак нельзя назвать пламенной. Да и детей у вас нет. И все эти сплетни в городе. На что вам все это?

Слушая это, мой собеседник смотрел на меня своими жалостливыми черными глазами и усердно вертел колесики велосипеда. Затем он придвинулся ко мне еще ближе и, тяжко вздохнув, снова заговорил:

— Вот вы говорите — любовь. О чем тут толко-

вать? Нет, я не могу сказать, что я ее не люблю. Да и за что же, помилуйте, ее не любить? Ясно, что я ее люблю. И даже очень ее люблю... А что город сплетничает — так и пусть его сплетничает, если уж ему это так нравится! Нет, сударь, не это воспламеняет огонь в моей душе. Единственное, чего я не могу перенести, это лишь тот факт, что она радуется, когда видит доктора. Я задаю себе вопрос: а почему она не делается розовой и веселой, когда видит меня? Чем я, собственно говоря, хуже его? Может быть, тем, что он доктор, а я нет? Да, но если бы меня в свое время учили, то и я, быть может, стал бы врачом. И лечил бы людей не хуже, чем он. Уж поверьте мне на слово — я не только в этом заткнул бы его за пояс! Вот эти мысли несколько колеблют мое решение. А что, собственно говоря, произошло? Почему я должен дать ей развод? А новый доктор? Ну, а как быть, если уже не этот доктор, а еще другой какой-нибудь черт появится? Где это написано, что молодой женщине нельзя быть знакомой с врачом? Это во-первых. А во-вторых, я спрашиваю вас, какой мне будет толк, если я все-таки с ней разведусь? Ведь я сам по себе сирота, без родных, без друзей. Вам-то легко сказать — разведись. Ну, разведусь, и что я тогда? Снова — бедный парень, которому опять надо начинать свою жизнь сначала и опять надо на ком-нибудь жениться. А откуда я знаю, что найду жену лучше, чем она? А вдруг я попаду в еще худший ад, чем было до сих пор? Уж тут-то я, так сказать, притерпелся и знаю, в чем состоит мое горе. Тем более что горе это все-таки до некоторой степени — горе наследного принца, которому через энное количество лет достанется все. А в противном случае — что? В противном случае я снова должен пускаться на всякие комбинации и, так сказать, спекулировать моей жизнью. А ведь жизнь — это игра, лотерея. А? Не так ли? Или, по-вашему, не лотерея?

Я ответил моему посетителю:

— Да, отчасти игра, лотерея. И если так думать, то, пожалуй, вам и в самом деле лучше не разводиться, а закончить дело миром.

Мне самому понравился мой совет, который так отчетливо повернул все дело на путь мирных решений. Мне даже на минуту показалось, что беседа с моим посетителем подошла к концу. Но не тут-то было! Мой посетитель яростно схватил со стола велосипедик и, завертев колесики, сказал мне прямо в лицо:

— Вы говорите — помириться с ней? А доктор, доктор с прыщеватой мордой, черт бы его в клочья драл! А папаша доктора — этот косоглазый портной? Ведь этот портняжка и без того ходит по городу и барабанит, что дочь моего тестя собирается со мной разводиться! Нет, вы понимаете ли всю низость этого портняжки, который звонит об этом? Ясно: теперь весь город знает, как обстоят мои семейные дела. Но, с другой стороны, я сам себе задаю вопрос: уж если теперь весь город знает, то что же я в таком случае теряю? Да я ровным счетом ничего не теряю, если тот же папаша-портняжка об этом трезвонит. Извините за афоризм: дрянь дрянью и останется. Но, с другой стороны: если уже весь город говорит о моем разводе, то прилично ли мне придерживаться иных решений? Нет, сударь, увы, у меня нет другого выхода, кроме развода. А? Не так ли? Как вы думаете?

Я отвечаю моему посетителю:

— Пожалуй, что вы правы. Уж если весь город обсуждает ваш развод, то при всяком другом вашем решении вы окажетесь в несколько деликатном положении.

Надвинувшись на меня со своим стулом, посетитель почти кричит:

— Ага! Стало быть, по-вашему, я непременно должен дать ей развод? Нет, сударь, вы хорошенько обдумайте все это дело, прежде чем так опрометчиво говорить! Вот, к примеру, вы раввин, и я прихожу к вам с женой разводиться. Естественно, вы меня спрашиваете: «Скажи мне, молодой человек, по какой причине ты хочешь развестись со своей супругой?» Какой же, к примеру, ответ я должен дать раввину?

Или, по-вашему, я должен ему ответить: «Она смотрит на доктора, а он на нее». Да разве в таком ответе заключается какой-нибудь смысл? Но ведь другого-то я ничего не смогу ему ответить. Да как же я после этого буду выглядеть перед всем миром, если я с ней из-за этого разведусь? Ведь это каждый скажет, что он взбесился: развелся с женой-красавицей в тот момент, когда все их богатство через сто двадцать лет будет принадлежать ему. Да и вы тоже мне скажете: да вы взбесились, с ума сошли. А? Не так ли?

— Да, я тоже говорю: взбесились, с ума сошли.

Тут мой собеседник приблизился ко мне так, что наши ноги почти сплелись вместе. Откинув в сторону велосипедик, который сломался, посетитель взялся за мою чернильницу. Шумно вздохнув, он торопливо забубнил:

— Да, вам легко сказать, что я взбесился! Хотелось бы мне знать, как бы вы сами поступили, если бы такая история случилась с *вами*?! Нет, вы подумайте на минутку: *ваш* тесть — невежда, теща ходит в турецкой шали, ворчит мужским голосом, жена все время лечится у врача, а весь город тычет на *вас* пальцем и за глаза говорит: «Муж козы». Да вы, сударь, посреди ночи вскочили бы с постели и удрали бы за тридевять земель! А? Что? Разве не так?

Я говорю моему посетителю:

— Да, это так. Пожалуй, я и в самом деле вскочил бы среди ночи, развелся бы с ней и удрал бы за тридевять земель!

Мой посетитель кричит на меня:

— Вам-то легко сказать: вскочил, развелся и удрал за тридевять земель! Удрал! Кто удрал? Куда удрал? В могилу, что ли? Да вы сообразите сами: ведь она единственная дочь. Все ее через сто двадцать лет будет моим! Это что? Это тоже, по-вашему, ничего? А к этому добавьте или, вернее, спросите самого себя: что я имею против нее? Нет, попробуйте ответьте мне, *что я имею против нее?*

— А в самом деле, — спрашиваю я моего посетителя, — что вы имеете против нее?

— То есть как что?— отвечает он. — А доктор? О докторе-то вы и забыли?! До тех пор, пока он посещает наш дом, видеть ее не могу.

— Ну, в таком случае вы должны с ней развестись.

— А какая мне от этого будет прибыль? — кричит посетитель. — Ну, допустим, я разведусь, и что я тогда буду делать в нынешние тяжелые времена?! Нет, вы не увиливайте, а будьте умницей и дайте на это ответ!

— Пожалуй, — говорю, — вам не надо разводиться.

— Не давать развода, а как же доктор... Пока...

Я хочу положить конец нашей беседе и поэтому решительным тоном говорю:

— Вам надо с ней развестись.

— Развестись? А какой прок мне от этого?

— Ну, тогда не разводитесь.

— А доктор?!

Я не сумею объяснить вам, что именно со мной случилось. Видимо, кровь ударила мне в голову. В глазах потемнело. Во всяком случае, я схватил моего собеседника за горло, прижал его к стене и не своим голосом закричал:

— Развод! Дай ей развод, выродок этакий! Разводись, разводись! Разводись!!!

. . . .
. . . .

На наши крики сбежалась вся моя семья. Что такое? Что тут случилось?

Да нет, как будто бы ничего не случилось.

Однако я и сам себя не узнал, когда взглянул в зеркало на свое помертвевшее лицо.

Я долго жал моему посетителю руку, просил у него прощения и умолял позабыть то, что произошло между нами. Я сказал ему:

— Иной раз бывает, что человек по неизвестной причине выходит, так сказать, из себя...

Мой посетитель был чрезвычайно растерян, смущен и во всем соглашался со мной. Он соглашался с тем, что человек сам себе не хозяин и действительно иной раз выходит из себя.

Засим посетитель мой почтительно и вежливо поклонился и, потирая руки, ушел, причем, уходя, деликатно произнес:

— Не обижайтесь, если я отнял у вас время. Большое спасибо за совет. Будьте здоровы!

— Счастливого пути! Но благодарить не за что.

У ДОКТОРА

— Хочу вас попросить, господин доктор, об одном: чтоб вы меня выслушали. То есть не болезнь мою выслушали, — о болезни мы поговорим потом. Уж я сам растолкую вам, в чем состоит моя болезнь. Я хочу, чтобы вы выслушали меня самого, потому что не всякий доктор любит выслушать больного. Не всякий доктор дает поговорить. У докторов манера: они не дают говорить. Они знают только щупать пульс, смотреть на часы, прописывать рецепт и брать за визит. О вас я слыхал, что вы не из таких докторов. Вы, говорят, еще молодой доктор, еще не так жадничаете, не тянетесь за рублем, как другие. Поэтому, стало быть, я и пришел к вам посоветоваться относительно моего желудка. Я, видите ли, человек с желудком. Правда, по вашей докторской науке выходит, что каждый человек обязательно должен иметь желудок. Но в каком случае это говорится? В том случае, когда желудок — это желудок. Но если желудок — это не желудок, а черт знает что, то к чему вся жизнь? Вы, пожалуй, ответите мне изречением: «Не по своей воле живешь»? Но это я знаю и без вас. За это самое «не по своей воле» меня еще в хедере секли. Я говорю о том, что человеку, покуда он жив, умирать не хочется. Хотя, если правду говорить, я сам смерти вообще не боюсь. Потому что, во-первых, мне уже пере-

валило за шестьдесят, а во-вторых, я такой человек, для которого что жить, что умереть — одна и та же радость. То есть жить, конечно, имеет больше смысла, чем умереть, потому что кому же это хочется умирать? А тем более еврею? А тем более отцу одиннадцати детей, дай им бог здоровья, и с женой, хоть и третьей, а все же женой.

Короче говоря, сам я — каменецкий, то есть не из самого Каменца, а из местечка неподалеку от Каменца. Кроме того, я — горе мне! — мельник, держу мельницу, то есть мельница держит меня, потому что, как вы скажете: «Залез, так лежи!» А что поделаешь? Жизнь — колесо, понимаете ли, вот оно и вертится! Посудите сами: за пшеницу надо платить наличными, а муку раздаешь в кредит, вексель туда, вексель сюда, и дело приходится иметь с грубыми существами, да еще с женщинами. Вы любите иметь дело с женщинами? Поди отчитывайся перед ними: почему то да почему это? Почему у них не удались булки? А я чем виноват? Может быть, говорю, у вас мало жару? Или дрожжи были плохие? Может быть, у вас были сырые дрова? А они еще на вас нападают, смешивают с грязью и обещают, что в следующий раз булки полетят вам в голову... Вы любите, когда булка летит вам в голову? Таковы те, что покупают в розницу. Но вы думаете, что оптовики лучше? Тоже не лучше! Поначалу, когда покупатель приходит на мельницу и хочет получить кредит, он мягок, словно масло, льстит вам, рассыпается в комплиментах, хоть прикладывай его к болячке. Но потом, когда дойдет до платежа, он предъявляет вам целый список претензий: транспорт прибыл к нему с опозданием, мешки оказались рваными, мука горчила, была тухлая, то есть лежалая. Беды и напасти, восемнадцать недостатков и семьдесят семь отговорок!

— А деньги?

— Деньги? — говорит он. — Пришлите счет!

Дело как будто наполовину улажено. Пошлешь получить по счету, отвечает: «Завтра». Придешь завтра — говорит: «Послезавтра!» Прошлогодний снег! Начинаешь стращать его протестом и подаешь на него

в суд. Ну, а если подал, так что же? Получаете «лист». А придешь с «листом» описывать, и оказывается, что все значится на имя жены, — и изволь, ругай его сколько тебе угодно!

Вот я и спрашиваю: как при таких делах не заболеть желудком? Недаром мне говорит моя, хоть она у меня не первая, третья она у меня, а третья жена, вы скажете, что солнце в декабре... Однако и от нее не отмахнешься, — все-таки жена... Вот она и говорит:

— Брось, Нойах, брось мучное дело. Пускай оно сгорит вместе с мельницей, тогда я буду знать, что ты живешь на свете!

— Э-ге-ге! — отвечаю я. — Кабы мельница захотела гореть! Она неплохо застрахована...

— Не о том, Нойах, я думаю! — говорит она. — Я думаю о том, что ты все время носишься: ни тебе субботы, ни тебе праздника, ни жены, ни детей. А чего? Чего ты крутишься?..

А я знаю? Я и сам не знаю, чего я кручусь. Что же мне делать, раз у меня натура такая, ко всем чертям! Люблю крутиться! Может быть, вы думаете, что я имею что-нибудь от этого кручения? Горести я имею! Какое бы дело мне ни предложили, я принимаю. Нет ничего такого, что бы мне не подошло. Мешки? Можно и мешки. Дрова? Дрова! Торги? Торги! Вы небось думаете, что у меня, кроме мельницы, никаких дел нет? Ошибаетесь! Я, видите ли, с компаньоном торгую лесом, который мы рубим, и поставляю провиант для тюрьмы, и имею долю в откупе коробочного сбора *, и теряю на этом деле столько, что вы могли бы себе пожелать зарабатывать такую сумму ежемесячно (я вам не враг!). Вы спросите, на что мне это нужно? Общине назло! Я, знаете ли, человек горячий: пускай хоть весь город провалится и я вместе с ним, лишь бы поставить на своем! Вообще-то я по натуре человек неплохой, но ужасно капризный, вспыльчивый то есть! Честь мою задеть — спаси и помилуй бог! Да и упрям я к тому же: когда-то, в добрые времена, я за честь в синагоге готов был до крови драться! Синагогу осудили, а я своего добился! Ну, что поде-

лаешь? Такая уж у меня кровь! Это — нервы, говорят они, доктора то есть, и имеет отношение к желудку. Хотя, если здраво рассудить, то это как будто бы ерунда. Какое касательство имеют нервы к желудку? Сказали тоже! Где нервы, а где желудок? Ведь нервы, по вашей докторской науке, главным образом, кажется, там, где мозги? А желудок — бог знает где, на каком расстоянии!.. Погодите, я сейчас кончаю, куда вы так торопитесь? Посидите еще минутку. Ведь я хочу рассказать вам подробно, чтобы вы меня выслушали и сказали, откуда у меня взялось такое несчастье, то есть желудок я имею в виду. Может быть, это оттого, что я постоянно скитаюсь, что никогда меня дома нет, и даже когда я дома, меня тоже дома нет. Клянусь вам честью, это смешно слушать и позор говорить — ведь я даже не знаю, сколько у меня детей и как их зовут. Нехорошо, знаете ли, без хозяина и без отца! Посмотрели бы вы у меня дом, не сглазить бы, и обзаведение! Корабль без руля! Днем и ночью тарарам, гармидер, спаси, господи, и помилуй! Шутка ли сказать, одиннадцать детей, не сглазить бы, от трех жен! Один пьет чай, а другой в это время обедает. Я молюсь, а другому спать хочется. Один щиплет булку, а другому хочется селедки, одному подавай молочное, а другие кричат в один голос: «Мяса!» А когда садишься за стол, нет ножа, нечем хлеба кусок отрезать, а среди малышей вечный шум, ад, драки, хоть беги куда глаза глядят! А из-за чего все это? Все из-за того, что мне вечно некогда, а она, моя то есть, не сглазить бы, очень добрая, то есть не то чтобы добрая, а мягкая, не умеет обращаться с детьми. С детьми надо уметь обращаться. Вот они и лезут к ней на голову... Она, правда, их проклинает, щиплет, куски мяса вырывает, но что толку? Все-таки это мать. А мать — не отец. Отец разложит и всыплет ребенку. Я знаю, что меня отец сек. И вас, может быть, отец сек? Что же вы думаете? Благо вам! Не знаю, было бы для вас лучше, если бы вас не секли? Куда вы торопитесь? Я скоро кончаю. Я не зря вам рассказываю: это для того, чтобы вы поняли мой образ жизни. Может быть, вы думаете, что я знаю, какое у меня

состояние? Возможно, что я человек богатый и даже очень богатый, а возможно, — это, конечно, между нами, — что я банкрот... Я знаю? День и ночь только то и делаешь, что заплаты ставишь: отсюда стекло вынул, туда вставил, — а что делать? Можно ли, нельзя ли, а приданое дать своему ребенку надо? Тем более что господь наделил дочерьми, да еще взрослыми к тому же! А ну, попробуйте иметь трех взрослых дочерей, не сглазить бы, — всех троих в пору в один день под венец, — посмотрим, сможете ли вы хотя бы один день дома усидеть! Теперь вы понимаете, почему приходится крутиться и летать? А когда летаешь, можно и простуду в вагоне схватить, можно и поужинать в заезжем доме так, что потом еле жив останешься. А запахи, которых нанюхаешься, а замечательный воздух... Диво ли, что у тебя желудок? Счастье, что я по натуре человек не болезненный, смолоду крепкого здоровья. Вы не смотрите на меня, что я такой тощий и высохший, — это дела меня высушили, а кроме того, у нас рост такой, порода — высокие и тощие. У меня было несколько братьев, и все они, царство им небесное, такие же были, как я. И все же я всегда был здоровым человеком, не знал никакого желудка, ни доктора, ни черта-дьявола, дай бог и дальше не хуже. Но с некоторого времени меня начали пичкать лекарствами, пилюлями, порошками и кореньями, и каждый придумывает что-нибудь свое: один велит, чтобы я придерживался диеты, то есть «недоеда», чтобы я ел поменьше. Другой говорит, чтобы я вообще не ел, то есть чтобы я постился. Думаете, это все? Является новый умник доктор и наказывает, чтобы я обязательно ел, и побольше! Сам, видно, не дурак покушать! У всех докторов такая манера: все, от чего они сами не отказываются, они и больным советуют. Удивляюсь только, что они не велят глотать рубли... С ума от них можно сойти! Один доктор наказывал мне много ходить, просто так ходить, шагать... Пришел второй и велел лежать, — поди угадай, кто из них глупее... Чего вам больше: один кормил меня ляписом, чуть ли не круглый год — один ляпис! Прихожу к другому, а он говорит: «Ляпис?

Упаси бог! Ляпис для вас — отрава!» И прописывает мне порошок, желтый такой порошок. Вы, наверное, знаете, какой это порошок? Прихожу с этим порошком к третьему доктору, а он как схватит этот желтый порошок, да как разорвет рецепт, и прописывает мне коренья. Но какие, думаете, коренья? Покуда я привык к этим кореньям, можете мне поверить, мне всю желчь наружу вывернуло! Сбылось бы на этом докторе хотя бы половина того, что я ему, бывало, желаю, когда мне надо было принимать это зелье перед едой. Смерти в глаза каждый раз глядел! Но чего только не пьет человек ради того, чтобы быть здоровым? А в конце концов, когда я снова пришел к первому доктору, который меня кормил ляписом, и рассказал ему историю с горькими кореньями, которые омрачают мне жизнь, — он вскипел от злости и стал кричать на меня, как если бы я его зарезал:

— Ведь я же вам прописал ляпис! Зачем же вы бегаете как сумасшедший от одного доктора к другому?

— Тише! — говорю я. — Ведь вы же не один на рынке! Контракта я с вами не подписывал, а жить хочет каждый: у того доктора тоже есть жена и дети!..

Он загорелся, вы бы видели, как будто я ему бог знает что сказал! Словом, он меня попросил обратиться к тому доктору.

— В советах, — сказал я, — я не нуждаюсь. Если захочу, я и сам могу пойти.

И кладу ему рубль. Может быть, вы думаете, что он мне его швырнул в лицо? И не подумал! Рубли они любят. Ох, знаете, как они любят рубли! Гораздо больше, чем мы, простые людишки. А нет того, чтобы сесть, например, и выслушать больного как следует быть! Лишнего слова сказать не дают. Вот был я недавно у одного доктора, вашего же знакомого, — не хочу его называть по имени. Только я вошел, не успел двух слов сказать, — ага! Он уже велит мне, извините, раздеться и лечь на кушетку. В чем дело? Он, видите ли, желает меня выслушать. Хочешь меня выслушать? Прекрасно! Выслушай! Почему же ты мне говорить не даешь? Что мне от этого щупания и от выстукивания?

Нет, у него нет времени! Его, говорит он, ждут за дверью люди, у каждого своя очередь. Пошла у вас нынче мода — «очередь», как, скажем, на вокзале или на почте, где продают марки... Что? Вам тоже некогда? У вас уже тоже, может быть, «очередь»? Но ведь вы же еще молодой доктор! Откуда у вас «очередь»? Знаете, если вы будете так себя вести, у вас будут огорчения, а не практика!.. И сердиться вам нечего. Я не имел в виду бесплатно, упаси бог. Не такой я человек, чтобы хотеть бесплатно. И хоть вы и не захотели выслушать меня до конца, все же одно другого не касается, за визит надо вам уплатить... Что? Не хотите брать?.. Ну что ж, принуждать вас я не стану... Наверное, у вас есть средства к существованию... Купоны небось стрижете... Растут они у вас... Ну что ж, помогай вам бог, пусть они у вас растут и растут... Адье! Извините, может быть, я отнял у вас время... Но на то вы и доктор...

ИОСИФ

(Рассказ «джентльмена»)

Можете смеяться надо мной, можете посвятить мне фельетон и даже написать книгу, если хотите. Говорю вам заранее, я вас не боюсь, потому что я, видите ли, не из пугливых. Меня не очень-то испугает писатель, я не сробею перед доктором, не растеряюсь перед адвокатом и не растаю от восторга, когда мне сообщат, что такой-то учится на инженера. Я и сам, если хотите знать, учился когда-то в гимназии. Правда, окончить гимназию мне не удалось: вышла история с девушкой.

Влюбилась в меня девушка (я, видите ли, всегда был недурен собой) и заявила, что, если я ее не возьму замуж, она примет яд. А мне так же хотелось жениться на ней, как вам. Она, понимаете ли, была у меня не единственная. Однако зашло у нас с ней слишком далеко, и тогда вмешался ее брат, провизор. Он пригрозил мне, что, если его сестра отравится, он меня обольет — уж он знает чем... И я вынужден был жениться на ней и года три промаяться. Она требовала от меня только двух вещей — чтобы я сидел дома и чтобы не заглядывался на других женщин... Как вам это нравится? Ну, что я могу поделать, если бог одарил меня такой внешностью, что все женщины и все девушки помирают по мне. Думаете, почему? Так

просто. Любят — и только. Куда бы я ни пришел, куда бы ни приехал, на меня сразу набрасываются, точно пчелы. Сваты прямо голову мне отгрызли. Почему, думаете? Я, видите ли, молодой человек из современных, недурен собой, здоров, пользуюсь хорошей репутацией, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! и тому подобное. Вот почему они и сулят мне золотые горы. Я, конечно, отмахиваюсь. «Отвяжитесь, говорю, я уже один раз ошпарился». А они свое: «Да что с вами станется, если поглядите еще одну невесту?» Ну, кто же откажется от такой штуки! Вот я и смотрю невест, а невесты — меня. Ссорятся из-за меня, прямо на шею вешаются, честное слово. Всем я желанен, ну, буквально всем. Но что мне с того, что они меня желают, если я их не желаю. А ту, о которой я мечтаю, никто не знает, кроме меня. И это мое больное место, и об этом я как раз хочу вам рассказать. Но, прошу вас, пусть это останется между нами. Я не о себе забочусь, — я ведь сказал, что писаний ваших не боюсь, — но вообще к чему это?.. Вот вам, значит, мое вступление, а теперь и самую историю изложу.

Вы сами, конечно, понимаете, что я не стану рассказывать вам, *кто* она, *что* она собой представляет и *откуда* она. Женщина она, девушка, и весьма красивая девушка, бедна, правда, горемычная сирота. Живет с матерью, молодой вдовой; эта тоже весьма недурна. Содержит еврейскую ресторацию — кошерная пища. А я, должны вы знать, хотя и из современных, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! и тому подобное, — кушаю все же кошерное. Не потому, что я уж такой праведник и боюсь хрюкающего *, но просто оберегаю свой желудок — это во-первых, а во-вторых, еврейские блюда просто вкуснее...

Итак, значит, она содержит ресторацию, вдова эта; сама варит, сама жарит. А дочь ее подает к столу. Но *как* там готовят! *Как* подают! Все блестит, говорю я вам, все поет, все играет. Кушать там — истинное наслаждение. Собственно, не так уж еда, как мамаша и ее дочка, — одна прелестней другой.

Посмотрели бы вы эту вдовушку! Стоит у печки, варит, жарит, и так свежа, так чиста! Лицо белее снега! Ручки — золото! Глаза — огонь! Уверяю вас, в нее еще тоже можно влюбиться. Теперь представьте себе ее дочку. Не знаю, разбираетесь ли вы в таких вопросах, — я говорю о женской красоте. Личико — кровь с молоком, щеки — пышечки, глаза — вишенки, волосы — шелк, зубки — жемчуг, шейка — алебастр, ручки — каждый пальчик расцеловал бы, верхняя губка слегка вздернута, как у ребенка. Видали вы что-нибудь подобное? Одним словом, все, все в ней изящное, точеное, ну, прямо модель для выставки. Будто говорит вам: «Любуйтесь! Сходите с ума!» А улыбка, смех, ямочки на щеках! Только за одно это отдал бы все! Когда она смеется, смеется все вокруг: смеетесь вы, столы, стулья, стены смеются. Весь мир смеется! Вот какой у нее смех! Попробуйте поглядите на нее и не влюбитесь!

Одним словом, чего тут долго тянуть? Почти с первого обеда я почувствовал, что спекся. Спекся — и кончено! Хотя вы сами уж должны понять, что девица для меня — не бог весть какое событие. А в «любовь», «романы» и всякие такие штуки я вообще никогда не верил. Так просто приударить — почему нет? Но стреляться из-за этого — фи! Это — для гимназиста шестого класса, не для мужчины. Не так ли?

Почувствовав, что влип, я отозвал мамашу в сторонку, ну, конечно, не для того, чтобы, как это говорят, «просить руки». Нет, я не из торопливых! Но так просто. Пощупать, что на возу, никогда не мешает. Стал вкручивать ей: «Как да что?.. То да се». Наконец спрашиваю: «Как у вас обстоит с дочерью?» — «Как, говорит, может обстоять с дочерью?» — «Я о цели в жизни толкую». — «Конечно, говорит, об этом надо заботиться. Но о ней уже позаботились». У меня даже сердце упало. «Что значит, говорю, о ней позаботились?» — «Да вы ведь сами видите, — говорит весело, — какая она у меня озабоченная». И как раз в этот момент входит дочь, и тут сразу во всех уголках засияло.

— Мама, Иосиф еще не приходил? — спрашивает она.

И как мелодично прозвучало в ее устах это имя! Только невеста может так певуче произносить имя своего жениха. Так мне представляется, то есть я уверен, что это так. И не только в тот раз, о котором я рассказываю, но всякий раз, когда она произносила это имя, «Иосиф» звучало в ее устах как песня. «Иосиф»! Вы понимаете? Это не просто Иосиф, а Иосиф!..

И так везде и всюду, постоянно и всегда я слышал здесь — Иосиф, Иосиф. Бывало, садятся за стол, и первый вопрос: «А где Иосиф?..», «Будет сегодня Иосиф?..», «Иосиф сказал...», «Иосиф пишет...», «Пришел Иосиф?..», «Это Иосиф взял...», «Это Иосиф дал...» Иосиф-Иосиф, Иосиф-Иосиф! Хотел бы я уже видеть этого Иосифа, какой он из себя.

Само собой разумеется, что я возненавидел этого Иосифа, как какого-нибудь паука. Хотя, в сущности, что он мне сделал? Не знаю. Наверно, мальчишка мальчишкой, из тех молодчиков, или «яшек», как она их с улыбкой называет. «Яшки»! Имя это точно специально для них придумано. Это действительно всего лишь только «яшки», какие-то мелкие людишки, большей частью из того сорта, которые носят длинные волосы и черные косоворотки — как раз то, чего я не люблю...

Простите, у вас, кажется, тоже большая шевелюра и черная косоворотка. Если вы думаете, что это очень красиво, то жестоко ошибаетесь. Честное слово, смокинг с белым жилетом куда красивей! Когда я вижу черную косоворотку, мне представляются, извините за выражение, протертые штаны. Вы думаете, я им этого не сказал? Сказал. Я человек прямой, подлизываться и кривить душой не могу. Имеете что-либо против, говорите прямо в глаза. Не люблю только, когда меня обзывают «буржуем». За слово «буржуй» я и в морду заехать могу. Какой я буржуй? Я такой же человек, как все, — все понимаю, все знаю, потому что всякие книжки и новые газеты читаю наравне со всеми. Какой же я после этого бур-

жуй? Только потому, что ношу смокинг и белый жилет, а вы — черную косоворотку? Я говорю не о вас, я имею в виду этих самых «яшек», Иосифа, о котором здесь речь идет...

Несколько раз у нас за столом возникали такие разговоры, из которых мне стало ясно, что они меня любят точно так, как я их. Как говорится, сердце сердцу весть подает. Однако раскрывать душу, показывать, что у меня там внутри, я вовсе не обязан. К тому же я немножко подделался к ним, хотел втереться в компанию, не столько для них, сколько ради Иосифа, и не столько ради Иосифа, сколько ради нее. Досадно было, понимаете, что его имя у нее с уст не сходит. И я дал себе слово: так или иначе, пусть небо поливает меня камнями, пусть земля вверх тормашками летит, — я должен познакомиться с этой личностью. И я добился своего. Если я чего-нибудь захочу, меня уж ничто не остановит. О деньгах нечего и разговаривать. Ведь я, как уже говорил вам, коммерсант, у меня приличные доходы, деньги для меня — тьфу! и тому подобное.

Вполне понятно, что втереться в доверие к этим молодчикам было не так-то просто. Я приближался к этому осторожно, взвешивая каждый шаг. Время от времени я стал закидывать словцо, так, со стороны, о страданиях народных; охал, вздыхал, давал понять, что на такое дело я и денег не пожалею: всегда готов бросить рубль-другой.

Вы понимаете, что значит «бросить» рубль-другой? Один вынет рубль, а другой бросит его. Тут большая разница. «Бросить» — это значит выхватить кошелек, вынуть несколько кредиток — извольте! — и, не считая, понимает. Вот как я люблю! Не всегда, конечно, но в тех случаях, когда это требуется. Когда нужно выбросить четвертной, полсотни или даже сотню, рука не должна дрогнуть. Вот, например, сидите вы с компанией в ресторане, обедаете или ужинаете. И вот подают счет — пла́тите вы. Вы должны лишь взглянуть на итог внизу, разговаривая при этом о чем угодно. А когда принесут сдачу, вы не пересчитываете ее, как какая-нибудь баба при покупке лука,

но берете в пригоршню и суете в карман — и все тут. Жизнь, скажу я вам, хорошая школа, и ее нужно пройти. Жить надо умеючи. Могу сказать про себя, что я жить умею, потому что знаю, что к чему, что можно, чего нельзя. Будьте уверены, я уж никогда не пересолю, и по мне вы не узнаете, ел я только что молоко или мясо.

Поглядели б вы на меня, когда я был среди «яшек», и сказали бы, верно, что я и сам такой же «яшка». То есть длинных волос я не отпустил и косоворотки не надел, — в том же смокинге и белом жилете, что сейчас. Но что же? Очень просто, я интересовался всем тем, чем они интересуются; я говорил так, как они говорят. «Пролетариат», «Бебель» *, «Маркс», «реагировать» и тому подобные словечки, бывало, сыплются у меня, как из рукава. Но странное дело, чем больше я к ним подделывался, тем больше они меня сторонились. Начну, бывало, повторять вот эти слова: «Пролетариат»... «Бебель»... «Маркс»... «реагировать»... — гляжу, мои «яшки» притихли, странно переглядываются, ковыряют в зубах. И еще более странно: деньги они у меня всегда брали. Чуть ли не каждый понедельник и четверг, понимаете, устраивали концерты, и каждый раз я у них был первой жертвой. «Джентльмен», вероятно, и сегодня возьмет билет первого ряда за три рубля?»

И «джентльмен» — другого имени я у них не имел — вынужден был каждый понедельник и четверг брать билет за трояк. Что же оставалось делать? Зато если этот «джентльмен» появлялся среди «яшек» даже в самый разгар спора, становилось сразу тихо, точно здесь никто никогда не говорил. Немые — и только! Можете себе представить, как это бесило «джентльмена»! Но что ему оставалось делать? Я вам, однако, сказал, что если я захочу, то своего добьюсь. И вот я все-таки втерся к ним, по крайней мере настолько, что мне было однажды разрешено присутствовать у них на «дискуссии». Там, сказали мне, будет выступать Иосиф. Вы, верно, понимаете мою радость: дожил, буду наконец иметь честь лицезреть этого Иосифа и даже слушать его.

Где будет эта «дискуссия» и когда, этого вы у них не узнаете, дудки! Я даже не пытался спрашивать: я знал, в свое время придут и скажут. У этих «яшек», понимаете ли, все секреты. На их языке это называется «конспирация». Я хорошо запомнил это слово. Оно записано у меня в книжке. Когда я слышу красивое слово, я его сразу записываю в книжку. Пригодится не пригодится — не знаю, во всяком случае не повредит.

И вот в один прекрасный летний день, в субботу это было, заявились ко мне двое «яшек», в черных рубахах понятно, и зовут меня: «Идемте!» — «Куда?» — «Не все ли равно? Пойдемте с нами...» Что ж, надо пойти. И мы двинулись, далеко куда-то за город, затем в лес. По дороге все время встречались «яшки» — сидят под деревом, смотрят как будто бы в другую сторону, а сами буркнут: «Вправо!», «Влево!..» Сказать, чтобы я боялся, — нет, конечно, глупости: чего мне бояться евреев? Просто не по мне вся эта история, оскорбляло все это: коммерсант, с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное, — дает себя вести каким-то мальчишкам, «яшкам» каким-то! Вы понимаете?

Ну ладно, что там говорить! Мы шли-шли, шли-шли, лесом да по лесу, по лесу да лесом, добрались наконец до высокой горы. И вот когда мы взобрались на нее, а потом спустились, я вдруг увидел перед собой море голов — черным-черно. Это все «яшки» примостились здесь, — пареньки в черных рубашках, девушки в блузках и просто так молодые люди. Но сколько их было! Боюсь соврать, верно тысячи три их, если не больше. А тишина-то какая: муха пролетит — услышишь! Тихонько, на цыпочках подошли мы к толпе и уселись на землю, и я стал разыскивать глазами, где же здесь «Иосиф». И я увидел... Угадайте, кто это был? Я увидел знакомое лицо, одного из тех «яшек», которые вместе со мной обедали у вдовы. Вот тебе раз!

«И только-то! — подумал я. — Вот это — тот самый Иосиф?» А я-то думал, что он бог весть какой. Скажу вам по правде, я был почти доволен, нет, я

был очень доволен, что он оказался именно таким. Я мысленно сравнил его с собой, не потому, что я считаю себя каким-то красавцем, которому нет равного. Я вовсе не обманываюсь, знаю, что есть и получше меня. Но по сравнению с ним... Вы понимаете? Вот я вам обрисую его таким, каким я его увидел тогда. Прислонившись к дереву, стоял маленький, бледный, сухопарый человечек, узкогрудый, с впалыми горящими щеками, густыми бровями и короткими светлыми волосами. Но лоб у него действительно большой, высокий, белый; серые, как у кошки, глаза горят огнем. А речь его! Как он говорит! Накажи меня бог, до сих пор не понимаю, откуда у этого существа такая сила! Как это ему удается говорить так громко, так быстро, так много, так долго и с таким воодушевлением, с таким задором, с таким огнем! Должен сказать, это была не обыкновенная речь. Так люди не говорят. Это был дьявол, заведенная машина или кто-то свыше сыпал словами, поливал огнем. А может, это вовсе дерево говорило? Мне все казалось, вот-вот это маленькое существо с болезненным румянцем на щеках и откровенными серыми глазами воспарит вслед за своим словом куда-то ввысь. Нет! Говорите что хотите, — я слыхал на своем веку знаменитых адвокатов, но такой речи я еще никогда не слыхал и, наверно, никогда не услышу.

Как долго он говорил, я не знаю — забыл про часы. Я глядел только на него и на эти головы, на рассевшихся на земле людей, которые глотали каждое его слово, точно изголодавшиеся или истомленные жаждой...

Но кто в это время не видел «ее», тот ничего прекрасного не видел. В море голов я заметил — она сидит, поджав под себя ноги, скрестив руки на груди. Лицо сияет, щеки горят, верхняя губка вздернута, а прелестные глаза-вишенки улыбаются ему, только ему. Нечего скрывать, в эту минуту я завидовал Иосифу. Не столько его красноречию, восторженному шуму и аплодисментам, которыми его наградили потом, — нет, совсем не этому. Я завидовал тому взгляду, которым она одарила его. За один такой ее взгляд

я бы отдал неведомо что. Этот взгляд был красноречивее слов. Мне казалось, я слышу звук ее голоса, ее напевное: «Ио-сиф!»

Я вам уже говорил, что для меня девушка — не бог весть что. Я девушек повидал немало, потому что я, можно сказать, человек из современных, недурен собой, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! и тому подобное. Но так на меня не глядела даже жена в блаженные дни, когда изнывала по мне. Я не поленился подойти поближе, усесться почти рядом, я вертелся у нее перед глазами, как муха, звенел, как комар над ухом. Куда там! Никакого внимания! Ее глаза, как пиявки, впились в его глаза, а его глаза тянулись к ней. И мне казалось, эти двое ничего не видят вокруг, — только друг друга: он ее, она его, а дальше им ни до кого дела нет. Муки ада, говорю вам, ничто в сравнении с тем, что я переживал. Бешенство пылало в моей груди, и я не знал, против кого это — против нее, против него, против их обоих или даже против самого себя...

В тот вечер я пришел домой со страшной головной болью. В постель лег с твердым решением: пока жив, ноги моей не будет там, у вдовы. На черта они мне все сдались! Какая у меня нужда в них? Что, разве не верно? А утром я с трепетом ждал мгновенья, когда пробьет наконец два и наступит время обеда. Потом я безо всяких отправился туда и застал за столом, как обычно, всю компанию «яшек». Был здесь и «он».

Не знаю, как вы, но я, когда вижу артиста, министра или вообще знаменитого человека, то, хотя и знаю прекрасно, что это человек, как все мы: кушает, пьет, как все, — все же каждый раз, когда мне укажут на такого, то есть на артиста, министра или вообще большого человека, он мне представляется каким-то особенным, будто в нем есть нечто, чего не различишь сразу. И так вот было со мной, когда я увидел Иосифа после его речи; как будто тот же «яшка», и все же что-то в нем есть такое... И в лице у него что-то такое... А что именно — я и сам не знаю. Но за это «что-то» я бы все отдал. Не потому,

что это мне нужно. Зачем оно мне сдалось? На кой черт оно мне! Это мне нужно только ради нее. Ведь она не отходила от него ни на шаг. Даже когда она обращалась ко мне, разговаривала со мной, я видел, что в голове у нее только он. Будьте уверены, я уж кое-что смыслю в этих делах, можно сказать, тут я все науки превзошел. Мне это не дешево досталось.

И новый ад разверзся предо мной. Раньше, когда я не знал, кто такой Иосиф, и он мне представлялся высоким, интересным, здоровым, настоящим мужчиной, я спокойно не мог вспомнить о нем, я завидовал ему и ненавидел его одновременно, как только можно ненавидеть. Но теперь, когда я увидел этого «мужчину», когда я убедился, что это такой же «яшка», как и все, меня зло взяло. Не знаю, на кого я злился: на нее ли за то, что она боготворит его (что боготворит — это и слепому видно), на него ли за то, что бог наградил его даром речи, или на себя за то, что я не обладаю такой способностью... Не потому, что это мне очень нужно. На что оно мне сдалось? И не потому, что я какой-нибудь безъязыкий. Не думайте! Если захочу, я тоже могу говорить. Я уже один раз говорил на заседании, да еще где — в Купеческом клубе. Люди передавали потом, что я говорил неплохо, очень даже неплохо...

Нет, мое состояние, боль мою словами не выразить! Это надо понять, нет, это надо почувствовать, надо побыть на моем месте — приходить каждый день в столовую, видеть эту чудную головку, слышать ее пленительно-сладкий голос, ловить ее смех, который растекается по всем жилкам, и в то же время видеть тут его и понимать, что все это для него, только для него и ни для кого другого. Нет, его нужно убрать с дороги! Нужно избавиться от него! Но как? Ведь не пойду же я его травить, не стану и стрелять: не злодей же я какой-нибудь, и опять же еврей. Вызвать на дуэль? Фу! Только в романах вызывают на дуэль, да и то не верю, что это правда. Это просто так пишут для красоты. Так я думаю. И тут мне пришла замечательная мысль: дай-ка я с ним самим потолкую! Отдам-ка ключи самому вору!.. Славно, не

правда ли? И недолго думая — не люблю долго думать — я обращаюсь к нему однажды после обеда:

— Знаете, у меня к вам важное дело. Мне нужно с вами поговорить.

А он? Хоть бы шелохнулся! Ни-ни. Только уставился в меня своими простодушными серыми глазами, точно спрашивал: «Ну, слушаю».

— Нет, — говорю ему, — не здесь. Я хотел бы с глазу на глаз.

— Пойдемте, — говорит он мне, выходит со мною на улицу, становится против меня и ждет, как бы спрашивая меня: «Что же вы молчите?»

— Не здесь, — отвечаю я. — Когда вас можно дома застать?

— Я мог бы к вам зайти... — начал было он, но сразу осекся. — Если хотите... будьте у меня завтра (он вынимает часы) между половиной десятого и половиной одиннадцатого утра. Вот мой адрес.

Потом он долго пожимал мне руку, глядел мне в глаза, точно напоминал о конспирации.

— Конспирация, не беспокойтесь! — отвечаю я, и мы расходимся в разные стороны.

Конечно, я в ту ночь не спал: понимаете, лежал и мучился — все думал: что я ему скажу? С чего начну? И хорош я буду, если он вдруг скажет мне: «Господин «джентльмен», что это вы суетесь не в свои дела? С каких это пор, господин «джентльмен», вы записались в родню к девушке, которую один из «яшек» уже с давних пор называет своей невестой?»

Что ему ответишь на это? Или что я сделаю, если он, скажем, схватит меня за шиворот, да трах — со всех ступенек? То есть бояться мне нечего. Чего мне, в самом деле, его бояться! Ведь я пришел к нему по делу. Да — да, нет — нет! А швыряться тут нечего.

Так в мучительных думах прошла ночь. А назавтра в половине десятого я уже взбирался к нему на чердак, куда-то к черту на кулички; пересчитал, может, две с половиной сотни ступенек. Я застал его дома. У него были еще двое «яшек», которые при виде меня с недоумением переглянулись, точно спрашивали друг друга: «Что здесь нужно этому «джентль-

мену»?» Но мой молодчик мигнул им, чтобы они исчезли, и те сразу поняли, что́ от них требуется, — схватили шапки и испарились.

Оставшись с Иосифом наедине, как говорится с глазу на глаз, я закатил такую речь: «Так, мол, и так. Я вот человек коммерческий, с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, а деньги для меня — тьфу! и тому подобное. Это не мешает мне знать, что на свете делается. Потому что я, надо вам сказать, из современных, читаю все новые газеты, журналы...» Тут я как сыпану этими модными словечками: «Пролетариат... Бебель... Маркс... реагировать... конспирация» и тому подобное.

Выслушав меня, Иосиф совсем просто и мягко спросил: «Чем же я вам могу служить?» — «Да совсем пустяком, отвечаю, советом...» — «Я?.. Вам?.. Советом?..»

И он уставился на меня своими простодушными серыми глазами, точно хотел сказать: как это можно мне, молокососу, давать советы такому «джентльмену»? Вы понимаете, ему самому все это казалось несуразным. А мне и подавно. Но что поделаешь! Начал, значит надо доводить до конца. Взял я да и выложил все, что меня гнетет. Открыл я перед ним всю душу, рассказал все — от первой минуты, когда я ее увидел, до сегодняшнего дня. Мне, мол, теперь жизнь не мила. Сгубила она меня. Я вовсе не привык, говорю, из-за девушки, будь она даже царской крови, так «реагировать», потому что хоть я и человек из современных, все же коммерсант с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! и тому подобное.

Выслушал он меня и снова говорит мягко и просто: «Мой совет таков — поговорите с ней самой». — «Ну, а вы?» — спрашиваю. «Я не хочу... — говорит. И осекся. — Я не могу... Мне некогда заниматься такими делами». — «Нет, говорю. Я об этом и не думал. Я вовсе не требую, чтобы вы с ней говорили. Как могу я это требовать? Я только хочу знать, что вы скажете...» — «Что же я могу сказать, если ее чувства таковы же, как и ваши...» — говорит он мне

просто и деликатно. Потом вынул часы, точно хотел напомнить, что разговор, собственно, окончен... Смысл поглядывания на часы мне совершенно ясен. Когда я хочу от кого-нибудь избавиться, я тоже так поступаю. Вся беда в том, что не каждый догадывается, чего от него хотят. Но я сразу поднялся, тут же попросил, чтобы все осталось между нами, — «конспирация», так сказать, и помчался домой.

Что вам сказать! Радость — это не то слово. Восторг? Вот это то. Я был на семьдесят седьмом небе от счастья! Каждого встречного я был готов обнять и расцеловать. Все казались мне теперь прекрасными. Об Иосифе и говорить нечего: в тот день я полюбил его, как родного брата. Не стыдись я, вернулся бы и расцеловал его, а если б не боялся обидеть, преподнес бы ему хороший подарок: золотые часы с хорошей цепочкой и массивным брелоком.

С большой радости я отправился в клуб. Понимаете, я иногда захаживаю в клуб, как говорят, между ночью и днем. Вовсе не потому, что я люблю карты. Я сам не играю. Люблю лишь смотреть, как играют, да иногда, и то очень редко, «мазать»... Тут одно из двух: либо ты забираешь, либо тебя забирает. На этот раз мне везло — карта шла, как никогда до сих пор. Я сорвал порядочный куш, кликнул «босую братию» (так называют в нашем клубе проигравшихся дотла) и закатил ужин с шампанским «Редерер».

А когда я добрался домой, было уже совсем светло. Тут я нашел у себя на столе телеграмму. Меня вызывали срочно по важному делу. Вы, вероятно, знаете, что наш брат, когда он получает деловую телеграмму, бросает все. Тут уж пропадай корова вместе с веревкой! К черту все! Сел и поехал.

Уезжал я, собственно, на два дня, а задержался, как водится, три недели. Вернувшись, конечно, немедленно помчался в столовую. Там был полный переворот. От моих «яшек» и следа не осталось. А те, которые появлялись, были совсем непохожи на прежних — что-то очень уж они были обеспокоены, возбуждены, озабочены. Наскоро проглотив обед, как

говорится, стоя на одной ноге, они сразу же расползались с опущенными головами, точно собаки после дождя — один туда, другой сюда.

Но больше всего меня удивило — где Иосиф, почему его не видно? Присматриваюсь ближе к моим «яшкам» — что-то они слишком уж сдержанны, все таятся — шу-шу да шу-шу! Не просто конспирация, а конспирация на конспирации. Приглядываюсь к «ней», и она молчит, задумчива и очень уж «конспиративна». Прекрасные щечки уже не пылают, глазки-вишенки не улыбаются. Куда девались ямочки на щеках, которые сами звали: поцелуй меня! Не слышно веселого смеха, который заставлял смеяться все кругом: и стол, и стулья, и стены, и все живое.

Вы, конечно, понимаете, что особенно сильно я по Иосифу не скучал. Я ломал лишь голову: куда он мог деться? Надолго ли это он? Навсегда ли? Пишет ли он ей письма? Спросить у этих «яшек»? Но разве они ответят? Они глядят вам в глаза, ковыряют в зубах и молчат, точно хотят сказать: молодой человек, будете все знать, скоро состаритесь...

В одно прекрасное утро захожу в столовую и застаю ораву «яшек» за столом. Один читает газету, остальные слушают. Это, должно быть, об Иосифе, — не иначе. Откуда я знаю? По ней вижу. «Она», в белом передничке, сложив руки на груди, стоит тут же в сторонке, а лицо ее сияет, щечки горят, верхняя губка вздернута, — все точно, как тогда в лесу. Разница лишь в том, что тогда эти красивые вишенки-глаза смотрели на него, а теперь они блуждали где-то в пространстве, верно, искали все его, все Иосифа.

Что тут говорить? Я еле дождался, когда они положат газету; заглянув в нее, я сразу получил ответ на все мои недоуменные вопросы: *моего Иосифа взяли как следует в оборот*. Знал я, однако, что он плохо кончит, что не сегодня-завтра обязательно попадется. Что там такое, собственно, с ним — было не ясно, но совершенно очевидно, что по щечке его там не потреплют, медом он не полакомится и благовониями тоже наслаждаться не будет...

Что творилось на душе у меня — передать я не в состоянии. Сказать, чтобы все это очень волновало меня, не могу — ведь он у меня все-таки стоял поперек горла. И опять-таки если скажу, что меня это радовало, будет тоже неверно. Такого ведь и злейшему врагу не пожелаешь. Наоборот, я от всей души желал, право, можете мне поверить, чтобы бог явил чудо, и его бы... Совсем, так сказать, оправдали?.. Нет, этого ведь не может быть... Пусть бы его наказали не так сильно... Вы понимаете?

Несколько дней, говорю вам, я ходил как в чаду, места себе не находил. А когда я узнал, что вся эта канитель, слава тебе господи, кончена и завтра уже выносят приговор, клянусь жизнью, — а я все-таки дорожу ею, — я ночь не спал, так-таки и не смыкал глаз: ворочался с боку на бок и в конце концов вскочил и пошел в клуб, не для игры конечно, я надеялся здесь хоть на минуту забыться. Слишком уж тяжело было на душе. Я чувствовал, почти знал, что дела Иосифа плохи.

Так оно и случилось. Шагаю в обычное время в столовую, вижу, выскакивают оттуда двое «яшек», всклокоченные, расстроенные, не дай господи! За обедом я застал несколько посторонних человек. К столу подает уже не «она», а мать; сама мать тоже, как говорится, не в своей тарелке, я бы поклялся, что она плакала.

Недолго думая отозвал я ее в сторону:

— Где ваша дочь?

— У себя, — отвечает мать и показывает глазами на маленькую клетушку с дверкой.

Должен вам признаться, мы вели с матерью своеобразную игру. Напрямик я с ней никогда не говорил, но понимал, что мое сватовство было бы ей по душе. В самом деле, молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное... почему бы ей не хотеть! Я не раз намекал, что ее дочь меня очень интересует. Доказательство: не нравится мне, что девушка сама подает к столу... Угадайте, что мне

ответила мать: «Не нравится, что она подает? Подавайте сами!»

Ну, что тут поделаешь?

Да, на чем же мы остановились? На маленькой комнатке. Каким манером вошел я в эту комнатку, каковы были мои первые слова — режьте меня, ничего не помню. Помню лишь, она сидела у окна, все в том же белом передничке, сложив руки на груди. Бледная, ни кровинки в лице, верхняя губка вздернута, а глазки-вишенки, подернутые легкой дымкой, глядели задумчиво куда-то вдаль. И ни единой слезинки, ни намека на слезы! Только немая печаль лежала на чуть-чуть наморщенном белом лобике.

Клянусь жизнью, — а жизнью своей я дорожу, — в эту минуту она была так хороша, так божественно хороша, что я готов был упасть к ее ногам, целовать следы ее ног.

Увидев меня, она не всполошилась, не вскочила с места, не спросила, что мне нужно. Я сам взял стул, уселся против нее и стал говорить, говорить — без конца, без краю. Фонтан красноречия забил из моих уст, и я говорил, говорил, говорил. Что я там говорил, я ведь вам сказал, — не знаю. По-видимому, смысл был все тот же: я хотел открыть перед ней душу, утешить ее; намекал, что ей ни к чему так сильно «реагировать». На нашем языке это означает: пусть не принимает слишком близко к сердцу, для этого она еще слишком молода, слишком свежа, слишком хороша. Я ей внушал, что еще неизвестно, где ее счастье обретается. Вот, например, я — молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное... Да пусть только слово скажет, пусть скажет, что она готова забыть прошлое: не было никакого Иосифа, никаких «яшек» и никакой «конспирации»...

Понимаете, я и сам не знаю, откуда у меня взялся дар слова. А она, думаете, что-нибудь ответила? Ничего. Она сидела молча и глядела, глядела, глядела... Что мог означать этот взгляд? Он мог означать: «Вы это на самом деле? Не верится что-то».

Или: «Я подумаю». Или: «Оставьте меня в покое». А может быть, вовсе: «Ио-сиф!» Понимаете, не просто Иосиф, а Ио-сиф!

Какими глазами смотрел я потом на самого себя! Врагам пожелаю это испытать. Несколько дней подряд мне стыдно было на людях показаться. На душе у меня было мрачно, я чувствовал себя так, точно я сам в какой-то мере виноват в несчастье, свалившемся на них. Сколько я ни старался выбить из головы, забыть его, вот этого Иосифа, — никак не мог.

Надо вам сказать, что снам я не придаю значения, покойников не боюсь, в колдовство не верю. Но, клянусь вам честью, не проходило ночи, чтобы Иосиф не явился мне во сне: он будил меня и показывал рукой вокруг шеи, — не про меня будь сказано, — там у него осталась синяя полоса. Как вы думаете, можно придавать какое-нибудь значение снам? Вот я знаю факт... Приключилось это давно с моим дядей... Но ведь это глупости! Какое мне дело до снов! Просто я немного расстроился, потерял аппетит, лишился сна. От страха, думаете? Нет! Но вы понимаете: знакомый человек, сколько раз за одним столом сидели... Тут я решился. Была не была. Собрался с духом и отправился снова туда, в столовую.

Прихожу. Где там столовая, какая столовая? Как и не бывало — даже место высохло. «Куда девалась столовая?» — «Уже несколько дней как выехала». — «Что значит выехала?» — «Очень просто: выехала — значит выехала». Бегу во двор, звоню домовладельцу: «Куда девалась столовая? Куда переехала?» Ищи ветра в поле. Никто не знает, никто не может ответить, куда она девалась. Начинаю шуметь, вламываюсь в амбицию. А я, если вламываюсь в амбицию, тут упаси господи. Клянусь вам, я бегал как сумасшедший, кидался из конца в конец. А «яшки»? Как назло никого! Хоть бы на развод одного оставили.

Тогда я отправился в полицию «расследовать», то есть навести справку.

Явился. И тут меня взяли в оборот: «Что надо?»

Говорю: «Так, мол, и так, куда девалась столовая?» — «Какая столовая?» Отвечаю: «Такая-то и такая». — «Зачем она вам понадобилась?»

Вы понимаете, поди расскажи им, зачем она мне понадобилась. Я молчу. Тогда они спрашивают снова и снова.

Что и говорить, доставил же я себе удовольствие!.. Уж меня там погоняли! Черт меня понес туда! Хотя, с другой стороны, чего мне, собственно, бояться? Молодой человек — коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! и тому подобное. В подобные дела я не впутываюсь. Как говорят, не евши чесноку... чего же тут бояться? Но я просто не люблю таких дел, понимаете, не люблю, — и все тут. Я проклял самого себя... Вот так столовая! Вот так девушка! Вот так Иосиф!

Я и сам бы рад забыть «ее», да не тут-то было. Из головы нейдет. До сих пор стоит предо мной в сверкающем беленьком передничке; горят глазки-вишенки, губка вздернута, ямочки на щеках зовут: поцелуй меня! А в ушах все еще звенит ее смех. Частенько во сне я слышу ее голосок. Она зовет: «Иосиф! Ио-сиф!» Я просыпаюсь в холодном поту. Потому что чуть вспомню о ней, как на ум приходит он...

Видите, я не жду, чтобы вы достали часы. Я сам знаю, что все на свете должно кончаться. Извините, что я отнял у вас слишком много времени. Дайте, прошу вас, руку и пообещайте, что все рассказанное здесь останется между нами, как говорится, — «конспирация».

Адье!

ХАБНО

Случилось это в Одессе, в компании литераторов. Были среди нас и писатели, которые пишут, и читатели, которые читают, и несколько студентов, — среди них одна девушка, приехавшая на курсы, весьма зрелая девица, здоровая, краснощекая, — и еще какие-то молодые люди, и совсем посторонняя публика, не имевшая к нам никакого отношения. Просто увидели — люди о чем-то толкуют, стали прислушиваться, придвигаться все ближе, пока не образовалась одна компания и перепутались стаканы на столе, и ноги под столом, — словом, все свои. Был будний день, отнюдь не суббота, и разговор у нас шел не о субботе, а совсем о другом. Если память мне не изменяет, мы спорили о сионизме, территориализме *, ахадгаамизме, клойзнеризме *, но уж во всяком случае не о субботе, не о деньгах каких-то и не о местечке, которое носит название «Хабно». Всего этого ни у кого из нас и в мыслях не было. Вдруг, — и не припомню, как это вышло, — какой-то молодой человек из посторонних, рыжий с белыми ресницами, поднимается с места, взмахивает рукой и говорит:

— Это что!.. Вот я вам расскажу более интересную историю, которая приключилась со мной в Хабно. Хабно — это местечко, есть такое местечко, которое называется Хабно. В Хабно вы найдете все,

чему полагается быть в местечке: почту, казенного раввина и духовного, реку, телеграф, кладбище, пристава, талмудтору, хасидов, две синагоги, очень много бедняков и очень мало богачей, как это бывает во всех наших маленьких местечках. И вот нечистый занес меня однажды накануне субботы в это местечко. Вы только послушайте, история весьма любопытная, она может вам пригодиться. Вы и сами прекрасно знаете, что стоит вам попасть накануне субботы в маленькое местечко, и вы поневоле станете вдруг жителем этого местечка, ничто вам тут не поможет. Продолжать свой путь и не мечтайте. Хабно — это вам не Одесса. С тех пор, как существует Хабно, ни один еврей еще не нарушил там субботы. И если уж вам суждено на одну субботу стать жителем Хабно, то вы прежде всего должны отправиться в баню. Что же вам еще остается? Не священные книги же писать. И не вздумайте только не пойти в синагогу, — об этом не может быть и речи. Хотел бы я видеть, как бы вы, остановившись на субботу в Хабно, не пошли бы в синагогу. Вы думаете, с вами бог знает что сделают? Ничего с вами не сделают; на вас будут только *смотреть*. Все Хабно соберется посмотреть на еврея, который остался на субботу в Хабно и не хочет идти в синагогу. А какими глазами посмотрит на вас хозяин? И что за вкус будет иметь еда, которую вам подадут отдельно от всех? Да еще подадут ли? Что вы, помещик какой-нибудь, который может позволить себе есть отдельно, не за одним столом с хозяином, и не произнести во весь голос предобеденной молитвы, не петь вместе со всеми субботние песнопения? Вот если бы вы были, не в обиду вам будь сказано, помещиком — тогда другое дело. Вам бы все подали в вашу комнату: и еду, и питье, и папиросы, и даже самовар в субботу. Хотите знать, отчего это так? Не стоит спрашивать. Если вы начнете задавать вопросы, почему так да почему этак, истории конца не будет. Короче говоря, раз вы приехали в Хабно, вы должны на время стать жителем Хабно.

Так вот со мной случилась история: я ехал к помещику одному недалеко от Хабно и вез с собой деньги, добрых несколько тысяч, — карманы распирало. Мне казалось, что любому, пусть он и не знает ничего, видно, что я везу с собой деньги, потому что человека, у которого деньги, можно узнать на расстоянии: он и стоит по-особому, и ходит по-особому, и говорит не так, как все. Уж такова сила денег, понимаете ли, деньги это деньги!..

Я и подумал: как мне быть с деньгами? Суббота на носу, а Хабно — это вам не Одесса, не буду же я носить с собой в субботу деньги*. А потом, скажу вам истинную правду: мне было страшновато оставаться в заезжем доме с такой крупной суммой. Не то чтобы я не доверял хозяину, упаси бог! Хозяин был с виду весьма почтенным человеком, благочестивым евреем в очень приличном кафтане, подпоясанном кушаком. Не опасался я также и грабителей: никто не скажет, что Хабно — город бандитов и разбойников. Миру неизвестны убийства или зверства какие-нибудь, совершившиеся в Хабно. А то, что там случился как-то небольшой погром, так это ведь только во время погрома, а где в наше время не бывает погромов?.. Можете среди ночи ходить по Хабно одинодинешенек, и, клянусь, ничего плохого с вами не произойдет. Чего же мне в таком случае было бояться? Я, понимаете ли, одного только боялся: такая сумма, а деньги-то ведь чужие, не мои... Мало ли что бывает, упаси бог! И так и этак прикидываю — дело плохо. Как же быть? И я подступаю к хозяину с вопросом: кого у них, в Хабно, считают богачом, кто здесь самый уважаемый человек? А хозяин, как водится, мне в ответ: «А зачем это вам знать? Дело есть?» Поди расскажи ему, что мне покоя не дает. Он, правда, видать, почтенный человек, и кафтан на нем весьма приличный, кушаком подпоясанный, к тому же и про Хабно никто не скажет, что это город разбойников и грабителей, но все же деньги, такая сумма, чужие деньги, не свои... Итак, я спрашиваю об одном, он спрашивает о другом. Я ему — «богач», он мне — «дела», но так или иначе, то, что мне нужно

было, я из него вытянул: в Хабно, видите ли, все сплошь бедняки, конечно, есть и богачи, но их очень мало. Всего-то навсего только один и найдется, которого в самом деле можно назвать богачом, но это уж настоящий богач, одним словом — богатей, тугая мошна. И то, правда, денег его никто не считал, но есть у него деньги и, надо думать, немало. У него и дома собственные, и магазины по всему базару, и роща у него, настоящий лес, даже два леса, можно сказать. И человек он неплохой, добрый по натуре, очень даже добрый, с отзывчивым сердцем и щедрой рукой. Он, понимаете ли, не прочь отличиться благим делом: и пожертвует при случае и взаймы даст, никому не откажет, кто бы к нему ни обратился. Все это, конечно, ради славы, он гонится за славой, известное дело — богач любит славу. Хотя с виду он как будто прост, совсем даже скромник, о почестях и знать не хочет. Вообще-то он, можно сказать, вполне порядочный человек, ну, не то что праведник какой, но того, что нельзя делать, он не сделает открыто, так, чтобы все видели; может быть, как-нибудь так, втихомолку, когда никто не видит, бог его знает, за другого трудно поручиться. Но что касается честности, то, само собой, не благодарить же его за это; если уж такому человеку не быть честным, так с кого и спрашивать?..

Короче говоря, я понял со слов хозяина, что могу доверить богачу мой капитал. И я отправился к нему заблаговременно, в канун субботы, еще до бани, и застал его дома, склонившимся над фолиантом. Весьма почтенный человек, и живет он великолепно, на широкую ногу, можно сказать, и, видать, спокойно, как и подобает богачу в маленьком местечке. Вхожу, приветствую его и выкладываю всю свою историю: так, мол, и так, еду я к такому-то и такому-то помещику, везу с собой деньги, и поскольку я вынужден остановиться здесь на субботу, то я боюсь, мало ли что бывает, хотя, конечно, никто не скажет про Хабно, что это город разбойников и грабителей, а мой хозяин весьма почтенный человек, и кафтан на нем приличный, кушаком подпоясанный...

Так в чем же дело? Деньги, такая сумма, не сглазить бы, чужие деньги, не свои... «Чего же вы хотите, молодой человек?» — с улыбкой спрашивает меня богач.

Я ему и говорю, что у меня к нему просьба, не согласится ли он взять у меня деньги и спрятать их на субботу у себя в шкафу, в железном шкафу, — вот я и буду спокоен. Я не то что не доверяю кому-либо, упаси бог, о Хабно никто не скажет, что это город разбойников и грабителей, но такие большие деньги, чужие, не свои... Богач слушает меня с улыбкой и говорит: «Молодой человек, вы меня знать не знаете и ведать не ведаете, как же вы доверяете мне такую сумму?» А я ему: «Добрая слава далеко бежит, и потом, вы ведь, наверно, дадите мне расписку — такие большие деньги, чужие, не свои...» А он все улыбается и говорит, что никогда в жизни никому не давал расписок. «Пусть тогда без расписки», — говорю. Но богач не хочет брать у меня денег, наотрез отказывается. «Как же быть?» — говорю. А он в ответ: «Как знаете». Тогда я спрашиваю: «А если при свидетелях?» — «Пожалуйста», — говорит он. «Кого же мне к вам привести?» — «Кого хотите». — «Не назовете ли вы несколько приличных людей?» — «У нас тут все приличные люди», — говорит. «Тогда я сбегаю и приведу к вам несколько хозяев». — «Бегите и приводите кого угодно», — отвечает богач. Вижу, что он немного обижен, и начинаю оправдываться: воздай мне бог сторицей, сколько я бы ему доверил; будь эти деньги мои, я бы ни за что не стал звать свидетелей, но деньги эти ведь прежде всего божьи, а потом уж людские, во всяком случае не мои, поэтому осторожность не помешает. Что вы на это скажете, должен я соблюдать осторожность или нет? Богач выслушивает меня с улыбкой и молчит. Я, конечно, понимаю, что он немного задет, но раз я сказал, что сбегаю за свидетелями, значит надо сбегать и привести несколько свидетелей. Отправляюсь обратно в заезжий дом и снова принимаюсь за хозяина, начинаю у него выпытывать, кто здесь в Хабно числится среди самых достойных людей. Но из него и слова не вытянешь. Его интересует, для

чего мне это нужно знать? Если речь идет о сватовстве — это одно, а если мне понадобились деньги под залог, то это совсем другое дело, если же, говорит, ни то и ни другое, то ему все равно не мешает знать, что мне нужно.

Я и так, я и этак, пока наконец не добился от хозяина ответа, что в Хабно все хозяева, собственно, достойные люди, хотя, если подумать, то в отношении порядочности они оставляют желать много лучшего. И что такое, в сущности, порядочность? Всякого можно назвать порядочным, а если хотите знать, то порядочности вообще на свете нет. Все зависит от того, какие достоинства ближнего вас интересуют: богатство ли, хорошее ли происхождение, образованность, вежливое обхождение или же все вместе взятое? Но так как, говорит он, всех достоинств ни у кого не найдешь, то можно считать, что в Хабно все люди достойные. Но если, говорит он, я интересуюсь достойными из достойных, то в Хабно можно найти лишь двух достойных людей — это реб Лейзер и реб Иося. Вот это действительно достойные люди! «А кто они такие, к примеру, эти реб Лейзер и реб Иося?» А хозяин мне говорит: «Какая вам разница? Если я вам и скажу, вы все равно не будете знать». А я ему: «Но все-таки ведь у каждого свой нрав». А хозяин в ответ: «Странный вы человек, все вам расскажи. Реб Лейзер — это человек, которого зовут Лейзер, а реб Иося — это человек, которого зовут Иося. Ну и что же, легче вам от этого стало, что ли?..»

Итак, я пошел к реб Лейзеру, которого зовут Лейзером, и к реб Иосе, которого зовут Иосей. Познакомился я с ними; как будто вполне почтенные люди, и бороды у них почтенные, потолковал с ними о том о сем просто так, толковали, толковали, пока подошли к тому, что мне нужно было, и я им прямо выложил все как есть: так, мол, и так, еду я к помещику, везу с собой деньги, вот я и боюсь: кто его знает, хотя Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, но ведь большие деньги, чужие деньги, не свои... Поэтому я прошу их, пусть не откажутся сходить со мной к богачу и присутствовать при том,

как я дам ему на хранение свои деньги. Этим они заслужат царство небесное. Реб Лейзер, которого зовут Лейзером, и реб Иося, которого зовут Иосей, внимательно выслушали меня, поглаживая бороды, все снова и снова допытываясь, что да как. А я не заставлял долго упрашивать себя, все им выложил, и мы наконец отправились втроем к хабненскому богачу, попросили у него, как водится, прощения: Хабно, мол, не город разбойников и грабителей... Я распорол карманы, достал деньги, пересчитал, тщательно завернул в бумагу и с рук на руки передал их хабненскому богачу, чтобы он спрятал их на субботу у себя в железном шкафу, и еще раз попросил у него прощения за беспокойство, Хабно, конечно, не славится своими разбойниками и грабителями, упаси бог, но деньги ведь, такие большие деньги, чужие, не свои... И хабненский богач весьма торжественно принял у меня узелок, словно младенца на торжестве обрезания, а два моих свидетеля смотрели, поглаживая бороды и облизываясь, как кот на сметану. Я еще раз попросил прощения за беспокойство, Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, упаси бог, и попрощался, и счастливой вам субботы, и дело с концом.

Только опорожнил я карманы, как у меня будто гора с плеч свалилась. Со спокойной душой отправился я в синагогу, послушал там весьма замечательного кантора, который, правда, уж слишком изощрялся, выделывал всяческие диковинные штучки, пускал рулады, заливался соловьем. «Споем песнь в честь субботы» он заключил совсем как актер в театре, не будь рядом помянут, а «Кехавно» у него получилось слаще сладкого, поистине по-еврейски, и такая «мораль» звучала в нем, что хотелось послушать еще и еще раз. Давно уж мне не доводилось слушать такого кантора, как в Хабно, давно уж мне не доводилось слушать такой «Кидеш» * и такие «Змирес» * как в Хабно, давно уж я не ел такой наперченной рыбы, такой вкусной лапши и такого мяса с цимесом, как в Хабно, давно уж я не спал так сладко, как в ту субботнюю ночь, и чуть не весь субботний день я проспал, словно король какой. Отлежав

себе бока, я вышел немного погулять, чтобы ознакомиться с местечком и с его жителями, полюбоваться на хабненских юношей и девушек, выряженных по последней моде; потом я славно отужинал вместе с хозяевами, славно спел «Змирес» и прошел в синагогу на вечернюю молитву. Вернувшись в заезжий дом, я произнес «Гавдолу» *, честь честью рассчитался с хозяйкой, выторговал у нее несколько двугривенных, как водится, и отправился за своими деньгами.

Хабненского богача я застал в приличном шелковом халате с шелковыми кистями. Он расхаживал по залу, наматывая кисти халата на пальцы и напевая весьма приятным голосом:

Илья пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!
Скоро, скоро, скоро в наши дни!

«Ну что ж, — подумал я, — человек поет, пусть поет; кончит петь, я у него попрошу...» Мой богач, однако, и не собирался кончать, он все мычал и пел, наматывая кисти халата на пальцы. Я же тем временем сидел, как на горячих углях, то и дело поднимался, готовый подойти к нему и заговорить о своем деле, но никак не мог начать: он все наматывал кисти халата на пальцы, мычал, пел, и голос его все креп:

Пророк Илья!
Пророк из Тишби!
Пророк из Гилода!
Ай-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй!
Скоро, скоро, скоро в наши дни!
Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!

«Будь что будет!» — подумал я и, набравшись смелости, подошел к богачу и сказал, что собираюсь сегодня же, не медля, пуститься в дальнейший путь, и поэтому хотел бы его попросить... гм...

Богач поднял палец с намотанной на него шелковой кистью халата и запел громко, во весь голос, прямо мне в лицо:

Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!
Ай-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй!

«Наваждение какое-то, дурной сон, — подумал я.— И влюбился же человек в Илью-пророка — водой не разольешь!» В общем, он пел и мычал до тех пор, пока наконец не перестал и петь и мычать. «Доброй недели вам, — приветствовал меня богач, — здравствуйте, садитесь!» Он весьма любезно усадил меня за стол, угостил весьма приличной папиросой, велел подать два стакана чаю — ему стакан и мне стакан, и тогда только спросил: «Что скажете хорошего, молодой человек?» — «Что мне сказать? — говорю. — Уезжать собираюсь, вот прямо сейчас, и поэтому я бы хотел попросить у вас свои деньги».— «Какие деньги?» — «Да моих несколько карбованцев», — говорю. «Какие карбованцы?» — «Деньги, говорю, мои деньги». — «Что за деньги?» — «Как, говорю, что за деньги? Разве вы не знаете, зачем я пришел? Я пришел за деньгами, которые оставил у вас на субботний день». — «Вы оставили у меня деньги?» — говорит он и делает при этом такую мину, как если бы я, к примеру, сказал, что нос на его лице — это не его нос, а мой.

Можете себе представить, каково у меня стало на душе: Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, но кто его знает... «А может, богач шутит», — подумал я и рассмеялся: «Ха-ха, ну и шутник же вы, говорю, в этом деле вы мастак!» А он серьезно: «В каком деле?» — «Я же вижу, что вы шутник», — говорю. Тогда он отвечает мне уж слишком серьезно: «Молодой человек, я вам не ровня и шутки шутить с вами не намерен! Скажите, что вам от меня нужно?»

Тут я почувствовал, что лицо у меня дергается, глаза странно мигают, а ноги подкашиваются, вот-

вот упаду. Но я креплюсь и пытаюсь превратить все в шутку: «Ну, хватит вам меня разыгрывать, честное слово, дайте мне мои деньги — и дело с концом». Хабненский богач сидит рядом, смотрит мне прямо в лицо, и хоть бы он глазом моргнул, хоть бы бровью повел, ничего, будто я не в себе, будто перед ним помешанный. «Молодой человек, — говорит он спокойно, — вы ошиблись, вы не туда попали». Тут уж я не стерпел: «Если вы не шутите, то я не понимаю, что это за игра такая. Я вам дал, говорю, деньги на хранение, крупную сумму, деньги эти не мои, чужие деньги...» Язык у меня заплетается, в горле стоит ком, в левом ухе звенит, еще минута — и я потеряю сознание. А богач свое: «Не понимаю, о чем вы говорите». — «Значит, говорю, вы у меня денег не брали?» — «Я у вас? Покажите, говорит, наверно, у вас моя расписка?» Тут мне стало совсем плохо, я понял, почему он мне накануне сказал, что никогда никому не дает расписок... «Как, говорю, а свидетели? Есть же свидетели!» А он в ответ: «Свидетели? Какие свидетели?» — «А реб Лейзер и реб Иося разве не видели, как я вам давал деньги?» — «Не знаю никакого Лейзера и никакого Иоси». — «Бог с вами, говорю, вот я сейчас сбегаю и приведу их сюда». — «Бегите, — говорит он, — куда хотите, только меня оставьте в покое, вы не в своем уме, молодой человек!..»

Побежал я за свидетелями, а сам не могу отделаться от мысли: может быть, я в самом деле не в своем уме; может быть, все это наваждение, сон; может быть, я вовсе не в Хабно? Я бегу, и мысли мои бегут, так что голова трещит. Черт понес меня на субботу в Хабно! Горе мне, этакое несчастье со мной стряслось, что я теперь буду делать?

Бегу к реб Лейзеру, бегу к реб Иосе, рассказываю им о своей беде: идемте со мной, говорю, люди добрые, идемте скорее, сжальтесь надо мной, ведь такие большие деньги, не свои, чужие, — спасите, говорю. Запыхавшись, являемся мы все трое к хабненскому богачу, а он встречает нас со странной улыбкой и обращается к моим почтенным свидетелям с такими словами: «Слышали вы, какую чушь порет этот молодой

человек, прямо напасть какая-то. Я будто взял у него на хранение крупную сумму денег, и вы будто тоже были при этом. Ну, что скажете?» Мои свидетели, два почтенных хозяина с почтенными бородами, стоят и смотрят то на богача, то на меня, то друг на друга. «Что же вы молчите? — говорит им богач. — Слышали вы когда-либо подобную клевету?» — «Господи, спаси и помилуй», — в один голос отвечают мои свидетели, почтенные люди с почтенными бородами, переглядываясь друг с другом. «Он говорит, — продолжает тем временем богач, — будто сумма была бог весть какая, несметные тысячи и будто вы оба собственными глазами видели, как он давал их мне на хранение. Как это вам понравится? Боюсь, что этот молодой человек, упаси бог, не в своем уме!» — «Не иначе, как... не в своем уме!» — отзываются оба моих свидетеля, поглаживая свои почтенные бороды и поглядывая то на богача, то друг на друга. Хочу возразить им, хочу крикнуть, но я не в силах. Язык у меня прилип к гортани, в горле пересохло, в глазах потемнело. Тем временем мои почтенные свидетели, реб Лейзер и реб Иося, неслышно выскользнули из комнаты, странно поглядывая то на богача, то друг на друга. Лица их, хотя и были бледны, как луна, все же сияли, а глаза у них блестели, как у людей, которым всевышний послал в самом начале недели неплохое дельце...

Поверите ли, один бог знает, что бы тут со мной было, но богач вдруг подошел ко мне, положил руку мне на плечо, открыл шкаф и сказал: «Не принимайте этого так близко к сердцу, молодой человек! Вот вам ваши деньги. Я только хотел показать вам, что такое Хабно и кто такие хабненские почтенные хозяева!..»

Рыжий молодой человек с белыми ресницами замолчал, отодвинулся вместе со своим стулом и стал заглядывать каждому из нас в глаза, чтобы проверить, какое впечатление произвел его рассказ. Мы все будто застыли. Разговор не возобновлялся. Только

один из нас, не помню кто именно, может быть даже я сам, решился спросить молодого человека с белыми ресницами:

— По какому, собственно, поводу вы рассказали нам эту историю?

— По какому поводу? — переспросил он, как бы удивленный нашим недоумением. — Что значит, по какому поводу? Ни по какому. Просто так, к слову пришлось. Как раз вспомнилась мне эта история, вот я вам ее и рассказал.

ВРАКИ

— Вы, кажется, едете в Коломею?

— Откуда вы знаете, что в Коломею?

— Я слышал, как вы говорили с кондуктором. Сами будете из Коломеи или только едете в Коломею?

— Сам оттуда. А что такое?

— Ничего. Просто так спрашиваю. Приличный город эта Коломея?

— Что значит «приличный»? Такой же, как все города в Галиции. Приличный городок, очень даже приличный!..

— Много ли у вас почтенных людей, богачей, — вот что я имел в виду.

— Разные есть люди: есть богачи, есть и бедняки. Бедняков, разумеется, больше, чем богачей.

— Так же, как у нас. На одного богача чуть ли не тысяча бедняков, не сглазить бы. У вас в Коломее как будто живет один богач, Финкельштейн.

— Есть богач Финкельштейн. А что такое, вы его знаете?

— Знать я его не знаю, но много слышал о нем. Его не реб Шае зовут?

— Реб Шае, а что?

— Ничего. Просто так спрашиваю. Он и в самом деле такой богач, как о нем говорят, этот реб Шае?

— Кто его знает. Денег его я не считал. Почему вы так им интересуетесь? В кредите нуждаетесь?

— Нет. Просто так интересуюсь. У него, говорят, дочь?

— У него три дочери. Так вот вы о чем! Сколько, вам сказали, он дает приданого?

— Дело не в приданом. Меня больше интересует самый дом, какой дом у этого реб Шае Финкельштейна? Какие порядки в этом доме?

— Какие там могут быть порядки? Дом как дом. Известно, еврейский дом, весьма приличный, очень приличный, можно сказать, дом хасидский! Говорят, правда, что по части благочестия там в последнее время... Но это враки!

— Что враки?

— Что бы ни говорили, все враки. Коломея, должны вы знать, это город врунов.

— Именно поэтому любопытно знать, что, к примеру, говорят о его доме.

— Говорят, что там уже не то, что прежде. Прежде, например, там в пасху употребляли особую мацу *. Сам ездил два раза в год к цадику. А теперь... Теперь совсем другое...

— Только и всего?

— Что же вы хотели? Чтобы Шае сбрил бороду и пейсы и ел свинину на виду у всех?

— Вы сказали «говорят». Вот я и подумал, бог весть что говорят. Меня человек интересует. Приличный ли он человек, этот Шае Финкельштейн, порядочный ли? Вот что я имел в виду.

— Что значит «порядочный»? Человек как человек. Приличный человек, ничего не скажешь, весьма приличный человек! Хотя у нас, правда, говорят, что он немножко... Но это враки!

— Что враки?

— Все, что про него говорят, враки; в Коломее любят наговаривать друг на друга, такой уж это город! Но я не хочу повторять эти враки, не люблю злословия...

— Раз вы сами сказали, что враки, значит это уже не злословие.

— Говорят, что он немного... крутит.

— Крутит? Все немного крутят. А вы не крутите?

— Ну, он не так крутит. Про него, понимаете ли, говорят... Но это враки!

— Что же, собственно, про него говорят?

— Я же вам сказал — вздор, враки!

— Вот мне и любопытно послушать эти враки!

— Говорят, что он уже трижды объявлял себя несостоятельным. Но это враки. Мне известно только про один раз.

— Только и всего? Где вы видели купца, которому ни разу не приходилось объявлять себя банкротом? Купец торгует до тех пор, пока не проторгуется. Если купец умер не банкротом, то это значит, он умер раньше времени. Что? Разве не так?

— Банкротство банкротству рознь. Про него нехорошо говорят, будто он схоронил свои денежки и показал всему миру дулю. Вы понимаете?

— Видно, неглупый человек. Ну, и это все?

— Чего вы еще хотели? Чтобы он резал людей? Уголовщиной занимался? У нас, правда, рассказывают о нем совсем некрасивую историю... Но это враки!

— А именно, какую историю?

— Историю с помещиком... Небывальщину!

— Что за история с помещиком?

— Помещик... Векселя какие-то... Чего только Коломея не выдумает! Враки! Я точно знаю, что это враки!

— Раз вы говорите — враки, то ваш рассказ никак ему не может повредить.

— Говорят, что у него были дела с одним помещиком, с весьма крупным помещиком, он вошел к этому помещику в доверие, был у него в большом почете. А когда помещик умер, он и предъявил якобы его вексель. И в городе поднялся шум: откуда взялись векселя, когда всем известно, что помещик этот никогда в жизни не подписывал подобных бумаг? Коломея, должны вы знать, это такой город... Здесь ничего не скроешь...

— Ну?
— Ну-ну! Вот и пришлось ему расхлебывать кашу...
— Только и всего? У каждого еврея своя каша. Видели вы когда-нибудь еврея, которому не приходилось бы расхлебывать кашу?
— Этому, однако, не одну кашу пришлось расхлебывать, а целых три.
— Целых три? Что же ему еще пришлось расхлебывать?
— Случилась у него, говорят, история с мельницей. Но это уже определенно враки!
— Мельница, наверно, погорела, и про него говорили, что он сам произнес молитву: «Благословен сотворивший огненные светила» *, потому что мельница была старой, и он ее неплохо застраховал, чтобы получить денежки и поставить новую?
— Откуда вы всё это знаете?
— Знать-то я ничего не знаю, но представляю себе, что так именно все и произошло.
— То есть так поговаривают у нас в Коломее, но это враки. Готов поклясться, что враки.
— А по мне хоть бы и правда. Какую еще кашу, говорите вы, ему пришлось расхлебывать?
— Я ничего не говорю. Город говорит. Но это уж совсем сплетни, клевета, чистейшей воды навет!
— Навет? Фальшивые деньги, что ли?
— Еще хуже!
— Что может быть хуже фальшивомонетчика?
— Право, неловко рассказывать, что способна придумать Коломея. Пустые людишки... Бездельники... А может быть, это было специально подстроено, для вымогательства. Маленькое местечко, понимаете ли, у богача всегда найдутся враги...
— Тогда, наверно, шашни с прислугой?..
— Откуда вы знаете? Уже успели рассказать?
— Рассказывать мне не рассказывали, но я догадываюсь: эта история, наверно, влетела ему в копеечку...
— Пожелаю себе столько заработать хоть раз в неделю с вами вместе, поверьте, я и вам не враг, — во

сколько ему это обошлось, хотя он тут, конечно, ни сном ни духом не виноват. Маленькое местечко, понимаете ли, а тут богач, ему везет, вот и завидуют... Просто завидуют!

— Возможно. А дети у него хорошие? Приличные? Три дочери, кажется, вы сказали?

— Три. Две замужних и одна девушка. Приличные дети, очень приличные. О старшей, правда, говорят... Но это враки!

— А что о ней говорят?

— Я же вам сказал: все сплошь враки!

— Знаю, что враки, но любопытно, какие враки?

— Если вам вздумается выслушать все враки в Коломее, вам трех дней и трех ночей не хватит... Про старшую говорят, что она носит собственные волосы. Но тут я лично могу поручиться, что это враки. Она вовсе не такая образованная, чтобы выставлять напоказ собственные волосы. А про вторую дочь говорят, будто она еще девушкой... Но мало ли что в Коломее могут выдумать! Враки!

— Любопытно, что у вас в Коломее могут выдумать?

— Я же вам говорил, что Коломея славится своими врунами и клеветниками, Коломея — город длинных языков. Вы и сами знаете, когда в маленьком местечке девушка гуляет одна-одинешенька темной ночью по улице с молодым человеком, то начинаются разговоры: с какой стати девушке разгуливать ночью по Коломее совершенно одной, да еще с провизором?

— Только и всего?

— Чего вы еще хотели? Чтобы она удрала со своим провизором как раз в день всепрощения в Черновицы, подобно младшей, которая, говорят, выкинула номер?

— А какой номер выкинула младшая?

— Не стоит, право, повторять все глупости, которые говорят у нас в Коломее. Я не люблю рассказывать небылицы.

— Вы уже рассказали достаточно небылиц, почему бы вам и эту не рассказать?

— Я не от себя рассказываю, уважаемый, я вам только чужие враки передаю. Я вообще не понимаю, чего вы так допытываетесь о каждом в отдельности, будто прокурор. Вы, сдается мне, из тех людей, которым лишь бы обо всем дознаться у ближнего, подкопаться, жилы вытянуть, сами-то вы и словом не обмолвитесь... Прямо скажу вам, уж не обижайтесь, мне кажется, что вы русский еврей, а русские евреи имеют дурную привычку залезать с сапогами в душу, видать, любят посплетничать. Кстати, вот и Коломея... Пора браться за узлы... Разрешите!

ТРИ ВДОВЫ

Повествование холостяка, закоренелого, к тому же вспыльчивого

1

Вдова номер один

— Ошибаетесь, уважаемый, — не все старые девы несчастны, не все старые холостяки эгоисты. Вы сидите в кабинете с сигарой в зубах, с книжкой в руках, и вам кажется, что вы проникли в самые тайники души, все уже знаете, что нет для вас больше неразрешенных вопросов. И особенно когда вы, с божьей помощью, отыскали такое словечко, как «психология»... Штука ли — пси-хо-ло-гия!.. А знаете ли вы, что такое психология? Есть растение такое — петрушка... На вид неплоха и пахнет приятно, приправишь ею кушанье — вкусно. Вот и психология — та же петрушка. Но попробуйте жевать одну петрушку!.. Не хотите? Так что же вы мне навязываете «психологию»? Ежели хотите знать по-настоящему, что такое психология, то садитесь, пожалуйста, и слушайте внимательно, что я вам расскажу. Потом будете высказывать свое мнение насчет того, откуда берутся всякие несчастья, где кроются причины эгоизма и так далее.

Вот я — старый холостяк и старым холостяком умру. Почему? Тут особые обстоятельства... Коль

скоро вы спрашиваете, почему, и готовы выслушать меня, то вот это и есть по-настоящему психология! Главное, не перебивайте меня вопросами — как, да что, да почему... Не люблю, когда меня перебивают. Я, как вы знаете, не без капризов, а в последнее время и нервы пошаливают... С ума я не сошел, не пугайтесь! Терять рассудок — это больше подходит вам, вы человек женатый. А мне нельзя, мне полагается быть в здравом уме и твердой памяти. Я обязан быть здоровым. Это вы и сами подтвердите. Короче говоря, вопросов прошу не задавать. Когда я расскажу всю историю и что-нибудь вам покажется непонятным, тогда можете предъявлять ко мне претензии. Ну? Все? Так вот, садитесь сюда, на мое место, а я, с вашего позволения, сяду в качалку. Я тоже, знаете, люблю помягче и поудобней... Да и вам здесь лучше будет, — не уснете...

Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни.

Звали ее Пая, а прозвали — «молодой вдовой». Почему? Начинается история: почему да отчего? Что ж тут непонятного? Раз называли «молодой вдовой», значит она была молодая и была вдовой. Я был моложе ее. На сколько? Не все ли равно? Говорю — моложе, значит — моложе. Словом, нашлись люди, у которых язык не на привязи, и стали поговаривать о том, что я, мол, холостяк, а она — молодая вдова... Поняли? Иные меня даже поздравляли, желали счастья. Поверьте мне, а не верите — тоже беда не велика. Хвастать мне перед вами ни к чему. Я был с ней близок так же, как вы близки со мной... Просто мы были добрые друзья, любили друг друга. Да и что тут удивительного? Я был знаком еще с ее мужем. И не только знаком, но и дружил. Я не говорю, что мы были друзьями. Я говорю, что мы были дружны. Это — разные вещи: можно дружить, но не быть друзьями, и, наоборот, быть очень близкими друзьями, но не дружить. Таково мое мнение. Вашего мнения я не спрашиваю! Итак, у нас с ее мужем велась дружба, мы играли в преферанс, иной раз в шахматы. Говорят, я первоклассный шахматист. Не хвастаю перед вами! Возможно,

что есть игроки получше меня. Передаю только то, что говорят... Муж ее был человек молодой, способный и развитой, к тому же знающий, очень даже знающий. Самоучка, в гимназии и в университетах не учился; дипломов никаких не получал. Ломаного гроша не стоят все ваши дипломы! Что? Вы не согласны? Не надо! Не стану спорить! Он был богат, очень богат. Хотя я не знаю, что, по-вашему, называется быть богатым. У нас человека, у которого свой дом, свой выезд, да еще прибыльное дело к тому же, принято считать богатым. Мы не шумим, не гремим, до небес не возносимся, двигаемся потихонечку да полегонечку. Так вот. Были у него дела, и жилось ему хорошо. Приходить к ним доставляло большое удовольствие: когда бы ни пожаловали, вы всегда желанный гость. Не то что у других: в первый раз придете, не знают, где и посадить вас; в следующий раз вас принимают уже не так радушно, а в третий раз встретят так холодно, что простудиться можно... Нечего улыбаться: речь идет не о знакомых... Туда, бывало, попадешь, тебя накормят, напоят, примут как родного. Чего больше? Вот к примеру, — прошу извинить меня, — пуговица на жилетке оборвется, ее тут же пришьют! Смеетесь? По-вашему, это смешно. Пуговица! Что такое пуговица? Пуговица, друг мой, для нашего брата холостяка — великое дело! Целый мир! Из-за пуговицы однажды скверная история приключилась: молодой человек пришел на смотрины, а ему кто-то с усмешкой показал, что у него пуговицы не хватает... А тот вернулся домой и повесился... Однако не задерживаюсь на этом: не люблю припутывать посторонние вещи... А жили они — муж и жена — как голубки. Уважали друг друга гораздо больше, чем многие из нынешних, даже из самых что ни на есть «высокопоставленных». Я никого задевать не собираюсь. А если вы другого мнения, меня это ничуть не трогает. Итак, продолжаю свой рассказ.

Однажды Пиня, муж Паи, приехал домой. Слег в постель, прохворал дней пять, а на шестой день нет Пини! Что? Как? Почему? Не спрашивайте! У него чирий на шее вскочил, надо было вскрыть, а его не

вскрыли. Почему? Потому! На то и врачи на белом свете! Привел я к нему двух врачей, и стали они спорить. Один настаивает вскрывать, другой возражает — не надо. А больной тем временем скончался. Что тут скажешь! Подумаешь иной раз, сколько людей они на тот свет отправили, — волосы дыбом встанут. Родную сестру мою отравили! Думаете, дали ей яду? Я ведь не сумасшедший, чтобы говорить такие глупости! Отравили — значит, не дали того, что нужно. Дали бы ей вовремя хинину, она, может, и осталась бы в живых... Не беспокойтесь, я знаю, на чем остановился. Итак, потеряли мы нашего друга Пиню. Как выразить свое горе? Брата, отца родного не так было бы жалко! Шутка ли — Пиня! Точно годы, многие годы жизни отняли у меня. Боль какая! Несчастье какое! А вдова! Осталась с крошечным ребенком на руках, — Розочка, ангел... Единственное наше утешение! Если бы не ребенок, я не знаю, как бы мы все это пережили, — и она и я! Я не женщина и не мать, чтобы ни за что ни про что расхваливать ребенка. Но если уж я говорю, что ребенок был на редкость удачный, — можете поверить мне на слово. Глядишь на него — не наглядишься. Ну, словом, — плод любви двух замечательно красивых людей. Не знаю, кто из них был лучше — он или она? Пиня был красив, Пая была прелестна. Глаза у ребенка были отцовские — голубые. Любили мы этого ребенка оба, но я и сам не знаю, кто больше — она или я? Скажете, как это возможно? Она — мать, а я — чужой? Ничего не значит. Надо смотреть глубже: моя привязанность к дому, жалость к вдове, сочувствие к бедной сиротке, очаровательному ребенку, и то, что я одинок, как пень, — все это вместе взятое и есть то, что вы называете психологией. Не петрушка, а настоящая психология в чистом виде. А может быть, скажете вы, все это потому, что я любил мать? Не отрицаю, очень любил. Знаете, как любил? Мучился, изнывал от любви, но намекнуть ей об этом — ни за что! Ночи напролет, бывало, не спишь, лежишь и думаешь о том, как бы это сказать ей. Встанешь утром, готов, кажется, пойти к ней и прямо заявить: «Да будет вам известно, Пая, так, мол, и так... А дальше — решайте

сами...» Но придешь, а слов-то и нет! Скажете, я трус? Пожалуйста, говорите. Но попытайтесь глубже вникнуть: Пиня был моим другом, я любил его сильней, чем брата. «А Пая? — спросите вы. — Ведь вы, мол, только что сказали, что изнывали по ней?» Вот именно, отвечу я вам, именно потому, что изнывал, именно потому, что мучился, — не мог, не решался! Боюсь, однако, что вы меня не поймете. Конечно, сошлись я на вашу пресловутую «психологию», вы бы, конечно, поняли, а когда рассказываешь просто, без выкрутасов, от чистого сердца, это начинает казаться диким. Впрочем, думайте как вам угодно! Я продолжаю. Ребенок рос. Это, конечно, только так говорится «рос». Ребенок растет, и дерево растет, и редька тоже растет. Разница все-таки. Дождаться, покуда ребенок начнет сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить! Но вот наконец он уже сидит, и стоит, и ходит, и бегает, и разговаривает. А дальше? Не хватало еще, чтобы я, как баба, стал вам перечислять: оспа, корь, зубки и тому подобное! Я не баба, и глупостями занимать вас не стану, и о детских проделках рассказывать не буду. Девочка росла, и выросла, и расцвела — «как нежная роза», сказал бы я, если б захотел изъясняться на языке ваших романистов, которые столько же смыслят в цветении розы, сколько свинья в апельсинах... Они, знаете ли, большие мастера сидеть у себя в кабинете, греть ноги у печки и описывать природу, зеленый лес, бушующее море, песчаные горы, прошлогодний снег, вчерашний день... Противны мне такие писания. С души воротит!.. И не читаю их! А как возьму книжку и вижу, что солнце сияло, что луна прогуливалась по небу, что воздух был напоен ароматом, что птички щебетали, — швыряю книгу на пол. Смеетесь? По-вашему, я психопат? Ну и ладно!

Итак, выросла она, Роза, и воспитание получила надлежащее, как полагается в интеллигентном доме. Мать за этим присматривала, и я малость следил за ее образованием, да что там — не малость, а по-настоящему; можно сказать, почти все свое время отдавал ребенку, заботился, чтобы ее учили, воспитывали лучшие учителя, чтобы она не опаздывала в гимназию,

чтобы играла на рояле, чтоб училась танцевать, — за всем этим следил я, я один. Кто ж еще? И делами вдовы к тому же занимался, не то все ее состояние растащили бы! Ее и так здорово обобрали...

После смерти Пини к вдове ринулись всяческие людишки, благодетели, советчики и стали ее обирать, как полагается... Хорошо, что я вовремя спохватился: «Стоп, машина», — и прибрал к рукам все дела. Она, правда, хотела, чтобы я стал компаньоном, но я решительно отказался. Домов своих не продам и голову себе морочить не стану. Она возражала: не обязательно продавать дома, я и так, мол, могу быть компаньоном. Что же, вы думаете, я на это ответил? Я попросил больше мне таких предложений не делать, потому что в противном случае я рассержусь. «Он, говорю, царство ему небесное, не заслужил того, чтобы я заставил вас платить мне за труды, — а за время, уделяемое вашим делам, говорю, я денег не беру. У меня, говорю, достаточно времени, хоть бейся головой об стенку...» Говорю это я ей, вдове, а она — ни слова. Опустила глаза — и молчок. Если вы что-нибудь соображаете, то вам должно быть понятно, что́ именно я хотел сказать!.. Почему же я прямо не сказал? Не спрашивайте, почему! Стало быть, не пришлось. Могу вас только уверить, что это было так же просто, как вот эту папиросу закурить. Одно лишь слово — и мы сосватаны... Но я подумал: «А Пиня? Ведь мы такими друзьями были!..» Я знаю, что вы хотите сказать: между нами, по-видимому, не столь горячая была любовь... Ошибаетесь. О том, что я по ней изнывал, я уже говорил вам, а о том, что и она — по мне, не хочу рассказывать: подумаете, чего доброго... А впрочем, не все ли мне равно, что вы подумаете? Прикажите-ка лучше подать чаю, а то у меня в горле пересохло.

Итак, уважаемый, на чем мы остановились, не помните? На делах. Ну и дела! На всю жизнь запомню. Мало сказать — эксплуатировали, — вокруг пальца обводили! Погодите радоваться! Не меня — ее! Меня вокруг пальца не обведешь. Знаете почему? Потому что я не дамся. Однако давайся не давайся, ничего не

попишешь, когда сталкиваешься с аферистами, жуликами, бандитами, которые кого хочешь обманут. Они из кожи вон лезли, чтобы отобрать у нас последнее. Но вы можете себе представить, не так-то просто забрать у меня деньги. Они, будьте покойны, достаточно намаялись. Они у меня, черт бы их побрал, кровью харкали, пока удалось им выманить и выкачать, знаете сколько? Сколько смогли! Счастье, что я вовремя спохватился и сказал вдове: «Довольно! Хватит!» И, насколько это было в моих силах, я как ножом отрезал. Тем не менее она здорово погорела. Спросите, как же это я допустил? Хотел бы я посмотреть, как бы вы извернулись при таких обстоятельствах. Возможно, у вас лучше получилось бы. Не спорю. Обо мне, может, скажут: не ахти какой коммерсант! Подумаешь, несчастье какое! Лишь бы не бандит! Думаете, мне это не влетело в копеечку? Но я не собираюсь перед вами хвастать. Я хочу только рассказать, как все складывалось, как все вело к тому, чтобы вдова не осталась вдовой, а я — старым холостяком. Скажи я ей одно слово, одно лишь слово... но этого слова я и не произнес! Почему? В том-то и заковыка. Тут-то и начинается настоящая психология. Новая глава под названием «Роза»!.. Вы только слушайте внимательно, ни слова не упустите, потому что это не выдуманный роман, понимаете ли, — это сама жизнь, подлинная, горячая, трепетная...

Не знаю, какая-то особенная сила таится в душе каждой матери... Чуть девочка из коротких платьиц вырастает, как матери уже не терпится: скорей бы увидеть свою дочь помолвленной. А приметит мать, что вокруг ее дочери увиваются молодые люди, — она волнуется, от радости себя не помнит. В каждом молодом человеке она видит жениха. А что жених этот, может, пустельга, шарлатан, картежник, черт его знает что, — это ее не интересует! Конечно, можете себе представить, пустобрехи и шарлатаны к нам не ходили, потому что, во-первых, Роза была не из тех, что знаются с каждым плясуном, умеющим извиваться, крутиться по паркету, сгибать руку калачиком, шаркать ножкой и отвешивать поклоны. А во-вторых, я

на что? Допущу ли я, чтобы какой-нибудь повеса на три шага приблизился к Розе? Да я бы ему, кажется, все кости переломал! Был я с нею однажды на балу в клубе, среди отменных аристократов, тех, кого вы называете буржуазией... И вот подходит к нам какой-то франт, ручка кренделем, головка набок, на личике медовая улыбочка, шаркает ножкой, этаким визгливым девичьим голоском говорит... Черт его знает, что он наговорил. Пригласил танцевать. Ну и показал же я ему танец! Запомнит он меня! Посмеялись мы потом над злополучным кавалером! С тех пор все кавалеры знали: прежде чем познакомиться с Розой, надо обратиться ко мне, выдержать, если можно так выразиться, экзамен и лишь потом убраться подобру-поздорову. Они меня прозвали цербером, то есть сторожевым псом у входа в рай. Беда какая! А знаете, кто по этому поводу сердился? Мать! «Вы, — говорит она, — отпугиваете людей, не подпускаете близко». — «Каких людей? — спрашиваю я. — Это собаки, говорю, а не люди!» Так случилось раз, и два, и три. Однажды чуть было не кончилось катастрофой. Думаете, мы поссорились? Вы, правда, человек умный, но на сей раз не угадали! Вот послушайте, что было.

Прихожу я однажды к вдове и застаю гостя, молодого человека лет двадцати или тридцати. Есть такие молодые люди, возраст которых никак не определишь. Молодой человек, не отрицаю, оказался очень славным. Бывают такие симпатичные люди — хорошее лицо, хорошие глаза, ни к чему не придерешься. Понравился он мне с первого взгляда. Знаете почему? Потому, что я терпеть не могу людишек с сахарными личиками, с медовыми улыбочками. Ненавижу эти противные существа, которые умильно заглядывают вам в глаза и поддакивают каждому вашему слову: скажите им, что в июле снег выпал или рыба на вербе росла, — они и против этого не возразят... Когда я вижу такое создание, меня так и подмывает, на радость пчелам, вымазать его медом... Хотите знать, как звали этого молодого человека? Что вам до этого? Допустим, его фамилия Шапиро. Удовлетворены? И был он бухгалтером винокуренного завода, и не только бух-

галтером, но и полновластным хозяином; можно сказать, что на заводе он пользовался бо́льшим авторитетом, чем даже сам хозяин. А хозяин, который не доверяет своим подчиненным, недостоин быть хозяином... Можете быть другого мнения на этот счет, — это не так уж важно.

Словом, представили мне молодого человека по фамилии Шапиро, бухгалтера, управляющего, порядочного человека, к тому же замечательного шахматиста. В шахматы он играет не хуже, а, пожалуй, даже лучше меня. Ведь я же вам говорил, что не считаю себя крупным шахматистом. И вот, поди будь пророком и угадай, что здесь завязывается роман, да какой еще роман! Отчаянный! И надо же мне быть таким ослом и не заметить этого с самого начала! Представьте себе, ведь я же собственными руками подливал масла в огонь, всячески расхваливал этого человека, превозносил его до небес! Чтоб они сгорели, эти шахматы, а заодно с ними и все шахматисты на свете! Играли мы с ним, а он тем временем замышлял совсем другое. Я у него брал «королеву», а он у меня Розу отнял! Я давал ему «мат» в десять ходов, а он мне — в три хода, потому что на четвертом ходу, то есть когда он явился в четвертый раз, вдова отозвала меня в сторонку и с особенным огоньком в глазах сообщила мне, что Розочка стала невестой этого самого Шапиро и что она на седьмом небе от счастья. Словом, поздравьте меня, и себя, и нас обоих.

Что со мной сделалось, когда я услышал эту добрую весть, рассказывать не стану. Скажете еще, что я злодей, сумасброд, помешанный? Она, вдова то есть, сказала то же самое. Вначале смеялась, потом раскричалась на меня, а кончилась эта история слезами, истерикой и прочими такими вещами, — словом, конфликт! Лопнул, понимаете ли, волдырь... Мы объяснились и за полчаса наговорили друг другу столько беспощадной правды, сколько не было высказано за все двадцать лет нашего знакомства! Я откровенно заявил ей, что она мой злой гений, что она погубила меня, отняла единственное утешение мое, Розу, и отдала ее другому. На это она мне ответила, что если кто-нибудь

из нас и покушался на душу другого, то это я покушался, понемножку, на протяжении восемнадцати с лишним лет!.. Что это значит, мне вам объяснять незачем, это и дурак поймет. А что я ей на это ответил, я вам рассказывать не стану. Скажу только, что обошелся я с ней не по-джентльменски, можно сказать грубо, очень грубо! Я схватил шапку в охапку и, хлопнув дверью, выбежал как сумасшедший... И дал себе слово не переступать ее порога до конца жизни!.. Ну, что скажете? Ведь вы же человек мыслящий? Что по этому поводу говорит ваша «психология»? Что я должен был сделать — утопиться? Или купить револьвер? Или повеситься на первой осине? Что я не утопился, не застрелился и не повесился, вы, слава богу, сами видите. А что было дальше? Об этом в следующий раз. Ничего с вами не станется, если немного подождете. Я должен идти к моим вдовам. Они ждут меня к обеду.

Вот и все о вдове номер один.

2

Вдова номер два

Почему я заставил вас так долго ждать? Да уж так мне хотелось. Если что-нибудь рассказывать, то, конечно, тогда, когда самому хочется... А что вы не прочь послушать, — это видно: до историй, да еще интересных, — каждый охотник. И правда, чем плохо: я, к примеру, сижу себе после обеда в своей комнате, в своем кресле, с сигарой в зубах, а вы надрываетесь, рассказывая... А что рассказчику, может быть, это крови стоит, так вам до этого что? Только бы интересную историю послушать! Я не вас имею в виду, не пугайтесь! Вы только слушайте внимательно. И хотя то, что я расскажу вам сейчас, не имеет никакого отношения к предыдущей истории, мне все же хочется, чтобы вы помнили то, о чем я рассказал вам в прошлый раз, ибо кое-какая связь между всем этим все-таки есть,

и даже не кое-какая, а большая! А если вы что-нибудь забыли, я вам напомню. В двух словах повторю вам прежнюю историю.

Был у меня товарищ Пиня. Были у него жена Пая и дочка Роза. Товарищ мой помер, а Пая осталась молодой вдовой, я же был ее близким другом, секретарем, братом. Я томился, изнывал по ней. Но сказать ей об этом у меня не хватало духу. Так проходили лучшие годы. Дочь выросла, Роза расцвела, и я потерял покой, окончательно растерялся. Принесла нелегкая молодого человека, бухгалтера Шапиро, неплохо играющего в шахматы, и Роза в него влюбилась. Все, что накипело на сердце, я выместил на матери, поссорился, хлопнул дверью и поклялся, что ноги моей там не будет до конца моей жизни. Ну, довольны?

Теперь, догадываюсь я, вам очень хочется знать: сдержал я слово или нет? Но ведь вы, кажется, «психолог». Скажите, должен был я сдержать свое слово или нет? Молчите? А почему? Потому что сами не знаете... Вот как это произошло.

Всю ночь я шагал по городу как ошалелый, раза три измерил все улицы вдоль и поперек, вернулся домой на рассвете, пересмотрел все свои бумаги, многие порвал — терпеть не могу старые бумаги, — упаковал свои вещи, написал несколько писем знакомым, — друзей и родственников у меня, слава тебе господи, нет, один как пень... Оставил распоряжения относительно моих домов и магазинов и, проделав все это, сел на кровать, склонил голову и думал, думал, думал, пока не наступило утро. Тогда я честь честью умылся, оделся и пошел к моей вдове. Позвонил, вошел, велел подать кофе, стал ожидать, когда вдова проснется. Вдова вскоре встала. Увидев меня, она остановилась на минуту. Глаза у нее припухли, лицо побледнело. Неужели и она всю ночь не спала?

— Как Роза? — спросил я.

В эту минуту в комнату вошла Роза. Свежа, как божий день, хороша, ласкова, приветлива, как ясное солнышко. Увидав меня, она слегка покраснела, потом подошла, погладила меня ручкой по голове, как гладят ребенка, и, заглянув мне в глаза, рассмеялась. Да как,

думаете, рассмеялась? Не так, чтобы вас, упаси господи, обидеть, а так, чтобы вам самому захотелось смеяться, чтобы все, все вокруг, и даже стены, улыбалось. Да, господин мой любезный, этакой силой Роза обладает и по сей день! Я и сейчас за ее смех готов отдать все, что имею. Беда только, что сейчас она уже больше не смеется. Не до смеха ей! Но я не намерен забегать вперед. Люблю, начав что-нибудь, продолжать по порядку.

Итак, по порядку.

Знаете ли вы, что значит выдавать дочь замуж? Нет? Не знаете? Ну, и не приведи господи узнать! Я это на себе испытал. Хоть и чужую дочь выдавал, но испытал. Надолго запомню это. Да и что, скажите на милость, оставалось мне делать, когда моя вдова, Пая то есть, привыкла, чтобы ей все готовенькое домой приносили? А кто в этом виноват, как не я сам? Я приучил их — и мать и дочь — чуть что в доме потребуется, всегда обращаться ко мне. Хоть свет перевернись вверх дном, все должно быть доставлено, и не позднее чем через два часа! Нужны деньги — ко мне. Доктор — ко мне. Кухарка — ко мне. Учитель танцев — ко мне. Платье, ботинки, портной, мясник, перо, крючок — ко мне, ко мне и ко мне! Думаете, я не укорял их: «Что с вами будет? Ведь вы же тряпкой станете!» Говорю, а они смеются. Им все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Всю жизнь так. Есть такие люди на свете. Немного, но есть. И кому должны были попасться такие? Мне! Кому нянчиться с чужими детьми? Мне. Кому терзаться из-за чужих несчастий? Мне. Кому плясать на чужих свадьбах? Мне. Кому плакать на чужих похоронах? Мне. Вы спросите, кто меня принуждает? На это я вам отвечу: а кто велит вам бросаться в огонь — спасать чужое дитя? Кто велит вам морщиться, когда другому больно? Скажете, что вы ни того, ни другого не делаете? Стало быть, вы зверь! А я не зверь, я человек. Я не корчу из себя идеалиста, я простой, обыкновенный человек и старый холостяк к тому же. Хотя ваша «психология» утверждает, что старые холостяки — эгоисты. Впрочем, может, все это и есть своего

рода эгоизм? Что? Не любите копаться, философствовать? Я тоже этого не люблю.

Итак, нужно было выдавать замуж дочь моей вдовы, Розу, и корчить из себя свата. Что еще мне оставалось делать? А так как вы меня уже немного знаете, то вам нетрудно понять, как это мне было по душе! От одного слова «сват» меня тошнит! Зовите меня «человеком», зовите «лакеем», зовите «шутом гороховым», «приказчиком», лишь бы не «сватом»! А вот она, вдова то есть, ужасно рада новому званию: «сватья». Скажешь ей «сватья» — она прямо-таки тает. «Скоро тещей будете!» — говорю ей. А она улыбается: «Дожить бы уж!» Хороша теща! Посмотрели бы на нее в день венчания дочери! Загляденье! Красавица! Не скажешь, что это мать и дочь! Сестры! Залюбовался я на нее, когда дети стояли под венцом. Я думал про себя: «Эх, глупец ты! Пень одинокий! Сейчас для тебя самый подходящий момент... Стоит тебе одно слово сказать, один взгляд бросить — и конец твоему одиночеству... Строишь дом свой... Возделываешь виноградник... Вступаешь в собственный рай... Живешь спокойной жизнью, среди своих близких и любимых... Забудь, забудь о Розе!.. Роза не для тебя... Она тебе в дочери годится... Не обманывай себя... На мать гляди! Скажи ей одно лишь слово, дикарь этакий!.. К ней обратись, ни к кому больше! Чего ты за душу тянешь? Не замечаешь, какими глазами смотрит она на тебя?..»

Размышляя так, я встречаюсь с ее взглядом: я чувствую, что сердце у меня разрывается от жалости к ней... Слышите? От жалости!.. Уже ничего больше, кроме жалости... Раньше, помню, мной владело совсем иное чувство... А теперь — только жалость... А раз жалость, то, может быть, и меня жалко? И, может быть, больше, чем ее? Кто же виноват? Почему она до сих пор молчала? Почему молчит сейчас? Почему же мне надо сказать ей это слово, а не ей — мне?.. Стыдно, скажете вы? Так уж на свете заведено? Начхать мне на ваш свет! Не вижу разницы: «он» ли раньше скажет, «она» ли... Люди — это люди! Раз она молчит, то и я молчу! Вы это назовете упрямством? Амбицией? Дурью? Называйте как угодно! Я вам уже говорил, что мне

это безразлично... Я только изливаю перед вами душу и хочу вместе с вами проанализировать, разобраться, в чем тут загвоздка? Может быть, в том, что мы с Паей никогда и двух минут наедине не оставались? Возле нас всегда было существо, поглощавшее все наше время, все наши мысли и чувства; наши горести и радости все принадлежали кому-то другому, — не нам. Для нас самих ни одной свободной минуты! Черт побери! Оба мы как бы созданы для того, чтобы заботиться о других! Раньше был Пиня. Потом господь помог — родилась Розочка, теперь бог послал новую радость: зятек на иждивении! Зятек, однако, был на редкость удачный. Такого зятя мог бы себе пожелать каждый. Вы отлично знаете, я не из тех, что сразу приходят в восторг, и не имею привычки превозносить кого бы то ни было. Пустых слов, дифирамбов, притворных комплиментов я не расточаю. Скажу вам только, что слово «ангел» в данном случае прозвучало бы оскорблением. Понятно? Если существует небо, и если ангелы витают в нем, и если те ангелы не хуже вот этого Шапиро, тогда, уверяю вас, стоит умереть и быть лучше с ними, чем с двуногими животными, снующими под божьими небесами и оскверняющими землю. Вы скажете — я мизантроп, человеконенавистник. Если бы люди причинили вам то, что они причинили нам, если бы они поступили с вами так же, как с нами, вы стали бы не только мизантропом, но и злодеем. С ножом в руках кидались бы на людей, резали бы их, как овец! Кстати: что это у вас за манера заставлять человека говорить часами, даже не спросив, не хочет ли он стакан воды? Велите подать чаю!

Итак, на чем же мы остановились? На нашей радости, на нашем зяте Шапиро.

Кажется, я вам уже говорил, что он был главным управляющим на винокуренном заводе, и не только управляющим, но и полным хозяином всего предприятия. Все было в его руках. Владельцы питали к нему безграничное доверие, и любили они его, как родного сына. На свадьбе хозяева — два компаньона (воры, каких мало, — да простят они мне, — оба они уже по ту сторону, в Америке) — держали себя как близкие

родственники. Они преподнесли жениху ящик с разными серебряными вещицами и вообще были щедры и любезны, как истые филантропы. А я, знаете, не люблю филантропов, да еще хозяев-филантропов, когда они заявляются на торжество и демонстрируют свою филантропию, чтобы все видели и знали, что вот они — хозяева-филантропы, умеющие ценить «человека»!.. А что, если благодаря именно этому человеку они разбогатели? А что, если не будь этого человека, они, быть может, не стали бы ни хозяевами, ни филантропами?.. Зря улыбаетесь! Я, уважаемый, социалистом не прикидываюсь. Но хозяина-филантропа ненавижу. Что мне за это полагается? А впрочем, сейчас услышите, на что способен хозяин-филантроп. Казалось бы, владеешь, с божьей помощью, предприятием, которое приносит добрых несколько тысяч годового дохода, и в твоем распоряжении человек, на которого можно положиться, ну и спи себе спокойно дома или поезжай за границу и живи в свое удовольствие. Но им этого мало! Они любят делать дела, греметь, трещать — чтобы все видели! Чтобы все слышали!.. Короче говоря, преуспевающие хозяева не довольствовались тем, что владели таким доходным предприятием, которым успешно руководил Шапиро. Затевая новые дела, они чем дальше, тем больше влезали в «торги», в «откупа», в куплю и продажу пшеницы, отрубей и, наконец, домов... В общем, дела вихрем закружились, завертелись... Почва из-под ног ускользнула и... все пошло прахом. Втянув в свои аферы нашего Шапиро, они опутали его векселями, а сами успели захватить всю наличность и укатили в Америку. Похоже, что у них там, как американцы говорят, все «олл райт», а его, Шапиро то есть, оставили по уши в долгах, связали по рукам и ногам обязательствами и расписками. Словом, разразился большой скандал, дошло до того, что никто и смотреть не захотел, «человек» он или хозяин, — пусть, мол, платит по векселям, а так как платить ему нечем, то он банкрот! Но он не может доказать, что банкротство вызвано несчастным случаем. А такой человек считается у нас, как вам известно, а может быть и неизвестно, «злостным банкротом», то

есть он негодяй, а банкрота-негодяя сажают в тюрьму, таких у нас не любят. Можете десять раз обанкротиться, десять раз повторить то же самое, но если все это проделано ловко и гладко, как полагается, то вы всему свету покажете, извините за выражение, кукиш, да еще купите себе дом со всеми онерами. Вы снова порядочный человек: выгодно выдаете замуж или жените своих детей, с вашим мнением считаются в городе, вы командуете, распоряжаетесь, метите в великие мира сего, в воротилы, которые всех за нос водят... Вам начинает казаться, что вы и в самом деле бог весть кто, пыжитесь, как индюк, людей не узнаете и убеждаете себя в том, что вам сам черт не брат! Извините, вы понимаете, что я не вас имею в виду... Словом, к чему все эти разговоры? Шапиро не смог вытерпеть позора, да и душа у него болела за обездоленных вдов и сирот (его хозяева никого не щадили, брали, где только можно было), и он отравился!..

Думаю, что вам неинтересно, как и чем он отравился? И какое письмо он оставил мне. И что он мне говорил. И как прощался с Розой. И с матерью и со мной. Все это сантименты, которыми пользуются романисты, чтобы выжать из глупого читателя слезу. Скажу вам в нескольких словах: не себя этот человек отравил, — он отравил всех нас! Горе наше было беспредельно, боль так глубока, что у всех у нас даже слезы высохли. Мы застыли, окаменели, замерли, мы были бы счастливейшими из счастливых, если бы явился кто-нибудь и отрубил всем нам головы!.. Можете говорить что угодно, но я ненавижу всех тех, которые выражают соболезнование. Их притворно-печальные физиономии, на каждой из которых написано: «Слава богу, что не я...», их бездушные слова, лишенные всякого смысла, фальшивые восхваления, невнятное бормотанье себе под нос вместо обычного прощания при уходе... Чего уж больше? Даже книга Иова *, в которую, как это принято в таких случаях, каждый невежда заглядывает, хоть ни черта в ней не смыслит, — и та мне противна! Кощунство, скажете? Это, по-вашему, кощунство? Ну, а подставить ножку ни в чем не повинному человеку, принуждать его подписы-

вать векселя, а самому с деньгами удрать в Америку, оставить «доверенного» человека в безвыходном положении и тем самым толкнуть его на самоубийство, бросить на произвол судьбы три невинных души, загубить их, — это вы как назовете? Какое вы этому имя придумаете? Это ли не кощунство? И сам господь бог, скажете вы, здесь тоже ни при чем? Ибо как можно роптать на бога? А вы посмотрите, что по этому поводу говорит тот самый святой Иов, в книгу которого люди заглядывают, но ни слова не понимают. Молчите? Я тоже молчу, потому что разговаривать можно до хрипоты, — все равно никто не ответит! Будете жевать и пережевывать все те же приевшиеся слова: «Господь дал, господь и взял», да при том и останетесь... Что вы говорите? Философствовать — значит, жевать солому? Я то же самое говорю.

Итак, возвращаюсь к вдове... Впрочем, что я говорю — к вдове? К двум моим вдовам! Роза тоже вдова! Ха-ха-ха! Это очень грустно, это оскорбительно, это противоречит всем законам природы... Что же остается, как не смеяться горьким смехом! Роза — вдова! Посмотрели бы вы на нее: Роза — вдова! Но вдова — это еще не все! Роза — мать! У Розы — ребенок! Через три месяца после смерти Шапиро послышался голосок новорожденной девочки. Им заполнился весь дом. Назвали ее Фейгеле — и властительницей всего дома стала одна только Фейгеле, все делалось ради одной только Фейгеле, и где бы вы ни стояли, и где бы вы ни сидели, и что бы вы ни делали, всюду вы слышали только Фейгеле, Фейгеле, Фейгеле. Будь я верующим, верь я в провидение, как вы это называете, я бы сказал, что господь бог вознаградил нас за все наши страдания и ниспослал нам утешение. Но вы знаете, что я не шибко верующий, да и на ваш счет крепко сомневаюсь... Что? Хотите убедить меня, что вы веруете? На здоровье! Никаких претензий к вам не имею, лишь бы вы сами были убеждены в том, что вы не ханжа и не лицемер. Терпеть не могу ханжей и лицемеров, как правоверный еврей — свинину! Будьте набожны, как десять тысяч чертей, но только по-честному! Но если вы лицемер, ханжа, прикидываю-

щийся фанатиком, то вы мне нужны, как пятое колесо телеге! Такой уж я человек!

Итак, кто же у нас на очереди? Фейгеле! С первой минуты, как только Фейгеле появилась на свет, все словно ожило, все и вся улыбалось и радовалось. Лица засияли, глаза засветились и заблестели. Мы все как бы заново родились вместе с этим ребенком. Роза, на лице у которой столько времени не появлялось улыбки, и та снова начала смеяться своим прежним заразительным смехом, заставляющим вас смеяться даже тогда, когда плакать хочется.

Вот что с нами сделала крошечная Фейгеле, когда она раскрыла свои, как нам показалось, понимающие глазки и стала разглядывать нас троих. А уж когда на губках Фейгеле впервые показалась улыбка, обе вдовы чуть не ошалели от восторга.

Они встретили меня так шумно, что я даже испугался.

— Господи! Где вы были одной минутой раньше? — налетели на меня обе вдовы.

— А что такое? Что случилось? — встревожился я и услышал в ответ:

— Помилуйте! Только что, полторы минуты тому назад, Фейгеле улыбнулась в первый раз!

— И это все? — говорю я довольно холодно, а сердце мое радуется не столько, конечно, тому, что Фейгеле улыбнулась, сколько тому, что обе мои вдовы так счастливы. Теперь можете себе представить, что творилось, когда прорезался первый зубок! Это обнаружила, естественно, младшая вдова — мать! Она подозвала старшую вдову, Паю то есть, и обе стали проверять зубик у девочки, осторожно приложив к нему стакан. А когда услыхали, что зубок звякает о стекло, они подняли такой шум, что я прибежал из соседней комнаты ни жив ни мертв.

— Что такое?

— Зубок!

— Вам показалось! — сказал я нарочно, чтобы их немного подразнить. Тогда обе вдовы взяли мой палец и заставили меня нащупать в горячем ротике Фейгеле какой-то острый кончик, нечто вроде зуба.

— Ну? — спрашивают обе и ждут моего подтверждения.

Но я притворяюсь непонятливым. Люблю их подразнить. Переспрашиваю:

— Что «ну»?

— Зубок? Не правда ли?

— Зубок. Чему же еще быть?

И вы, конечно, понимаете, что раз зубок, то, значит, Фейгеле умница, равной которой во всем свете не сыщешь! А раз Фейгеле такая умница, то надо ее целовать до тех пор, пока ребенок не расплачется. Тогда я вырываю ее у них из рук и успокаиваю, потому что ни у кого ребенок так быстро не успокаивается, как у меня, и можно сказать, что ничьих волос Фейгеле не любит так, как мои, и ничьего носа она с таким удовольствием не теребит своими крошечными пальчиками, как мой нос. А ощущать на своем лице эти крошечные пальчики — просто наслаждение! Хочется тысячу раз целовать каждый суставчик этих маленьких бархатных пальчиков! Вы смотрите на меня и думаете: «Бабья душа у этого человека! Иначе он не любил бы так детей...» Угадал, не правда ли? Видите ли, я не знаю, какая у меня душа, но что я люблю маленьких детей — это факт! А кого же и любить, если не маленьких? Взрослых, что ли? Эти гадкие морды, упитанные, с брюшками, вся жизнь которых — вкусный обед, хорошая сигара и преферанс? Или тех прикажете любить, которые кормятся за счет общества, а сами кричат, шумят, трезвонят на весь мир, что единственная их цель — общественное благо?.. Или вы хотели бы, чтобы я любил молодых цуциков, которые хотят переделать мир, называют меня «буржуем» и хотят меня заставить продать дома и поделиться с ними во имя какой-то экспроприации? Или, может, прикажете любить откормленных дам, единственный идеал которых жрать, наряжаться в шелка и брильянты, таскаться по театрам и нравиться чужим мужчинам? Или — стриженых старых дев, которых когда-то называли «нигилистками», а сейчас зовут «эсеровками», «кадетками» и тому подобными замечательными именами? Вы говорите, что я старый холостяк, брюзга

и мизантроп и что именно поэтому мне никто не нравится? Ну хотя бы и так, кому от этого легче? Итак, на чем же я остановился? На ребенке, на Фейгеле, на том, как мы ее любили. Всю свою жизнь мы отдавали ребенку, — все трое, — потому что ребенок этот скрашивал наше существование, давал нам силы и энергию переносить тяготы глупой и грубой жизни. А для меня лично ребенок этот был источником тайных надежд. Вы легко поймете каких, если вспомните, чем была для меня Роза. Ребенок рос, и с каждым днем в моем сердце расцветала надежда, что кончится наконец мое одиночество и мне тоже когда-нибудь приведется вкусить сладость жизни... И не один я носился с этой мечтой — ту же надежду питала в сердце своем и Пая. И хотя мы никогда об этом не говорили, всем было ясно, как божий день, что так обязательно будет... Вы, пожалуй, спросите, как могут люди понимать друг друга без слов? Но это значит, что вы знаете «психологию», но не знаете людей... Вот я для примера нарисую вам картину, и вы увидите, как люди понимают друг друга с полуслова.

Летняя ночь. Небо исчерчено молочно-белыми полосами. Хотел было сказать: звезды горят, сверкают, мерцают... Но вспомнил, что так в какой-то книжке написано, а я не желаю пережевывать чужие слова. Я говорил вам, что терпеть не могу описаний природы, которые так же похожи на природу, как я на турецкого пашу. Словом, была летняя ночь, одна из тех удивительных, теплых, прекрасных ночей, когда сердце даже самого черствого в мире человека преисполняется поэзией и его тянет куда-то в неведомую даль. Он погружается в священный покой, глядит в опрокинутую синюю чашу, именуемую небом, и чувствует, что небо и земля о чем-то шепчутся, ведут тихую беседу о вечности, о бесконечности, о том, что люди называют божеством...

Ну? Как вам нравится мое описание природы? Не нравится? Ну и не надо! Погодите, это еще не все. Я забыл вам рассказать о жуках — странных, тяжелых, коричневых жуках, которые носятся в темноте, жужжат, гудят, то шлепаясь о стены, об окна, то

падая на землю с полураспластанными крыльями. Не огорчайтесь, пожалуйста, они немного поползают по земле, затем поднимутся, расправят крылья и снова начнут кружить на свету, гудеть, жужжать, снова шлепаться об окна и снова падать на землю... Мы сидим на крылечке, выходящем в сад, все четверо: я, Пая, Роза и Фейгеле. Фейгеле уже большая, осенью ей исполнится четыре года, а разговаривает она как взрослая. И все время задает вопросы. Тысячи вопросов! Почему небо — небо, а земля — земля? Когда бывает день и когда ночь? Почему ночью — ночь, а днем — день? Почему мама называет бабушку «мамой», а бабуся маму называет не «мама», а Роза? Почему я ей дядя, а не папа? Почему дядя смотрит на бабусю, а бабуся на маму, и почему мама так покраснела?.. Это, конечно, вызывает общий смех. Фейгеле спрашивает, почему мы смеемся, а мы еще громче заливаемся, и кончается все это тем, что мы трое переглядываемся, отлично понимая, что означает наш взгляд. Слов не надо. Слова ни к чему. Слова созданы только для болтунов, для женщин и адвокатов. Или, как выразился однажды Бисмарк *, слова нам даны для того, чтобы скрывать наши мысли. Ведь вот звери, птицы и прочие создания обходятся без слов! Растет дерево, распускаются почки, пробивается травка, — какой у них язык? Глаза, господин мой любезный, глаза человеческие — великое дело! То, что глаза скажут вам иной раз в одно мгновение, языку и за день не передать. Взгляды, которыми мы с обеими вдовами обменялись в ту ночь, выражали многое, многое. Незабываемые взгляды — поэма нашей жизни, если хотите, песнь, печальная песнь о трех потерянных жизнях, о трех искалеченных душах, которым будничная жизнь, сутолока помешала пить из источника, именуемого счастьем, вкусить от родника, называемого любовью... Слово «любовь» вырвалось у меня нечаянно. Поверьте, меня так и воротит от него. Почему? Потому, что ваши писатели чересчур часто пользуются этим священным словом, оно становится у них слишком будничным. Слово «любовь» в устах ваших писателей — кощунство. Слово «любовь» должно звучать как молитва

всевышнему или как мелодия без слов, песнь чистой поэзии, хотя бы и без таких рифм, как бежать — покупать, хапать — лапать, гнаться — драться и тому подобных, при чтении которых мне кажется, что я глотаю горох и закусываю бумагой... Примеры мои, может быть, вам и не нравятся, но потерпите немножко. Сейчас я закончу историю о вдове номер два, потому что терпеть не могу, когда зевают... Скажите, не случалось ли с вами такого: нестерпимо болит зуб, его во что бы то ни стало надо удалить, а вы откладываете со дня на день визит к врачу. Наконец вы набрались духу и отправились. Приходите и читаете на дверях табличку: «Зубной врач такой-то принимает от 8 до 1 и от 1 до 8»... Смотрите на часы и думаете про себя: «От восьми до часу и от часу до восьми? Куда же мне торопиться?»

Возвращаетесь домой и опять мечетесь от боли... То же самое было со мной и с Розой. Каждый день я утром выходил из дому с твердым намерением — сегодня же объясниться без всяких отговорок! Сначала переговорю с вдовой номер один, с матерью то есть, так, мол, и так... Она чуть покраснеет, опустит глаза и скажет: «Я не возражаю, переговорите с Розой...» Тогда я пойду от вдовы номер один к вдове номер два и скажу ей: «Послушай, Роза, так, мол, и так...» И вот прихожу к моим вдовам, а навстречу мне выбегает Фейгеле, бросается ко мне на руки, обнимает за шею, целует в очки и просит, чтобы «сегодня, непременно сегодня, я сказал мамочке и бабусе, — меня они послушаются, — чтобы ей разрешили не учиться, не играть, не танцевать, а пойти с дядей в зоологический парк! Привезли туда, — говорит она, — таких обезьян, таких обезьян, что можно со смеху лопнуть!..» Ну вот, попробуйте откажитесь пойти с ребенком в зоологический парк смотреть смешных обезьян.

«Что станется с этим ребенком?» — ворчит вдова номер один. «Окончательно испортит ребенка», — подтверждает вдова номер два.

А дядя не обращает внимания на упреки и недовольство обеих вдов: он отправляется с ребенком в парк знакомиться с уморительными обезьянами...

И так вот каждый раз какая-нибудь другая причина. День проходит за днем, неделя за неделей, год за годом, ребенок растет, начинает понимать такие вещи, о которых говорить не полагается, и мы втроем приходим к молчаливому соглашению, что надо выждать, ребенок вырастет, а там видно будет. Когда Фейгеле станет взрослой, найдет себе жениха, тогда, мол, у нас развяжутся руки и мы перестроим нашу жизнь, заново возведем наш дом. И каждый про себя строит планы, как мы будем жить все вместе: молодая чета — Фейгеле со своим суженым, старая чета — я и Роза, а вдова-бабушка (Пая) будет властвовать над всеми нами... То-то будет жизнь! Одна беда: как бы дожить до того времени, как дождаться, покуда Фейгеле вырастет, станет взрослой и найдет себе жениха? Но кто живет, тот доживает! Так, кажется, гласит поговорка? Не люблю я шаблонных поговорок! А вы разве любите? Ну и прекрасно. На здоровье! Итак: кто живет, тот доживает! Фейгеле выросла. Стала взрослой и нашла себе жениха, — но вот тут-то и вся загвоздка! Тут-то и начинается «психология», как вы это называете.

Зря вы на часы поглядываете. Я все равно сегодня больше рассказывать не буду. Мне пора: мои вдовы невесть что подумают. А захотите послушать историю вдовы номер три, — ничего с вами не случится, если вы пожалуете ко мне. За полы я вас тащить не стану! Сами придете... До свиданья!

Вот и все о вдове номер два.

3

Вдова номер три

Хорошо, что вы пришли как раз в такое время, когда я дома. То есть дома-то я всегда, но для себя, а не для других. У каждого человека свои привычки. Я, например, привык, чтобы против меня, когда я ем, сидела кошка. Без кошки я и есть не стану. Кис-кис-кис! Как вам нравится моя кошка? Умница! Сама

ничего не возьмет, хоть золото кладите! А шерстка! Как вам нравится ее шерстка! Как вам нравится ее шерстка? Что? Вы не любите кошек? Это вам еще в хедере внушили... Знаем мы эти истории! Не оправдывайтесь. Чай пьете с молоком? Или так? Я пью с молоком... Брысь... Ко всем чертям! Ничего так не любит, как молоко! Масло не тронет, а молоко непременно лизнет.

Вы знаете, я не люблю предисловий, но на сей раз без него не обойдется... Терпеть не могу, когда улыбаются. Смейтесь сколько угодно, только, прошу вас, не улыбайтесь. Вы помните все, что я вам рассказывал? Может, забыли, скажите, не стесняйтесь. Люди покрупнее нас с вами и то, случается, забывают. Боюсь, что придется вкратце повторить все сначала.

У меня был товарищ Пиня, у него была жена Пая, была у них дочь Роза. Товарищ мой умер. Пая осталась вдовой. А я был ей близким другом. Она была мне по сердцу, да и я ей. Но мы об этом не говорили. Так прошли лучшие годы. Тем временем Роза, дочь ее, выросла, и я полюбил ее. Подвернулся молодой человек — Шапиро, хороший бухгалтер и прекрасный шахматист, и Роза в него влюбилась. Тогда я поссорился с ее матерью и ушел с намерением больше туда не являться до конца жизни. Слова своего я не сдержал и тут же, на следующий день, явился снова и по-прежнему оставался близким человеком; справили свадьбу Розы с этим Шапиро, который был полновластным хозяином в делах своих принципалов и даже подписывал за них векселя. Но они разорились и удрали в Америку, а его оставили в долгах. Шапиро покончил с собой, и Роза осталась вдовой. Итак, вот вам две вдовы. И точно так же, как ее мать Пая — вдова номер один, дочь Роза — вдова номер два — осталась с маленьким ребенком Фейгеле, которая родилась через три месяца после смерти Шапиро. И все мы крепко любили эту девочку, целиком посвятили себя ей, и нам было некогда думать о себе и о моем романе с вдовой номер два, с Розой, о романе, который тянулся долго-долго; пусть, мол, Фейгеле подрастет, станет взрослой, а там видно будет. А когда Фейгеле подросла и стала взрослой... Очень

прошу вас, когда я что-нибудь рассказываю, не заглядывать в книгу — противная манера! Прошу вас, внимательно слушайте, что вам рассказывают, потому что тут начинается новая история.

Думайте обо мне что угодно, но ни фанатиком, ни упрямцем я никогда не был. Я всегда шел в ногу с эпохой. Никогда не отставал, не тянул назад, как те, что сетуют на молодое поколение с его новыми стремлениями.

Терпеть не могу этих старых умников с их вечными претензиями: как же это яйца курицу учат? Кто старше — яйцо или курица?.. Глупцы! Именно потому, что яйцо моложе, оно и ценнее! Оно способнее! Умнее! И конечно же, мы, старое поколение, должны хорошенько прислушиваться к тому, что говорят нам молодые, потому что они молоды, свежи, они учатся, исследуют, ищут, находят, открывают. А как же? Так, как вы, что ли, плесенью и мохом поросшие мудрецы, которые сидят над своими древними фолиантами и с места двинуться не желают? Сержусь я, правда, на молодых, на нынешних, за то, что они нас уже и вовсе не признают, ни во что не ставят, говорят не только, что мы ослы, — мы даже не ослы, а попросту ничто. Мы не существуем! Нас нет! Нету — и дело с концом!.. Представьте себе, приходят к нам, то есть к моим вдовам, или, вернее, к нашей Фейгеле, трое молодых цуциков. Студенты они или не студенты — черт их знает! Носят черные рубашки, волос не стригут, кто они такие — не говорят, языки у них острые, а Карл Маркс — у них бог, не Моисей-пророк, а сам бог! Ну что же, — бог так бог! Рук я на себя из-за этого не наложу. Тем более что и сам я не чужд социалистических идеалов, я и сам знаю, что такое капитал, что такое пролетариат, экономическая борьба и тому подобные вещи... А если хотите, то и сам я... Не радуйтесь, не бундовец *, упаси бог, но и не хромоногий сапожник!

Итак, приходят они к нам каждый день, эти три парня, о которых я рассказываю. Одного зовут Финкель, второго — Бомштейн, а третьего — Грузевич. А ходят они к нам, как к себе домой, потому что обе

мои вдовы, и мать и дочь, когда к ним кто-нибудь приходит, не знают куда усадить гостя, готовы душу ему отдать! А тем более такие три сокровища, из которых один несомненно кандидат в женихи для Фейгеле. То есть кандидаты они все трое, но не может же Фейгеле иметь трех женихов, должен же быть кто-нибудь один. Вот и угадай, кто же этот единственный, когда о нем даже заикнуться нельзя, упаси бог! Спрашивать они тоже никого не спрашивают. Да и кого спрашивать? Мать? Но что им мать? Молодая женщина с красивым лицом, да и только. Бабушку? А что для них бабушка? Бабушка для них — это хозяйка, ее обязанность следить за тем, чтобы гостям было что поесть и попить, и не только поесть и попить, но и наесться и напиться... Ну, а обо мне и говорить не приходится. Что я для них? Лишний стул за столом, и больше ничего. Хоть бы словом со мной когда-нибудь перекинулись! Разве что за столом солонку, сахарницу или спичку попросят — и то без слов, без «пожалуйста»; махнут рукой, как глухонемому, или надуют губы, когда вы папиросу закурите, — и все! Иной раз застанут меня одного. Тогда они усаживаются втроем и начинают беседовать. Хоть бы слово мне сказали из вежливости, что ли! Ничего! Как будто нет меня! Ну, а я, вы сами понимаете, и подавно первый не начну с ними разговора, я к ним подлаживаться не стану и угождать им, как иные, льстивыми словечками да сладкими улыбочками не буду. Не родился еще на свет божий человек, перед которым я бы унижался, и не потому, что я гордец... А если, скажем, и гордец... Называйте, как хотите — меня ваше мнение не интересует! Однако я не люблю, когда говорят о себе. Я рассказываю вам об этих троих щелкоперах, что это за звери такие. Однажды я как-то спросил, кто из них играет в шахматы, — надо было вам видеть их лица! Послушали бы вы, как они расхохотались! Казалось бы, что тут такого? Можно быть социалистом и играть в шахматы. Карл Маркс, я думаю, не обиделся бы! А вот поговорите с ними... Впрочем, дело не в них... Меня возмущает она, наша Фейгеле: она смеется с ними заодно! Почему все, что они говорят, для нее «святая святых», будто сам господь

изрек это на горе Синайской? И что это за кумиров нынешняя молодежь себе создала, что за фанатизм такой? Карл Маркс — учитель, а мы его верные последователи. А кроме Маркса, никого больше на свете нет? А где же Кант? * Где Спиноза? * Куда девался Шопенгауэр? * Где Шекспир, Гейне, Шиллер, Спенсер * и еще сотни великих людей, которые тоже, быть может, ненароком умным словом обмолвились? Пусть не столь мудрым, как Карл Маркс, но ведь и глупостей особенных они не болтали. Я, надо вам сказать, не из тех, что позволяют наступать себе на мозоли, я не люблю, когда задирают нос, и поэтому мне иногда нравится делать наперекор. Ты так, а я этак! Ты говоришь одно, а я — другое, и делай со мной что хочешь! Услыхал я однажды их разговор о том, что граф Толстой — ничтожество. Я не принадлежу к горячим приверженцам Толстого, я не поклонник его философии и нового учения о Христе. Но как художник Толстой для меня не ниже Шекспира. Если вы со мной не согласны — пожалуйста! Вы ведь меня знаете... Вот я нарочно приношу книгу Толстого и даю ее Фейгеле почитать. Посмотрели бы вы, с какой гримасой она оттолкнула книгу! В чем дело? Ни Финкель, ни Бомштейн, ни Грузевич Толстого не признают.

Тут уж я не стерпел (я, когда надо, могу и созорничать) и ополчился... на всех троих!..

Ну-ну! Как они вспыхнули! Задень самого святого из святых, его приверженцы спокойней отнеслись бы к этому!

Вмешались в спор обе вдовы, — иначе дошло бы до крупного скандала! Потом, однако, я понял, что сглупил, потому что в конечном счете мне же пришлось перед ними извиняться. А знаете почему? Потому что этого хотела Фейгеле! А когда Фейгеле захочет чего-либо, то ее желание во что бы то ни стало будет исполнено. Вот скажет она сегодня, к примеру, чтобы я этот дом на другое место перенес, значит никаких разговоров быть не может!

Эта девушка меня не только зачаровала — она меня поработила, подавила мою волю, превратила в раба, в автомата. И не только меня, но всех нас она

ошеломила своим замужеством... Избранником ее оказался Грузевич, химик третьего курса, паренек неплохой, то есть звезд с неба не хватал, но ничего! Бывает и хуже! Во-первых, он был из порядочной семьи. Это весьма существенно. Говорите что хотите, но это само по себе не лишено смысла. Успокойтесь, я не о знатности говорю. Я указываю только на то, что происхождение тоже кое-что да значит. Если вы происхождения сомнительного, скажем — из невежественной семьи, то будь вы образованны, как сам творец мирозданья, все равно останетесь грубияном. Об остальных достоинствах Грузевича я не говорю. А вообще эти ребята, надо правду сказать, покуда держатся своего — и честны по-настоящему, и порядочны, и благородны. Но как только выбьются в люди и становятся «бывшими», их не узнаешь, они, эти самые «бывшие», в тысячу раз хуже простого смертного! Потому что простой смертный, если вас одурачит, постарается скрыться, а «бывший», если обжулит вас, то приведет тысячу доказательств, что жулик вы, а не он...

Однако не будем терять времени на пустую философию! Наша Фейгеле стала госпожой Грузевич в семнадцать лет, и я не стану забивать вам голову подробностями о том, какая это была свадьба, кто эту свадьбу справлял, кому это стоило денег и какая была радость в нашем доме. Мать, Роза, дождалась — повела к венцу свою единственную дочь, бабушка Пая была счастлива — внучку замуж выдала! А я, дурак... Я-то чему так радовался? Младшенькую замуж выдал?.. Впрочем, радость продолжалась всего-то от субботы до воскресенья. На третий день после венчания нашего Грузевича кое-куда пригласили по пустяковому делу: где-то был обнаружен склад бомб и динамита, а так как парень был химиком, да еще выдающимся к тому же, то подозрение пало на него. Кстати, нашли несколько его писем... Словом, забрали и увели...

Вот тут-то и началась для меня работа — беготня, хлопоты, взятки... И все напрасно! Уж раз попался, да еще по такому делу, прости-прощай! А видеть горе семнадцатилетней Фейгеле! А страдания матери—Розы!

А бабушки Паи! Гнев божий обрушился на этот дом! К тому же, надо вам знать, и дела пошли неважно, в кармане начало таять, я стал комбинировать, дома свои заложил. Но деньги ушли, пришлось магазины продать... Я вам не о ловкости своей говорю и не хвастаю перед вами. Я только хочу дать вам характеристику моих вдов: хоть бы поинтересовались, на какие средства живут, откуда деньги берутся, как будут жить дальше? Ничуть — это их не касается! Я должен заботиться обо всем! Я должен обо всем думать. Напрягать все свои силы! Кто мне велит? А я знаю? Наконец, что бы вы стали делать на моем месте с людьми, о которых не знаешь, кто из них лучше? Ни обижаться, ни сердиться, ни досадовать на них невозможно. А если и закрадется в сердце недоброе чувство и вы уйдете домой насупившись, то стоит вам прийти снова и встретиться с ними взглядом, услышать от них первое слово, как все это испарится и вы мгновенно забудете, что еще совсем недавно были настроены против них. И опять вы готовы ринуться ради них в огонь и воду. Вот такие это создания! Ну, что поделаешь? А уж о Фейгеле и говорить не приходится. Она точно магнитом притягивает. Достаточно ей взглянуть на вас своими прекрасными, глубокими близорукими глазами, чтобы черт побрал вашу душу!.. Вы меня простите, я говорю это не вам, а самому себе, потому что она меня окончательно с ума свела своей свадьбой с этим Грузевичем. Мишей звали его. И весь дом заполнил он собой. Только о нем и слышишь, только о нем и говорят, только о нем и заботятся. Никто не должен есть, никто не должен спать, никто не должен жить. Что такое? Миша! Забрали Мишу! Посадили Мишу! Будут судить Мишу! Надо спасать Мишу! Но не тут-то было. Как его спасать? К нему никого не допускают. Ни меня, ни ее — никого! Я понял, что дело пахнет «матерью сырой землей», что в лучшем случае ему грозит вечная каторга, если не повешение!.. Вам, вижу, тут не сидится, пересядьте вот сюда, к окну. А может быть, я вам немного наскучил? Невелика беда. Я больше вашего терплю. Вам-то что? Выслушаете мою историю (я сейчас кончаю) и пойдете

домой, а для меня — это тяжкое бремя на всю жизнь.

На чем бишь мы остановились? На приговоре: присудили к повешению. Вы, наверно, не раз читали в газетах, что вот сегодня там-то и там-то повесили двоих, а вчера там-то и там-то — троих. Нынче что вешать людей, что резать кур — одно и то же. А вы в это время что делаете? Покачиваетесь в кресле и курите ароматную гаванскую сигару, либо пьете в это время чашку вкусного кофе со свежими булочками с маслом. А то, что там висит человек, то, что в последних судорогах, в предсмертной агонии дергается знакомый, близкий вам, родной человек, который еще совсем недавно был полон жизни, полон сил, как вы сейчас? А то, что там лежит еще не остывшее тело человека, которого палачи лишили жизни? А то, что там мучается человек, который хотел бы поскорее умереть, а смерть нейдет, потому что палач плохо затянул веревку или она, не выдержав тяжести тела, оборвалась, и человек упал ни жив ни мертв и взглядом угасающих глаз молит поскорее покончить с ним?.. Что? Не любите, когда об этом говорят? Вы избалованы. Я так же избалован, как и вы. И представьте себе, что я побывал, где только можно было, точно знал минуту и секунду его казни, читал потом в газетах о том, как один из троих (повесили всех троих) долго боролся со смертью, потому что он был грузный (это Бомштейн), и его пришлось вешать дважды... Так писали потом в газетах, а мы это читали, то есть не все, — читали об этом только я и Роза: от бабушки и внучки мы эти газеты прятали...

В доме нашем прибавилась еще одна молодая вдова: вдова номер три!.. И на дом опустилась тоска, тихая, мертвая, такая тоска, для выражения которой нет ни красок, ни слов. Такая тоска, которую описать нельзя, потому что описывать — значит осквернять ее. Тоска, которая в изображении кого-либо из ваших писателей прозвучала бы кощунством. Тоска, о которой невозможно, нельзя говорить. Все в прошлом, в воспоминаниях. Три вдовы — три жизни. Не полноценные жизни, а полужизни, и даже не полужизни, а клочья,

обрывки. Каждая из них начиналась так хорошо, так поэтично, сверкнула на мгновение и — погасла!.. О себе я не говорю. Меня нет. То есть я хожу туда каждый день, просиживаю с ними ночи напролет, мы говорим о промелькнувших счастливых днях, вспоминаем разные разности: о моем дорогом друге Пине, о честном и таком благородном Шапиро, о герое Мише Грузевиче, о котором газеты потом писали, что в своей области, в химии, он был гений... Я ухожу от них каждый раз с наболевшим сердцем и сам себя спрашиваю с досадой: почему я так глупо проиграл свою жизнь? Где и когда совершил я первую свою ошибку и когда наконец свершится последняя? Люблю я их всех троих, и дороги они мне все трое, и каждая из них могла быть моей. Может еще и сейчас... И каждой из троих я и мил — и ненужен, и необходим — и навязан. Стоит мне один день не прийти, как разразится скандал, а засижусь лишних полчаса, меня бесцеремонно выпроваживают, попросту предлагают убираться. Ничего не делают, не спросив меня, но если я в чем-нибудь упрекну, скажут, что я во все вмешиваюсь... Я вспыхиваю, убегаю домой, запираюсь у себя со своей кошкой, прислуге наказываю, если будут ко мне звонить, отвечать, что меня нет, что я уехал. Опять принимаюсь за свой дневник, который веду тридцать шесть лет подряд. Интересный дневник, будьте уверены. Веду я его для себя, не для других. Подождет еще ваша литература, покуда удостоится такой книги! Вам я, может быть, когда-нибудь и покажу этот дневник, другим — ни за какие блага...

Однако не проходит и получаса, как ко мне стучатся.

«Кто там?» — «Девушка от вдов пришла звать вас к обеду. Что сказать?» — «Скажите, что сейчас приду».

Ну, что вы теперь скажете, господин мой любезный? Как насчет вашей «психологии»?.. Торопитесь уходить? Идемте, я с вами. Мне надо к моим трем вдовам. Одну минуту, скажу только, чтобы кошке дали поесть, а то я там, чего доброго, засижусь до утра. Мы играем в «ералаш», иногда в преферанс. Играем на

деньги. И каждому хочется выиграть! А сделает кто-либо неудачный ход — пощады нет ни мне от них, ни им от меня. Всякий неправильный ход, когда в карты играем, меня в ярость приводит: я готов уничтожить того, кто промахнулся.

Ну, что означает ваша улыбка? Поверьте, знаю, о чем вы сейчас думаете. Я ведь вас насквозь вижу. Но мне наплевать. Вы сейчас думаете обо мне: «Старый, старый холостяк, брюзга...»

Вот и вся история о трех вдовах.

С РИВЬЕРЫ

Вы спрашиваете меня, что такое Ривьера? Лучше бы вам ее не знать, как я раньше не знал. Но вы все же хотите знать, что такое Ривьера? Я вам объясню это в двух словах: гони монету! Ривьера — это такое местечко в Италии, которое врачи выдумали специально для того, чтобы выкачивать деньги из народа. Небо, видите ли, там всегда ясное. Небо, собственно, такое же, как у нас, только что море докучает — беда! Волнуется, шумит, — голова кругом идет, а вы, знай, платите деньги! За что, спрашивается? Ни за что, ну прямо-таки ни за что. Разве лишь за то, что ты осел и дал уговорить себя поехать на Ривьеру, — вот и плати за это деньги! И вы платите. Попробуйте-ка ухитритесь и не платите! Вы думаете, с вас там насильно сдерут, ругать вас будут, шельмовать? Упаси бог! Там по-хорошему из вас душу вытянут, с поцелуями. Одно достоинство у этой Ривьеры — это у нее не отнимешь — тепло. А когда тепло, говорят, кашель легче. А тепло там постоянно, круглый год. И зимой и летом. Вы спросите, почему так? Очень просто, солнце греет, вот и тепло. Ну и что из того? У нас, если хорошенько протопить печь, тоже не холодно. Они, правда, говорят еще — воздух. Воздух там и в самом деле хороший. Недурно пахнет. Будто духи там такие. Собственно, не воздух там пахнет, пахнут апельсины. Там апельсины

растут. Но стоит ли из-за этого забираться так далеко? Воздух, по-моему, всюду есть, а апельсины и у нас продаются. Доктора, однако, говорят, что воздух воздуху рознь. Воздух, который пахнет духами, лечит. Так говорят они, доктора значит. Но мало ли что говорят доктора! Они и о море говорят, которое там, на Ривьере, будто оно все болезни вытягивает. Может быть, оно у кого-то и вытягивает болезни, это самое море, но что касается меня, то оно вытянуло у меня все, что я имел, до последнего гроша. Не столько море, сколько доктора.

Бог наградил меня на Ривьере доктором, как вам сказать, ну-ну! То есть вообще-то он очень милый человек, еврей, и настоящий еврей! По-еврейски говорит, как мы с вами, да еще похлеще: сладко, ладно, кругло — одно удовольствие слушать его. Но и деньги выкачивать он мастер, ох и мастер же! Из меня-то, положим, много не выкачаешь, не на того напали. Я, видите ли, решил до последней минуты не вдаваться в подробности. Я сразу смекнул, с кем имею дело, но притворился, что ничего не понимаю. Хочешь качать — качай! Пришел я к нему в первый раз, и он стал меня расспрашивать да ощупывать, выстукивать молоточками и стукалками, выслушивать трубками длинными и круглыми, а потом велел на следующий день снова прийти. «Простите, господин доктор,— говорю я ему,— я не знаю местных обычаев, сколько вам следует за визит?» — «Об этом после», — и смотрит на меня сквозь очки, а руки держит в карманах. Я и подумал: «Что ж, хочешь после, пусть будет после». Прихожу на следующий день — то же самое: выспрашивает, выслушивает, выстукивает, ощупывает и опять велит прийти на следующий день — он мне что-то вспрыснет. «Простите, господин доктор, сколько вам следует?» А он отвечает: «Потом». Потом так потом. Прихожу на следующий день, он что-то в меня вспрыскивает и велит прийти завтра — он мне сделает массаж. Прихожу на следующий день, чтобы он мне сделал массаж, и он мне делает массаж, то есть втирает в меня то, что вчера вспрыснул, — как это иначе можно понять? — и велит прийти завтра, он мне снова вспрыс-

нет. Я его спрашиваю: «Сколько вам следует?» А он отвечает: «Потом». Потом так потом. И так все время: один день вспрыскивание, второй день — втирание вспрыскивания. Мне эти штучки с самого начала не понравились. Хочешь дважды меня выпороть, что ж, пори, но зачем же так растягивать? Где это сказано, что для вспрыскивания требуется особый день, а для втирания вспрыскивания — опять-таки день? Казалось бы, вернее сделать то и другое разом. Ведь это яснее ясного: вспрыснул и тут же втер вспрыскивание. Так в чем же дело, зачем такие церемонии? Значит, деньги хочешь выкачивать? Так это надо понимать? Ну что ж, качай! А что, если не качается? Может быть, из меня и выкачивать нечего? Ты же меня не знаешь и не ведаешь! Ты у меня в кармане был, что ли, деньги мои считал?

Так оно и случилось. Прошел месяц, и доктор прислал мне по почте счет, от которого у меня потемнело в глазах. За каждое вспрыскивание, видите ли, он велит заплатить ему десять франков — на Ривьере деньги выкачивают франками. А за каждое втирание того же вспрыскивания — еще пять франков. Вот это счет! Если так лечиться, можно и без штанов остаться! Я и подумал: как быть? Торговаться с ним? Это я еще успею. Раз он денег пока не требует, этот умник, то и мне не к спеху. И я продолжаю ходить к нему попрежнему: я хожу, а он вспрыскивает, я хожу, а он меня трет. Не успел я оглянуться — и зима прошла. Пурим уже на носу, пора собираться домой. Тем более что чувствую я себя, слава богу, ничего, совсем даже неплохо, можно сказать, правды не скроешь, дай бог и впредь не хуже, а хорошему и предела нет. Пора, видно, распрощаться с моим доктором-умником и поехать домой. Прихожу я к доктору и говорю ему: «Так, мол, и так, господин доктор, собираюсь домой». — «Что ж, счастливого пути!» — «Ну, а как со счетом? Ведь надо наконец с вами рассчитаться или нет?» А доктор смотрит на меня сквозь очки, не вынимая рук из карманов, и говорит: «Ну?» За чем, значит, дело стало? А я говорю: «Простите, господин доктор, если у вас есть время, я бы хотел прежде, чем

рассчитаться, рассказать вам одну историю...» — «Времени у меня нет, — отвечает доктор, — но если история не очень длинная, рассказывайте». Я сел и рассказал ему такую историю:

«Я, как видите, человек, слава богу, не хуже других. И дети у меня тоже есть, пятеро детей, — дай им бог здоровья, и все — сыновья. Четверо из них славные ребята, удачные, только один, не при вас будь сказано, уж и не знаю какой. Не захотел учиться — и все тут, неудачное, говорю, дитя. Наказывал я его, колотил, хотел выбить из него дурь, но ничего мне не помогло. Неудачное дитя. Как же быть? А моя старуха и говорит: «Сделай из него мастерового!»— «Мастерового? Да ты с ума сошла!» — «А если ты его убьешь, лучше будет?» — отвечает она. Как ни верти, а старуха, вижу я, дело говорит. И я отправляюсь к ремесленнику, к самому лучшему портному в нашем городе и уславливаюсь с ним на три года за три сотни: «Нате вам это сокровище и сделайте мне из него мастерового...» И мы обменялись с портным расписками, где черным по белому было сказано, что портной обязуется в течение трех лет обучать моего сына портняжному делу, а я обязуюсь уплатить ему за это триста рублей. Прошел год, и портной явился. Получил первую сотню и честь честью расписался. Прошел второй год — мой портной снова пришел, получил вторую сотню, расписался, — все, как полагается. Прошел третий год — нет портного. Жду неделю, жду две — нет как нет. Что такое? Отправляюсь я к портному и говорю: «Господин портной, почему вы не пришли за третьей сотней?» А он отвечает: «Потому что мне не причитается». — «Как так?» — «Очень просто. Наше портняжное мастерство состоит из трех составных частей: *во-первых,* портной должен знать свое дело; *во-вторых,* он должен уметь при случае отхватить лишний кусок материи для себя. Называйте это как угодно, можете назвать это воровством, если хотите. А *в-третьих,* — говорит он, — портной должен уметь выпить, то есть опрокинуть стаканчик по большим праздникам. Так вот, по двум пунктам, — говорит он, — ваш сын законченный мастер, то есть он не пло-

хой вор, а по части выпивки он может потягаться с самым отъявленным пьяницей. Мастером, однако, он никогда в жизни не будет. За что ж мне следует третья сотня?..»

Выслушал меня доктор и спрашивает: «К чему, собственно, вы мне это рассказали?» — «К тому, — говорю я, — что ваше дело, докторское, значит, как и всякое дело, тоже состоит из трех частей: *во-первых,* надо быть хорошим доктором; *во-вторых,* надо иметь совесть; *в-третьих,* доктор должен уметь делать деньги. Который из первых *двух* пунктов у вас перевешивает, я, говорю, не знаю, но по *составлению счетов* вы мастер, такое бы мне счастье. А теперь, говорю, давайте торговаться: ваш товар, мои деньги...»

Разумеется, ему пришлось уступить не меньше, чем две трети, и врагу не пожелаю столько болезней, сколько денег я у него выторговал. Но он и того не стоит, поверьте. Если бы я просто так сидел дома сложа руки и если бы мне было суждено, я бы все равно выздоровел. На что мне сдалась Ривьера?

ГИТЛ ПУРИШКЕВИЧ

*История о том, как вдова по имени Гитл, торгующая чаем Высоцкого *, после трехлетних хлопот в III Государственной думе в конце концов спасла своего единственного сына от военной службы, отдала целое воинское присутствие под суд и за это в своем городе получила прозвище «Пуришкевич». Рассказано единым духом ею самой.*

— Смотри, пожалуйста, сколько народу собралось, — чего не видали?! А ну-ка, разойдитесь, растворитесь, словно соль в воде. Комедий здесь показывать не будут и бабьих сказок про базар на небесах рассказывать не станут. Говорили мне, что есть здесь какой-то Шолом-Алейхем, который пишет. Это вы и есть тот самый Шолом-Алейхем, который пишет? Пишите, пишите, пусть рученька ваша не устанет писать! Весь город опишите сверху донизу. Ничего, они это честно заслужили. А главным образом богачи наши, божьи родственники, что втемяшили себе в голову, будто весь свет только для них и создан. Мы должны трудиться и погибать, а они будут откупаться деньгами от всех горестей и напастей, да еще издеваться над вдовой, которая кормится чаем Высоцкого. Я про-

даю чай Высоцкого всем порядочным домам на выплату и этим добываю кусок хлеба для себя и моего ребенка, единственного сына, которого у меня хотели отнять за чужие грехи. Вот послушайте, что может случиться на белом свете. Мне кажется, с тех пор, как создан мир, не случалось, чтобы забрали единственного сына, кормильца на старости лет, у матери-вдовы, которая только милостью бога, а затем Высоцкого жива на земле. Конечно, все называется жить! Не умирать — тоже значит жить. Что можно иметь от чая, прости господи, при нынешней конкуренции, когда все бедняки стали разносить по домам чай на продажу? Надо, стало быть, конкурировать. Тот скинет десять — я скидываю пятнадцать, тот скинет пятнадцать, а я — двадцать. Но сколько же можно скидывать? Ведь я же не Высоцкий! Не сладко, что и говорить! Вся моя надежда — мой кормилец на старости лет, мой Мойше. Есть у меня единственный сын, наследство от мужа, прости господи! Парень, правда, очень славный, жаловаться на него не могу. Здоровый, красивый, гладкий, со всеми достоинствами, только учиться не хотел. Но что значит не хотел? Хоть ты его топором руби, хоть режь его! «Что же будет, — говорю я Мойше, — ни читать, ни писать, ни молиться ты не хочешь, остается тебе только собак гонять!» Молчит как стена. Тогда я пошла и отдала его учиться ремеслу, к портному, и договорилась с портным, чтобы он научил его портновскому делу. Но так же, как вы видите иголку с ниткой, так и он у этого портного видел иголку с ниткой. День и ночь таскал на руках ребенка, либо помогал жене портного чистить картошку, либо выносил помойное ведро. Разжечь утюг, и то было великим делом. Тогда я пошла, отняла его от портного и отдала к сапожнику. Но налетела на такого злодея, на такого разбойника, который, чуть что не по нем, может швырнуть вам в голову молоток и размозжить череп. Отняла я его от сапожника и отдала к переплетчику, неудачнику, который сидит без дела и работы в глаза не видит. Отняла от переплетчика и отдала к еще большему неудачнику — часовому мастеру, который не чинит, а портит часы. Так говорят все в городе. К чему же мне,

чтобы он сделал моего сына калекой? Отняла от часового мастера и отдала к галунному мастеру, чтобы он научил его своему мастерству, то есть золотошвейному делу, и расписались мы с ним, с галунным мастером, на два года, то есть два года мой сын должен крутить золототканную ленту у него бесплатно, а на третий, когда он обучится делу, сын будет уже кое-что зарабатывать. И бог мне помог, я попала к настоящему мастеру, который хоть и не чурается рюмочки, но выучил моего сына ремеслу гораздо раньше. Работа ему понравилась, и мой Мойше за полгода сделался настоящим галунщиком. Но что толку, когда он должен целых два года работать бесплатно? Расписалась — пропало! Однако господь помог, два года миновали. Правда, это только так говорится: миновали! Если я пережила это время, — я вообще железная. А если пережила, — думаете, это все? Теперь только еще надо найти должность или искать работу галунщика. Но где она, такая работа? Пьяный, что ли, потерял, а трезвый нашел? К тому же я человек одинокий, ношусь по домам со своим фунтом чаю, а конкуренция страшная и один из моих клиентов вдобавок обанкротился: набрал у меня три с половиной фунта чаю, а в одну прекрасную ночь сорвался, удрал, говорят, в Америку, — я бы охотнее дождалась, чтобы его холера забрала! Мне тогда казалось, что весь мир на меня свалился. Шутка ли, три с половиной фунта чаю по два двадцать? И надо помалкивать, потому что, если узнает Высоцкий о том, что я потерпела убыток, это может лишить меня кредита. Что же делает бог? Он говорит: «Гитл, ты плачешь? Погоди, ты еще и не так наплачешься... Вот на тебя надвигается призыв...» Какой призыв? Откуда призыв? Единственный сын у матери-вдовы, которая жива только милостью — сперва господа бога, а потом Высоцкого... Где же это слыхано на белом свете? А где же бог? Где совесть?» Но поди кричи! Когда суждено несчастье, так и мой Мойше должен призываться как раз в один год с тремя внуками нашего богача, от трех дочерей, — три нарыва сели бы у каждой в отдельности на таком месте, чтобы они не могли ни стоять, ни ходить, ни лежать, ни

сидеть. Мне, однако, говорили: «Смотрите, Гитл, как бы ваш Мойше не оказался жертвой вместо внуков нашего богача!» Ха-ха, что значит? У меня единственный сын, единственный кормилец бедной вдовы, которая жива милостью — сперва господа бога, а потом Высоцкого, а тот богач, набит деньгами, миллионщик, — разве что бога, упаси бог, нет на свете! Но — вот она сила денег: начали вводить по одиночке внуков богача... одного ввели — «не годим»! Ввели второго — «не годим»! Может себе представить, каково мне стало? Потому что если и третий окажется «не годим», то горе горькое моему Мойше! И как назло, к моим горестям вдобавок, мой Мойше, не сглазить бы, парень здоровенный, без всякого изъяна, можно сказать богатырь! Правда, и внуки богача тоже не хворы бы идти служить, но их доктор бракует. Увидит молодца из дома богача — «не годим»! И делай с ним что хочешь! Что же, я буду молчать? Я, не дожидаясь, пошла к принцедателю и говорю ему. «Господин барин, две штуки товара нашего богача уже забраковали. Если и дальше будут браковать, дело может дойти до моего Мойше, а мой Мойше у меня единственный кормилец на старости лет...»

А он как обозлится, как вскипит и велит, чтобы меня выбросили из присутствия. И, разумеется, не успели ввести третью штуку товара богача, как доктор уже заявил «не годим!», и уже ввели моего Мойше, и уже его забрили, и он уже дал присягу, и сказали ему уже «налево-направо», гром меня разразил, в Харьковскую губернию и — будь здоров! Что ж, я молчать буду? Пошла к принцедателю и устроила ему веселое утро: богатых детей, мол, будешь браковать, а единственного сына матери-вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий... Где же совесть? Где же бог?.. Он, конечно, велит выбросить эту жидовку. Но жидовка не поленилась и поехала в губернию, прямо к губернатору и — бух ему в ноги: «Господин барин, так, мол, и так: троих внуков богача забраковали, а моего Мойше, единственного сына у бедной вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий, кормильца на старости лет... Где же бог? Где же совесть?»

Выслушал меня губернатор и сказал, чтобы я подала бумагу. А я ему говорю: «Господин барин! На что тебе бумаги? Вот слышишь, я говорю тебе ясно... Пошли проверить, увидишь, — все, что я говорю, — святая правда!»

А он опять: на бумаге, на бумаге!

Тогда я ему говорю: «Дорогой барин! Не бумажная я женщина, доносами я не занимаюсь. Рассказываю тебе только то, что у меня наболело! Богачей бракуют, а бедняков — единственных сыновей забирают! Где же бог? Где совесть?» — «Бог ты мой! — говорит он. — Чего от меня хочет эта женщина?» — «Она хочет, — отвечаю я, — добиться правды, вернуть кормильца! А больше она ничего не хочет. Небо и земля поклялись, чтобы правда всплыла, как масло на воде».

Тут уж губернатор рассердился и велел выбросить эту жидовку. А жидовка не поленилась, продала все, что имела, и поехала искать правду прямо в Петербург. В Петербурге есть министр военных дел, и министр внутренних дел, и синод. А если к царю понадобится, — что ж, я дороги не найду? С правдой можно и до бога дойти. И действительно. Приехала в Петербург, началась канитель с правожительством, стали меня выгонять. Я им говорю, что этого не боюсь, боюсь только бога и царя, а больше никого, потому что иду за правду. Но кушать, пока суд да дело, надо? Душа-то живая! Что же делать? Милостыню просить я не привыкла. Нашла выход. Петербург, решила я, тоже не деревня, везде, слава богу, имеются евреи, а чай Высоцкого знают и в Петербурге, да еще, может быть, больше, чем в другом месте. Все чиновники пьют чай Высоцкого, а так как я имею дело с присутствиями и с чиновниками, то и начала я приносить им чай Высоцкого прямо на дом, давать на выплату и — прежде бог, потом Высоцкий, — зарабатывала не только на свое горькое пропитание, но могла даже и моему Мойше в полк посылать иной раз рубль, иной раз — два. Единственное, с чем было плохо, — это правожительство! Будь у меня правожительство в Петербурге, я была бы прямо

царицей! Но так как имела я горести, а не правожительство, то и было мне горько, прямо-таки до смерти. Дело обстояло так, что меня собирались выслать из Петербурга и по этапу, как бог велел. Но тут всевышний послал мне некую мадам, которая пишет в газетах, дай ей бог долгие годы! Это ангел, а не человек! Кроме того, что она меня выручала изо всех бед, она еще познакомила меня с Пергаментом *. Вы, наверное, слышали о нем? Он был в Думе из тех, что говорят, человек прямо-таки без желчи и красавец, царство ему небесное! Как он старался за меня! Дал мне письмо и еще письмо — все к таким людям, к которым простому человеку и доступа нет. Они меня выслушивали, один отсылал к другому, другой к третьему, каждый раз все выше и выше — и так до самой Думы. И я начала ходить в Думу каждый день, а иной раз и дважды в день и слушала все, что говорили в Думе. А говорят там все, но лучше всех — этот самый Пергамент. Он как начнет говорить, так и стену проймет, камень — и тот не устоит... Шутка ли, Пергамент! Зато и врагов у него в Думе было — что вам сказать! И зложелателей! И крикунов! Как собаки, они нападали на него и устраивали такие скандалы, что я едва могла усидеть наверху (мое место в Думе всегда было наверху). Как вспомню об этом Пергаменте, у меня слезы на глаза набегают. Вы даже представить не можете, какой алмаз, какой брильянт это был! Сказано — ангел, о чем же тут говорить! Все дела свои, всех гостей, бывало, бросит, а меня выслушает, расспросит, что пишет мне мой Мойше! Что ему писать мне? Пишет мне Мойше, что служба идет, слава богу, неплохо, начальство им очень довольно, но донимает его «пидфебель». Пристает с просьбами одолжить ему деньги. Мойше клянется, что у него нет. А тот не верит. Говорит, что у всех евреев есть деньги, были бы у него лихоманка и все казни египетские! Новое несчастье — пидфебель! А он, Пергамент то есть, смеется. Он любил смеяться и шутить. Прихожу однажды к нему, он просит сесть и спрашивает, по своему обыкновению, как мне живется в Петер-

бурге? Я ему отвечаю: «Всем бы выкрестам так жить!»

Он как расхохочется, чуть со стула не упал: «Вы, говорит, наверное, еще не знаете, что я и сам выкрест?» — «Таких выкрестов, как вы, — сказала я, — могло бы быть побольше. А те выкресты, что живут на белом свете, могли бы все передохнуть за один ваш ноготок!»

Он еще сильнее рассмеялся. И вот поди угадай, что такой человек возьмет да и помрет! И так неожиданно! Что вам сказать, дорогой мой друг? Нельзя этого говорить, но мне кажется, что когда мой муж, мир праху его, лежал на земле, я столько слез не пролила, как в тот день, когда мне сказали, что Пергамент умер. Отца родного так не жалеют. Могу вам сказать, что с тех пор, как умер Пергамент, мне опротивел Петербург, и Дума, и весь свет! Был бы жив Пергамент, все было бы по-другому. Ниселович и Фридман * — тоже очень славные люди, — разве можно отрицать? Но Ниселович и Фридман — это не Пергамент! Прихожу к Ниселовичу или к Фридману и плачу, а они мне говорят, что ничем помочь мне не могут, не могут они идти против закона. Я им говорю: где же есть такой закон, чтобы троих байструков богача, мильонщика забраковали, а чтобы за них шел служить единственный сын, кормилец бедной вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий? А ну-ка, говорю, покажите мне такой закон! В Думе, говорю, столько, не сглазить бы, людей, и все говорят, и все кричат, и все ругаются, — почему же не найдется ни одного человека, который заступился бы за бедную вдову, у которой раньше бог, а потом Высоцкий? Молчите? Вам, говорю, нужен Пуришкевич, свой, еврейский Пуришкевич, он бы вам показал, почем фунт лиха! Вот уже скоро три года, как я в Петербурге, верчусь вокруг Думы, а попытался хоть кто-нибудь слово сказать о таком злодействе, о том, что забрали у бедной матери, у которой раньше бог, а потом Высоцкий, единственную опору, кормильца на старости лет? Один раз за все время случилось так, что какой-то бессарабский помещик выступил с речью насчет

воинской повинности. Услыхав «воинская повинность», я было обрадовалась. Вот, подумала я, слава тебе господи! Наконец-то до правды добрались. Давно пора! И что же? Говорят такие глупости, — слушать тошно! Это, думаю, наверное, оттого, что я так шумела, добивалась к министрам — к министру военных дел и к министру внутренних дел! А в конце концов что же оказалось? Чепуха! Послушайте, что он придумал: «Надо, — говорит он, — ввести для евреев особую воинскую повинность, денежную». Понимаете? «Чтобы евреи, — говорит он, — могли откупаться за деньги. Не хочешь служить, давай деньги!..» В таком случае выходит, что это благодеяние опять-таки для богатых, холера бы их забрала! А служить опять-таки будут бедняки и единственные сыновья к тому же? А где же бог? Где совесть? И действительно! Бог совершил чудо, в Думе начался такой шум, крик, — можно было думать, что люди с ума посходили. Больше других, конечно, орудовал Пуришкевич. Этот злодей, — да будет вычеркнуто из памяти имя его, — хотел доказать на словах и свидетельствами, что евреи не служат. Совсем не служат. Нет, говорит он, ни одного еврея на военной службе. Этого я уж не могла выдержать, мне обожгло сердце, и я вскочила: как же так, мой единственный сын, кормилец, служит уже больше трех лет, даже награду имеет, а тут какой-то петух, Пуришкевич, заявляет перед всем миром, перед всеми министрами такие вещи! Могла ли я умолчать? И я как крикну сверху, с галереи то есть, во весь голос, на всю Думу:

— А Мойше?!

. . . .

Хотите знать, что было? Ничего. Меня выгнали честь честью из Думы, отвели в часть и хотели выслать по этапу, как бог велел. Но я им сказала, что высылки я не боюсь, боюсь только бога и царя, а больше никого. Потому что я за правду стою. Я тоже имею отношение к Думе, как и вы. Вы о воинской повинности только языком болтаете, а мой сын, говорю, служит царю, хоть он и единственный сын. Словом,

они во мне не обманулись! Их счастье, что я не осталась в Петербурге на пасху, когда в Думе началась горячка насчет крови, что нам якобы требуется кровь на пасху*. Я бы им показала, кто проливает кровь, мы или они? Но им чертовски повезло: я на пасху поехала домой, потому что из министерства военных дел дали знать, что моего Мойше вернули из полка домой. И похоже, что принцедатель, и доктор, и все присутствие кончат плохо. Всех их отдали под суд. Потому что была ревизия и оказалось, что у них была фабрика белых билетов. И евреи и русские — кто в бога веровал и рубль имел в кармане, — все были «не годим», а бедняки, единственные сыновья, должны были идти служить. Но теперь кончено, нету больше счастливчиков! Нет больше поблажек и произвола. Все теперь будут равны.

Вот я и спрашиваю у вас, — ведь вы же человек пишущий, — скажите сами, заслужила я, чтобы надо мной смеялись, издевались и поминали через каждые два слова? Конечно, хотите смеяться — смейтесь, хоть лопните. Но за что мне приклеили прозвище «Пуришкевич», пропади он пропадом! «Гитл Пуришкевич» прозвали они меня! Хоть бы говорили: «Не будь рядом помянут!» Город пересмешников, пустоголовых дурней, бездельников! Не заслужили они разве, чтобы их описали от мала до велика и с головы до ног? Опишите их, пане Шолом-Алейхем, опишите так, чтобы весь свет знал о них, чтобы ни один не остался неописанным!

ДОКТОРА

Диалог

— Простите, вы не знаете, где живет доктор Файнфинкелькраут?

— А? Как вы сказали? Файнфинфайн...

— Файнфинкелькраут.

— Файнфинкелькраут? Так и говорите. Файнфинкелькраут... Знакомая фамилия... Вам нужно именно к нему или вас устроит и другой доктор? У нас этого добра в избытке. Вот здесь напротив тоже живет доктор, даже два доктора: один настоящий доктор, другой зубной. И вон там, совсем рядом, в третьем доме отсюда, живет доктор, вполне приличный доктор, хоть и молоденький еще совсем, молоко на губах не обсохло, но это ничего, практика у него довольно приличная. У всех наших докторов приличная практика, потому что народ, понимаете ли, хворает, не сглазить бы... Как, вы сказали, зовут его, вашего доктора? Финфайнфин...

— Файнфинкелькраут. Он мне не для себя нужен...

— А для жены? Тогда идите прямо туда, видите? Там живет женский доктор, доктор-акушер, значит. Искусный, говорят, доктор и только по женским болезням... Специалист, ничего не скажешь. Теперь уже всюду так заведено: что ни болезнь, то специальность;

живот — одна специальность, печенка-селезенка — другая специальность, глаза — специальность, нервы — специальность и для детей — свой доктор... И лечение теперь тоже не то, что прежде. Прежде были лекарства, пилюли всякие, порошки, горькие травы; теперь пошла мода на машины, на втирания какие-то, на массажи и ванны, да, на обыкновенные ванны, — доктора теперь стали банщиками, и это для них, пожалуй, самое выгодное занятие... Какая у него специальность, у этого доктора, о котором вы спрашиваете? Кто он такой? Еврей?

— Конечно, еврей. Не христианин же! Вы ведь слышите... Файнфинкелькраут...

— Файнфинкелькраут, вы сказали? Ну да, разумеется, еврей. Раз Файнфинкелькраут — значит, еврей. У нас все доктора по большей части евреи. Хотя сами-то евреи предпочитают обращаться к доктору-христианину; еврей любит, чтобы и адвокат был христианином, и хозяин магазина, и учитель. Еврей за христианина душу отдаст... Как, значит, вы сказали, зовут его, вашего доктора? Файфер?

— Не Файфер, а Файнфинкелькраут. Он мне совсем по другому делу нужен...

— Ага, по поводу призыва, значит, посоветоваться хотите? Понимаю... Что? Не то? Ну, тогда, значит, сватовство. Правда, угадал? Еще бы! А что же еще? Если не призыв, и не болезнь, и даже жена не больна, так остается только сватовство... Если так, то этот ваш, как его, нужен вам, как пятое колесо телеге. Я вам укажу гораздо лучшего доктора. Все зависит от противной стороны, сколько там собираются дать. Чем больше практика, тем больше требуется приданого. А если даже и нет практики, все равно доктор всегда в цене. Самого последнего студентишку, раз он попал в университет, вы по нынешним временам не купите меньше, чем за пять-шесть тысяч. Тем более готового доктора, пусть он будет последний из последних! Вы мне скажите только точно, чего хочет противная сторона.

— Да нет, ничего похожего, совсем не то. Вы ошибаетесь...

— Меня вы не переспорите! Вы только послушайте, что я вам говорю. Если только противная сторона в состоянии хорошо уплатить, это будет то, что вам надо. Ведь какой доктор! Ну, прямо профессор! На все руки мастер: он и по животам, и по нервам, и по зубам, и детей лечит, и операции делает... Что касается женщин, то они самого высокого мнения о нем, потому что он парень хоть куда, рослый, понимаете ли, — одним словом, мужчина! К тому же он еще и сионист, и язычок у него — огонь! Не доктор, а игрушка, говорю вам, чего же больше?

— Да нет, я же вам сказал, что мне...

— А? Так и говорите! Что же вы мне сказки рассказываете? Видите вон тот белый каменный домик?

— Да, а что? Там живет Файнфинкелькраут?

— Там живет не Файнфинкелькраут, там живет Меер Толочинов. Богач. Когда-то был превеликим потомственным бедняком, а теперь дай бог нам с вами столько, не в ущерб ему. Так вот у него доченька, безобразная, как смерть. Но когда бог помогает человеку, то лицо нетрудно и скрасить, только бы деньги, каких-нибудь десять — пятнадцать тысяч карбованцев, и можно разрешить себе взять доктора из самого Киева. То есть окончил он в Киеве, а сам он уманский, родом, значит, из Умани...

— Зачем вы мне все это рассказываете?

— А затем, что вы спрашиваете о...

— О докторе Файнфинкельрауте? Не затем я спрашивал о нем, чтоб сосватать ему невесту, доктор Файнфинкелькраут, видите ли...

— Так бы и сказали! А я думал, что вы... Если так, то послушайте, дайте-ка ваше ухо... Для этого у меня тоже есть специалист, новенький, прямо с иголочки. Недавно открыл кабинет... Наследство поймал, несколько тысяч карбованцев, вот он и сообразил и все деньги ухлопал на машину, сам поехал за ней за границу. Практики у него пока еще нет, но такая бы мне забота о деньгах на субботу, как ему о практике! Будет у него практика, не беспокойтесь, у всех врачей по этим болезням богатейшая практика. Специалисты же... Постойте, чего вы так торо-

питесь? Чего вы удираете? Я еще не кончил. Могу предложить вам еще несколько докторов...

— Но помилуйте, на что мне сдались ваши доктора? Что вы ко мне пристали? Не нужны мне доктора, мне нет дела ни до призыва, ни до невест, ни до специалистов всяких. Я всего лишь приказчик, и доктор Файнфинкелькраут мне нужен совсем по другому делу: нам следует получить с него за дрова... За всю зиму...

— За дрова? Черт возьми! Поймал чужого человека и морочит ему голову! Какой-то Финкелькраут ему понадобился! А может быть, у человека времени нет? Может быть, человек ищет, где бы ему заработать какой-нибудь карбованец — ведь суббота на носу! Я, однако, сразу по лицу вашему узнал, что вы имеете отношение к дровам, дал бы мне так бог счастья на старости лет! Уж эти мне деревянные люди — тьфу!..

МИСТЕР ГРИН НАХОДИТ ЗАНЯТИЕ

Рассказано им самим и передано его языком

— Хау ду ю ду[1], мистер Шолом-Алейхем! Не знаю, узнаете ли вы меня? Мы с вами некоторым образом в троюродном родстве состоим... То есть не с вами, а с вашим Тевье-молочником и его родственником Менахем-Мендлом из Егупца... Ага! Не правда ли, это вам интересно? Вы даже остановились... Постойте же со мной минуточку вот здесь, на тротуаре, поговорим немножко насчет Америки, что это за страна золотая... И не столько об Америке, сколько о ее бизнесе, о том, как здесь сохнут и дохнут в богатстве и чести, покуда бог пошлет настоящий джаб[2], а когда господь помог и вы уже добились настоящего занятия, тогда есть надежда со временем заработать еще, подняться выше, дорасти до этакого Джейкоба Шифа, Нейтана Штрауса или, на худой конец, до Гери Фишла*, — одним словом: стать олл райт... Я пока не могу сказать о себе, что я — олл райт, но джаб, слава богу, я уже имею, и самое приятное в этом занятии то, что я дошел до него сам, собственным своим умом... Однако я вижу, что вам не терпится, вы хотите знать, кто с вами говорит? А если я вам скажу, что говорит мистер Грин, вы будете думать: зеленый? желтый? си-

[1] Здравствуйте *(англ.)*.
[2] Занятие *(англ.)*.

ний? Это все равно, что ничего... Здесь я называюсь Грин, там назывался Гринберг. Откуда я? Из Одессы? Из Одессы... Из Егупца? Из Егупца... Из Касриловки, из Теплика, Шполы, Умани, Бердичева — словом, из тех мест... И торговал я, как все евреи. Крутил, маклерствовал, пока не настало то самое веселое время, пока не выгнали и пока мы не дотащились сюда, в страну Колумба. А тут ели, ели до тех пор, пока последнюю рубашку не проели, и тогда только начали мытарствовать по-настоящему. Никакой работой не брезгали, но ничего не удавалось. Наступил месяц элул. Пришло время осенних праздников, и я увидел, как в газетах рекламируются канторы, синагоги, молельник. В витринах магазинов появились молитвенники — обыкновенные и праздничные, бараньи рога, талесы, а публика, вижу, начала улыбаться богу, льстить ему ради бизнеса... Тогда я подумал и говорю самому себе: «Мистер Грин! До каких пор ты будешь «зеленым»? Надо и тебе поживиться от месяца элула, от десяти покаянных дней!» Но хорошо сказать «поживиться», когда можно поживиться... За что я могу приняться? Сделаться кантором? Но я никогда сапожником не был... Резником? Но мой отец никогда извозчиком не был... Раввином я и подавно не стану, потому что знаю грамоту и понимаю значение слов... Разве что мясником по строго кошерному мясу? Но я и дома никогда не торговал крадеными лошадьми... Углубившись, как ваш Тевье говорит, в такие мысли и рассуждения, я зашел в синагогу... Начало месяца элула, народ молится, читают псалмы... Помолились, тогда один из прихожан говорит: «А кто же нам протрубит в рог?» — «Протрубить? — отзываюсь я. — Разрешите мне...» Вы, пожалуй, спросите, откуда я умею трубить в рог? А дело вот в чем: трубачом я дома действительно не был. И отец мой — тоже. И дед не был. Но,— мальчишки-озорники, мы в праздники, бывало, раздобудем где-нибудь рог и спорта ради трубим в него до тех пор, пока служка не выгонит из синагоги. Короче говоря, я это дело знаю, и, как вы говорите, — раз сказано, что он может, так о чем толковать...

И вот взял я в руки рог, да как протрубил, — сначала с трелями, а потом закончил на одной ноте, протяжным звуком, ну, прямо-таки отсюда до Бруклинского моста! Услыхав такую музыку, прихожане и говорят: «Откуда будете, молодой человек?» — «А не все ли вам равно?» — отвечаю я. «Может быть, останетесь у нас трубить на праздники? — спрашивают они. — Наш трубач умер». — «Если бы это могло меня прокормить, — говорю я, — пожалуй». — «Делать жизнь, — отвечают они, — одним этим трудновато. Разве что вы бы еще что-нибудь делали к тому же...» — «А именно? — спрашиваю. — Что мне еще делать? Быть к тому же кучером? Подметальщиком или дворником?» А они мне: «Коль скоро вы трубач, то есть умеете трубить в рог, мы не можем предложить вам такие грубые работы. Единственное, что мы могли бы вам дать, это «ченс» [1], чтобы вы могли трубить еще в одной синагоге...»

Это заставило меня подумать: коль скоро я буду иметь шанс трубить еще в одной синагоге, то почему же я не могу трубить еще в двух синагогах? А почему не в трех? И я пошел по Даунтаун * из одной синагоги в другую, из одной молельни в другую. Всюду делал пробы, показывал свое искусство, всюду имел величайший успех, потому что, когда я трублю в рог, сбегаются из всех молелен. Меня слушали судьи, конгрессмены, ассамблимены, и все говорили: «Поразительно!» Можете себе представить, в первый год я имел одну синагогу и две молельни. На следующий год — три синагоги и пять молелен. В нынешнем году, если богу будет угодно, у меня намечается чуть ли не дюжина молелен, и я смогу заработать добрых несколько долларов. Вы, пожалуй, спросите, как же может один человек справиться с таким количеством бизнесов? Этого вы не спрашивайте! На то она и Америка! В этой стране кое-как приспособляются. В одном месте я выступаю раньше, в другом — немного позже, в третьем — еще позже. Я делаю все возмож-

---

[1] Возможность *(англ.)*.

ное, чтобы публикум был «сатисфайт»[1], потому что, если я пропущу время, я теряю свой джаб и свою репутейшн.

Вы удивляетесь, мистер Шолом-Алейхем, что я употребляю больше английских слов, чем еврейских? Это из-за детей. Они у меня уже настоящие американцы и не желают ни слова говорить по-еврейски! Посмотрели бы вы на моих «боев»[2], никогда бы не сказали, что это еврейские дети. И меня самого, когда увидите после праздников, тоже не узнаете. Незадолго до наступления месяца элул я сбрасываю свой сюртук, запускаю бороду, обретаю домашний вид... Но как только праздники пройдут, — бороду долой, надеваю свою шляпу и снова становлюсь джентльменом... Чего в Америке не делают ради бизнеса?.. Я вижу, мистер, что у вас есть желание описать меня в газете, вы даже книжечку свою достали, — пожалуйста, на здоровье! Я вам даже спасибо скажу. Это будет для меня рекламой... Мало того, я попрошу вас и адрес мой указать: «Мистер Грин, Черри-стрит, Нью-Йорк сити... «Плиз...[3] Надеюсь, мы еще встретимся на Аптаун...* Пока будьте мне гудбай![4]

---

[1] Довольна *(англ.)*.
[2] Мальчиков *(англ.)*.
[3] Пожалуйста... *(англ.)*
[4] До свидания! *(англ.)*

ИСТОРИЯ С «ЗЕЛЕНЫМ»

Рассказ о том, как бизнес-брокер[1] мистер Барабан проучил «зеленого», женившегося ради денег. Рассказано самим мистером Барабаном, его же слогом

— Америка, говорите вы, страна бизнеса, что ж, это в порядке вещей. Однако продать себя, жениться ради бизнеса, — это уже, экскьюз ми[2], свинство. Я вовсе не собираюсь проповедовать мораль, но, поверьте, девяносто девять процентов «зеленых» женятся у нас ради бизнеса, это фект[3], и меня на них досада берет. Поэтому попадись мне такой «зеленый», он у меня попрыгает, лив ит ту ми![4] Вот послушайте любопытную историю!

Сижу я однажды в своем офисе[5] и занимаюсь отправкой почты. Вдруг входит ко мне один «зеленый», совсем еще бой, а с ним бабеночка, как вам сказать, кровь с молоком. Хороша, как ясный день, и свежа, как яблочко только что с дерева. Вошел он и говорит: «Хау ду ю ду! Это вы бизнес-брокер мистер Барабан?» — «Сидан![6] Что скажете?» И «зеленый»

[1] Маклер *(англ.)*.
[2] Извините *(англ.)*.
[3] Факт *(англ.)*.
[4] Можете на меня положиться! *(англ.)*
[5] Контора *(англ.)*.
[6] Садитесь! *(англ.)*

раскрывает передо мной душу, рассказывает целую историю, со энд со [1]. Сам он нипентс-мейкер при трейде [2] и в стране всего лишь десять лет, и в него влюбилась вот эта самая бабеночка, была она работницей и скопила тысячу долларов наличными, так вот они поженились и ищут хороший бизнес, чтобы им больше не работать в шопе [3], он, видите ли, страдает ревматизмом, дай ему бог не расставаться с ним подольше! «Какой бизнес вы предпочитаете?» — спрашиваю я его, и сам не спускаю глаз с бабеночки. А он отвечает, что охотно открыл бы стейшионери [4], потому что в стейшионери, поясняет он мне, и жена была бы при деле. Как вам нравится этот «зеленый»? Мало того, что ему попалось такое сокровище, на которое впору молиться, мало того, что жена принесла ему тысячу долларов наличными, так он еще не прочь, чтобы она на него работала, сам же он будет в это время прохлаждаться со своими дружками, в пинакл [5] будет играть, и так и далее — знаю я этих молодчиков! И я подумал: так ты у меня и будешь иметь стейшионери, жди! По мне, ты можешь валяться, как собака, в каком-нибудь лондри [6]. Ты у меня станешь лондрименом, как миленький! Почему пришел мне в голову именно лондри? Дело в том, что в это время мне как раз нужно было сбыть лондри. «Зачем тебе, — говорю я моему «зеленому», — морочить себе голову, по восемнадцать часов в сутки сидеть в стейшионери-стор и ждать, не пробежит ли случайно какой-нибудь скул-бой [7] и купит за пенни кенди [8], и так далее? Лив ит ту ми, я дам тебе лучший бизнес, лондри в Бронксе, и ты будешь работать только в определенные часы и жить по-царски!» Беру в руки пенсл [9] и доказываю ему черным по белому, что за вычетом всех экспен-

---

[1] Так и так *(англ.)*.
[2] Брючник при магазине *(англ.)*.
[3] Мастерская *(англ.)*.
[4] Писчебумажный магазин *(англ.)*.
[5] Карточная игра *(англ.)*.
[6] Прачечная *(англ.)*.
[7] Школьник *(англ.)*.
[8] Конфеты *(англ.)*.
[9] Карандаш *(англ.)*.

сов [1] — платы за помещение, платы шойртайренерам, фемилренерам, деливери-бою [2], включая лондри-бил [3], и так и далее, у него останется триста с лишним долларов в неделю чистой прибыли — чего же лучше? «А сколько это будет стоить?» — «Тысяча долларов за такое дело — просто баргейн [4], но лив ит ту ми, я вам сделаю это за восемьсот. Можете, говорю, с завязанными глазами уплатить свои несколько долларов, и вам останется только получить ключи, и вы будете олл райт. А пока, говорю, прощайте, потому что я очень занят, а через три дня можете ко мне прийти. Гуд-бай!»

Сам я недолго думая отправился к лондримену и поздравляю его: бог послал мне жирную щуку, одного «зелененького», и он, лондримен, имеет теперь ченс избавиться от своего лондри, и за хорошие деньги, пусть он только будет человеком и не теряется, и так далее... Этот мошенник сразу меня понял. «Дайте его мне, говорит, этого «зеленого», и будет олл райт...» Прошло три дня — мой «зеленый» тут как тут. Принес депозит [5] и, как водится, протраевал [6] вместе со своей женушкой неделю, а мой лондримен, как водится, постарался, чтобы неделя эта прошла олл райт, и не просто олл райт, а олл райт с хвостиком, и бизнес состоялся. «Зеленый» отсчитал свои несколько долларов, лондримен вручил ему ключи и книги, я получил плату с обоих, — бизнес-брокеру мистеру Барабану палец в рот не клади! — и финита ла комедия [7] скажете вы, не правда ли? Так скажете *вы*, для меня же комедия только начиналась. Когда дельце было обделано, во мне еще больше разгорелась злоба на «зеленого»: за какие такие заслуги этому рохле очищенное яичко, и прямо в рот, без

[1] Расходы *(англ.)*.
[2] Гладильщики рубах, гладильщики постельного белья, посыльный *(англ.)*.
[3] Расходы по стирке *(англ.)*.
[4] Дешевка *(англ.)*.
[5] Здесь: задаток *(англ.)*.
[6] Торговал на пробу *(англ.)*.
[7] Кончена комедия *(итал.)*.

всякой головной боли — ему и женушку, прямо конфетку, и тысячу долларов наличными, и выгодный бизнес... Дай-ка выторгую у него за полцены лондри и продам его прежнему владельцу. Каким образом, спросите? Пусть мое имя не будет мистер Барабан, бизнес-брокер, если найдется дело, которое я не смог бы провернуть. Отправился я на корнер другого стрита[1], как раз напротив лондри «зеленого», снял рум[2] у одного эйджента[3], сунул ему в зубы задаток в десять долларов и выставил сайн в винде:[4]

ЗДЕСЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛОНДРИ!

Не проходит и дня, мой «зеленый» тут как тут. В голове, вижу, у него помутилось. Как быть? Его зарезали. «А что случилось?» И он рассказывает мне о своем несчастье: какой-то дьявол снял как раз напротив него стор и тоже открыл лондри! «Чего же ты хочешь, «зеленый»?» Он хочет, видите ли, чтобы я нашел ему покупателя для его лондри, и он отблагодарит меня наилучшим образом, будет век за меня бога молить, и так далее. Я стараюсь его утешить: покупателя, мол, не так-то легко найти, но пусть положится на меня, и я попытаюсь. А пока пусть идет домой и явится ко мне не раньше, чем через три дня, потому что бизнеса у меня по горло, и так далее, и гуд-бай!

Тем временем я посылаю за старым лондрименом и рассказываю ему со энд со: «Теперь ты имеешь все шансы за полцены откупить обратно у «зеленого» свой лондри».— «Как же вы это сделаете?» — спрашивает он. А я ему: «Не твоя забота. Не будь я мистером Барабаном, бизнес-брокером...» Тогда он говорит: «Олл райт!» А я ему: «Получу я за это комишен?»[5] И он говорит: «Олл райт!»— и так и далее. Прошло три дня, и мой «зеленый» снова тут как тут, с женушкой, конечно. Женушка, хотя и осунулась немного, все же хороша, как солнышко. «Что слышно?» — «Ничего, го-

---

[1] Угол другой улицы *(англ.)*.
[2] Помещение *(англ.)*.
[3] Агент *(англ.)*.
[4] Объявление в окне *(англ.)*.
[5] Вознаграждение *(англ.)*.

ворю, не слышно. Благодарите бога, я вам нашел покупателя, правда, с большим трудом. Но что же? Коечто придется, конечно, на этом деле потерять». — «Сколько?» — «Вы не спрашивайте, говорю, что потеряли, вы спросите лучше, что нашли. Потому что, говорю, сколько бы вам ни дали, это все равно находка! Что вы, шутите с американскими конкурентами? Они могут вогнать вас в такие экспенсесы, что вам останется только вскочить среди ночи в одной сорочке и бежать куда глаза глядят!» Можете не сомневаться, я нагнал на них такого страху, что они рады были получить хотя бы половину того, что вложили, да еще мне заплатили, я ведь не обязан даром хлопотать, — и конец лондри. Но погодите, это еще не все. Если вы помните, я дал эйдженту задаток за стор и вывесил сайн, что открывается лондри. Спрашивается, с какой стати мне пускать десять долларов по ветру — ни тебе, ни мне? Разве у бизнес-брокера мистера Барабана краденые деньги? Это одно. Потом во мне еще не остыл гнев на «зеленого», я никак не мог успокоиться: ведь у этого рохли осталось еще добрых несколько сот долларов в кармане, да жена под боком — золото! Чем он это заслужил? У мистера Барабана, самого крупного бизнес-брокера в Ист-сайде, жена, экскьюз ми, уродина, да к тому ж еще и ведьма, а этому «зеленому», чтоб ему провалиться, бог дал, ю ноу[1], такую игрушку, пальчики оближешь... И вот я не поленился и отправил ему посткард[2], чтобы он пришел ко мне на апойнтмент[3] в такой-то и такой-то час, у меня, мол, для него бизнес. Он не заставляет себя долго ждать, приходит точно в указанное время, и все с ней, со своей бабеночкой. Усаживаю я их, своих дорогих гостей, и рассказываю историю, со энд со: не знаете вы американских блеферов. «Вы даже представить себе не можете, что выкинул этот мошенник, этот старый лондримен, волосы дыбом становятся!» — «А что именно он выкинул?» — «А то

[1] Знаете ли *(англ.)*.
[2] Почтовая открытка *(англ.)*.
[3] Свидание *(англ.)*.

именно, говорю, что это он снял стор напротив вас и повесил сайн для того, чтобы вас напугать и за полцены получить обратно свой лондри». Услышав это, парочка переглянулась, и оба вспыхнули, в особенности она, бабеночка. Глаза у нее разгорелись, как угли. «Было бы справедливо, говорю, если бы вы с ним рассчитались, с этим мошенником, да так, чтобы он вас надолго запомнил!» — «А как мы можем с ним рассчитаться?» — «Лив ит ту ми, не беспокойтесь, уж я разделаюсь с этой птицей, будет он у меня лежать глубоко в земле на радость вам, а ваш бизнес тогда пойдет лучше прежнего!» Смотрят они на меня, как два голубка, и, вижу, без слов говорят: вашими устами да мед пить, дай вам бог долгие годы, и так и далее. Тогда я предлагаю им свой план: зачем, говорю, им покупать чужие бизнесы, платить кому-то втридорога за фирму? Не лучше ли мне сходить к тому же лендлорду [1] и снять у него тот же самый стор [2], который собирался снять у него тот мошенник? Таким образом, за каких-нибудь триста — четыреста долларов я им устрою, моим голубчикам, лондри как раз напротив старого лондри и начну конкурировать, — сколько бы он ни брал, я буду брать дешевле, и пусть мое имя не будет Барабан, если я не заставлю его через две недели муфить! [3] Будьте покойны, я так раззадорил их, что «зеленый» чуть не бросился ко мне в объятия, а хорошенькая жена его раскраснелась и еще больше похорошела. В тот же день я снял для них стор, и тут же был у меня готов новый лондри с сайном, со столами и со всем прочим, и мои голубчики взялись за дело, и пошла между ними и старым лондрименом ожесточенная конкуренция: побивали друг друга ценами до последней возможности. Если старый лондримен брал за дозн плет [4] двадцать четыре цента, «зеленый» со своей бабеночкой брали восемнадцать со спредом [5] в придачу; если тот спускал

[1] Здесь: домовладелец *(англ.)*.
[2] Лавчонка *(англ.)*.
[3] Здесь: убраться *(англ.)*.
[4] Пара белья *(англ.)*.
[5] Простыня *(англ.)*.

рубашки по восемь центов, то эти сбавляли по полтора пенни с колера[1]. Тогда и тому приходилось спускать пенни, и так и далее. Короче говоря, они так долго побивали друг друга ценами, пока «зеленый» не избавился наконец от своих последних нескольких долларов и остался без единого пенни. Даже на оплату помещения не хватило. И пришлось ему закрыть свой лондри, и вышел он из дела чистеньким, гол как сокол. А теперь он у меня отдыхает в Лудлов-стрит-джейл[2]. Это я выискал для его бабеночки лоера[3], который требует для нее от «зеленого» всего три вещи: 1) ее деньги, тысячу долларов приданого, 2) развод и 3) чтоб до того, как она получит развод, он ее супортовал[4], согласно законам страны, и черт его побери, этого «зеленого»!..

[1] Воротничок *(англ.)*.
[2] Тюрьма в Нью-Йорке.
[3] Адвокат *(англ.)*.
[4] Содержал *(англ.)*.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОЖИК

Рассказ для детей

«Не укради».
Седьмая заповедь.

1

Послушайте, ребята, я расскажу вам историю о ножике, историю не выдуманную, а подлинную, которая случилась со мной!

Ни к чему на свете я так не стремился, ничего в жизни я так не желал иметь, как ножик, собственный ножик! Мне хотелось, чтобы у меня в кармане лежал ножик, чтобы я мог доставать его оттуда, когда захочу, резать, что захочу,— и пусть мои товарищи завидуют!

Когда я начал ходить в хедер к Иоселю Дардеке, у меня был ножик, то есть почти ножик или что-то вроде ножика. Я его сделал сам. Я выдернул из гусиного крыла перо, с одного конца обрезал его, с другого расщепил и вообразил себе, что это... ножик и что он режет...

— Что это за перо на мою голову? Что это за возня с перьями? — спросил отец, болезненный человек, с желтым, высохшим лицом, и закашлялся. — Ему бы только забавы! Перья! Кхе-кхе...

— Что тебе жалко, что ребенок играет? — ответила ему мать, маленькая женщина, повязанная шелковым платком. — Что ты себя все расстраиваешь? Пусть лучше мои враги расстраиваются...

Позже, когда я приступил к изучению Пятикнижия *, я уже имел почти настоящий ножик — тоже собственной работы. Я нашел кусочек стали от маминого кринолина и очень искусно всадил его в кусок дерева. Потом я долго точил о горшок свой ножик и, конечно, при этом порезал себе все пальцы.

— Погляди-ка, как он себя разделал, наследничек твой! — закричал отец и схватил меня за пальцы так крепко, что кости затрещали. — Золотое дитя! Кхе-кхе...

— Ой, горе мое! — сказала мать, забрала ножик и, несмотря на мои слезы, бросила его в печь. — Ну, теперь этому будет конец...

Но вскоре я достал себе другой ножик, уже самый настоящий ножик — деревянный черенок, круглый, пузатенький, как бочонок, с горбатым лезвием, которое открывалось и закрывалось... Вы хотите знать, как я его достал? Я копил деньги, которые мне давали на завтрак, и на них купил ножик у Шлеймеле за десять полушек, семь — наличными, а три в долг...

Ах, как я любил этот ножик, как я его любил! Возвратившись из хедера домой, замученный, усталый, голодный, битый (должен вам сказать, что к этому времени я начал изучать талмуд * у меламеда Моти по прозвищу «Ангел смерти»: «Бык, который боднул корову...» * А раз бык боднул корову, то я получаю оплеуху), я первым делом вытаскивал ножик из-под шкафа, где он лежал днем. В хедере держать его я не мог, а дома уж конечно никто не должен был знать, что у меня есть ножик. Я играл им, резал бумажки, перерезывал соломинки, нарезывал свой хлеб на маленькие, малюсенькие кусочки, накалывал эти кусочки на кончик ножа и лишь после этого клал их в рот. Вечером перед сном я вытирал ножик, брал брусок, который нашел у нас на чердаке, и, поплевав на него, потихоньку точил лезвие.

Отец в ермолке сидел над талмудом. Он читал его и кашлял, кашлял и читал... Мама возилась на кухне с тестом. А я все точил да точил... Но вот, как бы очнувшись от сна, отец вдруг закричал:

— Кто это там пищит? Что он там возится? Что ты делаешь, негодник этакий?

И, подойдя ко мне, он нагнулся над бруском, схватил меня за ухо и закашлялся.

— Что?! Ножик? Кхе-кхе! — закричал отец и отобрал у меня и ножик и брусок. — Бездельник этакий! Книгу бы лучше взял в руки. Кхе-кхе...

Я громко заплакал. Отец влепил мне несколько оплеух. Из кухни прибежала мать, с засученными рукавами, и закричала:

— Тише, что тут такое? Почему ты его бьешь? Бог с тобой, что ты пристал к ребенку?

— Ножик! — кричит отец и кашляет. — Что он, маленький, что ли? Лодырь этакий! Кхе-кхе... Хвор он книгой заняться? Парнишке восемь лет! Я ему дам ножики, балбесу этакому! Выдумал — ножики! Кхе-кхе...

О господи! И что ему дался мой ножик, что такое он ему сделал, почему он на него так взъелся?

Я помню своего отца всегда больного, всегда бледного, желтого, всегда озлобленного и обиженного на всех и вся. Из-за каждого пустяка он выходил из себя и частенько готов был растерзать меня. Счастье, что мама защищала меня и спасала от его рук.

А ножик мой забросили... Забросили так далеко, что я целую неделю искал его и так и не мог найти. Горько оплакивал я мой ножик, мой чудный ножик. Как тяжко и грустно мне было в хедере при мысли, что вот, когда я вернусь домой с распухшими щеками и с красными ушами, надранными Мотей — Ангелом смерти за то, что «бык боднул корову», никто меня не пожалеет. Одинок я, одинок, как сирота. И никто не видел слез, проливаемых мной ночью втихомолку у себя в постели. Вернувшись из хедера, я тихо плакал и так засыпал, чтобы назавтра утром снова идти в хедер, снова повторять про быка, который боднул

корову, снова получать затрещины от Моти — Ангела смерти, снова испытывать на себе гнев отца, слушать его кашель, его проклятия и не видеть ни одной радостной минуты, не видеть ни одного веселого лица, ни одной улыбки. Я был одинок, я был один на всем свете...

2

Прошел год, а может быть, и полтора. Я уже начал забывать свой ножик. Но, видно, мне было суждено все мои детские годы страдать из-за ножиков. На мою беду, появился новый ножик, совсем новенький, прелестный, изумительный, честное слово! — прекраснейший ножик, с двумя стальными лезвиями, острыми, как бритвы, с белым костяным черенком в медной оправе, с красными медными заклепками — одним словом, замечательный ножик, настоящий «завьяловский» *. Каким образом у меня, бедного мальчика, появился такой великолепный ножик? Это целая история — печальная, но очень интересная, послушайте ее внимательно!

Как мог я относиться к нашему квартиранту, еврейскому немцу, подрядчику Герцу Герценгерцу, если говорил он по-еврейски, ходил с непокрытой головой, брил бороду, не носил пейсов и надевал сюртук, покрывавший — простите — только верхнюю половину тела? Я вас спрашиваю, как мог я сдерживаться и не помирать каждый раз со смеху, когда этот еврейский немец или немецкий еврей заговаривал со мной по-еврейски?

— Скажи мне, милый кнабе[1], а какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи, — фыркал я и прикрывал лицо рукой.

— Скажи же, киндхен[2], какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи, «Болок» *, — выпаливал я с хохотом и убегал от него.

Но все это было вначале, когда я его совсем еще

---

[1] Мальчик *(нем.)*.
[2] Детка *(нем.)*.

не знал. После, когда я познакомился поближе с этим немцем, господином Герцем Герценгерцем (он жил у нас в доме целый год), я его так полюбил, что меня уж совершенно не трогало, что он не молится и не совершает омовения рук перед едой. Сначала я не понимал, как может жить этот человек на свете? Как только земля его носит? Почему он не подавится во время еды? Почему его непокрытая голова не оплешивеет? От Моти — Ангела смерти я слышал из его собственных уст, что этот еврейский немец — оборотень, то есть, что он — еврей, превратившийся в немца, и что он может еще превратиться в волка, в корову, в лошадь или даже в утку... «В утку? Хи-хи-хи! Вот это дело!» — так думал я и искренне жалел немца. Одного лишь я не мог понять: почему отец, набожный и богобоязненный еврей, всегда уступал ему почетное место и почему другие евреи, приходившие к нам, оказывали ему уважение:

— Здравствуйте, господин Герц Герценгерц!

— Да будет мир с вами, господин Герц Герценгерц! Садитесь, пожалуйста, господин Герц Герценгерц!..

Однажды я даже спросил у отца об этом, но он прогнал меня:

— Убирайся отсюда, это не твое дело! Что ты все в ногах путаешься? Лучше бы позанялся талмудом!

Опять талмуд! Боже мой!.. Я тоже хочу смотреть, я тоже хочу слышать, что он говорит!

Как-то, войдя тихонько-тихонько в комнату, я забрался незаметно в уголок и стал слушать, о чем разговаривают, как громко смеется господин Герц Герценгерц, раскуривая толстую черную сигару, которая так прекрасно пахнет. Вдруг подошел отец и отпустил мне оплеуху.

— Ты опять здесь, бездельник?! Что из тебя выйдет, неуч ты этакий! Господи, чем этот мальчишка кончит? Кхе-кхе-кхе...

Господин Герц Герценгерц вступился за меня:

— Не трогайте мальчика, не трогайте его...

Но это было бесполезно. Отец прогнал меня. Я достал талмуд, но сидеть над ним не хотелось. Что

делать? Я бродил из одной комнаты в другую, пока не пришел в ту, лучшую комнату, которую занимал господин Герц Герценгерц. О, как там было светло и красиво! Горели лампы, сверкали зеркала. На столе — большая серебряная чернильница, красивые перья, человечки, лошадки, всякие безделушки, костяшки, камушки и... ножик. Что за ножик! О, если бы мне такой ножик! Как я был бы счастлив! Какие бы вещи я вырезал этим самым ножиком! Ну-ка, надо попробовать, остер ли он? Еще бы! Он режет волос! Ой-ой, какой это ножик!..

Мгновение, и ножик у меня в руках. Я оглядываюсь по сторонам и пытаюсь положить ножик на минутку, только на одну минуточку к себе в карман. Рука дрожит... Сердце стучит так сильно, что я слышу его биение... тик-так, тик-так! Кто-то идет, скрипят чьи-то сапоги. Это, наверное, господин Герц Герценгерц! Что делать? Пусть ножик останется у меня. Потом я его положу обратно, а пока надо уйти, уйти отсюда... бежать, бежать!..

. . . .

Ужинать я уже не мог. Мать пощупала мою голову. Отец бросил на меня гневный взгляд и прогнал спать... Спать? Мог ли я закрыть глаза? Я был ни жив ни мертв. Что мне делать с ножиком? Как положить его обратно?

3

— Поди-ка сюда, сокровище мое, — позвал меня на следующий день отец, — не видел ли ты ножика?

Сначала я испугался. Мне показалось, что он знает, что они все знают... У меня чуть-чуть не вырвалось:

— Ножик? Пожалуйста, вот он...

Но слова застряли в горле, и я с дрожью ответил.

— Что? Какой ножик?

— «Что?! Какой ножик?» — передразнил меня отец. — Что? Какой ножик? Золотой ножик! Нашего жильца ножик, босяк ты этакий! Кхе-кхе-кхе...

— Что ты пристал к ребенку? — вмешалась мама. — Он ничего не знает, а ты морочишь ему голову: ножик, ножик...

— Ножик, ножик! Как это так, — он ничего не знает? — сказал сердито отец. — Все утро только и разговору, что о ножике. Ножик, ножик, ножик!.. Весь дом перерыли из-за ножика, а он спрашивает: «Что? Какой ножик?» Ну иди уж, умывайся, ты, балда? Кхе-кхе.

Благодарю тебя, господи, что меня не обыскали. Но что делать дальше? Надо немедленно запрятать ножик в надежное место... Куда его спрятать? Ага! На чердак. Я быстро вынул его из кармана и сунул за голенище сапога... Я ел, но не знал, что ем. Я давился едой.

— Что ты так торопишься? — спросил отец.

— Я спешу в хедер, — ответил я ему и почувствовал, что покраснел как мак.

— Какое прилежание! Как вам нравится этот праведник? — заворчал отец и зло посмотрел на меня.

Наконец-то я поел и прочел молитву.

— Ну, отчего же ты не идешь в хедер, праведник мой? — спросил отец.

— Что ты все гонишь его? — сказала мама. — Дай ребенку посидеть минутку.

Я на чердаке. Ножик уже лежит за стропилами, лежит и молчит.

— Что ты полез на чердак, подлец, мошенник ты этакий? — закричал отец. — Кхе-кхе-кхе...

— Я ищу здесь кое-что, — ответил я ему, чуть не упав от испуга.

— Кое-что? Что значит «кое-что?» Что это такое «кое-что»?!

— Ищу тал... ста... старый талмуд.

— Что? Талмуд? На чердаке? Ах ты, мерзавец, мошенник, подлец этакий! Сию минуту слезай! Вот ты получишь у меня, прохвост этакий, кхе-кхе.

Но меня уже не смущает гнев отца, я боюсь только, как бы не нашли ножик. Почему бы и нет? Могут же они как раз сегодня развесить там белье или пойти замазать трубу. Нет, надо ножик оттуда

забрать и спрятать в более надежное место. Я трепещу при каждом взгляде отца, мне кажется, что он уже все знает, что вот он опять пристанет ко мне, допрашивая о ножике... Я уже нашел место для ножика. Прекрасное место. Где? В земле. В ямочке у стены. Сверху я ее прикрыл соломой, чтобы потом найти это место. Я возвращаюсь из хедера — и сразу во двор, тихонечко откапываю свой ножик. Однако я не успеваю досыта налюбоваться им, как уже слышу крик отца:

— Куда ты опять пропал? Почему не идешь молиться, ты ломовик, водовоз? Кхе-кхе-кхе...

Но как бы ни преследовал меня отец, как бы ни избивал меня ребе, все это чепуха в сравнении с тем удовольствием, какое я получаю, когда, вернувшись из хедера, встречаюсь с моим дорогим, с моим единственным любимым товарищем — с моим ножиком! Но это удовольствие причиняет мне столько страдания, оно отравлено постоянной тревогой, боязнью и страхом, ужасным страхом.

4

Лето. Солнце садится. Воздух становится прохладнее. Трава благоухает. Лягушки квакают. Клочья облаков проплывают мимо луны, желая ее проглотить. Белая, серебристая луна то прячется, то снова показывается. Кажется, что она несется, несется и все же стоит на том же месте. Отец садится на траву полураздетый, в одном кафтане. Одной рукой он держится за грудь, другой шарит по земле, смотрит на звездное небо и кашляет... Луна освещает его мертвенно-бледное лицо. Он сидит как раз на том месте, где закопан ножик. Он не знает, что там под ним! Что было бы, если бы он знал! Что бы он сказал? Что было бы со мной?

Ага, думаю я, ты забросил мой старый ножик, но у меня теперь есть лучший, более красивый. Ты сидишь на нем и ничего не знаешь. Ай-яй-яй, отец, отец!

— Что ты вылупил на меня глаза, как кот? — кричит отец. — Что ты сидишь сложа руки, как поме-

щик? Тебе совсем делать нечего, что ли? А вечернюю молитву ты уже прочитал, чтобы ты не сгорел, чтобы ты не сдох? Кхе-кхе...

Когда отец говорит «чтобы ты не сгорел, чтобы ты не сдох», это означает, что он не сердится. Наоборот, это означает, что он в хорошем настроении. И действительно, можно ли быть плохо настроенным в такую чудную летнюю ночь, когда каждого тянет на улицу, на свежий, чистый воздух! Все — на улице: отец, мать и маленькие дети, которые ищут камешки и играют в песке. Господин Герц Герценгерц тоже ходит по двору без шапки, курит сигару и напевает немецкую песенку, смотрит на меня и смеется... Он смеется, очевидно, над тем, что отец прогоняет меня. А я смеюсь над ними над всеми. Скоро они все пойдут спать, а я побегу во двор (я сплю в сенях на полу, так как в доме несносная жара) и буду играть и наслаждаться моим ножиком.

Все спят. Кругом тишина. Я незаметно поднимаюсь и на четвереньках, как кошка, крадучись пробираюсь во двор. Ночь тиха. Воздух чист и прекрасен. Медленно подползаю к тому месту, где зарыт ножик. Тихонько откапываю его и разглядываю при свете луны. Он блестит, он сияет, как золото, как алмаз. Я поднимаю глаза и вижу — луна смотрит прямо на меня, на мой ножик. Почему она так смотрит? Я отворачиваюсь — она продолжает смотреть. Я закрываю ножик рубашкой — она продолжает смотреть. Она, наверное, знает, что это за ножик и где я его взял... Как взял? Я же его украл!

Впервые, с тех пор как ножик стал моим, это страшное слово приходит мне на ум. Украл? Значит, я вор! Просто — вор. А в торе, в десяти заповедях, большими буквами написано:

«НЕ УКРАДИ».

А я украл. Что они со мной сделают в аду? Ой, мне отрубят руку, которая украла... Меня будут жарить на раскаленных сковородах... Вечно, вечно буду я гореть в огне. Надо отдать ножик... Надо положить ножик обратно. Не надо мне краденых ножи-

ков... Завтра же я положу его обратно. Я прячу ножик за пазуху, он жжет меня. Нет! Надо его спрятать, закопать в землю до завтра. А луна все смотрит. Чего она смотрит? Луна все видит. Она — свидетельница... И я тихонько вползаю обратно в сени, ложусь на свое место, но уснуть не могу. Ворочаюсь с боку на бок, не могу уснуть... Только на рассвете я уснул, и мне снилась луна, железные прутья, мне снились ножики. Рано утром я проснулся, горячо помолился богу и, впопыхах проглотив свой завтрак, побежал в хедер.

— Что ты так торопишься в хедер? — спросил отец. — Что это тебя так несет? Ничего не случится, если придешь попозже! Ты лучше помолись после еды как следует и не пропускай в молитве слов. Еще успеешь безбожничать, бесстыдник ты этакий, нечестивая душа! Кхе-кхе...

5

— Почему так поздно? Посмотри-ка сюда, — сказал мне ребе и показал пальцем на моего товарища Берла Рыжего, стоявшего в углу с опущенной головой. — Ты видишь, шалопай? Знай, что с сегодняшнего дня его зовут не Берл Рыжий, как до сих пор. Нет! У него теперь более красивое имя. Теперь его зовут Береле-вор. Повторите, дети, за мной: «Бе-ре-ле-вор! Бе-ре-ле-вор!»

Эти слова ребе произносит нараспев, а ученики подхватывают за ним хором:

— Бе-ре-ле-вор! Бе-ре-ле-вор!..

Я стою как окаменелый, мороз подирает меня по коже. Я ничего не понимаю.

— Что ты молчишь, остолоп этакий? — кричит ребе, залепив мне пощечину. — Почему ты молчишь, дурень этакий, ты же слышишь, все поют? Пой и ты: Береле-вор! Береле-вор!

У меня дрожат руки и ноги. Зуб на зуб не попадает. Но я подпеваю:

— Береле-вор! Береле-вор!

— Громче, бездельник этакий, — кричит ребе. — Громче! Громче!

И мы хором кричим изо всех сил:

— Береле-вор! Береле-вор!

— Тише, — неожиданно останавливает нас ребе, хлопнув рукой по столу. — Тише, сейчас мы будем его судить. Ну-ка, Береле-вор, — говорит он нараспев, — подойди-ка сюда, мое дитя, живее, живее немного. Скажи-ка, мальчик, как тебя зовут?

— Берл.

— А как еще?

— Берл... Берл... вор...

— Вот так, молодец, мой родной, — поет ребе. — А сейчас, малютка, дай тебе бог здоровья, стяни-ка с себя одежду, пожалуйста! Вот так, вот так, скорей, умоляю тебя! Вот так, мой дорогой Береле!..

Берл остался совершенно голый, в чем мать родила. Он был страшно бледен и стоял совершенно неподвижно с опущенными глазами, настоящий покойник!

Ребе вызвал одного из старших учеников и спросил его:

— Ну-ка, Гершеле-большой, выйди сюда ко мне поскорей, вот так, и расскажи нам подробно, как Береле стал вором, а вы, ребята, слушайте внимательно.

И Гершеле-большой начал рассказывать историю о том, как Берл позарился на кружку Меера-чудотворца *, в которую его мать опускала каждую пятницу вечером копейку, а то и две... Как Берл крал оттуда деньги, хотя на кружке висел замок; как Берл при помощи соломинки, обмазанной смолой, вытаскивал из этой кружки копейку за копейкой, как мать его, Злата-хриплая, заметила это, открыла кружку и нашла там соломинку, обмазанную смолой; как Злата-хриплая пожаловалась на него; как после розог, полученных от ребе, Берл сознался, что он весь год таскал копейки из этой кружки и затем каждое воскресенье покупал на эти деньги два пряника и рожки и т. д., и т. д.

— А теперь, ребята, судите его! Вы сами знаете как. Это вам не впервые. Пусть каждый скажет свой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки. Гершеле, скажи ты первый, как

наказать вора, таскавшего соломинкой копейки из благотворительной кружки?

Ребе склонил голову набок, зажмурил глаза и подставил правое ухо Гершеле. А Гершеле ответил во весь голос:

— Вор, таскающий копейки из кружки, должен быть высечен до крови.

— Мойшеле, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки?

— Вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки, — ответил Мойшеле плачущим голосом, — надо разложить, двое должны держать его за голову, двое за ноги, а еще двое должны сечь его розгами, вымоченными в рассоле.

— Топеле Тутарету, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки?

Копеле Кукареку, мальчик, который не умел произносить букв «к» и «г», вытер нос и пискливо пропел свой приговор:

— Вор, таставший топейти из труэкти, натазывается тат: все мальчити должны близто подойти и стазать ему в лицо три раза во весь долос: вор! вор! вор!

В хедере раздался громкий хохот. Ребе пощекотал большим пальцем адамово яблоко, как бы настраивая голос, и, напевая, как кантор в синагоге, вызвал меня.

— Да предстанет перед нами Шолом, сын Нохума! Скажи нам, дорогой Шоломка, твой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки.

Я хотел ответить, но язык мне не повиновался. Я дрожал, как в лихорадке. Я задыхался. Обливался холодным потом. В ушах у меня шумело. Я не видел перед собой ни ребе, ни голого Берла-вора, ни товарищей, — я видел только ножики, одни лишь ножики — белые, открытые, со множеством лезвий. А там, у дверей, висела луна. Она смотрела на меня и улыбалась, как человек. У меня закружилась голова, пред глазами завертелось все — хедер, столы, книги, товарищи, луна, висевшая у двери, ножики.

Я чувствовал, что у меня подкосились ноги. Еще секунда, и я бы упал. Но, собрав все силы, удержался на ногах.

Пришел домой вечером, чувствую — лицо горит, в ушах — шум. Слышу, со мной говорят, но не понимаю о чем. Отец что-то сказал, рассердился, хотел меня ударить; мать заступилась, прикрыла меня передником, словно наседка, которая крыльями прикрывает своих птенцов от нападения. Я ничего не слышал, да и слышать ничего не хотел. Мне хотелось только, чтобы скорее наступила ночь и я мог бы избавиться от ножика. Что делать? Сознаться и отдать его? Тогда меня ожидает участь Берла. Подбросить? А вдруг заметят... Забросить — и конец, только бы избавиться от него! Но куда его бросить, чтобы не нашли? На крышу? Но могут услышать стук. В огород? Но там его могут найти. Ага, я знаю. Выход есть! Бросить в воду! Честное слово, прекрасный выход! В воду, в колодец у нас во дворе. Эта мысль мне так понравилась, что я больше не хотел думать. Я достал ножик и помчался к колодцу, но мне казалось, что в руках у меня не ножик, а что-то отвратительное, гадюка, от которой надо поскорее избавиться. А все-таки было жаль! Такой чудный ножик! Минуту я стоял в раздумье и мне казалось, что я держу в руках живое существо. Сердце щемило. Господи, господи, сколько горя доставил мне этот ножик! Жалко мне было его! Но я набрался решимости и выпустил ножик из рук... Плюх! Раздался плеск, и больше ничего... Нет ножика! С минуту я еще постоял у колодца, ничего не слышно. Слава тебе господи, избавился! Но сердце сжималось от боли. Такой ножик! Такой ножик! Я возвращался к себе, чтобы лечь в постель, и видел, как луна будто следила за мной. Мне казалось, она видела все, и я точно слышал голос издалека: «А ты все-таки вор! Лови! Бей вора! Бей вора!»

Я пробрался в сени и лег спать. Мне снилось, что я бегу, что я парю в воздухе с ножиком в руках, а луна смотрит на меня и кричит: «Лови! Бей вора! Бей вора!»

6

Долгий, долгий сон. Тяжелые, гнетущие сновидения. Горю как в огне. В голове шум. Перед глазами — красная пелена. Меня секут раскаленными прутьями, и я обливаюсь кровью. Вокруг меня кишат скорпионы и змеи разевают пасти, хотят меня сожрать. Вдруг раздался трубный глас, возопивший: «Секите его! Секите его! Секите его! Он вор!»

А я кричу:

— Уберите луну! Отдайте ей ножик! Зачем вы издеваетесь над Береле? Он невиновен. Это я — вор! Это я — вор!

И больше я ничего не помню.

. . . .

Я открыл один глаз, потом другой. Где я? Кажется, в постели? Что я тут делаю? Кто это сидит у кровати на стуле? А, это ты, мама?.. Мама! Она не слышит. Мама! Мама! Мама! Что это значит? Ведь я как будто кричу изо всех сил! Тише! Я прислушиваюсь. Она плачет. Она тихо плачет. Я вижу и отца, его болезненно-желтое лицо. Он сидит над талмудом, что-то тихо шепчет, кашляет, стонет и вздыхает. По-видимому, я умер. Умер? И вдруг у меня в глазах посветлело, стало легко голове, стало легко всему телу. Зазвенело в одном ухе, потом в другом. Я чихнул.

— На здоровье! На здоровье! Это — хорошая примета. Поздравляем. Благословен ты, господи!

— К слову чихнул, правда! Хвала всевышнему!

— Велик бог! Наш мальчик будет здоров, господь помог, да будет благословенно имя его!

— Нужно поскорее позвать Минцу, жену резника. Она хорошо знает заговор от дурного глаза.

— Доктора надо бы позвать, доктора!

— Доктора? Зачем? Чепуха... «Он» — доктор. Всевышний — самый лучший целитель, да будет благословенно имя его.

— Расступитесь, пожалуйста, расступитесь! Здесь страшно душно. Бога ради, расступитесь!..

Все вертелись вокруг меня, все смотрели на меня. Каждый подходил и щупал мою голову. Меня заговаривали, шептали надо мной, лизали мне лоб и сплевывали; за мной ухаживали, вливали мне в рот горячий бульон, пичкали вареньем. Все толкались около меня, оберегали как зеницу ока, закармливали бульоном, курятиной, не оставляли меня ни на минуту одного, как малое дитя. Постоянно около меня сидела мать и все снова и снова рассказывала мне, как меня подняли с земли полумертвого; как две недели подряд я лежал в страшной горячке, квакал жабой и все бредил о розгах и ножиках. Думали, что я помру. Вдруг я чихнул семь раз и сразу ожил.

— И мы сейчас видим, как велик бог, да будет он благословен, — заканчивала свой рассказ мама со слезами на глазах. — А сколько нами было пролито слез, и мной, и отцом, пока господь не сжалился над нами!.. Чуть-чуть не потеряли ребенка, лучше бы я умерла вместо него. Из-за кого, из-за чего все это? Из-за какого-то мальчишки, из-за какого-то Берла-воришки, которого ребе высек до крови. Когда ты пришел из хедера, ты уже был ни жив ни мертв. Вот разбойник, вот злодей, накажи его бог! Нет, дитя мое, если бог даст, и мы доживем, пока ты станешь на ноги, мы тебя отдадим к другому ребе, а не к такому душегубу и разбойнику, как этот Ангел смерти, будь он проклят!

Эта весть меня очень обрадовала, я обнял мать и крепко поцеловал ее.

— Милая, милая мама!

Подошел отец, положил мне на лоб свою бледную, холодную руку и мягко, без всякого гнева сказал:

— Ну и напугал ты нас, разбойник этакий! Кхе-кхе...

А еврейский немец, или немецкий еврей, господин Герц Герценгерц с сигарой во рту наклонил ко мне свою бритую физиономию, погладил меня по щеке и сказал по-немецки:

— Гут[1], гут! Здоров!

---

[1] Хорошо (*нем.*).

Через две недели после моего выздоровления отец сказал мне:

— Ну, сын мой, ступай в хедер и выбрось из головы все эти ножики и все эти глупости. Пришло время стать тебе человеком. Тебе уже десять лет, и через три года, если господь пожелает, ты уже сам будешь отвечать перед богом за свои поступки.

Такими теплыми словами проводил меня отец в хедер к новому ребе, Хаиму Котеру.

Впервые я услыхал от моего сердитого отца такие добрые, такие нежные слова, и я мгновенно забыл все его придирки, все его проклятья, оплеухи, как будто бы всего этого никогда и не было. Не будь мне стыдно, я обнял бы и расцеловал его, но... кто же это целует отца?

Мать дала мне с собой в хедер целое яблоко и две полушки. Немец тоже подарил мне две копейки, потрепал по щеке, сказал по-немецки:

— Прекрасный мальчик! Гут, гут!

Я, словно новорожденный, взял талмуд под мышку и с чистым сердцем, с чистой и ясной головой, с новыми думами, со свежими, честными, набожными мыслями, отправился в хедер. Солнце смотрит на меня, приветствует меня своими теплыми лучами. Ветерок, крадучись, забирается ко мне в волосы, птички весело щебечут. Меня как бы несет по воздуху, хочется бежать, прыгать, танцевать. Ах, ах, как хорошо, как сладко сознание, что ты живешь, что ты честен, что ты не вор и не лгун!

Я крепко-крепко прижимаю к груди талмуд и, радостный, мчусь в хедер. И я даю клятву на талмуде, что никогда не трону ничего чужого, никогда ничего не украду, никогда ничего не утаю, я буду всегда честен, честен, честен!

ФЛАЖОК

1

Дети! Послушайте рассказ о том, как я, сын бедняка, приобрел к празднику торы* флажок. Я расскажу вам, каких трудов мне стоило раздобыть его и как быстро я его потерял. Да, бог меня наказал. Уж достался мне этот флажок...

Когда я был маленьким — вот таким, как вы, — меня все называли *«Топеле Тутарету»,* что, собственно, означало «Копеле Кукареку». И знаете почему? По двум причинам: во-первых, у меня был тоненький, пискливый голосок, как у молодого петушка; во-вторых, я не умел произносить «к» и «г», вместо них у меня получалось «т» и «д». И, как на беду, моего отца звали Калмен, маму — Гита Калменова, меня — Копл, сын Гиты Калменовой, а учителя — Гершн-Горгл из Галгановки.

— Мальчик, как тебя звать? — спрашивали меня.

— Топл, сын Диты Талменовой.

— Громче!

— Топл, сын Диты Талменовой.

— Еще громче!

Я кричу во весь голос:

— Топл, сын Диты Талменовой.

— У кого ты учишься?

— У Дершона-Дордла из Далдановти!..

Все смеются. Людям — смех, а мне — слезы.

И не потому я плачу, что все надо мной смеются, а потому, что из-за моего произношения мне часто достаются пинки и колотушки. Все кому не лень измываются надо мной: отец, мать, сестры, учитель, товарищи... Все хотят научить меня говорить «по-человечески».

Однажды учитель вставил мне между зубов дощечку торчком и велел всем ученикам плевать мне в рот — авось это меня вылечит. Но тут в дело вмешался столяр реб Зяма, сосед учителя:

— Чего зря ребенка мучить! Дайте его мне на одну минуту — я мигом научу его говорить «по-человечески», вот увидите.

С этими словами столяр реб Зяма взял меня за подбородок и сказал:

— Смотри на меня, мальчик, и повторяй за мной: «Ку-хар-ка ки-да-ет-ся клец-ка-ми».

Глядя в упор на столяра, я говорю:

— Ту-хар-та ти-да-ет-ся тлец-та-ми.

— Не так! — поправляет меня реб Зяма. — Смотри мне прямо в рот и повторяй за мной: «Солн-це скро-ет-ся в обла-ках».

Я смотрю ему в рот и говорю:

— Солн-це стро-ет-ся в обла-тах.

— Нет, глупенький! — снова поправляет меня реб Зяма. — Ты говоришь: «В облатах». Не надо так говорить. Скажи: «В облаках, в облаках, в облаках»!

— В облатах, в облатах, в облатах!

Тут реб Зяма даже рукой махнул.

— Знаете, что я вам скажу, — это напрасный труд! Горбатого могила исправит. Он на веки веков калека!

2

Обзавестись к празднику торы флажком и притом настоящим, разукрашенным по всем правилам, с хорошим древком, с яблоком, надетым на древко, и со свечой, воткнутой в яблоко, — казалось мне тогда не-

досягаемым счастьем. Я и мечтать о нем не смел. Мало ли есть на свете заманчивых вещей! Есть же у нас в хедере мальчики, у которых всегда найдутся деньги на покупку ножика, кошелька, тросточки. Есть даже такие, которые каждый день едят конфеты и щелкают орехи, не говоря уже о блинах и бубликах; наконец есть и такие, которые едят белую булку в *будни*... Счастливцы!

Ах, деточки, я в будни никогда белой булки не ел! Я бывал рад-радешенек, когда мог поесть досыта и черного хлеба. Мы были — не про вас будь сказано! — горькие бедняки, нищая, горемычная семья, хотя и очень трудолюбивая. Отец, царство ему небесное, был помощником служки в пристройке синагоги мясников. Мать, царство ей небесное, была мастерица печь ржаные коврижки, а сестры принимали в надвязку чулки.

Верите ли, мне ни разу за все мои детские годы не пришлось пообедать настолько сытно, чтобы тотчас же не захотелось поесть еще чего-нибудь.

Нечего и говорить, что у меня никогда не было медного гроша — такое счастье мне и во сне не снилось.

И вот представьте себе: я, Копл Кукареку, внезапно разбогател! Да, у меня появились деньги, я стал обладателем капитала в двадцать две копейки!

Вы думаете: произошло чудо? Скажем, какой-нибудь барин потерял, а я нашел? Вот вы и не угадали. Или вы, чего доброго, подозреваете, что я нажил эти деньги каким-нибудь неблаговидным способом: что я вытащил их из общественной кружки? Пусть господь хранит вас от таких мыслей. Нет, верьте мне, свой капитал я нажил честным трудом: я заработал его своими... ногами.

Было это в праздник пурим. Отец поручил мне разносить гостинцы прихожанам своей маленькой синагоги. Раньше эта работа поручалась одной из моих старших сестер. Но теперь, когда я чуть-чуть подрос, отец сказал, что и мне уже пора быть чем-нибудь полезным семье. Я взял в руки подносик с

пирогом и, шлепая босыми ногами по холодной, скользкой грязи, обошел всех прихожан. Из грошей, которые мне давали за труд, составился капитал в двадцать две копейки — один серебряный двугривенный и четыре медные полушки.

3

Оказавшись обладателем такой — не сглазить бы! — уймы денег, я стал прикидывать, что с ними делать.

И тут явились два советчика — дух добра и дух зла — и принялись мучить и терзать мою душу. Дьявол-искуситель нашептывал:

— Какой смысл беречь деньги, дурак ты этакий? Купи себе какое-нибудь лакомство, ну, скажем, маковник у Пирондички или хотя бы мороженное яблоко! Наслаждайся своим богатством!

— Потакать утробе? — запротестовал я. — Этак можно в один день и весь капитал проесть. Нет, ни за что!

— И правильно! — поддакивал дух добра. — Лучше отдать деньги маме взаймы! Ах, как они ей пригодятся!

— Умница! — говорю. — Хочешь, чтоб они пропали? Из каких шишей она тебе вернет долг?

— Как она, бедная, мучается! — шепнул мне дух добра. — Думаешь, легко ей платить меламеду за твое ученье?

— При чем тут плата за ученье? — огрызнулся дьявол-искуситель. — Купи себе лучше белый свисток с красными крапинками или острый ножик с двумя клинками, да еще в медном футлярчике. А не то купи кошелек с хорошим замочком.

— А что ты положишь в кошелек? — язвительно спросил дух добра. — Нищету свою?

— Пуговицы! — ответил дьявол-искуситель. — Напихаешь полный кошелек пуговиц. Все в хедере будут думать, что это деньги, и позавидуют тебе...

— А какая тебе от этого радость? — возразил дух добра. — Послушай меня — раздай деньги нищим. Господь зачтет тебе это доброе дело. Бедняки ведь с голоду помирают.

— Бедняки? — с издевкой воскликнул дух зла. — А сам-то ты не бедняк и не сын бедняка? Ты ведь и сам никогда сыт не бываешь! Конечно, легко быть щедрым за чужой счет. Почему тебе никто никогда не подавал, когда у тебя не было ни гроша за душой?..

4

Чуть-чуть не соблазнил меня все-таки дьявол-искуситель.

Учился со мной вместе в хедере мальчик Элик, сын богатых родителей. В карманах у него всегда было полным-полно всякого добра. Но чтобы хоть чем-нибудь угостить товарищей, — ни за что на свете! Это было не в его натуре. Проси не проси, хоть тресни, — он и понюхать не даст! И вот этот самый Элик неожиданно стал почему-то подлаживаться ко мне: сладенько улыбается, льнет, всячески норовит завязать со мной тесную дружбу.

— Знаешь, что я тебе скажу? — обратился он однажды ко мне. — Ты славный малый. Ей-богу! Я люблю тебя за то, что ты никогда не попрошайничаешь, как другие: «Дай, мол, мне кусочек! Дай попробовать!» Ненавижу попрошаек!.. Хочешь кусок конфетки?

— Тусот тонфетти? Отчедо же, с удовольствием! — ответил я.

— Ну, а орешки пощелкать ты бы не прочь? — спросил он.

— Орешти? — говорю. — Отчедо же нет? Будь у меня орешти, я бы с удовольствием пощелтал.

Элик засунул руку в карман. «Вот-вот, думаю, вытащит он конфетку или орешек и протянет мне». Не тут-то было! Он продолжал:

— Я дам тебе полмармеладки и три орешка, если... ты согласишься поменяться со мной. Хочешь меняться?

— Меняться? — спросил я. — Чем?

— Я, — говорит, — дам тебе мой ножик. Знаешь, мой белый ножик? Настоящий, завьяловский!

Странный вопрос! Знаю ли я белый ножик Элика? Да кто ж его не знает? Сколько раз этот ножик был предметом моей жгучей зависти! Сколько раз он мне снился!

— Ну, а я-то? — спросил я с недоумением. — Что я моду дать тебе взамен?

— Ты, — говорит, — дашь мне свой серебряный двугривенный.

— Соглашайся! — подзадоривал меня дьявол-искуситель. — Бери ножик. Это отличный ножик! Это отличный ножик! Все мальчики тебе будут завидовать.

Я уж собрался было выложить деньги на стол, но спохватился:

— Умнит татой! За двудривенный можно тупить новый ножит.

— Такой, как у меня? — возмутился Элик. — После дождичка в четверг!.. Постой, знаешь что? Я тебе дам еще полдюжины пуговиц в придачу.

— За денди, — говорю, — можно тупить десять тысяч дюжин пудовиц.

— Ну, а конфеты, — говорит, — а орешки — не деньги?.. Знаешь что? Обещаю тебе и клянусь честью: всякий раз, когда ты у меня что-нибудь попросишь, я буду давать тебе без отказа. Вот у меня есть железный гвоздь, смотри. Даю тебе этот гвоздь даром, ничего за него не возьму. Смотри, какой гвоздь!

— А на что, — говорю, — мне двоздь?

— Пригодится, глупенький, — отвечает он. — Можешь забить его куда угодно. А захочешь, можешь им ямку выкопать.

— А зачем мне — говорю, — ямти топать?

— Я тебе разрешу, — говорит, — пользоваться моим молитвенником,

— А для чего, — говорю, — мне чужие молитвеннити? У меня есть свой.

— Я тебе дам примерить мой субботний картузик.

— А на что, — говорю, — мне примерять чужие тартузити?

— Не хочешь? Тебе все мало? Так на ж тебе, на! — крикнул Элик, ткнув меня кулаком в бок. — Как вам понравится этот нищий, этот голоштанник?! Я ему и ножик, и пуговицы, и конфеты, и орешки, и гвоздь, и молитвенник, и картузик примерить — все ему мало! Ненасытная утроба у этих нищих, — сколько в нее ни пихай, они просят еще и еще! Думает, ежели у него есть серебряный двугривенный, ему и сам черт не брат. Погоди, Топеле Тутарету, ты еще у меня доиграешься! Боком выйдет тебе твой двугривенный!.. Нехемья, на вот, дарю тебе этот гвоздь!..

И Элик подарил гвоздь Нехемье (это был хромой и очень бедный мальчик). А со мной у него с тех пор дружба врозь.

5

Вам, конечно, интересно знать: для чего я все же припрятал деньги?

Во-первых, на пирушку, которую хедер устраивает ежегодно в складчину на праздники лагбоймер *. В этот день все мальчики приносят в хедер каждый свою лепту: кто деньги, кто съестное, кто лакомства. Один только я всегда приходил со своим обычным завтраком: кусок хлеба с чесноком. И всегда у меня лицо горело от стыда. Хоть меня и принимали в компанию наравне со всеми, но я чувствовал, что это делается из жалости. Это отравляло мне всю радость веселого детского праздника... «Теперь, — с гордостью думал я, — не нужна мне их доброта, не нужна их жалость. Слава богу, у меня у самого в кармане позвякивают деньжонки. И если такой папенькин сынок, как Элик, вносит четвертак, то будет достаточно, если я внесу копейку. Ведь я против Элика — ничто,

нищий! А если я дам не копейку, а целый пятак, — благородно это с моей стороны, как вы думаете? Так вот: я даю гривенник, и знайте, кто такой Копл Кукареку...»

И я бросил в общую копилку целый гривенник. Остальную сумму я приберег до другого раза.

Летом, когда начали поспевать ягоды и фрукты и на рундуке у Пирондички появились крыжовник и смородина, на меня снова насел дьявол-искуситель.

— Видишь, — говорит, — зеленый крыжовник? А вот погляди-ка, что за чудесная красная смородина!

— От зеленых ягод, — говорю, — только оскомину набьешь.

Тут даже дух добра пришел дьяволу на помощь.

— На свежую ягоду, — говорит, — и на фрукты установлена особая молитва. Отведай и помолись. Сделаешь богоугодное дело.

— Молитва, — говорю, — от меня не уйдет. Лето еще впереди: дойдет свой черед до вишни и до сливы, до яблок и до груш, до дынь и арбузов... Лучше уж я сохраню деньги до праздника кущей и куплю себе флажок.

Решено и подписано: я приберегу, с божьей помощью, деньги к празднику кущей и куплю себе флажок.

6

Наступил наконец праздник кущей, и я купил бумажный флажок — большой, ярко-желтый, расписанный и разрисованный с обеих сторон.

На одной стороне были изображены два зверя, напоминавшие кошек. Но в действительности это были львы, разинувшие свои пасти, из которых высовывались длинные языки. На языках были нарисованы свистелки; по-видимому, они должны были обозначать трубные рога, потому что на них крупными буквами было начертано: *«Фанфарами и трубными звуками»*.

Внизу, подо львами, было напечатано: справа — *«Знамя воинства иудейского»,* а слева — *«Знамя воинства Эфраима».*

Так была расписана одна сторона флажка. Обратная сторона была куда красивее. Там были портреты *Моисея и Аарона**. Как живые стояли они: Моисей — в большом картузе, надвинутом на брови, а Аарон — с золотым ободком на рыжей шевелюре. Посередине, между Моисеем и Аароном, была намалевана плотная толпа евреев. Все держали свитки торы. Намалеванные люди были похожи друг на друга как две капли воды: все в длинных, совершенно одинаковых кафтанах; все в туфлях и белых чулках; у всех пояса повязаны чуть пониже живота; у всех подняты ноги для пляски; и все поют, если судить по надписи: *«Радуйтесь и веселитесь в праздник торы».*

Имея флажок, надо обзавестись и древком. Пришлось прибегнуть к помощи столяра реб Зямы, того самого, который когда-то пытался научить меня говорить «по-человечески».

— Что скажешь хорошего, Топеле Тутарету?

— Древто т флажту...

— «Древто»! Что это означает? Не понимаю.

— Ну, — объясняю я, — тусочет дерева, чтобы притрепить т нему флажот.

Реб Зяма шутил и насмехался надо мной до тех пор, пока я не разревелся. Тут только он смягчился, стал ласков и забросил все дела. Он взял кусок дерева, обстрогал его, раз, два — и древко готово.

Теперь не хватало яблока и свечи. Свеча должна быть, конечно, восковая, а не стеариновая: если стеарин капнет на яблоко, оно осквернится, станет негодным к употреблению. А воск — другое дело, воск пищи не оскверняет.

Воску же у меня, понятно, больше, чем у кого бы то ни было из мальчиков. Мало того, когда кому-нибудь в хедере нужен воск, больше не к кому было обратиться, кроме как ко мне. Ведь мой отец — помощник синагогального служки. И весь

воск, остающийся от догоревших в Судный день свечей, принадлежит ему по праву — это одна из его доходных статей. Из этого воска отец делает тоненькие свечки для других праздников и продает их. А все, что при выделке свечей падает на пол, принадлежит мне — это моя доходная статья.

Одним словом, у меня уже есть все, что требуется!

7

Вечером восьмого дня кущей с флажком, насаженным на древко, поверх которого торчало румяное яблоко с вставленной восковой свечой, я отправился в синагогу, к хакофам *, веселый, радостный, как принц, как королевич, счастливее которого нет в мире!

И чудится мне, будто я уже в синагоге и занимаю самое почетное место, в восточном углу, рядом с детьми состоятельных родителей. Пылают свечи. Мой флажок красивее всех других флажков; мое яблоко румянее всех прочих яблок; моя свеча больше, чем другие свечи. В синагоге тесно и душно. Много женщин и девушек пришли поцеловать свитки торы. Торжественное шествие вокруг амвона возглавляет кантор реб Мейлах. Широко расправив полы своего молитвенного облачения, он выступает впереди всех с видом фельдмаршала и надтреснутым, жестяным голосом поет: «Помогающий обездоленным, помоги нам!» Женщины и девушки бегут навстречу торжественной процессии, целуют свитки торы и визгливо выкрикивают: «Дай вам бог дожить до будущего года! Дай вам бог дожить до будущего года!» На что им отвечают: «И вам того же! И вам того же!»

Но прежде чем спуститься в подвал, где помещается синагога мясников, приходится пройти мимо нескольких синагог и молелен местечка. Надо вам сказать, что все синагоги, все молитвенные дома и все молельни расположены у нас в местечке на од-

ной улице, рядом, почти что в одном дворе. Недаром весь участок так и называется: «синагогальный двор».

Это своего рода одна огромная синагога. Летом, когда все окна открыты настежь, к вам в уши врывается многоголосый гул, и вы одновременно слышите разные молитвы: и заздравные, и заупокойные, и псалмы, от первого стиха до «аллилуйя».

Два облика имеет наш синагогальный двор — будничный и праздничный. В будни это базар, на котором торгуют молитвенниками и разными предметами религиозного обихода, гнилыми яблоками, грушами, семечками, бобами, маковниками, бубликами и конфетами. На траве располагаются как дома местечковые козы и, тряся бородками, непрерывно жуют свою жвачку. Но лишь только наступает суббота, либо праздник, синагогальный двор резко меняется. Нет ни базара, ни торговли, ни коз. Двор кишмя кишит людьми, которые, собираясь кучками, оживленно беседуют, галдят, тараторят, рассказывают друг другу все новости за неделю и за целый год. Мальчишки из всех хедеров тоже все тут как тут. Они бегают, скачут, снуют взад и вперед, носятся по двору, чувствуя себя как рыба в воде. Господь подарил им чудесный день — свободный от ученья! Осматривая друг у друга новые пиджачки или картузики, мальчики примеряют, чей пиджачок длиннее, у кого голова больше, у кого над ухом волосы короче. При этом, разумеется, не скупятся на взаимные щипки, толчки, колотушки,—словом, здесь весело!

Но наибольшее оживление царит на синагогальном дворе вечером восьмого дня кущей. Мальчики приходят с флажками и разбиваются на группы по возрасту: старшие образуют одну группу, малыши выстраиваются отдельно. Затем начинается взаимное ознакомление: осматривают друг у друга флажки и стараются установить, у кого древко длиннее, чье яблочко румянее, у кого свеча из стеарина, у кого — из воска. При этом, конечно, обмениваются остротами, шутками и прибаутками. Вот кто-то

сыграл шутку: погасил свечу у товарища либо, подкравшись сзади, откусил у него кусок яблока. Взамен он получает пару оплеух и крепкие слова в придачу.

А потом ребята начинают расходиться — каждый в свою синагогу.

8

— Поздравляем! В добрый час! У Топеле Тутарету есть свой флажок! Здорово, парень, нос ошпарен!..

Этими словами приветствовали меня школьные задиры, как только я показался на синагогальном дворе.

Я оглядел флажки товарищей и мысленно сравнил их со своим. Какое может быть сравнение! Ничего похожего! Куда им до моего флажка!

Во-первых, взять флажок сам по себе. Ни у кого он не посажен на древко так прямо, чтобы одинаково хорошо можно было видеть обе его стороны. Ни у кого нет такого ровного, круглого, гладко отполированного древка, как у меня. Ни у кого нет такого гладенького, румяного яблочка. О свече и говорить нечего: у кого еще столько воску, сколько у меня? И уж никому, конечно, не выпало на долю столько пинков и затрещин, сколько я получил от отца, когда он застукал меня за сбором воска...

Я еще раз мысленно сравниваю свой флажок с другими, и гордостью наполняется мое сердце. Мне кажется, будто я расту, становлюсь все выше и шире и поднимаю голову высоко-высоко... Ноги у меня точно оторвались от земли и несут меня легко-легко. Хочется хохотать, кричать, визжать, бешено кружиться.

— А ну-ка, покажи! — окликнул меня изумленный Элик.

Каждый из нас осмотрел флажок другого. «Тоже еще, с позволенья сказать, флажок! — подумал я. — А что за древко! Кочерга, а не древко...»

Видно, что Элик сгорает от зависти. Но я прикидываюсь, будто ничего не замечаю, и отвожу от него глаза.

— Копл! — говорит он мне. — Откуда у тебя такое красивое древко?

— А? — говорю я и поворачиваюсь к нему лицом.

— Где ты раздобыл такое чудесное древко? — переспрашивает он.

— Что? — отвечаю я. — Может, хочешь обменять его на свой двоздь?..

Элик понял намек. Он сверкнул глазками, шмыгнул носом и, заложив руки в карманы, отошел в сторону. С чувством мстительного злорадства глядел я ему вслед, упиваясь своим превосходством. Но вот он отзывает в сторону хромоножку Нехемью и, кивая в мою сторону, о чем-то с ним шепчется. Мне это ясно видно, но я все еще притворяюсь, будто ничего не замечаю. Минуту спустя ко мне подходит Нехемья, держа в руке флажок Элика с кривым, как кочерга, древком.

— Дай мне, пожалуйста, зажечь свечу, — говорит он. — Видишь, у меня свеча погасла.

— Разве это твой флажот? — спрашиваю я, наклоняя свою свечу. — Я ведь знаю, чей это флажот.

Не успел я оглянуться, как Нехемья зажег свечу, поднес к моему флажку и поджег его. Мой флажок воспламенился и пф-пф-фу — конец флажку!

. . . .

Если бы камень свалился с неба и угодил мне прямо на голову, если бы дикий зверь стал терзать меня на части, если бы ночью ко мне явился мертвец в белом саване и стал меня душить, я не испытал бы такого чудовищного страха, такого ужаса, какой потряс меня при виде моего древка со сгоревшим флажком. Вопль вырвался у меня из груди:

— Флажок! Боже, мой флажок! Мой флажок!..

Слезы так и брызнули у меня из глаз. Весь мир как-то сразу померк. Древко с яблоком и свечой выпало из моих рук. Я поплелся сам не зная куда. Иду, а слезы, горькие слезы льются и льются. Оплакиваю флажок, как оплакивают покойника. Прихожу

домой, одинокий и обездоленный, без флажка, забираюсь в угол, сижу в темноте, уткнув голову в колени, и рыдаю тихо и беззвучно, чтобы никто не видел, чтобы никто не слышал. И задаю вопрос: «За что, боже милосердный? За что, владыка небесный? Чем провинился я перед тобой? За какие грехи караешь ты меня?..»

. . . .

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Знаете, дети, всякой сказке бывает конец — веселый или печальный, но конец приходит обязательно.

У еврейской сказки, к сожалению, конец чаще всего печальный. Есть у нас пословица: не для бедняков счастье. Да что долго рассказывать — подрастете, сами увидите...

История с моим флажком не кончилась на том, о чем я вам только что рассказал. После этого я серьезно заболел и мучился долго-долго; я метался в лихорадке и весь пылал. Перед моими глазами проносились страшные чудовища: змеи, разные пресмыкающиеся с огненными языками, страшные звери с человеческими головами. В ушах раздавались дикие крики, вой кошек, рев неведомых зверей. Меня бросало в жар и в холод; я бредил, я был полумертвец. Никто не верил, что я выживу. В синагоге мясников молились о моем выздоровлении и читали псалмы, как по покойнику. Я был на краю могилы.

Но так как в праздник вообще, а тем более в такой веселый, как праздник торы, полагается быть веселым, то и моя история с флажком тоже кончается весело.

Во-первых, как вы сами можете видеть, я, слава богу, не умер.

Во-вторых, знайте, что в следующем году у меня был к празднику флажок еще лучше, с еще более красивым древком, с яблоком еще румянее. И сидел я в синагоге в самом почетном углу, у восточной стены, рядом с детьми именитых обывателей нашего

местечка. Пылали свечи. Мой флажок выделялся своей красотой.

Торжественное шествие вокруг амвона возглавлял все тот же кантор реб Мейлах, выступавший впереди всех с видом фельдмаршала. Надтреснутым, жестяным голосом он пел: «Помогающий обездоленным, помоги нам!» Девушки и замужние женщины шли навстречу процессии, целовали свитки торы и визгливо выкрикивали: «Дай вам бог дожить до будущего года!», «Дай вам бог дожить до будущего года!» — «И вам того же!», «И вам того же!!»

И вам того же, детки!

ХАНУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ*

1

— Угадайте, дети, какой праздник самый лучший?!

— Ханука.

Восемь дней подряд не ходишь в школу, каждый день ешь оладьи с гусиным салом, играешь в разные игры и получаешь от всех ханукальные деньги. Разве может быть что-либо лучше?

Зима. На дворе холодно, стоят трескучие морозы, окна замерзли, покрыты инеем, чудесно разрисованы, а в доме тепло, уютно. Серебряная ханукальная лампада* приготовлена еще с полудня. Отец ходит по комнате, заложив руки за спину, и читает вечернюю молитву. Продолжая молиться, он вынимает из столика восковую свечку и обращается к нам (ко мне и к младшему брату Мотлу), говоря восклицаниями и делая знаки рукой:

— И! О! О! И-ну-о!

Мы не понимаем, чего он хочет, и спрашиваем:

— Что — спичку?

Отец показывает на дверь кухни:

— И! О! О! И-о-ну!

— Что? Кухонный нож? Ножницы? Ступку?

— Ах, и-о-ну! Фи! Ими![1] Ими! Мать, мать позовите.

Я и мой брат Мотл бежим изо всех сил на кухню.

— Мама, скорее, ханукальные свечки!

— Ой, горе мое, ханукальные свечки! — восклицает мать, бросает все свои работы (у нас резали гусей, теперь топят сало и замешивают оладьи) и бежит в комнаты, а за ней — кухарка Брайна, черноволосая женщина с усами, жирным лицом и вечно измазанными руками. Мать становится в сторонке и делает умильное лицо, а кухарка Брайна грязным фартуком проводит по носу снизу вверх, отчего на нем остается черный след. Мы, я и мой брат Мотл, силимся, сдерживаемся и вовсю, чтобы не прыснуть.

Отец подходит с зажженной свечкой к лампаде, наклоняется и произносит молитву традиционным напевом.

Мать благоговейно произносит «аминь», Брайна набожно качает головой, и при этом делает такое плаксивое лицо, что я и мой брат Мотл боимся взглянуть друг на друга.

— «Эти свечи, которые мы зажигаем», — распевает отец, расхаживая по комнате и кидая время от времени взор на лампаду.

Молитва тянется без конца. Нам хочется, чтобы он кончил и взялся за карман, вынул наконец кошелек. Мы перемигиваемся, подталкиваем друг друга:

— Мотл, пойди попроси у него ханукальные деньги.

— Почему это мне просить?

— Так ты моложе, тебе полагается просить.

— А по-моему, как раз наоборот, ты старший, тебе и полагается просить.

Отец отлично слышит, о чем мы толкуем, но притворяется, будто не слышит. Медленно, не спеша, подходит он к столу, открывает ящик и отсчитывает деньги. Легкий озноб проходит у нас по телу, руки дрожат, сердце колотится. Мы глядим на потолок,

---

[1] Мать! *(древнееврейск.)*

почесываем затылки, прикидываемся равнодушными, будто нас это и не касается.

Отец кашлянул.

— Гм... дети, подойдите-ка сюда.

— А? Что такое?

— Вот вам ханукальные деньги.

Получив ханукальные, мы идем, я и мой брат Мотл, сначала медленно, как подобает воспитанным детям, потом все скорей и скорей, подпрыгивая и приплясывая, а когда подходим к нашей комнате, мы больше не можем удержаться, кувыркаемся три раза через голову; прыгаем на одной ноге и поем:

Эна, бена, речь,
Квинта, квинта, жечь,
Эна, бена, ряба,
Квинта, квинта, жаба!

И от великой радости и восторга собственными руками даем себе два раза по щеке.

Открывается дверь, и входит дядя Беня.

— Ребята, вам следуют ханукальные деньги!

Дядя Беня вынимает из жилета два пятиалтынных и дает нам.

2

Никто в мире не скажет, что отец и дядя Беня — родные братья. Отец — высокий, худой, дядя Беня — низенький, толстый; отец — черный, дядя Беня — рыжий; отец — меланхолик и молчальник, дядя Беня — весельчак и говорун. День и ночь, зима и лето, — а все же родные братья.

Отец достает большой лист бумаги, делает на нем белые и черные клетки, велит принести из кухни белой и цветной фасоли.

Мать на кухне топит сало и печет оладьи. Я с братом Мотлом играю в юлу. Отец с дядей Беней садятся за шашки.

— Уговор, Беня, не брать ходов назад и не плутовать! Сделал ход — пропало, — говорит отец.

— Сделал ход — пропало,—говорит дядя Беня и подвигает шашку.

— Ход так ход, — говорит отец и бьет шашку дяди Бени.

— Ход так ход, — говорит дядя Беня и бьет две шашки.

Чем дальше, тем больше они увлекаются игрой, жуют бороды, раскачивают ногами под столом и напевают один и тот же мотив.

— Что делать, что делать, что делать? — говорит отец нараспев и жует кончик бороды. — Если я пойду сюда, он пойдет туда. Пойду я туда, он пойдет сюда. Так лучше сделаем такой ход!

— Такой ход, такой ход! — подпевает ему дядя Беня на тот же мотив.

— Чего же мне бояться?—напевно тянет отец.— Если он побьет мою шашку, я побью две. А вдруг он вздумает бить три шашки?

— Три шашки, три шашки, три шашки! — подпевает дядя Беня.

— Ой, и дурак же ты, Беня! — поет отец и делает ход.

— Сам ты дурак, братец мой, еще больший! — поет дядя Беня, делает ход и сейчас же спохватывается.

— Фи, Беня, мы же договорились: ход так ход! — говорит отец уже просто, без напева, и хватает дядю Беню за руку.

— Вот еще выдумал!.. — говорит дядя Беня. — Пока я не отнял руки от шашки, ход еще не сделан.

— Нет! — говорит отец. — Сделал ход — пропало, назад не брать.

— Назад не брать! — говорит дядя Беня. — Сколько раз случалось, что ты сам брал ходы назад?

— Я? — говорит отец. — Вот потому-то, Беня, я и не люблю с тобой играть в шашки.

— И не надо, не играй!

— Поздравляю! Уже дерутся из-за фасольки?— говорит мать, появляясь из кухни с раскрасневшимся лицом. За нею идет Брайна с большим блюдом горячих оладий с гусиным салом. От оладий валит

пар. Все идут к столу. Я и мой брат Мотл, которые только что ссорились, царапались, как коты, моментально миримся и усердно принимаемся за оладьи.

8

Ночью я лежу в постели и думаю: сколько, например, у меня соберется ханукальных денег, если все дяди, все тетки и все родственники дадут мне. Перво-наперво дядя Мойше-Арн, брат моей матери, хотя и очень скупой, но богач; затем дядя Иця и тетка Двойра, с которыми мои родители уже много лет в ссоре. Ну, а дядя Бейнуш и тетя Ента? А еще моя сестра Эйдл и муж ее Шолом-Зейдл? А все прочие родственники?

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Сколько, по-твоему, даст нам дядя Мойше-Арн ханукальных денег?

— Почем я могу знать? Я не пророк.

Через минуту:

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Есть у кого-либо столько дядей и теток, сколько у нас?

— Может быть, и есть, а может быть, и нет...

Через две минуты:

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Если ты спишь, как же ты говоришь со мной?

— Раз ты спрашиваешь, я же должен ответить...

Через три минуты:

— Мотл, ты спишь?

— Тссс... Трррр... хиль-хиль-хиль... тсссс.

Мотл храпит, свистит носом, а я сажусь на кровати, вынимаю свой рубль, разглаживаю его, осматриваю.

«Простая бумажка, кажется,—думаю я.—А чего только на нее не купишь: игрушек, ножиков, тросто-

чек, кошельков, орехов, и конфет, и изюму... Чего только не купишь?»

Я прячу рубль под подушку, читаю молитву на сон грядущий... Входит Брайна с целым блюдом рублей... Брайна не идет, она витает в воздухе и поет слова молитвы: «Свечи, которые мы зажигаем», а Мотл глотает рубли, словно галушки. «Мотл! — кричу я во всю глотку. — Господь с тобой, Мотл, что ты делаешь? Рубли???» Я просыпаюсь: «Тьфу, тьфу, тьфу... Какой сон?»

И засыпаю.

4

На следующее утро после завтрака мать напяливает на нас наши шубки на кошачьем меху, повязывает нас большими теплыми платками, и мы отправляемся за ханукальными деньгами. Первый визит, разумеется, к дяде Мойше-Арну.

Дядя Мойше-Арн — болезненный человек, вечно возится с желудком. Когда ни придешь, застанешь его у рукомойника. Он моет руки и бормочет: «Ашер-йоцер» *.

— Доброе утро, дядя Мойше-Арн! — выпаливаем мы разом, я и мой брат Мотл. Нас встречает тетя Песя, низенькая женщина — один глаз черный, другой белый, то есть одна бровь черная, другая белая. Тетя Песя снимает с нас шубки, платки, вытирает нам носы своим передником.

— Сморкайтесь! — говорит тетя Песя. — Сильнее, сильнее сморкайтесь! Нечего жалеть! Еще! Еще! Вот так!

Дядя Мойше-Арн, в старом халате на кошачьем меху, в ватной ермолке, с ватой в ушах и с облезлыми усами, стоит у рукомойника, моет руки, морщит лицо, мигает глазами и набожно шепчет свою молитву.

Я и мой брат Мотл сидим как пригвожденные к столу. Когда бы мы сюда ни пришли, нас всегда гне-

тет какая-то тоска, тяжесть. Тетя Песя садится против нас, складывает руки на груди и приступает к допросу:

— Как отец поживает?

— Ничего.

— Как мать поживает?

— Ничего.

— Гусей резали?

— Резали.

— Сало топили?

— Топили.

— Оладьи пекли?

— Пекли.

— Дядя Беня был?

— Был.

— Играли в шашки?

— Играли.

И так дальше.

Тетя Песя еще раз приводит наши носы в порядок и обращается к дяде Мойше-Арну:

— Мойше-Арн, надо им дать ханукальные деньги.

Дядя Мойше-Арн не слышит; он потирает руки и нараспев кончает свою молитву.

Тетя Песя еще раз:

— Мойше-Арн, ханукальные деньги детям.

— А? Что? — спрашивает дядя Мойше-Арн и перекладывает вату из одного уха в другое.

— Ханукальные деньги детям! — кричит ему тетя Песя в самое ухо.

— Ой, живот! живот! — говорит дядя Мойше-Арн и хватается обеими руками за живот. — Ханукальные деньги вам? На что детям деньги? Что вы будете делать с деньгами? А? Истратите, растранжирите, а? Сколько вам отец дал ханукальных?

— Мне рубль, — говорю я, — а ему полтинник.

— Рубль?.. Гм... Балуют детей... Сами же губят их. Что сделаешь со своим рублем? А? Разменяешь? А? Смотри не разменяй. Слышишь, что тебе говорят? Смотри не разменяй. А может, собираешься разменять?

— Разменяют, не разменяют, — тебе-то что? — говорит тетя Песя. — Отдай им то, что им полагается, и пусть идут себе с богом.

Дядя Мойше-Арн идет в свою комнату, шаркает туфлями, ищет во всех ящиках и шкатулках, наскреб несколько монет, ворча про себя:

— Гм... балуют детей, губят их! Губят вконец!

И он сует нам в руку несколько потертых медяков. Тетя Песя снова (в последний раз) берется за наши носы, надевает на нас шубки, закутывает нас в большие теплые платки, и мы уходим.

Мы бежим по белому, морозному, скрипящему снегу и считаем потертые медяки, которые сунул нам дядя Мойше-Арн, и никак не можем сосчитать. Руки у нас озябли, покраснели и распухли, монеты все медные, большие, тяжелые, какие-то гривны допотопные, пятаки стертые, гроши старинные, позеленевшие. Трудно, невозможно сосчитать на морозе, сколько дядя Мойше-Арн дал нам ханукальных денег...

5

Второй наш визит — к дяде Ице и тете Двойре, к тем самым, с которыми отец и мать уже много лет в ссоре. Почему они в ссоре, мы не знаем. Мы знаем одно, что отец и дядя Иця (родные братья) друг с другом не разговаривают, хотя молятся в одной синагоге и сидят рядом на одной скамье. В праздник, когда с амвона читается соответственный раздел Пятикнижия и за честь прочитать отрывок этого раздела прихожане должны внести какую-либо сумму в пользу синагоги, — между прихожанами начинается азартный торг. Тогда оба брата обязательно стремятся отбить эту честь друг у друга. В синагоге тогда настоящий базар. Разговаривают, перебегают с места на место, шушукаются, смеются и помогают торгу. Всякому хочется знать, за кем останется «шиши» * или «мафтир» *. Всем хочется, чтоб торговались подольше. Синагогальный служка, рыжий

Мехчи, стоит у амвона, перегнувшись корпусом вперед. Его молитвенное покрывало упало с плеч, ермолка съехала набок. Мехчи смотрит на восточную сторону, где сидят отец и дядя Иця, и гнусит:

— Восемнадцать гилдойн* за «шиши»! Двадцать гилдойн за «шиши»! Двадцать два гилдойна за «шиши»!

Отец и дядя Иця сидят друг к другу спиной, оба будто погрузились в свои молитвенники. Но стоит одному объявить цену, чтоб другой сейчас же надбавил. Народ доволен, помогает торговаться:

— Тридцать! Тридцать пять! Тридцать семь! Сорок! Сорок!

Служка Мехчи смотрит то на одного, то на другого брата.

— Сорок гилдойн за «шиши»! Сорок два гилдойна за «шиши»! Сорок пять гилдойн за «шиши»!

Отец и дядя не перестают набавлять. Уже подняли цену до пятидесяти злотых. Мехчи поднимает руку и хочет уже пристукнуть:

— Пятьдесят гилдойн!

Вдруг спохватывается дядя Иця, поднимает один палец. Народ кричит: «Пятьдесят один! Пятьдесят один!» — и торг продолжается. Цена поднялась до шестидесяти с лишним злотых (цена неслыханная), и «шиши» остается за дядей Ицей. Потом продается «мафтир». Отец посмотрел на служку и махнул рукой, как бы желая сказать: «Мафтир» мой». Мехчи ничего против этого не имеет, но народ не согласен: «Как же без торгов? На то праздник. Нет монополии на «мафтир».

— Десять гилдойн за «мафтир»! Пятнадцать гилдойн за «мафтир»! Пятьдесят гилдойн за «мафтир»!

Ну и скачок! Отец оглядывается, кто это хочет отбить у него «мафтир». И представьте — это опять дядя Иця захотел купить «мафтир» для своего младшего зятя. Ах! И «шиши» и «мафтир»! Извините! Бить в два кнута? Не пройдет! Отец подымается, мигает служке:

— Сто.

Слово «сто» громом проносится по синагоге. Все ошеломлены. Такой цены никогда в синагоге не слыхали со дня ее основания.

А Мехчи гнусит как ни в чем не бывало:

— Сто гилдойн за «мафтир»! Сто гилдойн за «мафтир»! Сто гилдойн... (Собирается пристукнуть.)

Тут дядя Ица поднимается с места. Отец как-то странно смотрит на него, как бы говоря: «С ума спятил? Зарезать хочешь? Режь!»

Дядя Ица садится, и «мафтир» остается за нами...

Но одно другого не касается. Когда случается торжество у нас или у дяди: рождение девочки или обрезание у сына, помолвка, свадьба, — они приходят друг к другу в гости, усаживаются на почетных местах, радуются и пляшут вместе со всеми гостями.

— Доброе утро, дядя Ица! Доброе утро, тетя Двойра! — выпаливаем мы, я и мой брат Мотл, одновременно, и нас принимают, как желанных гостей.

— Вы небось не в гости пришли, а за ханукальными деньгами, — говорит дядя Ица, треплет нас по щеке, вынимает кошелек и дает нам ханукальных: мне — новый серебряный двугривенный, и моему брату Мотлу — новый серебряный двугривенный. Мы отправляемся к дяде Бейнушу.

6

Кто хочет себе представить ад наяву, пусть зайдет в дом к дяде Бейнушу. Когда ни придешь, там шум, крик, галдеж. Там полон дом детишек. Полуголые, грязные, замызганные, немытые, вечно дерутся, царапают друг дружку, часто до крови, под глазами у многих синяки. Кто смеется, кто плачет, этот поет, тот визжит, один гудит, другой свистит. Один сорванец надел отцовский сюртук, закатав рукава, а другой разъезжает верхом на метле. Один пьет молоко прямо из кувшина, другой щелкает орехи, третий держит в руке голову селедки, четвертый сосет конфетку, а из носика сопли текут ему прямо в рот. У тети Енты железные нервы, если она

может сладить с этой оравой: она их ругает, щиплет, награждает тумаками. Она не разбирает: кто попался под руку, тот и получает по спине, по шее, куда попало. Подзатыльники, оплеухи — здесь сущие пустяки. Там услышишь и «холеру», и «чуму», и «проказу» — и все это говорится самым добродушным тоном, как другой скажет «здравствуй». Галдеж утихает лишь с приходом дяди Бейнуша. Но так как дядя, человек занятой, пропадает целый день в лавке и домой является только закусить, то у него в доме постоянно ад кромешный.

Войдя к ним, мы увидели Азрилика (среднего) верхом на Геце (старшем), а Фройка с Мендлом (двое помоложе) подгоняли Гецю, один рукавом ватного кафтана, другой — переплетом молитвенника. Хаим (средний между Фройкой и Мендлом) достал где-то горлышко от зарезанного гуся, надул его изо всех сил, как надувают резинового чертика, от натуги весь посинел, и ему удалось извлечь какой-то дикий звук, напоминающий визг свиньи, когда ее режут. Зайнвл (его возраста я не знаю — не то старшенький, не то младшенький) дает концерт на гребешке, а Давид (мальчик лет четырех) надел сапоги на руки и отбивает ими такт. Сендер тащит котенка за горло; котенок высунул язык, закрыл глазки, вытянул ножки, как бы жалуясь: «Видите, как здесь туго приходится! Мучают меня! мучают!..» Эстер (старшая девочка) вздумала причесать Хаську (младшую девочку), заплести ей косичку, но так как у Хаськи волосы кудрявые и давно не чесаны, то она не дается, кричит благим матом, и Эстер ее шлепает. Тише всех сидит Пиня, крошечный мальчик с искривленными ножками и подоткнутой рубашонкой. Одно плохо: где бы он ни стал, он оставляет след...

Все это, однако, не мешает тете Енте сидеть спокойно за столом, с одним ребенком у груди, с другим на коленях, и распивать цикорий.

— Крошка моя дорогая! — говорит она и прижимает к сердцу малютку, сосущую грудь, и в то же время тетя локтем ударяет старшенького, который сидит у нее на коленях.

— Смотри, как ты ешь, чтоб тебя черви ели! Эстер, Рохл, Хаська, куда вас черт занес? Утрите ему нос скорей, вымойте мне блюдце, без блюдца мне пить? Дайте ему тумака. Золотце мое, ласточка моя, радость моя! И как только не лопнут! С раннего утра все жрут да жрут!

Завидев меня и моего брата Мотла, ребята кинулись к нам и облепили нас, как саранча. Хаим подул в горлышко зарезанного гуся прямо над моим ухом, а Давид обнял меня своими сапогами, надетыми на руки. Пиня с подоткнутой рубашонкой уцепился за мою ногу, обвился вокруг нее, как уж; поток разных звуков и голосов оглушил нас.

— Чтоб вам онеметь! — кричит тетя Ента из другой комнаты. — Оглохнуть можно от вас! Разве это дети? Какие-то черти, чтоб вам сгореть!

Тетя Ента кричит, дети кричат, все кричат. Вдруг приходит дядя Бейнуш из синагоги. В одно мгновение все утихает, и вся орава исчезает.

— Доброе утро, дядя Бейнуш! — выпалили мы оба вместе, я и мой брат Мотл.

— Что скажете, шалуны? Небось за ханукальными деньгами пришли! — говорит дядя Бейнуш и дарит нам по серебряному гривеннику.

Дети, точно тараканы, смотрят на нас из углов, поблескивают глазами, как мышата, показывают пальцами, строят уморительные рожи, по-видимому, желая нас рассмешить, — мы еле-еле удерживаемся от смеха и удираем из этого ада.

7

Теперь мы идем за ханукальными к нашей сестре Эйдл. Эйдл с детства была какая-то плаксивая душа. Из-за малейшей глупости она плакала, проливала слезы над своим и чужим горем. А с тех пор, как стала невестой Шолом-Зейдла, у нее глаза не просыхали. И не потому, чтоб жених ей не нравился. Избави бог! Разве она его знала? Она его и в глаза не видала. Но невесте полагается плакать. Когда портной

принес ей к примерке свадебное платье, она проревела всю ночь. Перед свадьбой, когда подружки собрались к ней на девичник потанцевать, Эйдл ежеминутно убегала в свою комнату поплакать в подушку. А в день свадьбы уж и говорить не приходится — то был ее день. Целый день были слезы. Но самое замечательное началось в тот момент, когда скрипач Менаше заиграл на своей скрипке подвенечную мелодию, а бадхн * Борух влез на стол, сложил руки на животе и запел известную трогательную песню:

Голубушка-невестушка,
Восплачь-возрыдай!
Слезам горьким
Волюшку, ты, дай.
Наряд подвенечный
Ты свой одевай,
Девичьей волюшке
Скажи ты «прощай»!
и т. д.

Женщины, родные и знакомые, которые расплетали невесте ее длинные косы, строили печальные рожи, всхлипывали, пускали слезу, а сама Эйдл так ревела, так рыдала, что три раза падала в обморок, еле в чувство привели ее.

Но насколько сестра наша Эйдл была слезлива, настолько ее муж, Шолом-Зейдл, был весельчак, затейник, шутник и, да простит он мне, — ужасно надоедливый человек. Пристанет — не отвяжешься от него. Любил донимать нас щелчками; это было его величайшим наслаждением. Частенько мы, я и мой брат Мотл, ходили с распухшими ушами от его щелчков. Мы прямо-таки ожили, когда узнали, что молодожены от нас съезжают на собственную квартиру. В день переезда у нас в доме было как на похоронах. Эйдл плакала навзрыд, а мать, глядя на нее, тоже плакала. А Шолом-Зейдл якобы помогал укладывать вещи, носился по дому, каждый раз очень ловко подкрадывался к нам и отпускал нам щелчки то в нос, то в ухо. Он щедро наградил нас ими, и имел еще смелость просить нас почаще приходить к

нему в гости. Мы дали себе слово не переступать порог его дома. Но человек забывает все, в особенности щелчки. Да и как не пойти к родному зятю за ханукальными деньгами?

Когда мы вошли, Шолом-Зейдл торжественно приветствовал нас:

— Добро пожаловать! Как поживаем? Вот умники, что пришли, я приготовил для вас ханукальные денежки.

Шолом-Зейдл вынимает кошелек и отсчитывает нам по нескольку новеньких блестящих серебряных монет прямо в руки. Мы не успеваем сосчитать наши деньги, как Шолом-Зейдл уже угощает нас щелчками: меня в ухо, а брата в нос, потом меня в нос, а брата в ухо.

— Да перестань ты их мучить! — умоляет его наша сестра Эйдл со слезами на глазах. Она отзывает нас в сторону, пихает нам в карманы пряники и орехи и дает нам от себя ханукальные деньги.

Мы стрелой мчимся домой.

8

— Ну-ка, Мотл, давай сосчитаем наши капиталы! Но давай так. Ты помолчи, раньше я сосчитаю свои, потом ты сосчитаешь свои.

И я считаю: рубль, и три двугривенных, и четыре пятиалтынных, и пять гривенников, и шесть пятачков — сколько же всего? Один рубль и три двугривенных, и четыре пятиалтынных, и пять гривенников, и шесть пятачков...

Мой брат Мотл не хочет дожидаться, пока я кончу, и принимается за свои капиталы. Он перебрасывает монеты из одной руки в другую и считает:

— Двугривенный и двугривенный — два двугривенных, и еще двугривенный — три двугривенных, и два пятиалтынных — будет три двугривенных, и два пятиалтынных, и гривенник, и еще гривенник, и еще гривенник, — будет два двугривенных и три

пятиалтынных, то есть три пятиалтынных и два двугривенных... тьфу, что я говорю? Надо начать сначала.

И он начинает сначала. Мы считаем, считаем, — и никак не сосчитаем. А когда дело доходит до медяков дяди Мойше-Арна, мы окончательно запутываемся в счете. Его старинные пятаки, стертые алтыны и позеленевшие гроши окончательно сбивают нас со счета. Мы пытаемся выменять эти деньги у матери, у отца, у нашей кухарки Брайны: не удается, никто их в руки брать не хочет.

— Что это за пятаки? Кто всучил вам такие деньги?

Нам стыдно признаться, и мы молчим.

— Знаешь что? — говорит мне мой брат Мотл. — Давай кинем их в печку, а то выбросим на снег, чтоб никто не заметил.

— Какой ты умник! — говорю я. — Лучше уж нищему отдать.

Но как назло ни один нищий не показывается. Куда подевались все нищие? Никогда к вам не придет тот, кто вам нужен! Никогда! Никогда!

ЧАСЫ

Рассказ

Часы пробили тринадцать...

Не подумайте, что я шучу. Я рассказываю вам вполне правдивую историю, которая случилась в Касриловке, у нас в доме. Я сам был свидетелем этой истории.

У нас были стенные часы, старые-престарые часы; отец получил их в наследство от деда, дед — от прадеда, и так они переходили от поколения к поколению с незапамятных времен. Право, жаль, что часы — не живое существо, что у них нет языка и они не умеют говорить: они бы многое могли порассказать... Наши часы пользовались славой первых часов в городе — «часы реб Нохума!..». Они так хорошо шли, так верно показывали время, что люди ставили по ним свои часы. Представьте себе, даже Лейбуш-философ, настоящий мудрец, который определял заход солнца по самому солнцу и знал наизусть календарь, даже он говорил (я слышал из его собственных уст), что хотя наши часы... по сравнению с его часами сущая ерунда, понюшки табаку не стоят, но по сравнению с другими наши часы все-таки часы... А уж если Лейбуш-философ сказал, то на его слова можно было положиться, потому что каждую субботу под вечер, между предвечерней и вечерней

молитвами, он не ленился подниматься в женское отделение синагоги * или на вершину холма возле старой синагоги и затаив дыхание следить за солнцем, ловить мгновение, когда оно сядет. В одной руке держал он часы, в другой — календарь, и, когда солнце спускалось за Касриловку, реб Лейбуш говорил: «Поймал!» Часто он заходил к нам сверять часы. Войдя, он никогда не скажет «добрый вечер», а только взглянет на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь, потом еще раз на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь — и нет его.

Лишь однажды реб Лейбуш, придя к нам сверить часы, поднял крик:

— Нохум! Скорей! Где ты?

Отец прибежал ни жив ни мертв.

— А?! Что случилось, реб Лейбуш?

— Злодей, ты еще спрашиваешь!.. — отвечает реб Лейбуш и сует прямо в лицо отцу свои карманные часы, потом показывает ему на наши стенные часы и кричит голосом человека, которому наступили на мозоль: — Нохум! Что ты молчишь? Они ведь спешат на полторы минуты, на полторы минуты! Им место на свалке!!! — Последнее слово он произносит с такой силой, как в молитве слова «бог един».

Отцу досадно: как это его часам место на свалке!

— Откуда известно, реб Лейбуш, что мои часы спешат на полторы минуты? А может наоборот, может ваши часы *отстают* на полторы минуты? Чего только не бывает!

Реб Лейбуш смотрит на него такими глазами, как если бы отец сказал, что первое число будет продолжаться три дня подряд, или что канун пасхи выпал в июле, или еще тому подобные нелепости, от которых, если принять их всерьез, может хватить удар. Реб Лейбуш не отвечает ни слова. Он глубоко вздыхает, поворачивается, не простившись, хлопает дверью — и нет его! Но это еще ничего; весь город знает: реб Лейбуш — человек, которому не нравится ни одна вещь на свете. О лучшем канторе он скажет, что это кочан капусты; умнейшего человека назовет

скотиной в ослином обличье; счастливое бракосочетание сравнит с кривой кочергой и о самом справедливом высказывании отзовется, что оно идет к делу, как пятое колесо к телеге. Такой уж человек реб Лейбуш-философ.

Но возвращаюсь к нашим часам. Это, говорю я вам, были часы что надо! Их бой был слышен за три дома: бом!.. бом!.. бом!.. Почти половина города жила по нашим часам. По ним читали и полуночную и утреннюю молитвы; в пятницу по ним пекли халу, солили мясо, благословляли субботние свечи, а к исходу субботы — зажигали свет: по нашим часам делали все, что имело отношение к еврейским обрядам. Словом, наши часы были городскими часами. Служили они, сердечные, очень, очень верно, никогда не останавливались даже на сутки, ни разу за всю свою жизнь не побывали в руках у часового мастера. Отец возился с ними сам (он достаточно разбирался в тонкостях часового дела). Каждый раз накануне пасхи отец осторожно снимал часы со стены, прочищал пером, извлекая из их внутренностей паутину с запутавшимися в ней мухами, которых пауки заманили туда и свернули им головки, и мертвых тараканов, заблудившихся там и погибших насильственной смертью... Протерев и прочистив часы, отец вешал их обратно на стену и сиял. Вернее, они вместе сияли: часы сияли оттого, что их причесали и нарядили, а отец сиял оттого, что часы сияли.

И был день, и случилась история. Однажды, в хорошую ясную погоду, мы все сидели за столом и завтракали. У меня была привычка: когда бьют часы, считать удары и непременно вслух:

— Раз... два... три... семь... одиннадцать... двенадцать... тринадцать... Ой, тринадцать!

— Тринадцать? — смеется отец. — А ты мастер считать, ничего не скажешь. Разве бывает тринадцать часов?

— Тринадцать, чтоб мне провалиться, тринадцать!

— Тринадцать оплеух ты от меня получишь, — говорит отец, рассердившись. — Не смей повторять

такие глупости. Часы, невежда, не могут бить тринадцать!

— Знаешь, Нохум, — вмешивается мать. — Боюсь, что ребенок прав. Мне кажется, и я насчитала тринадцать!

— Вот так новости! — говорит отец.

Похоже было на то, что и он начинает сомневаться. После завтрака он подходит к часам, взбирается на табурет, трогает какое-то колесико, и часы снова бьют. Мы все втроем считаем и киваем головой в такт ударам: «Раз... два... три... семь... девять... двенадцать... тринадцать».

— Тринадцать?.. — Отец смотрит на нас, как человек, который вдруг услышал, что стена заговорила, неожиданно обрела дар речи.

Он еще немного ковыряется в колесике, и часы еще раз бьют тринадцать. Отец, бледный, со вздохом слезает с табурета, останавливается посреди комнаты, смотрит на потолок и, жуя кончик бороды, рассуждает сам с собой:

— Бьют тринадцать... Что же это такое? Что бы это могло означать? Будь они испорчены, они бы остановились. В чем же тут дело? Надо понимать так: спружинка...

— Что ты мудришь: спружинка, спружинка? — говорит ему мать. — Берут часы и исправляют. Ты ведь мастер!..

— Что ж? Может, ты и права... — отвечает ей отец, снимает часы со стены и начинает возиться с ними. Он трудится, потеет над часами целый день и наконец вешает их на место — слава богу, идут как следует. А когда приходит полночь, мы все стоим около часов и насчитываем двенадцать! Отец ликует:

— Слышали? Больше не бьют тринадцать? Если я говорю — спружинка, значит можете мне поверить!..

— Я давно знаю, что ты на все руки мастер, — говорит мать. — Только одного я не понимаю: почему они хрипят? Они как будто никогда так не хрипели.

— Это тебе кажется! — говорит отец, прислушиваясь, как хрипят часы, когда приходит время бить,

Словно старик, которого донимает кашель: хил-хил-хил-хил-тр-р-рр... и только после этого: бом!.. бом!.. бом!.. Но и самый «бом» уже не тот, что прежде: прежний «бом» был веселый «бом», жизнерадостный, а теперь закралась в него какая-то грусть, какая-то тревога, и звучит он, как голос старого, отслужившего свое кантора, когда он в Судный день читает последнюю молитву.

Хрип все усиливается, бой становится все тише и печальнее, а отец все мрачнеет. Ему больно, он молча страдает, он вне себя от того, что ничем не может помочь. Кажется, вот-вот — и часы совсем станут. Маятник начинает проделывать какие-то диковинные номера: он замедляет ход, отклоняясь в сторону, словно цепляется за что-то, как старик, который волочит ногу. Видно, часы собираются остановиться навсегда, навеки. К счастью, отец своевременно спохватывается, что часы тут ни сном ни духом не виноваты, — виноваты гири: мало груза! И отец привешивает к гирям все, что подвертывается под руку (весом в несколько фунтов). И снова часы наши как песня. И отец снова весел — совсем другой человек!

Однако радость наша продолжается недолго. Часы опять начинают лениться, и маятник опять вытворяет странные штуки: в одну сторону отклоняется медленно, в другую — быстро; от скрежета часов скребет на душе, ноет сердце. Больно видеть, как умирают часы. И отец, глядя на них, тает, исходит жалостью.

Как хороший опытный врач, который жертвует собой ради больного, напрягает все силы, применяет все средства, чтобы исцелить его, не дать ему умереть, так отец всеми способами спасал старые часы.

— Мало груза — мало жизни! — говорит отец и привешивает к гирям одну тяжесть за другой: сначала железную сковородку, потом медную кружку, за ней железный утюжок, мешочек песку, несколько кирпичей — часы набираются сил и идут, с трудом, с мучениями, но идут, пока не случилось однажды ночью большое несчастье.

Это было зимой, в пятницу вечером. Мы покончили с субботним ужином: вкусной наперченной рыбой с хреном, горячим бульоном с лапшой, цимесом из слив — и совершили благословение по всем правилам. Субботние свечи еще не догорели. Служанка достала из печи свежие, теплые, хорошо высушенные семечки. Вошла тетя Ента, смуглая, молодая, но беззубая женщина, которую бросил муж. Вот уже несколько лет, как он уехал в Америку.

— Доброй субботы, — говорит тетя Ента, — я так и знала, что у вас свежие семечки; беда только, грызть нечем, чтоб ему, моему злодею, жить столько лет, сколько у меня зубов во рту... Как тебе нравится, Малка, что творилось сегодня с рыбой? Я спрашиваю его, рыбака Менаше: «Почему у вас такая дороговизна?» Но тут подскакивает богачка Соре-Перл: «Дайте мне, дайте мне скорее, свешайте мне вот эту щучку!» — «Куда вы так спешите? — говорю я. — Бог с вами. Река не сгорит. И Менаше свою рыбу не повезет обратно; у богачей, — говорю я, — деньги, видно, дешевы, а ум дорог...» И что же вы думаете? Она как откроет ротик: «Беднякам, говорит, здесь нечего делать... Бедняку, говорит, и хотеться не должно...» Ну, видели вы такую негодницу! Давно ли она стояла со своей мамашей у столика на базаре и продавала ленты? Точно так же, как Песл Пейси-Аврома хвастает своей дочерью: мол, вышла за стрищенского богача, который взял ее как есть, без гроша за душой... Еврейское счастье, — говорят, она мучается день и ночь, все с детьми не может поладить... Известно, разве приятно быть мачехой? Упаси бог! Вот, к примеру, Хавеле. Кажется, что с нее возьмешь? Вы бы посмотрели, как ей достается от его детей! С утра до ночи крики, шум, гам, дым коромыслом!

Свечи оплывают. Тени ползут по стене, взбираются все выше и выше. Семечки трещат, люди мирно беседуют, рассказывают истории о том о сем, просто так, каждая история сама по себе. Больше всех говорит тетя Ента.

— Постойте! — восклицает она. — Недавно случилась история еще почище. Недалеко от Ямполя, версты за три, разбойники напали на корчму, целую семью вырезали, даже малое дитя в люльке — и то не пощадили. Уцелела только служанка, которая спала в кухне на печи; услышав, что кричат, она, служанка эта, спрыгнула с печи, посмотрела в дверную щель, и увидела она, служанка эта, на полу зарезанных хозяина и хозяйку, а крови — река целая... Недолго думая служанка выскочила в окно и побежала прямо в город с криком: «Спасите, люди добрые, караул, караул, караул!!!»

Тетя Ента кричит «караул!», и вдруг мы слышим: «трах-тарарах-бом-динь-динь-бом!» Увлеченные историей, мы подумали, что разбойники напали на наш дом и выпалили из десяти пушек или же крыша обвалилась, землетрясение началось, а то еще какое-нибудь несчастье случилось. Мы замерли. Минуту молча смотрели друг на друга, а потом все разом как закричим: «Караул! караул! караул!» В общей сумятице мать прижимает меня к себе.

— Дитя мое! Да минет тебя зло! О, горе мне!

— А? Что? Что с ним? Что случилось? — кричит отец.

— Ничего, ничего, тише, тише! — кричит тетя Ента, размахивая руками.

Из кухни вбегает испуганная служанка.

— Кто кричит? Что такое? Горит? Где горит?

— Кто горит? Что горит? Чтоб ты сгорела, девка этакая, чтоб тебе сгореть и испепелиться! — кричит на служанку тетя Ента. — Мало было, так ее черти принесли... Вот тебе на, горит! Чтоб тебе провалиться! Слыхали вы такое! Какого беса вы кричите! Чего всполошились? Проклятие моим врагам! Вот так перепуг, было бы с чего! Стука испугались! Смех берет! Бог с вами, это часы, часы упали, теперь вам ясно? Навешали на часы всякой всячины целых три пуда, вот они и упали. Что тут удивительного? Если бы столько повесили, простите, на человека, он бы тоже поступил не лучше. Слыхали такое?

Лишь теперь мы приходим в себя. Один за другим поднимаемся из-за стола, подходим к часам и смотрим, как лежат они, бедные, лицом вниз, сломанные, разбитые на мелкие части, искалеченные навсегда.

— Конец часам, — произносит побледневший отец, низко опустив голову, словно перед ним лежит покойник. Отец ломает руки, и слезы стоят у него в глазах. Я смотрю на отца, и мне тоже хочется плакать.

— Что ты, успокойся, зачем принимать это близко к сердцу? — говорит ему мать. — Наверно, так суждено, начертано на небесах, чтобы сегодня, в эту минуту, пришел им конец, как, простите, человеку, да помилует меня бог! Пусть будут они искуплением за меня, за тебя, за наших детей, за всех наших родных и близких и за всех людей на свете. Аминь...

Всю ночь после этого мне снились часы. Я видел: наши старые часы лежат на полу, одетые в белый саван. Я видел: часы идут, но вместо маятника болтается из стороны в сторону длинный язык, человеческий язык. И часы не бьют, а стонут, и каждый их стон отзывается во мне болью... А на циферблате, где я привык видеть двенадцать, вижу я вдруг цифру тринадцать. Именно тринадцать. Можете мне поверить на слово.

У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА*

1

Знаете, кому я завидовал в детстве, когда был маленьким мальчиком?

Артаксерксу.

Не тому Артаксерксу, царство которого простиралось от Индии до Эфиопии и который держал под своей властью сто двадцать семь стран. Нет, я завидовал портному Коплу, когда он появлялся у нас в золотой короне, то есть в бумажном колпаке, с длинным золотым скипетром из метлы.

Завидовал я также первому царедворцу Мордехаю* (сапожнику Лейви), когда он напяливал на себя старый, вывернутый наизнанку кафтан и подвязывал к подбородку большую всклокоченную бороду из пеньки.

Завидовал я и царице Вашти* (столяру Мотлу). На нем поверх длинного кафтана была женская юбка, а бороденка прикрыта платочком, чтобы придать ему больше сходства с женщиной...

А как хорошо было царице Эсфири*, когда она выходила в зеленом переднике (это был помощник синагогального служки Эйзер), или Аману*, которому нахлобучивали на голову треснувший горшок (помощник меламеда Иоська)!..

Но больше всех завидовал я сироте Файвлу: его наряжали в красную рубаху, и он изображал Иосифа-прекрасного *. Братья срывали с него красную рубаху, а его самого низвергали в яму львиную. Иосиф-прекрасный, преклонив колени и скрестив руки на груди, произносил заклинание, чтобы свирепые звери не смогли обрести власть над его телом. При этом он пел грустную песенку, трогательные слова которой проникали глубоко в сердце:

Змеи и гады,
Закройте ваш зев!
Закройте ваш зев!
Иль неведомо вам,
Иль неведомо вам,
Иль неведомо вам, кто я?
Я — Иосиф-прекрасный,
Внук Исаака,
Сын Иакова,
Сын Иакова!..

Иосиф-прекрасный был круглый сирота, бедняк из бедняков. Он ютился в подвальном помещении небольшой молельни и был у всех на побегушках. И все же я, — сын богатых родителей, внук самого реб Меера, — я охотно поменялся бы положением с сиротой Файвлом ради этого единственного дня, ради праздника пурим *.

Вот он наступил — этот долгожданный радостный день! С самого раннего утра я с нетерпением ожидал комедиантов, ходивших из дома в дом по грязным улицам местечка в сопровождении целой ватаги мальчишек, месивших босыми ногами снег.

Ах, почему нельзя и мне пойти с этой веселой ватагой! Но нет, не для меня эти радости. Мне нельзя, не подобает: я сын богатых родителей, я внук самого реб Меера, — мне полагается целый день томиться дома, как томится пес в своей будке, а вечером чинно сидеть со взрослыми у дедушки реб Меера за праздничным ужином.

Вот мы идем к дедушке реб Мееру. Я поминутно оборачиваюсь туда, где, провожаемые шумной толпой, шагают комедианты.

— Чего вертишься, как юла? — кричит на меня отец.

— Ты уже большой мальчик, не сглазить бы! — поучает мама. — Ты можешь шагать побыстрее. Еще месяц — и тебе, с божьей помощью, исполнится восемь лет. Дай тебе бог дожить до ста двадцати!

— Не трогайте его! Не видите разве — он не может оторваться от комедиантов! — язвит мой старший брат Мойшеле, хотя он и сам не прочь остановиться и поглазеть.

— Иди же, пошевеливайся! — подгоняет меня пинком в бок мой палач — меламед реб Иця.

Опустив глаза, я стараюсь не отставать от взрослых. А мозг давят гнетущие мысли: «Вечно со взрослыми! Вечно с учителем... Утром и вечером, в будни и в праздник — вечно перед твоими глазами красный от нюхательного табаку нос меламеда, чтоб ему сквозь землю провалиться!»

2

Дедушка реб Меер, первый богач в местечке, живет маленьким царьком. Просторный зал с огромной висячей люстрой. На стенах золоченые бра. Тут же стоит массивный серебряный семисвечник, которым бабушка Нехама украшает стол лишь дважды в год — на пасху и на пурим. Весь дом дедушки залит ярким светом.

В большом кресле с зеленой обивкой сидит сам дедушка, реб Меер. Щупленький человечек, жидкая бороденка, нос с горбинкой, волосы тронуты серебром, живые молодые черные глаза. Дедушка носит длинный шелковый кафтан, подпоясанный шелковым поясом. На голове у него бархатная шапка, отороченная мехом. На столе перед ним огромный, чудовищных размеров праздничный пирог с маковой начинкой, позолоченный шафраном и утыканный изюминками. Пирог уже слегка надрезан.

Бабушка Нехама, высокая, моложавая на вид женщина, еще сохранила следы былой красоты. На

ней золотистого цвета шелковое платье в белый горошек. В волосах, над самым лбом, ободок с брильянтами, на шее жемчужное ожерелье, в ушах серьги, на пальцах золотые перстни с драгоценными камнями. Перед бабушкой большущее блюдо с горячей, вкусно пахнущей, здорово наперченной рыбой, приправленной луком, сахаром, изюмом и разными пряностями. Бабушка накладывает рыбу каждому на тарелку. При этом кончики ее красивого шелкового платка забиваются за уши, и на лбу причудливо играют брильянты. На сияющем лице приветливая улыбка.

За столом много народу. Пришли все дяди и все тетушки с многочисленными чадами. Так как, по установленному обычаю, все дяди и все тетки давали имена своим детям в память одних и тех же покойных дедушек и бабушек, дядей и теток, то в каждой семье мальчики и девочки носят одни и те же имена. У дяди Цодека, например, и у его жены Цивьи три сына: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, и две дочки: Сореле и Фейгеле. За ними следуют дядя Нафтоля и тетя Двойра, у которых четыре мальчика: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, и три девочки: Сореле, Фейгеле и Рохеле. У дяди Аврома и тети Соси пять мальчиков: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, Янкеле, и четыре девочки: Сореле, Фейгеле, Рохеле, Тайбеле. У дяди Бериша и тети Эстер шесть мальчиков... и так далее...

Надо ли продолжать этот перечень? Пожалуй, не надо, а то как бы не сглазить!.. Дедушка как-то попытался, любопытства ради, сосчитать, сколько народу сидит у него за столом.

«Не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь...»* Но тут бабушка резко оборвала его: «Тьфу ты, прости господи! Что тут считать? Тарелок, слава богу, хватит на всех!»

Обычно, когда вся семья бывала в сборе, никто не садился за стол, пока дедушка не укажет место. Дедушка реб Меер во всем любит порядок. Он рассаживает так, чтобы все дяди и тети сидели рядом: дядя возле дяди, тетя возле тети. Нас, малышей, рассаживают так, чтобы брат не сидел рядом с бра-

том и сестра — рядом с сестрой: родные братья и сестры, говорит он, никогда не ладят меж собой. По этой причине Мойшеле должен сидеть рядом с чужим Гершеле, Гершеле — рядом с чужим Велвеле, Велвеле — с чужим Нотеле, Нотеле — с чужим Янкеле, и так далее. Так же рассаживают и девочек: Сореле — рядом с чужой Фейгеле, Фейгеле — с Рохеле, Рохеле — с Тайбеле, и так далее. Одному мне не хватило пары, и меня посадили рядом с моим палачом— меламедом реб Ицей. Реб Ица для меня — не только учитель, но и воспитатель, наставник, нечто вроде гувернера. Он учит меня правилам приличия: как сидеть за столом, как держать ложку, как есть и как пить.

— Когда сидишь за столом, — поучает он меня, — сиди «как человек». Гляди прямо, а руки держи под столом. Не разговаривай во время еды. Когда ешь бульон с лапшой, набирай в ложку столько же лапши, сколько бульона; проглотил — положи ложку на стол и вытри губы; проглотил второй раз — опять ложку на стол и вытри губы. Нельзя хлебать одну ложку за другой без остановки, как какой-нибудь мальчишка из простонародья.

Усевшись рядом со мной и прошептав молитву, реб Ица прежде всего вынул из кармана красный носовой платок и встряхнул его так, что крупинки нюхательного табаку попали ко мне в тарелку; затем он высморкался с визгом, перешедшим в оглушительный трубный рев и закончившимся воем; в то же время он ни на миг не прекращал наблюдения за мной, все посматривал одним глазом, сижу ли я «как человек».

— «Роза Иакова...» — приятным, бархатным голосом, прищелкивая пальцами, запел дедушка после первой же рюмки вина.

И все хором поддержали:

— «...ликует и веселится!»

Все громче, все оживленнее поет разноголосый хор. Мой меламед реб Ица — хоть он и не ахти какой певец, а голос у него, как у теленка, — поет с азартом, с воодушевлением: разинув рот, полузакрыв глаза и склонив голову набок; он стучит средним

пальцем по столу и всем своим видом старается показать дедушке, что и он участвует в хоре. Одновременно он, как водится, все время искоса поглядывает на меня, сижу ли я «как человек»...

8

— Пришли комедианты, — докладывает старый слуга Танхум, человек в красном кафтане, говорящий всем, кроме дедушки и бабушки, «ты».

При слове «комедианты» все дети — и я в том числе — вскочили из-за стола и мигом обступили царя Артаксеркса, на голове которого сияла золотая корона.

— С праздником вас! — выпалила хором вся компания актеров.

И они тотчас выстроились в два ряда. Царь Артаксеркс воссел на золотой стул. Мемухон* (кучер Хаим), стоя на одной ноге, запел:

Я — Мемухон из царских гонцов,
Совсем молодой господин, безбородый.
На одной ноге перед вами стою
И сладким голосом песню пою.

Царь Артаксеркс спрашивает:

Зачем ты пришел, милый слуга Мемухон?
Что в моей стране уловил ты ухом?

Мемухон отвечает:

Пусть царь Артаксеркс сам убедится,
Как не хотят Аману поклониться.

Гневно кричит возмущенный царь Артаксеркс:

Кто смеет противиться тем повеленьям,
Что я разослал по моим владеньям!

Мемухон отвечает:

Какой-то еврей субботу блюдет,
Кафтан его без разреза,
Детей своих обрезает,
Как терпишь ты это в стране своей?

Царь Артаксеркс повелевает:

Ежели так, привести его ко мне!
Мы его повесим на высокой сосне!

Мемухон возглашает:

Входи, входи же, не стой,
Мондриш *, братец ты мой.

Входит Мондриш со всклокоченной бородой. Он всячески оправдывается перед царем, ссылаясь прежде всего на свой старинный род и знатное происхождение: «Авраам, Исаак и Иаков — мои прадеды; библейские заветы — тому свидетели».

Заканчивает он нараспев:

Горя, горя нам не снести,
Если Аман у тебя в чести!

. . . .

— Это ты — Иосиф-прекрасный? — спросил я сироту Файвла, стоявшего чуть в стороне.

Лицо его было печально, вид усталый, понурый.

— Я — Иосиф-прекрасный, — ответил Файвл.

— Ты будешь представлять сегодня?

— Прикажут — буду... — ответил Иосиф-прекрасный и, приблизив губы к моему уху, шепнул: — Дай-ка мне кусочек вашего калача.

— Увидят, будет мне нагоняй, — ответил я шепотом.

— А ты стащи так, чтобы никто не видел, — сказал он, сверкнув глазами.

— Украсть? — спросил я.

— Разве это значит украсть?

— Тогда что же это значит? — снова спросил я. — Не украсть, а слямзить?

— Я помираю — есть хочу, — сказал он тихо, поедая калач глазами. — С утра ничего во рту не имел.

Внимание всех присутствующих занято представлением. Я потихоньку подхожу к столу, украдкой хватаю кусок калача и незаметно передаю Иосифу-прекрасному. Он ловко прячет калач в карман и пожимает мне руку.

— Ты славный мальчуган! Дай тебе бог здоровья!

. . . .

4

— Если вам угодно, мы сыграем еще и «Продажу Иосифа», — предлагает царь Артаксеркс, снимая с головы корону и надевая простую шапку.

— Довольно! Хватит! — отвечает дедушка и сует царю Артаксерксу серебряную монету.

Когда актеры ушли, дедушка велел Танхуму взять веник и вымести грязь, которую они оставили после себя...

Пока раздвигали стулья и потом опять расставляли их вокруг стола, пока дяди и тетки с их многочисленными семьями усаживались на прежние места, я воспользовался суматохой и выскочил на минуту на улицу проводить актеров.

— Пойдем с нами! — сказал Иосиф-прекрасный, взяв меня за руку. — Право, пойдем! Ты славный мальчик, ты чудесный мальчуган! Я тебя люблю.

Сердце у меня забилось.

— Куда? — спросил я.

— К царю Артаксерксу. Сегодня мы уже больше представлять не будем. Сейчас мы отправимся к царю Артаксерксу и будем пировать.

Иосиф-прекрасный взял меня за руку, и мы вместе зашлепали по грязи.

Все чернее и чернее ночь. Все глубже и глубже грязь. Мне чудится, будто у меня выросли крылья и какая-то сила поднимает меня вверх. Еще мгновение — я вспорхну и полечу...

— Мне страшно, — говорю я Иосифу-прекрасному, остановившись и продолжая держать его за руку.

— Чего бояться, глупенький? — отвечает он, с аппетитом жуя полученный от меня кусок калача. — Там будет пир на славу, дурачок ты этакий! Услышишь, как мы поем... Ах, что за чудесный пирог у вас! Райский вкус! Тает во рту, как масло. Одного я никак не пойму: как это можно спокойно глядеть на этакое чудо из чудес и даже не дотронуться?

— Эка важность! — хвастливо ответил я. — У нас и в будни едят калачи.

— Каждый день калачи? — изумленно спрашивает Иосиф-прекрасный, облизываясь. — А мясо?

— Каждый день, — ответил я.

— Каждый день мясо?! — воскликнул он, глотая слюну. — А я вот ем мясо только раз в неделю, по субботам, да и то не каждую субботу. Позовет меня к обеду состоятельный человек — перепадет кусок мяса. А попадешь к бедняку — хворобу тебе дадут, а не мясо.

— Как это можно есть хворобу? — изумился я.

— Не знаешь, что значит есть хворобу? — тоже изумился он. — Очень просто: болячку тебе дадут, а не мясо. Понимаешь? Когда есть нечего — питайся болячкой. Я ведь только то и ем, что мне подают другие. Больше всех поддерживает меня синагогальный служка Эйзер, дай ему бог здоровья; иной раз хлебом накормит, другой раз картошкой. Золотой человек этот Эйзер! Редкой души человек! Знаешь его?.. Это он — царица Эсфирь...

— Где твой отец? — спросил я.

— Нет у меня отца.

— А мать?

— И матери нет.

— Дедушка? Бабушка?

— Нет ни дедушки, ни бабушки.

— Может, дядя или тетя?

— Ни дяди, ни тети.

— А брат, сестра?

— Нет ни брата, ни сестры. Никого-никого, ни одной родной души! Круглый я сирота, безродный!

Я взглянул на Иосифа-прекрасного, на луну, и мне показалось, что у Иосифа и у луны одинаковый цвет лица, одинаковая мертвенная бледность... Я прильнул к нему, и мы быстро побежали вслед за компанией, меся грязь своими маленькими ножками.

5

— Здесь вот и живет царь Артаксеркс, — сказал Иосиф-прекрасный.

Мы спустились в маленькую темную землянку.

— Фрейде-Этл, душка, поднимайся с подушки! —

крикнул царь Артаксеркс жене, болезненной женщине, видимо страдающей одышкой: кашляя, она одной рукой хватается за сердце, а другой — за голову.

За день актеры столько раз пели стихи и так к этому привыкли, что без рифмы они и говорить разучились.

— Рыбу и каравай на стол подавай! — начал Мемухон. — Халу мы принесли сами, поработаем зубами. Треугольный пирожок с маком будем есть со смаком. Клецки и печенье — мое почтенье! А водки бутылку подарил мне Рахмилка... А ну-ка, Мондриш, развяжи мешок, не то получишь пинок.

— Чем пинок в бок, лучше развязать мешок, — ответил Мондриш тройной рифмой и собрался уже было приступить к делу, но его остановил Мотл (царица Вашти).

— Раньше надо деньги посчитать, а потом и пожевать!

— Вашти, право, не пьяница, — при дележе в дураках не останется, — согласился Аман.

Эйзер (царица Эсфирь) ответил ему в тон и тоже рифмой.

Но едва дело дошло до дележа, поток рифмованных острот сразу прекратился. Люди заговорили простым человеческим языком, как и полагается, когда речь идет о деньгах.

Львиная доля досталась, конечно, царю Артаксерксу. Так уж велось из года в год, и против этого никто не возражал. Но когда дошло до других участников представления, возникли серьезные разногласия. Мемухон спросил, за какие такие заслуги Вашти получает больше, чем он. Он, Мемухон, трудится больше всех, прыгает на одной ноге, так и сыплет рифмами, шутками и прибаутками, сочиняет экспромты, а, когда доходит до дележа, на первое место прется Вашти. За какие такие заслуги? За то, что Вашти состоит в отдаленном родстве с царем Артаксерксом? Известное дело: портной и столяр всегда одна шайка.

— Молчать! — взревел царь Артаксеркс. — Ах ты, извозчичье отродье, лошадиное копыто, глиняное дышло, бумажная шлея, кожаная ось, стеклянная чека! Ты смеешь выступать против царя Артаксеркса?! Сейчас как дам тебе по зубам — пойдешь ты у меня в упряжке, как миленький!..

Мемухон смирился и умолк. Все артисты чтут царя Артаксеркса, беспрекословно его слушаются — как-никак он хозяин дела, так сказать антрепренер... Мондриш, правда, продолжал еще ворчать, да и остальные робко поддерживали его, но Эйзер (царица Эсфирь) весьма удачно оборвал эту грызню. Положив в карман полученные им несколько монет, он отпустил веселую шутку, и актеры снова оживились и стали перебрасываться остротами в рифму.

— Богачам бы иметь не больше грошей, чем мы принесем для наших семей, — сказал Мемухон.

Я осмотрел комнату Артаксеркса. Большой стол, накрытый скатертью из сурового полотна. У одной стены — верстак с инструментами, у другой — деревянная кровать со множеством подушек, положенных одна на другую чуть не до потолка. Против печки — топчан. На нем, поджав лапки, дремлет черный кот. На печи — дети. Несколько пар глаз — черных, карих, серых — глядят оттуда на веселящуюся компанию.

— Слезайте, шельмецы! — крикнул Иосиф-прекрасный, грозя им пальцем.

Обладатели черных, карих и серых глаз не заставили себя долго просить. Почти голенькие, в одних рубашонках, да и то рваных и закрывавших тело лишь чуть-чуть ниже пупочка, они начали спускаться один за другим с печи... Иосиф-прекрасный, видимо, был в доме свой человек — к нему все малыши разом и бросились, как ягнята к пастуху; все подставляли ему свои курчавые головки в ожидании, что он их погладит.

— Голодны?.. — спросил Иосиф-прекрасный. — Сейчас начнется у нас пир на весь мир. Ой, сколько же лакомств, сколько вкусных вещей мы принесли!

Когда он перечислял все эти лакомства, маленькие ягнята переглядывались, глотали слюну

и облизывались. Иосиф-прекрасный, гладя курчавые головки, и сам облизывался, и тоже глотал слюну... Все с нетерпением ждали минуты, когда можно будет сесть за стол и начать пиршество...

И вот желанный миг наступил. Царь Артаксеркс поднял бутылку с водкой, торжественно наполнил свою рюмку и, провозгласив здравицу в честь праздника пурим, выпил первый. Вслед за ним осушили по рюмке и остальные актеры. Лишь после этого все, от мала до велика, за исключением Фрейде-Этл, возившейся у печки, сели за стол. Проснулся даже мирно дремавший кот; вытянув спину и сладко позевывая, он подошел к столу и стал возле хозяина в ожидании, что и на его долю перепадет что-нибудь...

Иосиф-прекрасный, голенькие курчавые «ягнята» и я — все мы уселись рядом на одной скамье; скамья хромала на одну ножку и шаталась при каждом нашем движении, что вызывало у нас бурные взрывы смеха. Мне и другим малышам это казалось забавнее самой веселой комедии. И тут компания актеров, взглянув в нашу сторону, заметила меня. Все были изумлены: откуда взялся новый, никому неведомый человечек?

— Кто этот крыжовник? — спросил царь Артаксеркс.

Иосиф-прекрасный сказал им, кто я и откуда взялся. По-видимому, актеры были рады такому гостю: все они поочередно подходили ко мне, хлопали меня по плечу, трепали по щеке, и всякий отпускал по моему адресу шутку, конечно, в рифму.

И вот началось пиршество. Фрейде-Этл поставила на стол обильно наперченную рыбу с картошкой. И хотя рыба не была приправлена разными пряностями и кореньями, как у моего дедушки реб Меера, она показалась мне необычайно вкусной. Одна беда: слишком много косточек. Зато какая благодать! Все едят из одной миски, все тычут вилки в одну тарелку. Как весело! После рыбы — опять по рюмочке, и опять пошли здравицы. И тут только началось настоящее веселое, бурное, неудержимое пиршество. Встав из-за

стола, все взялись за руки и, весело приплясывая, затянули хоровую:

Те или иные —
Мы.
Но бедняки большие
Мы,
Лучше ль, хуже ли
Живем,
Но нужда нам
Нипочем!

— Русскую песню! — громко закричал Мондриш. — Русскую песню подавай!

Компания затянула русскую песню, сдобрив ее древнееврейскими словами. И, хлопая в ладоши, все пустились в пляс.

Надо знать,
Как гулять.
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьем,
Мы гуляем,
Вэато, мелех хай векаем [1],
Ломир, идн, тринкен лехаим [2].

— Ну как? Хорошо у нас, не правда ли? — весело спросил меня Иосиф-прекрасный.

Он уже успел подкрепиться, и теперь вид у него был совсем иной — свежий, бодрый. Он тоже выпил рюмочку хмельного, дал мне отведать немного и втащил меня в круг. Не знаю, с чего это, но на меня напало неудержимое веселье; я неожиданно почувствовал прилив буйной радости, — все во мне пело и плясало. Мне было хорошо, чудесно, безгранично светло было у меня на душе!.. Вдруг...

6

Вдруг открывается дверь, и на пороге появляются мой отец и учитель реб Иця. У меня в глазах потемнело. Что подумал отец, увидев меня пляшущим в

---

[1] А ты, царь превечный *(древнееврейск.)*.
[2] Давайте, евреи, выпьем за здравие *(еврейск.)*.

компании комедиантов, я сказать не могу. Я заметил только, что он остановился как вкопанный и, не шевелясь, глядел попеременно то на компанию, то на меня, то на учителя реб Ицю. Учитель, со своей стороны, глядел то на меня, то на компанию, то на отца. Я глядел на отца, на компанию, на учителя, а компания глядела на нас троих... Все точно онемели, никто не мог и слова вымолвить.

Первым нашелся Мемухон, прервавший молчание потоком приветствий:

— Что же вы приуныли? Ведь это на смех курам! Ведь сегодня веселый праздник пурим! Выпьем по чарке, чтобы небу было жарко! Да закусим в меру — нашлась ваша потеря!..

С этими словами Мемухон поднес отцу рюмку водки с закуской. Отец молча оттолкнул его рукой. Нимало не смутившись, Мемухон продолжал:

— Реб Ошеру, сыну Меера, наше почтение! Не по душе вам угощение?.. Значит, богач не окажет нам чести выпить с бедняками вместе? Что ж, выпью один и скажу: аминь!..

И, осушив рюмку до дна, Мемухон запел:

Чем беднее, тем больше и гуляка,
Чем богаче, тем больше и собака,
Чем горемычнее, тем больше поет,
Чем зажиточнее, тем больше свинья.

— Мондриш, чего ты молчишь? Спой величальную нашим богатеям, выпей в их честь заздравную чарку!

Наполнив чарку, Мондриш пропел величальную нашим местечковым богачам:

— Благословляющий людей, пошли погибель на богачей! Скрути их в три погибели, кто бы они ни были! Кто бы ни были они, в бараний рог ты их согни! Согни-ка их в бараний рог, чтобы с постели никто из них встать не мог! Чтоб никто встать не мог с постели и черви живьем бы их съели! Чтобы их черви съели живьем, порази их небесный гром! Небесный гром порази их!..

— Что ж вы молчите, реб Ошер? — обратился к отцу учитель реб Иця, заложив в ноздрю изрядную понюшку и щелкнув в воздухе пальцами.

— О чем тут говорить? Не видите, что они пьяны! — ответил отец вне себя от гнева.

Схватив меня за руку, он сжал ее до боли. И, не попрощавшись, мы все трое покинули дом царя Артаксеркса. На улице отец остановил меня и, смерив грозным взглядом, отпустил мне две гулкие оплеухи.

— Это, — говорит, — тебе задаток. Остальное получишь дома от учителя... Прошу вас, реб Иця, никакой жалости! Передаю его в ваши руки — секите, порите, не жалея сил! Всыпьте сколько влезет! Хлещите до крови. Парнишке, слава тебе господи, скоро девятый год пойдет! Пусть запомнит, как шляться с компанией комедиантов, шутов, бездельников, нищих... Так отравить всем праздник!..

Ни одной слезинки не проронил я. Только чувствовал, что щеки у меня пылают, а на сердце легла неимоверная тяжесть. Но не мыслью о предстоящей расправе была занята моя голова. Всеми своими помыслами я стремился туда, к царю Артаксерксу, к веселому обществу Иосифа-прекрасного и голеньких курчавых «ягнят». А в ушах неумолчно звенела чудесная русская песня:

Надо знать,
Как гулять,
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьем,
Мы гуляем,
Вэато, мелех хай векаем.

ОМРАЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1

— Реб Исроел! Реб Исроел! Извините! Вы можете взяться сшить ребенку костюмчик к празднику?

Так кричит мама портному Исроелу изо всех сил, потому что он глух как стена.

Исроел, высокий человек с продолговатым лицом и с ватой в ушах, полуулыбаясь, делает рукой жест, который может означать: «Почему бы не сшить к празднику?»

— Снимите с него в таком случае мерку. Но с условием, что костюм будет готов к пасхе.

Портной Исроел смотрит на мать, будто хочет сказать: «Странная женщина! Неужели недостаточно одного обещания?» Потом он достает из бокового кармана бумажную мерку и большие английские ножницы и начинает измерять меня вдоль и поперек, а мама стоит в сторонке и командует:

— Длиннее, еще длиннее!.. Шире, еще шире!.. Ради бога, брючки не сузьте!.. А кафтанчик чтобы был с фалдой!.. В несколько пальцев!.. Еще, еще немножко!.. Вот так! В шагу, упаси бог, чтоб не было коротко! Солидно... Еще, еще! Не жалейте материи, потому что ребенок растет!..

Портной Исроел и сам отлично знает, что «ребенок растет». Он ни слова не отвечает и делает свое.

Измерив меня с головы до ног, он меня отталкивает, словно хочет сказать: «Можешь идти, ты свободен». Мне очень хочется, чтобы кафтан сзади был с разрезом и с карманом, по «нынешней моде», но я не знаю, к кому обратиться. А портной Исроел свертывает мерку на двух пальцах и говорит отрывисто, обращаясь к маме:

— Трудное нынче предпасхальное время!.. Страшная грязь!.. На рыбу дороговизна!.. Картошка — на вес золота!.. Яиц — ни штуки!.. Работа — к чертям!.. Новой одежды — ни-ни!.. Заплаты, заплаты и заплаты!.. Уж если реб Иошуа-Герш заказывает перелицевать старое пальто!.. Сам реб Иошуа-Герш!.. Времена!.. А?.. Светопреставление!..

Но мама что-то не очень поражена. Она перебивает его:

— Сколько же вы, реб Исроел, прикажете наготовить денег за всю эту работу?

Глухой Исроел достает из жилетного кармана костяной рожок, выгибает большой палец руки так, что на тыльной стороне ладони образуется ямочка. В эту ямочку он насыпает кучку табака. Подносит ее осторожно к носу и втягивает всю кучку так ловко, что не остается ни следа даже на усах. Потом, махнув рукой, отвечает:

— Эх!.. Есть о чем говорить... Авось не поссоримся... Понимаете, какое дело? Реб Иошуа-Герш!.. Перелицевать старое пальто!.. Подумать только!..

— Так помните же, реб Исроел, о чем я прошу: не узко и не коротко, и фалду, и в шагу свободно и просторно...

— А раз...? — хочу я вмешаться.

— Тихо! Дай слово сказать! — говорит мама, двинув меня локтем в бок. — Помните же еще раз: не коротко, не узко, и в шагу, и фалда... Непременно — фалду!

— А карман? — пытаюсь я снова.

— Да заткнись ты! — говорит мне мама. — Виданное ли дело, чтоб ребенок вмешивался, когда старшие говорят!..

Исроел забирает под мышку сверток материала, касается двумя пальцами «мезузы»* и говорит уже в дверях:

— Значит, вы хотите, чтобы обязательно было готово на пасху? Веселых вам праздников!

2

— А вот и реб Гедалья! Помянуть бы мессию!.. Только что я имела в виду еще раз послать за вами!

Гедалья — сапожник, отставной солдат, без передних зубов, с большой окладистой бородой, по которой видно, что некогда, уже давно, она была посредине выбрита.

— Реб Гедалья! — обращается к нему мама. — Скажите, пожалуйста, вы возьметесь сшить ребенку пару сапожек к пасхе?

Сапожник Гедалья — человек веселый, он, когда говорит, приплясывает.

— Вам угодно непременно к пасхе? — отвечает он маме. — Прямо-таки замечательно! Все хотят к пасхе! Хаеле, реб Мотла, я обещал на пасху две пары ботинок — для нее и для дочери, — значит надо сделать... Иоселе, реб Шимела, заказал мне четыре пары сапожек к пасхе, — обязательно надо сделать... Затем Фейгеле реб Аврома я давно уже обещал пару ботиков, — хоть камни с неба, ничего не поможет! Портной Мойше просил меня поставить пару головок, — нельзя отказать! Столяру Зяме надо подкинуть пару союзок, — тоже ничего не попишешь! Да, еще Асна, дочь вдовы, пристала ко мне, чтобы я, ради бога...

— Словом, — перебивает его мама, — говорите толком. Стало быть, не можете обещать, что будет готово к пасхе? Тогда я пошлю за другим сапожником...

— Почему это я не могу? — говорит Гедалья, приплясывая. — Ради вас я отложу все другие работы, а ваши сапожки обязательно, даст бог, будут готовы к пасхе. Какие могут быть отговорки?

И сапожник Гедалья достает откуда-то кусок синей бумаги, становится на одно колено и снимает мерку.

— Прибавьте еще капельку! — говорит мама. — Еще, еще... Что вы жалеете кусочек кожи? Вот так... Чтоб не жало, упаси бог, в пальцах!..

— Жало в пальцах! — повторяет за ней Гедалья.

— Кожу, реб Гедалья, дайте самую лучшую! Слышите? Не гнилую!

— Гнилую! — следом за ней говорит Гедалья.

— Подошвы поставьте добротные, чтоб не стерлись.

— Стерлись! — повторяет Гедалья.

— И чтоб каблуки не отскочили!

— Отскочили! — повторяет Гедалья.

— Теперь можешь идти в хедер, — говорит мне мама. — Видишь ты хоть, как на тебя тратятся? Хотя бы учился, тогда человеком будешь. Не то, что из тебя выйдет? Ничего, пустое место...

Я сам еще не знаю, что из меня будет: человек, или пустое место? Знаю только, что в эту минуту мне очень-очень хочется, чтоб сапожки были со скрипом. Ох, как хочется со скрипом!

— Чего стоишь как истукан? — спрашивает мама. — Почему не идешь в хедер? Иди, больше ничего не дадут!

Сапожник направляется к выходу, но возвращается:

— Стало быть, вы желаете непременно к пасхе? — говорит он. — Веселого праздника!

3

Возвращаясь из хедера, я забегаю первым долгом к портному насчет разреза и насчет кармана.

За большим столом стоит глухой Исроел, без кафтана, в широком арбеканфесе. Он углублен в работу. На шее у него несколько длинных ниток. В жилетке — несколько иголок. Он чертит мелком, кроит ножницами, почесывается средним изогнутым пальцем и говорит про себя, — отрывисто, по своему обыкновению.

— Фалды делай им... Чтоб свободно было... Просторно... А из чего? Из духа святого?.. И без того пальцы себе режешь... Еле-еле... Как мясо на вареники...

Вокруг стола сидят подмастерья и шьют, далеко отводя руки с иголками, и все вместе поют песенку. Один из них, рыжий, конопатый, с чуть провалившимся носом, запевает звонким фальцетом и тянет нитку в такт:

Ох, ты уезжаешь,
Ох, ты уезжаешь,
А меня покида-а-а-аешь!..

А остальные подхватывают с визгом:

А я заколюся,
А я удавлюся,
А я утоплюся,
А я жизни своей лишу-ву-ву-ву-ся!

— Что скажешь, мальчик? — обращается ко мне Исроел.

— Разрез! — говорю я.

— А? — спрашивает Исроел, склонив ко мне ухо.

— Разрез!— кричу я изо всех сил, чтобы он услыхал.

— Разрез?

— Разрез!

— Где разрез?

— Сзади.

— Что такое сзади?

— Разрез! С карманом!

— Что за разрезы? Какие карманы? — вмешивается жена портного, маленькая женщина, которая сидит тут же и делает три работы сразу: ногой качает люльку, руками вяжет чулок и при этом говорит сердито: — Еще не хватало: разрезы! Извольте вам карманы! А где тут у тебя на карманы? Пускай ему мама даст на карманы, тогда у него будут карманы! Еще какие-то карманы!..

Я уже раскаиваюсь, что затеял все это дело, — хоть бы до мамы не дошло!

— Значит, тебе хочется, чтоб обязательно был разрез? — говорит портной Исроел и достает рожок с табаком. — Иди, мальчик, домой, будет разрез.

— И с карманом? — спрашиваю я, сделав жалостливую мину.

— Иди, мальчик, домой, — говорит Исроел. — Уж я постараюсь, чтобы было все...

Я беру ноги на плечи и с радостью бегу к сапожнику Гедалье насчет скрипа в сапожках.

Сапожника Гедалью я дома не застаю. У верстака сидит его подмастерье Карп, согнувшись над подметкой.

Карп — крепкий, ширококостый русский парень, с рябым лицом, с кожаным ремешком на черных жестких волосах.

— Чего, мальчик, хочешь? — обращается он ко мне по-еврейски. — Мейде ани, фрейде мани, тателемамеле, а геб им а гензеле...[1] Говори, чего хочешь?

— Хажаен! — отвечаю я ему по-русски. — Я очем хотил иметь до ваш хажаен Гедалья![2]

— Балабос[3] пошел на обрезание, выпить, благословясь, водочки! — говорит мне снова по-еврейски Карп, и, дабы я понял правильно, о чем идет речь, он щелкает себя пальцем по шее.

Я усаживаюсь на кожаную скамеечку и завожу с Карпом обстоятельную беседу насчет кожи, «товара», о сапогах, подметках, деревянных шпильках, пока не добираюсь наконец до вопроса о скрипе. Он говорит по-еврейски, а я по-русски. Когда он меня не понимает, я объясняю жестами.

— Ведь я же тебе, дурья голова, говорю по-вашему: объясни, почему чоботки делают тррр! Тррр!

— Ты лучше говори по-еврейски! — просит Карп, облизывает языком подошву и проводит по ее краю линию своим крепким черным ногтем.

— В чем секрет, — говорю я ему уже по-еврейски, — в чем смысл скрипа? Что вы такое кладете в сапожки, чтоб они скрипели?

---

[1] Бессмысленный набор слов, частью еврейских, частью лишь по созвучию напоминающих еврейскую речь.

[2] Хозяин... Мне очень нужен ваш хозяин Гедалья!

[3] Хозяин (*еврейск.*).

— А! Скрип? — догадывается Карп. — Чтоб сапожки скрипели, нужен сахар.

— Просто сахар? — удивляюсь я. — Как же это?

— Сахар, — пытается мне объяснить Карп, — сахар клап-клап, скрип-скрип.

— Ага! — отвечаю я. — Сахар, наверно, надо растолочь, вот он и трещит. Ну, а больше ничего туда не кладут?

— Водки, — отвечает Карп. — Немного водки.

— Водки? — удивляюсь я. — Водки? Зачем водка? Ну, сахар,— скрип-скрип, но водка? На що тоби[1] водка?

Карп с большим трудом объясняет мне — и обязательно по-еврейски, — на что нужна водка. Прежде, чем положишь в сапоги сахар, нужно подошвы спрыснуть водкой, не то сахар плохо пристает.

— Вот оно что! — говорю я. — Теперь я хорошо раскусил: не будет водки — не будет и сахара, а если не будет сахара, то не будет скрипеть. «Если нет хлеба — нет и учения», — поясняю я это библейским изречением, открываю свой кошелек и отдаю Карпу все свое состояние — все ханукальные деньги и те, что получил в пурим. Мы дружески прощаемся, он подает мне большую черную руку, измазанную смолой, и повторяет наскоро: «Мейде ани, фрейде мани, тателе-мамеле, а геб им а гензеле...» Я бегу домой обедать, оттуда обратно в хедер, хвастать перед мальчишками новым платьем, которое мне шьют к пасхе: длиннополый кафтанчик с разрезом и карманом сзади! И сапожки со скрипом! Со скрипом! Скрипом!..

4

— Мама, я свободен!— прибегаю я дня за два до пасхи с доброй вестью о том, что нас отпустили из хедера.

— Счастье твоей бабушке! Дай тебе бог сообщать более веселые вести! — отвечает мама, замороченная приготовлениями к пасхе. Обеих прислуг она повя-

[1] Зачем тебе *(укр.)*.

зала белыми платками, дала им щетки, веники и гусиные крылья, а сама тоже повязалась белым платком, и все втроем чистят и мажут, моют и стирают, надраивают и выжаривают к пасхе. Я места себе найти не могу. Где бы я ни присел, где бы ни стоял, где бы ни ходил — все плохо!

— Убирайся подальше от пасхального шкафа! — кричит мне мама таким тоном, как если бы я ходил с огнем возле пороха.

— Осторожно! Сейчас наступишь на пасхальный мешок!

— В ту сторону даже не смотри, — там пасхальный борщ стоит!..

Я перехожу с места на место, путаюсь под ногами, и меня то и дело угощают тумаком, подзатыльником, пинком.

— Провалиться бы сквозь землю твоему ребе! Хвор он был продержать вас в хедере лишний день! Чтоб не вертелся ты здесь юлой... Мало без тебя хлопот! У людей дети сидят на одном месте... Хвор такой мальчик, которому уже почти девятый год, делать что-нибудь, лишний раз повторить четыре вопроса? *

— Мама! — говорю я. — Я их уже знаю наизусть!

— Вот радость! — отвечает мама. — Мало, что ли, денег тратят на тебя?..

Еле дождался я того вечера, когда отец ходит со свечой, с деревянной ложкой и гусиным крылом и отыскивает «хомец» *, а я помогаю ему искать кусочки хлеба, которые он сам сегодня разложил по всем подоконникам... «Всего только одни сутки, — думаю я, — еще одна ночь и один день, — и я оденусь по-праздничному, как принц, в новый кафтанчик с разрезом и карманом позади, а сапожки будут скрипеть!.. Мама, наверное, спросит: «Что это за скрип такой?» А я притворюсь, будто ничего знать не знаю... Потом праздничная трапеза, четыре вопроса, четыре бокала вина *, пасхальные яства: оладьи, галушки, катыши, галушки в меду... Я вспоминаю обо всех этих вещах, и у меня начинает сосать под ложечкой. Я весь день почти ничего не ел.

— Прочитай молитву, — говорит мне мама, — и ложись спать. Сегодня не ужинают, сегодня канун пасхи...

Я ложусь спать, и снится мне, что уже пасха... Я иду с отцом в синагогу молиться... Мои новые одежды шуршат... Сапожки скрипят: скрип! скрип! скрип!.. «Кто это идет?» — спрашивают чужие люди. «Это Мотл, сынишка Рувимова Авром-Герша...» И вдруг, — не знаю откуда, — появляется черный кудлатый пес, нападает на меня: «Гав-гав!» — и хватает за кафтан... Отец стоит, боится подойти, машет руками и кричит: «Пошел! Пошел!» Но пес не слушает и тянет сзади за то самое место, где разрез и карман, отрывает половину кафтана и хочет удрать... Я изо всех сил бегу за ним, теряю сапожок и останавливаюсь в грязи — одна нога обутая, другая босая... Начинаю плакать, кричать: «Гвалт!» — и... просыпаюсь. Наша прислуга Бейля стоит возле меня, рвет с меня одеяло и тянет за ногу.

— Смотри, пожалуйста! Никак его не добудишься! Вставай! Мама велела тебя разбудить, надо вынести из дому последний «хомец»!..

5

Отец закидывает в печь деревянную ложку с гусиным крылом и сжигает «хомец»... В доме — все уже пасхальное... Всюду чистота... Стол накрыт... Вино в графине улыбается мне издали... Вот-вот еще час, еще час, — и наступит пасха... Вот-вот еще час-другой, и я оденусь по-праздничному... Но пока портной и сапожник принесут мои праздничные одежды, мать приводит в пасхальный вид меня самого: она моет мне голову горячей водой с яичными желтками, она расчесывает и дерет мне волосы. Я морщусь, за это она меня то локтем ударит, то оплеухой угостит.

— Перестанешь ерзать, как червяк?.. Чтоб ребенок не мог на месте устоять! Ему добро делают, а он еще недоволен!..

Отбыл, слава богу, и головомойку, теперь сижу в одной рубашке за столом, жду, когда принесут мои обновы, и смотрю на отца, который только что пришел из бани с еще мокрыми волосами. Он сидит над фолиантом, раскачивается и тихонько читает нараспев:

— «Для потребления горечи поступают так: берут хрен, но так как он жестковат, его можно натереть на терке...»

Я смотрю на отца, и мне представляется, что другого такого набожного человека на свете нет; что другой такой чистой пасхи, как у нас, нет нигде; что таких одежд, как у меня, ни у кого не будет! Но почему их еще не несут? В чем дело? А вдруг они не готовы к пасхе? Но об этом я и думать не хочу! А как же я пойду в синагогу? Что скажут мои товарищи? Как я сяду за праздничный стол? Не дай бог! Я этого не перенесу!

Но в то время, как я погружен в мрачные мысли, открываются двери и приходит портной Исроел. От радости я вскакиваю и падаю вместе со стулом, чуть не свернув себе шею. Из кухни прибегает мама с пасхальной ложкой в руке.

— Что это так ударило? Кто это упал? Это ты, чтоб тебе в огне не сгореть! Черт, дьявол, а не ребенок! Не ударился, упаси бог? Поделом тебе! Не бегай, не прыгай! Ходи как человек!

А портному она говорит:

— Вы держите слово, реб Исроел! А я уже хотела посылать к вам!

Исроел отвечает полуулыбкой и машет рукой, будто хочет сказать: «Интересно, право! Чтоб я, да слово не сдержал!»

Мать откладывает ложку и помогает мне влезть в новые штанишки, затем надевает на меня новый ситцевый арбеканфес, который она сама сшила на пасху, а поверх него надевает на меня кафтан и довольна, что мне в нем достаточно свободно и просторно...

Я щупаю сзади — о, горе, беда! Нет даже признака разреза и кармана нет! Зашито гладко и наглухо все кругом!

— Что это за кишка? — вдруг спрашивает у портного мама, поворачивая меня во все стороны.

Исроел достает рожок, выгибает палец, насыпает кучку табаку и втягивает ее в нос.

— Что это за кишка? — еще раз спрашивает мама, поворачивая меня.

— Где вы видите кишку? — спрашивает в свою очередь Исроел, поворачивая меня в обратную сторону. — Ведь это же фалда, вы же просили, чтобы была фалда, — забыли?

— Хороша фалда! — говорит мама и опять поворачивает меня. — Мерзость какая, господи! Позор! Честное слово, позор!

Но Исроел что-то не смущается. Он оглядывает меня с головы до ног, как профессор, и говорит, что сидит замечательно, лучше некуда! «Такую работу и в Париже не сделают! Кафтанчик поет, честное слово, поет!..»

— Как тебе нравится такое «пение»? — спрашивает мама и приводит меня к отцу. — Что ты скажешь по поводу такого «пения»?

Отец поворачивает меня во все стороны, разглядывает кафтанчик и находит, что штанишки и в самом деле длинноваты...

— Длинноваты штаны, реб Исроел!

— А?.. Что?.. Длинноваты, говорите? Не знаете, что делать? Подвернуть.

— Может быть, вы и правы... — отвечает отец. — Но как быть, если они широковаты, выглядят, как два мешка?

— Тоже мне беда — невеста чересчур хороша! — говорит Исроел, снова втягивая в нос понюшку табаку. — Широко, говорите вы? Гораздо хуже, когда узко, в тысячу раз хуже!

Я не перестаю ощупывать себя сзади: ищу разрез и карманы.

— Что ты там ищешь? — спрашивает мать. — Вчерашний день?

«Старый лгун! — думаю я, зверем глядя на Исроела. — Глушня поганая! Черт бы твоего батьку взял!..»

— Носи на здоровье! — говорит Исроел, рассчитывается за работу, и отец снова принимается за свою книгу.

— Носи на здоровье! — говорит мне мама, когда портной уходит, и не перестает любоваться кафтанчиком. — Только не задирайся с озорниками и не дерись с русскими мальчиками, тогда будешь, даст бог, носить этот костюм и носить, только бы здоровье!..

6

— А вот и реб Гедалья! — говорит мама. — Легок на помине!.. Готовы сапожки ребенку?

— Да как еще готовы! — отвечает сапожник Гедалья, приплясывая, и несет начищенные сапожки на пальце, как носят связку живых, трепещущих рыбок, только что выловленных из воды. — Беда прямо-таки с этими заказчиками! Весь мир желает, чтобы готово было на пасху! Работал из последних сил, ночь, почитай, не спал!.. Уж я, если дал слово, так тут хоть гром и молния!

Мать меряет мне сапожки, щупает, давит и спрашивает, не чувствую ли я, что где-нибудь жмет?

— Жмет? — говорит Гедалья. — Мне кажется, что в эти сапожки может влезть еще одна пара таких ножек, как у вашего сына.

— А ну-ка стань на пол! — говорит мама.

Я становлюсь и нажимаю на подошвы, хочу услышать, как они скрипят... Но где там? Что там? Ни звука не слыхать!..

— Чего ты так нажимаешь? — говорит мне мама. — Не торопись, весь год еще впереди! Ручаюсь тебе, что ты их, даст бог, порвешь к будущей пасхе! Теперь пройдись с папой к шапочнику Ихиелу, тебе там выберут картузик на пасху. Только осторожно с сапожками! Не стучи так подошвами, они не из железа!

Шапочник Ихиел живет рядом с нами. Мы двором пробираемся к нему в лавку.

Шапочник Ихиел от рождения белый, с белыми волосами. Но так как он постоянно возится с крашеными черными шапками, он всегда словно вымазан сажей. Нос у него с обеих сторон синеватый, а пальцы будто обмакнуты в чернила.

— Добро пожаловать, сосед! — радушно встречает нас Ихиел. — Для кого вам картуз к празднику? Для вас самих или для вашего мальчика?

— Для сына моего! — с гордостью отвечает отец. — Но покажите что-нибудь настоящее... Такое... Понимаете?

— А именно? — спрашивает Ихиел и осматривает полки.

— А именно, — повторяет отец и показывает руками, — чтобы было и добротно, и красиво, и хорошо, и дешево, и этак... Понимаете?

— В таком случае есть у меня для вас как раз то, что вам требуется! — говорит Ихиел и хватает с полки несколько шапок сразу. И каждая шапка, когда он берет ее на руку, повертывается сама по себе, как по волшебству!.. Поминутно он примеряет мне другую шапку, отступает на пол-шага, с улыбкой заглядывает мне в лицо и говорит отцу:

— Такой бы нам год, как это ему к лицу! А? Как вам нравится шапочка? Уж это всем шапочкам шапочка!

— Нет, реб Ихиел, это не то! — говорит отец и показывает на пальцах. — Мне бы хотелось такой картузик, чтобы, понимаете ли, был он и на еврейский лад и в то же время по моде, без финтифлюшек, солидно, и... и... и... Понимаете?

— Так бы и сказали! — отвечает Ихиел и длинной палкой достает с верхней полки картузик — полукруглый, цветной, в клетку, с мягким козырьком, и подает его на одном пальце. Картузик вертится на пальце, как мельница... Осторожно он надевает его мне на самую макушку, едва дотрагивается, как если бы голова моя была из стекла и он боится ее разбить, и желает себе такую жизнь, такое счастье, как хорош этот картузик! И как он мне к лицу! Другого такого у него нет, говорит он, быть бы ему так из-

бавленным от всего дурного!.. Отец торгуется с ним долго-долго. Ихиел клянется, что только ради нас он уступает так дешево, почти по своей цене — иметь бы ему так веселый праздник и всяческое благополучие!

Я вижу, что отцу картузик очень понравился, потому что он поминутно подходит, любуется и поглаживает мои волосы...

— Хоть бы лето проносил! — говорит отец.

— Два лета! — отвечает Ихиел и подлетает к отцу. — Три лета! Дай мне бог такую жизнь, какой это прекрасный картузик! Носи на здоровье!..

Пока я добираюсь до дому, картузик уже лежит у меня на ушах. Чувствую, что он мне великоват.

— Не беда, лишь бы не узко! — говорит мама и надвигает его мне чуть ли не на нос. — Ты только не вздумай снимать и надевать его поминутно! И руками не трогай!.. Носи на здоровье!..

7

Вечером, когда мы с отцом пришли в синагогу молиться, я встретил всех своих товарищей: Ицика и Берла, Лейбла и Айзика, Цодика и Велвла, Шмаю и Копла, Меера и Хаим-Шлойму, Шахно и Шепсла и еще многих других. Все одеты по-праздничному, все в новых кафтанчиках, все в новых сапожках, в новых шапках, но никто не носит такого длинного кафтана с фалдой, как у меня, ни на ком нет таких сапожищ, как у меня, ни на ком не вижу я такой нелепой шапки, как моя... О разрезах и карманах, о сапогах со скрипом я уже не говорю: меня здорово обманули, надули!..

Ребята встретили меня громким хохотом:

— Вот это твои обновы, которыми ты так хвастал? Где же твой разрез сзади? Где карман, о котором ты говорил? А почему не слыхать, как скрипят твои сапоги?

Мало того что у меня и без того тяжело на душе, они еще солью посыпают мои раны! Каждый по-своему старается меня уколоть.

Ицик. Что это на тебе за кафтанище?

Берл. Халат!

Лейбл. Хламида!
Айзик. Хламиндрик!
Цодик. Жупан!
Велвл. Юбка!
Шмая. Кринолин!
Копл. Посмотри, какие исподники, какие «чоботы»!
Меер. А картуз!
Хаим-Шлойма. Треух!
Шахно. Макитра!
Шепсл. Помойное ведро!

Я так разъярен, что даже не слышу пения кантора Герш-Бера... Прихожу в себя только к концу моления, когда прихожане говорят друг другу: «С праздником! С праздником!..» В подавленном настроении, с болью в сердце иду я с отцом домой, еле ноги волочу. В груди огонь пылает. Не милы мне ни вино, которое мы сейчас будем пить, ни четыре вопроса, которые я буду задавать отцу, ни «Сказание на пасху», которое мы будем читать, ни вкусная приперченная рыба, которую мы будем кушать с намоченной в соусе мацой, ни горячие галушки, ни все прочие вкусные вещи, — ничего, ничего мне не мило, все противно, испорчено, омрачено!..

За праздничным столом на самом почетном месте возлежит на мягких подушках отец — «король» в белом халате поверх одежды и в бархатном картузе. Рядом с ним сидит мама — «королева». На ней платье цвета «антик-маре», шелковый платок и жемчуг, придающие ей такое обаяние. Напротив сижу я, «принц», одетый с головы до ног во все новое. Сбоку сидит прислуга Бейля, в новом ситцевом платье и белом накрахмаленном фартуке, который шумит и щелкает, как маца. По другую сторону сидит кухарка Брайна с усами, в новом желтом платке на голове. Она рукой прикрывает лицо и раскачивается, — приготовилась слушать «Сказание»...

«Се хлеб наш скудный», — поет очень красивым голосом «король», а «королева» помогает ему поднять миску, и лицо у нее сияет и светится, как звез-

дочка. Бейля опускает красные руки на белый передник, который шелестит, словно лист. Брайна, услыхав священные слова, делает набожное лицо и морщится, готовая пустить слезу. Все оживлены, все настроены празднично, и только «принцу» что-то не по себе. На сердце у него тяжело, и все словно затянуто дымкой. Если бы не пасха и не праздничная трапеза, он бы расплакался, и тогда бы ему, быть может, легче стало...

«Король» садится и откидывается на подушки. За ним следом садятся все на свои места и ждут, чтобы «принц» поднялся и задал отцу четыре положенных вопроса. Но «принц» сидит, точно прикованный к стулу, и не может тронуться с места.

— Ну? — произносит отец, махнув рукой.

— Встань! — говорит «королева». — Задавай отцу четыре вопроса!

«Принц» не двигается. Он чувствует, будто схватил его кто-то клещами за горло и душит. Голова клонится набок. В глазах начинает прыгать. Две слезинки, как жемчужины, катятся по щекам и падают прямо на страницу «Сказания».

— Что с тобой? Что за плач ни с того ни с сего за столом? — сердито кричит «королева». — Так ты благодаришь за новые вещи, которые тебе сшили к празднику?

«Принц» хочет перестать плакать, но не может. Его душит, давит... В нем словно источник открылся, море слез.

— Скажи, что с тобой? Что у тебя болит? Чего ты молчишь? Отвечай! Или ты хочешь, чтобы папа тебя разложил и всыпал ради праздника?..

«Принц» встает, и язык у него заплетается.

— Вопрос, я задам тебе четыре папы... То есть, папа, я задам тебе четыре во... во...

У «принца» подкашиваются ноги, он роняет голову на белую скатерть и плачет и всхлипывает, как малое дитя...

Омраченный, омраченный праздник!..

РЯБЧИК

Еврейская собака

1

Рябчик был небольшой, белой с черными пятнами, собакой, кроткого нрава. Он и не помышлял о том, что можно напасть на кого-либо со спины, оторвать полу или укусить в ляжку, как это делали другие собаки-задиры. Он был рад, когда его самого не трогали. А трогал его всякий кому не лень. Огреть Рябчика палкой, пнуть каблуком в бок, запустить камнем в голову, вылить на него ведро помоев составляло всеобщую забаву, считалось чуть ли не богоугодным делом.

Когда Рябчика били, он не пускался в объяснения с обидчиком, не отбрехивался, как это делают другие собаки, не показывал зубов; при каждом ударе он склонялся до самой земли, отчаянно визжа: ай-яй-яй! Потом, поджав хвост, удирал, забивался в какой-нибудь уголок и там, ловя мух, погружался в думы.

2

Откуда взялся Рябчик? Какова его родословная? На это трудно ответить. Возможно, что старый помещик оставил его во дворе. Возможно, Рябчик за-

блудился и, потеряв хозяина, пристал к новому месту, да так и остался у нас навсегда.

Случается, вы идете по улице, и за вами увязывается приблудная собачонка, не отступает от вас ни на шаг. «Что за напасть? — думаете вы и замахиваетесь на собачонку: — Пошла вон!» Собачонка останавливается, изгибается, как человек, ожидающий пощечины, и бежит за вами дальше. Вы склоняетесь к земле и, будто подняв камень, снова замахиваетесь на нее. Но и это не помогает. Вы останавливаетесь и смотрите на собачонку; собачонка тоже останавливается и смотрит на вас; вы с собачонкой так долго смотрите друг другу в глаза, пока наконец не сплюнете и не отправитесь дальше в сопровождении той же собачонки. Вы выходите из себя, хватаете палку и со злостью напускаетесь на нее. Но собачонка и тут находит выход из положения: ложится на спину, задрав лапки, дрожит и смотрит вам прямо в глаза, как бы говоря: «Пожалуйста, хочешь бить меня, бей!..»

Вот такого рода собакой был Рябчик.

8

Рябчик не отличался жадностью. Золото увидел бы на дороге, и то бы не тронул. Рябчик знал: все, что под столом, принадлежит ему, а дальше не суйся. Говорят, что в молодости и он был озорником. Даже попытался однажды тайком стащить гусиную лапку. Но тут случилась кухарка Брайна, женщина с черными усами. Она закричала благим матом: «Айзик! Айзик!» Айзик прибежал на крик как раз в ту минуту, когда Рябчик пытался незаметно прошмыгнуть с гусиной лапкой во двор, и Айзик прищемил его дверьми так, что голова несчастного Рябчика осталась по одну, а хвост — по другую сторону дверей. И вот тогда-то и рассчитались с ним как следует: Айзик бил его по голове палкой, а Брайна колотила поленом, не переставая кричать: «Айзик! Айзик!»

Этот случай оставил у Рябчика след на всю жизнь: стоило подойти к нему вплотную и произнести слово «Айзик», как он пускался со всех ног бежать.

4

Больше всех донимала Рябчика Параська, та самая Параська, которая стирала у нас белье, мазала хату и доила корову.

Трудно сказать, чем Рябчик так досаждал Параське; Рябчик всегда казался ей лишним — стоило ему только попасться Параське на глаза, как в ней закипала злость: «Шоб тоби хвороба, собака невирна!..» И будто нарочно Рябчик вечно путался у нее в ногах.

Во время работы Параська издевалась над ним, как над злейшим врагом; когда стирала белье, то окатывала его ушатом ледяной воды. Такая баня была Рябчику не по душе, и после нее он долго отряхивался. Когда Параська мазала хату, она норовила заляпать Рябчику морду белой глиной, и он потом чуть ли не целый час облизывался. И даже когда доила корову, Параська и то умудрялась запускать ему поленом в лапу. И Рябчик научился прыгать. Когда в него летело полено, он искусно, как чертенок, перескакивал через него.

Однажды угощение Параськи не пошло Рябчику впрок; она угодила ему поленом в переднюю лапку. Рябчик завизжал не своим голосом: ай-яй-яй-яй-яй-яй! На его крик сбежались со всего двора. Увидев столько людей, Рябчик начал жаловаться, показывать каждому свою подбитую лапу, как бы говоря: «Вот посмотрите, что она со мной сделала, эта Параська!..» Рябчик, видно, думал, что за него заступятся, что Параське голову снесут за такое злодейство.

Вместо этого во дворе поднялся смех; усатая Брайна выскочила из кухни с половником, провела обнаженной рукой по носу снизу вверх и сказала: «Перебили недотепе лапу? Так ему и надо!..» Сбе-

жавшиеся ребята-озорники загикали и засвистели. А тут снова появилась Параська и в придачу окатила его кипятком из кувшина. Рябчик поднял крик еще пуще, завизжал еще сильней: ай-яй-яй-яй-яй-яй!.. Он подпрыгивал от боли, вертелся волчком и кусал свой собственный хвост, не переставая кричать истошным голосом, что еще больше развеселило мальчишек. Глядя на Рябчика, который плясал на трех ногах, они посулили ему новые беды, да еще отдубасили палками. Рябчик с визгом пустился бежать, кувыркаясь и катаясь по земле, а озорники преследовали его палками и камнями, улюлюкали, свистели, пока не прогнали далеко за город, по ту сторону мельницы.

5

Рябчик бежал с намерением не возвращаться в город до конца дней своих. Бежал он в обширный мир, куда глаза глядят. Бежал, бежал и прибежал в деревню. Увидели его деревенские собаки, обнюхали:

— Добро пожаловать! Откуда ты, собака? Что это за штука такая у тебя на спине? Шкура как будто выжжена по самой середине?

— И не спрашивайте! — с грустной миной отвечает им Рябчик. — Долго рассказывать, да скучно слушать. Нельзя ли у вас ночку скоротать?

— Сделайте одолжение! — отвечают ему деревенские собаки. — Земля велика, а поднебесье еще больше.

— А как у вас здесь с едой? — спрашивает Рябчик. — Чем вы утоляете голод, когда желудок требует своего?

— Да ничего, грешно жаловаться! — говорят деревенские собаки. — Помойки всюду есть, а мясо бог одарил костями; не беда, пусть хозяева едят побольше мяса, а нам пусть достаются кости. Только бы, как говорится, набить утробу.

— Ну, а каковы здесь хозяева?—помахивая хвостом, спрашивает Рябчик, подобно чужеземцу, кото-

рому хочется поподробнее все разузнать, во все вникнуть.

— Хозяева как хозяева,— нехотя отвечают деревенские собаки.

— Ну, а Параська?

— Какая Параська?

— Параська, — отвечает Рябчик, — та самая Параська, которая стирает белье, мажет хату и доит корову. Вы разве не знаете Параську?

Деревенские собаки стоят и смотрят на Рябчика, как на помешанного. «О чем это он?» Они снова обнюхивают его и расходятся поодиночке, каждая на свою помойку.

6

«Вот счастливчики!» — думает Рябчик о деревенских собаках и растягивается на божьей земле, под божьим небом, чтобы немного вздремнуть. Но ему не спится: зудит ошпаренная шкура, нестерпимо болит и ноет спина. И мухи докучают, нет от них спасенья. Кроме того, урчит в животе; Рябчик не прочь бы закусить, да нечего. Придется потерпеть до утра. Еще не дает ему спать недавний разговор с деревенскими собаками: нет у них никаких Айзиков, которые прищемляют тебя дверьми, а потом колотят поленом; нет у них Парасек, которые ошпаривают кипятком; нет у них озорников, которые бросают в тебя палки, и гикают, и свистят, и гонят прочь. «Есть же счастливые собаки на свете! А я думал, что дальше того двора и жизни нет, как червяк, который забирается в хрен и думает, что слаще ничего не бывает...»

Рябчик засыпает. И снится ему большое помойное ведро, наполненное до краев хлебными корками, мясными жилами, требухой, гречневой кашей, перемешанной с пшеном и фасолью, а костей там — целый клад: и ноги, и ребра, и мозговые кости, и еще рыбные кости, и селедочные головки, совсем целые, необглоданные. Рябчик не знает, с чего начать.

— Приятного аппетита!—говорят деревенские собаки, держась на расстоянии и глядя, как он готовится к еде.

— Откушайте с нами, — для приличия приглашает Рябчик.

— Кушайте сами на здоровье! — любезно отвечают деревенские собаки.

Вдруг над самым его ухом раздается: «Айзик!»

Рябчик просыпается. Это был только сон...

Утром Рябчик отправился по дворам в поисках какой-нибудь помойки, может быть, удастся что-нибудь перехватить, хотя бы самую маленькую косточку. Но куда бы он ни пришел — все места уже заняты.

— Нельзя ли у вас закусить? — спрашивал Рябчик.

— Здесь? Нет. Может быть, на соседнем дворе...

Рябчик бегает со двора на двор и всюду встречает тот же прием. И наконец ему приходит на ум: не хватит ли церемониться? Не вернее ли будет подойти и схватить, что попадется? Но при первой же попытке что-либо стянуть с ним схватились деревенские собаки. Вначале они смотрели на него со злобой, рычали и показывали зубы. А потом разом набросились на него, искусали, истерзали, жестоко разделались с его хвостом и с соответствующими почестями проводили за околицу.

7

Поджав хвост, Рябчик побежал в другую деревню. Но там повторилась та же история: радушный прием, милые речи, почему бы и нет? А потом, когда дело доходит до помойки, сразу косые взгляды, ворчанье, Рябчика кусают, терзают и гонят на все четыре стороны.

Рябчику надоело странствовать, вечно переходить с места на место, и он решил так: люди злы, собаки ничем не лучше их; не попытаться ли ему поискать счастья в лесу, среди зверей.

И Рябчик отправился в лес.

Походил он в одиночестве и день, и два, и три, — единственная собака в лесу, — и почувствовал, что у него все больше сводит живот от голода и жажды, последние силы иссякают, хоть возьми растянись среди леса и помирай! А Рябчику как назло хочется еще жить и жить.

Рябчик поджимает хвост, вытягивает передние лапы, укладывается под деревом и думает свою собачью думу: «Где раздобыть кусок хлеба? Где взять кусочек мяса? Косточку хотя бы? Где бы глотком воды разживиться?» От горя Рябчик превращается в философа, его одолевают мысли: «За что бог наказал меня, бедного пса, больше всех зверей, птиц и всякой твари на земле? Вон птица летит в свое гнездо. Ящерица пробирается в свою норку... Вот червячок ползет, жучок, мурашка — у каждого свой дом, каждый находит себе пропитание, один только я, гав-гав-гав!..»

— Кто это лает здесь? — спрашивает волк, который проходит мимо, высунув от голода язык.

Рябчику никогда еще не приходилось видеть волка, поэтому он думает, что перед ним собака. И Рябчик медленно, потягиваясь, поднимается с земли и не спеша подходит к волку.

— Кто ты такой? — высокомерно спрашивает его волк. — Как тебя зовут? Откуда ты взялся и что ты здесь делаешь?

Рябчик рад, что встретился с добрым приятелем, есть по крайней мере перед кем излить свою душу. И Рябчик рассказывает волку о всех своих злоключениях.

— Скажу тебе по совести, — заканчивает Рябчик свою печальную повесть, — я бы не прочь повстречаться со львом, с медведем или, скажем, с волком.

— И что бы тогда было? — со шкодливой улыбкой спрашивает волк.

— Ничего, — отвечает Рябчик. — Если мне судьба умереть, то пусть уж лучше волк меня растерзает, чем околеть с голоду среди своих.

Волк, ощерившись, щелкает зубами и говорит:

— Ну так знай же, что я волк! Я разорву тебя на части и позавтракаю тобой, потому что я голоден, восемь дней ничего в рот не брал!

Слова волка так напугали Рябчика, что он задрожал всей своей опаленной шкурой.

— Всемогущий царь! Милостивый реб Волк! — взмолился Рябчик жалобным голосом. — Пусть бог пошлет тебе лучший завтрак! Ну, какой прок во мне? Шкура да кости!.. Послушай, отпусти меня, сжалься над моей собачьей жизнью!..

Поджав хвост и выгнув спину, Рябчик стал ползать на брюхе, извиваться и гримасничать так, что волку тошно стало.

— Подбери свой гадкий хвост, собачье ты отродье, и убирайся ко всем чертям, чтоб я паршивого обличья твоего не видел!..

Ни жив ни мертв, не чуя под собой ног, Рябчик пустился бежать, боясь даже оглянуться. Он мчался во весь дух подальше от леса, обратно в город.

8

Вернувшись в город, Рябчик миновал двор, в котором вырос, хотя сердце влекло его именно туда, на тот двор, где его били и колотили, на тот двор, где ему подбили ногу и ошпарили спину... Рябчик отправился на базар, в мясные ряды, к собакам, которые там околачиваются, к своим, значит.

— Милости просим! Откуда явилась, собака? — обращаются к нему собаки из мясных рядов, позевывая и устраиваясь на ночлег.

— Да я здешний, — отвечает Рябчик, — вы разве меня не узнали? Я ведь Рябчик!

— Рябчик? Рябчик? Постой-ка, знакомое имя! — говорят собаки, будто никак не могут вспомнить, кто он такой.

— Что это у тебя за отметина на спине? — нахально прыгая перед его мордой, спрашивает Цуцик, маленькая собачонка.

— Это, наверно, для того, чтобы его ни с кем не спутали, или же просто для красоты, что тут удивительного? — насмешливо замечает Рудек, рыжая, мохнатая собака.

— Ничего подобного!—говорит Серко, старый холостяк, серый, кривой, с отрезанным ухом. — Об отметинах меня спросите, уж я вам точно скажу. Это знак суровых стычек, битв с целыми сворами...

— Разговорились! — вставляет Жук, бесхвостая собака. — Дайте же высказаться Рябчику, пусть сам расскажет.

Рябчик вытягивается на земле и начинает рассказывать свою историю, ни одной мелочи не пропускает. Все собаки лежат и слушают молча, один только рыжий Рудек, шутник, то и дело вставляет остроту.

— Да замолчишь ли ты, Рудек? — широко зевая, говорит черный бесхвостый Жук. — Рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы все любим после обеда послушать сказки...

Рябчик все продолжает рассказывать жалобным голосом свою печальную историю, но никто его уже не слушает. Цуцик шепчется с Серко. Рудек сыплет остротами, а Жук храпит, как целый взвод солдат. Изредка он просыпается, широко зевая и приговаривая:

— Ты рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы любим после обеда послушать сказки!

9

Чуть рассвело, Рябчик уже был на ногах. Он издали смотрел на мясников, которые рубили мясо. Вот висит туша шеей вниз, и кровь из нее течет. А вот кусок жирный-прежирный, любо смотреть... И Рябчик смотрит и глотает слюну. Мясники рубят мясо на мелкие куски и время от времени бросают собачкам то кусочек мяса, то кожицу, то кость. А собаки подпрыгивают, на лету ловят подачки. Рябчик смотрит, как собаки ухитряются подпрыгнуть как раз

вовремя, ни одной косточки не упустят. Получив свою долю, каждая отходит в сторонку, привольно располагается там и справляет трапезу, то и дело оглядываясь на других собак, как бы говоря: «Видите кость? Эта кость моя, и я ее ем».

Другие собаки притворяются, будто ничего не замечают.

«Чтоб тебе подавиться, — думают они, — чтоб у тебя эта кость боком вышла, все утро жрет и жрет, а мы стой тут и смотри, сожри тебя черви!»

А иная собака тащит в зубах кусок кожи и ищет место, где бы ей перекусить, чтоб никто не видел: она боится дурного глаза...

А еще одна собака стоит перед злым мясником, который все время чем-то недоволен, кричит, ругается с другими мясниками. Собака вертит хвостом и говорит угодливо, якобы обращаясь к своим товаркам:

— Видите вот этого мясника? Правда, у них как будто сердитый вид? Но такое бы мне счастье, какой это славный человек! На всем свете другого такого не сыщешь! Они по-настоящему жалеют собак; они, можно сказать, покровитель собак... Вот увидите, как сейчас полетит кость, кость с мясом... Гоп!

Собака подпрыгивает и ляскает зубами, пусть другие подумают, что ей попался жирный кусок...

— Всем хорош, — отзывается собака со стороны, — и врун, и льстец, и хвастун, чтоб его черт побрал!..

А еще одна собака, улучив момент, когда мясник на минуту отворачивается, прыгает на колоду, на которой он рубит мясо, и лижет ее. Между собаками поднимается лай: это они доносят мяснику, клянутся именем господа, что пес-ворюга стащил кусок мяса, такой бы им слиток золота! Они своими глазами видели, видеть бы им так добро! Пусть их земля проглотит, если они врут, пусть подавятся первой косточкой, пусть им даже рога и копыта не достанутся от зарезанной скотины!..

— Фу, тошно, с души воротит! — отзывается старый пес, который и сам был бы не прочь полако-

миться косточкой. Тут Рябчик подумал: что толку в том, что он стоит и смотрит? Все собаки прыгают и хватают, и он как все. Но не успел Рябчик оглянуться, как несколько собак сразу схватили его за горло и стали терзать, норовя укусить то самое место, где особенно больно бывает...

С опущенным хвостом Рябчик забился в уголок и, вытянув морду, начал выть.

— Чего ты плачешь?—спросил его Жук, облизываясь после еды.

— Как же мне не плакать?—отвечает Рябчик.— Я несчастнейшая из собак! Я надеялся, что здесь, среди своих, мне тоже кое-что перепадет. Я бы не полез, поверь, но я смертельно голоден, сил больше нет!

— Верю, — отвечает ему Жук со вздохом. — Я знаю, что такое голод. Сочувствую твоей беде, но помочь ничем не могу. Здесь уже так заведено; у каждого мясника своя собака, а у каждой собаки свой мясник...

— Разве это хорошо? — говорит Рябчик. — Где же справедливость? Где собачность? Где это видано, чтобы собака пропадала среди собак? Чтобы голодный умирал с голоду среди сытых?

— Разве лишь вздохом могу тебе помочь, — говорит Жук, смачно зевая и располагаясь после еды ко сну.

— Если так, — и Рябчик набирается мужества, — я пойду прямо к мясникам; может быть, мне тоже удастся вылаять себе мясника...

— Желаю успеха! — говорит Жук. — Только к моему мяснику не ходи, потому что, если ты пойдешь к моему мяснику, быть тебе без хвоста, вот как я, видишь?

10

И Рябчик, миновав всех собак, направился прямо к мясникам, стал улыбаться им, прыгать и вилять перед ними хвостом. Но за неудачником беда следует по пятам. Один из мясников, здоро-

венный, широкоплечий парень, видно, шутки ради, запустил в Рябчика топором. Не умей Рябчик прыгать, его бы разрубило пополам.

— Ты совсем недурно пляшешь! — с издевкой обратился к нему Рудек. — Почище нашего Цуцика! Цуцик, поди-ка сюда, поучись, вот как надо плясать!..

Цуцик прибежал и начал прыгать прямо перед мордой Рябчика.

Этого Рябчик не мог стерпеть. Он схватил Цуцика зубами, опрокинул его на спину и начал кусать в живот. Всю горечь души своей он выместил на Цуцике, а потом дал стрекача. Один-одинешенек Рябчик пробрался в поле, вытянулся там посреди дороги, от стыда и досады спрятал морду в лапы — ему опостылел божий мир. Его даже не трогало то, что мухи облепили его, пусть кусают, пусть живого места не оставят — все равно конец!..

«Дальше некуда! — думал Рябчик. — Если даже среди собак, среди *своих,* собаке и дня нельзя прожить, то пусть весь мир провалится в тартарары!..»

МАФУСАЛ*

Еврейская лошадка

1

Мафусалом прозвали его в Касриловке потому, что был он обременен годами и не имел ни единого зуба во рту, если не считать двух-трех пеньков, которыми он с трудом жевал, когда было что жевать. Высокий, тощий, облезлый, с побитой спиной и тусклыми глазами (на одном — бельмо, другой — с красниной), кривоногий, мосластый, со впалыми боками, отвисшей губой, точно он вот-вот заплачет, и с общипанным хвостом — таков его портрет. А пребывал он на старости лет в Касриловке у Касриела-водовоза вместо лошади.

По природе своей Мафусал был кроткий, работяга, только очень уж заездили его, беднягу. Натопавшись за день по густой касриловской грязи и обеспечив весь город на сутки водой, Мафусал бывал доволен, когда его наконец распрягали, кидали ему охапку соломы, а затем на закуску ставили перед ним лохань с помоями, которую Касриелиха подносила ему с таким видом, с каким, скажем, подносят блюдо с рыбой или миску вареников самому дорогому гостю. Этих помоев Мафусал ждал всегда с нетерпением, потому что там он находил размокший кусок хлеба, остатки каши и другие вкусные вещи, для которых зубы вовсе не нужны. Целый день Касриелиха старалась для Мафусала, бросала в ло-

хань все, что подвернется под руку, — пусть бедная лошадка покушает. А Мафусал, подкрепившись, поворачивался лицом к своему бочонку, а к Касриелихе, извините, задом, что должно было, очевидно, означать: «Спасибо за хлеб-соль». При этом он еще больше свешивал нижнюю губу, закрывал зрячий глаз и погружался в глубокое лошадиное раздумье.

2

Не думайте, однако, что Мафусал с первых дней своей лошадиной жизни был таким, каким он здесь изображен. Давно, в молодые годы, когда еще жеребенком он трусил за матерью подле телеги, он обещал стать славным коньком. Знатоки предсказывали, что из него вырастет конь хоть куда. «Вот увидите, — говорили они, — он будет когда-нибудь ходить в карете в паре с самыми лучшими, самыми знатными лошадьми!»

Когда жеребенок подрос и стал лошадью, на него без церемонии надели узду, вывели на ярмарку и поставили там среди других лошадей. Раз пятьдесят его здесь прогоняли взад и вперед, ежеминутно смотрели зубы, поднимали ноги, разглядывали копыта, и так он был передан в чужие руки.

С той поры начинаются его хождения по мукам, бесконечные скитания с места на место. Он переходит от хозяина к хозяину, тащит телеги с тридцатипудовой тяжестью, тонет по брюхо в грязи, познает прелести кнута и палки, которые гуляют по его бокам, по голове, по ногам.

3

Долгое время ходил он коренным в почтовой упряжке с колокольцами, которые не переставая гремели у него над ухом — глин-глин-глон! глин-глин-глон! — и носился как оглашенный взад и вперед все по одному и тому же тракту. Потом он попал к простому мужику, у которого выполнял самые тяжкие работы: пахал, возил огромные телеги

с зерном, бочки с водой, повозки, груженные лошадиным и коровьим навозом, выполнял еще много всякой другой грубой работы, которая была ему совершенно непривычна. От мужика он попал к цыгану. Цыган вытворял над ним такие штуки, применял такие подлые средства, чтобы он резвей бегал, что Мафусал не забудет этого во всю свою лошадиную жизнь. От цыгана он перекочевал в какой-то большой табун, а спустя короткое время очутился в Мазеповке у владельца тяжелого, окованного железом фургона, над которым высился странного вида разодранный навес, называемый всеми «будой». Здесь, у извозчика, его постоянно награждали кнутом и палкой, точно лошадиная шкура из сыромятины, а не из плоти и крови, точно лошадиные бока из железа, а не из костей. О-ох-о! Сколько раз, бывало, Мафусал уже еле волочит ноги, ляжки точно клещами тянет, в животе какая-то тяжесть, словно там ком какой, а он, этот безжалостный извозчик, все «но!» да «но!», да хлоп кнутом, да бух кнутовищем. Ну за что это?!

Счастье, что у извозчика был заведен такой обычай — один день в неделю можно было стоять на месте; стоять, жевать и ничего не делать. Мафусал не однажды задумывался над этим. Его лошадиные мозги никак не могли уразуметь — в чем же смысл этого дня? Почему в этот день никто тебя не беспокоит? И почему бы не установить такой порядок навсегда? Раздумывая так, он, бывало, настораживал уши и прикрывал один глаз, а другим поглядывал на своих двух товарищей, которые стояли здесь же, привязанные к тому же фургону.

4

Извозчика и его фургон сменила молотилка. Здесь Мафусал познал самый каторжный труд: деньденьской ходил в упряжке по кругу, глотал пыль да мякину, которая набивалась ему в ноздри, забиралась в уши, в глаза, и дурел от грохота машины.

«Какой смысл в этом кружении? — не раз спрашивал он себя, пытаясь остановиться хоть на минутку.—Кто додумался до такой мудрости—кружиться на одном месте?» Однако ему не давали долго раздумывать; сзади стоял человек с кнутом и не переставая покрикивал: «Гу-ги! гу-ги!..»

«Дурачина ты этакий! — думал Мафусал, поглядывая на человека с кнутом. — Хотел бы я видеть, как кружился бы ты вот здесь, если б тебя впрягли в колесо да подстегивали сзади».

Разумеется, от такого кружения в вечной пыли бедняга превратился вскоре в инвалида — один глаз закрыло бельмо, другой покраснел, сдали и ноги. С такими явными пороками он был гож только на свалку. Тогда Мафусала опять вывели на ярмарку, — может быть, его все-таки удастся сбыть. Лошадь принарядили, расчесали ей гриву, жиденький хвост подвязали, а копыта освежили жиром. Однако ничто не помогло — людей не проведешь. Сколько его ни муштровали, чтобы он гордо нес свою лошадиную голову, чтобы держался молодцом, он все свое: свешивал понуро голову, подгибал ноги, опускал нижнюю губу и ронял слезу при этом... Нет, охотников на него уже не находилось! Подходил один, другой, но они даже в зубы не глядели ему, только, бывало, пренебрежительно махнут рукой, сплюнут и пойдут своей дорогой. Выискался было один охотник, но не на лошадь, а на ее шкуру. Только не сошлись в цене. Торговец шкурами подсчитал, что это ему невыгодно. Свести лошадь, забить, содрать шкуру — обойдется дороже, чем стоит сама шкура.

Но, видно, суждена была Мафусалу спокойная старость — подвернулся Касриел-водовоз и свел его к себе домой в Касриловку.

5

До этого Касриел — широкоплечий, обросший до глаз человек с приплюснутым носом — был сам себе и водовозом и клячей, то есть попросту сам впря-

гался в бочку и развозил по городу воду. И как бы туго Касриелу ни приходилось, он никогда никому не завидовал. Вот только когда он видел человека с лошадью, то, бывало, останавливался и долго-долго смотрел ему вслед. Лишь об одном мечтал он всю жизнь: кабы господь помог обзавестись лошадью. Однако сколько он ни копил, ему никак не удавалось собрать столько денег, чтобы хватило на лошадь. И все же он не пропускал ни одной ярмарки, чтобы не потолкаться у лошадок, не поглазеть,— говорят ведь: пощупать, что на возу, никогда не мешает. Увидев несчастную, забитую лошадь, стоящую посреди базара без узды, без привязи, Касриел остановился. Сердце его чуяло, что эта лошадь ему по карману.

Так оно и вышло. Торговаться ему долго не пришлось. Ухватив коня за узду, Касриел, счастливый, помчался домой. Он постучался, и Касриелиха вышла испуганная.

— Что такое? Господь с тобой!

— Купил, ей-же-ей, купил!

Касриел и Касриелиха не могли решить, где бы им поместить свою лошадку. Не стесняйся они соседей, поставили бы ее у себя в доме. Вмиг у них появились и сено и солома. А сами — Касриел и Касриелиха — встали перед лошадкой, долго любовались ею, никак наглядеться не могли.

Собрались и соседи посмотреть диковинку, которую Касриел привел с ярмарки. Они подтрунивали над лошадью, отпускали, как водится, остроты.

— Да ведь это не лошадь, а мул какой-то! — заявил один.

— Какое там мул. Кошка! — добавил другой.

Третий вставил:

— Это тень одна, ее надо заслонить, чтобы ветром, упаси господь, не унесло!

— Сколько, однако, лет этой твари? — полюбопытствовал кто-то.

— Наверное, больше, чем Касриелу и Касриелихе вместе.

— Мафусаловы годы!..

С тех пор его и прозвали Мафусалом. И имя это осталось за ним по сей день.

6

Зато жилось ему у Касриела, как никогда раньше, даже в самые лучшие годы. Во-первых, какой у него здесь труд? Смехота! Тащить бочонок с водой и у каждого дома останавливаться — разве это работа?! А хозяин! Да ведь это брильянт! Человек даже не крикнет громко, не прикоснется к нему, держит кнут так просто, для приличия. А еда! Правда, овсом его не балуют, но к чему овес, когда жевать нечем! Уж лучше помои да мякиши, которые подносит ему Касриелиха каждый день. И не столько помои, как вежливое обращение! Поглядеть только на Касриелиху, как она стоит, сложив руки на груди, и умильно посматривает на Мафусала, разделывающегося с помоями, — тьфу, тьфу, не сглазить бы! А наступит ночь, подстелют ему во дворе соломки, затем либо Касриел, либо Касриелиха то и дело выходят проведать, не увели ли его, упаси господи. Чуть свет, еще сам бог спит, а Касриел уже около своего конька. Он запрягает его тихонько, взбирается на передок и направляется к реке по воду, напевая при этом на какой-то странный мотив: «Блажен муж, иже не идет...» У него это означает — хорошо человеку, который не идет пешим. А с полной бочкой Касриел возвращается все же пешком; теперь уже он не подпевает, топает вместе с Мафусалом по грязи и знай себе помахивает кнутиком: «Ну, ну, Мафусал, трогай, трогай!»

Мафусал упрямо месит ногами грязь, мотает головой и, поглядывая единственным глазом на своего хозяина, думает про себя: «С тех пор как я — скотина, мне еще никогда не приходилось работать на такого чудака». И вот лошадка, поразмыслив,

начинает вдруг припадать на задние ноги, а затем, шутки ради, останавливается в самой грязи: «Дай-ка посмотрю, что из этого выйдет!» Увидев, что лошадь внезапно остановилась, Касриел начинает суетиться вокруг бочонка, осматривает колеса, оси, упряжь, а Мафусал, повернув голову к Касриелу и пожевывая губами, кажется, улыбается: «Ну и дуралей же этот водовоз! Совсем глупое животное!»

7

Но вечного счастья нет на земле. Мафусал мог бы сказать, что он счастливо доживает свою старость у Касриела и Касриелихи, если бы не дети: хозяйские, соседские и всякие иные дети доставляли ему уйму неприятностей, издевались, позорили его.

С первой же минуты как только его ввели во двор, детвора почувствовала к нему... не вражду, боже сохрани, а, наоборот, большую любовь. И эта любовь оказалась для Мафусала роковой. Лучше бы они его меньше любили, да больше жалели.

Первым делом эти босые воспитанники талмуд-торы, Касриеловы дети, когда вокруг никого не было, стали испытывать, обладает ли Мафусал теми же чувствами, что и человек; попробовали хлестнуть палкой по спине — ничего; пощекотали ногу — ничего; щелкнули — по уху — еле-еле; и лишь когда провели соломинкой по бельму, они окончательно убедились, что Мафусал чувствует, как человек, потому что он поморгал глазами и мотнул головой, точно хотел сказать: «Нет, только не это! Это мне не нравится». А коли так, ребята сразу же достали прутик из веника и засунули лошади глубоко в ноздрю. Тут Мафусал дернулся, подпрыгнул и фыркнул.

Выскочил Касриел.

— Озорники, разбойники! Что вы делаете с лошадью! Марш в хедер, бездельники!

Ребята сразу — шмыг, и, дай бог ноги, в талмуд-тору.

8

А в талмудторе был мальчуган по имени Рувеле, озорной парнишка, сорвиголова, — храни бог от такого! Родная мать говорила про него: «Таких погуще сеять, да пореже б всходили!» Любимое его занятие было всем надоедать. Все чердаки, все погреба он облазил. Гонять кур, гусей, уток, дразнить собак, пугать козу, мучить кошек — о свиньях уже нечего и говорить! — было его страстью. Ни тумаки матери, ни розги учителя, ни зуботычины посторонних ни к чему не приводили. Ругай сколько влезет — как горох о стену. Только что его как будто отхлестали, только что он обливался горючими слезами, но вот вы отвернулись — ага! — Рувеле уже выставил язык, сложил губы вишенкой, надул щеки пузырем. А щеки у него — настоящие пампушки. И был он всегда весел и здоров. Что ему от того, что мать, горемычная вдова, мучается, как в смертный час, а все же вносит за него свой рубль в талмудтору?!

Когда Рувеле проведал у ребят, что их отец привел с ярмарки коня, которого зовут Мафусал, он вскочил на скамью, провел под носом одной рукой, потом другой и закричал во все горло:

— Ребята, есть смычок!

Нужно заметить, что у Рувеле с малых лет была страсть к музыке. Он любил музыкантов, а по скрипке прямо-таки пропадал.

Кстати, у него был приятный голосок, и знал он на память уйму песен. Единственная его мечта—вырасти большим, купить себе скрипку и играть на ней день и ночь. Но пока он смастерил себе маленькую скрипочку из дерева, натянул на ней нитки вместо струн и, понятно, получил за это что полагается от матери.

— Музыкантом хочешь стать? Не дожить бы мне до этакого!

Вечером, когда учитель Хаим-Хоне отпустил учеников, они всей гурьбой отправились смотреть лошадку Касриела-водовоза. И Рувеле тут сразу заявил:

— Мафусал — отличная лошадь. Из хвоста у нее можно добыть сколько угодно струн. Да вот мы сейчас попробуем.

И Рувеле подобрался сзади к Мафусалу и стал у него из хвоста выдергивать волосы. Пока он вырывал по одному волоску, Мафусал стоял спокойно. «Один волосок? — точно говорил он. — Не велика беда! Подумаешь, будет на волос меньше!» Но когда Рувеле приладился и стал выдирать целыми жгутами, Мафусал осерчал: «Вот как! Посади свинью за стол, она и ноги на стол!» И недолго думая наддал копытом, да прямо в зубы Рувеле, и рассек ему губу.

— Так тебе и надо! О, горе мне! Очень хорошо! Все несчастья на мою голову! В другой раз не полезешь! О, погибель моя! — причитала мать Рувеле Ента-лепетунья, прикладывая холодный компресс к рассеченной губе сына, плакала, ломала руки, убивалась, поминутно бегала к знахарке Хьене.

9

Рувеле был, слава тебе господи, из тех ребят, на которых все заживает, как на собаке. Не успели оглянуться, как у него срослась губа, будто ничего и не было. А он уже новую шутку придумал: надо как-нибудь прокатиться верхом на Мафусале всем школьникам разом. Но как это сделать, чтобы никто не узнал? И Рувеле решил, что это надо сделать в субботу после обеда, когда все лягут отдыхать. В это время Касриловку можно вынести из дому со всем добром.

Один из учеников стал было возражать:

— Как же это можно еврею ехать в субботу?

Но Рувеле ему ответил:

— Осел, разве это значит ехать? Это ведь игра!..

Пришла суббота. Все пообедали, прилегли отдохнуть. Прилегли Касриел и Касриелиха. Тогда во двор к водовозу стали потихоньку собираться ребята. Рувеле сразу же принялся наряжать Мафусала. Раньше всего он заплел ему гриву в косы и

разукрасил их соломинками, затем надел ему на голову белый бумажный колпак, который укрепил тесемками, и, наконец, к хвосту прицепил старый веник, чтобы хвост выглядел длинней и красивей. И ребята, опережая друг друга, стали взбираться на спину лошади. Кому удалось взобраться, тот был на коне, остальным же оставалось только подождать. А пока они шли позади, понукали Мафусала, чтобы тот шел быстрей, и пели хором:

— Так будет воздано коню, которому Рувеле пожелает оказать честь!..

У Мафусала, однако, не было никакой охоты двигаться быстрей, и он плелся шажком. Во-первых, куда ему спешить, в самом деле? Во-вторых, ведь сегодня день отдыха. Но Рувеле не переставая подгонял лошадь, нокал, вьекал, тюкал и орал изо всех сил на остальную братию:

— Черт бы вас побрал! Что же вы молчите?

А Мафусал все трюх да трюх шажком, да подумывает про себя: «Ребятня резвится, пусть их порезвятся!»

Но когда детвора стала уж слишком докучать ему, нукать, гнать, махать руками, Мафусал пошел быстрее; а когда он шаг убыстрил, веник стал бить его по ногам. Тогда он побежал. Веник стал бить еще пуще. Мафусал пошел вскачь. Ребята пришли в восторг, а Рувеле и вовсе подпрыгивал от удовольствия и все покрикивал: «Гоп-гоп-гоп!» Гопали они до тех пор, пока стали сыпаться с коня наземь, как галушки. А Мафусал только теперь, сбросив всех и почуяв свободу, пустился, как обезумевший, устремляясь все дальше, по ту сторону мельницы, за город.

А здесь пастушата, увидев странно разряженную лошадь, в бумажном колпаке, загикали, погнались за нею, стали кидать в нее палками, натравили собак. Собаки не заставили себя долго просить, пустились вдогонку, стали кусать, рвать ее; одни схватили сзади за ляжки, другие забежали вперед, вцепились в горло. Мафусал захрипел. Собаки терзали его до тех пор, пока не доконали.

10

На другой день ребята получили по заслугам. Разбитые носы да шишки на лбу — это не в счет. Помимо всего этого, они получили взбучку от своих родителей, да и учитель Хаим-Хоне всыпал им. Больше всего досталось, конечно, Рувеле, потому что все ребята, когда их пороли, плакали, как полагается, а этот, наоборот, смеялся. Тогда его принялись полосовать крепче. Но чем больше его били, тем сильней он смеялся, а чем сильней смеялся, тем крепче его били. Дошло до того, что сам учитель Хаим-Хоне рассмеялся, а на него глядя — и все ученики. Поднялся такой хохот, что соседи сбежались, прохожие на улице остановились, — тут были и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. «Что случилось? Что за смех? Отчего смеются?» Но никто не в силах был ответить — все смеялись. Тогда и прохожие не выдержали — расхохотались. Тут еще пуще загоготали ученики и сам учитель; а на них глядя покатились со смеху и пришедшие. Одним словом, все надрывали животики, смеялись до слез, до колик в боку.

Не смеялись только двое — водовоз Касриел и его жена. Когда, не дай господи, ребенок умирает в доме, не знаю, рыдают ли по нем так, как рыдали Касриел и Касриелиха по своей утрате, по своей бедной лошадке, по старому Мафусалу.

СКРИПКА

Рассказ из детских лет

1

— Сегодня, дети, я вам сыграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекрасней, ничего благородней, чем игра на скрипке. Не правда ли, дети? Не знаю, как вы, но я, сколько себя помню, был всегда без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения. Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, рвану толстую струну: бум! — и бежать, бум! — и бежать. За этот «бум» мне однажды здорово влетело от Берл-баса. Берл-бас, человек сердитый, с приплюснутым носом, с острым взглядом, притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу, когда же я протянул руку к струне, он хвать меня за ухо и торжественно проводил до самой двери: «Ну-ка, озорник, марш отсюда!»

Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я страстно любил их всех: от скрипача Шайки, человека с красивой черной бородой и тонкими белыми пальцами, до барабанщика Геци, обладателя порядочного горба и плеши до самых ушей. Не раз леживал я под скамьей и слушал этих музыкантов — меня ведь

гнали вон. Оттуда, из-под скамьи, я следил за тонкими пальцами Шайки, как они пляшут по струнам, внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипки.

После этого я, бывало, несколько дней подряд хожу как зачарованный, а перед глазами все Шайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днем наяву. Из головы не выходил у меня этот Шайка. Мне казалось, будто я и сам скрипач. Изогну, бывало, левую руку и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза — ну, совсем Шайка, две капли воды.

Приметил наш учитель Ноте-Лейб, — было это как раз на уроке, — что я двигаю как-то странно руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху.

— Ах ты бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи, мух ловит!

2

И я дал себе слово: чего бы это мне ни стоило, что бы ни случилось, — я должен иметь скрипку. Но из чего же мне сделать эту скрипку? Конечно, из кедрового дерева. Легко, однако, сказать, кедровое дерево! Попробуй-ка достань его, если растет оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне вдруг такую мысль. Был у нас старый диван, доставшийся по наследству от дедушки реб Аншла. Из-за этого дивана в свое время поссорились между собой два мои дяди и покойный отец. Дядя Беня твердил, что он старший сын и поэтому диван должен, конечно, достаться ему; дядя Сендер утверждал, что именно как самому младшему, диван должен принадлежать ему; а покойный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была единственной дочерью у дедушки, то диван должна наследовать она. Это во-первых. А во-вторых, диван

стоит у нас в доме, значит — это вообще наш диван. Тут вмешались обе тетки, тетя Ита и тетя Злата, и затеяли такую склоку, что держись! Диван, дивана, диваном... В городе только и было разговору, что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.

Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, как яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящим «кедром», который идет на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но этот недостаток обернулся для меня достоинством: сядешь, бывало, на него и уж никак не встанешь, потому что сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине провалилось. Вот это-то и было его достоинством — никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.

На этот диван я и обратил теперь свои взоры. Смычок я изготовил уже давно. У меня был товарищ Шимеле, сын извозчика Юды, он дал мне пучок волос из хвоста их лошади. Канифоль для смычка я сам достал. На чудеса я никогда не полагался и выменял канифоль у другого приятеля, Меера-Липы, — дал ему стальную пластинку от маминого кринолина, который валялся у нас на чердаке. Эту пластинку Меер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножичек. Меня даже взяла охота снова обменяться с ним, но он ни за что не соглашался.

— Вишь какой умник нашелся! Весь в папашу! — раскричался он. — Я три ночи тружусь — точу, точу, все пальцы себе порезал, а он, видите ли, является — давай обратно меняться!

— Гляди-ка! — говорю я. — Ну и не надо! Какая невидаль, стальная пластинка! Мало валяется их у нас на чердаке? Внукам и правнукам хватит!

Итак, у меня есть все, что нужно. Теперь осталось только одно: содрать с дивана «кедровое дерево». Выбрал я для этого самое подходящее время: мать была в лавке, а отец после обеда прилег вздремнуть. Я взял гвоздь, забрался в угол и углубился в работу. Однако отец спросонья услышал

какую-то возню и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец тут же повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу — отец подле меня и смотрит какими-то странными глазами. По-видимому, он сразу никак не мог сообразить, что же, собственно, я делаю. Потом уже, заметив изувеченный диван, он вытащил меня за ухо из угла и так жестоко избил, что меня пришлось отливать холодной водой.

— Господь с тобой! Что ты с ребенком сделал? — кричала мать, плача.

— Наследничек твой! Он живьем в могилу меня вгонит! — отвечал побледневший отец и, хватаясь за грудь, зашелся жестоким кашлем.

— Зачем же тебе так огорчаться? — говорила ему после мать. — Ты и без того хворый! Глянь на себя! Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!

3

Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильней становилась эта страсть. А тут еще как назло каждый день мне поневоле приходилось слушать музыку. Как раз на полпути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломой; оттуда постоянно неслись звуки всяких инструментов, чаще всего — звуки скрипки. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, ходивший в укороченном кафтане, с заложенными за уши пейсами и в крахмальном воротничке. У него был изрядный нос, который выглядел будто приклеенный, губы толстые, зубы гнилые, лицо рябое и без всяких признаков бороды, — потому-то его и прозвали Безбородько. Жена его была дородная, крупная и звали ее «праматерь Ева». А ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, ребята эти, все от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цим-

балах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, что умели исполнять самую сложную мелодию на губах, на гребенках, на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!

С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят — флейтист Пиня, парень лет пятнадцати, босой, — и спрашивает, понравилась ли мне игра.

— Хотел бы я, — отвечаю, — лет через десять так играть!

— Можешь этого добиться раньше, — говорит он и намекает, что за два целковых в месяц папаша его обучит меня играть, а если угодно, так и он сам обучит меня.

— На каком инструменте ты бы хотел играть? — спрашивает он. — На скрипке?

— На скрипке.

— На скрипке? — повторяет он. — А сможешь платить два с полтиной в месяц? Или ты такой же голодранец, как я?

— Платить-то я смогу, — отвечаю ему, — да только... об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни учитель.

— Боже упаси! — говорит он. — Зачем болтать! Нет ли у тебя табачку или папироски? Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос... Но смотри, никому ни слова, отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет и купит баранок на завтрак. Пойдем в дом, чего тут стоять!

4

Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.

Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу.

— Шолом Нохума Вевикова... сынок богача, хочет учиться играть на скрипке.

Нафтоле Безбородько убрал пейсы за уши, поправил воротничок, застегнул кафтан и завел со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что самый лучший, самый замечательный инструмент — это скрипка, что выше и благородней скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Ведь скрипка — мать всех инструментов.

Вот так Нафтоле Безбородько прочел мне целую лекцию о музыке, при этом, как обычно, размахивал руками, шмыгал носом. Я же стоял и глядел ему в рот на почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.

— Скрипка, понимаешь ли, — говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией, — понимаешь ли, скрипка — самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был то ли Тувал-Каин, то ли Мафусаил*, точно не помню, тебе лучше знать, ты ведь в школе учишься. Второй скрипач был царь Давид*. Был еще один, третий скрипач, Паганини его звали, тоже еврей*. Все лучшие скрипачи в мире евреи — вот, например, Стемпеню, Педоцур. Себя я не стану хвалить. Говорят, я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини. Паганини, говорят, продал душу дьяволу за скрипку. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями да папами, хоть те готовы были озолотить его. Зато он охотно играл для бедняков в кабачках по деревушкам или даже в лесу — для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, нахлебнички, за инструменты!

Это Нафтоле Безбородько внезапно отдал приказ своей команде, и ребята немедленно собрались вокруг него со своими инструментами. Сам Нафтоле встал посредине, ударил смычком по столу, строго глянул на каждого в отдельности, затем на всех разом, и они рванули на своих инструментах с такой силой, что я чуть было не свалился. Все они старались друг перед другом, но сильнее других оглушил меня один совсем маленький, худенький, мокроносый мальчонка, с бо-

сыми опухшими ножками. Хемеле играл на каком-то чудном инструменте; это было что-то вроде мешка, который, если его надуть, испускает дикий звук, будто кошка взвизгивает, когда ей наступают на хвост. Отбивая босой ногой такт, Хемеле все время поглядывал на меня своими маленькими плутоватыми глазенками и подмигивал, точно хотел сказать: «Не правда ли, здорово дую?» Но неистовей всех работал сам Нафтоле Безбородько: он и играл и дирижировал, действуя руками, ногами, носом, глазами, всем телом, а если случалось, что кто-нибудь ошибался, он еще и зубами скрежетал, сердито покрикивая:

— Форто, прохвост! Форто, фортиссимо!.. Такт, бездельник! Такт! Раз, два, три! Раз, два, три!

5

Договорились с Нафтоле Безбородько: за три раза в неделю по полтора часа — два рубля в месяц. И я его снова и снова умоляю держать все в строгой тайне, иначе я погиб. Он дает мне честное слово, что даже пташка в небе ничего не узнает.

— Уж такие мы человеки, — заявляет он гордо и поправляет воротничок, — из тех, что денег не имеют, но совести и чести у нас побольше, чем у иных богачей!.. Не найдется ли у тебя несколько копеек?

Я вынимаю рубль и подаю ему. Нафтоле берет его двумя пальцами, как профессор, подзывает «праматерь Еву» и говорит, глядя в сторону:

— На, купи чего-нибудь на завтрак!

«Праматерь Ева», однако, хватает рубль обеими руками, да всей пятерней, обследует его со всех сторон и спрашивает мужа, что же ей купить.

— Чего хочешь, — отвечает он как бы совсем безразлично. — Купи несколько булок, две-три селедки и колбасы, не забудь головку луку, уксусу, масла, ну, и «мерзавчика», конечно, прихвати.

Когда все эти прелести появились на столе, орава накинулась на еду с такой жадностью, точно она разговлялась после долгого поста. Даже у меня слюнки

потекли. И когда меня пригласили к столу, я не мог отказаться. Не помню, чтобы я когда-либо получал такое удовольствие, как тогда за этой трапезой.

После завтрака Безбородько мигнул своей команде. Все взялись за инструменты и меня угостили новым опусом — «собственной композиции» Нафтоле Безбородько. Эту «композицию» они сыграли с таким грохотом, что у меня заложило уши, закружилась голова, и я ушел оттуда как пьяный. Целый день потом в школе у меня вертелись в глазах учитель, ученики, книги, а в ушах не переставала грохотать «композиция». Ночью мне явился во сне Паганини верхом на дьяволе и огрел меня скрипкой по голове. Я проснулся с криком — у меня болела голова — и начал молоть всякий вздор. Что я говорил, не знаю. Но моя старшая сестра Песя потом рассказывала, что я в бреду выкрикивал какие-то бессвязные, дикие слова, вроде: Паганини, композиция. И еще об одном рассказала мне сестра — когда я болел, к нам раза два приходил от Нафтоле Безбородько какой-то босой мальчишка и справлялся, как я себя чувствую. Но его прогнали и наказали, чтобы он не смел больше являться к нам.

— Зачем приходил к тебе сынок музыканта? — допытывалась сестра.

Я твердил одно:

— Не знаю. Жизнью своей клянусь, не знаю! Откуда мне знать?

— Ну, на что это похоже? — говорила мне мать. — Ты уже, не сглазить бы, взрослый парень. Тебе уже невесту присматривают, а ты возишься с босыми музыкантами. Хороши у тебя приятели! Ну, что общего у тебя с этими музыкантами? Какие у тебя дела с сыном Нафтоле?

— Какого Нафтоле? — спрашивал я, прикидываясь дурачком. — Какие там музыканты?

— Погляди-ка на этого полоумного! — вставлял слово отец. — Не знает, что и сказать! Бедняжечка! Агнец невинный! Я в твои годы уже давно женихом был, а он все с мальчишками возится! Одевайся — и марш в школу! Если тебя увидит Гершл бал-таксе и

спросит, чем ты болел, отвечай — лихорадкой. Слышишь, что тебе говорят? Лихорадкой!

Ничего не понимаю. При чем тут Гершл бал-таксе? И почему я должен ему рассказывать о лихорадке?

Через несколько недель я получил ответ на все мои недоуменные вопросы.

6

Гершл бал-таксе (так звали его потому, что и он, и отец его, и дедушка от века владели мясной таксой, или иначе — держали на откупе коробочный сбор; это уже была его вотчина) был человек с круглым брюшком, рыжей бородкой, влажными глазами и широким белым лбом — признак светлого ума. И он действительно слыл в местечке человеком просвещенным, образованным, знатоком библии и хорошим писцом. То есть почерк у него был замечательный; его письмо, говорят, составляло когда-то предмет гордости города. Ко всему прочему у него были деньги и единственная дочь, девочка с рыжими волосенками и влажными глазками, — две капли воды Гершл бал-таксе. Имя ее было Эстер, а ласкательно ее звали «Флестер». Было это существо хрупкое, нежное, и нас, мальчишек из школы, она боялась пуще смерти, потому что мы надоедали ей, вечно дразнили ее, пели при встрече:

Эстер!
Флестер!
Девочка-девчонка,
Где твоя сестренка?

Казалось, что обидного в этих словах? Правда ведь, ничего! Но Флестер, как только услышит эту песенку, заткнет уши и убежит с плачем в дом, а там заберется в какой-нибудь закуток и потом несколько дней подряд не выходит на улицу.

Но это было давно, когда она была ребенком. Теперь она стала взрослой девицей, заплетает свои рыжие волосы в косичку и одевается, как невеста, по последней моде. Моей матери она всегда нравилась,

мать не могла нахвалиться этой «тихой голубицей». Эстер иногда в субботу заходила к моей сестре Песе, но, завидев меня, становилась еще красней, чем обычно, и опускала глаза. А сестра Песя нарочно, бывало, подзовет меня, спросит что-либо, а сама смотрит на нас обоих.

И был день, и стряслось оное событие. Является к нам в школу мой отец вместе с Гершлом бал-таксе, а за ними плетется сват Шолом-Шахне, превеликий бедолага, человек с шестью пальцами на руке и курчавой черной бородой. Завидев таких гостей, учитель реб Зорах второпях напяливает на себя кафтан и шапку, но от волнения у него одна пейса заезжает за ухо, шапка сползает, из-под нее торчит полермолки, а одна щека ярко пылает. Можно было сразу догадаться, что тут что-то кроется, тем более что сват Шолом-Шахне в последнее время слишком уж зачастил к нам в школу; всякий раз вызывал учителя в сени, и там они подолгу простаивали вдвоем, перешептывались, пожимали плечами, размахивали руками. Заканчивалось все это вздохом:

— Ну что ж, пускай будет так! Раз суждено, значит сбудется. Разве можно все знать наперед?

Когда вошли гости, реб Зорах не знал, что ему делать, куда их посадить. Он схватил кухонную скамейку, на которой его старуха солила мясо*, повертелся с ней по комнате, наконец поставил ее и сам же уселся на ней. Но тотчас вскочил как ошпаренный и, смутившись, ухватился за задний карман кафтана, точно потерял сокровище какое-то.

— Вот скамейка, садитесь! — предложил он гостям.

— Ничего, ничего, сидите! — ответил отец. — Мы зашли к вам, реб Зорах, только на минуту: они хотят послушать моего мальчика... что-нибудь из библии.

И отец показывает на Гершла бал-таксе.

— Ох, пожалуйста, с удовольствием! Отчего бы нет! — говорит учитель Зорах, хватает библию и подает ее Гершлу так, точно говорит при этом: «На тебе, и делай что хочешь».

Гершл бал-таксе берет в руки книгу, как человек, знающий толк в этом деле, склоняет голову набок, за-

жмуривает один глаз, листает, листает и, наконец, указывает мне на первый стих из «Песни песней».

— Гм, «Песнь песней»? — говорит учитель с усмешкой, которая должна означать: «Эх ты! Трудней ничего не мог найти?»

— «Песнь песней», — отвечает ему Гершл бал-таксе, — это вовсе не такое пустое дело, как вы думаете. «Песнь песней» — это надо понимать!

— Безусловно, — вставляет с улыбочкой Шолом-Шахне.

Учитель кивает мне. Я подхожу к столу и, раскачиваясь, начинаю громко напевать:

— Песнь песней, то есть всем песням песнь. Все песни сложил пророк, а эту — пророк пророков; все песни сложил мудрец, а эту — мудрец из мудрецов; все песни пел царь, а эту — царь царей.

Пою, а сам поглядываю на моих экзаменаторов и на каждом лице вижу другое выражение. У отца на лице гордость и удовлетворение; на лице учителя — боязнь и опасение, как бы я не запнулся и не наделал ошибок. Его губы шепчут вслед за мной каждое слово. Гершл бал-таксе сидит, склонив голову несколько набок, — кончик рыжей бороды во рту, один глаз закрыт, другой уставился в потолок, — и слушает, как великий знаток. Сват Шолом-Шахне глаз с него не сводит. Он сидит, согнувшись над столом, покачивается вместе со мной и, не в силах сдержаться, поминутно перебивает меня каким-нибудь возгласом, одобрительным смешком, покашливанием или взмахом своего раздвоенного пальца.

— Раз говорят, что он знает, — значит знает!

Через несколько дней у нас состоялось торжество — били тарелки, и я оказался женихом единственной дочери Гершла бал-таксе, маленькой Флестер.

7

Бывает, что человек в один день вырастает так, как другой не вырастет в десять лет. Став женихом, я сразу же почувствовал себя взрослым; как будто тот же, что и раньше, и все же не тот. От приятеля-

мальчишки и до самого реб Зораха, все стали вдруг глядеть на меня с почтением — как-никак жених. И при часах! Даже отец перестал на меня кричать. А о порке и разговору не могло быть. Как это можно вдруг выпороть жениха с золотыми часами в кармане? Позор перед людьми и срам для себя! Правда, в школе у нас однажды высекли жениха, Элю, за то, что он катался на льду вместе со всеми мальчишками. Об этой истории болтал потом весь город. Невеста, проведав о случившемся, рыдала так долго, пока жениху не отослали обратно акт обручения. А жених Эля с горя и со стыда хотел было утопиться, да река к тому времени замерзла.

Почти такая же беда случилась со мной. Но причиной были не розги и не катанье на льду, а скрипка.

Дело было так.

Частым гостем в нашей винной лавочке был капельмейстер Чечек, которого мы звали «пан полковник». Это был здоровенный дядька, с большой окладистой бородой, со страшными бровями. Говорил он на каком-то странном диалекте — смеси нескольких языков. Во время разговора водил бровями вверх и вниз. Когда он опускал брови, лицо его становилось мрачным, как ночь, когда поднимал, лицо делалось светлым, как день, потому что под его густыми бровями были голубые, добрые, улыбчивые глаза. Носил он мундир с золотыми пуговицами, поэтому-то мы его и прозвали полковником. У нас в лавчонке он был частым гостем не потому, что пил горькую, а только из-за того, что отец искусно готовил из изюма «лучшее добротное венгерское вино». Чечек был в восторге, не мог нахвалиться этим вином. Бывало, положит свою здоровенную ручищу отцу на плечо и говорит на своем странном наречии:

— Герр келермейстер! У тебя найлепший унгервейн. Нема таки винэ ин Будапешт! Перед богом! [1]

---

[1] Господин виноторговец! У тебя наилучшее венгерское! Такого вина не найти и в Будапеште! Ей-богу! *(Смесь немецких, украинских и польских слов.)*

Ко мне Чечек был особенно расположен, хвалил за то, что я учусь в школе, часто проверял мои знания, спрашивал, кто был Адам, кто Изак, а кто Джозеф.

— Иосиф, — говорю я, — Иосиф-прекрасный?

— Джозеф, — отвечает он.

— Иосиф, — поправляю я его снова.

— У нас Джозеф, у вас Иоджеф, — говорит он, потрепав меня по щеке. — Джозеф-Иоджеф-Джозеф — вшистко е́дно [1], ганц эгаль [2].

— Хи-хи-хи...

Я прячу лицо в кулак и смеюсь.

Но с тех пор как я сделался женихом, Чечек больше не обращался со мной как с мальчишкой, стал разговаривать как с равным, рассказывал полковые истории, небылицы о музыкантах (пан полковник мог наговорить с три короба, да некому было его слушать).

Однажды он разговаривал со мной о музыке. И я его спросил:

— На каком инструменте играет пан полковник?

— А на вшистских [3] инструментах, — отвечает он, поднимая брови.

— И на скрипке? — спрашиваю я, и он мне уже начинает представляться ангелом небесным.

— Заходи как-нибудь, — говорит он, — я тебе сыграю.

— Когда же я могу к вам прийти, пан полковник? Разве лишь в субботу. Но с условием: чтобы никто не знал. Обещаете?

— Перед богом! — говорит Чечек и вскидывает свои брови.

8

Чечек жил далеко-далеко за городом в маленькой белой хатке с малюсенькими оконцами и крашеными ставнями, с зеленым палисадником возле дома, откуда важно выглядывали высокие желтые подсолнухи.

---

[1] Все равно *(польск.)*.
[2] Все равно *(нем.)*.
[3] На любых *(польск.)*.

Наклоняя набок головки, они покачивались и будто звали меня: «Сюда к нам, паренек! Здесь свет божий приволен, свеж и душист. Здесь чудесно!..» И после душных, пыльных городских улиц, после шума, толчеи и гама в школе тебя так и тянет сюда, — потому что здесь действительно чудесно; свет божий здесь приволен, свеж и душист! Хочется бегать, прыгать, кричать, петь или броситься наземь, уткнуться лицом в пахучую зеленую траву. Увы, все это не для вас, еврейские дети! Желтые подсолнухи, веселые кочаны капусты, свежий воздух, душистая земля, ясное небо — нет, извините, этому на вашем мусоре не расти!..

Встретил меня большой черный кудлатый пес с огненно-красными глазами. Он набросился на меня с такой яростью, что я чуть на месте не помер. К счастью, он был на цепи. На мой крик Чечек без мундира выскочил из дому и стал ласково унимать собаку, и она вскоре угомонилась. Тогда Чечек взял меня за руку и подвел к черному псу, уверяя, что мне нечего его бояться, — он не тронет. В доказательство миролюбия пса хозяин предложил мне самому погладить его. И тут же, не раздумывая, схватил мою руку и давай ею водить по спине этого зверя, называя его при этом странными кличками, хотя и очень ласково. Черная бестия опустила хвост, нагнула свою собачью голову, облизнулась и кинула на меня искоса такой взглядец, который мог означать только одно: «Счастье твое, что пан здесь, не то ушел бы ты отсюда без руки...»

Оправившись от испуга, я наконец вошел с паном полковником в дом и остолбенел: все стены сверху донизу увешаны оружием, а на полу лежит шкура с головой льва или леопарда, с оскаленными острыми зубами. Впрочем, лев еще полбеды, все же мертвый лев. Но ружья, ружья!.. Мне было не до свежих слив и прекрасных яблок из собственного сада, которыми потчевал меня хозяин. Глаза мои не переставали перебегать со стены на стену. Лишь потом, когда Чечек вынул из красного футляра маленькую, кругленькую, пузатенькую скрипку, поднес ее к своей боль-

шой бороде, провел по ней несколько раз смычком, и полились мелодии, я забыл про черного пса, и про страшного льва, и про ружья на стенах. Я видел лишь большую, рассыпавшуюся по деке бороду Чечека, его густые насупленные брови, круглую, пузатенькую скрипку и пальцы, плясавшие по струнам с такой быстротой, что трудно было постигнуть: откуда у человека столько пальцев?

А потом исчез Чечек, исчезла рассыпавшаяся борода его, густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу перед собой ничего. Слышу лишь пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шепот, воркование — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мед, чистые, как елей, лились, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко отсюда, в иной мир, мир чистых звуков и песнопений.

— Гербаты хцешь?[1] — спросил вдруг Чечек, отложил скрипку и хлопнул меня по плечу.

Я точно с неба свалился.

С той поры я стал ходить каждую субботу после обеда к Чечеку слушать его игру на скрипке. Ходил уже смело, никого не боясь, и даже с черным псом подружился так, что он, завидев меня издали, вилял хвостом и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал. Будем лучше добрыми друзьями на расстоянии!

Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день, — жених все-таки! Да и не узнали бы никогда, не случись со мною новое несчастье, которое и будет описано в главе девятой.

9

Казалось бы, кому какое дело, что паренек отправляется в субботу после обеда погулять несколько дальше обычного, за город, например? Неужели

---

[1] Чаю хочешь? *(польск.)*

больше делать нечего, как следить за другими? Однако что толковать? Такова уж человеческая натура: приглядываться к своему ближнему, выискивать у него недостатки и давать советы! У нас могут, например, подойти к совершенно незнакомому человеку в синагоге, когда он молится, и поправить у него на лбу филактерии; или остановить его, когда он спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина: или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймет, что же ты, собственно, имеешь в виду: нос, бороду или шут его знает что еще; или когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Да вы не умеете! Дайте-ка мне»; или остановиться возле постройки и ляпнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, комнаты чересчур просторны, а окна несоразмерно широки. Хоть ломай постройку и начинай все заново! Так уж у нас, понимаете ли, водится издавна, с сотворения мира. А мы уж с вами мир не перестроим, да и не обязаны это делать.

После такого вступления вы поймете, почему Эфроим Клоц[1], совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе, принялся следить за мной, разнюхивать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся, что сам видел, как я ем трефное у полковника и курю в субботу. Чтоб ему, говорит, счастье так видеть в своем доме! Чтоб ему, говорит, не дойти туда, куда он идет! А если он врет хоть на столечко, пусть ему самому, говорит, скривит рот, пусть у него глаза вылезут!

— Аминь, дай-то бог! — говорю я и получаю от отца затрещину, чтобы не дерзил. Но я, кажется, опережаю события — поставил на стол бульон раньше рыбы. А ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфроим Клоц, что, собственно, он собою представляет и как дело было.

На краю города, за мостом, жил некий Эфроим Клоц. Почему его прозвали Эфроим Клоц? Торговал

---

[1] Бревно *(еврейск.)*.

он когда-то лесом, теперь уже не торгует. С ним вышла история: нашли у него на складе бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, судебная волокита, еле-еле от тюрьмы ушел. С тех пор он вовсе бросил торговать, занялся общественными делами и всюду совал свой нос: в дела общины, таксы, цехов, синагоги. Поначалу у него все это шло не очень гладко, натерпелся сраму. Однако дальше — больше, человек втирался в доверие, болтал, что знает «все ходы и выходы». И, глядь, наш Эфроим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так заберется в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя здесь как дома, настоящим хозяином.

Эфроим этот был низенький, на коротких ножках, крошечные ручки, красные щечки, а ходил быстро-быстро, вприпрыжку, подергивая головенкой, говорил торопливо, пискливым голоском, смеялся меленько — ровно горошек сыпал. Терпеть я его не мог, не знаю почему.

Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как он прогуливается на мосту в своем длинном залатанном субботнем кафтане, накинутом на плечи. Заложив руки за спину, он пискливо что-то напевал, а длинный балахон бил его по пятам.

— Добрый день, — говорю я ему.

— Добрый день, — отвечает он. — Куда это паренек идет?

— Просто так, гулять.

— Гулять? Один-одинешенек? — спрашивает он и смотрит мне в глаза с такой усмешкой, по которой трудно сразу понять: умно ли это, глупо ли, или, может быть, смело, что я иду гулять один-одинешенек.

10

Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфроим Клоц слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть на воду. Тогда и

Эфроим остановился и стал глядеть в воду. Я повернул обратно — и он за мной. Пошел я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он куда-то исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы услышали, что собака яростно лает на кого-то и рвется с цепи. Выглянул в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, черненькое, на коротеньких ножках семенит, семенит и исчезает. Я бы поклялся, что это Эфроим Клоц.

Так и есть. Прихожу в канун субботы домой, красный от волнения, и застаю Эфроима у нас. Сидит за столом, что-то оживленно рассказывает и меленько смеется. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец — бледный как смерть, мнет бороду, выдергивает по волоску: верный признак, что он сердит.

— Ты это откуда? — спрашивает меня отец и глядит на Эфроима.

— Откуда же мне быть? — отвечаю я.

— А я разве знаю откуда? — говорит отец. — Скажи ты, тебе лучше знать.

— Из синагоги иду, — отвечаю я.

— А где ты был целый день? — спрашивает отец.

— А где мне быть? — отвечаю я.

— Почем я знаю, — говорит отец, — тебе лучше знать.

— В синагоге, — отвечаю.

— Что же ты там делал, в синагоге?

— Что мне там делать?

— А я знаю, что тебе там делать?

— Я изучал...

— Что же ты изучал?

— Что мне изучать?

— Откуда я знаю, что тебе изучать?

— Я изучал талмуд.

— Какой трактат ты изучил?

— Какой же мне изучать?

— Откуда я знаю какой?

— Трактат «Суббота» я изучал.

Тут Эфроим Клоц сыпанул своим меленьким смешком, и отец больше не выдержал: он вскочил с места

и отвесил мне такие две звонкие, горячие пощечины, что у меня искры из глаз посыпались.

Мать это услыхала из соседней комнаты и вбежала с криком:

— Нохум! Господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха?! Перед свадьбой! Подумай, что же это будет, если сват узнает?!

. . . .

Мать была права. Гершл бал-таксе проведал обо всем. Да сам Эфроим Клоц и рассказал, радуясь, что может досадить ему: они издавна были на ножах.

Уже на следующий день утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Конечно, я больше не жених. Отца это так огорчило, что он слег в постель, долго болел, не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрашивала, как ни защищала меня — ничто не помогло.

— Но этот срам! Но этот позор! Не снести мне, — сказал он, — такого позора!

— Да пусть оно пропадом пропадет! — изливала душу мать. — Бог пошлет ему другую невесту. Что ж поделаешь? С жизнью покончить? Видно, она ему не сужена...

Вместе с другими пришел проведать отца и капельмейстер Чечек.

Отец, увидев его, снял с головы ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев в глаза, сказал:

— Ой, пан полковник, пан полковник!..

Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слезы.

Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это меня так потрясло, так больно сжалось мое сердце! Я стоял у окна и глотал слезы. В эту минуту я искренне каялся во всем, что натворил. Я колотил себя в грудь, как истый грешник, и дал себе слово — никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда больше не причинять ему неприятностей. Конец скрипке!

ЦИТРУС*

Рассказ к празднику

1

Имя мое, надо вам знать, Аре-Лейб, но зовут меня все Лейбл, а в хедере меня прозвали «Лейб-Дрейб-обдирик».

У нас в хедере нет мальчика без прозвища: Мотл-капотл, Меер-дреер, Мендл-фендл, Хаим-клаен, Ицик-шпицик, Берл-козел. Как вам нравится такая рифма? Если к Ицику прибавляется шпицик, и к Мендлу — фендл — это еще куда ни шло, но что общего, скажем, между Берлом и козлом? С таким же успехом, однако, можно спросить, что это за прозвище Лейб-Дрейб-обдирик. Я этого прозвища не переношу и каждый раз лезу из-за него в драку, и каждый раз на меня сыплются тумаки, пинки, подзатыльники. Я вечно в синяках, потому что в хедере я самый маленький, я и моложе всех, и слабее, и беднее, некому за меня заступиться, некому меня пожалеть. Наоборот, когда два сынка богатых родителей истязают меня — один сидит на мне верхом, второй дерет меня

за уши, — всегда найдется третий, какой-нибудь мальчик совсем бедных родителей, который, поддавая жару, напевает:

Вот так! Вот так!
Всыпьте ему!
Всыпьте ему!
За уши его!
За уши его!
Вот так! Вот так!

Мне тогда остается только лежать тихо, как котенку, а когда меня отпускают, я забиваюсь в угол и плачу тайком.

Потом утираю слезы, возвращаюсь к товарищам, и все идет своим чередом... Короче говоря, если вам встретится в моем рассказе имя Лейбл, то знайте, что это я.

Сам я толстячок, маленький и пухленький, хотя вовсе не упитан, наоборот, телом тощ, а пухленький я оттого, что ношу толстые ватные штанишки, толстую ватную фуфайку и толстый ватный кафтан. Это мама моя заботится о том, чтобы мне было тепло, чтобы я, не дай бог, не простудился, поэтому она с ног до головы укутывает меня в вату. Мама и не подозревает, на что мальчику может пригодиться вата. Из ваты можно сделать отличный мяч, и еще один мяч, и еще один — всех ребят в хедере я наделяю ватой из штанишек и из кафтана. Когда это замечают взрослые, меня награждают оплеухами, пинками, тумаками и подзатыльниками. Но Лейбл делает свое: раздает вату. Кто хочет, берет у него вату, и всякий кому не лень бьет его, колотит, щиплет: «Лейб-Дрейб-обдирик... Так ему и надо!..»

Щеки у меня лиловые, нос всегда набит до отказа, будто скован льдом. «И откуда только у него берется!» — говорит мама и заставляет Лейбла сморкаться, без всякой жалости утирает ему фартуком нос, приговаривая: «Еще, еще, еще!!» Вот так напасть — нос! Не будь носа, Лейблу было бы как нельзя лучше. Во-первых, нечего было бы утирать фартуком, во-вторых, зимой нечему было бы мерзнуть. Не раз я задумывался: зачем нужен нос? Чем было бы плохо,

если бы люди ходили без носов? Правда, возникает вопрос, какой вид мы бы все имели... Но я, ребята, совсем о другом собирался вам рассказать. Я хотел рассказать вам про цитрус, а забрался вон куда! Поэтому разрешите мне здесь остановиться и перейти к рассказу о цитрусе.

2

Мой отец, Мойше-Янкл, много лет служит в проекте кассиром *. Жалованья он получает четыре с полтиной в месяц и все ждет прибавки; если ему дадут прибавку, то в этом году он, бог даст, купит на праздник цитрус. Но мама моя (ее зовут Басе-Бейля) не верит в такие чудеса. Скорее, говорит она, казарма обвалится и людей задавит, чем откупщик коробки кому-нибудь прибавит жалованья. Однажды, незадолго до Нового года, Лейбл застал родителей за таким разговором.

Отец. Хоть бы весь мир перевернулся, в этом году на праздник кущей я покупаю цитрус.

Мать. Мир не перевернется, и цитруса ты не купишь.

Отец. Так ты думаешь? А если часть денег мне даст хозяин, что тогда?

Мать. Тогда запишем на воде, что в начале месяца небывалого один посулил, второй уши развесил. Если я этому не поверю, большого греха не будет.

Отец. Хочешь верь, хочешь не верь, но я тебе говорю, что в этом году у нас будет цитрус.

Мать. Аминь, твоими устами да мед пить!

«Аминь! Аминь! Аминь!» — в душе произносит Лейбл, и ему представляется, как отец приходит в синагогу наравне с самыми почтенными хозяевами со своими собственными цитрусом и лулевом. И хотя он не из богачей, он ходит вокруг аналоя вместе с отцами города, и сердце Лейбла трепещет и радуется, глядя на него. Впереди всех, конечно, выступает кантор реб Мейлах; он подвигается шаг за шагом, как фельдмаршал с горделиво поднятой головой, и красивым голосом выводит слова молитвы. Вслед за ним

идет раввин, маленький, тщедушный человечек с надвинутым на самые глаза талесом. За раввином идет помощник раввина, с желтым пергаментным лицом, но зато с широкими плечами и жирным брюхом, которое колышется под блестящим атласным кафтаном; за помощником раввина следуют все уважаемые люди города, богачи, сливки общества: реб Додя, сын реб Гершеле, реб Симхе, сын реб Иоселе, реб Арн, сын реб Лейбеле, и три Берла: Берл-большой, Берл-красный и Берл со щекой. Потом идут средние хозяева: Мендл, сын Нехаминого Боруха, Шае, сын Довида-Шлойме, Велвл, сын Хаима-Берчика. А уж за ними — всякая мелюзга: Мойше Кот, Хаим Флам, Азриел Качка, Меер Губа, Шолом Скрип, Шмулик Петрушка, и еще, и еще... Все следуют один за другим, богач за богачом, хозяин за хозяином, каждый по своему состоянию и положению, как, скажем, во время войны, когда войско идет в бой: впереди выступает фельдмаршал, потом идут генералы, за ними полковники, офицеры, юнкера, унтер-офицеры и фельдфебели, а потом только простые солдаты... Лейблу представляется, что его отец опередил многих уважаемых хозяев, даже портного реб Исроела оставил позади. Реб Исроел, хотя и мастеровой, и отпетый бедняк к тому же, с чужим цитрусом в руке, которым почтил его какой-нибудь разбогатевший мастеровой, обычно кружит вокруг амвона наравне с самыми уважаемыми хозяевами. Это потому, возможно, что и вид у реб Исроела весьма почтенный, и благообразен он, и благочестив. Лейбл не раз замечал, что, когда в синагоге начинается шествие с цитрусами, каждый норовит протиснуться вперед; будто заглядывая в молитвенник и тоненьким голосом подпевая кантору, какой-нибудь молящийся с благочестивой миной на лице, исподтишка косится в сторону отцов города, богачей, только и думая о том, как бы изловчиться и захватить место повидней, поближе к этим богачам; если же случится такому очутиться позади, он ускоряет шаг, чтобы кто-нибудь другой, помельче, не опередил его, упаси бог. А если случится ему опоздать в синагогу, он бочком проворно протискивается между другими двумя хозяе-

вами, которые, конечно, так бы его и пустили, если бы это от них зависело...

После разговора между отцом и матерью Лейбл не мог удержаться и растрезвонил в хедере, что в этом году у них будет цитрус, собственный цитрус, но, сколько он ни божился, никто ему не поверил.

— Нет, вы подумайте только! — говорили ребята-озорники. — Бедняк из бедняков, нищий среди нищих и вдруг купит собственный цитрус! Он, видно, думает, что это простой лимон или яблоко за грош!

Младшие ребята тут же стали напевать:

Лейб-Дрейб-обдирик
Сочиняет враки!
Сочиняет враки!..

Напевая таким образом, ребята, как обычно, награждали его пинками, тумаками, подзатыльниками. Хотя Лейблу было очень обидно, что ребята не поверили, ему и самому начало казаться, что отец его как был касриловцем, бедняком из бедняков, так и остался им, а бедняк ничего и хотеть не должен... И как же Лейбл был поражен, когда, придя однажды из хедера домой, застал там резника Гензла, в наполеонке на голове, сидящего рядом с его отцом, а на столе перед ними стояла коробка с цитрусами, которые распространяли благоухание по всему дому.

3

Наполеонка на голове Гензла — это нечто вроде шапки, оставленной нам в наследство Наполеоном Первым. Там, у французов, эта шапчонка давно уже вышла из моды, и только у нас в Касриловке еще завалялась одна наполеонка, не больше одной, и носит ее резник Гензл. Это высокая и узкая шапка, с разрезом спереди, с пуговичкой и с двумя кисточками. Меня издавна привлекали эти кисточки. Попадись шапка резника мне в руки хоть на одну минуту, кисточки были бы моими!.. Это я видел в мечтах. Резник Гензл, однако, никогда не снимал своей шапки,

и мне порой казалось, что эта шапка с кисточками, и пейсы резника, и голова его срослись воедино и поэтому так трясутся у него пейсы и болтаются кисточки, когда он, размахивая руками, разговаривает. Выложив весь свой товар, реб Гензл отбирает один цитрус, берет его двумя пальцами и показывает отцу.

— Вот этот цитрус, реб Янкл, я советую вам взять, и вы будете довольны, потому что этот цитрус, говорю я вам, настоящее сокровище, лучшего и пожелать нельзя!

— А он корфинский? — спрашивает отец, и руки у него дрожат от радостного волнения.

— Еще бы не корфинский! — со смешком отвечает шапочка, и кисточки на ней болтаются.— Корфинский из корфинских! Лучше и желать нельзя!

Мойше-Янкл глаз не сводит с цитруса, налюбоваться не может, как будто перед ним богатый фермуар, дорогое украшение или драгоценный камень. Он зовет жену и со счастливой улыбкой указывает на цитрус, как указывают на милого ребенка — утеху семьи. Басе-Бейля подходит молча и так же молча протягивает руку за цитрусом, но ей не дают к нему притронуться: «Без рук, осторожно, только понюхай, если хочешь...» Басе-Бейля ограничивается нюханьем, мне же и понюхать не дают, меня и близко не подпускают, не дают даже посмотреть на цитрус, как будто это опасно для жизни.

— Смотри-ка, и он тут, — говорит мама, — только допусти его, и он откусит головку у цитруса...

— Не дай бог! — испуганно говорит отец.

— Господи, спаси и помилуй! — вторит ему шапочка, и кисточки на ней болтаются.

Реб Гензл дает отцу клочок пакли, чтобы завернуть цитрус, и запах его, райское благоухание, распространяется по всему дому.

Словно брильянт, словно редкостную драгоценность, которую берегут как зеницу ока и передают для сохранности в верные руки, потому что пропади она — и жизни конец: так отец принял из рук в руки этот благоухающий плод. Он завернул его, как заво-

рачивают долгожданное дитя, над которым дрожат, как бы оно, упаси бог, не простудило горлышко, и уложил в деревянную коробку из-под сахара, красивую коробку, круглую, точеную. Сахар из нее, не в обиду будь сказано, попросили и, устлав дно паклей, устроили в ней цитрус, словно желанного гостя. Милости просим, реб цитрус! Войдите, войдите же в коробку! Тщательно укутав цитрус соломой, коробку закрыли и поставили ее в стеклянный шкаф, дверцу шкафа тоже закрыли и... прощай, цитрус!

— Боюсь, как бы этот выродок («выродок», конечно, я) не забрался в шкаф и не откусил головку у цитруса!..— говорит мама, берет меня за руку и уводит подальше от шкафа.

Точно кот, который, почуяв масло, прыгает с шестка и, выгнув спину, начинает кружить по комнате, тереться об ноги, заглядывать каждому в глаза и облизываться,— так бедняжка Лейбл вертелся около шкафа, заглядывая в стеклянную дверцу и улыбаясь коробке с цитрусом, пока мать не заметила этого и не пожаловалась отцу, что озорник подбирается к цитрусу. И отец прикрикнул на него: «В хедер, проказник этакий, чтоб тебя!..» Брысь, значит, кошка, подальше от масла!..

Понурив голову и опустив глаза, Лейбл отправляется в хедер.

4

Когда я проходил в хедере первый раздел «Бытия» *, я нередко задумывался: что было бы, если бы, поселив праотца Адама и его жену Еву в раю, бог не указал им, какие плоды можно есть и какие нельзя? Змей, конечно, не имел бы тогда над ними никакой власти, ему бы никак не удалось соблазнить Еву и заставить ее попробовать от древа познания, Ева не угостила бы яблочком мужа, богу не за что было бы гневаться, он не выгнал бы их из рая, и тогда, возможно, мы бы до сегодняшнего дня разгуливали там. Отцы наши, наверное, все время сидели бы над священными книгами, матерям только и дела было бы,

что вязать чулки и ощипывать птицу, а мы, мальчишки-озорники, карабкались бы по горам, на самый Арарат взбирались бы, рвали бы финики, ели бы гранаты, напихивали бы карманы рожками и по целым дням плескались бы в реке...

Несколько слов, сказанные Басе-Бейлей: «Только допусти его, и он откусит головку у цитруса», — были для Лейбла смертельным ядом, в него проникла отрава.

С той самой минуты головка цитруса накрепко завладела его мыслями, и он лишился покоя. Лейбл видел ее часто во сне, она тормошила его по ночам, тянула за полы: «Ты не узнал меня, глупышка? Это ведь я, головка цитруса!..» Лейбл кряхтел, поворачивался на другой бок и засыпал, но кто-то ему нашептывал: «Вставай, глупенький, иди открой шкаф, достань меня и откуси — и тебе прибавится здоровья!»

По утрам Лейбл наскоро умывался и, протягивая руку за завтраком, который брал с собой в хедер, не мог отвести глаз от шкафа, где сквозь стеклянную дверцу проглядывала коробка с цитрусом; ему казалось, что коробка подмигивает ему: «Сюда!.. Сюда, паренек!..» Лейбл отворачивался и... марш в хедер.

В один прекрасный день Лейбл проснулся и увидел, что он дома один, один-одинешенек. Отец на службе, мать ушла на базар, старуха, помогающая по хозяйству, возится на кухне, маленький ребенок спит в колыбельке, подняв ручки кверху, и улыбается во сне. «Ангелы играют с ним», — думает Лейбл и смотрит туда, на шкаф, где в стеклянную дверцу видна коробка с цитрусом. Она подмигивает ему, зовет: «Сюда! Сюда, паренек!..» Потихонечку, потихонечку Лейбл подвигается к шкафу, открывает дверцу, достает деревянную коробку, красивую, кругленькую, точеную, крашеную коробку и приподымает крышку. Не успевает он освободить цитрус от пакли, как ему ударяет в нос пряный запах, райское благоухание; не успевает он оглянуться, как цитрус уже у него в руках. А головка подмигивает ему: «Хочешь получить

удовольствие? Хочешь почувствовать райский вкус? Тогда возьми и откуси меня! Не бойся, глупенький, никто не узнает, человек не увидит и петух не пропоет!..»

. . . .
. . . .
. . . .

Вам, конечно, не терпится узнать, что было дальше? Откусил ли я головку у цитруса, или удержался и не откусил ее? Хотел бы я знать, как бы вы поступили на моем месте, если бы вам не меньше десяти раз наказывали, чтобы вы не смели откусывать головку у цитруса? Разве вам не хотелось бы узнать, какой вкус имеет головка цитруса?..

5

Мойше-Янкл, который служит в проекте, не имеет возможности поставить для себя одного праздничный шалаш. Вернее будет, если шалаш построит сосед, столяр Залмен, ему это проще, досок у него предостаточно. Мы же вносим свой пай в виде двух наволочек, нескольких простынь и одеял, чтобы завесить стены. Кроме того, Басе-Бейля взяла на себя испечь Залмену халу на праздник — столяр Залмен недавно остался вдовцом с восемью детьми — и помочь его старшей дочери Цивье приготовить фаршированную рыбу. Лучшей мастерицы фаршировать рыбу, чем Басе-Бейля, в Касриловке не найти. Ну, а цитрус ничего не значит?

— Вы имеете в цитрусе равную долю с нами, — говорит Басе-Бейля столяру Залмену.

— Для прочтения молитвы над ним, — уточняет Мойше-Янкл.

— А то для чего же, съем я его, что ли? — со своей стороны замечает Залмен.

Не один Залмен проложил себе дорожку к цитрусу. О цитрусе мечтали и его дети, как мечтают о величайшем счастье. Шуточное ли дело — в одной

руке держать цитрус, в другой — лулев и, произнося молитву, потряхивать этим лулевом: трррр!.. «Сколько осталось еще до кущей?» — они считали дни.

Накануне кущей отец перевязал лулев, собрал все четыре сорта трав, приготовил все наилучшим образом. Потом отец поставил собранный, нарядный лулев на шкаф в уголочек, чуть прислонив к стене, и он стоял, как живое существо, которое прикорнуло на минуточку. Говорить Лейблу, что к лулеву и притронуться нельзя, было излишне. Если Лейбл и захотел бы, он не мог бы его достать; а если бы он надумал приставить табуретку к шкафу и взобрался бы на нее, из этого тоже ничего хорошего не вышло бы: табурет опрокинулся бы, Лейбл полетел бы на пол и свернул себе шею, а потом получил бы еще по заслугам так, что запомнил бы на всю жизнь!..

Была еще одна причина, по которой Лейбл не интересовался лулевом. Дело в том, что ему было не до лулева. Им владела теперь только одна мысль: что будет, когда обнаружится, что у цитруса откушена головка. Правда, Лейбл тут же приклеил ее слюной, но будет ли она держаться?.. Боже, боже, что его ждет? Что он может сказать в свое оправдание? Как он посмотрит в глаза отцу и матери, как он сможет соврать, что ни сном ни духом не виноват? Да и кто поверит ему на слово? И зачем только он это сделал? Что это ему дало? Какое удовольствие от головки цитруса, когда в ней одна только горечь? Тьфу, с души воротит! Ни за что ни про что испортил плод, сделал цитрус негодным, такой красивый цитрус! А что надкусанный цитрус никуда не годится, Лейбл знал от товарищей по хедеру. И какая польза была ему от цитруса? И что это ему пришло в голову? Лейбл смотрит на себя, как на убийцу: взял живое существо, откусил у него голову и лишил его жизни! За что? К чему это? Чем цитрус перед ним провинился? Не проходило и минуты, чтобы он не видел перед собой головки цитруса; на каждом шагу являлся ему мертвый цитрус, желтый, как воск, без признаков жизни, мертвый, мертвый цитрус!..

По ночам цитрус приходил к нему во сне, тормошил его, тянул за рукав, не давал спать: «Что тебе от меня нужно было? Зачем ты откусил мне голову? Ведь теперь я никуда не годен, не годен, не годен!» Лейбл стонал, поворачивался на другой бок и засыпал, но не тут-то было, цитрус снова тормошил его: «Убийца! Чем тебе помешала моя голова? Моя голова! Моя голова!..»

6

Наступил первый день кущей. Ночью слегка подморозило, а утром на чистом голубом небе взошло солнце и залило землю тем радостным живительным светом, который растекается по всем жилкам, и сердце пронизывает странное чувство, смутная тоска по промелькнувшему лету. Солнце светит, но уже не греет. «Как мачеха», — говорят у нас в Касриловке. Ушло благодатное летнее тепло! Не видать больше благодатной летней зелени! Не слыхать благодатного чириканья птиц! Все ушло с первым дуновением элулского ветра, и не так скоро вернется солнечное тепло, не так скоро зазеленеет травка и защебечут птицы. Земля еще достаточно померзнет до тех пор и снег ее густо покроет. И снег будет падать, и ветер будет дуть, и метели завывать, пока земля наконец не очнется от своего мертвого сна, не сбросит с себя мерзлого одеяла и не нарядится в новое, с иголочки, зеленое платье, и оживут тогда долины и горы, моря и реки, цветы и деревья, звери и животные, люди и птицы —все, что властвует на земле, дышит и копошится на ней...

В этот день Мойше-Янкл встал на рассвете, чтобы лишний раз просмотреть праздничную молитву и спеть ее на давно знакомый праздничный лад. В этот день и Басе-Бейля встала на рассвете, чтобы приготовить фаршированную рыбу, раскатать тесто к празднику, сварить цимес. В этот день столяр Залмен встал на рассвете, чтобы раньше всех помолиться над цитрусом в шалаше, а потом выпить стаканчик чаю с молоком, пожить в свое удовольствие по случаю праздника.

— Реб Залмен просит лулев с цитрусом, — обратилась мать к отцу.

— Открой шкаф и достань коробку, только осторожно! — сказал отец. Он встал на табурет, снял лулев со шкафа и пошел с ним в шалаш, чтобы самому приобщить столяра к богоугодному делу.

— Нате вам, помолитесь над цитрусом, — сказал он столяру, — только осторожно, ради бога осторожно!..

У столяра Залмена сил дай бог всякому, и руки у него... Одним пальцем он мог бы уложить трех таких, как Лейбл. Руки у него вечно в клею, а ногти на больших пальцах каждой руки всегда красны от лака, и когда он проводит ногтем по доске, остается глубокая борозда, будто по ней провели острием лопаты.

По случаю праздника Залмен надел белую рубаху и новый кафтан, предварительно сходив в баню, где он долго тер руки и мылом, и золой, и песком, но так и не отмыл их. Руки по-прежнему остались в клею, а ногти— красными от лака.

Вот в эти-то руки и попал вожделенный ароматный цитрус. Недаром Мойше-Янкла бросило в дрожь, когда он увидел, как столяр Залмен зажал цитрус в кулаке и изрядно тряхнул лулевом.

— Полегче, полегче! — взмолился отец. — Теперь, будьте добры, переверните цитрус и прочитайте: «Давший нам жизнь...» Только осторожно, ради бога осторожно!

Вдруг Мойше-Янкл подскочил, вскрикнув не своим голосом: «Ой!..» На его крик в шалаш вбежала Басе-Бейля.

— Что такое, Мойше-Янкл? Господь с тобой!

— Грубиян! Невежда! — раскричался Мойше-Янкл, готовый растерзать столяра. — Как это человек может быть таким грубым созданием, таким невеждой? Что это вам, топор, долото, сверло? Цитрус это вам не топор, не долото, не сверло! Вы же меня зарезали! Вы мне испортили цитрус! Вот лежит головка, вот, смотрите, грубиян вы этакий! Невежда вы!..

Мы все помертвели. Столяр Залмен застыл, как покойник, не понимая, откуда пришло к нему несчастье. Каким это образом отскочила головка цитруса? Он ведь так деликатно держал его, еле пальцами коснулся... Вот беда!.. Вот горе!.. Побледнел как мертвец и Мойше-Янкл. Даже в синагоге не успел побывать, ни одной молитвы не прочитал, а цитрус уже ни на что не годится. И зачем только он доверил такой дорогой, благородный плод таким грубым рукам? Ничего бы не случилось, если бы Залмен помолился в синагоге над общественным цитрусом! «Грубиян вы этакий! Невежда вы!» Басе-Бейля тоже помертвела. «Если человеку не везет, — говорила она со слезами на глазах и ломая руки, — то ему лучше живьем сойти в могилу!..» Лейбл помертвел не только от страха: огорчение отца, слезы матери, позор Залмена поразили его. Лейбл и сам не знал, плясать ли ему от радости, что бог сотворил чудо и вызволил его из беды, или же плакать над папиным горем, над мамиными слезами и над позором столяра? А может быть, ему броситься к столяру Залмену и расцеловать каждую морщинку на его лице, расцеловать его грубые руки с пальцами в клею, с красными ногтями за то, что он стал его ангелом-избавителем, спас от неминуемой беды?.. Лейбл не мог отвести глаз от отцовского лица, от покрасневших век матери, от рук столяра и от цитруса, который валялся на столе, желтый, как воск, мертвый, без головы, настоящий покойник!..

— Мертвый плод! — надтреснутым голосом произнес отец.

— Мертвый плод! — со слезами на глазах повторила за ним мать.

— Мертвый плод! — вслед за ними повторил столяр Залмен. Он смотрел на свои руки и, видно, думал: «Ну и ручищи, чтоб они отсохли!..»

ЗЕЛЕНЬ К ПРАЗДНИКУ

1

Накануне швуэс я выпросил у мамы, царство ей небесное, разрешение одному сходить за город, нарвать и принести зелень к празднику.

И мама отпустила меня одного за город — нарвать и принести домой зелень к празднику. Да будет ей за это земля пухом.

Настоящим можно назвать только такое путешествие, которое человек совершает один, без товарищей и без всяких помех. Я один, сам по себе, вольная птица в большом просторном мире. Надо мною вся огромная голубая ермолка, именуемая небом; мне одному светит прекрасная царица дня, именуемая солнцем; ради меня одного собрались здесь, на широком поле, все эти певцы, свистуны, прыгуны; для меня одного распустилась ароматная роза, раскрылся долговязый, рыжий подсолнух, все поле расцвечено и усыпано чудесными творениями природы. Никто не стесняет меня, не мешает мне, никто, кроме бога, меня не видит, и я могу делать что хочу: пожелаю — пою красивую утреннюю песнь; захочу — буду кричать не своим голосом, надрываться; вздумается мне — сложу руки трубой и сыграю «трубача»; а то могу повалиться, как есть, на зеленую травку и кататься, как

жеребенок, с боку на бок... Кто мне может указать? Я никого не слушаю! Я свободен! Свободен!

День был такой теплый, солнце так прекрасно, небо так чисто, поле так зелено, а на душе так хорошо, что я позабыл, где нахожусь и зачем пришел, и представил себе, что я здесь властелин, принц; что все это поле, насколько глаз хватает, со всем, что на нем, и даже кусок голубого неба над ним, — все это принадлежит мне, я здесь единственный хозяин, один я имею право всем распоряжаться, и больше никто. И как властелину, которому все принадлежит и подчиняется, мне хочется проявить свою власть, свою силу и мощь — делать все, что могу и хочу...

Во-первых, мне не нравится вот этот долговязый в рыжей шапке (подсолнух), который вдруг обретает в моих глазах облик врага, некоего Голиафа *. А все остальные растения с подпорками и без подпорок (бобы и фасоль) — это явные враги, это филистимляне, которые поселились здесь, на моей земле, — кто их звал сюда? А те, низенькие, толстые, в зеленых малахаях, что густо сидят у самой земли (капуста), — что здесь делают? Эти, чего доброго, напьются, и натворят тут бед... Пускай убираются к чертям — не нужны они мне здесь! И пробуждаются во мне злые мысли, дикие инстинкты, меня охватывает какое-то странное чувство мести, и я начинаю мстить врагам, — да как еще мстить!

Были у меня с собой прихваченные для работы инструменты: ножик с двумя лезвиями и меч, хоть и деревянный, но острый.

Меч этот остался у меня с полупраздничного дня «лаг-боймер». И хотя с этим мечом я и мои товарищи ходили за город на войну, я могу вам побожиться (можете поверить мне без божбы), что ни одна капля крови пролита не была. Это было оружие такого рода, которое военные люди носят в мирное время. Никаких, мол, признаков войны хоть и нет, все же, на всякий случай, пусть будут наготове сабли, ружья, пушки и орудия, кони, солдаты, — дай бог, чтобы не потребовалось, как говаривала моя тетка Этл, когда варила малиновое варенье...

2

Всему свету известно, что во время войны стараются попасть в старшего, в офицера. Если можно попасть в генерала, — еще лучше: тогда солдаты поневоле валятся, как солома. Так что вас не будет удивлять, что я первым делом напал на «Голиафа», треснул его мечом по рыжей башке, а потом несколько раз сзади, — и злодей рухнул во весь свой рост к моим ногам. Затем я уложил еще нескольких здоровенных злодеев, вырвал палки из их рук и забросил ко всем чертям. А толстых коротышек, что в зеленых малахаях, я взял в работу на особый лад: кого мог, обезглавил, остальных растоптал ногами, изничтожил!

Во время войны, когда кровь разгорячится и входишь в раж, — рубишь почем зря! Проливая кровь, забываешься и не знаешь, на каком ты свете. Тогда не смотришь ни на старшего, ни на слабую женщину, не жалеешь малых детей, и кровь, кровь льется, как вода... Я, когда напал на врага, вначале не чувствовал в себе такой злобы, как после нескольких крепких ударов, нанесенных противнику. Но чем дальше, тем больше я распалялся, сам в себе разжигал охоту к бою, вошел во вкус, и такой охватил меня экстаз, такое озлобление и жестокость, что я стал крошить и уничтожать все, что попадалось на глаза, и больше всех страдала от меня «мелочь» — молоденькие, круглые арбузики, пузатенькие кабачки, крошечные огурчики, только что показавшиеся на плетях, с желтыми пупырышками,— все они еще больше раздражали меня своей покорностью и хладнокровием. И я им так надавал, что они попомнят меня: я срубал головы, распарывал животики, рвал пополам, крошил, разбивал, колотил, бил насмерть... Ума не приложу, откуда во мне взялось столько злости! Ни в чем не повинные картошечки, сидевшие глубоко в земле, я выкапывал и доказывал им, что от меня не спрячешься!.. Молодой чеснок и зеленые луковки я вырывал с корнями, редиски летели у меня, как галушки, и да накажет меня бог, если я полакомился хотя бы кусочком редьки, потому что я хорошо помнил слова из

«Сказания»: «А к добыче рук своих не допустили», — евреи не грабили... Поминутно возникал передо мной соблазн и внушал мне попробовать луковку, чесночок, но тут же я вспоминал и слова и напев, с которым их читают... И я не переставал бить, колотить, рубить, крошить, уничтожать, убивать, резать на куски молодых и старых, больших и малых, богатых и убогих без всякой жалости...

Наоборот, мне представлялось, что я слышу их крики, плач и мольбу, но меня это ничуть не трогало! Поразительно! Я, который видеть не мог, как режут курицу, как дерут кошку, как обижают собаку, как бьют лошадь, — мог оказаться таким тираном, таким жестоким?! Месть! Я с вами рассчитаюсь! За все, за все вы ответите мне! Ой! Что это?! Гвалд! Спасите! Кто держит меня за ухо?..

Два основательных тумака сзади и парочка пламенных оплеух спереди в одно мгновение отрезвили меня, и я увидал перед собою знакомую личность, — готов поклясться, что это был баштанщик Охрим.

3

Баштанщик Охрим издавна арендовал баштан, огород или бахчу у нас за городом. То есть он арендовал десятину земли и на ней разводил огород, сажал арбузы и дыни, огурцы и картофель, лук и чеснок, редиску и прочую зелень и не плохо зарабатывал на этом. Откуда я знал Охрима? Он с нами имел дела, то есть он одалживал у мамы деньги каждый год перед пасхой, а к осенним праздникам начинал понемногу выплачивать свой долг. Деньги записывались на левой стороне переплета маминого толстого молитвенника (там велась вся бухгалтерия): в сторонке для Охрима отводилось место, особый счет, и записывалось крупными буквами: «Счет мужика Охрима». А дальше шел самый счет: «От Охрима — рубль. От Охрима — еще рубль. От Охрима — два рубля. От Охрима — полтинник. От Охрима — мешок картошки». И так далее. И хотя мама была не богачиха, вдова с детьми, и жила на «проценты», она у

Охрима никогда не брала процентов: он платил овощами — иногда побольше, иногда поменьше. И никогда мы с Охримом не ссорились.

Если выдастся урожай, он сам насыпал нам полный погреб картошки и огурцов на всю зиму. А если, бывало, не уродится, он просит маму: «Не выбачай, Аврумиха, бо не вродылось!» — то есть: «Не обижайся, Аврамиха, потому что не уродилось!» И мать прощала ему долг и наказывала, чтобы в будущем году он не был свиньей. Так-таки, бывало, и скажет:

— Гляди ж, Охриму-сердце, як бог даст на той год, шоб ты не був свинья!..

— Добре, Аврумиха, добре! — отвечал Охрим и сдерживал слово: первый зеленый лук, первый молодой чеснок он приносил нам. Первая молодая картошечка, первые зеленые огурчики всегда бывали у нас раньше, чем у богачей. И я не раз слыхал от наших соседей и соседок, что вдове живется вовсе не так плохо, как она говорит. «Смотрите, несут ей прямо в дом всякого добра...» Я, разумеется, немедленно докладывал об этом матери, а она их основательно проклинала:

— Соли бы им в глаза, камней на сердце! Кто завидует, пусть сам не имеет! Желаю им на будущий год мои достатки!

И конечно, я тут же передавал соседкам все, что пожелала им мама... Те за такие пожелания готовы были маму растерзать и назвали ее так, что мне было стыдно слушать... Меня это очень задело, и я тут же сообщил об этом матери. Мать угостила меня двумя пощечинами и велела мне больше не разносить такого рода «подарки» от одного к другому... Пощечины заставили меня поплакать, но слово «подарки» не выходило у меня из головы: я не понимал, почему мама называет это «подарками»?

Для меня бывало праздником, когда я издали завижу Охрима в огромных сапожищах и в толстой, белой и теплой шерстяной свитке, с которой он не расставался ни зимой, ни летом. Я знал, что Охрим несет нам полный мешок овощей, и я, бывало, бегу на кухню сообщить маме, что Охрим пришел.

4

Вообще, должен признаться, что между мною и Охримом существовала некая тайная любовь, симпатия, которую словами не выразишь. Мы почти никогда не говорили друг с другом, во-первых, потому что я не понимал его языка, а он — моего (то есть я-то его понимал, а он меня — дудки!), а во-вторых, я стеснялся: Охрим такой большой, — как мне разговаривать с ним? И я прибегал к помощи матери. Она была моим толмачом.

— Мама, спроси у него, почему он мне не приносит вишни?

— А где ж он возьмет тебе вишни? На баштане вишни не растут.

— Почему на баштане нету вишни?

— Потому что на баштане нет вишневых деревьев.

— А почему на баштане не растут вишневые деревья?

— Почему, почему, почему... Дура ты стоеросовая! — отвечает мама и отпускает мне пощечину.

— Аврумиха, не бей дитыну! — говорит ей Охрим, заступаясь за меня.

Вот какой человек был Охрим, и сейчас я оказался у него в руках.

Надо понимать, что дело было так: Охрим, когда пришел и увидел такое разорение у себя на баштане, не сразу сообразил, что происходит. Увидав меня, орудующего мечом во все стороны, Охрим мог подумать обо мне бог знает что: нечистая сила, оборотень, наваждение... Наверное, он несколько раз перекрестился. Подойдя поближе и увидав, что работает так усердно еврейский мальчик, да еще с деревянным мечом в руках, он ухватил меня за ухо, да так ловко, что меня к земле прижало, и я стал кричать не своим голосом:

— Ай! Ай! Ай! Кто это меня за ухо тянет?

И лишь потом, после добрых тумаков и пощечин, которыми меня угостил Охрим, мы повстречались с ним глазами, узнали друг друга и оба были ошарашены и лишились языка.

— Аврумихина дитына?! — вскрикнул Охрим и перекрестился.

Он стал осматривать все, что я здесь натворил, каждую грядку, каждый клочок земли, и так у него защемило сердце, что на глаза навернулись слезы. Он стал против меня, сложил руки на животе и тихо спросил:

— За що?

То есть за что мне это?.. И только теперь я понял, что я натворил и кому причинил такие убытки. Я и сам задавал себе тот же вопрос: «За что? За что?..»

— Ходим! — сказал Охрим и взял меня за руку.

Я от страха пригнулся к земле, подумал, что вот-вот Охрим меня изуродует. Но Охрим меня не тронул. Он только держал меня за руку, но так крепко, что у меня глаза на лоб вылезали, и вел меня домой, к маме. Он рассказал ей все и передал меня в ее руки...

5

Рассказать вам, что я получил от мамы? Описать вам ее испуг, ее гнев и как она ломала руки, когда Охрим рисовал ей со всеми подробностями разгром, который я учинил на баштане? Охрим не поленился, взял палку и показал маме, как я размахивал своим мечом во все стороны, как я рубил и крошил, колол и топтал ногами, выкапывал из земли картошку, ломал плети и уничтожал молоденькие огурчики... И за что? За что?

— За що, Аврумиха, за що?

Больше Охрим говорить не мог: его, видимо, душили слезы.

Должен вам, ребята, сказать всю правду: я предпочел бы быть избитым руками Охрима тому, что я получил от мамы до швуэс и от ребе после праздника... А позор, который я потом терпел круглый год от моих товарищей по хедеру! Они присвоили мне замечательное прозвище: «Баштанщик», «Иосл Баштанщик»! Прозвище это оставалось за мной чуть ли не до самой моей свадьбы...

Вот как я ходил рвать зелень к празднику.

ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Мысли глупого мальчика

1

— Был бы ты хорошим мальчиком, помог бы нам натереть хрен, пока мы управимся с рыбой к святому празднику.

Так говорит мне мама накануне швуэс, и вместе с кухаркой чистит рыбу к молочной трапезе. Рыба еще живая, трепыхается... Когда ее положили в миску, в большую глиняную, обливную миску с водой, она еще билась.

Сильнее всех бился бедный маленький карасик с пухлым животиком, с крошечным ртом и с красными глазками. Этому карасику, видимо, очень хотелось обратно в речку, он кидался, выпрыгивал из миски, раскрывал ротик, хлопал хвостом и брызгал водой прямо мне в лицо: «Мальчик, спаси меня! Спаси меня!..»

Вытираю лицо и принимаюсь за работу — натирать хрен на праздник. И думаю: «Бедный ты мой карасик! Ничего я для тебя сделать не могу... Сейчас тебя возьмут в оборот: очистят, вспорют животик, выпотрошат, потом разрежут на кусочки, положат в горшок, посолят и поперчат, поставят на огонь и будут варить, и жарить, и парить, и шкварить...»

— Жаль! — говорю я маме. — Жаль их!
— Кого тебе жаль?
— Рыбок.
— Кто тебе сказал?
— Ребе.
— Ребе?
Она переглядывается с кухаркой, которая помогает ей чистить рыбу, и обе разражаются смехом.
— Глупый ты, а ребе твой еще глупее тебя... Ха-ха! Натирай хрен, натирай!
То, что я глупый, мне известно. Это говорит мне мама каждый раз, и папа тоже, и братья тоже, и сестры... Но что мой ребе еще глупее меня — это для меня новость.

2

Есть у меня товарищ Пинеле, сын резника. Однажды я пришел к нему и увидел, что какая-то девочка принесла большого голландского петуха со связанными веревочкой ногами. Отец моего товарища, резник, спал, и девочка сидела у дверей и ждала. Петух, боевой молодец, вырывался из рук, дрыгал крепкими лапами, бил девочку в живот, клевал ее в руку и издавал сердитое «ко-ко-ко» — протестовал изо всех сил. Но и девочка была не промах. Она зажала голову петуха под мышкой, то и дело ударяла его локтем и приговаривала:
— Сиди, как проклятый!
И он ее слушал и сидел, как проклятый.
Потом резник проснулся, вымыл руки и достал свой резак. Кивком велел подать петуха. Я увидел, что молодец ожил: ему, видно, показалось, что развязывают его спутанные ноги и отпускают на волю, к курам, к просу, к корытцу с водой. Оказалось, однако, что резник зажал его между колен, задрал ему голову, выщипал несколько перышек у него на шее, произнес молитву и чикнул резаком по горлу. Выдавил в золу несколько капель крови и отшвырнул от себя. Я думал, что петух разлетится в куски.

— Пиня, твой отец разбойник! — сказал я своему товарищу.

— Почему так?

— Нет в нем жалости к живому существу.

— А я и не знал, что ты такой умник! — ответил мой товарищ и поднес мне кукиш к самому носу.

3

Наша кухарка слепа на один глаз. Ее прозвали «Фрума-кривоглазая». Это человек без сердца. Однажды она выдрала кошку крапивой: ей показалось, что кошка утащила куриную печенку. Однако, когда она еще раз пересчитала зарезанных кур и печенки, то оказалось, что она ошиблась. Она думала, что зарезали семь кур, и, значит, по ее расчетам, должно было быть семь печенок, а кур было всего шесть. А если шесть кур, то и печенок должно быть не больше шести... Чудеса, да и только! Напрасно заподозрила кошку.

Вы думаете, что это очень огорчило Фруму? Что она пошла извиняться перед кошкой? Какое там, — забыла! И она забыла, и кошка забыла. Часа два спустя кошка очень чинно сидела на шестке и облизывалась как ни в чем не бывало. Недаром говорят: кошачья память.

Но я не забыл. Нет. Я не забыл. Я сказал нашей кухарке:

— Напрасно драла кошку, грех на душу взяла! Надо жалеть все живое! Бог тебя накажет!

— Не уйдешь? Сейчас дам кочергой по голове! — Так говорит Фрума-кривоглазая и добавляет: — Бог ты мой! Откуда берутся такие глупые дети на свете?..

4

Это было из-за собаки, которую ошпарили кипятком. И опять-таки она, все та же Фрума-кривоглазая. Ах, как было больно собаке! Сначала она виз-

жала, кричала, отчаянно лаяла, места себе не находила. Все местечко сбежалось, смотрело и смеялось. Все остальные собаки местечка откликались каждая из своей конуры и каждая на свой лад, как будто спрашивали их мнения... Потом, когда ошпаренная вдосталь навизжалась, она начала выть, скулить, облизывать пострадавшую шкуру и тихонько плакать. У меня сжалось сердце. Я подошел к ней, хотел погладить.

— На, Серко!

Собака увидала, что я поднял руку, вскочила, будто ее еще раз ошпарили, поджала хвост и пустилась бежать.

— Стой, Серко! — попытался я успокоить ее ласковыми речами. — Куда бежишь, глупенькая? Разве я тебя трону?

Но собака остается собакой. Безъязыкое существо. Она не знает о «жалости ко всему живому».

Отец увидал, что я вожусь с собакой, и задал мне как следует.

— В хедер пошел, живодер этакий!

Это я, оказывается, живодер...

5

А это случилось из-за двух птичек, двух обыкновенных маленьких птичек, которых двое мальчишек — один постарше, другой поменьше — убили. Оба птенца, когда упали наземь, были еще живы. Они сидели, растопырив перышки, и дрожали всем тельцем.

— Двигайся, ты, мопс! — крикнул старший младшему.

Оба взяли подбитых птичек в руки и стали ударять их головками о дерево, пока они не кончились.

— Что это вы делаете?! — не выдержал я и рискнул подбежать к мальчишкам.

— Хиба що? А что такое? — ответили они совершенно спокойно. — Это же воробьи!

— А если воробьи, так что? А воробья не жалко?

Мальчишки как-то странно переглянулись и, словно заранее сговорившись, взяли меня в работу...

Когда я вернулся домой, мой кафтан выдал меня с головой. И отец наказал меня по заслугам.

— Дурень отпетый! — кричит на меня отец.

Ну ладно, «отпетого дурня» я ему прощаю, но за что мне оплеухи?!

6

За что мне оплеухи? Разве сам ребе не говорит, что все создания дóроги всевышнему? Даже муху на стене и ту трогать нельзя, говорит он, потому что надо жалеть все живое. Даже паука, хищника, тоже убивать нельзя. И он объясняет: «Если бы ему полагалась смерть, его бы сам бог убил...»

Спрашивается в таком случае: если так, почему же каждый день режут быков и телят, ягнят и кур?

И не только животных, зверей и птиц, — люди разве не убивают друг друга? Вот во время погрома разве не сбрасывали маленьких детей, крошек, с чердаков? Не убили разве девочку нашего соседа, Переле, — да как еще убили?!

Ах, как я любил этого ребенка! «Дядя Бебебе», — называла она меня. Меня зовут Велвеле... Она дергала меня за нос своими маленькими, тоненькими, такими сладкими пальчиками...

Из-за нее меня уже все называют «дядя Бебебе».

— Вон идет дядя Бебебе, он тебя возьмет на руки.

7

Переле была больным ребенком. То есть вообще-то ничего, но ходить она не могла. Ни ходить, ни стоять. Только сидеть могла. Вот и приходилось выносить ее на руках, сажать в песок, на солнышко. Она любила солнышко. Очень любила. И я носился с ней. Она обнимала меня за шею своими тонкими пальчиками, прижималась ко мне всем своим тельцем, клала ко мне на плечо свою головку: «Любу дядю Бебебе».

Наша соседка Крейна говорит, что она и по сей день забыть не может этого «дядю Бебебе». Только посмотрит на меня, вспоминает свою Переле.

Моя мама на нее сердится, почему она плачет. «Нельзя плакать, — говорит мама. — Нельзя грешить. Надо забыть... забыть...»

Так говорит мама и заговаривает о другом. А меня прогоняет: чтоб я не вертелся перед глазами, тогда и вспоминать не будут о чем не следует...

Ха-ха! Как же это возможно не вспоминать? Как вспомню об этом ребенке, у меня слезы сами собой на глаза навертываются, сами собой.

— Смотрите пожалуйста! Он уже опять плачет, этот умник! — говорит Фрума-кривоглазая моей маме, а мама, быстро взглянув на меня, смеется.

— Что? Хрен в глаза полез? Горе твоей маме! Такой сердитый хрен! Забыла сказать ему, чтоб глаза закрыл. Ах ты горе!.. На тебе мой фартук... Вытри глаза, глупый мальчик, и нос заодно вытри... Нос! Нос!..

ПЕСЕЛЕ, ДОЧЬ РЕБЕ

1

*«Короткая пятница» * и «Великая суббота»**

Так их прозвали.

Его — потому, что он был коротконогим, низеньким. Ее — потому, что она была длинной и тощей...

Длинная, тощая, сухая, как засохшая ветка. Для того чтобы сказать ему кое-что по секрету («Ох, похоронить бы мне тебя вместе с твоими короткими ножками!»), ей приходилось нагибаться, приноравливаться к его росту, снисходить до него. А он не любил секретов, и поэтому тоже нагибался, и она должна была нагибаться еще ниже, тогда он нагибался все ниже и ниже, тогда и она нагибалась все ниже и ниже, тогда ему приходилось нагибаться еще гораздо ниже, тогда и ей приходилось нагибаться еще гораздо ниже.

— Ох, похоронить бы мне тебя вместе с твоими короткими ножками!

Одним словом, она изводила его, а он сносил это молча. Мы же, его ученики, сорванцы и проказники, злорадствовали.

Почему?

Потому что он изводил нас талмудом, без конца наказывал, порол, порол, порол... Вы ведь, наверно, помните историю из «Поучения отцов». Однажды он

увидел плывущую по морю человеческую голову. Он остановился и сказал голове: «За то, что ты утопил ближнего своего, утопили тебя, а тех, кто утопил тебя, постигнет та же участь — их тоже утопят...»

Но возвратимся к Короткой пятнице и Великой субботе.

Он был, как вы уже, наверно, догадались, нашим учителем, и звали его реб Зорахл. А она была его женой, и мы звали ее Зорахлихой.

Он обучал нас с утра до ночи, трудился не покладая рук, надрывал свое здоровье за несколько карбованцев в сезон. А она пекла блины и оладьи для нас, гречаники, бабки и коржики на продажу. Много ли она зарабатывала на этом, не могу вам сказать, но в том, что мы, сорванцы и проказники, надували ее, я могу поручиться: каждый из нас брал в долг, каждый пользовался у нее кредитом до определенной суммы и каждому она верила на слово.

Надо было совсем не иметь сердца, чтобы обманывать Зорахлиху. Никто не знал этого лучше меня.

Я, деревенский мальчишка, жил у нее на харчах и нагляделся, как она трудится, бедняжка: поднимается на рассвете, когда еще сам бог спит, и сразу за квашню или за корыто, засучит рукава и усердно месит тесто длинными, худыми руками. Тесто вздыхает: «тех-тех», корыто кряхтит, и Зорахлиха кряхтит, то и дело выпрямляется, вытирает пот рукавом и произносит длинное-предлинное: «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!..»

Поверите ли, я знал, что означает это «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!..» Вот как это следовало понимать: мука взята в долг у бакалейщицы Гнеси до четверга, свой товар она, Зорахлиха, тоже раздаст в долг. И бог знает, вернет ли она свои деньги до четверга, а бакалейщица Гнеся молчать не будет, бакалейщица Гнеся сама взяла муку в долг до четверга, а если сказано до четверга, значит в самом деле до четверга, потому что язык человеческий — это ведь не голенище сапога, а четверг — вообще хороший день, день накануне кануна субботы, день, когда приходится обращаться к мужу

за деньгами. Горе Великой субботе, когда она нагибается к Короткой пятнице, чтобы попросить денег на субботу! Горе Короткой пятнице, когда Великая суббота приходит требовать у него денег на субботу, — горе им обоим!

Вот что означало «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!»

Но, возможно, это нужно было толковать по-иному; может быть, за «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!» скрывались другие горести Зорахлихи. А горестей у нее было предостаточно. Во-первых, Зорахлиха не могла похвастать здоровьем, она все кашляла, потихоньку, чтобы никто не слышал; во-вторых, она огорчалась из-за Песеле, своей старшей дочери, девушки в летах, у которой были огненные волосы и лицо словно в отрубях и которую никто не хотел брать в жены. И до чего она досидится? А Убогая? Это уже и впрямь несчастье. Убогая — горбатый уродец, без рук, без ног, без языка, без души и тела. Горе ей, что родилась она на свет, горе ей, что живет она на свете!!

С Убогой мы еще когда-нибудь встретимся, а с Песеле познакомимся очень скоро. Но вернемся пока к Короткой пятнице и к Великой субботе.

От души жаль было бедную Зорахлиху, которой приходилось все делать самой: квасить тесто, месить его, сажать в печь, париться у огня, носить воду, таскать дрова, — и все сама, везде сама, помощи никакой. И от кого ей ждать помощи? Зорахл обучает ребят, Песеле склоняется над талмудом вместе с мальчиками, она ведь ученая, у нее ведь мужская голова! Убогая сидит за печкой в уголочке, поджав под себя ножки, и ждет, пока ей что-нибудь поднесут, сунут в ручку: «На, Убогонькая, подавись...»

Вот что еще означало «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!» А может быть, это следовало понимать и так: Песеле целиком на его стороне, на стороне отца, и оба они, Песеле и Зорахл, делали все ей наперекор.

— Папочка с доченькой! Закопать бы вас обоих в одну ямку!

Песеле любила отца, и отец любил Песеле. Это была странная, молчаливая любовь.

Никто из нас не слышал, чтобы они сказали когда-нибудь друг другу ласковое слово. Наоборот, реб Зорахл обращался к ней, как к прислуге:

— Послушай-ка, ты!

Но по глазам видно было, что учитель любит дочь, сильно любит, что без нее ему и жизнь не мила. Возможно, он любил ее так потому, что от жены видел только обиду. А может быть, и потому, что с Песеле ему повезло, у нее была мужская голова, и она разбиралась в священных книгах. А может быть, и потому, что Песеле знала все его привычки, безошибочно угадывала, чего он хочет, вовремя подавала ему ермолку, плетку, табакерку или стакан воды.

— Папочка с доченькой! — говорила Зорахлиха. — Лучше бы позаботился о муже для нее, подыскал бы какого-нибудь жениха!..

Ребе отвечал жене вздохом, как бы говоря: «Легко сказать, подыскал бы жениха, поди-ка подыщи, если не подыскивается...»

Но всему свое время. Всякий товар лежит до тех пор, пока не найдется настоящий покупатель. Нет такой девушки на свете, которой бы не встретился суженый. Вы ведь знаете, еврейских монастырей нет.

Пробил час, и Песеле «с руками оторвали», как говорила Зорахлиха. Это и в самом деле была судьба. И, если хотите знать, здесь был роман, настоящий роман, не сомневайтесь, роман с влюбленностью, со страстью, со всеми тридцатью напастями все как полагается.

Но это особая история.

2

Уехали

Высокий, сутулый, рябой, с добрыми серыми глазами, человек молодой, но седоволосый — вот вам портрет коробейника Файвла, или, как его звали в Касриловке, «Файвла-колбойника» *,

Колбойником прозвали его не напрасно: в коробе у него было все на свете: пуговицы и пуговички, иголки и подушечки для иголок, гарус и шелк, ленты и тесьма, катушки и клубки, ермолки, платья, мыло всех сортов и еще много разнообразных товаров, всего не упомнишь и не перечислишь.

Для девушек и для женщин приезд Файвла-колбойника был праздником. А для нас, мальчишек, сорванцов и шалунов, двойным праздником: во-первых, Файвл-колбойник с коробом — сам по себе праздник, а во-вторых, когда приезжает Файвл-колбойник, можно несколько часов не учиться, погулять на свободе. Почему? Потому что учитель реб Зорахл любит послушать новости: ему интересно, что делается на свете. А кому и знать, что делается на свете, как не Файвлу-колбойнику, которому все пути открыты; нет такой мышиной норы, куда бы он не проник со своим товаром.

Новостей Файвл-колбойник привозил каждый раз целые кучи, горы новостей, да тут еще не столько сами новости, сколько его манера рассказывать. Знаете, что я вам скажу? Рассказывать надо уметь. А Файвл-колбойник умел рассказывать. В его рассказах была искра таланта, притягательная сила, а текли они без остановки, без конца. Вечно, кажется, я мог бы его слушать, никогда бы не надоело.

— Какие новости, вы спрашиваете? Ох, нехорошие новости! — так начинал Файвл-колбойник свой рассказ, между делом распаковывая короб и раскладывая товар. — Неважные дела у наших евреев, у братьев наших!.. Еду я из Житомира, то есть не из Житомира, а из Чуднова, есть такое местечко неподалеку от Житомира, может, слышали? Так в этом Чуднове есть раввин, так этот чудновский раввин родом из наших мест, из Малороссии; Малороссия — не Литва, в Малороссии нет таких бедняков, как в Литве: у нас если встречается бедняк, так он просто бедняк, а у вас в Литве бедняк, не в обиду вам будь сказано, это уж такой бедняк, что всем беднякам бедняк. Таких бедняков, как у вас в Литве, я нигде не встречал. А я уже поездил по белу свету, везде побывал —

и в Литве и в Польше,— Польшу вдоль и поперек изъездил: и в Радоме был, и в Лодзи, и в Варшаве. Ох, Варшава! Да здравствует Варшава! Дорогой, золотой город эта Варшава! И дешево там — ну все прямо даром! Завтрак вы получаете за одиннадцать грошей, и какой завтрак — со сдобой из крупчатки, тает во рту, как масло! Кажется, постоянно сидел бы в Варшаве, если бы не язык их, который трудно понять, чудно́ как-то они говорят, быстро-быстро и все на «а», да еще с припевом: «ай-вай, чтоб я так жил!» И всех там зовут «Ичемайер», одно имя на всех, в честь праведника тамошнего Ици-Меера, так же как в Бердичеве всех зовут Лейви-Ицхок в честь бердичевского раввина реб Лейви-Ицхока, который был притчей во языцех, о нем еще до сих пор рассказывают много удивительных историй; рассказывают, например...

— Может, хватит уже историй? — перебивает его Зорахлиха на самом интересном месте. — Сколько стоит у вас четверть дюжины белых пуговиц с обметанными дырочками?

Файвл-колбойник нисколько не теряется от того, что его перебивают. Он показывает Зорахлихе все сорта пуговиц: белые и не белые, с обметанными и необметанными дырочками, и говорит, говорит, слова сыплются из него, как из мешка, льются, как из бочки, тянутся без остановки и без конца. Он подобен фокуснику, который вытаскивает изо рта разноцветные ленты: красные, зеленые, желтые, синие, и неизвестно, когда кончается желтая и когда начинается синяя, — тянутся и тянутся ленты, мелькают перед глазами ленты, гора лент, без конца ленты, ленты и ленты...

И был день, и случилась история: Файвл-колбойник отозвал в сторону ребе, чтобы сказать ему что-то по секрету, и секретничал с ним часа два: Файвл обливался по́том, то и дело вытирал лоб большим красным платком, а учитель реб Зорахл был необычайно взволнован, задумчив и рассеян, с трудом заставлял себя слушать, что ему говорят. А когда пришла с рынка жена, ребе в свою очередь отозвал ее в сторону, и тут же послышался возглас: «Не может быть?!»

И щеки и глаза Зорахлихи вдруг вспыхнули странным огнем, озарились светом, которого мы уже давно на ее лице не видели.

— Сегодня вы свободны, сегодня заниматься не будем!— сообщил ребе и отпустил нас всех по домам, только я один остался, так как жил у ребе на харчах, и весь хедер мне завидовал, что я буду при *этом*.

При чем при *этом*, никто не знал, но все понимали: здесь готовится какое-то торжество, что-то такое, что стоит *при этом* быть. И я *при этом* был...

Началось с того, что жена ребе воскликнула:

— Ой, болячка мне, а коврижки-то нет!

На что ребе ответил:

— Так ведь и водки тоже нет.

Тогда Файвл-колбойник сказал:

— Это я беру на себя...

Короче говоря и коврижка появилась, и водка, и закуска, и сразу же после вечерней молитвы собрался миньен* из нашей синагоги: был там и кантор реб Мойше-Шмуел, и писец реб Генех, и служка реб Ойзер, и составили тноим:* «Сей жених, ученый муж, реб... реб...— так читал нараспев писец реб Генех.— Ученый муж, реб... реб...»

Здесь писец реб Генех остановился и взглянул на жениха.

— Реб Шраге-Файвиш-Гецл, сын Нойаха-Мордхе-Лейба, и его нареченная, девица, госпожа... госпожа...

Здесь писец остановился и взглянул на невесту.

— Госпожа Песе-Лее-Мейта, дочь раввина реб Зорахла-Нафтоли-Цви-Гирша...

— Госпожа Песе-Лее-Мейта, дочь раввина реб Зорахла-Нафтоли-Цви-Гирша... Свадьба состоится в добрый час, с божьей помощью... с божьей помощью...

Тут произошла немая сцена: писец посмотрел на учителя, учитель посмотрел на жену, жена учителя — на жениха, жених — на невесту, невеста — на писца, и так далее... Если бы эти взгляды переложить на слова, они на любом языке прозвучали бы примерно так:

Писец *(учителю)*. Ну? Что же вы молчите? Ведь вы здесь сват?

Учитель (*жене*). Откуда я знаю? Скажи-ка лучше ты...

Жена учителя (*жениху*). Жених, что ты молчишь? Все равно все расходы на твою голову...

Жених (*невесте*). Я не прочь хоть завтра; что скажешь, Песеле?

Невеста (*писцу*). Спросите отца, хотя я наперед знаю, что отец велит отложить...

Короче говоря, решили, что, поскольку теперь канун начала месяца, пусть свадьба состоится в середине месяца, то есть через несколько недель, ведь как бы то ни было, кое-что надо сшить, кое-что придется приготовить... Когда разбили тарелку и все принялись поздравлять: «В добрый час! В добрый час!» — я заметил, что учитель реб Зорахл помертвел; так же, как тарелка, сердце у него разбилось на куски... Я сам слышал, как он сказал кантору реб Мойше-Шмуелу после первой же рюмки водки, от одного взгляда на которую он уже опьянел:

— Приходит чужой человек и забирает у тебя самый сладкий кусок. Кто такой, откуда, почему? Ох, ох, ох!

— Эх, — ответил ему кантор реб Мойше-Шмуел, который отпил из рюмки больше половины и у которого язык уже начал заплетаться. — Эх, ничего, бе! Бог даст, будет вам утеха на расстоянии... Стоит богу захотеть... Утеха и радость всем, всем евреям!..

— Ох, пора уже, пора! Давно пора! — поддержал его писец, который весьма дипломатически переводил взгляд с рюмки на бутылку. Похоже, он бы не возражал, если бы ему снова налили...

— Аминь! — отозвался служка реб Ойзер. Этот ничего и знать не хотел. Он опрокинул рюмку без всяких церемоний.

А жених и невеста сидели во главе стола, прижавшись друг к дружке так плотно, что я никак не мог затесаться между ними; но мне было хорошо видно — я не близорук, — что *ее* рука лежала в *его* руке; лицо у нее пылало, глаза сверкали. Она вдруг похорошела, стала красивой, прекрасной, как заря. Куда

девались ее рыжие волосы? Куда девались отруби на ее лице? Она, говорю я вам, была полна прелести.

И не только в этот вечер — во все дни, когда готовились к свадьбе, Песеле сияла, как солнце в июле, с часу на час становилась все краше и краше. Но в самый день свадьбы было уже не то, потому что Песеле плакала, горько-горько плакала, истекала слезами. Может быть, сердце ей подсказывало, что не ждет ее большое счастье с ее избранником, с ее суженым? А может быть, она жалела отца, который остается один-одинешенек, словно камень у дороги.

Но если Песеле было трудно расстаться с отцом, то отцу было в тысячу раз труднее расстаться с дочерью. Учитель реб Зорахл не плакал. Женщина он разве, что вдруг станет плакать? Учитель реб Зорахл молча томился, таял, как свеча.

Когда дело дошло до прощания, разыгралась такая сцена: узлы, *ее* постель и одежда и *его* коробка с товаром, связанные вместе, уже лежали на повозке. Файвл-колбойник вышел из дома и ждал, когда Песеле взберется на повозку; жена учителя стояла, вытянувшись во весь рост, подперев подбородок двумя пальцами, и смотрела на учителя странным взглядом, который как будто говорил: «Похоронить бы мне тебя с твоими короткими ножками, ты когда-нибудь попрощаешься с ней или нет?»

Учитель реб Зорахл понял, что означает этот взгляд, и обратился к зятю надтреснутым голосом:

— Гм... ну... гм... начнем, значит, прощаться?

— Будьте здоровы, тесть! Будьте здоровы, теща!

— Счастливого пути! Счастливого пути!..

— Прощай, мама... Прощай, папа!..

И тут Песеле, одетая по-дорожному, закутанная в два платка, вдруг бросилась отцу на шею со слезами, с рыданиями, с криком:

— Па-па!.. Милый, дорогой папа!..

Сколько людей было на улице, все плакали: Песеле и учитель, жена учителя и Файвл-колбойник, и я, и извозчик реб Лейзер, который сидел на облучке с кнутом наготове, и все его пассажиры, те, что сидели под поднятым верхом повозки, и те, что сидели

напротив, и соседка ребе — Двося, жена служки, которая тяжко болела, и старшая дочь Двоси Златка, растрепанная рыжая девка с черными зубами, которая стояла с маленьким ребенком на руках, и баба Акулина, которая понимает каждое слово по-еврейски, и сапожник Хлавне, который пришел получить за починку сапог, а получать было нечего, и просто человек, совсем чужой, который проходил мимо, увидел — люди уезжают, услышал — люди плачут, и остановился, тихо вздыхая, и тоже стал утирать глаза.

Лейзер щелкнул кнутом: пошли! Лошади рванули, и повозка с шумом покатила.

Долго-долго стояли мы на улице и смотрели туда, где она скрылась, оставив позади себя густую пыль, запах лошадей и смазанных колес.

— Уехали! — сказал чужой, точно сообщил новость, которую, кроме него, никто не знал.

— Уехали! — ответил ему учитель реб Зорахл, точно тот ждал ответа.

— Уехали! — сказали мы все вместе, точно сообщили друг другу бог знает какую радостную весть...

УБОГАЯ

1

Однажды летом, в пятницу это было, мы, несколько мальчиков, возвращались из хедера домой. Шли мы быстро, почти бежали, так как, во-первых, нас отпустили на субботу, а во-вторых, нам хотелось есть — дома нас ждало горячее жаркое со свежей ароматной халой.

Вдруг один из моих товарищей вскрикнул: «Смотрите, птичка!» Мы остановились. На земле, сжавшись в комок и запрокинув головку, лежал крохотный желторотый птенчик. Распушив перышки, трепеща крылышками, бедный птенчик дрожал всем телом. То и дело раскрывал он свой желтый клювик, напоминая маленького голодного ребенка, и попискивал хриплым голоском: «пи-пи-пи». Нам стало жалко птенчика, и мы принялись размышлять: что с ним делать? Один считал, что не надо его трогать, пусть дожидается своей мамы. Другой говорил, что, если мы подбросим птенчика вверх, он полетит. А третий заключил, что птенчика надо отнести в дом: так велит «жалость ко всему живому». На этом мы и сошлись.

Мы понесли птенчика в дом и, забыв о собственном голоде, стали вливать ему в клювик воду, начали выхаживать его. Но птенчик трепетал, моргал глазками

и бился в наших руках до тех пор, пока не запрокинул головку, закатил глазки и скончался.

«Для чего жила эта птичка? Зачем она появилась на свет? Кому на земле она была нужна?» — такие вопросы не давали мне покоя, вопросы, на которые я не находил ответа.

Полчаса спустя мы с большим почетом проводили птичку в последний путь, вырыли на огороде глубокую ямку, завернули птичку в саван (белый носовой платок), похоронили ее и поставили надгробие — дощечку с надписью: «Здесь лежит птенчик Ципойр-Бен-Болок» *.

И перечислили имена всех, кто участвовал в похоронах: Берл, Иосл, Довид, Мотл, Калмен, Гецл...

Пролетело веселое теплое лето. Наступила сырая осень с холодными плаксивыми днями. Дождь смыл надгробие, сравнял могильный холмик, и маленькая птичка была забыта, как забывается все, что покрыто землей. Но подчас, когда я вспоминаю птенчика Ципойр-Бен-Болока, мне на ум приходит Убогая.

2

Убогой звали мы дочку нашего учителя реб Зорахла, калеку, маленькую горбунью. Сколько лет ей было, я не знал. Помню только ее старческое сморщенное личико, длинные худые ручки, жидкие волосы, черные блестящие мышиные глазки. Она сидела всегда на одном и том же месте, поджав под себя ноги, — бедняжка не умела ходить. Место ей было отведено в уголке за печкой, на голом полу. Там, не произнося ни звука, просиживала она целыми днями, сидела так тихо, что иногда в течение многих часов никто не вспоминал об ее существовании.

Предложат ей кусочек хлеба — она протянет длинную сухую ручку с тонкими скрюченными обезьяньими пальчиками и схватит хлеб, который тут же исчезнет у нее во рту. А рот у Убогой был такой большой, что в нем без труда могло поместиться целое яблоко.

— Убогая, хочешь медового пряника?

— Убогая, орешки будешь щелкать?

— Убогая, давай с нами в пуговицы играть.

Так мы, мальчишки из хедера, озорники, сорванцы, бездельники, дразнили Убогую. Убогая ничего не отвечала, но каждый раз протягивала к нам худую ручку с тонкими пальчиками и заглядывала нам в глаза, как голодный щенок, который надеется, что ему подбросят кость.

— Бессловесная тварь, — пояснял сын учителя Янкев-Эле, глупый толстощекий парень, самый старший среди нас. — Бессловесная тварь, не умеет разговаривать. Ей бы только есть, только есть, вечно она голодная, бочка бездонная, да и только...

Редко-редко Убогая напоминала о себе какими-то странными звуками, похожими не то на смех, не то на плач, не то на кашель. Тогда жена учителя, Зорахлиха, кричала на нее:

— Когда же ты, Убогая, онемеешь наконец?

Убогая понимала, что, когда ее называют Убогой, это не к добру, жди колотушек.

А колотушками ее награждали щедро, почти каждый день, и особенно не скупилась мать. Когда у Зорахлихи было скверно на душе, за все доставалось Убогой.

— Ох, Убогая, похоронить бы тебя поскорее! Горе мне, зачем только живет такое на земле?!

3

Любить Убогую никто не любил, но все-таки ее жалели. И больше всех жалел ее реб Зорахл.

— Жалость ко всему живому! — говорил, глядя на нее, реб Зорахл и вздыхал потихоньку. Украдкой, чтоб жена не заметила, он подсовывал Убогой то кусок хлеба, то картошку, то глоток воды. Когда он видел, что мы сосем конфеты или щелкаем орехи, он просил нас сделать богоугодное дело — подарить и Убогой несколько орешков. И мать поила-кормила Убогую, но без жалости, без души: сунет ей что-нибудь в ручку с таким видом, будто хочет сказать: «На, подавись!»

В первое время мы, мальчики из хедера, боялись Убогой, не могли видеть ее горба, не могли слышать ее ни на что не похожего смеха. Но со временем мы все больше и больше привыкали к Убогой, у нас даже завязалось с ней что-то вроде дружбы. Она знала каждого из нас по имени, и вечером, между предвечерней и вечерней молитвами, когда ребе был в синагоге, жена его — в городе, а мы играли во «Владыку небесного», «Экех-мекех» и другие игры, в которые и девочкам не возбранялось играть и в которых принимала участие даже дочь учителя Песл, мы звали и Убогую поиграть с нами хотя бы на расстоянии. И как бывала она счастлива в эти минуты! Она широко открывала огромный страшный рот и смеялась своим рыдающим смехом. Но стоило только появиться отцу или матери, как она тут же замолкала и снова становилась серьезной, грустной, пришибленной, никакого веселья не было и в помине.

Говорила Убогая так странно, так ни с чем не сообразно, что далеко не каждый мог ее понять. Вместо «хлеб» она произносила «теб», вместо «вода» — «тирлита», вместо «пуговицы» — «лубицы», яблоки и картошку она называла «больками», мальчики были у нее «мецуцелями». Каким образом мальчик стал «мецуцелей», этого я никак не мог понять.

— Мецуцеля, мецуцеля! На бете лубицу, тай мне больќо, тулочек теба!

Это означало: «Мальчик, мальчик, на тебе пуговицу, дай мне яблочко, кусочек хлеба».

Пела Убогая голосом... летучей мыши. Когда никого не было дома, она давала себе волю, раскрывала широкий рот, вытягивала длинную шею и заводила что-то невообразимое, ни один человек на свете не мог бы понять, что означает это пение. Кончала Убогая всегда одинаково, как будто трубила в рог:

Турели-гу-гу,
Турели-гу-гу...

Мать, невзначай застав Убогую за пением, кричала:

— Убогая, похоронить бы мне тебя поскорее, что ты распелась!

Услышав, что мать сердится, Убогая, словно черепаха, уходящая в свою броню, вбирала головку в плечи и замолкала.

4

В городе Убогая была притчей во языцех. Все ее знали, у всех она не сходила с языка. Если у кого-нибудь случалось несчастье — умирала молодая женщина от родов, или невеста перед венцом, или же мужчина, отец семейства, сразу на ум приходила Убогая.

— Такой вот калеке бог смерти не даст. Не беспокойтесь, всевышний знает, что делает!

Говорили это вовсе не потому, что кто-нибудь желал Убогой зла. Упаси бог! Говорили так просто, из жалости. Кроме того, под этим подразумевалось, что бог и впрямь великий бог, правит он миром разумно и справедливо, но случается иногда, да не накажет господь за такие речи, что и он поступает не совсем хорошо. Вот, например, у того же реб Зорахла был мальчик Лейви-Ицхок, — назвали его так в честь бердичевского раввина. Ну и Лейви-Ицхок это был! Если бы он не умер, один бог знает, кем бы он вырос! В одиннадцать лет он уже потрясал весь город. Да что город? Мальчик прогремел на весь мир. И вдруг неожиданно он умирает, проболев три-четыре дня.

И как вы думаете, отчего? Доктор говорил, что от воспаления мозга. Реб Зорахл считал, что виной всему учение. Лейви-Ицхок слишком много учился. На что мать отвечала, что оба ничего не смыслят: дитя ушло по причине дурного глаза, просто, говорит она, ей завидовали. Разве люди могут допустить, чтобы бедному человеку хоть в чем-нибудь повезло? Даже на удачных детей бедняк не имеет права!

С тех пор Убогая стала в городе еще более знаменитой, а дома еще более несчастной. Мать видеть ее не могла, испытывала к ней отвращение, будто к

пауку. И не один раз осыпала она мужа страшными проклятиями за то, что он заступается за Убогую, жалеет ее.

— Все-таки «жалость ко всему живому»,— отвечал ей на это реб Зорахл,— все-таки живое существо!

— Живое существо?— возражала ему жена.— Урод, выродок, ниспосланный нам за чужие грехи!

5

— Знаете,— весело обратился к нам однажды сын учителя Янкев-Эле, глупый парень с толстыми щеками. Он так радовался, точно собирался сообщить нам бог весть какую приятную новость.— Знаете, Убогая при смерти. Приходила лекарка Бася, говорит, плохо дело, конец Убогой, конец!— При этом у Янкев-Эли был вид человека, только что провернувшего выгодное дельце.

У всех у нас оборвалось сердце от такой новости. Пока Убогая жила, мы о ней мало думали. Но теперь, когда мы услышали, что она умирает, нам стало казаться, будто мы обращались с ней не так, как следовало, и появилось у нас странное чувство, похожее на раскаяние, в чем раскаяние, я и сам не знаю, но все же это было раскаяние. Мы бросились в уголок за печку и увидели сидящую возле Убогой жену учителя. Глаза у нее были красные, заплаканные. Мы смутились и бросились назад.

— Идите, идите сюда, куда вы убегаете?— позвала нас жена учителя и тихо добавила:— Не бойтесь, Убогая еще не умерла, Убогая еще живет. Если бог захочет, он все может сделать... Господь велик, он все может, если он захочет, мертвые станут живыми... Учителя нет дома, учитель пошел купить пальсин. Пальсин тебе дадут, Убогая, пальсин!

Так говорила жена ребе, ломая руки и склоняясь над больной. Мы никогда не слышали, чтобы ее голос звучал так мягко.

Убогая лежала с закрытыми глазами, свернувшись клубочком, большой уродливый рот был открыт, она

шевелила пересохшими губами и хрипловато, словно заболевшая птичка, попискивала: «и-и-и...»

Глядя на Убогую, я вспомнил желторотого птенчика, которого мы подобрали когда-то, у меня сжалось сердце, меня начали душить слезы, и я заметил, что мои товарищи как-то чудно моргают глазами, стыдятся смотреть друг на друга. Мы сели за книги, и, когда учитель пришел с апельсином, он застал нас паиньками и похвалил за то, что мы хорошие мальчики, так тихо сидим! Ребе присоединился к нам. Делая вид, что углубился в талмуд, он потирал лоб и усердно пел вместе с нами: «И сказал Рав Папе...» Мы, однако, прекрасно видели, что голова его занята совсем не талмудом, не «Рав Папе», что душой он там, в уголке за печкой. Он все время поглядывал туда, словно, да простится мне это сравнение, корова в беспокойстве за своего маленького теленка, то и дело он глубоко-глубоко вздыхал, тяжко стонал, и каждый вздох и каждый стон болью отзывались у меня в сердце.

6

— Уже! Уже! Уже! Можете идти домой! — прыгая навстречу нам на одной ноге, сообщил нам на следующее утро толстощекий Янкев-Эле.

— Домой? А что случилось?

— Как, что случилось? Папа, мама и мы все будем сидеть «шиве» *. Целую неделю не будет хедера, потому что Убогая умерла.

— Умерла?

— Умерла. Сегодня ночью. Я бегу в погребальное братство.

Мы застыли, пораженные.

С одной стороны, такое несчастье — Убогая, бедняжка, умерла. С другой стороны, такая радость — мы целую неделю свободны... Лето. Небо чистое, ясное, как зеркало. Ни облачка, ни ветерка. Солнце смеется, солнце припекает. Можно уходить на реку, весь день купаться, удить рыбу... От счастья мы прыгаем, блеем и мычим, как телята, корчим рожи: один

гримасничает по-обезьяньи и мяукает по-кошачьи. «Гав-гав», — отвечает ему другой. Третий присоединяется к ним: ква, ква, ква! Четвертый кружится на одной ноге, напевая:

Раз, два, три,
Тирли-тирли-ри,
Окен-бокен-лей,
Ну-ка, веселей!..

А пятый отпускает самому себе три пощечины, просто так, за здорово живешь, и пускается бежать как безумный. А за ним бегут все остальные сорванцы. Только я один, я, который знал Убогую лучше всех, потому что жил некоторое время у учителя на харчах, — я стою, как прикованный, не могу тронуться с места.

«Умерла? Что это, собственно, значит — умерла? Для чего жила Убогая? Зачем умерла?»

И я отправляюсь в хедер, чтобы хоть издали посмотреть, *как* это умирают, *как бывает,* когда умирают. Подойдя к двери, я слышу надрывный плач, горькие рыдания и причитания, похожие на молитву для женщин:

— Горе мне, беда мне! Зачем родила я тебя, несчастье ты мое! Чем была, если подумать, жизнь твоя на земле? Что нужно было богу от твоей невинной души, зачем он спустил ее со своей святой высоты, спустил сюда для мучений, в искупление за чужие грехи! Гром порази меня! Лучше бы ты погибла в материнском чреве раньше, чем я породила тебя на беду мою великую! Лучше бы мне не дожить до твоих похорон, тяжкий удар придавил меня! Так вкуси же ты райское блаженство, так будь же ты заступницей в небесах за мать, за отца, за братьев и сестер своих, за всех наших родных и близких!..

Мною овладевает глубокая печаль. Хочу бежать, но не могу удержаться, чтобы хоть краем глаза не посмотреть, что делается там, в хедере. Я приоткрываю дверь и вижу: на полу лежит что-то, покрытое черным, и в головах горит свеча, жена учителя сидит рядом, поджав ноги, раскачивается, и плачет, и рыдает,

и причитает все тем же странным необычным напевом. Против нее стоят три женщины, ближайшие соседки: Бася, Песя и Сося. Скрестив руки на груди, они смотрят на жену учителя, и на лицах у них такие бесподобные гримасы, что надо быть крепче железа, чтобы не лопнуть со смеху, глядя на них. Если бы только на полу не лежала Убогая... Три соседки пришли помогать Зорахлихе оплакивать Убогую; но горюют они о живых, оплакивают бедных отца и мать, что породили Убогую, которая родилась калекой и умерла калекой.

Дети учителя тоже сидят на полу и тихо плачут, все дети, кроме Янкев-Эли (Янкев-Эле поскакал на одной ноге в погребальное братство за носилками с такой радостью, точно его послали за музыкантами). А в стороне, в уголке, сидит на табуретке ребе, опустив голову, уронив руки на колени. Мне очень хочется знать, плачет ли он, — интересно, как плачет учитель? Я поскрипываю дверью, покашливаю, учитель поднимает голову, поднимает веки, и я вижу красные глаза. Могу дать голову на отсечение, что они заплаканные...

— Марш домой, бесстыдник этакий! — цыкает на меня ребе.

Я дрожу как в лихорадке и сломя голову убегаю куда глаза глядят.

7

Ночью, лежа в постели, я вижу перед собой Убогую, покрытую черным, рыдания и причитания жены учителя звучат у меня в ушах. Я читаю ночную молитву.

Гасят свет, и я снова вижу перед собой Убогую, рыдания и причитания жены учителя звучат у меня в ушах. Я зажмуриваю глаза крепко-крепко, чтобы не видеть; я затыкаю уши крепко-крепко, чтобы не слышать — ничего не помогает: я вижу Убогую, покрытую черным, и слышу плач и причитания ее матери.

Я стараюсь думать о чем-нибудь другом. Стараюсь вспомнить что-нибудь смешное. Стараюсь вспомнить трех соседок с перекошенными физиономиями, — не помогает, не смешно! Как сверлом, буравят мой мозг всякие мысли: умерла... Что такое жизнь и что такое смерть? Для чего жила Убогая? Почему она умерла? Почему?

Я натягиваю на голову одеяло, шепчу молитву и засыпаю.

Я засыпаю, и снится мне черный свадебный балдахин. Я стою с Убогой под балдахином, а мои товарищи бьют в ладоши и поют:

Раз, два, три,
Тирли-тирли-ри.
Окен-бокен-лей,
Ну-ка, веселей!

Янкев-Эле, глупый толстощекий парень, прыгает на одной ноге и кричит: «Мецуцеле, мецуцеле!»

А учитель с женой рыдают, обливаются слезами, Убогая смотрит мне в лицо жалобно, просительно и протягивает ко мне худые ручки с искривленными сухими пальчиками. У меня ноет, сжимается сердце, дрожь пробегает по телу.

— Чего ты хочешь? — спрашиваю я. — Убогая, чего ты хочешь? Может быть, пальсин?..

Я присматриваюсь и вижу, что это вовсе не Убогая. Это птенчик, желторотый Ципойр-Бен-Болок. Птенчик бьется, трепещет, шевелит крылышками, открывает желтый клювик, точно ребенок, который хочет есть, и поет на манер койгенов: *

Турели-гу-гу,
Турели-гу-гу...

. . . .
. . . .

Я просыпаюсь. Стоит теплый, погожий, светлый летний день. Через раскрытые окна в комнату врываются пение птиц и треск кузнечиков. Мои сестры, Златка и Блюмка, хорошенькие девушки с румяными, как персики, щеками, одеты одна в белое, другая в зеленое

ситцевые платья в голубой горошек, в их косы вплетены красные ленты. Сияют сестры, словно солнце, цветут, словно розы.

— Вставай же наконец, — говорят мне сестры, — помолись и ступай к своим товарищам. Они ждут тебя, уже два раза приходили. Вам ведь сегодня не надо идти в хедер, вы целую неделю свободны. Везет же вам!

Милые слова: «Сегодня не надо идти в хедер, целую неделю свободны» — веселят душу, согревают сердце. Меня подмывает поскорее выбежать к товарищам. Но тут, как иголкой, укалывает меня воспоминание об Убогой.

— Нет Убогой, умерла Убогая!

Я бегу к своим товарищам.

8

На дворе лето. Небо чистое, ясное, как зеркало. Ни облачка, ни ветерка. Солнце улыбается, солнце смеется, солнце печет. Мы направляемся к реке купаться, удить рыбу. Я купаюсь, я бегаю, я ужу рыбу, но все время меня не оставляет одна мысль, все та же мысль:

— Нет Убогой, умерла Убогая!

Все мы раздетые, в чем мать родила, мы уже успели искупаться, выбежать из воды, вываляться в песке и стать грязными, как поросята, а потом еще и еще раз искупаться, мы бултыхались в воде так долго, что стали синими, как селезенка, начали дрожать и стучать зубами — и вот мы уже лежим, вытянувшись на раскаленном песке под горячим, обжигающим солнцем, под синим куполом высокого неба. Только двое из нас — Хаим-большой и Хаим-маленький — еще в воде. Они искусно связали за рукава две рубашки и этой «сетью» ловят рыбу, то есть ловили бы рыбу, если бы она была; вся беда в том, что рыбы нет, то есть рыба есть, но в сеть к Хаиму-большому и к Хаиму-маленькому она не попадается. Ей не хочется.

— Глубже, Хаим, глубже! Ниже, Хаим, ниже! К берегу, к берегу! Осторожно, Хаим, рыбки!

Так командует Хаим-большой Хаиму-маленькому. Оба рыбака продвигаются по шею в воде, потихоньку вытаскивают сеть на берег, смотрят, ищут — нету в рубашках рыбок!

— Теперь мы пойдем, мы с Мотлом, мы живо поймаем!

Так говорит Мотл-рыжий и вместе с Мотлом-черным прыгает в воду. Новые рыбаки тоже работают неплохо, движутся не спеша, шаг за шагом, сгибаются сильно-сильно, почти ползут по дну реки.

Речка извивается, сверкает, отражает синий купол высокого неба, небо трепещет в воде, колышется. На улице тихо-тихо, ни души не видно, ни звука не слышно. Водовоз Довид-Лейб наполнил свою бочку, напоил лошадку, умыл красивое румяное лицо, обрамленное клочковатой бородой, вытерся засаленной полой и укатил в город. Две-три женщины, которые, стоя у реки, били вальками по мокрому белью, связали белье в узлы и ушли. Тишина, покой. Тиха вода, тихо небо, тихо все вокруг. Даже лягушки, изредка напоминавшие о себе своими «ква-ква» и «буль-буль», — и те уснули. Еще минута — и все замрет. Смежаются веки, хочется, ох, как хочется, без конца лежать, прижавшись мокрым телом к горячему песку, и, полуприкрыв глаза, смотреть, думать, дремать. Вдруг раздается голос:

— Поймал, поймал!

В голосе этом столько радости, сколько было, наверно, в голосах спутников Колумба, когда они увидели Америку.

Мы бросаемся к берегу, к двум новым рыбакам, заглядываем в сеть и видим: рукав одной рубашки шевелится.

— Рыба, рыба, рыба! — поем мы, приплясывая. Мы поем и приплясываем, и вдруг из «сети» прямо на нас, выпучив два глупых водянистых глаза, выскакивает огромная серая, противная, безобразная лягушка. И мы сломя голову бежим по раскаленному песку с визгом:

— Помогите, помогите!

Разумеется, испуг сменяется смехом. Нам становится еще веселее, еще радостнее, мы валяемся на песке, кувыркаемся в грязи, плещемся в реке. Хорошо, хорошо, радости ни конца ни краю. Шутка ли — мы свободны! Целую неделю свободны! Только меня не оставляет мысль, все та же мысль: «Нет Убогой! Умерла Убогая!»

Умерла! Умерла! Умерла!

ЮЛА

1

Больше всех товарищей по хедеру, больше всех мальчиков в городе и больше всех людей на свете я любил моего товарища Беню, сына Меера Полкового. Я испытывал к нему странную привязанность, смешанную со страхом. Любил я его за то, что он был красивее, умнее и проворнее всех ребят, за то, что был предан мне, заступался за меня, давал оплеухи, драл за уши каждого мальчишку, который норовил меня задеть.

А боялся я его потому, что он был рослый и драчун. Как самый старший, самый большой и самый богатый из всех мальчиков в хедере, он мог бить кого хотел и когда хотел. Отец его, Меер Полковой, хоть был и не более чем полковым портным, все же считался богачом и в городе пользовался почетом: имел хороший дом и место у восточной стены в синагоге (третье от священного ковчега), на пасху у него пекли лучшую мацу; на субботу он приглашал к себе в гости бедняка; милостыню подавал щедро; когда просили взаймы — не отказывал; детей обучал у лучших меламедов, — короче говоря, Меер Полковой старался походить на людей и стать хозяином не хуже других, — словом, втереться в общество; но тщетно — не так лег-

ко проникнуть в общество у нас в Касриловке, не так легко у нас в Касриловке забывают, из какого человек рода и где его истинное место. Портной может выбиваться в люди двадцать лет подряд, отличиться наилучшим образом, и все-таки у нас в Касриловке он останется только портным. Я думаю, что нет на свете такого мыла, которое у нас в Касриловке могло бы отмыть подобное пятно. Увы! Как вы думаете, сколько дал бы, к примеру, Меер Полковой, чтобы избавиться от прозвища «Полковой»! Несчастье его состояло в том, что фамилию он носил еще в тысячу раз худшую, чем это прозвище. В паспорте, представьте себе, он был записан: *«Каневский мещанин Меер Мовшович Телка»*.

Удивительное дело! Неужели прапрадед Меера, тоже, наверно, портной, царство ему небесное, выбирая фамилию, не мог найти более приличную!.. Ну, записал бы себя: «Наперсток», «Подкладка», «Иглоузлов», «Заплаткин», «Длинноспинкин» — тоже не ахти какие благозвучные фамилии, однако они все-таки имеют отношение к портняжному делу. Но «Телка»? И на что ему сдалась эта «Телка»? Вы скажете: а как же «Бык»? Разве нет людей, которые носят фамилию «Бык»? Можете говорить что угодно: бык и телка действительно одного происхождения, но это совсем не то же самое. Бык это все-таки не телка...

Но возвратимся к моему товарищу Бене.

2

Беня был славный малый: белолицый, толстенький, веснушчатый, с рыжими колючими волосами, с пухлыми щечками, редкими зубами и красными рыбьими глазами навыкате. Эти выпученные глазки всегда плутовски усмехались. К тому же у Бени был вздернутый нос, и вся физиономия имела довольно нахальное выражение. Но мне она нравилась, и мы с Беней стали друзьями с первого же часа нашего знакомства.

Прежде всего познакомились под столом наши руки в то время, как мы сидели с ребе над Пятикнижием. Когда мама привела меня в хедер, ребе, чело-

век с густыми бровями и в остроконечной ермолке, читал ученикам главу «Бытие». Без лишних проволочек — сдавать экзамен не потребовалось, метрики представлять тоже — ребе сказал мне:

— Полезай вон на ту скамейку, между теми двумя мальчиками.

Я залез на скамейку, втиснулся между двумя мальчиками и считался принятым. Особых переговоров с ребе моей матери тоже вести не пришлось. Они обо всем условились еще до праздников.

— Помни же, учись как следует! — говорит мне мама, уже подойдя к двери. Она еще раз оглядывается на меня со смешанным чувством удовлетворения, любви и жалости. Я прекрасно понимаю мамин взгляд: ей доставляет радость, что я сижу среди детей порядочных родителей и учусь, но у нее болит сердце из-за того, что она должна со мной расстаться.

По правде сказать, мне было намного веселее, чем маме: я сижу среди стольких новых товарищей, они осматривают меня, я осматриваю их, мы осматриваем друг друга. Однако ребе не дает нам сидеть без дела. Он раскачивается и громко нараспев кричит, а мы за ним, во весь голос, один громче другого:

— Веанохош — и змей! Ойо — был! Орум — хитрее! Микол — всех! Хаес — зверей! А соде — полевых! Ашер — которых! Осо — он сотворил.

Когда мальчики сидят так близко друг к другу, хоть и раскачиваются и кричат, они не могут не познакомиться, не перекинуться хотя бы несколькими словами.

Беня, сын Меера Полкового, с которым я сидел бок о бок, прежде всего дает знать о себе, ущипнув меня за ногу. Мы с ним переглядываемся. Он начинает еще сильнее раскачиваться, читает нараспев библию вместе со всеми и вставляет свои слова:

— Веоодом — Адам. Иода — познал. Возьми эти пуговицы... Эс каве — Еву. Иштой — свою жену. Дай мне рожок, а я тебе дам потянуть из моей папиросы!

Я чувствую в своей руке его теплую руку и несколько маленьких, гладких, скользких брючных пуговиц. Мне не нужны пуговицы, у меня нет рожков,

и я не курю папирос. Но мне нравится разговаривать таким образом, и я отвечаю Бене тоже нараспев, раскачиваясь вместе со всеми:

— Ватаар — ...и она зачала! Кто тебе сказал... Ватейлед — и она родила! — что у меня есть рожки?

Так переговариваемся мы до тех пор, пока ребе не почуял наконец, что, хотя я и раскачиваюсь весьма усердно, голова моя занята вовсе не библией; и он ловит меня на удочку, устраивает мне нечто вроде экзамена.

— Скажи-ка, ты! Послушай, как тебя там зовут? Ты, конечно, знаешь, чьим сыном был Каин и как звали брата Каина?

Эти неожиданные вопросы кажутся мне такими дикими, точно меня вдруг спросили, когда на небе ярмарка или как сделать из снега сырок, чтобы он не растаял. Ведь мысли мои заняты бог знает чем — пуговицами под столом.

— Что ты смотришь на меня так? — спрашивает ребе. — Разве ты не слышишь, что тебе говорят? Скажи-ка мне скорее, как звали Адама, отца Каина, и кем приходился Каину его брат Авель, которого родила Ева?

Я вижу, мальчики ухмыляются, давятся от смеха, и не понимаю, что тут смешного.

— Глупышка, скажи, что ты не знаешь, потому что мы этого еще не проходили, — подсказывает Беня, подталкивая меня локтем; я повторяю за ним, как попугай, слово в слово, а хедер сотрясается от смеха.

«Что они смеются?» — недоумеваю я, глядя, как покатываются со смеху не только мальчики, но и ребе, а сам в это время перекладываю под столом пуговицы из одной руки в другую: ровно полдюжины.

— Ну-ка, паренек, покажи нам свои руки! Что ты там делаешь? — говорит ребе и заглядывает ко мне под стол...

. . . .

Вы умные дети и, наверно, понимаете сами, какую взбучку получил я от ребе в первый же день учения.

3

Следы от розог проходят, позор забывается. Мы с Беней скоро стали добрыми друзьями, своими в доску, водой не разольешь. Вот как было дело.

Когда я на следующий день с Пятикнижием в одной руке и с завтраком в другой пришел в хедер, я застал моих новых товарищей веселыми, возбужденными, будто они выпили. В чем дело? Оказывается, нам повезло — ребе нет. Где же он? Ушел куда-то на обрезание вместе с женой. Только не подумайте, упаси бог, что действительно вместе, — ребе никогда не ходит вместе с женой: впереди идет ребе, а за ним идет жена.

— Спорим! — сказал мальчик с синим носом, по имени Иошуе-Гершл.

— На что? — спросил Копл-Бунем, мальчик с дыркой в рукаве, из которой выглядывал черный локоть.

— На четверть фунта рожков.

— Ладно, давай на четверть фунта рожков. Значит, что ты говоришь?

— Я говорю, что больше двадцати пяти он не выдержит.

— А я говорю — тридцать шесть.

— Тридцать шесть? А вот посмотрим! Ребята, налетай!

Услыхав эту команду синеносого Иошуе-Гершла, несколько мальчишек вмиг схватили меня и положили на скамейку лицом вверх. Двое сели мне на ноги, двое на руки, один держал меня за голову, чтобы я ею не вертел, а еще один приставил к моему носу сложенные баранкой два пальца левой руки (видно, он был левшой); прищурив один глаз и приоткрыв рот, он начал щелкать меня по носу. Но как щелкать! При каждом щелчке мне казалось, что я вот-вот отправлюсь на тот свет, к моему отцу. Разбойники! Злодеи! Что им нужно было от моего носа? Чем он

им не угодил? Кому он мешал? Что они на нем увидели? Нос как нос!

— Считайте, ребята! — командовал Иошуе-Гершл. — И... раз! И... два! И... три!

Но вдруг...

С тех пор как свет стоит, все чудеса совершаются вдруг. Например, случится, помилуй бог, несчастье с человеком — нападут на него в поле разбойники, свяжут ему руки, наточат нож и велят ему произнести предсмертную молитву. Но в то самое мгновение, когда они соберутся сделать чик! — принесет вдруг станового с колокольчиками, разбойники разбегутся, человек будет спасен; воздев руки к небу, он возблагодарит создателя за избавление.

Со мной и с моим носом случилось точно так же. Не помню, после пятого или после шестого щелчка открылась дверь, и вошел Беня, сын Меера Полкового. Ребята меня тут же отпустили и притворились невинными агнцами. А Беня начал расправляться с каждым в отдельности: хорошенько драл за уши, приговаривая:

— Ну? Теперь будешь знать, как обижать сына вдовы?

С тех пор ребята больше не посягали ни на меня, ни на мой нос; они боялись связываться с сыном вдовы, другом, избавителем и защитником которого был Беня, сын Меера Полкового.

4

«Сын вдовы» — иначе меня в хедере не называли. Почему же «сын вдовы»? А потому, что моя мама была вдовой, билась как рыба об лед, держала бакалейную лавку, где продавались, насколько я помню, главным образом мел и рожки — два товара, на которые у нас в Касриловке всегда большой спрос: мел нужен для того, чтобы белить хаты, а рожки — хорошее лакомство: и сладко, и легко на вес, и дешево. Мальчишки из хедера тратят на рожки все деньги, которые им дают на завтраки и обеды, а лавочники

на рожках здорово зарабатывают. Я никак не мог понять, почему мама вечно жаловалась, говорила, что ей еле-еле хватает на плату за лавку и за мое обучение. Почему именно за обучение? А все остальное, что необходимо человеку: еда, платье, обувь и тому подобное? Мамины мысли целиком поглощала плата за обучение. «Если бог меня наказал, — говорила она, — и отнял у меня мужа, такого мужа, и оставил меня в молодые годы вдовой, одну-одинешеньку, так я хочу, чтоб хоть мой сын был ученым!» Ну, что тут скажешь? Вы полагаете, может быть, будто она не ходила то и дело в хедер справляться, как я учусь? О молитвах и говорить нечего — тут уж она сама следила, молюсь ли я каждый день. Мама все хотела, чтобы я стал хоть наполовину таким, каким был мой отец, царство ему небесное. И каждый раз, хорошенько всматриваясь в меня, она говорила, что я, долгие годы мне, вылитый «он». При этом глаза у нее увлажнялись и странно озабоченным становилось ее грустное лицо.

Пусть простит меня мой отец на том свете. Я никак не мог понять, что он был за человек. По маминым рассказам, он всегда или читал священные книги, или молился. Неужели его никогда не тянуло на волю в летнее утро, когда солнце еще не особенно печет, когда оно только появляется в огромном небе и движется быстро, быстро, словно в огненной карете, запряженной огненными лошадьми, несется огненный ангел, в светлое, горящее, золотое лицо которого больно смотреть. Что за радость, спрашиваю я вас, может доставить в такое божественное утро обыкновенная молитва? Что за радость сидеть в тесном неуютном хедере, когда печет золотое солнце, накаляя землю, как железную сковороду? Вас тянет туда, под гору, к реке, к великолепной реке, сплошь покрытой зеленью. Уже издали несет от нее запахом банного пара, и вас подмывает раздеться поскорее и погрузиться по пояс в нагретую воду, прохладную только внизу, у самого дна, скользкого и вязкого; разные твари, которые копошатся в речной глубине, полурыбки-полулягушки, мелькают, мелькают без конца перед глазами,

а диковинные мухи и комары с длинными лапками скользят, как будто на санках, по поверхности воды; и вам хочется переплыть на другую сторону, где растут широкие, круглые зеленые листья, сквозь которые сверкают белые и желтые лилии, и смотрит на вас молодая зеленая верба с нежными свежими веточками, и вы бросаетесь в воду, и попадаете руками в грязь, и бьете, бьете ногами по воде — пусть думают, что вы плаваете. Что за радость, снова спрошу я вас, сидеть дома или в хедере в летний вечер, когда по ту сторону города большой красный небесный шар спускается к земле, зажигает церковный купол, освещает красную черепичную крышу бани и большие окна старой холодной синагоги. И оттуда, из-за города, движется стадо, бегут козы, блеют овцы, столб пыли достигает неба, и лягушки квакают, заливаются, все кричит, трещит, верещит, — тарарам, настоящая ярмарка! Кто сейчас может думать о молитве! Кому пойдет в голову учение? Однако подите поговорите с моей мамой: мама вам скажет, что он, мир праху его, не так поступал; он, мир праху его, был совсем другим человеком. Каким он был человеком, да простится мне, я не знаю, я знаю только, что мама меня в покое не оставляет, без конца напоминая, что у меня был отец, и попрекая десять раз на день платой за обучение, которую она вносит, и требует она от меня только двух вещей: хорошо учиться и от всего сердца молиться.

5

Нельзя сказать, чтобы «сын вдовы» плохо учился. Он ни на волос не отставал от своих товарищей. Но что касается молитвы, тут я не ручаюсь. Все мальчики одинаковы, и «сын вдовы» был таким же сорванцом, как все, так же, как и все, любил всякие проделки, так же, как и все, любил поозорничать: надеть на рога общинному козлу ермолку из мочалы, которой жена меламеда мазала пол, и пустить его по городу; нацепить кошке на хвост бумажного змея, чтобы она как

бешеная понеслась по улицам, опрокидывая все горшки на своем пути; повесить в пятницу вечером замок на дверь женской молельни, чтобы женщины падали в обморок и их надо было приводить в чувство; приколотить гвоздями к полу шлепанцы ребе или, когда он спит, прилепить ему бороду к столу сургучом, пусть-ка попробует встать! Сколько розог получали мы потом, когда ребе обнаруживал виновника, и не спрашивайте! Само собой разумеется, что в каждом деле необходим зачинщик, вожак, командир.

Зачинщиком всех наших шалостей, нашим вожаком, нашим командиром был Беня Меера Полкового. Все затевал он, а в ответе всегда оказывались мы; Беня, пухленький, рыжий Беня с глазами навыкате, постоянно выходил сухим из воды, чистым, как слеза, кротким голубем, который ни сном ни духом не виноват. Мы перенимали от Бени все его гримасы, ужимки, во всем подражали ему. Кто научил нас курить тайком папиросы, пуская дым из обеих ноздрей? Беня. Кто водил нас зимой кататься на льду с деревенскими мальчишками? Беня. Кто научил нас играть в пуговки, в узелки, в орла и решку, проигрывая завтраки и обеды? Беня. В играх Беня был очень ловок, обыгрывал всех, обставлял каждого, у кого только заводился грош. А когда дело доходило до расплаты за проделки — он умывал руки, становился тише воды ниже травы. Игры были нам милее всего на свете, и за игры нам больше всего доставалось от ребе; он говорил, что должен вырвать с корнем нашу страсть к играм.

— Вы у меня доиграетесь! С сатаной будете вы у меня играть! — говорил ребе, вытряхивая содержимое наших карманов; он отнимал все, что находил, и взамен щедро одарял нас розгами.

Но была такая неделя в году, когда разрешалось играть. Да что там — разрешалось! Игра считалась святым делом, ну прямо-таки святым делом!

Это была неделя праздника хануки, а играли мы в «юлу».

6

Наверно, нынешние азартные игры — такие, как очко, стукалка, трик-трак, штос и тому подобные, похитрее, чем наша тогдашняя юла. Однако, когда играют на деньги, разница не так уж велика. Я видел своими глазами, как двое парней сидели и бились головами об стенку, а когда я их спросил: «Что вы делаете? Вы дураки или сумасшедшие?» — они мне ответили, чтобы я убирался подобру-поздорову, потому что они играют на деньги — кто скорей устанет. Вот и толкуйте после этого!

Игра в юлу — горячая, необыкновенно азартная игра. Можно дойти невесть до чего, можно душу проиграть! И не так волнуют вас деньги, как досада берет: почему выигрываете не вы, а другой? Почему у другого юла падает на «В», а у вас на «Н», на «П» или на «С»? Вы, наверно, знаете, что обозначают четыре буквы юлы: «Н» — нет, «В» — выигрыш, «П» — половина, «С» — скверно. Юла вроде лотереи — кому улыбнется счастье, тот и выиграет. Возьмите, к примеру, Беню, сына Меера Полкового: сколько раз ни запустит он свою юлу, всегда она падает на «В».

— Просто чудеса! — говорят мальчишки и снова ставят монету, а Беня ставит против всех. Ему это не трудно! Он сын богача! И снова у него «В».

— Удивительное дело! — кричат мальчишки, берутся за кошельки и снова ставят деньги, и Беня снова ставит против всех и лихо пускает юлу головкой вверх. Юла сначала пройдется гоголем, потом завертится, потом покачается немного взад-вперед, точно пьяница, и упадет.

— «Вэ», — говорит Беня.

— «Вэ»? «Вэ»? Опять «Вэ»? Вот так да! — кричат ребята и, почесываясь, снова берутся за кошельки.

Чем дальше, тем игра становится жарче. Игроки горячатся, ставят деньги, теснятся к столу, ругаются, толкаются, угощают один другого разными прозвищами: «Сопляк!», «Шепелявый!», «Черный кот!», «Мятая ермолка!», «Рваный кафтан!» Отпуская друг другу подобные комплименты, они не замечают даже, что

неподалеку стоит ребе в телогрейке и в ватной шапке поверх ермолки, с талесом и филактериями под мышкой. Он собирается в синагогу, но, увидев, в каком мы азарте, останавливается посмотреть нашу игру. Ребе не вмешивается. Сейчас ханука. Мы свободны целых восемь дней и можем играть в юлу, сколько нам заблагорассудится. Лишь бы мы не дрались и не ссорились. Вовсе не такой уж плохой человек этот ребе, честное слово! Жена его берет на руки маленького, болезненного Рувеле, затыкает ему ротик грудью, чтобы он не кричал, становится у ребе за спиной и смотрит, смотрит, как мальчики ставят деньги, и Беня ставит против всех; Беня весь дрожит, Беня горит, Беня пылает; юла у него вертится, качается и падает.

— Снова «В»? Ну и комедия!

Беня показывает нам свою ловкость и мастерство, поражает нас своими великолепными фокусами до тех пор, пока, простите, не очистит все кошельки, не отнимет у нас все до последней копейки. Потом он кладет руки в карманы, всем своим видом как бы говоря: «Ну, кто еще желает?» — и мы расходимся по домам, унося с собой в сердце боль и стыд, а дома нам еще приходится измышлять всякие небылицы: тот придумывает одно, этот — другое. Один сочиняет, будто все свои ханукальные деньги проел на лакомства, истратил на рожки; другой клянется, что деньги у него украли из кармана еще накануне; третий приходит домой в слезах. «В чем дело, что ты плачешь?» Как же ему не плакать, он купил на ханукальные деньги ножик. «Ну, и чего ж тут плакать?» Как же не плакать, он по пути потерял его!

Я тоже выдумываю целую историю, рассказываю маме сказку из «Тысячи и одной ночи» и выпрашиваю у нее еще раз ханукальные деньги, один алтын и две копейки, иду с ними к Бене, освобождаюсь от них в пять минут и сочиняю для мамы новую ложь. Словом, фантазия работает, и небылицы, небылицы летят одна за другой, и все наши ханукальные деньги уходят на юлу, уходят к Бене в карман и пропадают навсегда.

А один из нас так увлекся юлой, что не ограничился ханукальными деньгами, и все играл и играл с Беней в юлу почти каждый день до конца хануки.

И этим одним был я — «сын вдовы».

7

Где брал «сын вдовы» деньги на игру, лучше не спрашивайте. Величайшие игроки мира, которые выигрывали и проигрывали целые состояния, — те знают, те поймут! Увы! Когда появляется искушение играть, нет ничего на свете, что могло бы противостоять ему, оно испепеляет дома, пробивает каменные стены — проделывает непостижимое; шутка ли: такое искушение!

Прежде всего я все стал разменивать на деньги, то есть продал все, что имел, одну вещь за другой — сначала ножик, потом кошелечек, потом пуговицы и коробочку, которая открывалась и закрывалась, и несколько колесиков, — хорошо почищенные, они ослепительно блестели, прямо как золото, — на все махнул рукой, все уступил за полцены и каждый раз бежал с новыми деньгами к Бене домой, проигрывал ему все до последнего гроша и уходил от него грустный, с поникшей головой, с истерзанным сердцем, с мучительной досадой и раздражением. Нет, на Беню я не обижался, упаси бог! За что мне сердиться на Беню? Разве Беня виноват, что ему везет в игре? Он говорил, что, если бы юла падала на «В» у меня, я бы выигрывал, падает каждый раз на «В» у него — выигрывает он. Так говорил Беня и был, конечно, прав... Нет, меня разбирает досада на себя самого: как это я растранжирил столько денег, мамины трудовые гроши, пустил по ветру все, что имел, остался гол как сокол. Даже молитвенник я продал. Ох, молитвенник, молитвенник! Когда я вспоминаю о маленьком молитвеннике, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда. Это была игрушка, а не молитвенник. Мама купила мне его у книгоноши Песахьи как раз к годовщине смерти отца. Молитвенник был всем молитвен-

никам молитвенник! Не молитвенник, а всезнайчик, настоящий всезнайчик! Толстенький, убористый... Чего в нем только не было, разве лишь птичьего молока: там было все, что можно пожелать, все, что можно произнести: «Песнь песней», «Поучения отцов» и «Сказание о пасхе», все молитвы, все законы, все обычаи, а в конце — псалмы. А переплет с золотым тиснением! А обрез, а корешок! Просто искушение, говорю я вам, дьявол, а не молитвенник! Каждый раз, когда Песахья с бельмом на глазу и с коротко подстриженными усами, от которых его озабоченное лицо казалось улыбающимся, каждый раз, когда Песахья раскладывал свой товар у дверей синагоги, я не спускал глаз с молитвенника.

— Что скажешь, мальчик? — спрашивал меня Песахья, как будто он не знал, что мне приглянулся молитвенничек, что я уже раз двадцать щупал его и спрашивал, сколько он стоит.

— Ничего, — отвечал я, — просто так... — И уходил, чтобы не видеть перед собой моего дьявола-искусителя.

— Ой, мама, если бы ты видела, какой у Песахьи всезнайчик!

— Что за всезнайчик? — спрашивает меня мама.

— Молитвенничек такой! Если б у меня был такой молитвенник, я... я... ну, просто не знаю что...

— Разве у тебя нет молитвенника? А где отцовский молитвенник?

— Что ты сравниваешь, мама? Тот — молитвенник, а этот — всезнайчик.

— Всезнайчик? — удивляется мама. — Разве в твоем всезнайчике больше молитв или молиться по нему слаще?

Поди объясни маме, что такое всезнайчик, всезнайчик реб Песахьи в красном переплете, с синим обрезом и с зеленым корешком!

— Пойдем, — говорит мне мама однажды вечером и берет меня за руку, — пойдем со мной в синагогу. Завтра годовщина смерти отца, мы поставим свечи и заодно увидим Песахью, посмотрим, что у него за всезнайчик такой.

Я понимаю, что в годовщину папиной смерти я добьюсь у мамы всего, даже, как говорят, луны с неба, и сердце у меня стучит от радости.

Мы приходим в синагогу, но Песахья еще не выложил своего товара из мешка. Песахья, понимаете ли, не любит спешить. Он хорошо знает, что здесь у него нет конкурентов, что он свое возьмет. Пока он развязывает мешок и достает товар, проходит год. Я дрожу, я трепещу, я еле держусь на ногах, а он и в ус не дует, как будто это его не касается.

— Покажите, — говорит ему мама, — что это у вас там за молитвенник?

Но Песахье некуда спешить. Над ним не каплет. Потихоньку, не торопясь, развязывает он мешок и выкладывает весь свой магазин: большие и маленькие библии, мужские и женские молитвенники, псалмы, своды законов...

Мне кажется, что это никогда не кончится — неисчерпаемый источник, бездонный колодец! Но вот наконец извлечены и маленькие книжки, и среди них сверкнул всезнайчик.

— Это все? — удивляется мама. — Такой малюсенький?

— Малюсенький, — говорит Песахья, — а стоит дороже большусенького.

— Сколько же вы хотите за эту козявочку, да не накажет меня бог за такие слова?

— Молитвенник вы называете «козявочкой»? — говорит Песахья и потихоньку забирает у нее из рук всезнайчик, а у меня обрывается сердце.

— Ну, так скажите же, скажите, что он стоит! — просит мама. Но Песахье некуда спешить, и он отвечает нараспев:

— Что стоит молитвенник? Ох, и стоит, и стоит... Боюсь, он вам не по карману.

Мама проклинает врагов своих, сулит им все двадцать два несчастья и велит Песахье сказать цену.

Тот называет цену, и мама не отвечает ему, она направляется к двери и говорит мне:

— Пойдем, нам здесь нечего делать. Разве ты не знаешь, что реб Песахья любит запрашивать?

С горечью в сердце следую я за мамой, но во мне еще теплится надежда: может быть, бог смилуется надо мной и Песахья возвратит нас. Но Песахья не такой человек. Он знает, что мы и сами вернемся, и он прав, — мы действительно возвращаемся. Мама просит его назвать человеческую цену. Но Песахья не трогается с места, он смотрит в потолок, белое бельмо на его глазу блестит, мы снова уходим и снова возвращаемся.

— Нехороший человек этот Песахья! — говорила мне потом мама. — Ни за что бы не купила у него молитвенник! Шутка ли, какая цена! Жаль, честное слово, эти деньги пригодились бы на плату за учение. Ну ладно, ничего. Завтра годовщина смерти отца. Ты будешь читать поминальную молитву, и я хотела доставить тебе удовольствие. Но ты тоже утешь меня, сынок, и обещай, что хоть молиться будешь честно каждый день.

Так ли усердно молился я, как обещал, или нет — об этом мы говорить не будем. Но молитвенничек я любил всей душой. Представьте себе, я даже спал с ним, хотя, как вы знаете, это запрещено. Весь хедер завидовал мне, и я берег свое сокровище как зеницу ока. А теперь, в эту хануку, я сам, горе мне, собственными руками отнес молитвенничек сыну столяра Мойше, который давно зарился на него, и мальчишку пришлось еще упрашивать... Почти даром отдал я свой маленький молитвенник! Ох, молитвенник, молитвенник! Стоит мне только вспомнить о нем, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда; сбыл, продал, и для чего, для кого? Для Бени. Чтобы Беня мог выиграть у меня еще несколько копеек. Но разве Беня виноват, что ему так везет в игре?

— На то и юла, — утешает меня Беня и кладет себе в карман последние мои гроши. — Если бы *тебе* везло, как везет мне, *ты* бы выиграл. Везет *мне* — выигрываю *я*.

Щечки у Бени горят, в комнате светло и тепло, на столе стоит заправленная хорошим маслом серебряная ханукальная лампада с красивой свечой, в доме у Бени всего вдоволь, из кухни доносится запах свежего, только что растопленного гусиного сала.

— У нас сегодня пекут оладьи, — сообщает мне Беня радостную весть, когда я уже стою у дверей и у меня от голода подводит живот.

И я бегу в своем рваном тулупчике домой и застаю там маму, которая только что пришла из лавки и греется у печки. Нос у нее красный, руки тоже красные и опухшие, она продрогла насквозь. Мама видит меня, и лицо ее сияет.

— Из синагоги?

— Из синагоги, — лгу я ей.

— Читал вечернюю молитву?

— Читал вечернюю молитву, — лгу я снова.

— Согреешься, сынок, и благословишь ханукальные свечи. Сегодня последний день хануки.

8

Если бы у человека были одни только неприятности, ни капли радости, ни крупицы счастья, он бы определенно не смог этого вынести и покончил бы с собой. Я имею в виду мою маму, бедную вдову, которая маялась день и ночь, недоедала, недосыпала, и только из-за меня, только для меня. Разве она не заслуживала хоть немного радости? Но каждый человек понимает слово «радость» по-своему.

Моей маме ничто на свете не могло доставить бóльшую радость, чем когда в субботу и в праздники я произносил для нее молитву над едой, освящал для нее пасхальную трапезу, а в хануку благословлял для нее ханукальные свечи. Над чем молитва — над вином или над пивом; какая трапеза — гусиные шейки или просто кусочек мацы с водой; какие ханукальные свечи — в серебряной лампаде или воткнутые в разрезанную картофелину, — честное слово, дело не в вине, не в гусиных шейках и не в серебре, суть совсем в другом: суть в том, как произносится молитва над едой, как справляется трапеза, как благословляют ханукальные свечи. Впрочем, к чему слова, что тут долго толковать, — достаточно, когда я совершаю благословение, понаблюдать за лицом моей матери: все оно

озаряется улыбкой, сияет, светится. Это и есть настоящая радость, подлинное счастье. Я наклоняюсь над разрезанной картофелиной и нараспев произношу благословение; я читаю, а моя мама тем же напевом тихо повторяет за мной слово за словом. Я читаю, а мама смотрит на меня и шевелит губами, и я знаю, о чем она в это время думает. «Совсем он!— думает мама.— Как две капли воды, долгие годы ему!» И я чувствую, что меня следовало бы разрезать на куски, словно эту картофелину. Как я мог обмануть маму, и так некрасиво обмануть! Продал маленький молитвенник и деньги проиграл в юлу! Продал, продал, все продал!

Фитили в картофелинах, мои ханукальные свечи, чадят; чадят до тех пор, пока совсем не гаснут. И мама говорит мне:

— Иди умойся, будем есть картофель с салом. В честь хануки я купила стаканчик гусиного жира, свежего, вкусного!

Охотно иду умываться, и мы садимся за стол.

— У людей в последний день хануки пекут оладьи, — говорит мама со вздохом, и я вспоминаю Бенины оладьи и Бенину юлу, которая обошлась мне в целое состояние, и чувствую, как меня, словно иголкой, кольнуло в сердце. И больше всего болит у меня душа и сильнее всего грызет раскаяние из-за молитвенничка.

Даже ночью не оставляют меня тяжелые мысли. Я слышу, как мама вздыхает, как она хрустит пальцами; я слышу, как скрипит под ней кровать, и мне кажется, что кровать ее не скрипит, а стонет. А на дворе завывает ветер, он стучит в окно, рвет крышу, свистит в трубе, я слышу его длинное, протяжное вью-ю-ю-ю! А сверчок, который завелся у нас с некоторого времени, стрекочет в щели: чири-ри, чири-ри! А мама все вздыхает, стонет и хрустит пальцами. Каждый ее вздох, каждый стон отдаются в моем сердце. Я еле сдерживаюсь. Вот-вот я спрыгну с постели, подойду к маме, припаду к ее ногам, буду целовать ей руки и покаюсь во всех моих великих грехах. Но я не делаю этого; я укрываюсь с головой всеми мамиными юбками, чтобы не слышать, как

мама вздыхает и стонет и как скрипит ее кровать, глаза у меня слипаются, а ветер дует и свистит: вью-ю-ю-ю... а сверчок все трещит: чири-ри, чири-ри, чири-ри! Перед моими глазами вертится, как юла, какой-то человек, как будто знакомый; да ведь это ребе! Я мог бы поклясться, что передо мной ребе в остроконечной ермолке с Пятикнижием в руках. Он вертится, вертится, вертится, как юла. Его остроконечная ермолка мелькает перед глазами, а пейсы развеваются по воздуху. Нет, это не ребе, это юла! Диковинная юла, живая, в остроконечной ермолке и с пейсами. Понемногу, понемногу ребеобразная юла или юлообразный ребе перестает вертеться, и на этом месте вырастает фараон, царь египетский, о котором мы читали за неделю до хануки; фараон, царь египетский, стоит передо мной голый, совсем голый — он только что вышел из реки — и в руках у него мой молитвенник, мой маленький всезнайчик. Я не могу понять, как он попал к нему, к этому злодею, который купался в еврейской крови... И я вижу семь коров *, тощих, изможденных, кожа да кости, с большими рогами и длинными ушами, все они бросаются ко мне, одна за другой, открывают рты и хотят меня проглотить. Откуда ни возьмись появляется Беня, мой товарищ Беня, хватает коров за длинные уши и начинает крутить их, и кто-то тихо плачет и вздыхает, стонет и всхлипывает, и свистит и стрекочет, и кто-то стоит возле меня и тихо спрашивает:

— Скажи-ка, сынок, когда годовщина моей смерти? Когда ты будешь читать по мне кадеш? *

Я понимаю, что это мой отец пришел с того света, мой отец, о котором мама рассказывала мне столько хорошего. Я хочу ему сказать, когда годовщина его смерти, когда я буду читать по нему кадеш, но я забыл. Именно теперь забыл! Я мучаюсь, тру себе лоб, хочу вспомнить, но не могу. Слышали вы такое? Я забыл, когда годовщина смерти моего отца. Помогите, люди добрые! Не знаете ли, не знаете ли вы, когда годовщина смерти моего отца? Что же вы не отвечаете? Помогите! Помогите! Помогите!

. . . .

— Бог с тобой? Что ты кричишь? Что случилось? Что у тебя болит?

Вы, конечно, понимаете, это говорит моя мама. Она стоит надо мной, щупает мой лоб, и я чувствую, как она вся дрожит. Наполовину прикрученная лампа не светит, а чадит, и тень моей матери причудливо пляшет на стене, а концы маминого ночного платка торчат, словно два рога, а глаза ее блестят в темноте.

— Что ты! Ведь годовщина была совсем недавно! Тебе что-нибудь приснилось? Сплюнь три раза: тьфу, тьфу, тьфу! Да минет нас беда! Аминь, аминь, аминь!..

Дети, я вырос, стал большим. Беня тоже вырос и стал большим, мужчиной с рыжей бородкой. Он отрастил себе животик, а на животике носит золотую цепочку. Видно, Беня — богач. Когда-то был сынком богача, а теперь сам богач.

Мы встретились в поезде. Я его узнал по рыбьим глазам навыкате и по редким зубам. Мы не виделись столько времени! Мы бросились целоваться, а потом разговорились о давно прошедших, милых сердцу сладостных детских годах, припоминая каждую мелочь.

— Помнишь, Беня, ту хануку, когда тебе так везло в игре? Все время юла падала у тебя на «Вэ»!

Я смотрю на Беню, он даже посинел от смеха. Так и покатывается, держится за бока, прямо умирает.

— Бог с тобой, Беня! Что это на тебя вдруг смех напал?

— Ох, — машет Беня руками, — отстань от меня со своей юлой. Да уж это была юла и вправду юла! Запеканка из одного только сала, компот из одного изюма! С такой юлой трудно проиграть. Как бы она ни падала, она все равно — ха-ха-ха! — покажет «выигрыш».

— Что же это была за юла такая, Беня?

— Это была — ха-ха-ха! — юла из одних — ха-ха-ха! — сплошь из «Вэ», ха-ха-ха!..

ШАЛАШ — ЛУЧШЕ НЕ НАДО!

1

Бывают люди, которые ничему не учились, а все умеют, нигде не бывали, а все знают, ни над чем особенно не задумывались, а все понимают.

«Золотые руки» — так аттестуют обычно этих счастливцев, и все чувствуют к ним почтение, завидуют и удивляются им.

Вот такой человек жил в Касриловке, и звали его у нас «Мойше — лучше не надо»!

А прозвали его «Мойше — лучше не надо» потому, что обо всем, что он ни увидел, ни услышал или же сам сделал, он любил приговаривать: «Лучше не надо!»

— Ну и кантор у нас в синагоге, лучше не надо!

— Индюка вон на пасху понесли, лучше не надо!

— Завтра будет мороз, лучше не надо!

— Вот так оплеухи сыпались в синагоге, лучше не надо!

— Ой, люди, и бедняк же я, лучше не надо!

И так по любому поводу.

И был этот Мойше... Уж и не знаю, кем он был. Он был, конечно, евреем, но чем он жил, трудно сказать. Он жил так, как живут тысячи, десятки тысяч людей в Касриловке. Вертелся около помещика, то есть не около самого помещика, а около панов, кото-

рые при помещике, и не около самих панов, а около евреев, которые крутятся около панов, которые при помещике. Зарабатывал ли он что-нибудь на этом — другой вопрос. Мойше был человеком, который не любил хвастать своими удачами и плакать от своих неудач. Всегда веселый, с румяными щечками, с одним усом несколько длиннее другого, с добрыми улыбающимися глазами и в шапке набекрень, он вечно был занят и всегда, в любое время был готов пройти хоть десять миль пешком ради первого встречного.

Таким вот человеком был наш «Мойше — лучше не надо»!

2

Нет такой вещи на свете, которую «Мойше — лучше не надо» не сумел бы смастерить: дом так дом, часы так часы, машину так машину, лампу, юлу, кран, зеркало, ведро, клетку — Мойше на все горазд.

Правда, никто бы не мог указать на какой-нибудь дом, машину или часы, которые были бы делом его рук, но это не мешало касриловцам верить, что Мойше все может. Дай ему только инструменты, и он весь мир перевернет. Но инструментов у него не было, к несчастью! А может быть, к счастью, так как только благодаря этому не перевернулся мир, — остался в целости и сохранности.

Приходится удивляться, как Мойше смог уцелеть в Касриловке, как его там не разорвали на части. Замок испортился — к кому обращались? К Мойше. Часы остановились — к Мойше. Кран в самоваре не действует и вода не идет — к Мойше. Тараканы завелись в доме или другие какие-нибудь паразиты, у кого спрашивают совета — у Мойше. Хорек повадился во двор и каждую ночь душит кур, кто может пособить в беде? Мойше. Мойше, да Мойше, и опять-таки Мойше!

Правда, сломанный замок так и оставался лежать сломанным на шкафу, часы приходилось отно-

сить к часовщику, а самовар — к меднику, тараканы и другие паразиты, видно, не очень-то пугались Мойше, а хорек продолжал вести себя так, как положено хорьку... Но это нисколько не умаляло славы «Мойше — лучше не надо». Все равно «золотые руки». Наверно, было в нем все-таки что-то такое, не сошел же весь мир с ума! И вот вам доказательство: ко мне ведь не обращаются по поводу испорченных замков, часов, самоваров, по поводу хорьков, тараканов и других паразитов. К вам тоже нет? Значит, не все люди одинаковы, талантов не так уж много.

8

С этим «Мойше — лучше не надо» мы стали соседями, в одной квартире жили, под одной крышей. Я говорю «стали», потому что прежде у нас был собственный дом. Но колесо вдруг повернулось в другую сторону, и наступили для нас плохие времена. Объявить себя несостоятельным отец не захотел, и вот мы продали наш домишко, расплатились с долгами и поселились у Гершки Мамциса (случилось это накануне рошешона *) в облезлой, старой лачуге, без двора, без палисадничка.

— Ну и хата! — сказала мама, посмеиваясь, а в глазах у нее стояли слезы.

— Не гневи бога! — с потемневшим лицом заметил отец. — Довольствуйся тем, что есть.

Чем это нам следует довольствоваться, я не мог понять. Тем, что мы остались просто на улице? Но я предпочел бы остаться на улице, чем быть в жильцах у Гершки Мамциса, жить вместе с чужими мальчишками и чужими девчонками, которых я не знаю и знать не хочу, с их рыжими волосами, с их влажными носами, с их тонкими ногами и вздутыми животами. При ходьбе эти мальчишки и девчонки переваливаются, как уточки, весь день они что-то жуют, а когда вы едите, они смотрят вам прямо в рот... Я считал большой несправедливостью со стороны господа бога, что он отнял у нас наш дом. Мне не так

жаль было квартиры, как шалаша, который у нас там был. Из года в год мы им пользовались, — собственный шалаш с поднимающимся и опускающимся крылом, с красивым потолком из зеленых и желтых палочек, образующих клеточки, со щитом Давида в них. Правда, друзья старались нас утешить и говорили, что мы еще когда-нибудь обратно откупим наш дом или же, бог даст, построим себе новый дом, намного лучше, и больше, и красивей прежнего... Я знал цену этим словам. Это были слова утешения, которыми пытались успокоить меня, когда я разбил вдребезги, нечаянно конечно, мои жестяные часики. Мама отпустила мне тогда оплеуху, а отец утер мне слезы и пообещал купить другие часики, намного лучше, и больше, и красивей старых. Чем усерднее отец расхваливал часики, которые мне когда-нибудь купят, тем больше я оплакивал мои разбитые старые часики. Таясь от отца, мать втихомолку плакала по нашему дому. А отец вздыхал, и лицо его было мрачно, и глубокие морщины прорезывали его высокий белый лоб.

Я считал большой несправедливостью со стороны господа бога, что он лишил нас дома...

— Ты подумал уже, дай тебе бог здоровья, как нам быть с шалашом?

С такими словами мать обратилась к отцу в один из десяти дней покаяния *.

— Ты, наверно, хотела спросить, как нам быть *без* шалаша,— шутя поправил ее отец, но я видел, что ему не до шуток. Он отвернулся, чтобы скрыть свое лицо, которое было чернее тучи. А мать, глотая слезы, высморкалась в фартук. На них глядя, плакал и я. Вдруг отец с неожиданной живостью повернулся к нам.

— Постойте, ведь сосед наш — Мойше!

— «Мойше — лучше не надо», — поддержала его мать, и я не знал, шутит она или всерьез говорит. Видно, всерьез, потому что не прошло и получаса, как трое мужчин — отец, Мойше и сам хозяин наш, Гершка Мамцис, — завертелись вокруг дома, выбирая место для шалаша.

4

Дом Гершки Мамциса вообще-то вполне приличный дом. Один только недостаток у этого дома: ни намека на какой бы то ни было двор; дом стоит прямо на улице, будто его здесь потеряли; кто-то проходил по улице и случайно уронил его. Дом без двора, без сеней, без крыши, с дверью по другую сторону улочки, словно кафтан с разрезом впереди и с пуговицами позади. А попробуйте-ка потолкуйте с Гершкой, он вам голову забьет своим домом: как он судился за этот дом и как ему удалось отсудить этот дом, как у него хотели отобрать этот дом, как он боролся за этот дом и как этот дом остался его домом...

— Где вы собираетесь поставить шалаш, реб Мойше? — спрашивает отец, и «Мойше — лучше не надо» в сдвинутой на затылок шапке задумывается, словно великий архитектор, вынашивающий какой-нибудь грандиозный план. Он показывает обеими руками слева направо и справа налево, тщится объяснить, что если бы дом не стоял прямо на улице, а имел двор, можно было бы сэкономить две стены, и шалаш тогда был бы у него готов в один день, да что там в один день, и часа не потребовалось бы. Но так как дом без двора, то придется поставить целых четыре стены, а поэтому времени потребуется больше, но зато и шалаш будет — лучше не надо! Главное — это достать материал.

— За материалом дело не станет, а есть ли у вас инструменты? — спрашивает Гершка.

— За инструментами дело не станет, а есть ли у вас доски?

— За материалом дело не станет. А есть ли у вас гвозди? — спрашивает Гершка.

— Достанем гвозди, а будет ли у вас зелень?

— Что-то вы мне сегодня слишком того... — говорит Гершка.

— Слишком чего?— спрашивает Мойше, глядя ему в глаза, и оба заливаются смехом.

5

Как только Гершка Мамцис притащил несколько досок и столбов, Мойше заявил, что шалаш будет — лучше не надо! Мне было любопытно, как Мойше умудрится из нескольких досок и колышков построить шалаш. Я попросил у матери разрешения присутствовать при его работе. Что касается самого Мойше, то добиться его согласия было проще всего. Он не только разрешил мне смотреть, как он работает, но и взял меня в помощники: моя задача состояла в том, чтобы по его просьбе подержать или подать что-нибудь.

Я, разумеется, был счастлив. Шутка ли, я помогаю ставить шалаш! А помогал я Мойше во всем: так же, как и он, шевелил губами, когда он стучал молотком, вместе с ним заходил в дом обедать, вместе с ним кричал на других ребят, чтобы они не мешали нам работать, подавал Мойше молоток, когда ему нужна была лопата, подавал клещи, когда он требовал гвоздь. Другой на его месте за такую помощь запустил бы молотком или клещами в голову. Но Мойше был душа-человек; никому еще не случалось видеть, как он злится.

— Злость, — говорил он, — все равно, что идолопоклонство. Помогает нисколько не больше.

Меня так поглотила работа, что я и не заметил, каким чудом был у нас поставлен шалаш.

— Идем, посмотри, какой шалаш мы построили! — сказал я отцу и потащил его на улицу.

Отец полюбовался нашей работой и с улыбкой спросил Мойше, указывая на меня:

— Хорошего помощника я вам дал, реб Мойше?

— Лучше не надо! — ответил Мойше. Он сокрушенно посмотрел на верх шалаша: — Привез бы сейчас Гершка зелень, был бы у нас шалаш — лучше не надо!

Что касается зелени для шалаша, то Гершка Мамцис долго тянул, все откладывал со дня на день. И только в самый канун кущей привез он, с божьей помощью, тоненьких-претоненьких палочек, нечто вро-

де камыша, который растет у нас на том берегу реки в болоте, и мы начали крыть шалаш, то есть крыл его, собственно, Мойше, а я тем временем разгонял коз, которые набросились на нашу зелень, как на что-то путное. Не могу понять, что хорошего они нашли в этих горьких зеленых палках.

Поскольку дом Мамциса стоял прямо на улице, ничем не защищенный, от коз отбоя не было. Не успеешь одну прогнать, приходит другая, прогонишь другую, ага, первая снова тут.

Я гнал их палкой.

— Уходи, коза, вон! Снова ты здесь, глупая коза? Уходи, коза!

И откуда только они узнали, что у нас зелень? Видно, сообщали друг дружке, не иначе, потому что к нам со всего города сбежались козы, и мне одному пришлось с ними воевать.

Наконец вся зелень была уложена на крыше шалаша, и козы остались в дураках. Они стояли, глупо жуя жвачку и глядя своими глупыми глазами вверх.

— Ну-ка, попробуйте достаньте теперь зелень, глупые козы!

Они, видно, меня поняли и начали по одной расходиться, чтобы найти себе другое занятие, а мы принялись убирать шалаш внутри. Первым делом мы посыпали земляной пол желтым песком, потом мы завесили стены одеялами, принесенными всеми тремя соседями. Когда одеял не хватило, мы взялись за платки, а когда и платков оказалось недостаточно, пошли в ход скатерти и простыни. Покончив со стенами, мы внесли в шалаш столы и стулья, подсвечники со свечами, тарелки, ножи, ложки, вилки, и все три хозяйки помолились над свечами и благословили «Сидящего в кущах».

7

Моя мать, мир праху ее, любила поплакать. «Грозные дни» * были ее любимым праздником, а с тех пор как мы потеряли свой дом, глаза ее не просыхали от

слез. Отец, которому и самому приходилось несладко, не хотел этого терпеть, он все говорил матери, чтобы она побоялась бога, чтоб не грешила, а то как бы хуже не было, слава богу за то, что есть... Только здесь, в шалаше, когда, закрыв обеими руками лицо, она молилась над свечами, никто не мог помешать ей тайком от всех всласть поплакать. Но меня не обманешь: я прекрасно видел, как вздрагивают плечи у матери и как сквозь ее тонкие белые пальцы просачиваются слезы и капают на белоснежную скатерть. Я даже знал, отчего она плачет... Ее счастье, что отец в это время собирался в синагогу. Надев праздничный, хотя и поношенный, но все же шелковый кафтан и опоясавшись плетеным шелковым кушаком, он, заложив за кушак обе руки и тяжело вздохнув по случаю праздника, сказал мне:

— Пойдем, пора в синагогу.

Я взял молитвенник, и мы с отцом отправились в синагогу, а мать осталась дома, и я знал, что она будет делать: *она будет плакать*. Она наконец сможет поплакать досыта! И в самом деле, когда мы вернулись из синагоги и с праздничным приветствием вошли в шалаш и отец начал нараспев читать «кидеш», я присмотрелся к матери и увидел, что глаза у нее красные, подпухшие, с подушечками. И нос у нее сильно блестел. И все же в моих глазах она была не менее хороша, чем праматерь Рахиль, или Авигаил, или царица Савская, или сама Эсфирь *. Я смотрел на мать, и воображение рисовало мне всех еврейских красавиц, о которых я совсем еще ребенком слышал в хедере. Я смотрел на мою красивую маму, на ее красивое белоснежное лицо, которое, как солнышко, выглядывало из-под праздничного шелкового платка, на ее прекрасные, большие озабоченные глаза, и у меня сжималось сердце от того, что такие красивые глаза осуждены вечно плакать, что таким красивым белым рукам приходится печь и стряпать, и досадовал на господа бога за то, что он не дает нам денег, и я просил бога осчастливить меня и открыть мне клад со множеством золота, алмазов и брильянтов, или же пусть пришлет мессию, и пусть

он нас отведет в страну отцов, а там ведь всем будет хорошо...

Так я думал, и мысли мои, и золотые мои грезы, которые я не обменял бы ни на какие блага, подняли меня на своих крыльях и унесли далеко-далеко. Мои уши ловили красивый напев отца и слова «кидуша»:

Потому что нас ты избрал
И нас ты выделил
Среди всех народов...

Шутка ли, народ, избранный богом! Это ведь нечто вроде единственного дитяти. У меня становится отрадно на душе при мысли о счастливом, богом избранном народе. И мне представляется, что я принц... Да, принц, а шалаш — это дворец, на нем почиет божья благодать. Во дворце сидит моя мать — красавица, царица Савская, и в нем мы завтра, бог даст, произнесем благословение над самым прекрасным из плодов, над цитрусом... Ах, кто сравнится со мной? Кто может сравниться со мной?!

8

Вслед за отцом читает «кидуш» «Мойше — лучше не надо». Но куда ему до моего отца, «кидуш» у него звучит совсем не так. После Мойше читает наш хозяин, Гершка Мамцис. Это уж совсем простой человек, и простой у него «кидуш». Потом мы все идем мыть руки, и каждая из трех хозяек вносит в шалаш горячую рыбу с перцем, свежую и ароматную, и каждая семья усаживается за свой стол. На столах хала, и множество рук макает мягкую халу в горячий рыбный соус. Все жуют. В щели между тонкими стенками шалаша и в редкую зелень крыши задувает ветерок, свечи оплывают, и все едят с аппетитом праздничный ужин. И мне представляется, что не в шалаше вовсе мы сидим, — мы, избранные, единственные у бога, — а во дворце, в большом, светлом дворце, и едим в свое удовольствие. «Благо вам, евреи! — думаю я. — Кому еще так хорошо, как вам? Кому еще выпадает

счастье сидеть в таком великолепном шалаше, увешанном самыми красивыми в мире одеялами, а на столе — праздничная хала и праздничная вкусная рыба, просто объедение, а если еще...»

Вдруг — трррах! Крыша целиком со всей зеленью обрушилась на наши головы, а за крышей — стена, а за стеной другая стена накреняется, и обе падают перед нами ниц, и какая-то коза летит сверху прямо на нас. Вокруг мрак, свечи погашены, столы опрокинуты, и мы все лежим в песке, вперемежку с халой, с посудой, и коза с нами. Светит луна, звезды смотрят на нас. Первой вскакивает на свои тонкие ножки коза, с минуту стоит, как грешная душа, и испуганно оглядывается своими глупыми глазами. И тут же самым наглым образом прыг по опрокинутым столам и стульям с громким «ме-е-е»! Свечи погашены, посуда разбита, наша хала в песке. Насмерть перепуганные женщины визжат, дети плачут — разор! Форменный разор!

— Ну и шалаш вы поставили, если одна коза могла развалить его, — говорит нам немного погодя Гершка Мамцис, да таким тоном, будто мы с него десять шкур содрали за работу. — Хорош шалаш!

— Вот так шалаш! — Мойше, не в силах постичь, откуда эта разруха, стоит с таким видом, будто его высекли. — Шалаш — лучше не надо!

— Да, шалаш — лучше не надо! — ядовито передразнивает его хозяин, и все в один голос повторяют:

— Лучше не надо!..

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

1

Изгнание из рая

— Слава тебе господи, покончено с праздником пурим и можно уже начать, в добрый час, наводить в доме пасхальный порядок!

Так сказала мама через день после пурим, ни к кому не обращаясь, обводя глазами все уголки в зале и отыскивая место, подобно курице, собирающейся снести яйцо. Спустя несколько дней появилась охапка сена, пара колодок, а на колодках — новенький бочонок, накрытый грубым, но безупречно белым полотном. А меня подозвали вместе с отцом и наказали раз тридцать, чтобы я даже не смел не только близко подходить, но и смотреть издали на тот уголок. Сразу же после этого дверь зала была заперта, а нас обоих, меня и отца, мать попросила убраться отсюда в добрый и счастливый час и больше в зал не входить до самой пасхи.

С этой минуты зал обрел в моих глазах особую прелесть, и тянуло меня туда, как магнитом. Так хотелось хоть издали взглянуть на «тот уголок»! Я, бывало, останавливаюсь у дверей, жую в это время свой

завтрак — кусок хлеба, намазанный жиром, и заглядываю в наш светлый, красивый зал с красным диваном из красного дерева, с овальным столом на трех лапах, с овальным зеркалом в резной раме и с великолепным «востоком» *, который папа, по его словам, сам нарисовал, когда он был еще женихом. Боже, чего только не было на этом «востоке»! Медведи, и львы, и дикие кошки, орлы, и птицы, рожки, и семисвечники, и райские яблоки, и мисочки с шестиконечными звездами, и листочки, и пуговки, кружочки, и черточки, и бесконечное количество точек! Даже поверить было трудно, что человеческая рука в состоянии все это нарисовать, — этого и глазом не охватить! «Мастер мой папа! — думал я. — Удалец! Мастак!»

— Ах, чтоб тебя черт не взял! С хлебом у этих дверей, не сгореть бы тебе на огне!

Так говорит мама, берет меня двумя тонкими и острыми пальчиками правой руки за левое ухо и приводит к отцу:

— На, посмотри, полюбуйся на своего наследничка! Держит в руке хлеб и смотрит туда, где стоит пасхальный борщ!

Отец делает серьезное лицо, качает головой, выпячивает губы и прищелкивает языком:

— Тц-тц-тц! Пошел, озорник этакий!

А когда мама отворачивается, я замечаю на папиных губах легкую скрытую усмешку. Но как только мама поворачивается лицом к нам, отец снова делает серьезное лицо. Он берет меня за руку, усаживает рядом с собой на стуле и велит мне туда не смотреть! Нельзя!

— Издали тоже?

Но отец уже не слышит. Он углубился в чтение книги. А я потихоньку подкрадываюсь к двери и сквозь щелочку заглядываю в зал: там полно всякого добра, рай, да и только! Много новых горшков и макитр на полу, и секач, и доска для соления мяса, две связки луку висят на стенке и украшают зал, — уже пасхальный зал, пасхальный, пасхальный, пасхальный!..

2

Из рук в руки

— Может быть, вы потрудитесь уйти отсюда с вашими книгами туда, в большую комнату?

Так говорит нам мама, одетая в белое, с косынкой на голове, с длинной палкой в одной руке и с гусиным крылом в другой. Она запрокидывает голову и смотрит на потолок.

— Сосл! Где ты там со щеткой? Ну, шевелись же, девка! Покажись!

И девушка Сосл, тоже повязанная белой тряпкой, показывается с мокрой кистью и ушатом белой глины. И обе они выглядят, как живые покойницы в белых саванах. Сосл шлепает мокрой кистью по потолку туда и обратно: фляк-фляк! И обе они сердитые, злые, как пчелы.

Однако долго смотреть на эту замечательную комедию мне не дают. Сначала мне намекают, что мальчик не должен стоять, когда белят дом на пасху. Потом они обе говорят уже без особых церемоний:

— Слышь ты, может быть ты бы убрался туда, в комнату?

При этом мать берет меня за руку и показывает на дверь, куда мне идти. Но мне не хочется уходить, я отступаю в сторону и встречаюсь с Сосл. Она меня отталкивает: «Везде он путается под ногами!»

— Иди ты к богу в рай, туда, к отцу! — говорит мама и швыряет меня к Сосл, а та подхватывает меня и бросает обратно к маме:

— В жизни своей не видала такого надоедливого мальчишку!

— И никакая пуля его не берет! — говорит мать и дает мне тумака сзади. А Сосл хватает меня и смазывает известкой.

Я вваливаюсь к отцу в комнату и заливаюсь плачем.

Отец отрывается от книг, успокаивает меня как может, сажает к себе на колени и снова углубляется в свои фолианты.

8

Из комнат — в чулан

— Извините, хозяин! Хозяйка сказала, чтобы вы, простите, перебрались отсюда в маленькую комнатку.

Так говорит отцу Сосл, появляясь со всеми своими причиндалами, вымазанная, как черт, и мы переносим книги из большой комнаты в маленькую. Маленькая комната величиной с воробьиный нос, в ней стоит только одна кроватка. Там сплю я и, совестно сказать, наша прислуга Сосл. Сосл, понимаете ли, приходится нам родственницей и живет у нас уже много лет. Меня, говорит она, тогда еще на свете не было. Я вырос, говорит она, у нее на руках. Если бы не она, я, по ее словам, был бы уже бог знает где. Потому что, где ни хвороба, где ни напасть — все прилипало ко мне, и из всех бед она меня вытаскивала. «А теперь, — говорит она, — он платит мне камнями! Ну, не заслужил он добрых оплеух?» Так заканчивает Сосл, дает мне пару тумаков, да еще и за волосы дерет в придачу. И вот что удивительно: никто ей и слова не говорит, ни мать, ни отец за меня не заступаются. Все, что Сосл вздумается, она делает со мной, как если бы я был ее сын, а не их.

В маленькой комнатке я забираюсь в уголок, сажусь на пол и смотрю, как папа трет лоб, жует свою бороду, раскачивается, читает нараспев и заканчивает какой-то сложной трелью. Но тут приходит Сосл со своими инструментами и просит нас убраться отсюда куда-нибудь подальше.

— Куда еще? — спрашивает отец испуганным голосом.

— А я знаю? — говорит Сосл и останавливается с кистью посреди комнаты.

— В кладовую! В чулан! — говорит мама, входя с длинной палкой и новеньким крылом. Она выглядит, как неприятель, напавший на страну с оружием в руках.

— В чулане сейчас холодно, как в пустыне! — пытается убедить ее добрым словом отец.

— Лютый холод на него напал! — говорит мама.

— Замерзшие валяются на улицах! — поддерживает Сосл и начинает шлепать мокрой кистью по сухим стенам.

А мы, волей-неволей, вынуждены перебраться из маленькой комнаты в крохотную кладовку, и там нас обоих основательно пробирает холод. Нельзя сказать, чтобы отцу здесь было удобно сидеть и читать: это темное и узкое помещение, в котором двоим не разминуться. Зато для меня это сущий рай. Помилуйте, здесь есть полки, по которым можно лазить. Правда, отец не разрешает, он говорит, что можно убиться. Но кто его слушает? Только он углубился в свои книжищи, а я уже взобрался на первую полку, с первой — на вторую, а со второй — на третью.

— Ку-ка-ре-ку! — прокричал я громко, желая показать папе свою ловкость, но поднял голову и так треснулся о потолок, что у меня чуть зубы изо рта не вылетели. Отец, конечно, испугался и поднял крик. Тогда прибежала Сосл, а следом за ней мама, и обе надавали мне сколько влезло.

— Чтоб у ребенка были такие ребячьи повадки! — толковала мать.

— Это ребенок? Черт, а не ребенок! — помогла Сосл и кстати сообщила, что нас сейчас попросят убраться отсюда в кухню, потому что дом уже почти наполовину убран к пасхе.

4

Из чулана — на кухню

В кухне я застал Мойше-Бера, того, что с огромными бровями. Он сидел с моим отцом на кухонной скамье. Они в эту минуту не сидели над книгами, а изливали друг перед другом наболевшую душу. Отец жаловался на предпасхальное изгнание, которому его подвергают вот уже несколько дней. «Скитание, эми-

грация с одного места на другое!» Но Мойше-Бер говорит, что это чепуха, — ему хуже приходится.

— Меня, — говорит он, — моя благоверная и вовсе из дому выгнала.

Я смотрю на Мойше-Бера, на его огромные брови и никак не могу себе представить, чтобы его, такого крупного человека, с такими бровями, попросту взяли и прогнали. Постепенно они переходят к обычным своим разговорам и произносят какие-то странные слова: «Рамбам» *, «Кузари» *, «Философия», «Спиноза» и им подобные, которые меня интересуют, как прошлогодний снег.

Гораздо интереснее серая кошка, которая сидит на печке и умывается. Сосл говорит: когда кошка умывается, — это к гостям. Я не понимаю, как может знать кошка, что будет гость? Подхожу к ней и начинаю с ней заигрывать. Сначала пробую прижимать пальцами ее лапку, — она не желает. Потом я учу ее «служить», стоять на задних лапках, — тоже не хочет. «Стой! Служи!» — говорю я ей и щелкаю каждый раз по носику. Она закрывает глаза, отворачивает голову, высовывает язычок и делает такое лицо, будто говорит: «Чего ко мне пристал этот паренек? Что ему надо от меня?» Мне досадно: «Чтоб кошка была такая упрямая!» И мучаю я ее до тех пор, пока она не царапнет мне руку своими острыми коготками. Я издаю страшный визг: «Ой, мама!» Прибегают мама и Сосл, поднимают шум, и мне достается от обеих, чтобы в следующий раз неповадно было играть с кошками! (Всего-то одна кошка, а у них это — «кошки»!)

— Поди мой руки, — обращается мама к папе, — пойдем в погреб, покушаем...

Сосл хватает кочергу и начинает орудовать в печке, не обращая внимания ни на меня, ни на папу, ни на Мойше-Бера. Наоборот, Мойше-Беру она намекает: чего, мол, толкаться здесь в такое время, перед пасхой? Казалось бы, гораздо разумнее, говорит она, сидеть дома, а не расхаживать по чужим домам! Мойше-Бер соображает, кого она имеет в виду, — он прощается, а мы спускаемся в погреб — покушать...

5

Из кухни — в погреб

Я не понимаю, почему морщится отец, почему он пожимает плечами и ворчит себе под нос: «Вот тебе и эмиграция!..» Что за беда, если один раз мы покушаем в погребе? Разве может помешать запах соленых огурцов, квашеной капусты или молочных крынок? Разве это так плохо, когда берут две опрокинутые бочки, накрывают их доской, на которой раскатывают тесто, а сами сидят тоже на опрокинутых бочонках и едят? Наоборот, мне кажется, что так гораздо лучше и гораздо веселее. Можно, между прочим, прокатиться на бочке по всему погребу. А если упадешь? Ну что ж, можно встать и снова прокатиться. Беда только в том, что Сосл следит, чтоб не катались.

— Он, — говорит она, — уже нашел себе новую игру! Хочет сломать себе ногу или руку...

Жить бы так моим врагам, как мне хочется сломать себе руку или ногу! Не знаю, чего хочет от меня эта Сосл? Вечно она меня преследует и все истолковывает к худшему. Когда я бегаю, она говорит, что я останусь без головы. Притронусь к какой-нибудь вещи, она говорит, что я хочу ее сломать. Держу пуговицу во рту, она поднимает крик: «Этот дурак хочет подавиться!» Зато я с ней рассчитываюсь, когда заболеваю. Чуть только мне не по себе, она убивается, поднимает страшный шум...

— Теперь возьми ребенка и поди с ним наверх. Надо и погреб подготовить к пасхе.

Так говорит мама после обеда, и не успевает отец спросить, куда еще нам отправляться, как она сама говорит:

— На несколько часов — на чердак.

— Потому что в доме только что вымыли полы, — подхватывает Сосл. — Но смотрите, чтоб этот растяпа не скатился с чердака и не свернул себе шею.

— Типун тебе на язык! — говорит ей мама.

А Сосл подталкивает меня сзади, чтоб я шел быстрее:

— Ну, лезь уже, лезь, малахольный!

Отец идет следом за мной, и я слышу, как он ворчит себе под нос: «На чердак! Вот так эмиграция! Придумает же!..»

Странный человек мой папа! Ему говорят: «На чердак», а он почему-то недоволен! Я, например, был бы очень рад, если бы каждую неделю был канун пасхи и нужно было каждую неделю лазить на чердак. Во-первых, само по себе лазанье — дело интересное. Ведь в другое время, как бы я ни умолял, — разве позволят мне полезть на чердак? А теперь я шагаю по ступеням, как чертяка! Позади меня шагает отец и говорит мне: «Осторожно! Потихоньку!» Но что мне «осторожно», как я могу «потихоньку»? Чувствую, что за спиной у меня выросли крылья, я лечу, лечу!

6

Из погреба на чердак и — конец

Разве можете вы знать, что творится у нас на чердаке? Клады! Форменные клады!

Битые стекла от ламп, черепки, старые обноски, которые трудно узнать, то ли это женские, то ли мужские исподники. Валяется кусок меха, который расползается, как снег, как только к нему притронешься, листы из старых книг, порванные страницы из молитвенников, перегоревшая труба от самовара, перья, рваное решето, старая пальмовая ветвь растянулась по-хозяйски... А перекладины! А стропила! А крыша! Крыша вся из дощечек, и я могу до нее достать руками! Шутка ли, держать руками крышу!

Отец садится на балку и собирает страницы из молитвенников, складывает листок к листку, заглядывает в них и незаметно увлекается чтением. А я стою у маленького окошка под крышей и вижу перед собою весь город, всю Касриловку как на ладони! Все дома со всеми крышами — черными, серыми, красными и зелеными. А люди внизу выглядят малень-

кими, и мне кажется, что лучше и красивее нашего города на свете быть не может! Заглядываю к нам во двор и вижу, что и у нас и в соседних дворах моют и трут, скребут и чистят столы и скамейки и тащат большие чугуны горячей воды, раскаленные утюги, горячие камни, и ото всего валит пар, белый пар. Он клубится, катится, тает, словно дым. И в воздухе пахнет весной, ручьи бегут, козы блеют и какой-то человечек в больших подвязанных веревочкой сапогах и с белой лошадкой тащится по лужам. Это извозчик Азриел. Он подстегивает свою конягу, которая еле вытягивает ноги из грязи. Это он везет кому-то возок мацы. Я вспоминаю, что у нас уже давно есть маца, она давно уже заперта в шкафу и завешана белой простыней. И яиц в шкафу наготовлена полная макитра, и пасхального жира большая банка, и две связки лука висят на стене, и еще там много разных чудесных вещей, напоминающих о прекрасном празднике. Я вспоминаю о новом костюмчике, который обещан мне к празднику, и сердце в груди растет как на дрожжах.

— Хозяин! — доносится снизу протяжный голос. — Потрудитесь выйти во двор проветрить книги!

Отец встает и сплевывает: «Тьфу ты пропасть! Вот тебе и эмиграция!»

Я никак не могу понять отца: чем он недоволен? Что может быть лучше и приятнее, чем стоять во дворе и проветривать книги? Я отрываюсь от окошка, бросаюсь к дверям чердака и... трах-тарарах головой вниз, ногами кверху по всем ступеням!..

Что было дальше, я не помню. Знаю только, что после этого падения я прохворал довольно долго и был, говорят, при смерти. Но, как видите, остался жив и здоров, дай бог дальше не хуже, если не считать того, что у меня шрам на лице, что с тех пор у меня и дыхание стало коротким и что при разговоре я по сей день моргаю глазами.

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ КОРОЛЕЙ

Рассказ в честь пасхи

1

Счастливое дитя этот Юзек! Все его любят, всякий старается приласкать его, поцеловать, потешить.

А в чем дело?

Ну как же — Юзек!

«Родные отец с матерью не стали бы так баловать единственного сынка, как две сестры, Сора и Ривка, балуют своего братишку. Все Юзек да Юзек, Юзек да Юзек! Юзек, ешь! Юзек, пей! Юзек, спи! Юзек, на тебе конфетку! Юзек, вот тебе новые штанишки на праздник! Юзек, накануне пасхи мы пошлем тебя в баню! Юзек, в пасху ты будешь справлять трапезу! Юзек да Юзек, Юзек да Юзек! Прямо надоело слушать! Вы портите ребенка, такое золотое дитя!»

Это говорят двум сестрам соседки, а сами то и дело норовят сунуть мальчику кто сахарный пряник, кто кусок пирога, кто печеночку для него зажарит, а кто даст полакомиться вареньем.

И все из жалости, весь мир жалеет Юзека — ведь Юзек бедный сирота!

2

Был на свете человек, которого звали Рефоелом. И прожил этот человек все свои дни в бедности и к тому же страдал одышкой. Он обладал музыкальной грудью, в которой вечно что-то играло, при каждом его вздохе слышалось нечто вроде стона скрипки, по которой водят немазаным смычком. И был этот Рефоел весьма честным человеком и, да простит он мне, неудачником, то есть именно потому, что он был честным человеком, он был неудачником, а может, наоборот, именно потому, что он был превеликим неудачником, он и был честным человеком. В Касриловке поговаривали, что не будь Рефоел неудачником, он обладал бы большими деньгами.

И в самом деле. Много лет прослужил Рефоел у виноторговца реб Симхеле, довольствовался положенным жалованьем и на чужое никогда не зарился.

Хозяин винного погреба реб Симхеле мог вполне положиться на своего приказчика. Потому-то он и держал его в почете: каждую неделю аккуратно выплачивал ему пять карбованцев, по большим праздникам, бывало, дарил даже какую-нибудь десятку, ну, а бутылка вина и бутылка водки к пасхе — это не в счет. Как же иначе? Не такой человек реб Симхеле, чтобы не ценить верного служащего. Не его вина, что Рефоел заболел в погребе ревматизмом, а потом еще воспаление легких подхватил и с тех пор внутри у него что-то свистит, и поет, и играет. Здоровье — это от бога. Самый здоровый человек может умереть на ногах. Наши мудрецы давно сказали... Но вы, наверно, и сами знаете, что говорили об этом наши мудрецы.

Короче говоря, в груди у Рефоела так долго свистело и играло, пока он не слег с жаром в сорок градусов и больше не встал.

3

Рефоел умер, и — ах-ах — каких похорон он удостоился! Уж и постарался реб Симхеле! Собственной персоной вынес носилки с покойником из дома; под-

ставил плечо под носилки и так шел до самого кладбища, а там позаботился о хорошем месте для своего приказчика, сам следил за тем, как копали могилу, сам бросил первую горсть земли, и когда сынок покойного, Юзек, начал произносить вслед за служкой Ойзером слова «кадеша» над отцовской могилой, реб Симхеле плакал, заливался слезами.

— Вы и понятия не имеете, — говорил он потом встречному и поперечному, — какая у меня потеря, такая потеря, что и сказать невозможно!

— Ты не плачь! — утешал он вдову. — Я тебя не оставлю, конечно, и твоих сирот тоже. Прежде всего бог, потом я...

И реб Симхеле старался, как мог. Первые несколько недель после смерти Рефоела он выплачивал вдове полностью жалованье мужа. Правда, каждую неделю ей приходилось ходить за этим жалованьем, и не раз, и не два, и нельзя сказать, чтобы ей это было особенно приятно, но подумайте сами, как могло быть иначе? На дом прикажете присылать ей деньги? Разве не достаточно того, что человеку даже после смерти платят жалованье?

— Вы требуете у меня денег,— сказал однажды реб Симхеле вдове, — как будто вам от меня что-то следует, как будто в моем винном погребе есть ваша доля.

Вернувшись домой, вдова пролила не меньше слез, чем в тот день, когда на полу лежал ее Рефоел. Узнав от матери причину этих слез, Сора и Ривка взяли с нее слово, что к реб Симхеле она больше не пойдет.

— Как же мы жить будем?

— Как другие живут: в прислуги пойдем или белье будем брать в стирку, а то на машине будем шить.

Шитье на машине вошло в обиход в Касриловке. Два пятиалтынных в день, пожалуй, можно этим выработать, если только не лениться и просидеть за машиной каких-нибудь шестнадцать — семнадцать часов в сутки. О работе беспокоиться нечего, работа всегда найдется: не платья, так лифчики, не лифчики, так рубашки, а если и рубашек нет, можно носовые платки подрубать. Скверно лишь то, что для работы нужна машина, вернее, две машины.

Правда, машины продают в рассрочку, но где раздобыть несколько карбованцев для первого взноса?

— Почему бы вам не сходить к вашему богачу? — спрашивали вдову Рефоела соседки. — Скажите ему так, мол, и так, девушки отработают.

4

Не так это просто — сходить к богачу! Однако, чего не сделаешь ради куска хлеба? И вдова отправилась к реб Симхеле, выбрав для этого самое подходящее время, как раз после обеда. Имейте в виду, если вы нуждаетесь в чьей-нибудь услуге, постарайтесь попасть к нему после обеда. После обеда самый скверный человек добрее, чем до обеда; перед едой человек — зверь.

— Что скажешь хорошего?

Вдова выложила богачу все, как по писаному, так, мол, и так, необходимы машины.

Лицо у реб Симхеле было красное и потное; ковыряя в зубах, он в полудремоте прислушивался к словам вдовы. Реб Симхеле, конечно, не спал, упаси бог, он только подремывал, глядя на вдову одной половиной одного глаза и думая немного о делах и немного о пищеварении. Он был несколько излишне упитан, чуть жирноват, и доктора велели ему есть побольше мяса и поменьше мучного; реб Симхеле же, как нарочно, любил все мучное: хлеб, лапшу, всевозможные запеканки и тому подобные кушанья, которые делают из муки. Он знал, что это ему вредно, но стоило ему увидеть мучное блюдо, и он его непременно съедал, а съев — раскаивался...

— Ну, как же ты поживаешь, значит? — спросил реб Симхеле, как только вдова умолкла. Встряхнувшись, он посмотрел на нее уже полутора глазами.

— Какая моя жизнь? — ответила вдова. — Я же вам сказала: врагу не пожелаю... Вот имела бы я теперь машину, нет, две машины, ну, хотя бы одну...

— Что за машину? — с удивлением спросил реб Симхеле, теперь уже глядя на вдову во все глаза.

— Я же вам говорила, что мои дочери хотят заняться шитьем, стать портнихами, но у них нет машин. Две машины им нужны, в рассрочку можно взять...

— Это хорошо. Портнихи? Славное занятие. Будут шить, зарабатывать, чего лучше!

«Что за притча, — в то же время думал реб Симхеле, — почему это у меня сегодня так переполнен желудок? Кажется, я не так уж много ел». Один глаз у него снова начал уменьшаться, но так как вдова умолкла, он опять встряхнулся и продолжал:

— Славно! Шить? Что ж, почему бы и нет?

— Вот я и хотела вас попросить, реб Симхеле, вы уже столько для нас сделали, может быть, вы бы...

Почуяв, что от него чего-то хотят, очевидно денег, реб Симхеле окончательно проснулся.

— Что такое?

— Я хотела вас попросить одолжить на первый взнос за машины.

— За какие машины?

— Я же вам говорила, за две машины для моих дочерей, ну хотя бы за одну.

— Откуда у меня машины? Какое я имею отношение к машинам?

— Лишь бы деньги, — сказала вдова. — Машины они сами купят. На выплату дают. Вот я, к примеру, сегодня вношу пятьдесят рублей, а потом, через три месяца, еще двадцать пять, а потом...

— Знаю, нечего мне объяснять. По мне они могут и без машин прожить. Машины вдруг...

— Как же они будут шить? На руках много не сошьешь; у всех портних теперь есть машины.

— Как, ты хочешь сделать своих дочерей портнихами? Хороши же они будут! Встал бы твой муж и услышал, что ты хочешь сделать портних из его дочерей, он бы снова умер. Твой Рефоел был почтенным, благочестивым человеком, знаешь ты это или нет? Таких, как Рефоел, на всем свете не найдешь! Портнихи? Услышал бы Рефоел, он бы этого не выдержал. Он бы, не знаю, что с собой сделал!

Реб Симхеле говорил проникновенно. Он уже и сам

начал верить в то, что говорил, и чем дальше, тем внушительнее становился его голос.

— Портнихи, гм! Подходящее занятие для девушек! Уж мы знаем, что такое портниха, да еще у нас, евреев! Дочери Рефоела — и вдруг портнихи! А где же я? Да знаешь ли ты, что твой Рефоел вырос у меня на руках. Я из него сделал человека, прежде всего бог, потом я. А кто его женил, как не я? И ты хочешь, чтобы я этакое допустил? Ни за что! Да кто я такой, по-твоему, камень, бревно, а?

Вдова с чем пришла, с тем ушла.

Ушла и дала себе слово, поклялась душой своей, что ноги ее больше не будет в доме реб Симхеле, иначе пусть ей не придется вырастить своих дочерей. Уж лучше она в прислуги пойдет!

5

Легко сказать: пойти в прислуги! Жена приказчика Рефоела, хозяйка наравне со всеми уважаемыми касриловскими хозяйками, пойдет в прислуги! Будет стоять у чужой печи! Сидеть за чужим столом! Чем такая жизнь, лучше умереть! И вдова просила у бога смерти, и великий всемогущий бог, отец сирот и покровитель вдов, на этот раз сжалился над бедной вдовой, не дал ей долго прозябать на свете и придумал для нее легкую смерть — опухоль такую во внутренностях. Помучилась она, и хорошенько помучилась, всего месяца три с половиной и отдала богу душу. И должно же было случиться, что со времени смерти Рефоела в Касриловке, если не считать маленьких детей, никто не умирал, и вдову похоронили рядом с мужем, могила возле могилы, — суждено же было такое счастье! Юзек начал заодно читать кадеш и по отцу и по матери, и тогда-то он стал так дорог соседям и соседкам и любим всеми теми, кто хоть раз слышал, как он, стоя на скамье в синагоге, читает кадеш, щебечет своим детским голоском «Да возвеличится и святится»... Каждый, кому доводилось видеть этого ребенка с черными глазами и румяными

щечками, в круглой шапочке на голове, каждый, кому доводилось слышать, как он, стоя на скамье в синагоге, поет «Да возвеличится и святится», застывал на месте, вздыхал и погружался в невеселые думы, и горько становилось у него на душе, ведь умереть может всякий, умереть и оставить маленьких детей, которые превратятся в сирот, господи, спаси и помилуй! И каждый старался сунуть в ручку сироте кто копейку, кто яблочко, отчасти из жалости, отчасти потому, что «благотворительность спасает от смерти»...

Надо признаться, что Юзек и в самом деле был удачным ребенком, личико его так и просило: «Люби меня!» Кроме того, он отличался хорошими способностями; слыл самым смышленым мальчишкой в касриловской талмудторе, на весь город прославился. Меламед Нойах не мог нахвалиться на него.

— Что-то очень уж хвалят сынка приказчика Рефоела!

— Юзека? Другого такого на всем свете не сыщешь!

— И где же должно заваляться такое сокровище? На свалке, у бедняков!

— Это всегда так. Кому суждены долгие годы? Конечно же безрукому и безногому, старику Мойше-Арону. А кто умирает? Зять реб Симхеле, свежий, здоровый, отец семейства и человек при деньгах — вот он и умирает!

— Зять реб Симхеле, вы говорите? Ну, а сноха богача Пейси?

— Как ее здоровье?

— Здоровье... Три раза уже привозили к ней профессора из Егупца.

— Три раза? Дай мне бог хоть половину того, сколько это стоило!

— Так уж все устроено на свете!

— Как устроено, таков и свет...

Так толкуют в Касриловке и почем зря критикуют творца вселенной: кому он дает долгую жизнь, а кому — короткую! Кому дает деньги, а кому лихоманку вместо них! Кому удачных детей, а кому — черт знает что!.. Однако никто не задается простым вопро-

сом: как живут эти удачные дети? Кто их кормит? Не замерзают ли они в долгие зимние ночи в сырых подвалах? Не вырастают ли из них калеки, горбуны, нищие, никому не нужные несчастные создания?..

К счастью, сестрам Юзека, Соре и Ривке, все же удалось заполучить машину. Им помогли соседки, живущие с ними под одной крышей, — лекарша Бася, служка Песя и старьевщица Сося. Все трое сложились и ссудили сестер несколькими рублями для первого взноса, остальное они уже как-нибудь сами выплатят, и так появилась машина. Что же тут удивительного? Люди ведь! А то как же быть двум взрослым девушкам с мальчиком-сиротой на руках? Даже змея, говорят, жалеет своих маленьких змеенышей, тем более человек!

Одно лишь плохо, машина очень уж докучает своим стуком, а стучит она день и ночь, работы у сестер, благодарение богу, предостаточно, и работают они на машине попеременно, это значит, одна сестра строчит на машине, а вторая в это время топит печь, потом вторая строчит на машине, а первая занимается хозяйством. Машина стучит день и ночь, и соседки держатся за головы и ворчат втихомолку:

— Вот так трещотка!..

6

Бог милостив; он и болячку пошлет, но и без лекарства не оставит. Таким лекарством был Юзек. Случается, в доме пусто и темно, дела идут плохо, на душе скверно, но на свет появляется маленькое существо, и дом приобретает новый облик. Вначале малыш пищит, кричит, надрывается, не дает спать. Но вот он немного подрастает, перестает кричать и смотрит широко открытыми глазками! Глядите-ка, смотрит! А ну-ка, малютка, ну-ка, крошечка!.. И малютка открывает ротик и показывает язычок, и у всех светлеют лица, все смеются: «Смотрите, смотрите, улыбается, дай мне так бог здоровья, улыбается!» Радость, утеха, у всех светлеет на душе. Дом полон малышом, с ним носятся, он заставляет забыть о всех несчастьях, он

делает горести не такими горькими. Счастье в доме— и все тут!

Так и с нашим Юзеком. Юзек и был тем милым маленьким созданьем, которое все любили и с которым все носились. На пасху его нарядили по-царски: набрали на сюртучок и на штанишки с помочами, сшили сапожки и шапочку новую купили, да еще орешков наобещали ему, а пока суд да дело, напекли ему из толченой мацы полную сковороду оладий, расстроили ему желудок и чуть не отправили на тот свет.

— Кто вас просит кормить ребенка черт знает чем? — выговаривали сестры Юзека соседкам.

— Полюбуйтесь на них! Дали ребенку оладушку со смальцем, так тут уж бог знает что делается!

Так оправдывались соседки, а лекарша Бася сделала все, что могла, чтобы спасти ребенка. Накануне пасхи Юзеку дали три гроша и чистую рубашку и отправили его в баню. А когда он вернулся, его одели во все новое, и он сиял, как солнышко.

— Царское дитя, — говорили между собой женщины.

— Пусть его зло не коснется, да минет его дурной глаз!

Юзек взял молитвенник, отправился в синагогу и прочитал там кадеш. Когда он вернулся домой и поздравил всех с праздником, стол был уже накрыт и уставлен всем, чего только можно пожелать. И маца там была, и бутылка вина из изюма, и картошка, и соленая вода, и хрен, и харойсес *. Одного только не хватало: некому было отправлять трапезу.

Не было в доме короля! *

7

Все три соседки были вдовами, то есть вдовами, собственно, были две из них, а третья — разводкой. И детей ни одна из них не имела. Были, конечно, у них дети, но не при матерях, а на чужбине, рассеянные и развеянные по всему миру: кто ремеслом занимался, кто служил в магазине, а кого судьба забро-

сила в далекую, далекую Америку. К счастью, а может к несчастью, случай загнал этих трех женщин под одну крышу. Хозяйка их обиталища, лекарша Бася, считалась среди них богачкой. Все трое жили под одной крышей, заквашивали тесто в одном корыте, стояли у одной печи. Только столик каждая из них имела отдельный, потому что трудно трем женщинам ужиться, всегда быть в ладу. Если вам случится увидеть модных дам, которые дружат между собой, нежно целуются, когда приходят друг к дружке на журфикс, усаживаются рядом и щелкают орешки, то пусть это вас не удивляет: это происходит только потому, что они не живут под одной крышей, не стоят у одной печи, не заквашивают хлеб в одной квашне.

В течение трехсот шестидесяти дней, которые насчитывает год, женщины ссорились не меньше трехсот раз, хотя и то сказать, я не знаю, что у вас называется ссорой. Ни одна из них не могла пожаловаться на то, что у нее что-то забрали или оскорбили ее, задели ее честь, упаси бог, но просто соседки иногда не сходились характерами. Служка Песя, например, любит задвигать весь жар и потом закрыть печь заслонкой. Ничего плохого как будто в этом нет. Старьевщица Сося, однако, имеет привычку ставить по утрам на шесток кувшинчик цикория. Тоже как будто небольшой грех; не ставить же ей кувшинчик цикория рядом с горшками. Так нате же, Песя говорит, что из-за какого-то кувшинчика цикория она не даст пропасть своей хале, которая сидит в печи. На это старьевщица Сося возражает, что лучше пропасть ее врагам. Тогда служка Песя удивляется, откуда у старьевщицы столько врагов. А старьевщица Сося ей возражает: «Этого добра не занимать стать, врагов хватает, густо бы их сеять и редко бы им всходить». Тогда служка Песя говорит: «С каких это пор вы стали так разговорчивы?» А старьевщица Сося: «С тех пор как поселилась в этой пустыне». Слова старьевщицы задевают хозяйку дома, лекаршу Басю, которая во все время разговора стояла в сторонке с торчащими из-под платка ушами и скалкой раскатывала лист теста на субботу. «Не понимаю, почему вам здесь так

пусто? Видно, сильно переплачиваете за квартиру?» — «Вам хорошо, — отвечает старьевщица Сося, — если вы богачка и у вас денежки водятся, не сглазить бы!» — «Не ваше это дело, водятся у меня денежки или не водятся. У вас я ничего не взяла». А старьевщица Сося: «Что с меня взять? Мою бедность? Ну и берите ее себе на здоровье!» А лекарша Бася: «Держите ее при себе!» — «От бедности нельзя зарекаться, — вставляет служка Песя, — видели мы богачей и почище, собственные дома имели и полетели в тартарары!..» — «Глубоко в земле лежат и баранки пекут!» * — поддерживает ее старьевщица Сося. Лекарша Бася выходит из себя и весь свой гнев переносит на старьевщицу. А служка Песя за нее заступается. Тогда между тремя женщинами возникает острая перепалка, мешанина из колючих словечек, поговорок и притчей: «Новая заступница нашлась!..», «Как вам нравится дерзость этой бабы?», «Не нравится вам, можете со мной не породниться!..», «Ищешь ножницы, а отзывается медный пестик!..», «Ни к селу ни к городу!», «Тоже мне госпожа — над кочергой да над лопатой!..», «Замолчи, горластая, а то как бы кочерга не полетела здесь кому-нибудь в голову!..», «Не знаю кому, вам это больше всех подойдет!..», «Так вот получай же!..», «На тебе!..», «Нате вам обеим!..»

Вы думаете, здесь бог весть что произошло? Оплеухи посыпались? Упаси бог! Только дули! Дули из двух пальцев и третьего посредине, и прямо в нос!

8

Не взыщите, но должен вам сказать, что если бы на трех модных дам надели одно ярмо и загнали бы их под одну крышу, то трудно поручиться, что бы из этого вышло; возможно, что ничего бы не вышло, а возможно, что вышел бы конфуз, еще, пожалуй, похлеще, чем у наших трех женщин. Я никого не собираюсь этим обидеть, но просто так, пришлось к слову, я и сказал...

Вернемся к нашим женщинам. Несмотря на острые

конфликты и на ссоры, которые то и дело вспыхивали между ними, они друг дружке зла не желали. И откуда, собственно, могло здесь взяться недоброжелательство? Что они, хлеб одна у другой отбивали? Вот они поссорились, а вот и помирились. Когда же приближалась пасха, между ними устанавливался прочный мир, полное единство, самые сердечные отношения: в один день пекли мацу, заготавливали на всех одну кадушечку борща, все вместе покупали по дешевке мешок картошки, а потом усаживались за один стол справлять трапезу. Вместе с хозяйкой, лекаршей Басей. Поднимали миску и тихо повторяли за ней слово в слово пасхальное сказание, которое Бася читала вслух по толстому молитвеннику на разговорном еврейском.

Обычно трапезу отправлял Басин муж, лекарь Исроел. Когда же лекарь умер, трапезу начал отправлять сын одной из соседок. Теперь же все разъехались кто куда, и во всем доме остался один только мужчина, Юзек. Вот и завели женщины разговор, не поручить ли в нынешнем году это дело Юзеку. Парнишка как-никак уже Пятикнижие учит, и читает он бойко, так почему бы ему не занять место мужчины, не выполнить роль короля?

— Юзек, хочешь быть королем?

Королем? Почему бы и нет? Кому придет в голову отказаться от королевства?

— Горе королевству, если королем там Юзек!.. — Так шутили соседки, а среди них и сестры Юзека. Тем не менее они устроили ему сиденье из подушек, и когда Юзек с торжественным приветствием пришел из синагоги, он во всем новеньком уселся на трон, как настоящий король.

9

Есть три вещи, которые легко передаются от человека к человеку — это зевота, смех и слезы. Зевота, смех и слезы не в нашей власти.

Во время трапезы, которую мы здесь описываем, в самый разгар ее, когда сирота Юзек, этот молодой

король, успел уже спеть молитвы «Лефихох» и «Галел» и, подняв второй бокал, стал произносить: «Приступаю к богоугодному делу, ко второму бокалу из четырех», — готовый отпить первый глоток, среди женщин раздалось громкое рыданье, как будто оплакивали покойника.

Как это случилось, которая из женщин первая начала плакать, трудно сказать. Когда Юзек запел «Рабами мы были» *, одной из его сестер вдруг вспомнилось, что в прошлом году они тоже справляли трапезу, которую не сравнить с нынешней. Отец был еще жив, и мать была жива, и им, обеим сестрам, сшили на праздник новые платья. Кому бы тогда могло прийти в голову, что в нынешнем году им придется сидеть за чужим столом, с чужими женщинами и Юзек будет отправлять для них трапезу... Девушка заморгала глазами, и нижняя губа у нее начала дрожать. Глядя на нее, и вторая сестра прослезилась. А глядя на них обеих, одна из соседок вспомнила про свое собственное горе: вот был у нее муж, служка Ноте, и жилось ей за ним как нельзя лучше, — то есть хорошо ей никогда не жилось,— но уж во всяком случае лучше, чем теперь, когда ей пришлось стать помощницей служки, потому что служка Ойзер, который раньше состоял помощником при Ноте, после его смерти возвысился, — из помощника превратился в служку, и жена его, Гнеся, так возгордилась, отец небесный, к ней и не подойдешь!..

От этих грустных мыслей лицо у Песи так скривилось, что будь старьевщица Сося крепче железа, она и то не смогла бы удержаться от слез. Сосе вспомнились всякие грустные вещи: целая орава женщин, которые не дают и гроша заработать, переманивают одна у другой покупательниц, а тем того только и надо, избаловались вконец. И еще вспомнила Сося свою старшую дочь, которая умерла давно, ребенком еще, Росей ее звали; не умерла бы Рося, она теперь была бы уже взрослой девушкой, а может быть, даже матерью семейства. И мужа своего вспомнила Сося, как он, бедный, мучился всю жизнь, ничто ему не удавалось, и больной был, совсем развалина. И старь-

евщица Сося, тихо повторяя вслед за лекаршей Басей слова пасхального сказания и покачивая в такт головой, заливается слезами. А лекарша Бася, хотя и сама читает, тоже не очень-то вникает в смысл сказания; слова текут у нее сами собой. Она же в это время думает о своих невзгодах, вспоминает детей, которые уехали от нее в далекую, далекую Америку. Она, правда, получает от них неплохие письма. Ее детям в Америке живется как будто не плохо, это значит, что они там наравне с другими людьми трудятся до седьмого пота. Чтобы показать, как им хорошо живется, они прислали матери фотографии, которые там называются «пикчерс». Они обещают даже прислать ей несколько рублей, или, по-ихнему, долларов, как только у них хоть немного поправятся дела, или, как это там у них называется, «бизнес», и шифскарту пришлют ей, и она поедет туда к ним, в большую счастливую страну, где у всех жизнь как жизнь, где все люди равны, человек может умереть там с голоду посреди улицы и никто, упаси бог, не скажет ему, что он скверно поступил... Но так она туда и поехала, не дождутся этого ее враги! У нее и здесь дети. А если им, бедняжкам, приходится туго, что же делать? Все от бога!

Эти мысли не мешают лекарше Басе бегло читать пасхальное сказание, она и не замечает, как плачет, как по лицу ее текут слезы. И вот, когда дело дошло до второго бокала и самый младший из королей остановился, чтобы отпить немного вина, женщины сами испугались своих рыданий.

Лекарша Бася вытерла фартуком глаза, высморкалась и с криком набросилась на остальных:

— Чего вы вдруг разревелись ни с того ни с сего? День всепрощения сегодня, что ли? Или тишебов? * Видели этакое?

Женщины только тогда успокоились, когда одна из них поднесла королю таз и кружку воды помыть руки, вторая достала из печи горячую рыбу, а третья подала хрен. Самый младший из королей произнес благословение над мацой, женщины ответили «аминь» и молча приступили к ужину.

ГЕЦЛ

— Присядьте, я расскажу вам историю про орехи.

— Про что? Про орехи?

— Да, про орехи.

— Теперь? Во время войны?

— Именно потому, что идет война и на душе невесело, я хочу вас отвлечь от черных мыслей. Впрочем, орешек раскусишь, а там ядрышко.

1

Имя его было Гецл, но звали его Придурковатый и считали дикарем. Всякий кому не лень рад был пошутить над ним, поиздеваться. Это был не малыш, как прочие в хедере, а рослый парень, с пухлыми губами, с толстенными руками. На нем постоянно топорщились широкие штаны и огромные сапожищи, а говорил он басом, точно из бочки. На этом неуклюжем теле сидела голова, величиной с дижу для выпечки хлеба, и набита она была, извините за выражение, паклей, трухой, перьями.

Реб Янкл, учитель в хедере, вечно попрекал его возрастом и обзывал невеждой, верзилой, медведем, грубым животным, дрянной костью, бычьей шкурой и тому подобными замечательными кличками. А он?

Хоть бы что! Его это ничуть не трогало. Заберется в угол, набьет полный рот и жует, как теленок. Придурковатый, понимаете ли, очень любил поесть. Еда для него была дороже всего на свете. «Бездонная утроба», — говорили о нем ребята. «Обжора» — называл его учитель. А сам-то он хоть бы поморщился! Достанет завтрак, сунет в рот и уминает без передышки. А завтраки ему приносили в хедер знатные — пирожки с творогом, вареников уйму. И эта неуклюжая тумба ко всему прочему был еще у своей богатой матери единственным, бесценным сынком, и она кормила его беспрестанно, день и ночь, как откармливают примерно гуся, и к тому же вечно плакалась, что «ребенок ничего не ест».

— Надо заговорить его от дурного глаза! — замечал по этому поводу учитель реб Янкл, понятно, не в присутствии мамаши.

— Болячку его мамаше! — поддерживала учителя жена и делала при этом такую гримасу, что невозможно было не расхохотаться. — В Полесье таких деток еще пеленают. Бедняжка!

— Подохнуть бы ему и поскорей! — заключал разговор учитель и надвигал своему ученику шапку по самые уши.

Весь хедер покатывался со смеху, а Придурковатый сидел надутый и молчал. Он, конечно, сердился, но молчал.

Вообще-то его трудно было рассердить. Но если уж рассердили, то держись, — медведь тогда не так страшен, как он. В ярости он скакал как бешеный, здоровенными зубами впивался себе в руку. А если уж давал затрещину, то ты получал настоящее удовольствие. Товарищи, хорошо знавшие это, так как испытали всё на собственной шкуре, смертельно боялись его и старались не иметь с ним никакого дела. К побоям, понимаете ли, еврейские ребята всегда относятся с большим почтением... И чтобы избежать расправы со стороны Гецла, все ученики объединились, десять против одного. Таким образом у реб Янкла в хедере образовалось два лагеря: с одной сто-

роны вся школа, а с другой — Гецл. Все ребята упражняли ум, а Гецл — кулаки. Все ребята осваивали науки, Гецл усваивал пирожки с творогом и вареники.

2

Однажды под какой-то праздник ребята собрались играть в орехи. Игра в орехи такая же, как и все другие игры, не лучше юлы и не хуже карт. В орехи играют по-разному: в «ямку», в «скамейку», в «шапку». Кончается она, понятно, как все игры: один выигрывает, другой проигрывает. И, как всюду, тот, кто выиграл, — умник, ловкач, славный парень, а тот, кто проиграл, — балда, осел, калека, — словом, все как в большом мире, в клубах, где игроки сидят день и ночь за карточными столами.

Итак, ребята собрались в хедере, все десятеро, играть в орехи. Выложили на полу ряд, опрокинули скамью и принялись с нее катать орехи вниз. Кто выбьет больше орехов из ряда, тот выиграл.

Вдруг отворилась дверь, и на пороге появился Гецл, понятно, с полными карманами.

— А, наше вам почтение! — приветствовал его кто-то из ребят.

— Лучше бы нам приветствовать мессию... — отозвался другой.

— ...А тут явился Аман, — добавил третий.

— Раши * толкует этот случай так: черт принес этого Гецла!

— Во что вы играете? В «скамейку»? И я хочу играть! — заявил Гецл. — У меня есть орехи.

— Нет! Ни за что! — ответили ему.

— Почему?

— Потому.

— Ну так я вам не дам играть.

И недолго думая Гецл зашаркал ножищами и разогнал все их орехи по комнате. Понятно, это взорвало ребят. Какая наглость!

— Ребята, чего вы молчите? — крикнул один из них,

— Что ж нам с ним делать?

— Давайте наломаем ему кости! — пояснил третий.

— Ну-ка, попробуйте! — заявил Гецл и завернул рукава, готовясь к тяжелой работе.

И пошла война между двумя лагерями. С одной стороны был весь хедер, с другой — Гецл.

Однако десятеро — не один. Они, конечно, испробовали на себе силу его здоровенных кулаков, он набил им шишки на лбу, насадил фонарей под глазами, зато и они отделали его под орех: ногтями, зубами, как кому удавалось, царапали, щипали, драли его за волосы, рвали в куски, кусали и спереди, и сзади, и с боков. Короче говоря, десятеро — не один, победили они. И Гецл вынужден был, извините за выражение, отступить или, попросту говоря, сбежать от них.

И тут только по-настоящему начинается рассказ об орехах.

3

Выскочив на улицу, взлохмаченный, исцарапанный, с разодранными штанами, Гецл минуту стоял в раздумье, потом хлопнул себя обеими руками по карманам так, что орехи у него загремели.

— Значит, не хотите со мной играть в орехи? — спросил он. — Ну, пускай дьявол с вами играет! Очень вы мне нужны! Чтоб вас семьсот раз удавили! Мы и вдвоем сыграем.

И Гецл пошел куда глаза глядят. Остановившись посреди дороги, он спросил, точно рядом с ним был еще кто-то второй:

— Куда же мы с тобой, Гецл, пойдем? — и тут же сам себе ответил:

— Вон туда, далеко-далеко... За город, по ту сторону мельниц. Там никого нет, будем с тобой вдвоем. Никто нам не помешает. Пусть кто-нибудь только попробует, мы ему быстро кости наломаем, в порошок сотрем...

Разговаривая этак с самим собой, Гецл и в са-

мом деле начал ощущать, что он не один и сил у него хватит на двоих. Пускай заявятся его приятели, он их искрошит, сотрет в порошок! Это доставляло ему большое удовольствие, и он не переставал болтать с самим собой, будто их здесь взаправду было двое.

— Послушай-ка, до каких же пор мы с тобой будем шагать? — обратился он к самому себе и тотчас ответил:

— А это от тебя зависит.

— Может, нам присесть и поиграть в орехи? Как думаешь, Гецл?

— Что же, я согласен.

И Гецл расположился на земле, далеко за городом, по ту сторону мельниц. Он высыпал из карманов все орехи, пересчитал их и разделил пополам, на две равные кучки. Одну половину он всыпал в правый карман, другую — в левый, затем снял шапку и, вынув из правого кармана несколько орешков, бросил их туда и проронил:

— Они думают, мы без них не обойдемся... Послушай-ка, Гецл, во что будем играть?

— А я знаю? Во что хочешь.

— Может, нам сыграть в «чет и нечет»?

— Давай.

И Гецл, тряхнув шапкой, спросил:

— Теперь отгадай: чет или нечет? Ну, отвечай же! — крикнул он сам себе и ткнул себя локтем в бок, после чего ответил:

— Чет.

— Чет, говоришь? Видать, давно тебя не пороли. Давай-ка сюда, ты проиграл три ореха!

Гецл вынул из левого кармана три ореха и переложил их в правый карман, затем опять тряхнул шапкой и снова спросил:

— Ну, а теперь? Чет или нечет?

— Нечет.

— Нечет, говоришь? Ах, болячка тебе! Проиграл четыре ореха. Давай их сюда!

И он переложил из левого кармана в правый четыре ореха, тряхнул шапкой и опять обратился к самому себе:

— Ну, может, теперь отгадаешь? Чет или нечет?

— Чет.

— Чет, говоришь? Ах, сгнить твоим костям! Давай, паршивец, пять орехов!

— Мало того что ты меня обыгрываешь, ты еще ругаешься!

— Кто виноват, что ты осел и каждый раз попадаешь, как слепой, в яму? Ну, отвечай опять: чет или нечет? Теперь уж ты, наверно, отгадаешь.

— Чет.

— Чет? Чтоб тебе такую жизнь! Давай сюда, лошак этакий, семь орехов и отвечай снова: чет или нечет?

— Чет.

— Опять чет? Ах, не быть тебе отцом! Давай, неудачник, еще пять орехов и уж наконец отгадай! Хоть один раз ответь правильно: чет или нечет? Ну, чего молчишь?

— У меня нет больше орехов.

— Неправда, есть.

— Честное слово, нету.

— Пошарь-ка лучше в кармане, на самом дне. Вот так!

— И следа не осталось.

— Нету? Проиграл все орехи? Что ж ты натворил? Ну, не осел ли ты после этого?

— Мало того что ты обыграл меня, ты еще издеваешься надо мной!

— Так тебе и надо! Хотел меня обыграть, а я вот тебя обыграл.

Придурковатый очень рад тому, что Гецл проиграл, а он выиграл. Он чувствует, что ему прямо-таки здоровья прибавилось; теперь он в силах обыграть весь мир. «Вот бы их теперь сюда, моих приятелей из хедера! Я посчитался бы с ними! Не оставил бы им ни одного орешка, даже для развода. Они бы у меня на коленях ползали, подохли бы на этом месте!»

Тут Гецл вошел в раж, заскрежетал зубами, сжал кулаки и закричал так, точно он и в самом деле был здесь не один, а еще с кем-то:

— Ну-ка, попробуйте связаться со мной! Теперь я не один, нас двое... Ну, Гецл! Ты чего это сидишь, как жених! Давай еще играть в орехи!

— В орехи? А где мне их взять? Я ведь сказал, что у меня нет ни одного орешка.

— Ах, я совсем забыл, что у тебя нет орехов... Знаешь, Гецл, я дам тебе совет.

— Какой?

— Деньги у тебя есть?

— Есть. Ну и что?

— Купи у меня орехи.

— Как это я куплю у тебя орехи?

— Осел! Не знаешь, как покупают? Давай деньги, бери орехи. Ха!

— Ну что ж, согласен.

Гецл вынул из кошелька серебряный гривенник, поторговался, переложил два десятка орехов из правого кармана в левый, и игра началась снова.

4

Рассказывают, бывалый картежник за полчаса до смерти призвал к себе сына, тоже картежника, и сказал ему:

— Дитя мое, я ухожу из этого мира, больше мы с тобой не увидимся. Я знаю, что ты играешь в карты, у тебя моя болезнь... Так вот что я тебе скажу: играй сколько угодно, только отыгрываться упаси тебя бог!..

Слова эти, простите за сравнение, мудры, как тора. Нет хуже на свете, чем отыгрываться. Тут, как говорят бывалые люди, спустишь последнюю рубаху; тут тебя так глубоко закопают, что ты не встанешь и в день воскресения мертвых. Так говорят люди, так оно и случилось с нашим молодцом. Он так долго встряхивал шапку, спрашивая «чет или нечет», до тех пор перекладывал из одного кармана в другой, пока левый карман снова не опустел.

— Ну, почему ты не играешь?

— У меня уже нечем играть.

— Опять остался без орехов, недотепа?

— Ты говоришь, я недотепа, а я говорю, ты шулер.

— Еще раз скажешь «шулер», и я тебя стукну по рылу.

— От тебя всего можно ожидать.

На несколько минут Гецл присмирел; мурлыча под нос какую-то песенку, он усердно ковырял пальцем землю; затем, выкопав ямку, проговорил:

— Скучно. Давай играть в орехи!

— Да нет же у меня орехов.

— А деньги у тебя есть? Я продам тебе еще десяток.

— Деньги? Откуда у меня деньги? Ни гроша!

— Ни орехов, ни денег? Ой, не могу, уморил! Ха-ха-ха!

Это «ха-ха-ха» разнеслось по всей равнине, эхом отозвалось в далеком густом лесу. А Гецл продолжал покатываться со смеху.

— Что это ты расхохотался сегодня, мужик неотесанный? — спросил он сам себя и тут же ответил:

— Смеюсь над тобой, неудачник ты этакий. Мало того что ты проиграл все орехи, ты еще спустил мне все деньги, и какие деньги! Балда, сын балды! Ой, не могу! Ха-ха-ха!

— Да ведь ты сам подсказал мне, чтобы я так сделал, злодейская твоя душа, негодная тварь, дрянь этакая!

— Ну и умник! А если б я подсказал тебе отрезать нос, ты бы тоже послушал меня? Балда! Скотина в образе осла! Ха-ха-ха!

— Помолчал бы, Придурковатый! И лучше мне не видеть твоей противной рожи!

Гецл отвернулся сам от себя. Некоторое время он сидел надувшись, затем принялся ковырять пальцем в земле, затем засыпал выкопанную ямку, напевая что-то себе под нос.

5

— Знаешь, что я тебе скажу, Гецл? — обратился он спустя некоторое время к самому себе. — Давай помиримся, будем друзьями! Раз уж мне так повезло

и я, с божьей помощью, выиграл столько орехов, почему бы нам не разгрызть несколько штучек? Они, должно быть, недурны. Как ты думаешь, Гецл?

— Я тоже так думаю: они должны быть весьма недурны, — ответил он сам себе и швырнул в рот один, другой, третий орех, хлопая при этом себя каждый раз по зубам. Орешек с треском раскалывался, он вынимал жирное ядрышко, очищал его от шкурки и, бросив в рот, смачно жевал большими белыми зубами, похрустывая, точно лошадь, хрупающая овес.

— Может, и ты, Гецл, хочешь ядрышко? Не стесняйся, говори!

— Почему бы нет? — ответил он сам себе и протянул левую руку, но тотчас ударил по ней правой рукой.

— А болячки не хочешь?

— Пускай тебе будут болячки!

— А тебе две!

При этом Гецл не переставая щелкал орехи и жевал жирные ядрышки, хрустя зубами, как лошадь. Ему, однако, показалось мало того, что он сам обжирается, а тот, другой, сидит и смотрит ему в рот, он еще задал такой вопрос:

— Послушай-ка, Гецл, я хочу тебя спросить вот о чем: каково тебе, когда я ем, а ты смотришь?

— Каково мне? Дай бог, чтоб ты себя так чувствовал!

— Э, да ты, кажется, сердишься? Ну, на уж, на, орешек!

Правая рука Гецла протянула левой руке ядрышко. Левая рука хотела его взять, но правая рука выставила ей, простите за выражение, кукиш. Тогда левая шлепнула по правой руке. Правая рука ударила левую руку. Левая рука развернулась и дала затрещину по правой щеке. Правая рука отвесила две оплеухи левой щеке. Левая рука ухватила правый лацкан. Правая рука тотчас оторвала напрочь левый лацкан. Левая рука вцепилась в правую пейсу, в ответ правая рука заехала в левое ухо.

— Послушай, Гецл, отпусти пейсу! Отпусти, говорю!

— Отпусти ухо, тогда отпущу пейсу.
— Дудки!
— Значит, останешься, Гецл, без пейсы.
— Значит, останешься, Придурковатый, без уха.
— Ой!
— Ай, ай!..

Эпилог

Несколько минут катался по земле наш Гецл. То он лежал кверху правым боком, то левым, но неизменно придерживал при этом руками карманы с орехами. Мгновенье победителем был Придурковатый, потом верх брал Гецл.

Наконец наш Гецл, вывалявшийся, как свинья, в грязи, растрепанный, с окровавленным ухом и оторванной пейсой, вскочил с земли, выволок из карманов орехи и принялся швырять их далеко-далеко, по ту сторону мельниц, в самую грязь, при этом сердито приговаривая:

— Вот так! Сделаем доброе дело! Ни тебе, ни мне!

ТРАПЕЗА

Сцена из моих детских лет

1

— Ума не приложу, что из этого ребенка выйдет! Что из него вырастет! Рохля какая-то, рева, мокрая тряпка, плакса, чтоб ему!... Видали вы, чтобы ребенок вечно плакал?!

Это мама моя разговаривает сама с собой, наряжая меня во все праздничное, и то толкнет меня в бок, то шлепнет по спине, то ухватит за ухо, то рванет за волосы или пребольно ущипнет. И она еще хочет, чтобы я от таких ее дел не плакал, а смеялся! Она застегивает на мне сверху донизу мой субботний кафтанчик, который давно уже мне тесен настолько, что глаза лезут на лоб, когда его надевают на меня; да и рукава у него удивительно коротки, и мои вечно иссиня-красные руки совсем вылезли из них и выглядят, как опухшие. А это приводит мою маму в ярость.

— Ну и лапы! — говорит она и шлепает меня по рукам, чтобы я их опустил вниз, может, их не так видно будет. — Когда будешь у дяди Герца, лапы свои держи под столом! Слышишь, что тебе говорят! А морда чтобы не была багровой, как у девки Явдохи! И глаза не таращи, как кот! Слышишь, что говорят! И чтобы сидел по-человечески! А главное — нос!

Ох, этот носик! Дай-ка сюда твой носик, уж я его приведу в порядок!

Пока у меня нос считается носом, еще туда-сюда, но как только мой нос становится «носиком» и мама начинает его «приводить в порядок», тут уж ему несдобровать. Не пойму, в чем мой нос провинился перед ней, больше чем, например, ухо, брови, глаза? Нос у меня вроде как все носы — чуть толстоват, чуть красноват, немного вздернут и чуть-чуть мокроват. Ну и что же? За это его нужно со свету сжить? Поверите ли, бывали времена, когда я молил бога, чтобы он избавил меня от этого носа, пусть отвалится ко всем чертям — и кончено. Я рисовал себе такие картины: в одно прекрасное утро я встаю совсем без носа и за завтраком подхожу к матери. Она хвать меня: «Ой, горе мне! Где же твой нос?» А я отвечаю: «Какой нос?» — ощупываю спокойно лицо, а сам гляжу на маму, как она выходит из себя, и торжествую: «Ага, так и надо! Пусть знает, какой вид у ее сына без носа!..» Глупые фантазии! Детские мечты! Господь не внемлет моим мольбам: нос растет, мама все время «приводит его в порядок», а я страдаю. И больше всего моему носу достается, когда наступает какой-нибудь праздник, пурим например, и мы собираемся на ужин к дяде Герцу.

2

Дядя Герц — не только самый состоятельный в нашей семье, он первый богач в нашем местечке. Да и во всей округе, во всех местечках, только и слышишь — Герц, Герц и Герц! Вам станет все понятно, если скажу, что дядя Герц держит пару рысаков, имеет собственный экипаж, который так гремит, что все местечко выбегает поглядеть, как катит дядя Герц. А дядя Герц, со своей пышной медно-красной бородой и строгими серыми глазами, величественно восседает в экипаже, важно покачиваясь из стороны в сторону, и поглядывает на всех сверху вниз сквозь свои серебряные очки, точно хочет сказать: «Куда вам,

мелюзге, до меня! Я — богач Герц, разъезжаю в собственной карете, а вы — голодранцы, нищие, шлепаете по грязи».

Не знаю, как другие, но я дядю Герца терпеть не могу; ненавижу я его красное лицо, его жирные щеки, его медную бороду и серебряные очки на носу, его большой живот с массивной золотой цепью на середине, его круглую шелковую ермолку на голове. Но больше всего ненавижу я его покашливание. У него особенный такой кашель, — кашлянет, дернет плечом, откинет назад голову и фыркнет, точно хочет сказать: «Внимание! Это я, Герц, кашлянул. И не потому, что я, упаси господи, простужен, но просто так, захотел и кашлянул».

Никак не пойму я моих родных: что это с ними творится, когда приходит праздник пурим и мы начинаем собираться к дяде Герцу на трапезу? Казалось бы, все в доме у нас любят его, как хорошую хворобу, а мама, которая приходится ему родной сестрой, тоже не слишком тоскует по нему. Когда старших детей нет дома (меня мама, видно, мало стесняется), она благословляет дядю Герца странным образом: она желает ему, «чтобы он в будущем году оказался в ее положении». Но пусть кто-нибудь другой попробует дурно отозваться о дяде Герце, она глаза выцарапает. Однажды я был свидетелем, как мой отец попался на слове. Он лишь спросил у мамы: «Что слышно? Твой Герц уже приехал?» Тут мама задала ему такую взбучку, что бедный отец не знал, куда ему деваться.

— Почему это «мой» Герц! Что это за разговоры? Что за выражение? Почему именно «мой»? Почему?

— Конечно, твой, а то чей же? Мой, что ли? — пробует отец отразить удар, но ему это не удается, мама атакует его со всех сторон.

— Ну, а если мой, то что? Ну, мой! Тебе это не по нраву? Это роняет твое высокое достоинство?! Ты, наверное, истратил на него отцовское наследство?! И ты, конечно, никогда никакого добра от него не видал?!

— Да кто говорит, что не видал? — пробует отец по-хорошему. Он готов уже сдаться.

Но не тут-то было. Мать не перестает наступать:

— У тебя, наверное, лучшие братья, чем у меня, да? Знатней, почтенней, добрей, богаче, да?

— Ну, довольно! Будет уж! Конец! Оставь ты меня в покое! — кричит отец, нахлобучивает шапку и выбегает из дому. Отец опять потерпел поражение, а мать и на этот раз победила. Она всегда побеждает, и не потому, что она у нас верховодит, но потому, что дядя Герц... Потому что дядя Герц — богач, а мы его бедные родственники — всего лишь его родня.

8

Что, собственно, нам до дяди Герца? Кормит нас, поит, благодетельствует нам? Не знаю, не могу сказать. Вижу лишь, что у нас в доме все, от мала до велика, боятся его, как смерти. Подходит праздник пурим, и у нас уже за две недели начинают готовиться к трапезе. Мой старший брат Мойше-Авром, юноша с бледными, впалыми щеками и черными задумчивыми глазами, приглаживает себе пейсы всякий раз, как только при нем произносят: «У дяди Герца за трапезой...» Что уж там говорить о моих двух сестрах — Мирьям-Рейзл и Хане-Рохл (одна из них уже невеста)! Эти ради вечера у дяди Герца сшили себе платья «по последнему фасону», накупили красивых гребешков и лент в косы. Они надеялись, что и ботинки им починят, но мама отложила это до пасхи, хотя ей очень больно, что они, бедняжки, ходят почти разутые. Особенно страдает она из-за Мирьям-Рейзл; ее беспокоит, как бы жених не заметил, что невеста ходит в рваных башмаках. Сестра и без того немало терпит от своего жениха. Мало того что он неуч, выдающий себя за бухгалтера, на самом же деле попросту приказчик в лабазе, — он к тому еще и ломается. Ему, видите ли, нужно, чтобы его невеста, то есть моя сестра, наряжалась по последней моде, как какая-нибудь принцесса.

Каждую субботу после обеда этот самый приказчик приходит к нам в гости, усаживается с моими сестрами у окна и заводит разговор; разговор этот по-

чти всегда о нарядах, о новых костюмах, о лакированных сапожках с калошами, о модных шляпках с перьями, о зонтиках с кружевами; говорят они также о наволочках с прошвой, о матрацах в красных наперниках, которые покрывают белой простынкой и застилают сверху хорошим одеялом, настоящим теплым байковым одеялом. Лечь в такую постель зимой одно наслаждение! И я вижу, как моя сестра Мирьям-Рейзл становится вдруг красной, как мак. Такой уж у нее характер, чуть что, сразу кровь приливает ей к лицу. Когда жених нечаянно глянет ей на ноги, она быстро прячет их под стул, боится, как бы он не заметил ее стоптанных каблуков и торчащих наружу пальцев.

4

— Ты уже готов? — спрашивает мама у отца днем в праздник пурим.

— Давно уже готов, — отвечает отец и надевает праздничную бекешу. — Как дети?

— Дети тоже почти готовы, — отвечает мама, хотя прекрасно знает, что дети, то есть мои сестры, еще далеко не готовы. Они еще только расчесывают волосы, мажут их миндальным маслом, причесывают друг дружку, прихорашиваются, надевают свои новые платья, смазывают ботинки гусиным смальцем, чтобы они блестели, казались новыми. Но какой уж тут блеск, когда каблуки, — ох, уж эти каблуки! — совсем сели, а пальцы чуть ли не торчат наружу! Что бы это придумать, чтобы, упаси господи, жених не приметил? И как назло черт несет его к нам, приказчика этого, в новешеньком костюме, с сильно накрахмаленным воротничком и зеленым модным галстуком; а из густо накрахмаленных белых манжет торчат две здоровенные красные руки с черными ногтями, только что постриженные волосы стоят дыбом. Он вытаскивает из кармана белый накрахмаленный носовой платок, от которого так разит духами (смесь гвоздики и ноготков), что у меня начинает щекотать в носу и я чихаю; а от чиханья лопается мой

кафтанчик, две пуговицы на нем отскакивают прочь. Ну, тут уж мама устраивает мне настоящую головомойку.

— Вот балбес! И пуговицы на нем не держатся! Чтоб тебя не разорвало! — Так, поругиваясь, мама хватает иголку с ниткой и принимается пришивать на мне отскочившие пуговицы.

Когда наконец все готовы, мы отправляемся к дяде Герцу на ужин. Впереди всех, высоко подобрав полы бекеши, шествует отец; за ним, так как на улице непролазная грязь, в мужских сапогах шагает мама; за нею — обе сестры с зонтиками в руках (не знаете ли вы, к чему в пурим зонтики?); за сестрами выступает мой старший брат Мойше-Авром. Он держит меня за руку и выискивает место, где посуше, но каждый раз попадает в самую грязь и всякий раз вскрикивает, как ошпаренный: «Уф-фа!» В стороне идет приказчик, наш жених, в новых глубоких калошах, единственный среди нас в калошах, и каждую минуту громко выкрикивает, чтобы все слышали: «Ах, не набрать бы мне в калоши!»

И вот так мы являемся к дяде Герцу на трапезу.

5

Хотя на дворе еще день, но у дяди Герца уже зажгли свечи, много свечей; на столе горят лампы, по стенам бра. Стол накрыт. Большое место на нем занял огромный праздничный пирог с маком, величиной с целого вола. А вокруг стола толчется вся наша родня — все дядья и тетки, как на подбор, — одни чуть победнее, другие чуть побогаче! Они тихо переговариваются между собой и напряженно ждут, как на обрезании, когда вот-вот должны внести младенца. Дяди Герца не видно, а тетя, женщина со вставной челюстью, синегубая, в белом жемчуге, озабоченно мечется вокруг стола; она расставляет тарелки, пересчитывает всех нас левой рукой, ничуть не беспокоясь о том, что это может принести нам несчастье.

Но вот открывается дверь и появляется сам дядя Герц, одетый во все праздничное. На нем шелковая блестящая бекеша с широченными рукавами, меховая шапка, которую он надевает только в пурим к трапезе и в пасху к торжественной вечере. Вся родня отвешивает ему почтительный поклон, мужчины как-то странно улыбаются, потирают руки, женщины поздравляют его с праздником, а мы, детвора, стоим как истуканы и не знаем, куда деть свои «лапы». Сквозь серебряные очки дядя Герц окидывает нас всех, всю свою родню, одним коротким взглядом и, кашлянув, неопределенно машет рукой.

— Ну, что же вы не сидите? Садитесь, вот стулья!

Вся родня мгновенно рассаживается, но каждый сидит на кончике стула, боится прикоснуться к столу — как бы чего не испортить, и глубокое молчание воцаряется в зале. Слышно, как потрескивают свечи; мельтешит в глазах, на душе неладно. Хотя все голодны, но есть уже никто не хочет; аппетит сразу пропал.

— Что ж вы молчите? Потолкуйте, расскажите что-нибудь! — говорит дядя Герц и кашляет, при этом подергивает плечами, откидывает назад голову и фыркает.

Родня молчит. Никто и слова не смеет вымолвить у дяди Герца за столом. Глуповато улыбаются мужчины: хотелось бы что-нибудь сказать, да не знают, с чего начать; растерянно переглядываются женщины, а мы, детвора, горим как в огневице или в оспе. Мои сестры разглядывают друг дружку так, точно они впервые в жизни встретились. Мой брат Мойше-Авром глядит куда-то в пространство, и лицо у него бледное, перепуганное. Нет, никто не решается вымолвить слово у дяди Герца за столом. Лишь один человек, как всегда и везде, чувствует себя хорошо, — это приказчик, жених нашей Мирьям-Рейзл. Он вытаскивает из заднего кармана свой большой накрахмаленный и сильно надушенный платок, громко сморкается, как у себя дома, и говорит:

— Удивительно, чтобы в пурим была такая грязь! Я все боялся, сейчас наберу в калоши...

— Кто этот молодой человек? — спрашивает дядя Герц, сняв серебряные очки, и, кашлянув, дергает плечами, вскидывает голову и фыркает.

— Это мой... мой жених... жених моей Мирьям-Рейзл, — еле слышно говорит отец, точно человек, который кается в совершенном убийстве.

Мы все застываем на месте, а Мирьям-Рейзл — о боже мой! — Мирьям-Рейзл пылает, как соломенная крыша.

Дядя Герц вновь оглядывает родню своими строгими серыми глазами, вновь дарит нас своим «кхе-кхе», опять дергает плечами, вскидывает головой, фыркает и говорит:

— Ну, что ж вы не моетесь? Мойте руки. Вот вода!

6

Омыв руки и прошептав наскоро молитву, вся родня вновь рассаживается вокруг стола и ждет, когда дядя Герц совершит благословение и надрежет огромный праздничный пирог, тот самый, что величиною с вола. Все сидят, как немые. Мы бы уж не прочь что-либо отведать, да как назло дядя Герц устраивает всякие церемонии, точно праведник какой. Еле-еле дождались. Наконец-то нарезали пирожище величиною с вола. Но не успели мы и куска проглотить, как дядя Герц уже подымает на нас свои строгие серые глаза, кашляет, дергает плечами, запрокидывает голову и фыркает:

— Ну, что же вы не поете? Спели бы что-нибудь! Ведь нынче пурим на земле!

Родня переглядывается, шушукается, переговаривается шепотом; один другому предлагает: «Спой что-нибудь!», «Спой ты!», «Почему я, а не ты?» Торгуются так долго, пока наконец не выскакивает один — Авремл, сын дяди Ици, — человек без растительности на лице, моргающий глазами, обладатель писклявого голоска, мнящий себя почему-то певцом.

Что хотел спеть Авремл, не знаю. Знаю лишь, что нужно было быть ангелом, самим богом, чтобы не

прыснуть со смеху, когда Авремл взялся двумя пальцами за горло, состроил плаксивое лицо, сразу сбился на фальшивый тон и визгливо затянул неестественно высоко что-то дикое и тягучее. А тут еще напротив сидят ребята и таращат на него такие глаза! Нет, не покатиться со смеху никак нельзя было!

И первым прыснул я, зато и первую оплеуху от матери получил тоже я. Однако эта пощечина меня не охладила, наоборот, она вызвала хохот у всей оравы ребят и новый взрыв смеха у меня. А новый смех привел к новой пощечине, новая пощечина — к новому смеху, новый смех — к новой пощечине, и так до тех пор, пока меня наконец не выволокли из зала на кухню, из кухни на улицу, а там уже, избитого, истерзанного, обливающегося слезами, кровавыми слезами, отвели домой.

В тот вечер я проклинал себя, проклинал пурим, трапезу, проклинал Авремла, сына дяди Ици, но больше всего дядю Герца, — да простит он мне: он теперь уже в лучшем из миров. На его могиле стоит надгробный камень, лучший памятник на нашем кладбище; на том камне золотыми буквами перечислены все добродетели, которыми отличался дядя Герц при жизни:

«Здесь покоится человек благочестивый, добрый, сердечный, добродетельный, щедрый, приветливый, отзывчивый, любезный со всеми, и т. д. и т. д.

Да обретет душа его вечную жизнь».

ТРИ ГОЛОВКИ

1

Если бы перо писателя могло превратиться в кисть художника или хотя бы в аппарат фотографа, то я бы, друг мой, подарил тебе в честь пятидесятницы картину с изображением редкостной группы: ты бы увидел три хорошеньких юных головки, трех бедных, разутых и раздетых еврейских детей. У всех трех головок черные вьющиеся волосы, большие сияющие глаза, которые смотрят на вас как бы чему-то удивляясь и спрашивают: «Почему?» А вы восхищаетесь, глядя на эти головки, и чувствуете какую-то вину перед ними: как будто вы виноваты в том, что они появились на свет божий, появились на свет три лишних существа.

Три хорошеньких головки принадлежат двум братьям — Абрамчику и Моисейчику — и их маленькой сестренке Двойрке. Абрамчик и Моисейчик — так, на русский лад, назвал мальчиков их отец, переплетчик Пейся. Если б он не стеснялся своей жены Песи и не был бы таким отчаянным бедняком, он бы и себя переименовал из Пейси-переплетчика в Петю-переплетчика. Но так как он слегка побаивается жены и так как он, не в обиду будь сказано, гол как сокол, он пока остался при старом имени — Пейся-переплетчик —

в ожидании лучших времен, тех счастливых времен, когда все переменится, как Бебель говорит, и как Карл Маркс говорит, и как все хорошие умные люди говорят. Вот тогда-то, вот тогда все будет по-другому. А пока наступят эти добрые счастливые времена, надо стоять с рассвета до поздней ночи за верстаком, резать картон и клеить коробочки. И Пейся-переплетчик целые дни проводит на ногах, и режет картон, и клеит коробочки. Помогает он себе старыми и новыми еврейскими и нееврейскими песнями. Большей частью это песни полугрустные-полувеселые с полугрустными-полувеселыми мелодиями.

— Перестанешь ты когда-нибудь петь эти песенки? И надо же так влюбиться в иноверцев! С тех пор как переехали в большой город, настоящим православным стал, прости господи...

2

Все трое — Абрамчик, Моисейчик и Двойрка — родились и выросли в углу между стеной и печью. Все трое каждый день видят одно и то же: веселого отца, который режет картон, клеит коробки и поет песни, и озабоченную, высохшую мать, которая варит и печет, убирает и метет, и всегда торопится, и никогда не успевает. Оба всегда заняты: мать — у печки, отец — за верстаком. Кому нужны все эти коробки, зачем столько картонок? Папиных коробок, наверно, на весь мир хватило бы. Так размышляют три хорошеньких головки, с нетерпением дожидаясь, когда же у отца снова накопится много-много коробочек, тысяча коробочек, и он, наполнив ими корзины, поставит одну на голову, а другие две возьмет в обе руки и пойдет на базар; а домой он вернется без коробок, но с деньгами для мамы и с баранками, крендельками или конфетами для детей. Какой же у них хороший отец, до того хороший, ну просто замечательный! Мама тоже хорошая, но сердитая. Только и жди от нее шлепка, пинка или оплеухи. Мама не любит, когда в доме беспорядок, она не хочет, чтобы

дети играли в папу и маму, она не хочет, чтобы Абрамчик кромсал падающие со стола куски картона, чтобы Моисейчик таскал клей у отца и чтобы Двойрка пекла хлеб из песка и воды. Мама хочет, чтобы дети сидели тихо, спокойно. Мама, видно, не знает, что три головки работают, что юные души куда-то влечет, влечет... Куда же их влечет? К свету, конечно, к свету — к окну.

8

Всего лишь одно окно, одно-единственное окошечко. Три головки спорят из-за места у этого окна. Что же видят они в окно? Стену, высокую, широкую, серую и сырую стену. Никогда не просыхает эта стена, даже летом. А навещает ли детей когда-нибудь солнце? Конечно, навещает. Не полное солнце, разумеется, а солнечный луч. Тогда в доме праздник. Все три хорошеньких головки припадают к окну и смотрят вверх и видят высоко-высоко длинную узкую синюю полосу, похожую на длинную узкую синюю ленту.

— Смотрите, смотрите, это небо!

Так говорит Абрамчик, Абрамчик знает. Абрамчик ходит в хедер. Он там учится складывать буквы. Хедер помещается неподалеку, в соседнем доме, даже не в соседнем доме, надо только войти в соседнюю дверь. Ах, каких только чудес не видит Абрамчик по пути в хедер! Абрамчик рассказывает, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — большой каменный дом, сплошь из окон, сверху донизу; Абрамчик клянется, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — высокую трубу, а из высокой трубы валил дым; Абрамчик рассказывает, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — машину, на которой шьют без рук; Абрамчик рассказывает, что он сам видел, — видеть бы ему так всякое добро, — телегу, которая ездит без лошадей. Много еще чудес рассказывает Абрамчик и божится при этом точь-в-точь, как мама: «Видеть бы мне так всякое добро». А Мои-

сейчик и Двойрка слушают его, и вздыхают, и завидуют ему: все на свете знает Абрамчик, все, все.

Например, Абрамчик знает, что дерево растет. Правда, сам он тоже никогда не видел, как растет дерево. Нет у них на улице деревьев, нету. Абрамчик, однако, знает (он слышал об этом в хедере), что на деревьях растут фрукты. Поэтому, прежде чем отведать какой-нибудь фрукт, произносят молитву «Сотворившему древесные плоды». Абрамчик знает (чего он только не знает!), что картошка, например, или огурцы, или лук, или чеснок растут на земле, и поэтому, прежде чем есть их, произносят молитву «Сотворившему плоды земли». Все знает Абрамчик. Не знает он только, где и как все это растет, потому что так же, как Моисейчик с Двойркой, он никогда ничего подобного не видел: ведь у них на улице нет поля, нет огорода, нет деревьев и травки нет, нет и нет... У них на улице есть большие каменные дома, серые стены, высокие трубы, из которых идет дым, и много-много окошек в каждом большом доме, тысячи окошек у них на улице, и машины, которые шьют без рук, и телеги, которые ездят без лошадей, а больше ничего, ничего. Даже птичку здесь редко увидишь. Если и залетит когда-нибудь воробушек, так и он сер, как эта серая стена. Ткнется в серый камень: «пи-пи...» — вспорхнет и улетит. Что касается птиц, то иногда по субботам дети видят четверть курицы с бледной вытянутой ножкой. Сколько ножек у курицы? Само собой разумеется, четыре. Так же, как у лошади. К такому решению приходит старший, Абрамчик, а ведь Абрамчик все знает! Иногда мама приносит с базара куриную головку с закатившимися глазами, подернутыми тонкой белой пленкой. «Она мертвая», — говорит старший, Абрамчик. И все трое смотрят друг на друга большими черными глазами и вздыхают. Рожденные и выросшие в большом городе, в каменном доме, в тесноте, заброшенности и бедности, они не имели возможности увидеть живого зверя, птицу, даже коровы никогда они не видели, никого, никого, кроме кошки. Кошка у них своя, живая, настоящая серая кошка, серая, как высокая

серая сырая стена. Кошка — их единственная радость. С кошкой играют они часами, повязывают ей голову платком, называют ее сватьей и смеются, смеются без конца! Завидит эти игры мама и всыплет детям: кого пинком наградит, кого оплеухой, а кому и уши надерет. И дети уходят на свое место, за печку. Старший, Абрамчик, рассказывает что-то, а младшие, Моисейчик и Двойрка, слушают, смотрят на старшего брата большими глазами и слушают. Абрамчик говорит, что мама права, Абрамчик говорит, что с кошкой нельзя играть, потому что кошка — нечистая тварь и пакостница. Все знает Абрамчик, все, все. Нет такой вещи на свете, которой бы Абрамчик не знал.

4

Все знает Абрамчик. Абрамчик знает, что есть страна, очень далекая страна, которая называется Америкой. Там, в этой Америке, у их родителей много друзей и знакомых. Туда, в эту Америку, вся семья переедет, с божьей помощью, в будущем году, когда получит шифскарты. Без шифскарт нельзя ехать в Америку, потому что надо плыть через море, а на море буря, и буря швыряется, и это опасно для жизни. Все, все знает Абрамчик.

Все, все. Даже, что делается на том свете. Он, например, знает, что на том свете есть рай, специально для евреев, конечно. В раю много деревьев с самыми лучшими плодами, в раю текут молочные реки, алмазы и брильянты валяются на улицах, только не ленись набивать карманы. Благочестивые евреи сидят там день и ночь за молитвой и наслаждаются божьей благодатью.

Абрамчик рассказывает, а у Моисейчика и Двойрки загораются глаза, они завидуют старшему братишке, который знает все на свете. Все он знает, даже то, что делается на небе. Абрамчик божится, что два раза в год: ночью гошайнорабо * и в ночь на пятидесятницу, раскалывается небо. Правда, он сам никогда еще не видел, как раскалывается небо,

потому что у них на улице нет неба, но зато видели его товарищи. Да, они клянутся, что видели собственными глазами, — видеть бы им так всякое добро, — как раскалывается небо, не будут же они клясться в том, чего не видели, ведь это грех! Как жалко, что на этой улице нет неба! Есть только длинная узкая синяя полоса, похожая на длинную узкую синюю ленту. Что можно разглядеть на таком клочке, кроме двух-трех маленьких звездочек и кусочка луны? Чтобы убедить своего младшего братишку Моисейчика и свою младшую сестренку Двойрку в том, что небо действительно раскалывается, Абрамчик теребит за платье мать.

— Мама, правда, сегодня, в пятидесятницу, около полуночи расколется небо?

— Голову я тебе расколю.

Такую отповедь получает Абрамчик от матери. Теперь ему остается только поджидать отца. Отец отправился на базар с целой горой коробочек.

— Ну-ка, угадайте, какой подарок принесет нам сегодня отец?

Так говорит Абрамчик, и все три головки принимаются гадать, какие же гостинцы принесет им с базара отец. Они загибают пальцы, перечисляя все, что есть на базаре, все, что глаз человека может увидеть и сердце человека может пожелать: баранки, крендельки, конфеты... Но на сей раз ни один из них не угадал. Боюсь, что и вы не угадаете. Пейся-переплетчик не принес ни баранок, ни крендельков, ни конфет. А принес он траву, целую охапку травы — длинной, зеленой, пахучей, удивительной травы.

Три хорошеньких головки окружают отца.

— Папа, что это?

— Это зелень.

— А что такое зелень?

— Зелень на праздник. Евреям в праздник нужна зелень.

— А где ее берут, папа?

— Как так, где берут? На базаре покупают, на базаре.

Так говорит отец и разбрасывает по свежевыметенному полу зеленую пахучую траву и радуется, что в комнате зелень и что зелень пахнет, и говорит маме весело, как всегда:

— Песя, с праздником тебя!

— Поздравляю, мусору в доме не хватало, будет выродкам твоим чем сорить!

Так отвечает мама, как всегда недовольная, и, по своему обыкновению, награждает детей: одного — пинком, другого — шлепком, третьего — оплеухой. Чудная у них мама! Ничего-то ей не нравится, вечно она невеселая, вечно озабоченная, совсем непохожа на отца!

И три хорошеньких головки смотрят на мать, смотрят на отца, смотрят друг на друга, а когда родители отворачиваются, бросаются на пол, припадают к пахучей траве, целуют пахучую траву, которая называется зеленью, которая нужна евреям на праздник и которую покупают на базаре.

Все есть на базаре, даже зелень. Все покупает папа, все нужно евреям, и все есть у евреев, даже зелень, даже зелень!

ЧЕТА

Чудовищная история о том, как однажды два невинных существа были среди ночи разбужены, связаны, отвезены на ярмарку и проданы дикарям; как те целый месяц кормили их на убой, а за день до пасхи зарезали, как баранов

ОТ АВТОРА

Рассказчик просит читателя не искать в этой истории каких-то аллегорий, не строить догадок насчет того, кого писатель имел тут в виду. В рассказе нет и намека на аллегорию и даже, если хотите знать, ни на грош того, что у нас называют символизмом. Это самое простое повествование — без какого-либо умничания и претензии на глубокомыслие — о двух невинных божьих созданиях, которые жили, любили, мечтали, терзались, предавались надеждам и пали от рук жестоких убийц как раз в канун пасхи ни за что ни про что.

Нерви (Италия).

1

Страшная ночь

Это стряслось в одну из черных, тонущих в вязкой грязи предпасхальных ночей. Все было окутано мраком, все было погружено в сон. Кругом была

такая тишь и оцепенение, что даже рыба в воде и та боялась высунуть голову на божий свет в эту застывшую, черную, недвижную ночь. В такую ночь у ангела сна хлопот полон рот. Он, не жалея красок, полной горстью рассыпает вокруг фантастические сны, в которых ни складу ни ладу, нелепица на нелепице.

Сны, которые видел в эту ночь герой нашего повествования, были странные, необычайные, дикие. Целую ночь ему снились птицы — куры, гуси, утки. Какой-то красный петушишка, совсем еще юнец, однако до крайности дерзкий, нагло прыгал перед самым его носом, гоготал и пел странную песенку:

Кукареку, длинный нос!
Будешь пойман, точно пес,
Будешь связан, бит в свой срок,
Будешь брошен на возок,
Будешь крепко весь истерзан
И, как курица, зарезан!..

Свою песенку петух закончил громким «кукареку».

Шнырявшие вокруг куры, гуси, утки, как снилось нашему герою, кудахтали, гоготали, смеялись над ним какими-то невероятными голосами и так громко, что он, разобидевшись, кинулся расправляться с петухом-хулиганом. Тут охватившее нашего героя возмущение заставило его проснуться, он с бьющимся сердцем раскрыл глаза и увидел пламя свечи, услышал шум, гам, топот ног и дикие крики:

— Не этот! Вон тот! Да, да!.. Бери его! Хватай! Вяжи его!.. Осторожней ноги!.. Не выверни ему ногу!.. Вот так!.. Готово? Ну, трогай! Трогай! Ночь не ждет!.. Марш в повозку!..

И он почувствовал, как крепкие руки, будто клещи, схватили его, связали, спутали ноги, потом рванули кверху и швырнули в просторную, на высоких колесах повозку. В повозке лежало еще одно такое же существо, как он, но это была, кажется, женщина. Она вся дрожала.

Два человека все время вертелись подле них, один дикарь был без шапки, другой — в малахае. Тот, что

с непокрытой головой, возился в задке, осматривал возок, лошадей, щупал колеса. Наконец человек в малахае забрался в повозку и так плюхнулся пленникам на ноги, что те чуть с ума не сошли от боли.

— Смотри, чтобы они у тебя не развязались и не выскочили! Слышишь или нет? — крикнул человек без шапки человеку в малахае.

Но тот ничего не ответил, хлестнул как следует лошадей, и повозка покатила.

2

Пленники знакомятся в неволе

Как они пережили эту ночь и не испустили дух на повозке только от одного испуга, просто уму непостижимо! «Где они? Куда их везут? За что им это? Почему?»

В темноте они не могли как следует увидеть один другого. Только когда начало светать, они оглядели друг друга и стали негромко разговаривать.

— Доброе утро, мадам.

— Здравствуйте, доброе утро.

— Я мог бы поклясться, что вы из наших... Из Индии...

— Не клянитесь, вам верят на слово.

— Я вас сразу узнал по ожерелью.

— Это говорит о том, что вы наблюдательны.

Прошло несколько минут, и наш герой снова обратился к соседке:

— Мадам, как вы себя чувствуете?

— Всем моим врагам желаю так себя чувствовать.

Помолчав немного, он, пригнувшись к самому ее уху, шепотом сказал:

— Мадам, я хочу вас кое о чем спросить...

— Спрашивайте.

— В чем вас обвиняют?

— В том же, в чем и вас.

— Я спрашиваю, в чем вы виновны?
— В том же, что и вы.
— Мне кажется, вы немного раздражены?
— Раздражена? Нахал! Уселся мне на ноги, так что глаза у меня от боли на лоб лезут, и еще говорит — раздражена!
— Да что вы такое говорите, мадам? Я сижу у вас на ногах?
— А кто же?
— Это вон тот дикарь в малахае, чтоб ему пропасть!
— Вот как! А я думала, это вы прижали мне ноги. Извините, если я вас обидела.
Вот все, что им удалось сказать друг другу. Малахай вдруг, точно пробудившись от сна, со злостью хлестнул лошадей, повозка запрыгала, и два существа стали прислушиваться к тому, как у них там все переворачивается внутри.
Внезапно повозка остановилась, и их глазам предстало такое, чего они никогда в жизни еще не видывали.

8

Из одной неволи в другую

Впервые им довелось увидеть такое скопление коней, коров, телят, свиней и человеческих существ. Бесконечное количество человеческих существ! Разного рода повозки с поднятыми кверху оглоблями были полны всякого добра, хлеба, живности — гусей, уток, кур. А там, в стороне, одна на целой подводе лежала связанная свинья и выражала протест таким визгом, что можно было оглохнуть. Но кто внимал ей? Все были заняты своими делами, переговаривались, мчались куда-то, — на то и ярмарка.
Сюда вот и привез их дикарь в малахае. Он слез с подводы и стал возиться со своими пленниками. А те, придя в себя, почувствовали, как сильно бьется у них сердце: «Что он станет с ними делать? Может,

развяжет, освободит, велит идти на все четыре стороны, куда глаза глядят?»

Ах, напрасная надежда! Дикарь лишь приподнял их чуть выше, вероятно, чтобы покупатели лучше видели их. Какой срам! Какой позор! А может быть, это к лучшему? Пусть видит их весь свет! Может, здесь найдется добрая душа, которая подойдет, посочувствует им, спросит у этого дикаря: за что это он их? Почему?

Так размышляли несчастные пленники. И случилось точно так, как они задумали, — нашлась-таки добрая душа, какая-то толстуха в турецкой шали. Она подошла к повозке, заглянула внутрь и спросила у малахая:

— Ты привез эту парочку?

— А тебе что?

— Индийские?

— А что ж они, турки?

— Сколько прикажешь заплатить за них?

— Откуда у тебя столько денег?

— Если б у меня не было денег, зачем бы я стала толковать с таким хамом, как ты?

Вот так переговаривались между собой турецкая шаль и малахай. Потом у них пошел долгий торг. Дикарь в малахае был холоден как лед, а турецкая шаль горячилась, прыгала, убегала от повозки и вновь возвращалась. Тогда они снова принимались торговаться, пока наконец малахай не взбеленился и обругал ее.

Парочка между тем обменялась несколькими фразами:

— Мадам, вы слышите?

— Слышу, конечно. Почему мне не слышать?

— Кажется, нас хотят выкупить из неволи.

— Похоже на то.

— Чего ж она торгуется, как за гусей?

— Такое уж наше несчастье!

— Пусть хоть головой о стенку бьются, лишь бы нам выйти на волю.

— Аминь! Дай господи!

Слава богу, турецкая шаль уже сунула руку в карман за деньгами.

— Значит, не уступишь?

— Не уступлю.

— Последнее слово?

— Последнее слово.

— А может быть?.. Ну ладно! Смотри, какой злюка!.. На тебе деньги! На!

И наша пара перешла от дикаря в малахае к толстухе в турецкой шали.

4

Среди дикарей

Как только пленников доставили на новое место, их тотчас развязали, и они с удовольствием ощутили твердую землю под ногами. Оба вытянули затекшие ноги, принялись шагать из угла в угол, проверяя, служат ли они им еще. От большой радости пленники и не приметили, что до подлинной свободы еще далеко, а спустя немного времени обнаружили, что они снова в неволе. Их засадили в какой-то темный угол. С одной стороны здесь была теплая печь, с другой — холодная стена, а спереди от света отгораживала перевернутая лестница. Им принесли еду и питье и оставили одних, как говорится, на попечение божье.

Разглядев свое новое жилье, оба они стали друг против друга, надулись, как это часто бывает с совершенно незнакомыми, смотрели, смотрели, затем, повернувшись, извините, задами, разошлись в разные стороны, и каждый погрузился в свои думы.

Однако долго думать им не пришлось. Вскоре раскрылась дверь, и к ним в темницу шагнула сначала турецкая шаль, а за ней еще несколько женщин. Каждую из них турецкая шаль брала за руку, подводила к пленникам и, указав на чету пальцем, спрашивала с сияющим лицом:

— Нравится вам эта парочка?

— Сколько вы за них отдали?

— Угадайте?

Женщины принялись гадать, и ни одна не была близка к истине. Когда же турецкая шаль назвала им настоящую цену, они всплеснули руками.

— В самом деле? Правда?

— Дай нам бог всем иметь такую веселую пасху, как это правда!

На лицах у женщин мелькнула зависть, щеки их запылали, глаза зажглись, но со всех сторон тотчас посыпались благие пожелания:

— На здоровье вам!

— На благо вам!

— Дожить вам до будущего года!..

— И мужу и деткам!..

— Аминь. И вам также! И вам также!..

Женщины ушли.

Через минуту турецкая шаль вновь появилась. Она притащила с собой какого-то дикого мужчину, до глаз обросшего красными волосами, и опять спросила, сияя:

— Ты ведь знаток! Что ты скажешь об этой парочке?

— Я знаток? Какой же я знаток?

— Да ведь ты ученый. А где ученье, там и мудрость. Как думаешь, может уж теперь бог послать нам радостную пасху? Ведь это все ради его святого имени.

Обросший человек, поглаживая рыжие волосы, вознес глаза к потолку и с миной святоши произнес:

— Пусть бог даст радостную пасху всем евреям!

Турецкая шаль и обросший человек удалились, и наша пара вновь осталась одна. Оба они, мрачные, застыли в молчанье на одном месте. Потом у нее из горла вырвался какой-то странный звук — не то кашель, не то визг.

Он тотчас обернулся.

— Мадам, что с вами?

— Ничего. Я вспомнила о доме.

— Глупости. Об этом надо забыть. Лучше давайте посмотрим, где мы и что можно предпринять.

— Где мы? Глубоко в могиле. Дела наши совсем плохи.

— Например?

— Вы еще спрашиваете? Не видите, что нас продали дикарям, как продают, например, кур, уток или гусей?

— Что они с нами будут делать?

— Уж найдут что делать! Когда я еще была ребенком, то наслышалась немало рассказов о том, что делают дикие люди с такими, как мы, когда они попадут к ним в руки.

— Да ну, сказки! Не верьте бабушкиным сказкам!

— Это не сказки. Я сама слышала. Моя сестра рассказывала, что они хуже хищных зверей. Хищник, если поймает кого-нибудь из нас, разорвет и сожрет. И все тут. А эти...

— Те-те-те, мадам. Вы, кажется, смотрите на мир слишком пессимистично.

— Слишком как?

— Слишком пессимистично.

— Что такое пессимистично?

— Это значит... Это значит, вы смотрите через темные очки.

— Где вы увидели у меня очки?

— Ха-ха-ха.

— Чего вы смеетесь?

— Ох, какая вы, мадам!..

— Какая я?

Он хотел объяснить ей, какая она, но тут внезапно раскрылась дверь, и...

Читайте дальше!

5

Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр [1]

Внезапно раскрылась дверь, и в закуток ворвался вихрь, казалось, затопал целый полк солдат. Это влетела ватага ребят-озорников, с красными щечками,

[1] Игра слов, основанная на созвучиях: держи, возьми, бери *(еврейск.)*.

с черными глазками. И все они разом кинулись к печи.

— Ну-ка, где они? Где?.. Вот они! Во-во! Эй, Янкл, Берл, Велвл, Эля, Гецл! Скорей сюда! Скорей!

Вот тут-то наша пара поняла, что такое ад кромешный. На их долю выпало великое горе, муки, страдания, позор без меры, без конца. На них напали ребята и, как дикие ослы, принялись прыгать и плясать вокруг четы, разглядывать со всех сторон, издеваясь и отпуская по их адресу всякие шуточки и непристойности.

— Йосл, посмотри, какой у него нос! Ха-ха-ха.

— Ну и носик! Берл, гляди, носик!

— Велвл, потяни его за нос!

— За клюв, Эля, за клюв!.. Вот так!

— Сильней, Гецл, пускай закричит!

— Все вы дураки! Они кричат, только когда свистнешь. Они не любят, чтобы свистели. Вот я вам сейчас покажу. Фью!

Чета надулась, оба покраснели, опустили к земле носы и в один голос закричали:

— Галдр! Галдр! Галдр!

Ребята с диким хохотом повторили крик по-своему:

— Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр!

Парочка еще больше разволновалась и закричала громче прежнего:

— Галдр! Галдр! Галдр!

Это очень понравилось ребятам. Держась за бока и покатываясь со смеху, они старались перекричать пленников.

От этого состязания крикунов закуток наполнился таким громом, что в комнату тотчас ворвалась турецкая шаль (пошли ей, бог, долгие годы!) и давай хватать ребят за шиворот и вышвыривать поодиночке на двор, наделяя каждого хорошим подзатыльником и сопровождая все это длинным-предлинным проклятьем:

— Чтоб на вас, господи, обрушились все несчастья — пожары, холера, мор; чтоб вас взяло за жи-

воты так, чтобы вы катались, и катались, и выкатились бы на тот свет в компании со всеми выкрестами, господи боже мой; чтоб до пасхи от вас не осталось ни одного в живых, боже мой милостивый, милосердный!

Избавившись от этой напасти, наша чета еще долго не могла прийти в себя. Неистовые выкрики, свист, хохот диких тварей долго звенели у них в ушах. Однако уже немного спустя наш герой стал подумывать, что вряд ли есть смысл так сильно страдать из-за этого злоключения и лучше попытаться что-нибудь перекусить. Неторопливо подойдя к завтраку, который им оставили, он обратился к подруге по несчастью:

— Мадам, сколько можно горевать? Пора бы что-нибудь перехватить! Жизнь есть жизнь, честное слово! Живую душу не выплюнешь. Не забудьте, что у нас сегодня еще ничего во рту не было.

— Кушайте на здоровье. Я не буду.

— Гм... Почему? У вас сегодня пост?

— Никакого поста... Просто так.

— Может быть, вы хотите их проучить?.. Голодать? Себя погубите, и только.

— Не знаю, как можно тут кушать. Ничего в горло не лезет.

— Полезет, полезет! Первый кусок, как пробочник, он пробьет ход.

— Как что?

— Как пробочник.

— Странные у вас разговоры.

— Ха-ха-ха.

— Опять «ха-ха-ха»? Что за смех?

— Мне припомнилась встреча с маленькими выродками.

— Ну конечно, как тут не хохотать!

— А что же, прикажете плакать?

— Почему вы, господин хороший, не смеялись, когда они свистели?

— А что же я делал?

— Вы галдели.

— Я галдел? Я?

— А кто же галдел? Я, что ли?

— Вы первая начали кричать — галдр, галдр, галдр!

— Извините, это вы первый начали кричать — галдр, галдр, галдр.

— Хорошо! Какой же тут стыд, если я первый сказал галдр, галдр?!

— А какой позор, если я первая сказала галдр, галдр?

— Но если это не стыдно, чего же вы, мадам, опустили нос?

— Кто? Я опустила нос?

— А кто же опустил нос?

— Ах, как легко увидеть чужой нос!..

Жаль, что этот занимательный разговор не мог дальше продолжаться. Его прервали на самой середине. К ним снова заявился их властелин — турецкая шаль. Но об этом рассказывается ниже.

6

Экзекуция

Турецкая шаль не одна, оказывается, властвовала над ними. Пленникам суждено было познакомиться еще с одной дикой тварью в образе зеленой девки в красном платке. Обе женщины появились с руками, полными всякого добра: в чашке у них был рис, горох и фасоль, в тарелке — вареная картошка и рубленые крутые яйца, а в отвисших фартуках — ломтики яблок и волошские орехи.

Поставив еду, зеленая девица ткнула пальцем в сторону четы и сказала турецкой шали:

— Замечательно, хозяюшка! Посмотрите, ведь они даже не прикоснулись к еде!

— Пусть у меня после пасхи не будет большей заботы! Вот мы их сейчас покормим. Я подержу их, а ты пихай им в горло еду. Ну, девица, что ж ты стоишь? Чего скалишь зубы?

— Что они такое увидели на мне, что не переставая галдят: галдр, галдр?

— Ах, чтоб тебе сгореть, глупая девка! Сбрось скорей красный платок! Ведь они терпеть не могут красного!

— Фу, чтоб они пропали!

— Чтоб ты пропала, дурочка! Тебе это легче. Вот как!.. Почему ж ты не суешь ему в рот рис и фасоль?

— Почему не сую? За мной дело не станет. Я б совала ему хоть три дня подряд, да ведь, видите, не дается: вертит головой и не раскрывает рта.

— Ну, плевать нам на него. Вот я прижму ему горло, и он сразу раскроет у меня рот. Так! Толкай! Толкай!

— Ох, хозяюшка, чтоб вы здоровы были! Что-то он слишком закатывает глаза. Смотрите, как бы не подавился.

— Самой бы тебе подавиться! Тебе это легче. Тоже ведь скажет — подавился! Будто это у меня первый раз. Суй ему прямо в горло! Вот так! Я уже двадцать один год хозяйствую... Теперь положи ему в рот кусочек яблока и ядрышко ореха. Еще! Еще! Чего ты жалеешь?

— Я вовсе не жалею. Чего ради мне жалеть? Это ведь не мое. Жаль только живое существо.

— Как тебе нравится эта девка? Ей жаль живое существо! Разве мы делаем это ему во вред? Ведь мы его кормим! И во имя кого это? Во имя господа бога. Во имя святого праздника. Всевышний должен облагодетельствовать меня — я уже выкормила ему к пасхе не одну парочку. Положи ему еще орешек, — и конец. На этот раз с него хватит. *Он* уже сыт. А теперь возьмемся за *нее* и начнем, как говорится, с утренней молитвы, это значит опять с риса и фасоли.

— Чтоб вы здоровы были, хозяюшка! Как это вы узнаете, где *он,* а где *она?*

— Ах, все напасти, которые мне приснились, на твою голову. Ей велят дело делать, а она лезет черт знает с чем! Выйди замуж, глупая девка, стань хозяйкой, тогда и будешь спрашивать. А пока делай

что велят! Вот так!.. Не жалей! Это не ради кого-нибудь, а ради его святого имени. К пасхе! К пасхе!

Кончив экзекуцию, обе женщины удалились, и наши пленники остались одни. Они забились в дальний угол, положили друг на друга свои несчастные головы и углубились в такие тоскливые думы, какие приходят на ум очень редко, разве только за полчаса до смерти.

7

Червяк заберется в хрен и думает, что слаще ничего на свете нет.

Ничто так не сближает, как горе. Лучший пример тому два несчастных героя нашего повествования. В короткий срок своей неволи они сошлись характерами, начали понимать друг друга с одного взгляда, уж не стеснялись, как раньше, и так сблизились, что перестали называть друг друга на «вы», — словом, это была одна душа, одно тело; он называл ее «Душенька», она его — «Любонька».

Турецкая шаль и красный платок, заявляясь сюда с пищей, не могли досыта налюбоваться на них.

— Что скажешь об этой парочке?

— Живется им, как у бога за печкой.

— Замечаешь, как они у меня поправились?

— Упаси их бог от сглаза!

— Возьми-ка их под мышки! Что скажешь? Каков жирок? Разве не должен всевышний облагодетельствовать меня за то, что я выкормила ему к пасхе эту парочку?!

Дикие женщины проделали свое дело и удалились, а чета стала размышлять над словами турецкой шали о том, что она кормит их к пасхе и что всевышний должен ее облагодетельствовать за это. Они изощрялись в поисках ответа на свои вопросы и немало спорили по этому поводу.

— Что такое пасха, Любонька?

— Пасха, Душенька, это у них такой праздник, праздник освобождения.

— Что значит освобождения?

— Вот я тебе сейчас объясню. У них считается благим делом поймать таких вот, как мы, и кормить до самого праздника, который зовется пасхой. А когда наступит пасха, выкормышей отпускают. Теперь тебе понятно?

— Еще долго до праздника, который зовется пасхой?

— Как я понял из слов турецкой шали, не больше трех дней.

— Три дня?!

— Что ты так всполошилась, глупенькая? Эти три дня пролетят, как сон. А когда наступит добрый праздник пасхи, пред нами откроют все двери и скажут: «Айда, детки, идите туда, откуда вы пришли!» И тогда мы с тобой зашагаем...

— Ах, Любонька, какие сладостные речи! Дай бог, чтобы все было, как ты говоришь! Я, однако, страшусь другого.

— Сердце мое, ты всегда страшишься.

— Жизнь моя, ты не знаешь дикарей.

— Откуда, Душенька, ты их знаешь?

— Я, Любонька, наслушалась немало историй о них еще дома. Моя сестра рассказывала, что она сама видела...

— Опять сказки твоей сестрицы! Забудь, Душенька, эти сказки!

— Ах, милый, рада бы забыть, да не могу. Они терзают меня днем, не дают покоя ночью.

— Что ж это за истории, которые терзают тебя днем и не дают покоя ночью?

— Любонька, ты не будешь надо мной смеяться?

— Чего ж я буду, Душенька, над тобой смеяться?

— Такая уж у тебя привычка: когда я что-нибудь рассказываю, ты вечно надо мной смеешься, обзываешь дурочкой, гусыней, глупой индюшкой и тому подобными словами.

— Обещаю не смеяться, только расскажи, что говорила тебе сестра.

— Сестра рассказывала, что люди, которых мы здесь видим, хуже диких зверей. Хищник, если поймает кого-нибудь из нас, разорвет и сожрет. И кончено. А люди поступают иначе. Если кто-нибудь из нас попадется им в лапы, они держат его взаперти, кормят до отвала, пока он как следует не раздобреет...

— Ну?

— А когда он раздобреет, люди убьют его, снимут шкуру, разрежут на части, посолят, вымочат...

— Ну, и дальше что?

— А дальше разложат огонь, зажарят в собственном соку и съедят вместе с потрохами.

— Бабушкины сказки! Сказки из «Тысячи одной ночи»! Корова летела над крышей и снесла яйцо. А ты, глупая, веришь этому. Ха-ха-ха.

— Ну вот! Разве я не говорила, что ты будешь смеяться надо мной?!

— Как же иначе? Когда вы ровным счетом ничего не понимаете! Кажется, ты сотню раз слышала, как турецкая шаль говорила, что нас выкармливают не для кого-то, а для бога!

— Жизнь моя, что же из этого следует?

— Из этого следует, душа моя, что ты глупая индюшка, и только.

— У вас всегда такая привычка... Оскорбить кого-нибудь для вас — тьфу...

— Кто этот «вас»?

— Я говорю о вас, мужчинах.

— О мужчинах? Скольких же мужчин ты знала?

— Я знаю одного мужчину, и с меня достаточно.

— Нет, ты сказала «мужчин». Значит, кроме меня, ты знала других?

— Еще что выдумаешь?

— Ну вот! Уже опустила нос. Поди сюда, я тебе что-то скажу...

Эта милая любовная сцена была внезапно прервана ребятами, которые столпились под окнами. Внутрь их не пускали, вот они каждый день и собирались теперь под окнами, прижимали носы к стеклу,

кривлялись как сумасшедшие, показывали языки, хохотали, свистели и кричали всей оравой: «Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр!»

Чета, конечно, отвечала им на своем языке, но уже не так раздраженно, как раньше, а просто как отвечают, к примеру, на приветствие «Добрый день» — «Здравствуйте» или на «Прошу откушать» — «Кушайте на здоровье».

Как вы знаете, нет такого положения, к которому бы божье создание не привыкло. Наша чета настолько свыклась со своей бедой, что им уже казалось, что иначе и быть не может. Это вроде того червяка, который забрался в хрен и думал, что слаще ничего на свете нет.

8

Недобрая встреча со старым знакомым

Было раннее утро. На улице стоял густой туман, а в доме вовсе царил мрак. Наша парочка еще крепко спала. Им снился родной дом, беспредельные, широкие просторы, голубое небо, зеленая трава, серебряная речка, беспокойная мельница, которая грохочет и брызжет водой. У берега там плескались утки и гуси, по траве похаживали куры, кричали петухи, повсюду порхали птицы.

Ах, как прекрасен сотворенный для них мир! Для них? Конечно! Для кого же созданы эти высокие деревья с широкими кронами, под которыми можно вволю разгуливать?! Для кого эта мельница, подле которой они всем семейством кормились и куда не подпускали чужака за версту? Для кого этот огромный круглый небесный фонарь, который каждый вечер опускался по одну сторону реки и утром поднимался с другой стороны? Чего бы они сейчас не отдали, чтобы еще раз взглянуть хоть одним глазом на чудесное, милое пылающее солнце, на широкие,

бескрайние светлые просторы, на мельницу и все вокруг нее?!

Эти сладкие, золотые сны длились недолго. Нашу парочку разбудили и вытащили наружу. Чистый воздух туманного утра ударил им в лицо и обдал своей свежестью. Им казалось, что у них выросли крылья. Вот они поднимутся и полетят высоко над кровлями, над садами, над лесами, туда, к родному дому. Там они встретятся со своими.

«— Благословенны пришельцы. Откуда вы?

— От дикарей.

— Как с вами обошлись?

— Кормили к пасхе.

— Что такое пасха?

— Это у них такой праздник, добрый, хороший праздник освобождения...»

Так мечтала связанная чета всю дорогу, пока наконец их не привезли в какую-то узкую, темную улочку и бросили прямо в грязь. Тут они увидели забрызганную кровью стену и множество связанных по двое, по трое кур, лежавших на земле. В стороне стояли девушки и женщины; они перебрасывались шутками, зубоскалили.

Чета стала оглядываться по сторонам: «Для чего их привезли сюда? Что делают здесь связанные куры? Чего смеются девушки и женщины? Что означает эта окровавленная стена? Вот это и есть добрый, милый праздник пасха? Где же свобода? Где воля?»

Так размышляла наша чета, разглядывая связанных кур, которые лежали тихо и мирно, не задаваясь никакими вопросами, будто все это так им на роду написано. Только одна крикливая курица не унималась. Она рвалась изо всех сил, била крыльями по грязи и вопила как сумасшедшая:

— Пустите! Пустите меня! Не хочу лежать! Я побегу! Отпустите! Отпустите меня!

— Ку-ка-ре-ку! — отозвался какой-то красный петух, который был связан еще с двумя курицами, и хлопнул крыльями. — Как вам нравится эта умница?!

Она не хочет лежать! Она хочет уйти, она хочет бежать! Ха-ха-ха!

Наш герой поднял голову, пристально поглядел на нахального петуха и почувствовал, как все члены у него немеют, стынет кровь в жилах. Он побожился бы, что ему знаком этот озорник, что он где-то его уже видел, где-то слышал. Но где? Этого он никак не мог вспомнить. И все ж он ему знаком, так знаком! Его голос все еще звучит у него в ушах: Боже мой, где же он с ним встречался? И наш герой приподнялся чуть повыше.

Тут его приметил красный петух и сразу же затянул звонким сопрано:

Кукареку, длинный нос!
Вижу, жиром ты оброс.
Твой тугой живот набили
Сладкой пищей в изобилье.
Из тебя теперь, влюбленный,
Сварят жирные бульоны
И жаркое приготовят...

Однако нашему певцу не суждено было кончить свою песенку. Чья-то крепкая рука неожиданно ухватила его с такой силой, что у петуха тут же отнялся язык.

9

Последний акт трагедии

Это было странное, дикое существо, высокое, тощее, с заспанным лицом. Полы его одеяния были подоткнуты, рукава закатаны; на ногах у него были носки и ботинки, а в руках черный, поблескивающий нож. Недолго думая человек схватил петуха, завернул ему кверху голову и, глянув в круглые зрачки, выдрал у него несколько перьев, затем — чик ножом по горлу, и марш! — швырнул его подальше от себя прямо в грязь. Несчастный петух полежал немного,

затем как очумелый кинулся бежать с перерезанным горлом, ворочая головой вправо и влево, будто искал кого-то или что-то потерял.

Наш герой вгляделся в зарезанного петуха и узнал своего старого знакомого, которого видел когда-то во сне, вспомнил песенку, пропетую тогда озорником, и уже не смог и слова вымолвить своей несчастной подруге, которая прижалась к нему, трепеща всем телом.

А дикое существо с ножом делало свое дело довольно хладнокровно, как настоящий палач. Курицы летели от него одна за другой: пощекочет им ножом горло и швырнет в грязь. Одни вытягивались всем телом и, потрепыхавшись, истекали кровью; другие вскидывали головы, хлопали крыльями по грязи. Жертв с перерезанным горлом с каждой минутой становилось все больше.

Стоявшие в стороне женщины глядели на все это — и ни слова. Больше того, некоторые из них набрасывались на зарезанных и принимались тут же ощипывать перья еще у теплых, трепещущих кур, перебрасываясь словцами и хихикая, точно здесь лилась не живая кровь, а водица. Где их глаза? Где их уши? Где их сердце? Где их совесть? Где их бог?

Так размышляла наша несчастная пара, все еще лежа в грязи и наблюдая ужасную трагедию, это неслыханное злодейство среди бела дня. Неужели их доставили сюда для того же, что и всех этих кур, уток и гусей? Неужели и их, благородных, избранных выходцев из Индии, ждет та же участь, что и этих простаков? Значит, все, что рассказывают о диких людях, не выдумка?! И предсказания красного петуха?!

И они начали наконец понимать леденящую правду, им стало ясно все, о чем они слыхали и что видели до сих пор. Одного они только не могли понять: зачем турецкая шаль каждый раз хвалилась, что бог должен облагодетельствовать ее за то, что она выкормила такую парочку к пасхе? Вот этого хочет бог? Это ему любо? Ах, какой злой бог у этих диких людей!

. . . .

Через несколько минут наша влюбленная пара, наши гордые выходцы из Индии лежали на земле просто, как зарезанные индюки. Они положили друг на друга свои еще теплые перерезанные шеи, и было похоже издали, будто они крепко спят и им грезятся сладкие, золотые сны.

Это о них сказано в библии:

«Любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей».

РАЗБОЙНИКИ

Необыкновенная, но правдивая история о том, как школьники проучили своего учителя

1

— Он еще дрыхнет?
— Еще как дрыхнет!
— Чтоб его!
— Разбудите его! Разбудите его!
— Лейб-Дрейб-Обдирок!
— Проснись, голубок!
— Открой свои глазки!

Я с трудом продираю глаза, поднимаю голову, оглядываюсь по сторонам и вижу перед собой целую кучу сорванцов, моих товарищей по хедеру. Окно раскрыто настежь, и вместе с их сияющими весельем и радостью глазами в комнату врываются первые лучи теплого, ясного утреннего солнца.

— Смотри, как озирается!
— Уж, верно, напроказил?
— Что, не узнал нас?
— Забыл, что сегодня лагбоймер?
— Ах, лагбоймер?.. — Молнией проносится это слово в моем мозгу. Я вскакиваю с постели. В один миг я на ногах. Еще минута, и я одет, умыт, готов идти. Ищу мать. Она захлопоталась с завтраком, возится с малышами.

— Мама, сегодня лагбоймер.

— С праздником тебя! Что еще скажешь?

— Ребята устраивают пир в складчину.

— Нет у меня ничего, кроме горя!

Так говорит мать, хотя она и готова все-таки кое-что дать мне. Мы начинаем торговаться, я хочу больше, она дает меньше. Я прошу два яйца. Она отвечает: держи карман шире! Я начинаю приставать и получаю по щеке. Начинаю плакать, она успокаивает меня яблоком. Я прошу апельсин. Она говорит:

— Ненасытная глотка, что еще придумаешь?

А товарищи за окном торопят, житья не дают.

— Скоро соберешься?

— Лейб-Дрейб-Обдирок!

— Время не ждет.

— Скорее! Скорее!

— Вылетай живее!

После долгих препирательств мы наконец договорились. Я получаю свой завтрак, получаю мою долю для пирушки и выбегаю на улицу к товарищам, веселый, радостный, возбужденный, и все мы одним духом мчимся вниз с горы в хедер.

2

В хедере шум, галдеж, настоящая ярмарка. Два десятка голосов кричат все разом. Стол уставлен всякой всячиной. Такой пирушки, как нынче, у нас никогда еще не было. Даже водки и вина принесли. Этим мы обязаны нашему товарищу Берл-Иослу, сыну виноторговца. Он притащил бутылку водки, отличной водки, и две бутылки вина, настоящего изюмного вина, собственное изделие его отца. Водку дал отец, а вино он сам взял.

— Как это сам взял?

— Чего тут не понимать, балда? Взял незаметно с полки, никто не видал.

— Значит, ты украл?

— Умная голова, подумаешь, какая беда!

— Как это не беда? А заповедь «не укради»?

— Для праздничной пирушки? Осел!
— Для пирушки можно красть?
— А ты не знал, умница?
— Где ты об этом вычитал?
— Ох, уморил. Поищи в писании!
— Глава «бери»!
— Страница «тащи»!
— Под новый год, в летний день!
— Ха-ха-ха!
— Тише, ребята, Мазепа идет!

Сразу становится тихо, как во время молитвы. Все сидят за столом притихшие, невинные агнцы, кроткие голубки, худого слова не скажут, смирные, золотые деточки.

3

Мазепа — так прозвали мы своего учителя. Настоящее-то его имя Борух-Мойше. Но так как он переехал в наш город недавно из Мазеповки, то в городе ему дали кличку «Мазеповский», а мы, школьники, переделали ее в Мазепу. Впрочем, когда школьники наградят учителя прозвищем, то оно уж верно заслужено. Позвольте его вам представить.

Маленький, сухонький, невзрачный, огрызок какой-то. Ни следа бороды, ни усов, ни бровей. Не потому, что он, упаси бог, бреется, а просто так — не растут, да и все, будто сговорились. Зато уж губы у него и нос — ну и нос! Кулич, рог, труба, а не нос! И глотка у него — колокол, львиный рык. Откуда у этого огрызка такая могучая глотка? И где только силы берутся? Как защемит тебе руку своими тонкими холодными пальцами — свету божьего невзвидишь! А как угостит по щеке — целую неделю помнить будешь! Разговор с учениками у него короткий! По малейшему поводу — прав ты, неправ — у него один суд: ложись!

— Господин учитель, Иосл меня ударил.
— Ложись!
— Неправда! Он первый толкнул меня.
— Ложись!

— Господин учитель, Хаим показал мне язык!
— Ложись!
— Врет, он сам мне кукиш показал.
— Ложись!

И ничего не поделаешь — надо ложиться. Никакая сила тебе не поможет. Даже рыжий Эля, тринадцатилетний малый, уже просватанный, при серебряных часах, и ему Мазепа как всыплет! Ого, по первое число! Эля говорит, что порка эта Мазепе даром не пройдет. Еще он посчитается, говорит, с Мазепой, да так, что тот запомнит на веки вечные! Так говорит Эля каждый раз после порки, а мы отвечаем:

— Аминь, из твоих уст да в божьи уши!

4

После того как все помолились под надзором учителя (без надзора Мазепа молиться не дает: знает, что без него мы все молитвы скомкаем), Мазепа обращается к нам своим львиным рыком:

— Ну, дети, давайте садиться за стол! Кончите пирушку, отправитесь в поле погулять.

Мы-то привыкли устраивать свою пирушку за городом, на свежем воздухе, на травке, под синим небом, бросать птичкам крошки, пускай и птички знают, что у нас праздник. Но с Мазепой спорить не приходится. Уж если Мазепа сказал «садись», значит — садись. А то как бы не сказал «ложись».

— Приятного аппетита, ребятки, — говорит нам учитель, когда мы усаживаемся за стол.

— Просим к столу! — говорим мы из приличия.

— Кушайте на здоровье! — говорит нам Мазепа. — Есть еще не хочется, но выпить за ваше здоровье можно. Что это у вас там в бутылке? Водка?.. — И он протягивает свою худую руку с костлявыми пальцами, достает бутылку, наливает себе в рюмку, отпивает и делает губами такую гримасу, что мы еле-еле удерживаемся от хохота.

— Чья это водка? Ну и забористая! — говорит учитель и наливает себе новую рюмку. — Недурное

винцо, право,— и наливает себе в третий раз, пьет за наше здоровье.— Дай бог дожить до будущего года, дети, и... и... чтоб... Нет ли у вас чем закусить? Ладно уж, сяду с вами за стол и в честь лагбоймер закушу с вами.

Что это стало с нашим учителем? Подменили нашего Мазепу! Повеселел, разговорился, щечки разрумянились, нос покраснел и глаза блестят. Он жует, и болтает, и кивает на бутылки с вином.

— Что это у вас там за вино? Пасхальное, видно? (Он пробует вино, растопыривает губы). Псссс! Ну и сердитое! (Пьет.) Давно уж я такого вина не пил, право слово. (С улыбочкой к Иослу.) Ты, что ли, постарался? Хе-хе! У твоего отца в подвале полно бочек — я сам видал — знатное винцо, из чистого изюма... Хе-хе... За ваше здоровье, ребятки! Дай вам бог вырасти евреями добрыми и благочестивыми, и... и... откупорить вторую бутылку... Возьмите и вы по рюмочке... Чего вы не пьете? Выпьемте за здоровье! Дай бог (он облизывается, глаза у него слипаются), чтоб... чтоб... всякого добра... вместе со всеми евреями...

5

Покушав и помолившись после еды, Мазепа обращается к нам заплетающимся языком:

— Итак, мы, значит, исполнили, а? Исполнили завет, устроили пирушку в наш праздник лагбоймер. Ну, а теперь что? А?

— А теперь пойдем на прогулку.

— А? На прогулку? Отлично! Куда, например?

— В Черную рощу.

— В Черную рощу? Замечательно! И я с вами. Прогуляться по лесу очень хорошо, очень полезно, потому что лес... А? Сейчас я вам поясню пользу леса...

И мы все отправляемся с учителем за город. Сначала нас немного стесняло, что учитель идет с нами. Но — молчок! А учитель шагает посреди нас, размахивает руками и объясняет нам пользу леса:

— Природа леса такова, понимаете, то есть господь создал его так, что в лесу растут деревья, а на них, на деревьях, значит, растут ветки, а ветки покрываются листьями, и, чтоб они благоухали, эти листья, издавали бы приятное благовоние и, значит, аромат...

Говоря так, учитель втягивает носом это приятное благовоние, хотя мы еще далеко от леса и запахи вокруг нас не так уж благовонны и ароматны.

— Чего вы молчите? — обращается к нам учитель. — Рассказали бы что-либо интересное. Песню затянули бы! И я был когда-то мальчишкой, сорванцом, как вы, хе-хе... и у меня был учитель, как у вас, хе-хе...

То, что Мазепа был когда-то сорванцом, как мы, и имел учителя, как и мы, кажется нам диким и почти невероятным: Мазепа — сорванец? Мы переглядываемся и украдкой хихикаем. Мы представляем себе, как наш учитель, Мазепа, был когда-то сорванцом, имел учителя и учитель его... Даже подумать страшно о такой вещи. Один рыжий Эля набирается духу и спрашивает его:

— Господин учитель! А ваш учитель вас тоже порол, как вы нас порете?

— Еще бы! Да как еще порол, хе-хе...

Мы глядим на учителя, переглядываемся между собой и хорошо понимаем друг друга... Нас разбирает смех от его «хе-хе», и мы смеемся, дурачимся... Но вот мы уже за городом, на широком поле, недалеко от Черной рощи...

6

В поле чудесно, истинный рай. Зеленая пахучая трава, беленькие цветочки, желтые ромашки, легкие бабочки. А над всем этим широко раскинулся голубой свод весеннего неба. Неподалеку лес, празднично одетый. По деревьям птички прыгают с ветки на ветку, поют, щебечут. Это они приветствуют нас — добро пожаловать, ребятки! Мы ищем тень под гу-

стым деревом, защиту от палящего солнца, и усаживаемся все на траве. Учитель посередине.

Учитель устал с дороги, он бросается на траву, вытягивается лицом вверх. Глаза у него слипаются. Язык заплетается:

— Вы славные, милые ре... ребята. Чудесные дети... Праведники... Я вас люблю... и вы меня... Правда, вы меня лю... любите?..

— Как собака палку, — отвечает Эля.

— А? Что? Я знаю, вы меня лю... любите, — говорит наш учитель.

— А как же, любим. Сперва утешим, потом повесим! — говорит Эля.

Страх охватывает нас, мы говорим Эле:

— Эля, что ты?!

— Дураки! — со смехом отвечает нам Эля. — Чего вы боитесь? Разве вы не видите, что он пьян вдрызг?

— А? — спрашивает учитель и глядит на него одним глазом (второй глаз уже спит). — Что ты сказал? Праведники! Все праведники... милость господня... хль... хль-хль... хр-р-р-ссс...

Наш учитель заснул, громко храпит, точно труба, и его храп разносится далеко по лесу. Мы все сидим вокруг него, и нам делается горько на душе: «Вот это наш учитель? Тот самый, один вид которого приводил нас в трепет? Вот это — Мазепа?»

7

— Ребята! — обращается к нам Эля. — Чего мы сидим, как болваны? Давайте подстроим штуку Мазепе!

Нас охватывает ужас.

— Чего вы трусите, дурни? — уговаривает нас Эля. — Он сейчас труп, мертвец.

От этих слов мы приходим еще в больший ужас, а Эля продолжает свое:

— Теперь мы можем с ним сделать все, что угодно. Всю зиму он нас порол, как баранов. Давайте хоть раз отомстим ему.

— А что ты придумал?

— Чем ты его напугаешь?

— Ничего. Я хочу его только напугать.

— Сейчас увидите, — говорит Эля, поднимается с места, подходит к учителю, срывает с него кушак и обращается к нам: — Видите? Вот его же собственным кушаком мы привяжем его к дереву, да так, чтоб он не мог сам себя развязать. Потом один из нас подойдет и крикнет ему на ухо: «Учитель, разбойники!»

— А потом что?

— Ничего. Мы разбежимся, а он будет кричать «караул».

— До каких же пор он будет кричать?

— Пока привыкнет.

Недолго думая Эля связал кушаком учителю обе руки, ладонь к ладони, и прикрутил их к дереву, а мы стоим и наблюдаем. Дрожь пробегает по телу.

«Вот это наш учитель?.. Тот самый, один вид которого приводил нас в трепет? Вот это — Мазепа?»

— Что вы стоите как истуканы? — говорит нам Эля. — Если бог уже сотворил чудо и Мазепа оказался в наших руках, то давайте попляшем, повеселимся!

Мы беремся за руки, кружимся в хороводе, как дикари, вокруг нашего учителя, пляшем, прыгаем и поем, словно оглашенные.

— Довольно, ребята! — говорит Эля.

Мы останавливаемся. Эля подходит к учителю, наклоняется над ним и кричит над самым его ухом так, что и мертвого разбудил бы:

— Караул! Учитель! Разбойники! Разбойники! Разбойники!

8

Сломя голову мы бежим все как один, боимся остановиться на мгновение, боимся оглянуться назад. Страх обуял нас всех, даже Элю, хотя он не перестает кричать на нас:

— Дураки! Олухи! Ослы! Чего вы бежите?

— А ты чего бежишь?

— Вы бежите, и я бегу.

В город мы влетели с гиком и криком:

— Разбойники!.. Разбойники!..

Люди увидали, что мы бежим, и побежали за нами. Другие увидали, что люди бегут, и давай бежать за ними.

— Куда это бегут?

— А кто его знает? Все бегут, и мы бежим.

С большим трудом кое-как удалось остановить одного из нас. На него глядя, мы все остановились, не переставая, однако, кричать: «Разбойники! Разбойники! Разбойники!»

— Где? Где? Где?..

— Там, в Черной роще, на нас напали разбойники, привязали учителя к дереву, бог знает, жив ли он?..

9

Если вы завидуете нам, что мы свободны и не ходим в хедер (учитель наш заболел), то ваша зависть напрасна. Совершенно напрасна! Никто не знает, что у кого болит. Никто, никто не знает, кто были настоящие разбойники. Мы редко видим друг друга, а когда встречаемся, первый наш вопрос: «Как здоровье учителя?» (Учителя, а не «Мазепы»!) А Эля? Не спрашивайте нас про Элю! Чтоб он сгинул, этот Эля!..

Эпилог

Когда учитель выздоровел (месяца полтора он пролежал в горячке и все бредил разбойниками), и мы вновь пришли в хедер, мы с трудом узнали его. Так сильно он изменился. Куда девался его львиный голос? Плетку он куда-то забросил, не слышно больше «ложись». Уж он больше не «Мазепа». На лицо

его легла тихая, мягкая грусть. Чувство раскаяния закрадывается к нам в душу. Мазепа становится нам дорог, близок. А он хоть попрекнул бы нас, хоть бы слово сказал. Как будто ничего не случилось. Только иногда во время занятий он внезапно прервет нас и просит рассказать ему еще раз, как было дело с разбойниками тогда, в лагбоймер. Мы не заставляем себя долго просить и рассказываем ему придуманную нами басню, как разбойники выскочили из лесу, накинулись на него, связали, хотели зарезать ножом, а мы бросились с криком в город и этим криком спасли его...

Учитель с закрытыми глазами выслушивает наш рассказ до конца, вздыхает и внезапно спрашивает:

— Вы наверное знаете, что это были разбойники?

— А кто же, по-вашему?

— Может быть, какие-нибудь сорванцы, а?

Глаза учителя смотрят куда-то вдаль, и нам кажется, что на его толстых мясистых губах промелькнула лукавая усмешка.

ЭСФИРЬ

Рассказано в честь праздника пурим

Не о хедере, не о ребе и не о его жене хочу я вам рассказать. Об этом я уже вам немало рассказывал. Не разрешите ли вы мне на сей раз рассказать вам об Эсфири, дочери ребе?

1

Если библейская Эсфирь была так хороша, как та Эсфирь, о которой я здесь рассказываю, то нет ничего удивительного в том, что она очень понравилась царю Артаксерксу. Та Эсфирь, о которой я здесь рассказываю, нравилась всем. Все ее любили. Все, решительно все. Даже я, даже мой старший брат Мотл, хотя ему давно уже исполнилось тринадцать лет, и ему давно уже сватают невест, и он давно уже носит серебряные часы с цепочкой (если память мне не изменяет, у него уже и бородка тогда пробивалась). И любил ли ее мой старший брат Мотл, об этом спросите у меня. Уж я вам точно скажу. Мотл думает, что я не понимаю, зачем это он каждую субботу ходит в хедер повторять священное писание. Конечно, Мотл не очень прилежен. А бывает так: в субботу после обычной трапезы ребе погружается в сон и

храпит вовсю. Жена его судачит с соседками на завалинке; мы, ученики, с увлечением играем в разные игры. А Мотл и Эсфирь глаз друг с друга не сводят. Она смотрит на него, а он — на нее. Иногда мы играем в «куцибабу». Знаете, что такое «куцибаба»? Вот я вам объясню. Вам завязывают глаза платком, выводят на середину комнаты, а все бегают вокруг и поют: «Га-га-га, лови меня!»

Мотл и Эсфирь тоже играют с нами. «Куцибаба», говорят они, им нравится. Знаю я, почему им нравится. Играя с нами в «куцибабу», они гоняются друг за дружкой, ловят друг дружку. Он — ее, она — его.

О многом хочется рассказать, но я не такой...

Однажды я их застал на месте преступления — они держались за руки. И случилось это не в субботу, а в обыкновенный будний день. Это было в сумерки. Мотл собрался в синагогу к вечерней молитве. По дороге он завернул к нам в хедер. «Где ребе?» — «Ребе нет». Тогда он подходит к Эсфири и берет ее за руку, а я стою и наблюдаю. Она вырывает руку. Ну, он мне и сует копейку — знай, мол, да помалкивай. «Две», — говорю я. Он дает две. «Три», — говорю. Он дает три. Попроси я четыре копейки, он дал бы и четыре. А пять? А шесть? Но я не такой...

Однажды произошло... Но довольно присказок, перейдем к самой сказке.

2

Мой брат Мотл, как вам известно, уже взрослый. В хедер учиться не ходит. Дома учиться не хочет. Поэтому отец ругает его «болваном». Матери это не нравится. «Что за манера взрослого парня ругать болваном? Ведь он в женихи норовит...» А отец на это: «Что ж поделаешь, раз он болван?» И начинается ссора. Не знаю, как другие родители. Мои только знают что ссориться. Рассказать бы вам, какие у нас ссоры да раздоры, вы со смеху покатитесь. Но я не такой...

Словом, мой брат Мотл больше не учится в хедере. Однако он не забывает каждый год посылать ребе подарок к празднику пурим. Как-никак — бывший ученик. Он посылает в подарок стихотворение на древнееврейском языке с нарисованным щитом Давида и с двумя бумажными рублями в конверте.

С кем послать ребе такой подарок? Конечно, со мной. И брат мой Мотл обращается ко мне: «Возьми вот, отнеси ребе подарок, а когда вернешься — получишь пятачок». Пять копеек — большие деньги, что и говорить. «Ну и что?» — «Хочу, говорю, получить деньги вперед». Но брат сердится на меня: «Дерзкий мальчишка!» — «Возможно, говорю, что я и дерзкий мальчишка, не стану спорить, но денежки гони вперед». Как, по-вашему, чья взяла?

Уплатив вперед обещанные пять копеек, он вручает мне подарок для ребе — запечатанное письмо, и когда я уже совсем было собрался в путь, он сует мне в руку еще одно письмецо и говорит торопливым шепотом: «А вот это отдашь Эсфири...» — «Эсфири?» — «Эсфири...» Другой на моем месте потребовал бы за такое поручение двойную плату, но я не такой...

3

«Господи боже мой! — думаю я по дороге. — Как бы узнать, о чем пишет мой брат дочери ребе? Надо посмотреть. Только посмотреть. Ничего ведь с ним не станется». Распечатываю письмецо к Эсфири и читаю целое послание, ни дать ни взять из библейской книги «Сказание об Эсфири».

Вот послушайте. Передаю слово в слово!

«От Мордехая к Эсфири!

Некий иудеянин — некий парень, *жил в Сузах — граде престольном* — жил в нашем местечке, *имя его Мордехай* — звали его Мотл. *И был он воспитателем* — полюбил он *Гадасы*-красавицу, она же Эсфирь — это Эсфирь. *Девица эта была красива* — хороша собой, стройна станом — *и понравилась ему*

девушка — и девушка ему понравилась. *Но не сказывала Эсфирь о народе своем* — Эсфирь не рассказывала никому, *потому что Мордехай* — то есть Мотл, *ей приказал* — наказал ей, *чтобы она никому не сказывала* — никому об этом не говорила. *И всякий день Мордехай прохаживался* — Мотл проходил мимо ее дома, *мимо дворца царицы,* чтобы посмотреть на Эсфирь. *И когда пробил заветный час для Эсфири* — и когда наступит пора для Эсфири, дочери Абихаила,— пора сочетаться браком, *и взята была Эсфирь к царю Артаксерксу* — он возьмет Эсфирь в жены, *и он возложит царский венец на голову ее* — и он с ней повенчается».

Каково? Здорово мой братец истолковал книгу Эсфири? Что сказал бы ребе о таком толковании? Ага! Придумал, честное слово, придумал! Перепутаю адреса: стихи, посвященные ребе, отдам Эсфири, а послание Эсфири отдам ребе — пусть наслаждается. Что? Столпотворение?! Кутерьма? Но что же я такого сделал? Ведь каждый человек может ошибиться! И почтальон иной раз не вручит письма. Правда, со мной этого никогда не случится. Я ведь не такой...

4

— С праздником, ребе! — врываюсь я в школу с таким шумом, что ребе вздрагивает. — Мой брат посылает вам подарок к празднику и желает вам счастливой жизни.

И я отдаю ребе послание. Мой ребе распечатывает конверт, глядит, размышляет, вертит послание во все стороны. По-видимому, он ищет чего-то. «Ищи, ищи, — думаю я про себя, — много найдешь...»

Ребе надевает свои серебряные очки, прочитывает послание, и хоть бы что, даже глазом не моргнул. Только глубоко вздохнул. Затем он обращается ко мне: «Подожди, я напишу несколько слов». А я тем временем слоняюсь по комнате, получаю у жены ребе пряник и кусок пирога, и между прочим, улучив мо-

мент, сую Эсфири в руку стихи, посвященные ребе, вместе с подарком. Она покраснела, спряталась в уголок. Смотрю — лицо ее запылало, как свеча, а глаза горят — смотреть страшно! «По-видимому, недовольна подарком», — думаю я про себя и подхожу к ребе. Он вручает мне свои «несколько слов».

— Прощайте, ребе, до будущего года! — И отправляюсь домой.

Когда я очутился уже за дверью, меня нагнала Эсфирь с заплаканными глазами. «Вот, — сердито сказала она, — вот это отдашь брату!»

По дороге я вскрываю сперва письмо ребе, — он старше, ему и почет. Там написано следующее: «Дорогой и любимый ученик мой, Мордехай! Благодарю тебя очень, очень за твой подарок, присланный мне. В прошлом и позапрошлом году ты присылал мне другие подарки, настоящие. В этом году ты прислал мне новый комментарий к библейской книге «Эсфирь». Благодарю тебя за него. Но должен тебе сказать, Мотл, что твое толкование мне нисколько не понравилось. Во-первых, написано «В Сузах — граде престольном», это значит в столице, а не «в нашем местечке». Во-вторых, интересно знать, где это ты вычитал, что Мордехай был простым парнем? И почему ты решил, что выражение «он был воспитателем» означает «полюбил ее»? А твое толкование слов «и он возложил царский венец на голову ее» как намерение «с ней повенчаться» просто ни с чем не вяжется. Во-первых, «венец возложил на голову ее» не Мордехай, а царь Артаксеркс. Во-вторых, нигде в книге «Эсфирь» не сказано, что Артаксеркс венчался с Эсфирью. Не велика премудрость взять текст священного писания и так исказить! Каждое толкование должно иметь смысл! В прошлом и позапрошлом году ты присылал мне кое-что другое. В этом же году тебе пришло в голову послать своему ребе комментарий к книге «Эсфирь», да к тому еще комментарий искаженный. Ну да ладно, стало быть, так надо. Посему я отсылаю тебе твое послание, и да пошлет тебе господь бог счастливый год, как желает тебе твой ребе...»

Вот это головомойка! Так ему и надо, моему братцу! Больше он таких посланий писать не будет.

С письмом ребе покончено. Но надо же взглянуть, что пишет она, дочь ребе? Вскрываю письмо — и что же? Оттуда вылетают два бумажных рубля. Что за напасть? Читаю всего две строчки:

«Мотл, благодарю тебя за твои два рубля, возьми их обратно. Не такого письма я ждала от тебя. Подарки твои мне не нужны, а милостыня — тем более...»

Ха-ха, занятно, не правда ли? Милостыни она не желает! Замечательная история, честное слово! Что же делать дальше? Другой на моем месте порвал бы, конечно, оба письма, а деньги положил бы в карман. Шиш с маслом принес бы он домой, а не два рубля. Но я не такой... Послушайте-ка лучше, что я придумал. Плату за труды я ведь от брата получил, решил я, ну и ладно! И я отдал оба письма отцу. Услышим, что отец скажет? Он лучше, чем ребе, поймет послание брата, ведь отец — это все же отец, а ребе — только ребе...

5

Что произошло, когда отец прочитал оба письма и послание Мотла, — лучше и не спрашивайте. Я мог бы сказать, как мой брат Мотл, словами из книги Эсфири: «И град Сузы в смятении».

Но не в этом дело. Вам, вероятно, хочется знать конец: что было дальше с дочерью ребе Эсфирью и моим братом Мотлом? Что могло быть? Ничего. Эсфирь вышла замуж. Выдали ее за вдовца. Ах, как она плакала! Я был на ее свадьбе. Почему она так плакала, не знаю. Наверно, предчувствовала, что ей с мужем недолго жить. Так оно и вышло. Прожила она с ним полгода и умерла. Отчего она умерла — не могу вам сказать. Не знаю, да и никто этого не знает. Ребе и его жена тоже не знают. Поговаривали, что она отравилась, сама себя отравила. Но это неправда. «Враги выдумали», — слышал я от самой жены ребе.

А мой брат Мотл? Ого! Он еще раньше женился, еще до того, как Эсфирь стала невестой, и уехал туда, к тестю. Но вскоре он вернулся. И вернулся один. В чем дело? Он желает развестись. Отец ругает его: «Болван». А матери не нравится, что ругают Мотла. Вот они и ссорятся. Весело! Так-таки ничего не смогли с ним поделать. Он развелся и женился на другой. У него уже и детки есть. Мальчик и девочка. Девочку зовут Эсфирью. Отец было сказал, чтобы ее назвали Гитл, по имени его матери, бабушки Гитл. А мать хотела, чтобы ее обязательно назвали Леей, в честь ее матери, бабушки Леи. Из-за этого между отцом и матерью разгорелась ссора. Весь день и всю ночь они спорили. И порешили назвать ее Лея-Гитл, в честь обеих бабушек. На этом помирились. Вдруг отец раздумал. Он не хочет имени Лея-Гитл. «Почему?» — «Так! Почему это имя твоей матери должно быть первым?» Тут приходит мой брат Мотл из синагоги и говорит, что девочку уже назвали: Эсфирь. Отец сердится: «Болван! Почему Эсфирь?» А Мотл ему отвечает: «Ты забыл, что скоро праздник пурим?..» Что тут отцу возразить? Кончено. Отец больше не кричит и не ругает Мотла «болваном»... Отец и мать как-то странно переглядываются и молчат...

А как понять этот взгляд и это молчание — не знаю. Может быть, вы знаете?

ПАСХА В ДЕРЕВНЕ

1

Пусть дуют ветры, пусть воют бури, пусть все на земле ходуном ходит — что до этого древнему дубу! Испокон веку стоит он, глубоко уйдя могучими корнями в сырую землю! Что ему ветры? Что ему бури?

Древний дуб — это не символ. Это живой человек по имени Нахмен Веребовский из Веребовки. Высокий, широкоплечий, кряжистый — богатырь. Все евреи в городе смотрят на него с завистью и в то же время подтрунивают над ним: «Шолом алейхем![1] Как вы себя чувствуете, как ваше здоровье?» Нахмен знает, что они смеются над ним и над его ростом. Он старается немного сгорбиться, чтоб казаться ниже, чтоб немного более походить на еврея. Но это мало помогает, слишком уж он вырос.

В Веребовке Нахмен — старожил. «Наш Лахман» называют его крестьяне. Они считают его неплохим и толковым человеком и любят покалякать с ним. С ним советуются, как быть с хлебом. У «Лахмана»

[1] Мир вам! (*еврейск.*).

есть календарь, и он знает, дорогой или дешевый будет хлеб в нынешнем году. А иногда толкуют и о том, что слышно на белом свете вообще. «Лахман» ездит в город, видится с людьми, он знает, что делается на свете.

Невозможно представить себе Веребовку без Нахмена Веребовского. Не только его отец, Файт Веребовский, родился и умер в Веребовке, но даже дед его Арье, — царство ему небесное, это был умница и балагур, — хвастался, что деревня потому и называется Веребовкой, что там проживает Арье Веребовский. Потому что еще прежде, чем Веребовка сделалась Веребовкой, он, Арье Веребовский, уже был Веребовским. Да, так говаривал его дед. Вот какие были люди!

И вы думаете, что Арье Веребовский говорил это просто так? Нет, Арье был не столь глуп, чтобы болтать зря.

Он имел в виду гонения на евреев *. В те времена тоже были гонения на евреев. Уже тогда поговаривали, что их будут выселять из деревень. И не только поговаривали, но и выселяли. Выселяли и многих выселили. Но старого Арье Веребовского — дудки, руки коротки! Говорили, что сам губернатор ничего не мог поделать, так как Арье Веребовский доказал, что по «закону» его никто из Веребовки выгнать не может. Вот какие были люди!

2

Конечно, когда имеешь такие, можно сказать, неоспоримые права на проживание в Веребовке, можно чувствовать себя достаточно прочно. Что нашему Нахмену Веребовскому «гонения», «черта», «циркуляры»? Что Нахмену до злодея Курочки, с его баснями, которые он каждый раз приносит из волости? Курочка — небольшого роста, с короткими руками; на нем поддевка и высокие сапоги; он носит часы с серебряной цепочкой — ни дать ни взять настоящий

барин! Он волостной писарь, поэтому он знает, что у кого болит. Кроме того, Курочка читает все эти «хорошие» газеты, которые нынче изрыгают хулу и клевету на евреев.

Курочка — сосед Нахмена, и они как будто приятели. Когда у Курочки болит зуб, «Лахман» дает ему полосканье. Если жена Курочки, например, рожает, то «Лахманка» у нее повитухой. Но с некоторого времени, — черт его знает! — с тех пор как Курочка начитался этих знаменитых газет, он переменился. Каждый раз он приходит к соседу с новостью: «Новый губернатор прибыл», «Новый циркуляр от министра», «Новое распоряжение о евреях»... У Нахмена в эту минуту обрывается сердце и кровь стынет в жилах, но он не подает виду. Не должен Курочка об этом знать! И Нахмен выслушивает его с улыбкой и показывает ему одной рукой на ладонь другой руки: дескать, вот когда здесь волосы вырастут... Пускай сменяются губернаторы, пусть министры пишут циркуляры, — что до всего этого Нахмену Веребовскому из Веребовки?

3

Живется Нахмену Веребовскому из Веребовки сносно. С прежними временами, разумеется, не сравнить. Конечно, в годы дедушки Арье жизнь была иная. Вот то была жизнь! Вся Веребовка, можно сказать, принадлежала им. Не одно дело имели они, а несколько: держали трактир, лавку, мельницу, амбар с зерном. И доходы были! Как говорится, деньги загребали лопатой. Но все это было когда-то. Было да сплыло. Никаких трактиров, никаких лавок, никаких амбаров с зерном. Ничего. Ничегошеньки. Тогда вы спросите: если так, то зачем же еврею сидеть в Веребовке?

А где ж ему сидеть? В преисподней? Пусть только Нахмен продаст дом, он уже не веребовский. Он тогда будет уже чужаком, гостем. А так все-таки свой угол, есть где голову приклонить. Собственный дом, при доме огород. Жена и дочери сами обрабатывают

землю. И когда бог дает урожай, они все лето обеспечены зеленью, картошки хватает на всю зиму и даже до самой весны. Но не одной картошкой жив человек, к картошке, говорят, еще хлеб требуется. А хлеба нет. Что ж? Нахмен берет клюшку и отправляется по деревне чем-нибудь промышлять. И уж он не придет домой с пустыми руками! Купит что бог пошлет: немного железного лома, гарнец пшена, старый мешок, а не то — овчинку. Овчину растянут, просушат и отнесут в город, к Авром-Эле, шапочнику. И из всех этих дел получается или прибыль, или убыток. На то уж ты купец! «Купець як стрілець!» — говорит Нахмен. Он любит крестьянские пословицы. А Авром-Эле, человек с подсиненным носом и черными пальцами, словно вымазанными в чернилах, смеется над ним, — так он огрубел среди мужиков, что даже поговорки у него мужицкие.

4

Да, он огрубел в деревне. Нахмен сам чувствует, что чем дальше, тем больше грубеет. Конечно, если б его дед, Арье Веребовский, царство ему небесное, встал из гроба и посмотрел на своего внука!.. Ай-яй-яй!.. Вот это был человек! Тоже богатырь, но знаток священного писания. Знал наизусть и «Поучения отцов», и молитвы, и псалмы. Вот какие были люди! А он, Нахмен, что он знает? Совестно сказать, — он едва-едва умеет молиться. Но и это хорошо. Его дети и этого знать не будут... Посмотрит Нахмен на детей, как они растут, все без толку, высокие и широкие, как отец, и ни читать, ни писать, тоже, как отец, и так станет ему горько... Больше всего у него болит сердце за самого младшего. Файтл зовут его. Он назван по деду Файтлу Веребовскому, царство ему небесное. Хороший мальчик, этот Файтл, прекрасные у него способности. Он и ростом поменьше других детей, субтильный такой, больше похож на еврея. А голова у него — министерская. Только один раз

шутки ради показали ему в молитвеннике алеф и бейс [1], и он уже безошибочно их различает. Никогда он вам не скажет на алеф, что это бейс, и на бейс — что это алеф. И такое золото растет в деревне, среди телят и поросят. Играет Файтл с сыном Курочки, Федькой, ездит с ним вместе верхом на палочке, оба гоняются за кошкой, копают оба одну ямку, словом, делают все то, что делают маленькие дети. Посмотрит Нахмен, как его мальчик играет с крестьянским мальчиком, и обидно ему делается, и он сохнет, как подрубленное дерево...

5

А Федька — славный паренек, с приятным, симпатичным личиком, с льняными волосами. Он одних лет с Файтлом и без Файтла жить не может. И Файтл его любит. Целую зиму лежат эти двое детей, каждый у своего отца на печке, тянутся к окошку и скучают друг по дружке. Редко-редко выпадет им счастье увидеть друг друга. Но вот прошла зима, долгая, суровая зима. Вот земля освободилась от своего холодного белого покрова. Блеснуло солнце, и ветерок все обсушил, показалась травка, и там, под горой, заиграла речка. Теленок раздул ноздри и нюхает воздух. А петух закрыл один глаз и стоит задумавшись. Все вокруг ожило, все радуется: скоро пасха! В эту пору уже не удержать дома ни Федьки, ни Файтла. Оба они выбираются на свет божий, который одинаково открылся для них обоих. Они берутся за руки и бегут к горе, которая одинаково улыбается им обоим: «Сюда, ребята, сюда!» Они прыгают навстречу солнцу, которое обоих их приветствует и обоих зовет к себе: «Сюда, детишки, сюда!» А когда они устают бегать, оба мальчика садятся на божью землю, которая не различает ни еврея, ни русского и зовет: «Ко мне, дети, ко мне!»

---

[1] Алеф и бейс — названия начальных букв еврейского алфавита.

6

Обоим есть что порассказать — целую долгую зиму они не виделись. Файтл хвастается, что знает уже почти всю азбуку. А Федька — что у него есть кнут. Тогда Файтл начинает рассказывать, что у них сегодня ночью пасха. У них уже есть маца на все восемь дней пасхи, есть и пасхальное вино.

— Помнишь, Федька, в прошлом году я принес тебе мацу?

— Мацу? — говорит Федька, и его милое личико расплывается в улыбке. Он, видно, вспомнил вкус прошлогодней мацы...

— А ты хотел бы, Федька, сейчас попробовать кусочек мацы?

— Вот еще вопрос?! Есть о чем спрашивать?!

— Ну, пойдем же туда, — говорит ему Файтл и показывает на гору, которая зеленеет вдали и кивает им: «Сюда, дети, сюда!»

Они взбираются на гору, останавливаются на мгновение, зачарованные, смотрят сквозь пальцы на играющие редкие лучи доброго солнца и вдруг бросаются на еще влажную землю, которая уже пахнет зеленью. Файтл вынимает из-за пазухи свежую белую кругленькую мацу, усеянную вдоль и поперек маленькими дырочками. Федька уже заранее облизывается. Файтл добросовестно разламывает мацу пополам и делится со своим товарищем.

— Как тебе нравится, Федька, эта маца?

Что может Федька сказать, когда рот у него набит мацой, которая хрустит на зубах и тает на языке, как снег? Еще минута — и нет мацы.

— Еще есть?.. — Федька заглядывает своими серыми глазками за пазуху Файтла и облизывается, как кот на сало.

— А ты еще хочешь? — спрашивает Файтл, прожевывая последний кусочек мацы, и плутовато поглядывает на него черными глазенками.

— Подожди немного, в будущем году еще принесу.

Оба смеются и, не произнося ни слова, точно заранее сговорившись, скатываются с горы, как два мяча, быстро, быстро вниз.

7

На той стороне горы они останавливаются, смотрят на речку, которая убегает куда-то налево. А они устремляются направо, дальше и дальше по широкому вольному лугу, который еще не зелен, но вот-вот зазеленеет, который не пахнет еще травой, но обещает, что скоро запахнет.

Задумчивые, притихшие, словно околдованные, идут они и идут по мягкой благоухающей земле, под светлым сияющим солнцем. Они не идут, они плывут. Они не плывут, а летят. Они летят вместе с птицами, которые парят в воздухе перед их глазами, ныряют и снова несутся вперед по этому доброму зеленому миру. Тише, они уже у мельницы. Это ветряная мельница старосты. Когда-то она была мельницей Нахмена Веребовского. Теперь же она принадлежит старосте. Его зовут Опанас. Он хитрый, этот Опанас с одной серьгой в ухе. У него в доме уже есть самовар. Староста Опанас — богатый хозяин. Кроме мельницы, у него еще есть лавка. Та самая лавка, которая раньше принадлежала Нахмену Веребовскому. Хитростью он выторговал у еврея и лавку и мельницу... Обычно, когда приходит весна, мельница работает. Но сегодня она стоит. Нет ветра. Странная весна, весна без ветра. Поэтому-то она и стоит, мельница. Для наших приятелей, Файтла и Федьки, это даже лучше. Когда мельница стоит, можно все разглядеть. На мельнице есть что посмотреть. Сама мельница не так интересна, как бревно, при помощи которого мельница поворачивается. Вот на это-то бревно и уселись два друга. Тут только и пошли у них разговоры. Файтл рассказывает чудеса о городе. Отец как-то поехал в город, в синагогу, и взял с собой мальчика. Они были на рынке, заходили в лавки; в городе не одна лавка,

как у них в Веребовке, там много лавок. А потом вечером, рассказывает Файтл, они пошли в синагогу. Отец должен был поминать своего отца. «Моего деда, значит. Ты понимаешь, Федька?»

Может быть, Федька и понял бы, но он не слышит. Он вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать историю о том, как он в прошлом году увидел птичье гнездо на высоком дереве. Хотел взобраться на дерево, но не смог. Хотел достать гнездо палкой, но и этого не смог сделать. Тогда он принялся бросать в гнездо камешки и так долго бросал, пока оттуда не упали два маленьких окровавленных птенчика.

— Убил? — говорит Файтл со страхом и весь сжимается.

— Маленькие, — виновато защищается Федька.

— А убил?

— Без перышек, желтенькие клювики, толстенькие животики.

— А убил ты их, убил?..

8

Было уже не рано, когда наши юные друзья, Файтл и Федька, взглянув на солнце, спохватились, что пора домой. Файтл забыл, что сегодня вечером пасха. Сейчас он вспомнил, что мама должна вымыть ему голову и надеть новые штанишки. Он вскочил, Федька за ним. Веселые и радостные, они направились домой. Для того чтобы один не явился раньше другого, они, как настоящие друзья, взялись за руки и стрелой понеслись в деревню. Когда же они прибежали туда, их глазам представилась странная картина.

Дом Нахмена Веребовского осажден людьми. Писарь Курочка и староста Опанас, стражник, сотский и урядник — все тут. Все говорят, все шумят. А Нахмен и Нахменка стоят посредине и машут руками. Нахмен согнулся, вытирает пот с лица обеими руками. В стороне стоят старшие дети Нахмена, темнее ночи. Внезапно вся картина меняется. Кто-то по-

казывает на двух юных приятелей, и вся толпа с писарем, старшиной, старостой, сотским и урядником застывает. Один только Нахмен бросает взгляд на народ, выпрямляется, расправляет свои могучие плечи: «Ну???» — смеется он. А Нахменка всплескивает руками и почему-то начинает плакать... Староста со стражником, сотским и урядником выступают вперед и набрасываются на детей.

— Вы где пропадали, такие-сякие?

— Где мы были? Мы гуляли у мельницы.

. . . .

9

Оба друга — и Файтл и Федька — получили хорошую взбучку, и оба не понимали за что.

Файтла отец первым долгом отшлепал ермолкой. «Чтоб мальчик знал...» Что должен мальчик знать? И, должно быть из жалости, мать вырвала его из рук отца и прибавила ему от себя пару шлепков. Тут же она принялась мыть его черную головку и надела ему новенькие штанишки — единственную его обнову к пасхе. И она вздыхает. Отчего она вздыхает? Потом Файтл слышит, как мать говорит отцу: «Ах, если б бог дал, скорей прошел этот праздник! Хоть бы все обошлось благополучно... Лучше бы эта пасха кончилась прежде, чем началась!» А Файтл недоумевает, он не понимает, за что бил его отец, не понимает маминых шлепков. Он не понимает наконец, что это за пасха нынче на свете!..

10

А уж если Файтлу не понять, то Федьке и подавно непонятно, что творится. Сначала отец, Курочка, ухватил Федьку за вихры, крепко подергал его светлые, как лен, волосы и еще дал ему пару подзатыльников. Подзатыльники Федька принял как философ: он уже привык к ним. Он прислушивается, как мать говорит

с крестьянками. Те рассказывают ей какие-то странные вещи. Они рассказывают историю о ребенке, которого евреи заманили к себе перед пасхой, продержали в погребе день и ночь и хотели уже взять его в работу, но люди услышали крик, прибежали и спасли ребенка. У него уже были следы уколов на теле — по четыре укола в четыре стороны, наподобие креста.

Так рассказывает одна бойкая крестьянка с красным лицом, в широком очипке. А остальные слушают ее, качают подвязанными головами и крестятся: «Ой, горюшко, ой, лишенько...» Федька никак не поймет, почему они, рассказывая, все время смотрят на него. И какое отношение имеет эта история к нему и Файтлу? И за что тятька схватил его за чуприну, крепко надергал его льняные волосы и еще дал пару подзатыльников в придачу? Ему не жаль загривка, ему не обидны подзатыльники, их он всегда получает достаточно, но он хотел бы узнать, почему сегодня такая солидная порция: отец и за вихры таскал и еще подзатыльников надавал. Почему? Почему?

. . . .

11

. . . .

. . . .

— Ну? — слышит Файтл, как отец по окончании пасхи обращается к матери. Лицо его сияет, как будто его посетило невесть какое счастье.

— Ты же с ума сходила? Ты же боялась... Женщина остается женщиной. Прошла наша пасха, миновала их пасха — и ничего!..

— Слава богу! — отвечает ему мать, и Файтл опять не понимает, чего боялась мама... И почему надо радоваться, что пасха прошла? Разве не лучше было бы, если б еще долго-долго была пасха?

Файтл встречается с Федькой на улице у самого дома и не может удержаться, чтобы тут же не рассказать ему, как у них на пасху молились, а потом ели. Ах, как ели! И он описывает ему вкус пасхальных

блюд, которые он ел, вкус сладкого вина, которое пил. Федька слушает очень внимательно и заглядывает Файтлу за пазуху, нет ли там мацы... Вдруг на всю улицу раздается звонкий певучий голос:

— Хведь-ка! Хведь-ка!

Это мать зовет Федьку домой обедать. Но Федька не торопится. Теперь его никто не схватит за загривок! Во-первых, они не у мельницы. И во-вторых, сейчас уже «после пасхи». После пасхи нечего бояться евреев. И он продолжает лежать, вытянувшись на животе, положив на руки белую головенку. Против него лежит Файтл, тоже на животе, положив на руки черную головенку. А с голубого неба пригревает солнышко. Ветерок играет и ласкает. А рядом теленок; тут же и петух со всеми своими женами. И обе головки, светлая и темная, лежат одна против другой, и мальчики все говорят, говорят и никак не наговорятся...

12

А Нахмена нет дома. Он с самого утра, взяв клюшку, отправился по деревне чем-нибудь промышлять. Он останавливается у каждого двора, с каждым здоровается, каждого называет по имени, говорит обо всем на свете, только не о пасхальной истории... Только не о тревожных днях праздника... И уже перед самым уходом он, как бы между прочим, спрашивает: «Нет у тебя чего лишнего, что тебе не надобно?» — «Нема, Лахман!» — «Железный лом, немного пшена, какая-нибудь старая вещь или овчинка?» — «Прости, Лахман, ничего нет, тяжелое время». — «Тяжелое время! Пропил, должно быть? Такой праздник!» — «Кто там пьет? Что мне праздник? Тяжелое время...»

Крестьянин вздыхает, и Нахмен тоже вздыхает. После этого немного поговорят о посторонних вещах, чтобы не выглядело, что он пришел торговать. Он уходит от этого крестьянина, идет к другому, к третьему, — пока не набредет на что-нибудь подходящее. Он не приходит домой с пустыми руками. Нагружен-

ный, вспотевший, шагает Нахмен своими исполинскими шагами и думает сейчас только об одном: сколько может он сегодня заработать или потерять. О пасхальной истории он уже забыл. О пасхальных тревогах он уже не помнит. И сосед Курочка со своими губернаторами и циркулярами совершенно вылетел у него из головы.

Что о нем думать?!

Пусть дуют ветры, пусть воют бури, пусть гибнет все на земле, — что до этого древнему дубу! Он испокон веку стоит, могучими корнями глубоко уйдя в сырую землю! Что ему ветры? Что ему бури?

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ

АМАН И ЕГО ДОЧЕРИ

1

Почему его звали Аманом — не знаю, но так его звали все.

Может быть, он отличался злым нравом? Никто, однако, от него зла никогда не видал.

Может быть, он имел десять сыновей? Но у него были две дочери и ни одного сына.

Может быть, жену его звали Зереш? Но, во-первых, у евреев и имени такого нет, во-вторых, с тех пор как я помню Амана, жены у него не было.

Почему же его прозвали у нас в Касриловке таким неприглядным именем?

Но мало ли какое имя могут присвоить человеку у нас в Касриловке?

Вот, к примеру, у нас есть человек, — кажется, он еще жив! — по прозвищу Терах.

А что вы скажете о прозвище «Геенна»? О прозвище «Сутолока»? А как вам понравится имя «Телка»? А «Смерть»? «Холера»? «Нечистая сила»?

Была у нас одна женщина, которую звали Эти-Пети, и еще одна, которую звали Цено-Урено, а еще была у нас женщина, которая носила имя Хане-Соре-Фейга — овчинщикова дочь.

Короче говоря, нарекли его Мордехаем, а прозвали «Аманом». Это был высокий, сухощавый человек с большими черными глазами, длинным носом и короткой седоватой бородкой, которую он неустанно, по волоску, выщипывал, никак не давал ей расти; щеки у него обвисали, длинная шея была вся в морщинах, нижняя губа выдавалась вперед. Прямой, как палка, казалось, он смотрел на всех сверху вниз, говорил мало, никогда не смеялся и был всегда задумчив.

Он вел дела с помещиками, а с касриловскими евреями ни в какие сношения не вступал, разве лишь в тех случаях, когда требовалось от него какое-нибудь пожертвование; спокойно, не говоря ни слова, не торгуясь, бывало, спросит: «Сколько?» — вынет деньги и даст.

Также и две его дочери, весьма красивые девушки, ни с кем не общались; всегда сидели дома, никого у себя не принимали, даже от собственной прислуги скрывались. В городе их звали «аманшами», считали такими же злюками, как их отец, Аман этот.

Жили они «не по-людски», то есть не так, как все касриловские евреи; у них был отдельный, огороженный забором двор с садом и собака во дворе.

Каждый раз, когда мне случалось проходить мимо этого двора, меня охватывал страх. Не перед собакой, — все знали, что она на цепи, — имя Аман приводило меня в трепет.

Этим именем меня пугали в раннем детстве: «Вот я сейчас позову Амана!», «Сейчас отдам тебя Аману!..» После, когда я начал ходить в хедер, мне показали и двор Амана, и его самого, и каждый раз, когда мне доводилось его видеть, я в страхе удирал.

Однажды, возвращаясь из хедера и заметив Амана недалеко от нашего двора, я побежал обратно и вернулся лишь тогда, когда его уже и след простыл.

В другой раз я шел вечером в синагогу, погруженный в мысли о пуговицах, которые я проиграл мальчишкам в хедере, о комментариях к Пятикнижию, которых я не выучил, и о плетке учителя, которой мне не миновать. Вдруг смотрю — «И пришел Аман!» Он

идет мне навстречу, вот мы уже поровнялись. Я закричал не своим голосом и пустился со всех ног бежать, пока не упал. Меня подняли еле живого от страха.

— Что с тобой стряслось? Господь с тобой!

— Я его видел! Он стоял около меня...

— Кого ты видел? Кто стоял?

— Аман... Аман...

— Какой Аман? Ах, Аман? Ну и что из этого, глупый ты мальчик? Медведь он, что ли? Съест он тебя? Фу, стыдно! Человека испугался! А еще учишь Пятикнижие с комментариями...

Так я в первый раз узнал, что Аман человек и что его нечего бояться.

2

Хедер давно остался уже позади для меня и для моего товарища. Прекратили мы даже изучение талмуда в синагоге. Другое учение нас привлекало, нового ребе мы нашли и новых товарищей. Новые надежды увлекали нас.

«Гаскала» [1], так называлось новое учение, учитель, так назывался новый ребе, гимназия, университет, медицина — вот чем были заняты наши мысли.

Книги, книги, книги — вот чему мы поклонялись, вот что было для нас всего заманчивей, вот что составляло смысл нашей жизни!

Книги в Касриловке? Откуда взяться в Касриловке книгам? Все книги, которые были у знакомых, мы уже успели проглотить. Оставалась только касриловская библиотека, которой нам хватало на один зуб.

Книги, книги, книги! Наш ум требовал пищи: книг, книг и книг!

Однажды, в одно прекрасное утро, учитель поведал нам секрет, и нам открылся клад — два огромных

---

[1] Просвещение *(еврейск.)*.

шкафа, наполненных книгами. И у кого? Представьте себе, у Амана!

С тех пор мы стали частыми гостями в его доме. Мы брали там книги, относили их и брали другие. У Амана были книги и книги, неисчерпаемое богатство!

Вот как завязалось наше знакомство. И как же восхищал нас Аман, когда мы сошлись с ним поближе!

Прежде всего нас поразило то, что он решительно все знает. О чем бы вы с ним ни заговорили, он был в курсе дела; какую книгу бы вы ни назвали, он ее читал.

Потом он нас поразил как человек.

Странный, очень странный человек был этот Аман! Совсем не злой, совсем не сердитый, не надутый; наоборот, он был очень простым, мягким, доброжелательным человеком, всегда готовым оказать услугу, пойти, куда бы вы его ни попросили, сделать, чего бы вы ни пожелали.

Дома он держался совсем просто. Сам кормил кошку, следил, чтобы собака была сыта, птицами занимался сам, выделял прислуге что нужно было для кухни, и никто не слышал, чтобы он когда-нибудь повысил голос. Странный, удивительно странный человек был этот Аман!

— Почему его прозвали Аманом? — из любопытства спросил я как-то своих. И получил в ответ:

— Потому что он Аман.

Я попытался возразить:

— Ну, какой он Аман? По-моему, ничего похожего.

На это мне ответили:

— Ты рассуждаешь, как ребенок. Он законченный Аман! Человек овдовел добрых пятнадцать лет тому назад и до сих пор не женится. Этого тебе недостаточно? У человека две дочери, и красивые дочери, а он неизвестно чего ждет и не выдает их замуж. Достаточно? Человек за всю свою жизнь ни разу не улыбнулся. Этого тебе тоже мало?

Я начал еще внимательней присматриваться к Аману. Правда, веселое выражение трудно было

заметить на его лице, улыбку тем более. Он всегда был задумчив, всегда серьезен; серьезен во время разговора, серьезен во время занятий, серьезен, когда кормил кошку или поил птиц, когда распоряжался кухней или прислуга отчитывалась перед ним в расходах.

Прямой, как палка, с выщипанной бородкой, с морщинистой шеей и выпяченной нижней губой, и всегда серьезный, никогда не улыбнется, — ну конечно же, Аман, настоящий Аман! И все же простой, доброжелательный, умный, обаятельный человек!

— Ну какой же он Аман?

Так, недоумевая, спрашивали мы друг друга, — я и мой товарищ.

Ответ на этот вопрос мы получили самым неожиданным образом.

3

Я думаю, вы без лишних слов догадаетесь, что, посещая так часто Амана, мы раньше или позже должны были познакомиться с его дочерьми, с «аманшами».

Но что значит познакомиться? Отец ведь держал их чуть не под замком.

Видеть их было невозможно. Они обычно сидели в своей комнате, к отцу никогда не заходили. Кроме книг, ничто в доме, видно, их не занимало. Как же можно было с ними познакомиться?

Но вот мы пришли однажды к Аману и не застали его дома. Отлучился по какому-то делу.

Мы прошли в его комнату, туда, где хранились книжные сокровища, и увидели там двух девушек, одна другой краше. Они сидели и читали. Одна — высокая, изящная, черноглазая и черноволосая; вторая — маленькая, кругленькая, с живыми, умными серыми глазами и подстриженными волосами.

Это были «аманши», дочери Амана.

Считаю излишним описывать, как состоялось наше знакомство, как мы разговорились и о чем. Этот пред-

мет, как резина, его можно растягивать без конца: писать, писать и писать.

Но сколько ни пиши, конец все же должен быть, нужно добраться до сути.

А суть дела в том, что мы оба влюбились.

Мой товарищ — в старшую, высокую и черноволосую, а я — в младшую, сероглазую.

Наша любовь была подлинной, горячей, отчаянной любовью. Мы оба влюбились так, как только могут влюбиться два касриловских паренька, которым достаточно было очутиться рядом с девушкой, чтобы у них вспыхнули щеки; для которых возлюбленная только та, которую поведешь к венцу; которым известен был один только вид любви — любовь из «Песни песней» *, любовь — святыня, святая-святых.

Мы с товарищем открылись друг другу, поведали свою святую тайну, и счастливая пора детства навсегда покинула нас.

Сон бежал наших глаз, мы потеряли аппетит, и не только к еде, но и к науке, к книгам.

Учиться мы, конечно, не бросили. Мы по-прежнему готовились в университет. Но все уже было по-другому; пропало рвение, не стало прежнего пыла.

С тех пор мы начали искать предлога, чтобы приходить к Аману именно в то время, когда он отсутствовал. Мы бывали счастливы, когда нам удавалось перекинуться хотя бы несколькими словами с девушками, с этими возвышенными, благородными созданиями.

Такими они представлялись нам, потому что говорили они мало, а только смотрели, все смотрели на нас. Каждый их взгляд зажигал наши сердца, поражал нас, как ружейный выстрел, как небесная молния.

Стоило только Аману позвонить у дверей, девушки тотчас же скрывались в свою комнату и уже не показывались до следующего нашего прихода.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришло нам время ехать сдавать экзамены.

4

К этой поездке мы с товарищем несколько лет подряд готовились, как к празднику.

Сколько горя, сколько забот она нам стоила! Сколько битв нам пришлось выдержать! Сколько слез мы пролили, пока добились, чтобы нам разрешили учиться, пока услышали долгожданные слова, что нас повезут в большой город на экзамены!

А когда пришло время, мы оба растерялись, мы не знали, как нам быть.

Уехать, не поговорив с девушками? Ни слова не сказав им о нашей святой тайне! Но как с ними поговорить? Как решиться на объяснение с такими возвышенными, благородными созданиями?

И мы с товарищем условились высказаться в письменной форме, излить наши чувства на бумаге.

И мы излили наши чувства на бумаге.

Что мы писали, не могу вспомнить. А если бы и вспомнил, то не рассказал бы вам, потому что вы бы этого не поняли и смеялись.

Нам же было не до смеха, вовсе нет.

Мы плакали.

Мы дали друг другу прочитать наши письма и оба плакали, плакали от души, настоящими горячими слезами.

Вдоволь наплакавшись, мы через прислугу с большим трудом передали наши красноречивые письма девушкам, а на следующий день, когда мы в обычное время, то есть когда Амана не было дома, явились к ним, та же прислуга встретила нас со странной улыбкой. Она ввела нас в комнату Амана и велела подождать, пока барышни вернутся из сада.

И мы уселись ждать у открытого окна, пока барышни вернутся из сада.

Это было в начале лета, и на всем вокруг было разлито сияние. Солнце радостно смотрело из своей обители, с чистого голубого неба; из сада, единственного еврейского сада в Касриловке, доносилось благоухание вишневых деревьев в цвету, и в воздухе, словно маленькие, живые белые мушки, весело кру-

жили маленькие белые цветочки; что-то жужжало, пищало, множество птиц щебетало в саду, единственном еврейском саду в Касриловке.

Дверь отворилась, и в комнату вошли наши возвышенные, благородные создания.

Мы с товарищем вскочили, готовые выслушать ответ на наши грустные послания, на наши невинные слезы.

Но едва лишь возвышенные, благородные создания увидели нас, они переглянулись, а потом разразились смехом прямо нам в лицо и скрылись в своей комнате.

Мы с товарищем остолбенели, глядя друг на друга, не в силах слово сказать.

К счастью, в комнату вошла прислуга. И вошла она с таким видом, будто хотела сказать: «Что вы стоите как истуканы? Убирайтесь подобру-поздорову!..»

Мы поняли, что нам нужно уходить, — не уходить, а бежать, бежать куда глаза глядят! И мы бежали, мы бежали из этого дома так, словно кто-то гнался за нами по пятам, словно целая свора злых собак нас преследовала, и нам все слышался смех девушек, он не переставал звенеть у нас в ушах.

А солнце сияло, и вишня цвела, и птички чирикали и щебетали по-прежнему, а мы с товарищем бежали, бежали, и нас преследовал смех, он все не переставал звенеть у нас в ушах.

Так мы получили ответ на вопрос, почему отца звали Аманом, а дочерей — «аманшами».

ПРАЗДНИК ТОРЫ

Зарисовка

> Что у трезвого на уме,
> то у пьяного на языке.
> *(Народная поговорка.)*

1

— Честный человек, тихий, мухи не обидит, — так отзывались о нем в Касриловке, и таким он и в самом деле был.

— Вы не смотрите, что он такой тихоня, как будто двух слов не может связать, в тихом омуте черти водятся! — говорил о нем его хозяин, владелец довольно приличного магазина, реб Лейбке, который пользовался неограниченным кредитом и гордился своими знатными родственниками.

— Горе мне с этим растяпой, господи помилуй, рассказывать тошно, врагу такого не пожелаешь... — говорила его жена Кейле-Бейля. В молодости у нее был роман с Мотлом Шпрайзом, учителем для девочек, а потом она засиделась в девушках, и ее с большим трудом удалось выдать замуж за приказчика Зорах-Боруха. У Зорах-Боруха она была второй женой. Чтобы отомстить ему за детей от первой жены, она что ни год рожала ребенка.

— Ничего, могу себе позволить, чтобы *моих* детей нянчили, — говорила она мужу, а он и в ус не дул, его никогда и дома-то не бывало.

Приказчик Зорах-Борух (в Касриловке его никто иначе и не называл) весь день проводил в магазине, с раннего утра до поздней ночи, обед ему приносили туда же, но поесть ему редко удавалось. Стоило Зорах-Боруху поднести ложку ко рту, как в магазин, будто на зло, являлись покупатели.

Он уже наперед знал, что раз он помыл руки и произнес первые слова предобеденной молитвы, немедленно привалит счастье — ага, вот они, покупатели, два мужика и одна еврейка. Мужики, входя в магазин, задирают головы и смотрят на полки, а еврейка, заметив, что Зорах-Борух собрался обедать, бочком пытается прошмыгнуть обратно в дверь, с лицом праведницы:

— Ешьте, ешьте, реб Зорах, я подожду.

Но не таков Зорах-Борух, чтобы упустить покупателей.

— А чего пожелаете? — давясь куском, спрашивает он женщину и тут же поворачивается к мужикам: — А шо, дядьки, скажете доброго?

Женщина, разумеется, желает того, чего в магазине нет, а мужики признаются, что зашли просто так, посмотреть. И чтобы окончательно отвести от себя подозрение в том, что они, не дай бог, собирались что-то купить, они продолжают стоять еще несколько минут, задрав головы, а потом тихонько выходят из магазина. Но Зорах-Борух не любит, когда покупатели уходят ни с чем. Он устремляется за мужиками, тащит их обратно.

— Эй, чоловиче, перевернись, я щось маю тоби казати!

Покупатели, однако, не дают себя уговорить и уходят бог их знает куда. Тем временем и женщина успевает выскользнуть из рук Зорах-Боруха и заходит в другой магазин.

Зорах-Борух от огорчения теряет аппетит. А тут еще появляется хозяин и подсыпает перцу.

— Кто здесь был? — спрашивает реб Лейбке.

— Кому здесь быть? — отвечает Зорах-Борух вопросом на вопрос, глотая неразжеванными целые куски. — Покупатели были.

— Покупатели? Что же они купили?
— Купили... Хворобу они купили.
— Что же ты говоришь «покупатели»?
— А как мне говорить?
— Покупателем называется тот, на котором можно кое-что заработать.
— А я разве не хочу, чтобы можно было кое-что заработать?
— Ты хочешь заработать? Спасибо и за это...
Хозяин и его человек недовольны друг другом, но оба сдерживаются: хозяин прекрасно знает, что жаловаться ему, собственно, не на что, а человек отмалчивается из почтения к хозяину, как бы тот его ни задел.
Но вот, позвякивая ключами, является хозяйка, и все начинается сызнова:
— Кто здесь был?
— Откуда мне знать? Вот его спроси!
— Кто здесь был? — позвякивая ключами, спрашивает хозяйка приказчика.
Приказчик, проглотив последний непрожеванный кусок, встает, стряхивает крошки с бороды и смотрит на хозяйку.
— Что ты на меня так смотришь? Я спрашиваю тебя, кто здесь был?
— Кому здесь быть? — тем же манером, что и прежде, отвечает Зорах-Борух. — Покупатели были.
— Покупатели? Что же они купили?
— Купили... Хворобу они купили.
— Что же ты говоришь «покупатели»?
— А как мне говорить?
— Покупателем называется тот, который дает заработать деньги.
— Заработать деньги? Я не меньше вашего хочу, чтобы дали заработать деньги.
— В самом деле?!
Последние слова произносятся таким тоном и столько яду в них вкладывается, что Зорах-Боруху и обед не впрок. Он счастлив, когда в магазин является какой-нибудь дьявол и велит показать товар, хотя и хозяин с хозяйкой и приказчик, а тем более

сам этот покупатель прекрасно знают, что он горе-покупатель, *ничего* он не купит.

— Так это, значит, ваша последняя цена? Хорошо. Завтра, бог даст, снова загляну.

— Завтра с болячкой! — произносит вслед покупателю Зорах-Борух и получает нахлобучку от хозяина, дабы впредь держал язык за зубами и не говорил за спиной покупателя таких слов; хозяйка же, позвякивая ключами, подливает масла в огонь.

— Что ему от того, что покупатель сюда больше носа не покажет? У него, что ли, голова болит из-за векселя, по которому завтра надо платить?

Зорах-Борух молчит. Он только смотрит на хозяйку одним глазом, и глаз этот говорит без слов: «Платить по векселю? У кого же еще, как не у меня, голова болит из-за векселя?»

Все трое прекрасно отдают себе отчет в том, у кого болит голова, когда приходит время платить по векселю, и поэтому они некоторое время молчат. Молчанье прерывает не кто иной, как Зорах-Борух. Он вскакивает, будто его обожгла крапива.

— Да, чуть не забыл... Нужно сбегать к священнику, может денег даст... Обещал сегодня дать. А если не даст, то я и не знаю, как мы уплатим по векселю.

Зорах-Борух берет свою палку и отправляется к священнику. В дверях он сталкивается с хозяйкой, которая ворчит, позвякивая ключами.

— Чуть не забыл... Что ему? Столько крови стоит...

В душе все трое знают, на ком держится магазин, кому приходится солоно из-за плохих дел, кто высунув язык гоняется за займом, на кого падает забота об оплате векселя, и все трое уверены, что так оно и должно, что иначе и быть не может.

2

Как ни плохо Зорах-Боруху у хозяев, дома, когда он возвращается поздно ночью из магазина, ему во сто крат хуже. В комнате неуютно; пищат малыши, самовар дымит и никак не хочет закипеть, Кейле-Бейля

же, наоборот, кипит вовсю, в ней бурлит, как в котле, она рвет и мечет, почем зря ругает детей, мужа.

— Едоки! Полон дом едоков! У людей дети как дети — кто оспой болеет, кто ногу себе сломает, а этих и пуля не берет.

Кейле-Бейле грех так говорить, она и сама знает, что грех. Нет такой болезни, нет такой напасти, такого злосчастья, которое миновало бы ее дом. А чуть ребенок заболеет — родной или не родной — Кейле-Бейля места себе не находит, тотчас же бежит за врачом, ночей не спит, не забывая при этом пилить и точить мужа:

— Какой из тебя отец? Хорош отец, преданный! Ребенок точно раскаленная сковорода, весь горит, а ему хоть бы что! Без души человек!

А Зорах-Борух молчит, ни слова не скажет в ответ, будто не о нем речь. Зорах-Борух доволен, если ему удастся поесть, а потом пластом повалиться на кровать и заснуть, потому что рано утром, когда сам бог еще спит, он должен быть в магазине, чтобы просмотреть книги. Утреннюю молитву он произносит наспех, так же впопыхах проглатывает стакан цикория с бубликом и бежит занять у кого-нибудь деньги до окончания ярмарки. А хозяин дуется, а хозяйка ворчит, а жена ругается, осыпает его самыми страшными проклятиями — и так весь год, круглый год.

Только один день в неделю — какое счастье, что есть суббота на свете! — Зорах-Борух может отдохнуть. И тогда только он чувствует, до чего разбит, живого места нет, точно лошадь, да простится мне это сравнение, которая тогда только начинает отфыркиваться и поводить боками, когда с нее снимают узду. В субботу голова приказчика Зорах-Боруха свободна от забот, он сбрасывает с себя ярмо, ничего не хочет знать ни о магазине, ни о хозяине с хозяйкой, ни о священнике, ни о покупателях; для него не существует приходо-расходной книги, долгов, векселей, барышей — ничего! Нет над ним господина, не признает он старшего над собой, и жена ему не указ. Один только бог да святая суббота существуют для Зорах-Боруха. И он отдыхает, спит в свое удоволь-

ствие, отсыпается за всю неделю. Он надевает субботний кафтан, и субботнюю шапку, и субботние сапоги со скрипом и отправляется в синагогу. Один только раз в неделю он имеет возможность выспаться, один только раз в неделю он имеет возможность поесть по-человечески, и он отдыхает. Зорах-Борух отдыхает душой; Зорах-Борух отдыхает телом. И он благодарит и прославляет всевышнего за славный подарок, который он преподнес своему народу, за милую, сладостную, святую субботу. А еще сладостнее, еще милее субботы — праздники. «Какая пасха может сравниться с еврейской? — думает приказчик Зорах-Борух и чуть ли не самому себе завидует, что родился евреем. — Кто еще может похвастать такими веселыми праздниками, как праздник кущей, например, или же гошайнорабо, шмини-ацерес*, а тем более праздник торы? Шутка ли сказать, праздник торы! В праздник торы евреи веселятся! В праздник торы евреи выпивают! В праздник торы евреи напиваются!»

Так размышляет приказчик Зорах-Борух и, как мессии, ждет не дождется веселого праздника торы.

Мессия так и не приходит, а веселый праздник приходит каждый год. И Зорах-Борух чувствует себя как бы заново рожденным; его и не узнать. Обычно тихий, озабоченный, пришибленный, он, как будто очнувшись от сна, вдруг становится живым, веселым, приглашает к себе людей на «кидуш» и сам принимает приглашения на «кидуш», собственными руками достает кугл из печи и водку пьет, как воду. Ведь праздник торы на земле! В этот день евреи, взявшись за руки, пляшут посередине улицы.

Гай-да!
Дри-да-да!
Рамтеройдада!

Проходящие мимо мужики останавливаются посмотреть, как пляшут и дурачатся евреи.

— Оце гарно, коли вже жид да напився!..

Приказчик Зорах-Борух пьет напропалую, за весь год напивается, пьет до тех пор, пока не теряет облик человеческий, чуть собственное имя не забывает, и

тогда в нем просыпается злость. Он начинает рваться к своим хозяевам, чтоб хоть раз отыграться на них, всю правду высказать им в глаза, — что на уме, то на языке, — хоть раз душу отвести!

— Я им покажу, черт их побери! — кричит Зорах-Борух.

Но к хозяевам его не пускают. Кейле-Бейля, призвав на помощь старших детей, крепко держит его за руки, а он вырывается, кидается во все стороны, дерется и кричит как безумный:

— Пустите меня! Пустите меня! Я им покажу, черт бы их побрал!..

Кейле-Бейля боится, как бы муж и в самом деле не побежал к хозяевам и не набросился на них: ведь он тогда лишится службы. Поэтому она его изо всех сил удерживает, связывает ему руки за спиной полотенцем, бросает его на кровать, своего растяпу, и запирает дверь. Трудно представить себе, что это он, Зорах-Борух, буйствует, тот самый тихий Зорах-Борух, который и мухи не обидит, вдруг бьет посуду, лезет в драку и кричит благим матом:

— Пустите меня! Пустите меня! Чтоб его черт побрал!..

Зорах-Борух буйствует до тех пор, пока не начинает заливаться слезами, плакать, как дитя. Он вдруг вспоминает об отце, который умер двадцать с лишним лет назад, ведь какой у него был отец, какой отец!.. И он рыдает, бедный сирота, горько плачет до тех пор, пока не засыпает.

На следующий день чуть свет, когда сам бог еще спит, приказчик Зорах-Борух уже в магазине; он просматривает книги, потом наскоро произносит молитву, проглатывает свой стакан цикория с бубликом и бежит занять деньги до окончания ярмарки. А хозяин дуется на него, а хозяйка ворчит, позвякивая ключами, а дома жена ругается, осыпает его самыми страшными проклятиями, и так весь год, круглый год, пока опять не наступит праздник торы.

НОВОСТЕЙ НИКАКИХ...

Два поздравительных письма к Новому году:
1. От портного из Америки — другу на родину.
2. От портного с родины — другу в Америку.

1

Май дир фрэнт Исролик![1]

Да будет предначертан новый счастливый год тебе, жене твоей и детям! Дай бог, чтобы вы и весь наш народ были олл райт[2], аминь!

Нас очень огорчает, что ты не пишешь нам писем. Потому что с тех пор, как начались у вас все эти революшн, конститушон и погромы, мы тут ужасно расстроены, просто головы потеряли. Если то, что пишут наши газеты, не блеф, то ведь у вас уже, наверное, половину народа уложили! Каждый день слышишь о вас какую-нибудь новую сенсейшн. Вчера я читал телеграмму, будто мистера Крушевана * — президента четвертой Думы — повесили... Напиши мне, правда ли это? И еще напиши мне про твой бизнес: работаешь ли ты в мастерской, или ты сам себе босс?[3] И как

---

[1] Дорогой мой друг Исролик! *(англ.)*
[2] В порядке *(англ.)*.
[3] Хозяин *(англ.)*.

поживает твоя Хана-Рикл? И что поделывает Гершл? И как живет мой кузен Липе? И Иосл-Генех? И Бенце со своей Рохл? И Златка? И Мотл? И что с остальными портными? И думаешь ли ты перебираться в Америку? Обо всем напиши мне подробно в своем письме.

А о себе — что тебе писать, дорогой мой друг? И я, и жена, и дети мои — олл райт. Все мы, слава богу, «делаем здесь жизнь» [1]. Работаем как проклятые, но жизнь налаживаем. Денег не копим, но занимаем две комнаты с кухней. Целый день работаем, а вечером выходим на прогулку, или на митинг социалистов или сионистов, или в еврейский театр. Всю жизнь горе мыкаем, но зато мы свободны. Я могу быть членом какого угодно общества. А если пожелаю, приму гражданство и могу быть допущен к выборам.

Одно только нам здесь покоя не дает — родина! Ох, как мы тоскуем по родине! Моя Дженни (ее уже больше не называют Блюмой) житья мне не дает! Требует, чтоб мы поехали в Россию — покойников наших навестить. Посмотрел бы ты на мою Дженни — ее не узнать. Леди — в шляпе и перчатках. Посылаю тебе фотографию моей Дженни и всей семьи. Как тебе нравится мой старший бой? [2] Это — Мотл. Теперь его называют Майк. У него все в порядке: работает на фабрике и зарабатывает от десяти до двенадцати долларов в неделю. Если бы не играл в карты, он был бы и вовсе олл райт. Второй, Джек, раньше был на работе. Теперь он немного подучился английскому языку и служит бухгалтером в парикмахерской. Третий байструк — Бенджамен — служит в трактире. Жалования не получает, но приносит домой иной раз шесть, а иной раз и восемь долларов. Четвертый бойчик, который в шапочке, хороший сорванец: ходить в школу не желает, день и ночь болтается на улице и играет в мяч. Дочери мои тоже олл райт. Работают в

---

[1] Ходячее в Америке выражение, обозначающее: «преуспевать, налаживать жизнь».

[2] Мальчик *(англ.)*.

мастерских и прикапливают деньги. Беда только, что их в глаза не видишь. Гуляют — когда, где и с кем вздумается. Америка — свободная страна. Здесь никому не укажешь, даже собственной дочери. Вот, к примеру, старшая моя дочь — ее звали Хая, теперь у нее другое имя — Френсис... Ох, и натерпелся же я с ней! Влюбилась и без моего ведома вышла замуж за какого-то лоботряса из тех, что путаются с ворами. Он удрал из какого-то исправительного заведения, а ей наговорил, будто он известный фабрикант готового платья и торгует домами. В конце концов оказалось, что он троеженец: у него всего-навсего три неразведенных жены! Натерпелся я немало, пока избавился от него! Сейчас она вышла замуж за лотошника и живет олл райт. Остальные дочери мои замуж еще не вышли, а если и выйдут, — меня не спросят. Америка — свободная страна, каждый делает свой бизнес, как ему нравится, и все тут! Ну вот, дорогой мой друг, написал я тебе обо всем, что у меня делается, и прошу тебя, ради бога, обязательно напиши мне немедленно так же подробно обо всем, что у тебя. Сердечно кланяюсь каждому в отдельности и еще раз желаю вам счастливого и благополучного года. Гуд бай!

От меня, твоего лучшего друга

Джейкоба (в прошлом Янкла).

2

Дорогой друг Янкл!

Твое поздравление я получил как раз накануне Нового года. Благодарю за милое письмо и желаю тебе также доброго и счастливого года. Дай бог свидеться в радости. Аминь!

Теперь я хочу ответить на твое письмо. Чудной ты все-таки человек! Уж если выбрался один раз за два года написать поздравительное письмо, то писал бы хоть по-человечески! Кто это обязан понимать такие слова, как «блеф», «олл райт», «сенсейшн» и тому подобное? Зачем ты просишь, чтобы тебе писали и пи-

сали? О чем я могу тебе писать? Новостей никаких. Сейчас у нас, слава богу, все благополучно. Богачам живется хорошо, как всегда, а бедняки мрут с голоду, как везде. Мы, ремесленники, сидим без работы. Об одном только мы можем сейчас не беспокоиться — о погроме. Погрома мы вообще больше не боимся, потому что он уже был, а дважды одно и то же только в Кишиневе могло случиться. Погром, правда, произошел у нас с опозданием, но зато мы имели погром по всем правилам. Словом, много писать я не могу и не хочу, да и не о чем, — могу только сообщить тебе, дорогой Янкл, одно: я жив! Трижды смотрел смерти в глаза, но — чепуха! Как говорит дамский портной Геце, — помнишь его? — «Кто погибнет в бурю, а кто в чуму», — ежели суждено мучиться, так господь бог и умереть не даст...» Болела у меня душа только за жену и детей. Сам послал их на погибель... Забрались они честь честью к одному доброму человечку на чердак и пролежали там в большом почете два дня и две ночи — не евши, не пивши, не спавши... И лишь на третий день, когда уже нечего было грабить и некого было бить, у нас, слава богу, стало благополучно. Тогда потихоньку слезли с чердаков. Из нашего семейства, слава богу, никто не пострадал, если не считать Липе, которого убили вместе с обоими сыновьями — Нойахом и Мейлахом — чудесными мастерами, и Мойше-Герша, которого с почестями сбросили с чердака, да еще Перл-Двойре, которую нашли уже потом у них же в погребе мертвой с крошечным младенцем (Рейзеле) у груди... Так что кругом, считая маленьких детей, из нашего семейства убито всего-навсего семь человек... Но, как говорит Геце: «И то благо! Могло быть и хуже, а хорошему конца-краю нет!» Ты спрашиваешь о Гершле? Не беспокойся. Он уже больше полугода как сидит один-одинешенек, без всякого дела, в тюрьме. За что? Наверное, за то, что в синагоге смотрел, куда не положено... Его, говорят, собираются щедро наградить: либо повесят, либо расстреляют, — уж это как ему посчастливится, потому что во всем, как говорит Геце, нуж-

на удача... Вот, к примеру, Иосл, сын Генеха, умер еще до того, как его доставили в тюрьму... А больше у нас новостей никаких. Ну, а о Нехемье, сыне столяра, ты даже не спрашиваешь? Помнишь его? Был как будто никудышным парнем, не правда ли? «Лейб-Дрейб-Обдирок» его называли. Нынче он, как граф, отлеживается в Петропавловской крепости. Вот кого действительно жаль, так это Златку. Она, говорят, тронулась от всех этих бед... Шутка ли, потерять за одну неделю двоих детей! А сын Авром-Мойши уже, наверное, в Америке. Увидишь его, кланяйся и скажи, что отец у него молодец: умер, не дождавшись конституции! А наш Мотл вообще пропал, никто не знает, где он... Многие у нас таким образом исчезли... Одни бежали, другие убиты, третьи по тюрьмам отдыхают, гуляют по сибирским снегам, работают, прикованные к тачке... И все им нипочем! Заупрямился народ: раз навсегда — конституцию, и никаких гвоздей! С нашим братом, рабочим человеком, шутки плохи... Как Геце говорит: «Ни яда твоего, ни меда твоего не надо...» — то есть: «Не зовись моим дядькой и не шей мне сапог!» Удивительный человек этот Геце! Одного сына на войне уложили, другой — сидит, сам он тоже бедствует на славу, а как дойдет до острого словца, — ему сам черт не брат! А больше писать не о чем, новостей нет. Все, слава богу, благополучно, все мы совершенно здоровы, только что моя Ханe-Рикл жалуется, бедная, на сердце... Удивительно ли, сколько страхов натерпишься от одних экспроприаций! Ты, наверное, не знаешь даже, с чем это едят? Сейчас опишу тебе. Являются к тебе в дом с готовенькой бомбой, начиненной отнюдь не пасхальной мукой, а порохом и гвоздями, и говорят тебе: «Руки вверх!» (Геце называет это: «Воздеуньте длани!») Потом расстегивают на тебе кафтан, забирают все, что имеешь, — и жалуйся господу богу! Недавно заявились ко мне двое молодцов, произнесли свой стих и забрали машину. А еще была у меня корова, так та сама подохла. Броха моя сейчас еще беднее, чем раньше, да и Алтеру до богача далековато... А Лейзера недавно выслали из-за паспорта. Поделом, — кто виноват?

Пусть не будет дураком. А Мендл и вовсе отличился: взял да и помер, — кто говорит, что от чахотки, а кто — от голода... А я думаю, что и от того и от другого... Сын Биньомина в солдатах, и о холере у нас сильно поговаривают... Этого еще не хватало! А больше писать не о чем, новостей никаких. А что твоя Блюма, или, как ее там теперь называют, Дженни, хочет приехать навестить покойников, то я считаю, что сейчас не время, Янкл! Отложите это до будущего года, даст бог у нас потише станет, люди перестанут резать друг друга, тогда приедете... Пойдем вместе на кладбище: там, слава тебе господи, немало наших родственников прибавилось, не говоря о знакомых. Еще и сейчас что ни день — прибавляются!

Больше новостей нет. Будь здоров и кланяйся сердечно каждому в отдельности. В Америку я не собираюсь. Не нравится мне твоя Америка! Страна, в которой газета называется «пейпер», в которой Блюма превращается в Дженни, а жених оказывается троеженцем, — из такой страны, прости меня, бежать надо! Из твоего письма я вижу, что будь у нас настоящая конституция, как мы понимаем, — нам бы никакой Америки не надо было! Тогда бы у нас была «Америка» получше, чем у вас... Не горюй, Янкл, — такой бы кусок золота мне и такую бы болячку Крушевану, какую конституцию мы еще, даст бог, будем иметь!..

Да пошлет нам господь счастливый год — нам здесь, а вам у себя!

Твой друг Исроел.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Юношеский роман

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Бузя

1

Бузя — сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе. Но я думаю, что это не важно. Лучше я расскажу вам вкратце ее биографию.

Мой старший брат Беня жил в деревне, арендовал мельницу. Он отлично стрелял из ружья, ездил верхом и плавал, как рыба. Однажды летом он купался в реке и утонул. На нем сбылась поговорка: «Все хорошие пловцы тонут».

Он оставил нам мельницу, пару лошадок, молодую вдову и ребенка. От мельницы мы отказались, лошадей продали, молодая вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко, а ребенка привезла к нам.

Это и была Бузя.

2

Что отец мой любит Бузю, как родное дитя, а мать моя дрожит над нею, как над единственной дочерью, — это легко понять. В ней они нашли утеху после тяжкого потрясения. Но я? Когда я прихожу из хедера и не застаю Бузи, почему у меня кусок застревает в горле? А стоит Бузе показаться — и сразу светло становится во всем доме. А когда Бузя говорит со мною, я опускаю глаза. А когда Бузя смеется надо мной, я плачу. А когда Бузя...

3

Я с нетерпением поджидал, когда придет милый, славный праздник пасхи. Я буду свободен. Буду играть с Бузей в орехи, бегать по двору, мчаться с горы вниз, к речке. Там я покажу ей, как пускают «уточек» по воде. Когда я говорю ей об этом, она не верит мне, смеется. Бузя вообще не верит ни единому моему слову. Она, правда, ничего мне не говорит, но она смеется. А я не люблю, когда надо мной смеются. Бузя не верит, что я могу вскарабкаться на самое высокое дерево (стоит мне только захотеть!). Бузя не верит, что я умею стрелять (было бы только из чего!). Вот пусть наступит пасха, милая, славная пасха, когда можно будет играть на улице, на вольном воздухе, не на виду у родителей, — я ей покажу такие штуки, что она ахнет от удивления.

4

Наступил милый, славный праздник пасхи.

Нас обоих нарядили к празднику во все новое. Все, что надето на нас, блестит, сияет, шуршит. Я гляжу на Бузю и вспоминаю «Песнь песней», которую я перед пасхой учил в хедере. Вспоминаю строфу за строфой:

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои, как два голубя, волосы подобны козочкам, спускающимся с горы, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из реки, один к одному, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, и речь твоя слаще меда».

Скажите мне, почему, глядя на Бузю, невольно вспоминаешь «Песнь песней»? Почему, когда учишь «Песнь песней», на ум приходит Бузя?

5

Чудесный предпасхальный день. Ясный, теплый день.

— Пойдем, Шимек?

Так спрашивает меня Бузя, и я чувствую, что весь горю. Мать не пожалела нам орехов. У нас полные карманы орехов. Но она взяла с нас слово, что мы до трапезы не будем их есть. Играть — сколько душе угодно. Мы отправляемся, орехи гремят в кармане. На улице хорошо. На улице славно. Солнце уже где-то далеко на небе, спускается вниз за городом. Кругом широкая, вольная, мягкая даль. Местами на горке, что за синагогой, пробивается травка, зеленая, свежая, трепещущая. Со свистом и щебетаньем проносится над нашими головами ровная ниточка маленьких ласточек, и снова я вспоминаю «Песнь песней»: «Травка показалась на земле, наступило время соловья, и ранний голос певца весны уже слышен в наших местах». Я чувствую себя странно легким, мне кажется, у меня выросли крылья: вот я поднимусь ввысь и полечу...

6

Из города доносится приглушенный шум. Суета, беготня, галдеж. Канун пасхи! Чудесный предпасхальный день. Ясный, теплый день.

Весь мир в моих глазах предстал сейчас в новом

облике. Наш двор — замок. Наш дом — дворец. Я — принц. Бузя — принцесса. Бревна, что свалены возле нашего дома, — это кедры и буки, которые упоминаются в «Песни песней». Кошка, которая лежит у дверей и греется на солнце, — одна из «полевых ланей», про которых упоминается в «Песни песней». Гора, что за синагогой, — это гора Ливанская, которая упоминается в «Песни песней». Женщины и девушки, которые сейчас на дворе моют, гладят, чистят к пасхе, — дщери иерусалимские, что упоминаются в «Песни песней». Всё, всё из «Песни песней».

Иду, засунув руки в карманы, потряхиваю орешками. Орехи гремят. Бузя идет рядом со мною. Я не могу идти медленно, меня тянет ввысь. Мне хочется лететь, парить, нестись, подобно орлу. Я бросился бежать, Бузя бежит за мной. Я прыгаю по сложенным бревнам, с бревна на бревно, Бузя прыгает за мной. Я вверх — она вверх, я вниз — она вниз. Кто скорее устанет? Я угадал.

— До каких же это пор? — спрашивает меня Бузя, и я отвечаю ей словами из «Песни песней»:

— «Пока не погаснет светило дня и не исчезнут тени с земли». Та-та-та! Ты устала, а я нет!

7

Я счастлив, что Бузя не умеет того, что я умею. И в то же время мне жалко ее. Сердце мое сжимается от жалости. Мне кажется, что она грустна. У Бузи всегда так: весела, весела, а вдруг забьется в уголок и плачет тихонько. Как бы ее тогда ни утешала мать, как бы ее ни ласкал отец — ничего не поможет. Бузе нужно поплакать. О ком она плачет? Об отце ли, что так рано умер? Или о матери, которая вышла замуж, уехала и забыла о ней? Ах, эта мать! Когда при Бузе вспоминают о матери, она меняется в лице. Она не уважает своей матери, она не скажет дурного слова о ней, но она ее не ува-

жает. Я это знаю наверное. Я не переношу, когда Бузя грустна. Я сажусь рядом с нею на бревнах и стараюсь рассеять ее грустные мысли.

8

Я держу руки в карманах, громыхаю орехами и говорю ей:

— Угадай, что мог бы я сделать, если бы захотел?

— А что мог бы ты сделать?

— Захочу, и все твои орехи перейдут ко мне.

— Ты их выиграешь у меня?

— Нет, я и не подумаю играть.

— Что же, ты их силой отберешь?

— Нет, они сами ко мне перейдут.

Она поднимает на меня свои большие глаза, прекрасные голубые глаза из «Песни песней».

Я говорю ей:

— Ты, наверно, думаешь, что я шучу? Я знаю, глупенькая, такой заговор. Скажу слово такое...

Она еще шире раскрывает глаза. Я чувствую себя великим героем, я объясняю ей, как большой, как герой:

— Мы, мальчики, все умеем. У меня в хедере есть товарищ. Шайка-слепой (он слепой на один глаз), он все знает. Нет такой вещи в мире, которой Шайка не знал бы, даже каббалу*. А ты знаешь, что такое каббала?

Нет, откуда ей знать? Я чувствую себя на седьмом небе оттого, что могу ей прочесть лекцию о каббале.

— Каббала, глупенькая, эта такая вещь, которая может пригодиться. С помощью каббалы я могу устроить так, чтобы я тебя видел, а ты меня — нет. С помощью каббалы я могу добывать вино из камня и золото из стены. С помощью каббалы я могу устроить так, чтобы мы оба, вот как сидим здесь, поднялись бы ввысь до самых облаков, даже выше облаков!..

9

Подняться с Бузей с помощью каббалы ввысь до самых облаков и даже выше облаков и улететь с ней далеко-далеко за океан — это было одним из заветнейших моих мечтаний. Там, за океаном, начинается страна карликов, потомков богатырей времен царя Давида. А карлики ведь очень славные человечки. Питаются они одними сластями и миндальным молоком, по целым дням играют на маленьких свирелях, пляшут и водят хороводы, ничего не боятся и очень гостеприимны. Заедет к ним кто-либо из «наших», они его кормят, и поят, и дарят ему лучшие одежды и множество золотой и серебряной утвари, а перед отъездом набивают ему полные карманы алмазов и брильянтов, которые валяются у них, как у нас, скажем, мусор на улицах.

— Как мусор на улицах? Неужели? — спрашивает меня однажды Бузя, когда я ей рассказываю о карликах.

— Ты не веришь?

— А ты веришь?

— А почему бы нет?

— Где ты слыхал об этом?

— Как это где? В хедере.

— А! В хедере...

Все ниже и ниже опускается солнце и окаймляет небо багряной полосой чистейшего золота. Золото отражается в глазах Бузи — они купаются в золоте.

10

Мне очень хочется, чтобы Бузя пришла в восторг от могущества Шайки и от тех фокусов, что я могу сделать с помощью каббалы. Но Бузя и не думает восторгаться. Наоборот, мне кажется, она смеется. А иначе — почему же она показывает мне свои жемчужные зубки? Меня это начинает сердить, и я говорю ей:

— Ты, может, не веришь мне?

Бузя смеется.

— Ты, может, думаешь, что я хвастаю? Что я сочиняю?

Бузя смеется еще громче. А! Если так, я ее проучу! Уж я знаю чем. Я говорю:

— Как жаль, что ты не знаешь, что такое каббала. Знай ты, что такое каббала, ты не смеялась бы. С помощью каббалы я могу, если захочу, привести сюда твою мать. Да, да. И если ты будешь очень просить, я приведу ее к тебе сегодня же ночью, верхом на палке.

Разом обрывается смех. Облачко пронеслось по ее прекрасному, светлому личику. И мне кажется, будто солнце внезапно скрылось. Нет солнца. День ушел. Боюсь, что я слишком увлекся. Не надо было затрагивать больное место — мать. Я жалею об этом. Надо загладить свою вину. Надо с ней помириться. Я придвигаюсь к Бузе поближе; она отворачивается от меня; хочу взять ее за руку, хочу сказать ей словами «Песни песней»: «Оглянись, оглянись, Суламифь».

— Обернись ко мне, Бузя!..

Вдруг слышу голос из дома:

— Шимек! Шимек!

Шимек — это я. Это мать зовет меня идти с отцом в синагогу.

11

Отправиться с отцом в ночь под пасху в синагогу — есть ли бо́льшая радость! Уж одно это чего стоит, что ты одет с головы до ног во все новенькое и тебе есть чем похвастать перед товарищами! Или взять молитвы! Первая пасхальная «Вечерняя»! Первое праздничное «Да святится»! Ах, сколько удовольствий милостивый бог уготовил для нашего народа!

— Шимек! Шимек!

Матери моей некогда. «Иду, иду, уже иду! Мне только два слова сказать Бузе, всего лишь два слова...»

И я говорю ей свои два слова. Я сознаюсь ей в том, что сказанное мною только что — неправда.

Заставить с помощью каббалы кого-либо летать — невозможно. Сам полететь — это я могу, и это я ей покажу. Вот только пройдут праздники, и я сделаю первую пробу. На ее глазах я поднимусь вверх, вот с этого самого места, где бревна лежат, и в одну минуту буду выше облака. Оттуда я возьму вправо, туда — видишь! Там кончается все, и начинается Ледовитый океан.

12

Бузя внимательно слушает. Солнце посылает свои последние лучи, целует на прощание землю.

— А что такое Ледовитый океан? — спрашивает Бузя.

— Не знаешь, что такое Ледовитый океан? Ледовитый океан — это застывшее море. Вода там густая, как студень, и соленая, как селедочный рассол. Корабли по тому морю не ходят, а люди, которые туда попадают, обратно уже никогда не возвращаются.

Бузя смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

— Зачем тебе идти туда?

— Разве я пойду, глупенькая? Я ведь лечу. Лечу по поднебесью, как орел. В несколько минут я ведь снова на суше. А там начинаются двенадцать высоких гор, которые пышут огнем; на двенадцатую гору, у самой вершины, я спущусь, пройду пешком семь миль и доберусь до дремучего леса. Иду все лесом да лесом, пока не приду к маленькому ручейку. Ручеек переплыву и отсчитаю семь раз по семь. Тогда предстанет передо мной древний старичок с длинной бородой и спросит меня: «Скажи, чего ты желаешь?» И я скажу ему: «Отведи меня к царевне».

— К какой царевне? — спрашивает меня Бузя, и мне кажется, что она испугалась.

— Царевна — это прекрасная принцесса, которую украли из-под венца, околдовали и посадили в хрустальный замок, вот уже семь лет...

— А тебе-то что до нее?

— Как это, что мне до нее? Ведь я должен ее освободить.

— Ты должен ее освободить?

— А кто же?

— Не надо лететь так далеко. Послушай меня, не надо...

13

Бузя берет меня за руку, и я чувствую, что ее маленькая белая ручка холодна.

Я смотрю ей в глаза и вижу, как в них отражается золотое солнце, которое прощается с днем, с первым ясным, теплым предпасхальным днем. Мало-помалу день умирает. Точно свеча, гаснет солнце. Шум, стоявший весь день, молкнет. На улице уж не видать ни живой души. В окнах домов показываются огоньки праздничных свечей. Странная торжественная тишина окружает нас, меня и Бузю, и мы чувствуем себя крепко слившимися с этой праздничной тишиной.

— Шимек! Шимек!

14

Уже в третий раз мать напоминает, что мне пора в синагогу. Да разве я сам не знаю, что мне пора в синагогу. Посижу еще минуту, одну минуту, не больше. Но Бузя услыхала, что меня зовут, она вырывает руку, поднимается и торопит меня.

— Шимек, это тебя зовут, тебя! Иди, иди, пора уже! Иди, иди!

Я собираюсь уходить. День улетел. Погасло солнце. Золото превратилось в кровь. Ветерок подул, легкий, прохладный. Бузя торопит меня — иди!

Я бросаю на нее последний взгляд. Совсем не та Бузя. Иной вид, иную прелесть приобрела она в моих глазах в этот зачарованный вечер. «Заколдованная принцесса», — проносится у меня в голове. Но Бузя не дает мне долго думать. Она торопит меня, торопит меня. Я иду и оглядываюсь на заколдованную

принцессу, которая целиком слилась с этим волшебным пасхальным вечером. И я останавливаюсь, зачарованный. Но она машет мне рукой: «Иди, иди!» И мне кажется, я слышу ее голос, она говорит мне словами «Песни песней»: «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических...»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

За зеленью

1

— Скорее, Бузя, скорее! — говорю я Бузе в канун праздника швуэс, беру ее за руку, и мы быстро взбираемся на гору. — День не ждет, глупенькая. Нам надо пройти вон какую гору, а за горой еще речка. Через речку положено несколько бревен — это мостик. Река течет, лягушки квакают, бревна под ногами качаются, и лишь там, за мостиком, начинается настоящий рай, Бузя! Там начинаются мои владения.

— Твои владения?

— Нет, левада. Большой луг, который тянется, тянется без конца без краю, покрытый зеленым ковром, расшитый желтыми ромашками, красными цветочками расцвеченный. И какие там запахи, тончайшие в мире благоухания! И деревья там есть у меня: и нет им числа, высокие, ветвистые деревья. Там есть у меня горка, на которой я сижу. Хочу — сяду, захочу — скажу волшебное слово и полечу, подобно орлу, выше тучи, над полями, лесами, через моря и пустыни, пока не перелечу за Черные горы.

— А оттуда? — перебивает меня Бузя. — Ты пройдешь пешком семь миль и придешь к ручейку...

— Нет, к дремучему лесу... Раньше я иду все лесом да лесом и лишь потом приду к ручейку...

— Ручеек переплывешь и отсчитаешь семь раз по семь...

— Предстанет предо мной древний старичок с длинной бородой...

— Он спросит тебя: «Скажи, чего ты желаешь?»

— И я скажу ему: «Отведи меня к царевне...»

Бузя вырывает свою руку из моей и мчится вниз с горы. Я бегу за ней.

— Бузя, чего ты так бежишь?

Бузя не отвечает, Бузя сердита. Она не любит царевны. Все сказки она любит, только не про царевну...

2

Кто такая Бузя — вы, должно быть, помните. Я вам уже однажды рассказывал о ней. Но если вы забыли, я повторю еще раз.

У меня был старший брат Беня. Он утонул. Он оставил водяную мельницу, молодую вдову, пару лошадок и ребенка. От мельницы мы отказались. Лошадок продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко. А ребенка забрали к нам.

Это и была Бузя.

Ха-ха-ха! Все думают, что мы с Бузей брат и сестра: моего отца она зовет отцом. Мою мать — матерью. И мы живем, словно брат и сестра, и любим друг друга, как брат и сестра.

Как брат и сестра? Почему же Бузя меня стыдится?

Однажды произошло у нас вот что. Мы остались одни, совершенно одни во всем доме. Дело было перед вечером, уже стемнело. Отец ушел в синагогу читать поминальную молитву по покойному брату Бене, а мать пошла куда-то за спичками. Мы с Бузей забрались в уголок, и я рассказывал ей сказки. Прекрасные сказки из хедера, сказки из «Тысячи и одной ночи». Она придвинулась ко мне совсем близко. Ее рука в моей руке.

— Говори, Шимек, говори!

Тихо спускается ночь. Медленно взбираются по стенам тени, дрожат, ползут по земле и расплываются. Мы едва видим друг друга, но я чувствую — ее

ручка дрожит, слышу — сердечко стучит, вижу — глазки блестят в темноте. Вдруг она вырывает свою руку из моей. «Что такое, Бузя?» — «Нельзя». — «Чего нельзя?» «Нельзя нам держаться за руки». — «Почему? Кто тебе сказал?» — «Сама знаю». — «Разве мы чужие? Разве мы не брат и сестра?» — «Ах, если бы мы были брат и сестра!» — тихо говорит Бузя, и в ее словах мне слышится отзвук «Песни песней»: «О, если бы ты был брат мой!»

Вечно вот так: когда я говорю о Бузе, мне вспоминается «Песнь песней».

3

На чем мы остановились? Канун швуэс. Мы мчимся с горы. Впереди Бузя, за нею я. Бузя сердится на меня за царевну. Все сказки она любит, только не про царевну. Не беспокойтесь однако, гнев Бузи длится недолго. Вот она уже снова смотрит на меня своими большими, ясными, задумчивыми глазами. Она отбрасывает волосы назад и говорит мне:

— Шимек! Ой, Шимек! Посмотри-ка, посмотри! Небо-то какое! Посмотри, как чудесно кругом!

— Я вижу, глупенькая, конечно, вижу! Вижу небо, чувствую теплый ветерок, слышу, как птички поют и щебечут и носятся над нашей головой. Это наше небо, наш ветерок, наши птички — все наше, наше, наше! Дай свою руку, Бузя!

Нет, она не дает мне руки, она стыдится. Почему Бузя стыдится меня? Отчего она покраснела?

— Там, — говорит мне Бузя и убегает вперед, — там, когда будем за мостиком.

И мне кажется, она говорит словами Суламифи из «Песни песней»: «Приди, возлюбленный! Выйдем в поле, побудем в селах! Ранним утром пойдем в виноградники. Посмотрим, распустились ли виноградные лозы, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки?»

И вот мы у мостика.

4

Река течет, лягушки квакают, бревна качаются, и Бузя дрожит.

— Ах, Бузя, какая ты... чего ты боишься, глупенькая? Держись за меня, или давай я тебя обниму. Я тебя, а ты меня. Видишь? Вот так.

Мостик кончился.

И так, обнявшись, мы идем вдвоем, одни по этому раю. Бузя держится за меня крепко-крепко. Она молчит. Но мне кажется, она говорит мне словами «Песни песней: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне...»

Левада обширна, она тянется без конца без краю, зеленым ковром покрыта, желтыми ромашками расшита, красными цветочками расцвечена. И какие здесь запахи слышатся — тончайшие в мире бальзамы! И мы идем, обнявшись, одни по этому раю.

— Шимек! — говорит мне Бузя, смотрит мне прямо в глаза и придвигается ко мне еще ближе. — Когда же мы будем рвать зелень для праздника?

— День еще велик, глупенькая! — говорю я ей и весь пылаю. Я не знаю, на что мне раньше глядеть: на голубой купол неба, или на зеленый ковер широкого луга, или туда, на край света, где небо сливается с землей? Или на светлое личико Бузи глядеть, в ее милые большие глаза, которые кажутся мне глубокими, как небо, и задумчивыми, как ночь? Ее глаза всегда задумчивы. Глубокая печаль затаилась в них. Тихой грустью подернуты они. Я знаю ее печаль, мне знакома ее грусть. Великое горе затаила она в груди — обиду на мать, которая вышла замуж за чужого человека и уехала от нее навсегда, навеки, — будто никогда у нее и не было матери. Моя мать — ее мать, мой отец — ее отец. И они любят ее, как родное дитя, дрожат над нею, потворствуют всем ее прихотям. Нет у них ничего слишком дорогого для Бузи. Бузя сказала, что хочет пойти со мною нарвать зелени на праздник (это я ее натолкнул на эту мысль). Отец посмотрел поверх своих серебряных очков, погладил серебряные нити своей серебряной бороды и спросил

у матери: «Как ты думаешь?» И вот начинается разговор между родителями о нашей прогулке за город.

Отец. Как ты думаешь?

Мать. А ты как думаешь?

Отец. Отпустить их погулять?

Мать. Отчего б и не отпустить?

Отец. Гм... Разве я говорю?

Мать. А что же ты говоришь?

Отец. Я лишь спрашиваю, стоит ли их отпускать?

Мать. Отчего бы им не пойти?

И так дальше. Я знаю, в чем тут заминка: раз двадцать напоминает мне отец, а за ним и мать, что там есть мостик, а под мостиком — вода, речка, речка, речка...

5

Мы, я и Бузя, давно уже забыли про мостик, про воду, про речку... Мы мчимся по широкому, вольному лугу, под широким, вольным небом. Мы бежим по зеленому лугу, падаем, кувыркаемся в душистой траве. Встаем, падаем, кувыркаемся снова и снова. А зелень для праздника мы еще и не начинали рвать.

Я веду Бузю вдоль и поперек луга, расхваливаю перед ней свои владения:

— Видишь вот эти деревья? Видишь этот песочек? Видишь эту горку?

— И все это твое? — говорит мне Бузя, и глаза ее смеются.

Мне досадно, что она смеется. Вечно она смеется надо мной. Я надулся и отворачиваюсь. Бузя догадывается, что я сержусь. Она заходит спереди, заглядывает мне в глаза, берет меня за руку и говорит мне: «Шимек!» Обида исчезает, и все забыто. Я беру ее за руку и веду к моей горке, туда, где я сижу каждый год. Хочу — сижу, хочу — скажу колдовское слово и лечу, как орел, выше тучи, над полями и лесами, через моря и пустыни...

6

Там, на горке, сидим мы, я и Бузя (зелень к празднику мы все еще не нарвали), и рассказываем сказки.

То есть я рассказываю, а она слушает. Я рассказываю ей о том, что будет когда-то с нами, когда я буду большой, и она большая, и я ее засватаю... Мы тогда поднимемся, с помощью колдовского слова, выше тучи и облетим весь мир. Прежде всего мы полетим в те земли, где побывал Александр Македонский*. Потом мы полетим в святую землю, побываем там на всех горах бальзамических, во всех виноградниках, набьем карманы рожками, винными ягодами, финиками, оливами и улетим оттуда еще дальше, дальше. И везде мы выкинем какую-нибудь штуку, потому что никто ведь нас не увидит...

— Никто нас не увидит? — спрашивает Бузя и хватает меня за руку.

— Никто, никто! Мы всех будем видеть, а нас никто не увидит!

— В таком случае, Шимек, у меня к тебе просьба...

— Просьба?

— Небольшая просьба...

Я заранее знаю ее просьбу. Она хочет, чтобы мы полетели туда, где живет ее мать, и проучили бы ее отчима...

— Отчего бы и нет? — говорю я ей. — С большим удовольствием! Можешь на меня положиться, глупенькая. Я их так проучу, что они запомнят!

— Не их, а его, одного его, — просит меня Бузя.

Но я не так-то легко соглашаюсь на это. Меня если рассердишь, то уж держись! Как это я прощу ей такую штуку? Подумать только, что женщина может себе позволить — выйти замуж за чужого, уехать бог весть куда и бросить ребенка, даже письма не написать! Разве так можно? Слыхано ли такое злодейство?

7

Напрасно я так погорячился. Я уже раскаиваюсь, совесть меня грызет, как собака. Но пропало. Бузя закрыла лицо обеими руками. Она плачет. Я бы сам себя в куски изорвал! Зачем было бередить ее рану? Зачем я задел ее мать? И глубоко в душе я всячески ругаю себя: «Дурак! Осел! Олух! Баранья голова! Болтун!» Я придвигаюсь к ней, беру ее за руку: «Бузя! Бузя!» Мне хочется сказать ей словами «Песни песней»: «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой...»

Вдруг... Откуда же взялись здесь отец и мать?

8

Серебряные очки отца сверкают издали. Серебряные нити его серебряной бороды распустились по ветру. А мать издали машет нам платком. Мы оба, я и Бузя, сидим оторопелые. Зачем приплелись сюда отец с матерью? Они пришли нас проведать, не случилось ли с нами чего. Мало ли какое несчастье может случиться?.. Мостик, вода, речка, речка, речка.

Чудные люди — мои родители!

— А где ваша зелень?

— Какая зелень?

— Зелень, что вы обещали нарвать к празднику?

Мы оба, я и Бузя, переглядываемся. Я понимаю ее взгляд. Мне кажется, я слышу, как она говорит словами «Песни песней»:

«О, если бы ты был брат мой! Почему ты мне не брат?..»

. . . .

— Ладно уж, зелень к празднику мы как-нибудь достанем, — говорит с улыбкой отец, и серебряные нити его бороды поблескивают в светлых лучах золотого солнца. — Слава тебе господи, дети здоровы, и с ними ничего не приключилось.

— Слава тебе господи! — отвечает мать и вытирает платком красное, вспотевшее лицо свое. И оба довольны. Улыбка расплывается на их лицах.

Чудные люди — мои родители!

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

В эту ночь

1

«Дорогому сыну нашему имярек...

Посылаю тебе 00 рублей и прошу тебя, сын мой, окажи нам милость и приезжай на пасху. Стыдно мне перед людьми на старости лет. Один-единственный сын — и того не можем повидать. И мать также молит тебя непременно приехать на пасху. И еще могу сообщить тебе, что Бузю надо поздравить. Она стала невестой. С божьей помощью, в субботу после швуэс свадьба.

Твой отец...»

Это пишет мне отец — впервые так ясно. В первый раз с тех пор, как мы разошлись. А разошлись мы с отцом тихо, без ссоры. Я восстал против его заветов. Не хотел идти по его стопам. Я пошел своей дорогой, уехал учиться. Раньше он сердился, говорил, что никогда не простит мне, разве на смертном одре. Потом он простил меня. Потом он стал посылать деньги: «Посылаю тебе 00 рублей, а также шлет тебе сердечный привет мать». Короткие, сухие письма. Мои письма к нему также были сухие, короткие: «Твое письмо и 00 рублей получил, шлю сердечный привет матери».

Холодны, мертвенно холодны были наши письма. До того ли мне было в том мире мечтаний, в котором я жил? Но теперь письмо отца меня разбудило. Сознаюсь, что не столько жалобы отца, что ему стыдно перед людьми, и не столько просьбы и мольбы ма-

тери, ничто меня не тронуло так (сознаюсь чистосердечно), как эти несколько слов: «И еще могу сообщить тебе, что Бузю надо поздравить...»

Бузя — та Бузя, равной которой нет нигде, разве только в «Песни песней». Та Бузя, с которой так неразрывно связаны мое детство и юность. Та Бузя, которая была заколдованной царевной всех моих чудесных сказок, прекраснейшей принцессой моих золотых мечтаний — эта Бузя теперь невеста? Чья-то невеста — не моя?!

2

Кто такая Бузя? Ах, вы не знаете, кто такая Бузя? Вы забыли? Я должен еще раз рассказать вам вкратце ее биографию, теми же словами, которыми я рассказывал когда-то, много лет тому назад.

У меня был старший брат Беня. Он утонул. Он оставил мельницу, молодую вдову, пару лошадок и ребенка. Мельницу мы бросили, лошадок продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко, а ребенка мы забрали в наш дом. Это и была Бузя.

И красива Бузя, как прекрасная Суламифь из «Песни песней». Всякий раз, когда я видел Бузю, я невольно вспоминал Суламифь из «Песни песней». И всякий раз, когда я в хедере учил «Песнь песней», перед моими глазами вставала Бузя.

Имя ее сокращенное: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. С нею вместе я рос. Моего отца она зовет отцом, мою мать она зовет матерью. Все думали, что мы брат и сестра. И мы любили друг друга, как брат и сестра.

Как брат и сестра, мы, бывало, заберемся в уголок, и там я ей рассказывал сказки, слышанные в хедере от моего товарища Шайки, который знал все, даже каббалу. С помощью каббалы, говорил я ей, я могу делать фокусы: добывать вино из камня и золото из стены. С помощью каббалы, говорил я ей, я могу устроить так, чтоб мы оба поднялись до тучи

и даже выше тучи. Ах, как она любила слушать мои сказки! Только одну сказку Бузя не любила слушать: о царевне, о принцессе, которую заколдовали, украли из-под венца и посадили в хрустальный дворец на семь лет, а я лечу ее выручать... Все любила слушать Бузя, кроме сказки о заколдованной принцессе, которую я должен лететь выручать. «Не надо лететь так далеко, послушайся меня, не надо!» Так говорила мне Бузя, уставившись на меня своими прекрасными голубыми глазами из «Песни песней».

Это и была Бузя.

Теперь мне пишут, что ее надо поздравить. Она стала невестой. Чьей-то невестой, не моей!

Я сел к столу и ответил отцу письмом:

«Моему достопочтенному отцу имярек...

Твое письмо и 00 рублей я получил. Через несколько дней, как только улажу свои дела, я приеду. На первый день пасхи или на второй — но приеду наверное. Привет сердечный маме. А Бузе — мои поздравления, желаю ей счастья...

От меня, твой сын...»

3

Это неправда. Мне не надо было улаживать никаких дел, мне не надо было «ждать несколько дней». В тот же день, когда я получил от отца письмо и ответил ему письмом, я помчался домой и примчался как раз в канун пасхи. В теплый, ясный предпасхальный день.

Я нашел свой городок точно таким же, каким я его оставил когда-то, много лет тому назад. Все здесь по-старому, не изменилось ничего. Те же дома, те же люди. Та же предпасхальная ширь и тот же предпасхальный шум.

Одного только не стало: «Песни песней». Нет, все кругом уже не пахнет «Песнью песней», как когда-то, много лет тому назад. Наш двор уже не виноградник

царя Соломона, что в «Песни песней». Бревна и доски, которые лежат возле нашего дома, уже больше не кедры и буки. Кошка, которая лежит у дверей и греется на солнце, уже больше не полевая лань, про которую упоминается в «Песни песней». Гора, что за синагогой, уже не гора Ливанская. Женщины и девушки, которые стоят во дворе, моют, гладят и чистят к пасхе, уже больше не дщери иерусалимские, о которых говорится в «Песни песней»... Куда девался мой юный, свежий, ясный и светлый благоухающий мир, мой мир из «Песни песней»?..

4

Я нашел наш дом точно таким же, каким я оставил его много лет тому назад. Все осталось по-старому, не изменилось нисколько. Отец — такой же, как был. Но его серебряная борода серебрится еще больше. На широком белом лбу прибавилось несколько морщинок. По-видимому, от забот.

И мать — такая же, как была, только румяное лицо ее немного пожелтело. И еще мне кажется — она стала ниже ростом. А может, мне так показалось, потому что она немного ссутулилась, пригнулась к земле? И глаза ее покраснели, как будто припухли. Неужто от слез?..

О чем плакала моя мать? О ком? Обо мне, ее единственном сыне, который не захотел слушаться отца, восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, а пошел собственною дорогой, поехал учиться и так долго не был дома? Или Бузю оплакивает мать. Бузю, которая выходит замуж? Через неделю после швуэс свадьба.

Ах, Бузя! И она ни капли не изменилась. Не изменилась нисколько. Только выросла. Выросла и стала прекрасна. Еще прекраснее, чем когда-то. Высокая и стройная, статная, голубые глаза из «Песни песней». Только более задумчивые, чем когда-то, задумчивые, углубленные, озабоченные, прекрасные голубые глаза из «Песни песней». И улыбка на губах.

И мила, и приветлива, и любезна, и тиха, как голубица, скромна и тиха.

Когда я гляжу на Бузю, я вспоминаю ту Бузю из милого прошлого. Я вспоминаю ее новые праздничные платья, которые мать сшила ей тогда на пасху. Вспоминаю ее новые праздничные башмачки, которые отец ей купил тогда на пасху. И когда я вспоминаю о былой Бузе, мне невольно вновь приходит на память давно забытая «Песнь песней», строфа за строфой: «Глаза твои, как два голубя, волосы подобны козочкам, спускающимся с гор, зубки — белоснежные ягнята, вышедшие из реки, один в один, словно одна мать их родила. Алая лента — уста твои, и речь твоя слаще меда».

Я смотрю на Бузю, и вновь все становится, как в «Песни песней», как когда-то, много лет тому назад.

5

— Бузя, тебя можно поздравить?

Она не слышит. Почему она опустила глаза? Почему покраснели ее щечки? Нет. Я должен ее поздравить.

— Поздравляю тебя, Бузя!

— Спасибо.

И больше ничего. Спросить ее невозможно. Поговорить с ней негде. Не дает отец. Не дает мать. Не дают родственники, вся родня, соседи, которые пришли повидаться со мной. Один уходит, другой приходит. Все стоят вокруг меня. Все оглядывают меня, как медведя, как странного пришельца из другого мира. Все хотят меня видеть и слышать, — как я поживаю и что поделываю, — сколько лет не видались!

— Расскажи же нам что-нибудь новенькое. Что видал, что слыхал?

И я рассказываю им, что видел и слышал, и смотрю в это время на Бузю. Я ищу ее глаза и встречаюсь с ее глазами. С ее большими, глубокими, озабоченными, прекрасными голубыми глазами из «Пес-

ни песней». Но ее глаза немы, как ее губы, как она сама. Ничего не говорят мне ее глаза. Решительно ничего. И мне приходит на ум, как в былые годы, «Песнь песней», строфа за строфой. «Сад запертый — сестра моя, невеста. Сад запертый, источник запечатанный».

6

И буря разрастается у меня в груди, и огонь пылает в моем сердце, гнев — не против других, а против самого себя. На себя негодую и на те мечты, глупые, детские, золотые мечты, ради которых я покинул отцовский дом. Ради них я забыл о Бузе. Ради них я пожертвовал частью своей жизни, проиграл свое счастье, проиграл, проиграл навеки!

Проиграл? Нет. Не может быть! Не может быть! Ведь вот я приехал. Приехал вовремя... Только бы мне остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей два-три слова. Но где мне сказать Бузе эти два-три слова, когда кругом столько людей? И они окружают меня со всех сторон. Все оглядывают меня, как медведя, как пришельца из другого мира. Все хотят меня видеть и слышать, — как я поживаю и что поделываю, — столько лет не видались!

Внимательнее всех слушает меня отец. Он сидит над старым фолиантом, как всегда, морщит свой широкий лоб, как всегда, и смотрит на меня поверх своих серебряных очков, гладит серебряные волосы своей серебряной бороды. Но мне кажется, что он смотрит на меня не так, как всегда. Нет, это не тот взгляд, не тот. Я чувствую это. Он оскорблен. Я восстал против его заветов, не захотел идти по его стопам, пошел своей дорогой.

Мать также стоит возле меня, бросила кухню, предпраздничные хлопоты и слушает меня со слезами на глазах. Кончиком передника она украдкой вытирает слезы, хотя лицо ее улыбается; и она слушает, как я рассказываю, и она смотрит на меня и глотает, глотает каждое мое слово.

Бузя также сидит против меня, сложив руки на груди, и слушает меня, как и все. Как и все, она смотрит на меня. Как и все, она глотает каждое мое слово. Я смотрю на Бузю. Я читаю в ее глазах и ничего не могу прочитать. Ничего.

— Да рассказывай же, чего ты замолчал? — говорит мне отец.

— Оставь ты его в покое! — спохватывается мать. — Мальчик устал, мальчик голоден. А он: рассказывай да рассказывай! Рассказывай да рассказывай!

7

Понемногу народ начинает расходиться, и мы остаемся одни: отец, мать, я и Бузя. Мать уходит в кухню и скоро возвращается с красивой пасхальной тарелкой, знакомой тарелкой, расписанной большими зелеными листьями.

— Ты закусил бы, Шимек! До трапезы еще далеко, — говорит мне мать с любовью и душевной теплотой.

Бузя подымается, идет своим тихим, спокойным шагом и приносит мой прибор — знакомый пасхальный прибор. Все это мне знакомо. Все здесь осталось по-старому, не изменилось нисколько. Та же тарелка с большими зелеными листьями, та же вилка и нож с белой костяной ручкой. Тот же чудесный запах пасхального гусиного жира. Тот же сладостный вкус пасхальной поджаренной мацы.

Все здесь по-старому. Не изменилось нисколько...

Но тогда, в канун пасхи, мы оба ели, я и Бузя... Из одной тарелки, помнится мне, мы ели. Вот из этой самой пасхальной, красиво разрисованной тарелки, расписанной зелеными листьями. И орехов дала нам мать тогда, помнится мне. Полные карманы орехов. И мы взялись тогда за руки, помнится мне, я и Бузя, и мы полетели, помнится мне, как орлы. Я мчусь — она за мной. Я через колоду — она за мной. Я вверх — она вверх; я вниз — она вниз.

«Шимек! До каких же пор бежать, Шимек?» — говорит мне Бузя. А я отвечаю ей словами «Песни песней»: «Пока не погаснет светило дня и не исчезнут тени с земли...»

8

Это было когда-то, много лет тому назад. Теперь Бузя выросла, стала большая. И я вырос, стал большой. И невестой она стала, Бузя, чьей-то невестой, не моей... Я хочу остаться с Бузей наедине. Только бы сказать ей несколько слов. Хочу услышать ее голос. Словами «Песни песней» я хочу сказать ей: «Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой...» И мне кажется, ее глаза ответят мне словами «Песни песней»: «Пойдем, дорогой мой, выйдем в поле, не здесь, в поле... в поле... Там я тебе скажу. Там я тебе расскажу. Там мы будем говорить. Там...»

Я выглядываю в окно на улицу. Ах, как хорошо, как чудесно там! Совсем как в «Песни песней»! Жаль только, день уже на исходе. Низко-низко опускается солнце и окрашивает небо в багрянец и золото. Золото отсвечивает в глазах Бузи. Глаза ее купаются в золоте. Скоро и дню конец. Не успею даже словечком перемолвиться с Бузей. Весь день ушел на пустую болтовню с отцом, с матерью, с родней — о том, что я слышал, о том, что я видел... Я встаю, поглядываю в окно на улицу и мимоходом говорю Бузе:

— Не пойти ли нам погулять? Так долго дома не был. Хотелось бы поглядеть на наш двор, посмотреть город...

9

Но что это с Бузей? Лицо ее вспыхнуло, оно горит огнем. Как солнечный шар перед самым закатом, так покраснела она. Она кидает взгляд на отца. Видимо, она хочет знать, что скажет отец? А отец смотрит на мать поверх своих серебряных очков. Он поглаживает

серебряные нити своей серебряной бороды и говорит просто так, не обращаясь ни к кому:

— Солнце садится. Пора уже одеваться, скоро и в синагогу идти. Свечи пора зажигать. Как ты полагаешь?

Нет, сегодня мне, видно, не обменяться с Бузей ни словом.

Мы идем одеваться. От матери уже пахнет праздником. Она надела свое праздничное шелковое платье. Ее белые руки блестят: ни у кого нет таких белых красивых рук, как у моей матери. Вот скоро она будет зажигать свечи. Своими белыми руками она закроет глаза и будет тихо-тихо плакать, как когда-то. Последний луч заходящего солнца будет играть на ее красивых, благородных белых руках. Ни у кого нет таких красивых, благородных белых рук, как у моей матери.

Но что с Бузей? Лицо ее погасло, как солнце перед закатом, как уходящий день. Красива она, однако, и прелестна, как никогда. И глубоко печальны ее прекрасные голубые глаза из «Песни песней». И задумчивы ее глаза.

О чем думает теперь Бузя? О милом госте, которого она так долго ждала и который примчался так неожиданно после долгой отлучки в родной дом? Или о своей матери, которая вторично вышла замуж и уехала куда-то далеко и забыла, что у нее есть дочь, которую зовут Бузей? Или о своем женихе думает Бузя, которого отец и мать, конечно, навязали ей против ее воли? Или о свадьбе, которая должна состояться через неделю после швуэс, с человеком, которого она не знает и не ведает, кто он и что он... А может быть, наоборот, может быть, я ошибаюсь? Может, она ведет счет дням — от пасхи до швуэс, потому что это ее избранник, потому что он ей мил, он ей дорог? Он поведет ее под венец, и ему подарит она свое сердце и любовь. А мне? Мне она, увы, всего только сестра. Была сестра и осталась сестрой... И мне кажется, она смотрит на меня с состраданием и с досадой и говорит мне, как говорила когда-то, словами «Песни песней»: «О, если бы ты был брат мой!

Ах, почему ты не брат мне?!» Что мне ей ответить на это? Я уж знаю, что я ей отвечу. Только бы удалось сказать ей несколько слов. Несколько слов.

Нет. Сегодня мне с Бузей не обменяться ни единым словечком, ни полсловом. Вот она встает, идет тихими, легкими шагами к шкафу, приносит матери свечи в серебряных подсвечниках. Старые, знакомые высокие серебряные подсвечники. Эти серебряные подсвечники занимали когда-то почетное место в моих золотых мечтаниях о заколдованной царевне в хрустальном дворце. Эти золотые мечты, и эти серебряные подсвечники со свечами, и красивые, белые благородные руки матери, и прекрасные голубые глаза Бузи из «Песни песней», и последние золотые лучи заходящего солнца — разве все это не переплелось крепко-накрепко, не связалось в нечто единое?..

— Ну, — говорит мне отец, глядя в окно и намекая на то, что нам пора одеваться и идти в синагогу.

Мы одеваемся, я и отец, и уходим в синагогу.

10

Наша синагога, наша старая-престарая синагога тоже не изменилась, не изменилась нисколько. Только стены чуть почернели. Чуть сгорбился аналой, несколько постарела трибуна для чтения торы, да и притвор со святынями потерял свой былой блеск.

Как маленькое святилище выглядела когда-то в моих глазах наша синагога. Ах! Куда девались былая краса и блеск нашей старой синагоги? Где те ангелы, которые витали здесь под разрисованным потолком в канун субботы и во все праздники, когда я бывал здесь?

И прихожане тоже мало изменились. Только чуть постарели. Черные бороды поседели. Плечи согнулись. Атласные праздничные кафтаны посеклись. Виднеются белые нитки, желтые полосы. Кантор Мейлах и теперь поет так же красиво, как когда-то, много лет тому назад. Только голос у него чуть приглушен. А в мо-

литве у него слышится новый тон: в ней больше плача, чем пения, больше жалобы, чем мольбы. А наш раввин? Старый раввин? Тот вовсе не изменился. Был бел как снег и остался таким же белым. Одна только мелочь: руки у него теперь трясутся, да и весь он трясется. Должно быть от старости. Служка Азриел, мужчина без признака бороды, был бы тем же, что и когда-то, если бы не зубы. Он потерял все зубы, и со своими впалыми щеками он скорее похож теперь на женщину, чем на мужчину. Однако он и теперь еще может стукнуть рукой по столу, когда дело дойдет до молитвы «Восемнадцать благословений»!.. Правда, удар уже не тот, что когда-то. Когда-то, много лет тому назад, можно было оглохнуть от его удара; теперь уже не то. Видно, не стало былой силы. А был когда-то богатырской силы человек.

Здесь, помнится, много лет тому назад, мне было хорошо, безгранично хорошо. Здесь, в этом маленьком святилище, моя детская душа когда-то витала вместе с ангелами высоко под разрисованным куполом. Здесь, в этом маленьком храме, я много лет тому назад молился горячо и торжественно вместе с моим отцом и всеми прихожанами.

11

И вот я вновь в нашей старой-старой синагоге. И я молюсь вместе со старыми давнишними прихожанами. И я, как когда-то в детские годы, слушаю того же кантора, который поет тем же голосом, что и когда-то. И весь народ горячо и торжественно молится напевно, как в старые, былые годы. И я молюсь вместе со всем народом. Но мои мысли далеки от молитвы. Я листаю свой молитвенник страницу за страницей, и — я неповинен в том — открывается мне «Песнь песней», глава IV: «О, ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими...» Я хотел бы молиться наравне со всеми, как молился когда-то, но не дается мне молитва. Я листаю свой молитвенник, страницу за

страницей, и — я неповинен в том — опять открывается «Песнь песней», глава V: «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста...»

И далее: «Нарвал мирры моей, с ароматами моими; поел сотов моих с медом моим, напился вина моего...»

Что это я говорю? Что я болтаю? Сад не мой. Я не буду рвать мирры, не буду обонять ароматов, не отведаю меда, не буду пить вина. Бузя не моя невеста. Бузя чья-то невеста. Чья-то, не моя!.. Ад бушует во мне. Гнев мой не против Бузи, не против кого-то. Нет. Против самого себя. Как мог я допустить, чтобы у меня отобрали Бузю и отдали другому? Не писала ли она мне писем, не намекала ли, что «надеется в скором времени свидеться»?.. Не откладывал ли я свои ответы ей от праздника к празднику, пока она наконец не прекратила писать мне?..

12

— С праздником! Это мой сын.

Так отец представляет меня после молитвы прихожанам, которые оглядывают меня со всех сторон, здороваются со мной и принимают приветствия, как должное.

— Это мой сын...

— Это ваш сын? Здравствуй...

В словах отца «это мой сын» есть много оттенков: и радость, и гордость, и обида. Можно их истолковать как угодно. «Видите? Это мой сын!..» Или: «Представьте себе, это мой сын!»

Я понимаю его. Он оскорблен. Я восстал против его заветов. Я не пошел по его стопам. Я пошел собственной дорогой и прежде срока состарил его. Нет, он еще не простил меня. Он не говорит этого. Ему и незачем мне это говорить. Я сам это чувствую. Об этом говорят его глаза, которые смотрят сквозь серебряные очки прямо мне в душу. Об этом говорит его тихий вздох, который время от времени вырывается из его старой, слабой груди... Мы идем вдвоем

из синагоги домой и молчим. Мы вышли позже всех. Ночь распростерла свои крылья под небом, и тень ее опустилась на землю. Тихая, теплая, торжественная пасхальная ночь. Ночь, полная тайн и загадок. Ночь, полная чудес. Торжественность этой ночи разлилась в воздухе, она глядит из глубины темно-синего неба. О ней тихо шепчутся звезды вверху. Исход из Египта слышится в эту ночь.

Быстрыми шагами иду я домой этой ночью. Отец с трудом поспевает за мной. Как тень, следует он за мной. «Чего ты так мчишься?» — спрашивает он меня, с трудом переводя дыхание.

Ах, отец, отец! Разве ты не видишь, что я подобен серне или оленю на горах бальзамических!.. Много, слишком много времени уходит, отец, долог, слишком долог мой путь теперь, когда Бузя стала невестой. Чьей-то невестой. Чьей-то, не моей!.. Я подобен серне или оленю на горах бальзамических.

Так хотел бы я ответить отцу словами «Песни песней», и я не чую земли под ногами. Я шагаю быстро-быстро в эту ночь. А отец еле поспевает за мной. Как тень, следует он за мной в эту ночь...

13

С тем же праздничным приветствием, с каким мы приходили в эту ночь домой когда-то, много лет тому назад, вошли мы и сейчас — я и отец.

Тем же ответным приветствием, которым мать и Бузя встречали нас в эту ночь когда-то, много лет тому назад, они нас встретили и теперь.

Мать, «королева», одета в свое королевское шелковое платье, а «принцесса», Бузя, — в свое белоснежное платье, — та же картина, что и когда-то, много лет тому назад, ничто не изменилось, нисколько, все здесь по-старому.

Как и много лет тому назад, в эту ночь наш дом полон очарования. Какая-то несбыточная красота, волшебная, таинственная красота снизошла на наш дом в эту ночь. Священный праздничный блеск разлился

по всему нашему дому в эту ночь. Белые скатерти на столе блестят, как белый нетронутый снег. Мамины свечи торжественно поблескивают в серебряных подсвечниках. Приветливо поглядывает на нас пасхальное вино из бутылок. Ах, с каким наивным благочестием смотрит с разубранного блюда маца! И как мило улыбается прегорький пасхальный хрен и сложно приготовленный харойсес с соленой водой. Торжественно и гордо стоит «королевский» престол, пасхальное ложе. На лице «королевы» сияет благодать, как всегда в эту ночь. А «принцесса» (Бузя) вся, с головы до ног, как из «Песни песней». Нет, что я говорю, — она сама — «Песнь песней»!

Жалко только, что «принца» посадили так далеко от «принцессы». Когда-то, мне помнится, они сидели не так. «Принц» задавал отцу, так помнится мне, четыре традиционных вопроса, а «принцесса» крала у «его величества» из-под подушки традиционный опреснок *. Ах! Как мы тогда смеялись! Когда-то, бывало, после трапезы, когда «король» снимал уже с себя свое белое одеяние, а «королева» — свое королевское шелковое платье, мы, я и Бузя, сидели, бывало, вдвоем в уголке, играли в орешки, которыми нас оделила мать, или я рассказывал ей сказку, одну из волшебных сказок, слышанных в хедере от моего товарища Шайки, который все знал. Сказку о заколдованной принцессе, которая сидела в хрустальном дворце семь лет подряд и ждала, чтобы кто-нибудь, с помощью колдовского слова, поднялся выше тучи, полетел над горами и долами, над реками и пустынями, и выручил, освободил бы ее.

14

Но все это было давным-давно, много лет тому назад, а теперь «царевна» выросла, стала большая, и «царевич» вырос большой. И усадили их за столом так безжалостно, что они не могут даже хорошенько видеть друг друга. Представьте себе: по правую руку «его величества» — «царевич», по левую руку

«ее величества» — «царевна»! И мы читаем пасхальное сказание, я и отец, громко, как когда-то, много лет тому назад, нараспев, страницу за страницей. А мать и Бузя тихонько повторяют вслед за нами, страницу за страницей. И вот мы доходим до «Песни песней». И мы читаем с отцом «Песнь песней», как когда-то, много лет назад, особым напевом. Строфа за строфой. А мама и Бузя тихо повторяют за нами строфу за строфой. Но вот «король», утомленный от долгого чтения истории исхода евреев из Египта, охмелевший от выпитых бокалов, начинает понемногу дремать; подремлет с минуту, проснется и снова громко поет «Песнь песней»: «Многие воды не могут потушить любовь...», а я подхватываю тем же напевом: «...и реки не зальют ее». Чтение идет у нас все тише и тише, пока «его величество» не засыпает уже по-настоящему. «Королева» трогает его за рукав белого одеяния. С милой деликатностью она будит его и отправляет спать, — а мы с Бузей можем тем временем перекинуться несколькими словами. Я встаю из-за стола и подхожу близко к ней, мы стоим друг против друга — в первый раз так близко в эту ночь. Я показываю ей на чудесную, прекрасную ночь. «В такую ночь, — говорю я, — хорошо погулять...» Она поняла меня и, чуть заметно улыбаясь, ответила мне вопросом: «В такую ночь?..» И мне кажется, она смеется надо мной. Так она смеялась надо мной когда-то, много лет тому назад, — мне это досадно. Я говорю ей: «Бузя, нам надо поговорить, о многом надо поговорить». — «О многом поговорить?» — повторяет она мои слова, и мне кажется, она смеется надо мной... Я говорю: «А может быть, я ошибаюсь? Может быть, нам не о чем теперь говорить?..»

Это сказано было с такой горечью, что Бузя перестает улыбаться, и лицо ее становится серьезным. «Завтра, — говорит она мне, — завтра поговорим...» И радостно становится мне. Радостно, хорошо и весело. Завтра! Завтра уж поговорим! Завтра! Завтра!.. Я подхожу к ней еще ближе и чувствую благоухание ее волос, благоухание ее платья. Милое, прелестное благоухание.

И мне приходят на ум слова «Песни песней». «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим. И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!»

Остальное мы говорим уже так, без слов, больше глазами. Глазами...

15

— Бузя, покойной ночи, — говорю я ей тихо. Мне трудно расстаться с ней. Ох, как трудно!

— Покойной ночи, — отвечает мне Бузя, стоя неподвижно на месте, и с глубокой тоской смотрит на меня своими прекрасными голубыми глазами из «Песни песней».

Я снова желаю ей покойной ночи. И она снова отвечает мне тем же. Приходит мать и уводит меня в мою комнату. Там она разглаживает своими прекрасными белыми руками белое покрывало моей постели, и губы ее шепчут: «Спи спокойно, дитя мое, спи спокойно...»

В этих немногих словах излилось все то море любви, что скопилось у матери за годы, когда меня не было дома. Я готов припасть к ней, расцеловать ее красивые белые руки. Но я этого недостоин. Нет, я этого недостоин, я знаю... Тихо желаю ей покойной ночи и остаюсь один, один-одинешенек в эту ночь.

16

...Один-одинешенек в эту ночь. В эту тихую, мягкую, теплую ночь ранней весны.

Я раскрываю окно, выглядываю из него, смотрю на темно-голубое небо, на сверкающие брильянты-звезды, и спрашиваю самого себя: «Неужели? Неужели?»

Неужели я проиграл свое счастье, проиграл навеки?

Неужели я сам, своими собственными руками, сжег свой чудесный дворец и выпустил прекрасную

волшебную царевну, которую я когда-то заколдовал?.. Неужели? Неужели? А может быть, нет? Может быть, я прибыл вовремя? «Я пришел в свой виноградник, сестра моя, невеста...»

И я сижу еще долго у раскрытого окна в эту ночь. И я делюсь своими тайнами с этой тихой, теплой и мягкой ранней весенней ночью, которая и сама полна, удивительно полна тайн и загадок...

И в эту ночь я узнал нечто новое для меня.

Что я люблю Бузю.

Что я люблю ее той священной, пламенной, адской любовью, которая так прекрасно описана в «Песни песней». Огромные пламенные буквы вспыхивают, не знаю откуда, и витают перед моими глазами; слова из только что прочитанной «Песни песней», буква за буквой: «Горька, как смерть, любовь. Жестока, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Пла́мень божий».

И я сижу в эту ночь у раскрытого окна и вопрошаю у этой ночи тайн и загадок, прошу раскрыть мне тайну: «Неужели? Неужели?» Но она молчит, эта ночь тайн и загадок. Тайна остается для меня тайной. До завтра.

«Завтра, — так обещала мне Бузя, — мы будем говорить...» Только минула бы уж эта ночь. Только бы промчалась эта ночь.

Эта ночь... Эта ночь...

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

Суббота после швуэс

1

И был вечер, и было утро.

Прекрасное, свежее утро, какое бывает иногда в начале лета, между пасхой и швуэс.

В это утро я проснулся первым в доме. День только рождался. Наш маленький сонный городок лишь начинал пробуждаться от сладкого сна. Ясное,

теплое, ласкающее солнце готовилось выйти из своего шатра и пуститься по своей великой небесной дороге в этот ранний летний день, между пасхой и швуэс. Легкий, прохладный ночной ветерок еще носился по свету и еле-еле, словно крылом ангела, касался тихо просыпающейся земли.

Когда я проснулся, первой моей мыслью было: Бузя.

Снова Бузя?

Да, снова Бузя. Снова и опять Бузя. Все мои мысли настолько прикованы к Бузе, что мне не надоест говорить вам о ней еще и еще раз. Еще и еще раз передать вам ее биографию вкратце. Тот, кто слышал меня, вероятно простит. Кто еще не слышал, тому это нужно услышать: он должен знать, кто была Бузя.

2

У меня был брат Беня. Он утонул в реке. Он оставил сироту, по имени Бузя. Ее имя сокращенное: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. И прекрасна она была, как Суламифь из «Песни песней». И мы росли вместе, как брат и сестра. И мы любили друг друга, как брат и сестра. Вот кто была Бузя.

Промчались годы. Я оставил свой дом против воли отца и матери. Я восстал против их заветов, не захотел идти по их стопам, пошел своей собственной дорогой, уехал учиться. Вот однажды перед пасхой получаю письмо от отца с поздравлением: Бузя стала невестой, в субботу после швуэс свадьба, и меня просят приехать домой. Я ответил поздравлением и примчался на пасху домой.

И я нашел Бузю выросшей и красивой, еще красивее, чем она была. И в памяти моей проснулась былая Бузя. Суламифь из «Песни песней». Буря разрослась у меня в груди, и гневный огонь запылал в моем сердце. Гнев не на кого-нибудь, а на самого себя. На себя и на свои детские золотые глупые мечтания, ради которых я покинул отца и мать, восстал против их заветов, уехал учиться и таким образом про-

играл свое счастье. Допустил, чтобы Бузя стала невестой, чьей-то — не моей!..

С раннего детства Бузя была мне мила и дорога — это верно, но, когда я приехал домой и увидел Бузю, я понял, что люблю ее.

Что я люблю ее той святой, пламенной, сжигающей любовью, которая так прекрасно описана в «Песни песней»: «Сильна, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные. Пламень божий».

3

Я ошибся. Я не встал первым в то утро. Моя мать поднялась раньше меня. Она уже одета. Она уже занята чаем, завтраком.

— Отец еще спит. Девочка тоже спит (так зовут у нас Бузю). Что ты будешь пить, Шимек?

Мне все равно. Что она мне даст, то и буду пить. Мать наливает мне чаю и подает мне его своими прекрасными белыми руками. Ни у кого нет таких красивых белых рук, как у моей матери. Она садится против меня и говорит со мной тихо, чтоб отец не услышал. Она говорит об отце. Он стареет, не молодеет. Стареет, слабеет и кашляет. Кашляет большей частью по утрам, когда просыпается. А иногда случается и ночью, — проснется и прокашляет целую ночь, а иногда и днем. Она просит его зайти к врачу — он не хочет. Упрямец. Его упрямство ведь непереносимо! Упаси бог, она не жалуется на него. Так просто, пришлось к слову, она и сказала...

Так мать тихонько жалуется мне на отца. И о Бузе мать рассказывает мне тихим голосом, а глаза у нее сияют. Она наливает еще чаю и спрашивает, как мне понравилась Бузя. Правда ведь, выросла, слава богу, как деревце. Сохрани ее бог от дурного глаза. В субботу после швуэс свадьба, по воле божьей, в субботу после швуэс. Хорошая партия, удачный жених, приличная семья, почтенный, богатый дом. Дом — полная чаша...

— Однако, — продолжает мать свой рассказ, —

сколько же, однако, пришлось ее уламывать, пока убедили дать согласие на смотрины. Теперь, слава богу, довольна! А переписка какая! Почти каждый день. (Лицо матери сияет. Глаза у матери блестят.) А чуть письмо запоздает — беда, да и только!.. Это теперь. Но раньше? Чуть душу из нее не вытянули, пока выжали это слово «да»... Бузя тоже порядочная упрямица. Такая уж семья. Коли заупрямится!.. Упаси бог, никого я не упрекаю. Но так уж, пришлось к слову...

4

«Кто она, глядящая, как заря? Прекрасная, как луна? Светлая, как солнце?»

Это вышла из своей комнаты Бузя.

Вглядываюсь в Бузю — я поклялся бы, она либо плакала, либо не спала эту ночь!

Моя мать права: как стройное деревце, выросла Бузя. Как роза, расцвела она. Ее глаза, ее прекрасные голубые глаза из «Песни песней» в это утро подернуты нежною дымкою. И все лицо ее в это утро покрыто грустною тенью.

Бузя вся — тайна для меня. Скорбная тайна. Многое хотел бы я узнать. Почему Бузя не спала в эту ночь? Я хотел бы знать, кого она видела во сне: меня — милого гостя, которого она так долго ждала и который примчался так нежданно, или другого видела она во сне? Другого — того, кого отец и мать навязали ей против ее воли?

«Сад запертый — сестра моя, невеста, сад запертый, запечатанный источник...»

5

Бузя — тайна для меня. Скорбная тайна. Несколько раз за день меняется у нее настроение, как погода в летний облачный день: то тепло, то прохладно, то солнце выглянет из-за облаков, — и кругом

все становится прекрасно. Но вот надвигается новая туча — и снова кругом все грустно и сумрачно.

Не проходит и дня, чтоб Бузя не получила письма от «кого-то». Не проходит и дня, чтобы не отвечала «кому-то».

Я знаю отлично, кто этот «кто-то», и я ее не спрашиваю. Я не говорю больше с Бузей о «нем». Я считаю, что «он» здесь лишний, навязанный. Но Бузя сама говорит о «нем». Не слишком ли много говорит она о «нем»? В те считанные минуты, когда мы остаемся с ней наедине, Бузя говорит мне о «нем» и хвалит его. Расхваливает его изо всех сил.

Не слишком ли много хвалит она его?

Она говорит мне:

— Хочешь знать, кто он? (Она опускает глаза.) Он благородный. О! очень благородный. Он славный. Но... (Она подымает глаза на меня и смеется.) Ему далеко до тебя... Где ему до тебя!..

Что хочет Бузя этим сказать? Она хочет меня задобрить? Или она подшучивает надо мной?

Нет, она не хочет меня задобрить, она не подшучивает надо мной. Она изливает свое сердце...

Это ясно, как дважды два.

После чая мать и Бузя ушли в кухню хлопотать о завтраке, а мы с отцом встали на молитву. Я быстро отделался. А отец, закутавшись в талес, еще стоял лицом к стене и славил бога своего. Вдруг вошла Бузя, одетая, с зонтиком в руке, и говорит мне:

— Пойдем.

— Куда?

— За город, погуляем немного. Чудесный день. Прекрасный день.

Отец поворачивает к ней голову, смотрит поверх своих серебряных очков. А Бузя натягивает перчатки на руки и говорит:

— Ненадолго, отец, ненадолго. Мы скоро придем домой! Мать знает, что мы идем. Идем, Шимек! Ты идешь?

Дивная музыка, прекраснейшая симфония не звучала бы так чарующе, как эти слова прозвучали в моих ушах. В них послышался отзвук «Песни пес-

ней»: «Пойдем, друг, выйдем в поле, побудем в селах! Ранним утром пойдем в виноградники. Посмотрим, распустились ли виноградные лозы, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки?..»

Вне себя от радости я отправляюсь с Бузей и не чую земли под ногами. Что это с Бузей? В первый раз с тех пор, как я дома, случилось такое, чтоб Бузя позвала меня гулять. Что это с Бузей?

6

Бузя права. Прекрасный день. Чудесный день.

Почувствовать очарование такого летнего дня в нашем маленьком, бедном городке можно, лишь выбравшись из его узких уличек на вольный прекрасный мир. Земля облеклась в свою зеленую мантию, разукрасилась всем великолепием своих многокрасочных полевых цветов. Она окаймлена здесь серебристой речонкой — с одной стороны, и низкорослой, но густою рощей — с другой. Серебристый ручеек кажется серебряною каймой нового талеса из голубой шерсти. Густая роща похожа на пышную шевелюру кудрявых волос; время от времени ветер колеблет ее.

На Бузе было голубое платье, легкое, как дым, прозрачное, как воздух, как небо. Зонтик с кружевами зеленого цвета и белые ажурные перчатки на руках. Многоцветной она была, многоцветной, как поле.

В последний раз, говорит мне Бузя, она отпросилась у матери... В последний раз она хочет распроститься с городом, с околицей, с кладбищем, с мельницами, с речкой, с мостиком. Ради этого последнего раза мать ей уступила. Невесте надо уступать, ха-ха... Невеста всегда добьется... Как ты думаешь, Шимек?

Шимек ничего не думает. Шимек слушает. Мне кажется, Бузя сегодня излишне весела. Неестественно весела. И смеется она как будто принужденно. А может быть, мне только кажется?

— Помнишь, Бузя, когда мы тут были?

Я напоминаю ей, когда мы тут были. Давно-давно. Много лет тому назад это было. Мы пошли вдвоем нарвать зелени на праздник — помнит ли она? Тогда мы тоже шли этой самой дорогой, мимо этих же мельниц, через эту речку, по этому самому мостику.

— Но по-иному гуляли мы тогда, Бузя. Тогда мы бежали, как юные серны, прыгали, как олени на горах бальзамических. А теперь?

— А теперь? — говорит Бузя и наклоняется, чтобы сорвать цветок.

— Теперь мы идем спокойно, как подобает таким порядочным людям, как мы... Помнишь, Бузя, когда мы тут были в последний раз?

— В канун праздника швуэс это было, — отвечает Бузя и дарит мне букет душистых цветов.

— Это мне, Бузя?

— Это тебе, Шимек, — говорит мне Бузя и смотрит своими прекрасными голубыми глазами из «Песни песней». И взгляд этот проникает мне прямо в душу.

7

Мы уже далеко за городом. Мы уже на мостике. Там я подаю ей руку (в первый раз с тех пор, как я приехал домой). Мы идем оба, рука об руку, по мостику. Бревна качаются. Вода бежит под нашими ногами, переливается и падает вниз, тихо поплескивая, легко шумя, так, что я даже слышу «тик-так» Бузиного сердца, которое так близко, так близко около меня (в первый раз с тех пор, как я приехал домой).

Мне кажется, Бузя наклоняется ко мне все ближе и ближе, я чувствую знакомое благоухание ее красивых волос, я ощущаю нежность и теплоту ее чудесной руки, теплоту ее тела. И мне кажется, я слышу из ее уст слова «Песни песней»: «Я принадлежу возлюбленному моему, и мне — возлюбленный мой...» И солнце, и небо, и поле, и речка, и лес приобретают

новый блеск, новую прелесть в моих глазах. Жаль, очень жаль, что мостик так короток! Минута — и мы уже прошли мостик, мы уже на леваде. Минута — и гладкая, нежная рука Бузи выскользнула из моей руки, — и солнце, и небо, и поле, и речка, и лес потеряли весь свой прежний блеск и прелесть в моих глазах.

— Странное дело, — говорит мне Бузя, и ее прекрасные голубые глаза из «Песни песней» в это мгновение глубоки, как небо, и задумчивы, как ночь, — странное дело: всякий раз, когда я перехожу или переезжаю через реку, какая бы река ни была, я вижу своего отца — и всякий раз...

Я перебиваю ее:

— Ты говоришь глупости, Бузя.

Бузя думает с минуту, потом говорит мне:

— Глупости? Ха-ха-ха, ты прав. Я говорю глупости, потому что я глупенькая. Я глупая девушка, правда ведь, глупая девушка? Скажи правду, Шимек. Правду скажи мне, ха-ха-ха!

Бузя смеется, запрокидывает голову и показывает свои красивые зубы. На сияющем солнце лицо ее сияет, и все краски поля отсвечивают в ее глазах, в ее прекрасных голубых глазах из «Песни песней».

8

Напрасно! Я не могу убедить ее, что она далеко не так глупа, что она вовсе не глупа. Она знает, говорит она мне, она знает, что есть люди глупее ее. Она знает. Но по сравнению со мной она глупенькая. Представьте себе — она верит снам.

— Правда, Шимек, ты не веришь? А я верю. Вот вчера лишь мне приснился отец, пришел из загробного мира, одетый, веселый, живой, с тростью в руке. И говорит со мной так приветливо, так ласково и вертит тросточкой: «Я пришел на свадьбу к тебе, дочь моя...» Ну, что ты скажешь, Шимек?

— Бузя, не надо верить снам. Сны — это чепуха.

— Чепуха, говоришь ты?

Бузя стоит минуту задумавшись, бросается бежать по многоцветному полю и останавливается.

Как цветок, как яркий, многокрасочный цветок, выглядит Бузя на этом многоцветном поле, которое простирается вокруг нас без конца без краю. Желтыми ромашками оно расшито. Красными цветочками оно расцвечено. Синий купол неба над головой Бузи. Серебристая речка у ног ее. Со всех сторон несутся нам навстречу одуряющие, пряные запахи бальзамов и трав. Я заколдован, я опьянен.

Как заколдованная, стоит и Бузя посреди многоцветного поля и смотрит на меня, задумавшись, задумавшись, как лес.

О чем думает теперь Бузя? Что говорят ее глаза, ее прекрасные голубые задумчивые глаза из «Песни песней»?

«Я лилия Саронская, роза долин...»

Вот что говорят мне ее глаза. И мне кажется, что никогда, никогда еще Бузя не напоминала так Суламифь из «Песни песней», как в эту минуту.

9

Как цветок выглядит Бузя, лилия Саронская. Как цветущая роза выглядит Бузя, роза долин, в этом широком многоцветном поле, что простирается вокруг нас без конца и без краю. Желтыми ромашками оно расшито. Красными цветочками расцвечено. Голубой небесный купол над головой Бузи. Серебристая речка у ног ее. Со всех сторон несутся нам навстречу пряные, одуряющие как бальзам запахи трав. Я околдован, я опьянен.

Бузя идет. Я — за ней. Легко и быстро идет Бузя. Легко, как серна, как лань полевая, несется она по многоцветному полю, что простирается без конца и без краю. И на сияющем солнце лицо ее сияет, все цвета поля отсвечивают в ее глазах, в ее прекрасных голубых задумчивых глазах из «Песни песней».

Никогда, никогда еще Бузя не напоминала так Суламифь из «Песни песней», как в этот день.

— Узнаешь это поле, Бузя?

— Когда-то оно принадлежало тебе...

— А горка?

— Твоя горка. Когда-то все это было твое. Все, все твое, — говорит мне Бузя с легкой усмешкой на красивых губах.

Мне кажется, что она смеется надо мной так, как смеялась когда-то, много лет назад.

— Сядем?

— Сядем.

Я усаживаюсь на горке и устраиваю место для Бузи. Бузя садится против меня.

— Вот тут, Бузя, помнишь, я тебе когда-то рассказывал, как я...

Бузя прерывает меня:

— Как ты поднимешься с помощью колдовского слова и полетишь, как орел, к туче, выше тучи, над полями, над лесами, через горы, через воды, через моря и пустыни, и прилетишь туда, за Черные горы, к хрустальному дворцу. Там сидит твоя заколдованная царевна вот уже семь лет и ждет, чтобы ты над нею смиловался и прилетел, с помощью колдовского слова выручил ее, освободил — ха-ха-ха!

Нет. Бузя сегодня странно весела. Неестественно весела. Она смеется принужденно. Довольно. Всему свое время. Пора сказать ей несколько серьезных, точных, ясных слов. Пора уже раскрыть перед ней свое сердце, обнажить свою душу... И я кончаю свою мысль словами «Песни песней»: «Пока погаснет светило дня и не исчезнут тени с земли...»

10

За все время, что я дома, я не высказал Бузе и десятой, и сотой доли того, что я излил перед нею здесь, в это утро. Я открыл ей свое сердце, обнажил свою душу. Рассказал ей всю правду, — что меня сюда привело...

Если бы не письмо отца с поздравлением, если бы не три слова: «Суббота после швуэс», — меня

не видела бы сейчас эта речка, что бежит там внизу по склону, и эта роща, что зеленеет тут недалеко...

И я клянусь ей этой речкой, что течет по склону, и той рощей, что зеленеет тут невдалеке, и этим голубым покрывалом неба, что над нашей головой, и золотым багряным солнцем, которое отсвечивает в ее глазах, и всем, что прекрасно, и чисто, и свято, — что я приехал сюда только ради нее, только ради нее, потому что... я люблю ее — наконец это слово сорвалось!

— Потому что я люблю тебя, Бузя, слышишь; я люблю тебя той святой, пылающей, адской любовью, которая описана в «Песни песней»: «Сильна, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные...» Что с тобой, Бузя! Ты плачешь? Бог с тобой!..

11

Бузя плакала.

Бузя плакала — и весь мир облекся в печаль. Солнце перестало сиять. Речка перестала течь, роща — зеленеть, бабочки — летать, птички — петь.

Бузя плакала. Она спрятала лицо в руках. Плечи ее вздрагивали, и она плакала все сильнее и сильнее...

Так плачет малое дитя, когда почувствует, что потеряло родителей.

Так плачет любящая мать над ребенком, которого у нее отбирают.

Так плачет девушка, оплакивающая своего возлюбленного, отвернувшегося от нее.

Так плачет человек над своей жизнью, выскользнувшей из-под его ног.

Напрасны были мои утешения. Ни к чему были все эпитеты из «Песни песней», ни к чему были мои речи. Бузя не хочет знать утешений. Бузя не желает слушать моих слов. Слишком поздно, говорит она, слишком поздно я вспомнил о ней... Слишком поздно я вспомнил, что есть какая-то

Бузя на свете. Бузя, у которой есть сердце, тоскующее сердце, и душа, рвущаяся отсюда в другой мир... Помнишь ли ты, говорит она, те письма, что я тебе писала? Но, перебивает она сама себя, где тебе помнить о таких глупостях? Разве она не понимает? Это она, собственно, должна была давно предвидеть, — что наши пути разошлись. Что она мне не ровня. Куда ей до меня?.. Она наивная, провинциальная девушка, куда ей до меня?.. Теперь она понимает, что это было с ее стороны глупостью, что она мне морочила голову своими детскими письмами, своими глупыми намеками, будто бы родители тоскуют по мне... Нет! Ей надо было самой понять, что она мне не ровня... Куда ей до меня — бедной провинциальной девушке!.. Она сама должна была понять, что уж если я не послушался отца-матери, восстал против их заветов, не пошел по их стопам, а избрал свою собственную дорогу, значит я уж конечно пойду далеко, взберусь высоко, так далеко и так высоко, что оттуда никого не увижу и никого знать не пожелаю.

— Никого, кроме тебя, Бузя!

— Нет, никого! Никого! Никого! Не видеть никого, не слышать никого, забыть всех...

— Всех, но не тебя, Бузя!

— Нет, всех! Всех! Всех!

12

Бузя перестала плакать — и все ожило. Солнце начало сиять, как раньше. Речка начала течь, роща — зеленеть, бабочки — летать, птички — петь.

Бузя перестала плакать, сухими стали ее глаза, ее прекрасные голубые глаза из «Песни песней». И высохли слезы ее, как капли росы на жарком солнце.

И вдруг она стала оправдываться в своих слезах. Теперь она видит, какая она глупенькая. К чему был ее плач? Чего ей плакать? Чего ей не хватает? Другие девушки на ее месте сочли бы себя счастливыми.

Счастливейшими из счастливых!.. И огонек загорелся в глазах у нее, в ее прекрасных голубых глазах из «Песни песней». Никогда еще я не видел этого огонька в глазах Бузи. И красные пятна выступили на ее щечках, на ее красивых розовых щечках. Я никогда еще не видел, чтобы Бузя так гневалась, так пылала, как она пылала в эту минуту. Я хочу ее взять за руку и сказать ей словами «Песни песней»:

«О, ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна, Бузя, когда щечки твои пламенеют и глаза твои пышут огнем...»

Напрасные речи! Бузя не слышит моей «Песни песней». У Бузи своя «Песнь песней». Она не переставая хвалит «кого-то», хвалит его изо всех сил. Она говорит мне:

— Друг мой бел и румян — суженый мой прекрасен и мил. Отличен от тьмы других — прекраснее многих-многих иных. Он, может быть, не столь учен, как иные, зато он добр. Зато он мне предан. Зато он любит меня. Почитал бы ты письма, которые он мне пишет, почитал бы ты письма!

— Пленила сердце мое ты, сестра моя, невеста, — продолжаю я, будто не слышу, что она мне говорит, — мое сердце ты пленила, сестра моя, невеста!..

А она:

— Уста его сладость, и весь он прелесть — почитал бы ты его письма, которые он мне пишет, почитал бы ты его письма!..

Слова эти она произносит странным тоном. Странный у нее голос.

Этот голос — так кажется мне — хочет пересилить другой голос, внутренний голос.

Для меня это ясно, как дважды два.

13

Быстро и неожиданно вскакивает Бузя с душистой травы, отряхивается, выпрямляется во весь рост, закидывает руки за голову, останавливается и смотрит на меня сверху вниз, гордая и прекрасная,

величественно-прекрасная, — прекраснее, чем всегда, кажется она мне в эту минуту.

Боюсь сказать, но мне кажется, — если я назову Бузю истинной Суламифью, это будет честь и хвала для Суламифи из «Песни песней».

Неужели на этом окончен наш разговор? Я поднимаюсь вслед за Бузей и подхожу к ней:

— Оглянись, оглянись, Суламифь, вернись ко мне, Бузя! — говорю я ей языком «Песни песней» и беру ее за руку. — Вернись ко мне, Бузя, вернись ко мне, еще не поздно... Еще одно слово, одно только слово должен я тебе сказать.

Напрасно, напрасно! Бузя не хочет больше слушать.

— Довольно, — говорит она, — наговорились. Достаточно наговорили друг другу, может быть больше, чем надо... Довольно, довольно. Уже поздно. Смотри, как поздно уже! — говорит мне Бузя и показывает рукою на небо, и показывает мне на солнце, которое обливает ее сверху донизу своими мягкими, нежными золотыми лучами. И Бузя, лилия Саронская, Бузя, роза долин, приобретает новый блеск, багряно-золотой блеск многоцветного поля, что простирается вокруг нас без конца и без краю. — Домой, домой! — говорит мне Бузя и торопится уходить, и торопит меня. — Домой, домой! Пора уже, Шимек, пора. Отец и мать подумают бог весть что. Домой, домой!

В ее последних словах — «домой, домой» — мне слышится знакомый отзвук давних лет, слова «Песни песней».

«Беги, друг мой, беги, милый, и будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».

14

Проходят дни, бегут недели. Пришел милый, славный праздник швуэс. Пришла и первая суббота после швуэс. Прошла первая суббота после швуэс, и еще суббота, и еще суббота — а я все еще гость в своем городке.

Что я тут делаю? Ничего. Решительно ничего. Родители думают, что я, блудный сын, каюсь в былом, в том, что я восстал против их заветов, не захотел идти по их стопам. И они рады, бесконечно рады.

А я? Что я делаю здесь? Что мне надобно здесь? Ничего, решительно ничего. Каждый день я выхожу один на прогулку, за город, туда — за мельницы, за реку, через мост. Туда — к тому многоцветному полю, что простирается без конца и без краю и окаймлено серебристою речкой с одной стороны и низкорослой, но густою рощей — с другой. Серебристая речка кажется серебряною каймой нового талеса из голубой шерсти. Густая роща похожа на пышную шевелюру кудрявых волос, время от времени ветер колеблет ее.

Там сижу я один на горке. На той горке, на которой мы лишь недавно сидели вдвоем, я и Бузя, лилия Саронская, роза долин.

На той горке, по которой мы когда-то, много лет тому назад, вдвоем, я и Бузя, мчались, как юные серны, и скакали, как лани на горах бальзамических. Там, на том месте, где таятся мои лучшие воспоминания о навеки утерянном юношестве, о моем навеки утерянном счастье, я могу сидеть долгие часы и оплакивать и вспоминать незабываемую Суламифь моего романа.

15

А что стало с Суламифью моего романа? Что с Бузей? Каков эпилог? Каков конец?

Не принуждайте меня рассказывать конец моего романа. Конец — пусть самый наилучший — это печальный аккорд. Начало, самое печальное начало, лучше самого радостного конца. Мне поэтому куда легче и куда приятнее снова рассказать вам эту историю с самого начала. Еще, и еще раз, и еще хоть сто раз. И теми же словами, что и раньше:

— У меня был брат Беня, он утонул в реке. Он оставил сиротку, ее звали Бузей. Сокращенное Эстер-Либа, Либузя, Бузя. И красива она была, Бузя, как Суламифь из «Песни песней». Мы росли, я и Бузя, как брат и сестра. И мы любили друг друга, я и Бузя, как брат и сестра.

И так далее.

Начало, самое печальное начало, лучше самого радостного конца. Пусть будет начало концом, эпилогом моего невыдуманного, истинного, скорбного романа, который я позволил себе увенчать этим именем: «Песнь песней».

БЛИНЧИКИ

Роман посвящается празднику швуэс.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Карета и таинственный господин в цилиндре с дождевым зонтиком

По одной из тихих улиц города N. утром в первый день праздника швуэс катил экипаж, в котором сидел элегантный господин в цилиндре. Лицо его скрывал дождевой зонтик, хотя на небе не было ни облачка. Подъехав к одному из самых больших и красивых каменных зданий, господин вышел из экипажа, огляделся по сторонам и быстро расплатился с кучером, махнув ему рукой. Это должно было означать: «Ты мне больше не нужен, можешь ехать дальше». Экипаж уехал, а господин повернул обратно, отсчитал три дома, и возле старого дома с черными закоптелыми стенами, номер 21-в, остановился. Он вынул из кармана изящную беленькую книжечку в переплете из слоновой кости и тихонько прочитал:

— Номер двадцать один-в, во дворе, третий этаж, налево.

Позвонив у ворот, вступил он в большой четырехугольный, как ящик, двор, принялся рассматривать стены, окна, двери и увидел белую дощечку с черными буквами «кошер» *.

— Да, это здесь! — сказал господин, обращаясь к самому себе. В его глазах вспыхнул огонек, а на губах появилась довольная улыбка человека, который нашел то, что искал. Быстрыми шагами взобрался он на третий этаж и увидел три двери: одну прямо перед собой, другую справа, третью слева. На левой двери он снова увидел надпись «кошер». Немного отдышавшись, он взялся наконец за звонок.

Здесь мы должны немного остановиться и объяснить читателю, кто этот загадочный господин, почему он ехал с такой таинственностью, почему он отсчитал три дома, вернувшись обратно, и почему он так обрадовался, когда увидел слово «кошер». Мои дорогие друзья! Это не Шерлок Холмс, это герой нашего романа — Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К°».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Герой говорит о танцах, о кушаньях и тому подобных земных делах

Я не могу вам сказать, чем именно занимается фирма «Бибер, Шпак и К°». Я знаю только, что Маркус Бибер, представитель этой фирмы, — здоровенный детина, редкий красавец, богатый купец и милый человек. Он еще холост.

Но пускай сваты особенно не радуются: Маркус Бибер дал себе слово никогда не жениться.

Говорят, что в молодости Маркус Бибер был изящным кавалером, назывался «красавчик» и был знаменит своим уменьем танцевать. У барышень считалось большой честью танцевать с «красавчиком». Все девушки любят танцевать с красивыми кавалерами. Отчего же нет? Это совсем не грешно. А с кем же им танцевать? Мы с вами уже слишком стары для этого. Кроме того, мы уже давно женаты и уже забыли язык танцев. А язык танцев — это особый язык, которым нужно уметь пользоваться. Наш герой,

Маркус Бибер, мог танцевать целый час подряд и не переставая сыпать красивыми фразами, как цветами: «Раз-два-три, вы легче перышка...», «Раз-два-три, ваша талия — это мечта...»

Ах, для вас это китайская грамота? Да, надо уметь обходиться с дамами, надо знать, как держать себя с ними и как разговаривать. Я знаю это по собственному опыту. Однажды представили меня самым красивым дамам и барышням города как писателя и юмориста. Цветник дам окружал меня со всех сторон, всем хотелось что-нибудь услышать от меня. Я завел разговор... о литературе. Сначала мои дамы очень мило мне улыбались. Спустя немного я заметил, что они закрывают ручкой рот, чтоб никто не видел, как они зевают. Кончилось это тем, что я остался один, как Робинзон Крузо на острове. А мои дамы сбились в уголке вокруг какого-то красивого стройного молодого человека и так заразительно и звонко смеялись, что одно удовольствие было их слушать. Я попросил познакомить меня с этим молодым человеком. Нас познакомили. Его имя было Маркус Бибер («красавчик»).

Но теперь, увы, это уже не тот Маркус Бибер, что прежде. Он уже не «красавчик». То есть он и сейчас еще недурен, изящно одет, тщательно выбрит и изрядно надушен; всегда имеет при себе маленькую щеточку для усов и зеркальце, чтоб изредка взглянуть в него. В его зеленом галстуке красная булавка и на пальце сверкает брильянт. Все это было бы хорошо, если б не белая тарелочка на макушке, которая день ото дня делается все больше; если б не этот животик, который становится все выше и выше; если б он сам не чувствовал себя с каждым днем все более и более отяжелевшим. Да, совсем не то, что было... Что уж говорить о дамах, барышнях, танцах? Отстаньте! Ему хочется покоя. Он любит поесть повкуснее, вздремнуть после обеда. Хорошо есть и крепко спать — что вы думаете? — это не такая уж малость. Я не знаю, какую философию исповедует мой герой. Возможно, он своим умом дошел до сознания, что жизнь человеческая коротка, что мир

устроен глупо, что чашечка черного кофе и гаванская сигара после хорошего обеда — прелестное дело и способствует пищеварению... Хорошо тому, кто приходит к этой идее вовремя, пока желудок еще варит и сон не заставляет себя долго ждать. Вы можете даже сказать, что это буржуазные предрассудки, что это мысли человека, приверженного ко всему суетному, но вы не можете отрицать того, что это все-таки идея.

Я доволен, что у меня вырвалось слово «суетный». Это слово подходит к нашему герою. Маркус Бибер — суетный человек в полном смысле этого слова, суетный поклонник тщеты мирской. Он придерживается того взгляда, что не все люди одинаковы. Есть люди, которые отрешаются от всего мирского, — это их дело. Бибер же, когда приезжает на новое место, прежде всего снимает себе номер в лучшем отеле и сейчас же начинает подумывать, что бы такое съесть. В то время как другие пассажиры бегают: одни — смотреть город, другие — по делам, Бибера вы, наверное, найдете или с вилкой в руке в буфете, у бутылок и закусок, или с белой салфеткой за воротником у столика в ресторане. Он углублен в меню, изучает список блюд.

Таким образом вы уже несколько знакомы с моим героем. Теперь время познакомиться нам также и с героиней.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О героине романа

Она еще совсем молодая женщина, и фамилия ее Файн. Она содержит гостиницу. У нее двое мальчиков, которые учатся в гимназии, старушка мать в серебряных очках, всегда склоненная над большим молитвенником, и сестренка, которая помогает ей в деле. Кто хоть раз останавливался в гостинице у мадам Файн, только раз переночевал, съел только один завтрак или только два слова сказал с мадам Файн,—

уже ни в какую другую гостиницу не пойдет. А когда он уедет, то долго-долго будет хранить в памяти ее лицо, ее глаза, весь ее облик и все ее движения. Ее невозможно забыть. Когда вы видите ее в первый раз, вам кажется, что она вам знакома, что вы ее где-то когда-то видели. Когда вы говорите с ней и глядите ей в глаза, вам приходят на память светлые образы Пятикнижия, какими они являлись вам когда-то в вашем чистом детском воображении. И у вас возникает претензия к творцу вселенной:

«Что тебе, господи, стоило, чтобы все женщины, которых ты сотворил, были похожи, например, на мадам Файн? Твоя скромная земля выглядела бы тогда совсем иначе. Душа радовалась бы, глядя на свет божий...»

Да, радовалась бы. Это радость — говорить с мадам Файн, глядеть в ее глаза, слушать ее голос, видеть ее руки. Ах, ее руки! К чему бы ни прикоснулись ее золотые руки, все блестит, все сверкает! Все оживает под ее руками. Где бы она ни появилась, становится светло. Наденет она платье, оно поет на ней. Когда она проходит по комнате, стены улыбаются. Все, что вокруг нее, живет, цветет, радуется.

Вот это наша героиня, хозяйка гостиницы и еврейского ресторана, который находится на одной из тихих улиц большого города N., в доме № 21-в, во дворе, третий этаж, налево.

Теперь, полагаю я, моему читателю станут ясны многие вопросы, и мы можем продолжать наш роман.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рыба по-еврейски, блинчики с творогом и молодой человек в тесном воротничке

Когда наш герой находился еще по эту сторону дверей, до него донесся вкусный запах рыбы, еврейской рыбы, которая имеет свойство давать знать о

себе на версту вокруг. Она хвастает перед всем светом: «Внимание! Я, фаршированная рыба, не то, что какая-нибудь другая рыба; меня едят евреи, потому что я начинена пряностями и наперчена».

Открыв дверь, наш герой попал в большой, светлый, чистый зал. Белые стены его убраны зеленью. Длинный стол покрыт белой скатертью, украшен цветами. Вокруг стола сидит много евреев в шапках и без шапок, с бородами и без бород; такие, которые говорят по-еврейски, и такие, которые говорят по-русски, и такие, которые говорят по-немецки, то есть не совсем по-немецки, но больше чем наполовину, почти по-немецки. Сняв пальто и положив цилиндр, наш герой сел за стол на никем еще не занятый стул. Против него сидел субъект с красным лицом, с красным галстуком и тесным воротником. Воротник, видимо, так жмет ему горло, что он задыхается. У него глаза лезут на лоб, но он виду не подает. Он предпочитает испытывать муки ада и тихонько терпеть, нежели сбросить воротник и снять такой красивый галстук. Заняв свое место, Маркус Бибер поклонился, как того требует этикет, своему визави, то есть молодому человеку в тесном воротничке. Таким образом они как будто несколько познакомились. Маркус Бибер дает ему понять, что он первый раз в этом... в этом еврейском ресторане. Он остановился в «Гранд-отеле», и сюда его потянуло по случаю праздника швуэс. Вернее не столько по случаю праздника, сколько по случаю праздничных блинчиков, которые обычно едят на швуэс, хе-хе.

— Хе-хе! — вторит ему молодой человек в тесном воротничке, еще больше багровеет и смотрит Биберу прямо в глаза.

За рыбой наш герой становится еще более разговорчивым:

— Великолепная, отличная рыба! Я давно уже не ел такой рыбы. Фаршированная рыба имеет совсем особый вкус. Пусть здравствуют евреи и еврейские блюда! Я, как вы видите, не такой уж правоверный еврей, но кошерные блюда я уважаю. Что уж

говорить о праздниках. В праздники я ем только кошерное. Я не отдам кусочка еврейской рыбы за все маринады и майонезы в мире, и, между нами говоря, я не променяю еврейское жаркое на двадцать бифштексов, ромштексов, розбратов и ростбифов. Не будем лукавить: что может быть вкуснее шейки по-еврейски, начиненной мукой? Или бабки с куриными печенками? Или почек, пересыпанных крошками теста? Или чего не хватает, например, еврейскому бульону с хворостом, или лапшой, или вдруг даже с вареничками? А? Что?

Молодой человек в тесном воротничке молчит. Что может он сказать? Горе ему, он едва переводит дыхание. И Бибер снова возвращается к еврейской рыбе, говорит все громче, потому что все говорят, вся публика говорит о рыбе, не может нахвалиться рыбой. Гости превозносят рыбу и хозяйку, мадам Файн.

— Если хочешь поесть вкусной рыбы, то только у мадам Файн, — говорит человек с толстыми губами.

— Если хочешь есть с удовольствием, то нужно питаться у мадам Файн, — поддерживает его еврей, который отчаянно потеет.

— Я уже около четырех лет питаюсь у мадам Файн, — говорит молодой человек, у которого во время еды шляпа болтается на голове.

Одним словом, со всех концов стола только и слышится: «Файн», «Файн» и «Файн». А вот и она, мадам Файн.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Да здравствуют блинчики!

Мадам Файн вошла с целой свитой: с одной стороны старая мать, с другой — молоденькая сестренка, а позади — маленькие гимназистики. Все они одеты

по-праздничному, все выглядят по-праздничному и нагружены блюдами с горячими блинчиками, аромат которых разносится по всему залу. Можно было подумать, что луч солнца вдруг ворвался сюда в комнату и улыбкой лег на все лица. Все как один встали и приветствуют мадам Файн.

А мадам Файн? Мягко, просто и дружелюбно, тепло, как родной человек, как сестра, подходит она к каждому из гостей. Для каждого в отдельности у нее найдутся такие слова, от которых становится радостней на сердце и теплей на душе. Ее глаза улыбаются — и все улыбаются, и все вокруг нее смеется и радуется.

Наш герой, как это уже известно читателям, большой поклонник еврейских блюд, на сей раз взял на прицел хозяйку блинчиков и не мог оторвать от нее глаз. Он не понимает, почему вдруг сделалось так светло в комнате. И откуда повеяло на него вдруг такой теплотой и радостью? Они, кажется, не сказали друг другу ни единого слова, он только встал, а она подарила его взглядом, одним только взглядом своих милых светлых улыбающихся глаз, и он почувствовал, как что-то проснулось в его душе, что-то необычное, чего он до сих пор никогда не испытывал и чего даже назвать не может.

— Да здравствуют блинчики! — обращается он к своему визави и чувствует, что не это он хотел сказать. Он уже больше не смотрит на молодого человека в тесном воротничке и на его идиотские глаза. Он ест блинчики и не спускает глаз с мадам Файн, в то же время продолжая говорить:

— Нравится вам, например, хозяйка? Сказали б вы когда-нибудь в жизни, что это хозяйка гостиницы, ресторана? Разве она не выглядит, как графиня? Как королева? А? Что вы скажете?

Но молодой человек в тесном воротничке молчит. Он еще больше багровеет и даже начинает потеть. А наш герой дает себе слово, что не будь он Бибер, если он не познакомится с мадам Файн, и сегодня же, поближе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Герой меняет свой номер в «Гранд-отеле» на номер в доме 21-в, третий этаж, налево

Я думаю, никому не покажется странным, что мой герой, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К°» сейчас же после швуэс переехал из «Гранд-отеля» в дом номер 21-в, третий этаж, налево. Конечно, в «Гранд-отеле» более роскошно, больше шика — о чем толковать? Но зато он еще никогда нигде не чувствовал себя так хорошо, так уютно, как здесь, среди хороших людей! Маркус Бибер очень скоро узнал, как зовут двух маленьких гимназистиков. Одного зовут Герцл, другого — Миша. Он заводит с ними дружбу. Играет с ними в «козу и волка» и в «ладошки». С сестренкой мадам Файн он тоже подружился. И даже для старой матери в серебряных очках, которая все сидит над толстым молитвенником, он находит нужные слова!

— Бабуня, вы все еще молитесь?

— Я уж и за детей и за внуков молюсь.

— Если так, то помолитесь, бабуня, и за меня.

«Бабуня» поднимает на него серебряные очки и ничего не отвечает на его шутку.

Словом, наш герой настолько сроднился, освоился с этой семьей, что ему совсем не хочется уезжать отсюда. А из дому его засыпают письмами, чтоб он скорей возвращался: дела призывают его. Дела? Какие дела могут его оторвать от этого места, где он наконец нашел свой истинный идеал? Как и когда это в нем созрело, он сам не знает. Вот так, само собой созрело. Сколько невест ему сватали! Сколько девушек за ним бегали?! Видно, суждено бедной одинокой женщине с двумя детьми, с маленькой сестренкой и старой матерью такое счастье! Детей он запишет к себе в паспорт и даст им свою фамилию: Бибер. Сестренку он выдаст замуж, а «бабуня» пускай себе сидит и молится на здоровье.

Так размышляет наш герой и видит в своем воображении, как бедная женщина будет поражена, когда

он, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К°», скажет ей, что он согласен дать ей свое имя и разделить с ней свое состояние! «Я надеюсь, что вы говорите все это серьезно?» — скажет она, и все лицо ее, что белей молока, вспыхнет румянцем, а ее прекрасные глаза зажгутся новым огоньком!.. А пока он предлагает ей пойти с ним в театр. Почему же нет? Мадам Файн ему очень благодарна. Однако она должна ему сказать, что без детей она не может пойти; она уже давно обещала им пойти с ними в театр. А если дети пойдут в театр, то придется взять и сестренку тоже... Конечно! Он иначе и не думал! И Маркус Бибер берет ложу и идет с мадам Файн, ее детьми и сестренкой в театр.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Немножко телеграфной литературы

Сидя в ложе с мадам Файн и ее сестрой, Бибер думал: откуда у этой женщины такое уменье держать себя и такая обходительность? Графиня не выглядела бы лучше, чем выглядит эта хозяйка ресторана. Ах, как к ней пойдет имя «мадам Бибер». Когда он привезет ее к себе, в свой город, она затмит своей красотой всех самых красивых дам. Конечно, он никому не расскажет, что она когда-то содержала гостиницу и ресторан... Он скажет, что она аристократического происхождения, что она приходится дальней родственницей самим Поляковым, что у нее в Москве дядя миллионер и два брата инженера в Петербурге...

Эти мечты уносят нашего героя так далеко, что он сам начинает верить в этих петербургских инженеров. Он уже подрядился вместе с ними строить новую ветку железной дороги, а если не хватит денег, придется взять за бока дядю миллионера. Ничего, вексель фирмы «Бибер, Шпак и К°» чего-нибудь да стоит...

— Что вы говорите, мадам Файн?

Что ей сказать? Она ему очень благодарна за ложу. Она очень благодарна не так за себя, как за детей. Она давно обещала им пойти с ними в театр. Спокойной ночи, господин Бибер!

— Спокойной ночи, мадам Файн! Спокойной ночи, Герцл! Спокойной ночи, Мишенька! Завтра увидимся. Спокойной ночи!

И Маркус Бибер поднимается к себе в комнату и чувствует, что ему хочется петь, что ему хочется танцевать. Но он не поет и не танцует. Он ходит взад и вперед по комнате и места себе не находит. Он простить себе не может, зачем до сих пор словом не обмолвился с мадам Файн ни о своих планах, ни о своих чувствах. Уже несколько дней, как он собирается с ней поговорить и никак не может. Не может! Он не находит слов, не знает, каким языком говорить с ней. Старый танцевальный лексикон здесь неуместен. Договориться о таком важном предмете может только человек опытный, вот как, например, его старший компаньон Шпак. Старый волк знает толк: Шпак уже своих детей переженил, он лучше всех провернет это дело. Кроме того, надо сообщить домой, что он собирается совершить такой серьезный шаг в жизни. Пусть старая мать тоже порадуется. (У Бибера богатая мать, которая является главой фирмы, а он, Маркус, ее единственный наследник.) Наш герой решает написать домой и просить компаньона, чтоб он поскорей приехал. И недолго думая он берет лист бумаги, садится за стол и...

Тут должны мы прервать наше повествование и сказать несколько серьезных слов. Наш герой, не в укор ему будь сказано, в искусстве писать не так был силен. То есть он, не дай бог, не какой-нибудь невежда, который не умеет пера держать в руках. Просто он больше привык писать деловые бумаги: счета, векселя и тому подобные произведения. Во всяком случае, ему не приходилось писать писем, где нужно выразить столько мыслей и такие чувства, которые трудно выразить на бумаге. Не лучше ли будет вызвать компаньона телеграммой?

И полетели депеши из одного города в другой, от одного компаньона к другому, от Бибера к Шпаку и от Шпака к Биберу. Любопытно будет познакомить нашего читателя с этой телеграфной литературой.

1. От Бибера Шпаку:

«Приезжайте. Серьезное дело. Бибер».

2. От Шпака Биберу:

«Телеграфируйте, какое дело. Шпак».

3. От Бибера Шпаку:

«Приедете — увидите. Бибер».

4. От Шпака Биберу:

«Ехать невозможно. Телеграфируйте, какой залог. Шпак».

5. От Бибера к Шпаку:

«Никакого залога. Приезжайте. Бибер».

6. От Шпака Биберу:

«Буду курьерским. Шпак».

И Шпак приехал курьерским поездом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

где читатель познакомится с новым персонажем — со Шпаком

Насколько Маркус Бибер суетный, настолько его старший компаньон, Шпак, далек от всего мирского со всеми его радостями и удовольствиями. Шпак продал душу дьяволу и предался делам. Он не ест, не пьет, не спит, для него существует только дело, дело и дело. Если б его жена и дети не следили за ним, не бегали бы за ним, насильно заставляя его поесть, он растаял бы, как свеча. Он и так выглядит ужасно. Маленький, худенький, сгорбленный, он постоянно мигает глазами, или шмыгает носом, или передергивает плечами. Мысли у него скачут, дела летят, да и сам он тоже куда-то несется. А говорит он так быстро, что ему приходится несколько раз повторять сказанное. Он всегда зол, не зная, почему и на кого. Он кидается и бросается из стороны в сторону и

плюется — может вполне сойти за сумасшедшего. Но по существу он не плохой человек: не любит почестей, не переносит чужих слез и ничего на свете не боится, кроме кошки и грома. Вот он весь — наш новый персонаж.

Шпак сошел с поезда, имея позади бессонную ночь. Он поругался с извозчиком, бросался, кидался из стороны в сторону, плевался и в конце концов заплатил в два раза дороже. Нисколько не отдохнув, не умывшись, не поев, он тут же отошел с Бибером в сторону.

— Что это за дело? Скорее, когда уходит курьерский поезд? Когда? Который сейчас час, скорее?

— Погодите. Прежде всего давайте закусим, — просит его Бибер.

Шпак сердится, ни о чем не желает слушать: или дело, или он сейчас же уезжает домой. От Шпака всего можно ожидать. Шпаку можно верить! Наконец они уселись, и Бибер рассказал своему компаньону со всеми подробностями всю историю, как он остановился в «Гранд-отеле», как наступил швуэс, как он стал искать еврейский ресторан, где можно получить блинчики с творогом, и так далее, и так далее... Он не пропустил ничего, даже маленькой сестренки, старой матери с молитвенником, двоих детей — Герцла и Мишу, ложи в театре... Все время, пока младший компаньон рассказывал, старший компаньон сидел как на горячих угольях, мигал глазами, шмыгал носом, передергивал плечами и только гнал и гнал: «Скорее, скорее!» — пока Бибер дошел наконец до самого главного и почувствовал, что у него с души камень свалился.

Разве я в состоянии вам передать, что произошло, когда Шпак понял суть всей истории?

Его младший компаньон, Маркус Бибер, представитель фирмы «Бибер, Шпак и К⁰», хочет жениться на какой-то рестораторше, потому что она хороша лицом и умеет готовить блинчики?.. Другой на месте Шпака разразился бы хохотом, призвал бы все казни на головы своих врагов и послал бы своего компаньона к черту. Но нет, Шпак не такой человек, он не

смеется. Вот уже более двадцати пяти лет никто не видел, чтобы Шпак смеялся. Шпак обеими руками схватился за голову и, не говоря ни слова, начал бегать взад и вперед по комнате. Только спустя немного он начал говорить — нет, не говорить, но извергать огонь, метать молнии. Он клялся, что если бы располагал временем, то взял бы его, Бибера значит, и повел бы к доктору. Но так как у него времени нет, дела его не отпускают, он плюнет и уедет домой, а он, Бибер значит, пусть остается здесь и пусть он сгорит со своими ресторанами, рестораторшами и блинчиками. Пускай все пойдет прахом, все дела к черту, в преисподнюю.

Шпак даже расстегнул воротник, а галстук забросил на шкаф,— так возмущен он был своим компаньоном. А его компаньон что сделал? Ничего. Сидел и молчал. Бибер его знает. Он знает, что Шпаку нужно дать вволю покипятиться, покричать, а потом можно с ним сделать что хочешь.

— Уже? — спрашивает его Бибер. — А теперь давайте спустимся в ресторан и перекусим.

И оба представителя фирмы «Бибер, Шпак и К⁰» спускаются в ресторан. Они садятся за столик. Бибер представляет мадам Файн своего старшего компаньона, господина Шпака. И тут совершилось чудо.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

События развиваются, и на сцене появляется новое действующее лицо

Вы верите в колдовство? Приходится иногда верить и в колдовство! Потому что иначе не объяснить того, что произошло со Шпаком. Куда девался его гнев, его раздражение. Совсем не тот Шпак! Тише, он даже перестал мигать глазами! Часа два он сидел за столом с мадам Файн, говорил с ней обо всем на свете и совершенно не заметил, как время пролетело. А когда он поднялся наверх, то по привычке походил

быстрыми шагами взад и вперед по комнате, потом остановился против Бибера, поднял голову к потолку и, заложив руку за воротник, скороговоркой, повторяя три раза каждое слово, сказал:

— Ты должен без дальних проволочек, должен ты без проволочек вызвать мать телеграммой, должен вызвать.

Бибер возражает. Что он — мальчик? Молоденький жених, которому мама поможет выбрать невесту? Но Шпака нелегко переспорить. Что касается дела, так уж пожалуйста! Дело он понимает лучше. И летит дипломатическая телеграмма к мадам Бибер:

«Дело требует вашего присутствия. Приезжайте. Шпак».

В ответ на эту телеграмму тут же пришла другая телеграмма:

«Что случилось? Телеграфируйте здоровье Маркуса. Беспокоюсь».

Снова летит телеграмма:

«Маркус совершенно здоров. Приезжайте. Шпак».

В ответ опять телеграмма:

«Выезжаю курьерским».

Ни жива ни мертва приезжает госпожа Бибер, мать нашего героя, еще довольно красивая женщина, с ридикюлем в руке. Она падает сыну на грудь, благодарит бога, что застала «Маркусеньку» живого. Если она не умерла в дороге от одних только черных мыслей, значит она, бог даст, будет долго жить!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Все три действующих лица принимаются за свою дипломатическую работу

Шпак хоть и сухой человек, все же он более дипломатичен, чем Бибер. Он не рассказал госпоже Бибер о романе Бибера, он умолчал обо всей этой истории. Он только свел обеих женщин внизу, в зале, — и все. И, конечно, им уже нелегко было расстаться. Старая

госпожа Бибер говорила про себя: «Подумать только! Если б мне бог послал такую невестку, чего бы я еще могла желать?» Можно легко представить себе слезы, которые навернулись ей на глаза, когда Шпак дипломатично изложил ей, в чем тут дело, и когда «Маркусенька» сам открыл ей тайну, сказав, что он смертельно влюблен в мадам Файн и только ждет, что она, мать, скажет... Старая госпожа Бибер снова упала сыну на грудь и возблагодарила бога за то, что дожила до того отрадного дня, которого она так долго ждала, довольно долго... Правда, партия не столь завидная. Но станут они об этом думать?! Сейчас другая жизнь пошла... Дай бог, чтоб они были счастливы!

— Аминь! — отзывается Шпак. — Теперь осталось одно, одно теперь осталось: надо поговорить, надо с ней поговорить насчет этого дела, именно сейчас и именно Маркусу, который это час, который час?..

Сказанное Шпаком нужно было понимать так: со старым холостяком нельзя тянуть! Нельзя мешкать! И все три действующих лица посмотрели друг на друга и без слов поняли друг друга.

Было уже довольно поздно, когда наши три персонажа, оба компаньона и старая госпожа Бибер с большим ридикюлем, спустились в ресторан поесть. Там же госпожа Бибер должна была поговорить с мадам Файн о том самом...

В зале нет никого. Только в углу, как всегда, сидит над своим толстым молитвенником старая мать в серебряных очках. Оба компаньона садятся за стол, а госпожа Бибер подсаживается к старушке, начинает с ней разговор о всяких домашних делах, о хозяйстве, о всяких пустяках. Затем она переходит на тему о детях, старается насколько возможно выведать у старухи о достоинствах ее дочери и не забывает в то же время перечислить достоинства своего сына, своего единственного сына. Все скажут, что нет второго такого на свете. Добряк и широкая натура. Если ему что-нибудь придется по душе — он все отдаст. Счастлива будет та, которая соединит с

ним свою судьбу, — только птичьего молока ей не будет хватать!..

Старуха над толстым молитвенником по-настоящему не понимает, для чего эта женщина ни с того ни с сего так превозносит своего сына, но все же она поднимает на нее свои серебряные очки и выслушивает до конца, то есть до тех пор, пока мадам Бибер сама себя не прерывает и, оглянувшись вокруг, не говорит:

— Где ваша дочь?

Старуха снимает серебряные очки.

— Она нужна вам? Я пойду позову ее. Она у себя, готовит с детьми уроки.

— Нет, нет. Зачем я буду вас беспокоить. Я лучше сама зайду к ней на минутку. Скажите мне только, как к ней пройти!

И госпожа Бибер берет свой ридикюль и идет к мадам Файн.

Оставим на время женщин и вернемся к нашим мужчинам. Мужчины важнее: все-таки представители сильного пола!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Появляется знакомое лицо, и наши два компаньона потрясены

Наши два компаньона, Бибер и Шпак, оба представителя фирмы «Бибер, Шпак и К°», в это время сидели за столом в приподнятом, праздничном настроении и толковали о делах. То есть говорил, собственно, только Шпак, потому что Шпак, когда говорит о делах, то не только он говорит и все его двести сорок восемь членов, но с ним вместе говорят и стены. Шпак любит дела не потому, что он так жаден до денег. Деньги — отчего же нет? Он не возражает против денег! Кто же это не любит денег? Но главное у него — дело! Дело для Шпака то же, что для шахматиста — шахматы, для пьяницы — водка или, прошу прощения, для гуляки — красивые девушки...

Шпак влюблен в дело — и только! В то время как Шпак завороженно говорит о деле, в зал входит человек и вежливо кланяется обоим компаньонам.

Наш герой, Маркус Бибер, поднимает глаза и смотрит на вошедшего. Ба, да это его бывший визави, молодой человек в тесном воротничке. Как он попал сюда? И так поздно ночью? Молодой человек в тесном воротничке, видя, что ему очень удивляются, смущенный останавливается. Он вспотел, он красен как рак, а глаза его вот-вот выскочат! Из сострадания Бибер просит его сесть и представляется ему:

— Мы, кажется, знакомы, Маркус Бибер. А это мой компаньон, Шпак.

Молодой человек в тесном воротничке снова вежливо кланяется и в свою очередь представляется компаньонам:

— Файн.

— Файн?

— Файн.

— Вы не в родстве с мадам Файн?

Молодой человек с тесным воротничком не выказывает и тени улыбки. Он смотрит прямо в лицо Биберу двумя круглыми телячьими глазами.

— Мадам Файн — моя жена, это значит, что я — ее муж.

Как почувствовал себя наш герой, когда он услышал такого сорта новость, кажется, читатель сам понимает. Если жена Лота превратилась в соляной столб*, то Бибер превратился в камень. Совсем иначе выглядел его компаньон. Шпак вдруг начал сильно мигать глазами, шмыгать носом, подергивать плечами, плевать и брызгать слюной; он стал пересаживаться с одного стула на другой. Огонь запылал в душе Шпака, и страшная ненависть к молодому человеку с тесным воротничком зажглась в его сердце. Если б ему позволили, он повесил бы его вот здесь, посреди зала, на люстре. А бедный ни в чем не повинный молодой человек садится против обоих компаньонов и смотрит на них виноватыми глазами.

Сейчас оставим мужчин и полюбопытствуем, что делается там, на женской половине.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Колесо фортуны странно повернулось и привело к концу романа

Когда госпожа Бибер с ридикюлем в руке пришла к мадам Файн, она нашла ее сидящей за книгой вместе со своими мальчиками. Госпожа Бибер на мгновение останавливается на пороге. Не помешает ли она? Мадам Файн встает. Она не ждала такой гостьи. Она просит сесть. Не хочет ли госпожа Бибер чаю? Нет, госпожа Бибер благодарит, благодарит за чай. Ах, какие у нее прелестные, милые дети! Такие дети — благословение божие. Ее же бог наказал — не дал ей нескольких детей. У нее только один ребенок, единственный сын. Маркус — это ее единственное утешение, свет ее очей. Один сын, но зато удачный. Как он ей нравится?

— Кто?

— Маркус, мой сын.

— Господин Бибер? А! Очень-очень порядочный человек. И милый человек. Мои дети влюблены в господина Бибера. Господин Бибер их слишком балует. Как-то взял их в театр...

— В театр? Ха-ха! Это пустяки. Вы еще его не знаете. Он добряк и широкая натура. Если ему кто понравится, он тому душу отдаст. Да поможет ему бог за его доброе сердце. Он заслуживает любви. Счастлива будет та, которая соединит с ним свою судьбу. Разве только птичьего молока!.. Его доброте, преданности и душевности нет конца! Я мать, и кто еще так знает свое дитя, как мать? Вот я здесь еще и одного дня не прожила, а я могу вам сказать, слышите вы, что его сердце, его душа и он весь, весь принадлежит вам.

— Мне?

— Вам, вам, мое дитя. Я понимаю вас, я вхожу в ваше положение. Я чувствую, что происходит в вашем сердце, и меня не удивляет, что вы покраснели...

— Мадам Бибер...

— Вы не должны оправдываться. Я вас отлично

понимаю. Я тоже женщина. Я тоже была молода и красива. Меня тоже когда-то любили. Вы не должны меня стесняться. Я мать, я ему преданна и хочу видеть его счастливым. Я знаю, что с вами он найдет настоящее счастье, и ни я, ни он сам не желаем лучшего.

— Мадам Бибер! Бог с вами...

— Пусть бог будет со всеми нами, дитя мое! Не называй меня мадам Бибер, зови меня мамой, потому что я тебе мать, как и ему. Вы мои дети, я ваша мать. Если ты согласна, поди ко мне, поцелуемся, и пусть сегодня же вечером бьют тарелки...

Мадам Файн встает, но вместо того, чтобы подойти к госпоже Бибер, она отступает назад. Ее глаза горят гневом, но лицо улыбается. Она хватает обоих своих детей за руки, как будто кто-то хочет их у нее отнять...

— Мадам! Вы говорите глупости! У меня есть муж!

— А? Что? Вы?.. У вас есть муж?

— Пусть он живет сто двадцать лет...

— Где? Кто?

— Кто? Он при деле, он бухгалтер...

Госпожа Бибер поднялась было, но опять села. Она открывает ридикюль, закрывает его, снова и снова открывает, не зная зачем.

Ее обдало холодным потом.

В отдельном купе первого класса сидят три человека. Поезд летит. Стучат колеса. Пассажиры молчат. Пожилая, еще красивая дама, с ридикюлем в руке и подушечкой под головой, закрыла глаза и притворяется спящей. Против нее высохшее, как мумия, существо склонилось над кучей счетов. Оно мигает глазами, шмыгает носом, дергает плечами, как будто считает и тихо с самим собой разговаривает. Повернувшись к окну, заложив руки за спину, стоит элегантный господин — третий пассажир. Он смотрит, как проносятся дома, деревья, леса, поля... Мимо, мимо — и исчезают.

«Вот так бегут, уносятся дни и годы, — думает он, — лучшие молодые годы».

КАРТЫ

История старого вольнодумца, рассказанная в честь хануки

В наше время карты — дело обычное.

Где только теперь не играют в карты? *Когда* только не играют в карты? И *кто* только в наши дни не играет в карты?

А в старину, можете себе представить, у нас играли в карты только один раз в год — на хануку.

То есть, если хотите знать, можно было в те времена и среди года перекинуться в картишки. По-настоящему. Но как? В полной тайне! За семью замками!

Это можно было зимой в хедере, в сумерки, между предвечерней и вечерней молитвами, когда ребе уходил в синагогу и грелся там у печки, с видом знатока толкуя простому люду талмуд, в котором, кстати, и сам был не силен; или летом в темном сарае, у светлой щелочки в дверях; или, подкупив служку Гецла, горбатого, вечно кашляющего человека, можно было забраться в женскую синагогу, надлежащим образом перевернуть, прошу прощения, стендер * и — валяй в «старший козырь», или в «тридцать одно», или в «тертел-мертел».

Риве-Лея, старостиха, — да будет благословенна память ее, она давно уже в лучшем мире, — однажды

нашла у себя в стендере такую вещь, что чуть в обморок не упала. Кто это мог ей подложить в стендер такую вещь?!

Она бросилась на улицу, побежала по городу и, можете себе представить, принялась кричать:

— Караул! Люди добрые, спасите! Караул! Несчастье! Навет! Идите со мной, и вы увидите!

Где несчастье, что за навет, никак нельзя было добиться.

— Идите, идите со мной, я вам покажу!

И вот так она, можете себе представить, собрала вокруг себя народ, не сглазить бы, начиная с раввина и дайена *, резника и кантора и кончая почтеннейшими людьми города.

Совершенно ясно, что когда увидели Риве-Лею, старостиху, с раввином и дайеном, с резником и кантором, а с ними еще отцов города, то и простой народ устремился посмотреть, что́ такое случилось. Женщины, молодые люди, мальчишки — все хотели знать, что там. И все пошли за Риве-Леей в синагогу! Впереди Риве-Лея, за ней — народ.

Страх, можете себе представить, охватил всех. Люди думали, что, наверное, произошло большое несчастье: или подкинули им незаконнорожденного, или нашли повешенного, или, спаси господь, кровавый навет, или еще напасть какая-нибудь!..

Ни живы ни мертвы взобрались все наверх, в женскую синагогу. Риве-Лея впереди, раввин с дайеном, с резником и кантором — за ней, а позади все остальные, весь остальной народ.

— Где? Где? — спрашивали все у Риве-Леи, старостихи, и прислушивались, не услышат ли крика младенца, всматривались, не увидят ли висящего человека и нет ли, не приведи господь, где-нибудь следов крови, которые враги нарочно оставили, чтобы накликать беду на евреев.

И, можете себе представить, как были все огорошены, когда вместо живого младенца, вместо повешенного, вместо следов крови увидели у старостихи Риве-Леи в стендере попа с черным крестом! И не

одного попа, но целых двух попов с двумя крестами: один поп сверху, другой — снизу...

Все наклонялись и заглядывали к Риве-Лее в стендер: сначала раввин, дайен, резник и кантор, за ними почтеннейшие евреи города, а потом уже весь прочий люд, один за другим. Взглянут — и бежать. Прикоснуться к *этому* руками охотника не нашлось. Отважился один только Велвл Рамшевич, зять кантора.

Велвл Рамшевич как только взглянул, прямо-таки просиял. Он рассмеялся и радостно воскликнул: «Да ничего это! Чепуха! Это же король трефовый!»

— Что это значит король трефовый?

— Это такая карта. Есть такая игра, называется карты!

— Как же попала она, эта карта, в женскую синагогу, к Риве-Лее, старостихе, в стендер? Это первое. А во-вторых, откуда тебе, зятю кантора, знать, что это карта, и что называется она король трефовый, и что есть игра такая, называется карты?

Бедняга Велвл понял, что он здорово попался. Он краснел и бледнел, можете себе представить, лепетал что-то несвязное, вертелся и так и этак, пока...

Но не это хотел я вам рассказать. Это особая история, которую мы отложим на другой раз. Это не более как вводное предложение, как принято говорить. Это своего рода предисловие к нашей истории о «картах». Я только хотел вам показать, как мало известны были тогда евреям карты, как запретны они были и как нужно было с ними прятаться.

Одна только была счастливая неделя в году, когда можно было играть в карты свободно, совершенно открыто.

Это была неделя праздника хануки.

А уж если речь идет о свободе, то мы не стеснялись... Мы собирались — целая компания молодых людей — и отправлялись играть в карты к Велвлу Рамшевичу. Он уже и тогда был забубенная головушка. Он снял бороду и пейсы именно в дни «сефире» *, открыто курил в субботу, обязательно

выйдя на крылечко, ел свиную колбасу непременно в «постные дни»*. И знай наших!

А жена его, Хаеле, дочка кантора, недолго думая сняла парик и осталась в своих собственных рыжих волосах, посыпала пудрой свое рябое лицо, и с утра до вечера хи-хи-хи да ха-ха-ха с молодыми людьми, показывает всем свои черные зубы.

«Молитвенный дом» — так назывался у нас дом Рамшевича — был открыт для всех молодых людей в городе. Там можно было почитать газету, светскую книгу, в субботу выкурить папиросу, в пост оскверниться колбасой. Но самое главное — там можно было побаловаться картишками.

Хозяева любили карты — и муж и жена. Она еще больше, чем он. Она прямо-таки пылала страстью к картам. Поговаривали, что они на картах подрабатывают. Ибо Хаеле постоянно выигрывала. Карта к ней шла, да и только! Она всегда имела козырь. Постоянно у нее лучшие карты, каждый раз ее карта бьет, и ничего не скажешь!

Вы можете себе представить, что такое зятек на харчах у родителей жены? Так я должен вам сказать, что благодаря ей, благодаря этой Хаеле с рыжими волосами и рябым лицом, не один такой зятек спускал все женино приданое, да еще и жемчуг в придачу, да еще и тестя своего доводил до банкротства.

С одним таким зятьком Хаеле однажды целую зиму играла в «оке» и довела его до того, что он развелся с женой — картинкой, красавицей — и перешел к ней на квартиру... В городе поднялся вопль! Что вам сказать? Светопреставление!..

Но это еще тоже не главное в нашей истории с «картами». Я только описал вам то место, где случилась эта история. Это значит, что история, которую я хочу вам рассказать, произошла-таки в этом самом «молитвенном доме», о котором я рассказывал, в доме Рамшевичей. И случилось это в первый день праздника хануки.

Итак, можете себе представить, сидели мы в первый день хануки в «молитвенном доме» и играли в нашу святую еврейскую игру — в «оке».

Играли мы там, да будет вам известно, партиями. Одна партия сыграла — другая садилась играть. И обычай был такой: одни играли утром, другие — днем, а третьи — вечером. И с каждой компанией играл один из Рамшевичей — иногда муж, иногда жена, а иногда оба. Ночью, если он спал, она играла. А иногда, можете себе представить, случалось, что они целую ночь, а иногда и две и три ночи оба не спали, оба играли. Разве только между одним коном и другим они на полчасика уходили, чтобы прилечь и вздремнуть накоротке...

Прилечь и вздремнуть мог и каждый из гостей. Кто раньше захватит местечко, тот и соснет.

Точно так же было и с едой. На столе, можете себе представить, всегда было разных сортов соленое, была нарезана колбаса, всегда стоял графинчик с рюмками, и — алчущий да насытится.

Понятно, что все это было за счет игроков. С каждого кона снимались «чаевые» для прислуги, хотя в «молитвенном доме» не было никакой прислуги. Рамшевичи не нуждались в услугах. В этом доме не готовили, постелей не стелили, комнат не подметали. На это не было времени. Для чего же тогда прислуга? Однако Рамшевичи не пропускали ни одного кона, чтобы не снять «чаевые». Все знали, что эти деньги идут на квартирную плату, на дрова, на карты и закуску. Что ж, живые люди! Живому человеку жить нужно!.. Таким образом, пить и есть, можете себе представить, мы могли там сколько душе угодно...

То же и с папиросами: целые ящики с папиросами — и кури, сделай милость. Больше всех курили сами Рамшевичи — он и она; она еще больше, чем он. Я не могу себе представить Хаеле Рамшевич без папиросы во рту. Напудренное рябое лицо Хаеле, с растрепанными рыжими волосами, с невыспавшимися припухшими глазами; в комнате накурено, хоть топор вешай; неумолчный гам — вот как, можете себе представить, выглядел «молитвенный дом» в праздник хануки, когда можно открыто играть в карты и не нужно прятаться и бояться недоброго глаза...

Я в тот день был в третьей партии, то есть в той компании, которая села играть вечером в первый день хануки и не вставала из-за стола до следующего вечера, пока не зажгли третью ханукальную свечку, и даже немного позже...

Благословлял ханукальные свечи, упаси боже, не хозяин, Велвл Рамшевич, но один из гостей — Эля Рафальский, молодой человек, картинка, зять у тестя на содержании, который влюблен в картишки, но зато строгий блюститель религиозных еврейских обрядов. А у Рамшевичей был славный обычай — их не интересовал ваш образ мыслей: вы можете быть вольнодумцем и, наоборот, вы можете быть трижды святым, — была бы только у вас монета и играли бы вы в «оке». И если есть место еще для одного игрока — то отчего же нет, милости просим, с превеликим удовольствием!

Столько болячек моим врагам, а мне счастливых лет, сколько раз мы играли с людьми, можете себе представить, пять дней и пять ночей подряд, расходились и не знали, кто они, что они, откуда они явились и куда девались потом. Играть в карты — это ведь не обручиться! Можно прекрасно играть в «оке» «втемную» и не знать родословной своего партнера.

Итак, мы сидели и играли в «оке», так сильно углубленные в свою работу, что совсем не заметили, как вошли два человека, но такого необычного вида, что, как только мы услышали их «с праздником» и подняли на них глаза, мы все оцепенели, у нас отнялись язык и руки.

Вы хотите, конечно, знать, что это за субъекты такие, что их можно было так испугаться. Я вам их сейчас по возможности опишу.

Один — высокий, тонкий, длинный, в шелковом длиннополом сюртуке, вьющиеся, узкие, длинные до пояса пейсы; на голове штраймл *, а усы и борода такие страшные, что если столкнешься с таким субъектом в темном переулке, то душа в пятки уйдет.

Второй, наоборот, низенький и толстый. Тоже с длинными пейсами и тоже со странной бородой и усами. Но этот не так страшен, как первый. В одной

руке у толстого был фонарь, в другой — большой платок с деньгами.

Заметив, что мы их как будто испугались, высокий и длинный, с вьющимися пейсами, улыбнулся в усы и еще раз сказал:

— С добрым праздником вас, милые евреи. Мы пришли поздравить вас с праздником хануки.

При этом он бросил взгляд на ханукальные свечи, затем на столик с картами и испустил глубокий вздох. Вслед за ним второй, толстый, тоже вздохнул. Оба искали глазами местечка присесть.

Хозяин, Велвл Рамшевич, вспомнил наконец, что надо быть вежливым. Он стремительно поднялся с места, поздоровался с вошедшими и указал им, где сесть. А за ним и все мы сочли нужным поздороваться с ними, с каждым в отдельности: кто — пожимая руку, а кто — просто кивком головы.

Усевшись, они снова переглянулись и глубоко вздохнули. А хозяин счел нужным спросить у них: как звать, откуда, куда, и что, и как — как это принято.

Отвечал первый, длинный и тонкий, языком, можете себе представить, совершенно елейным. Очень медленно, с приторно сладкой улыбкой из-под страшных усов он произнес считанных несколько слов. Казалось, он не говорит, а творит молитву и при этом что-то обсасывает.

— Я, мои милые люди, внук Баалшема *. Я всю жизнь скитаюсь по белу свету, собираю деньги на ешибот. Собираю здесь и за рубежом, там, в стране наших предков, — ох-ох-ох! А это мой габе *, который сопровождает меня, — указал он глазами на толстого. И оба глубоко вздохнули.

— Всю жизнь мы отдали за ешибот, божья тора чтобы, упаси господи, не была забыта — ох-ох-ох! Жертвуйте, евреи, сколько душа ваша пожелает... «Кто много, кто мало...» — разразился стихом внук Баалшема, закатив глаза. А толстый поддержал его:

— Кто больше дает, тому бог пошлет. — Он закатил глаза и со звоном бросил платок с деньгами на

стол. Платок развязался, и оттуда выглянула масса серебряных и также золотых монет.

Говорят, деньга деньгу зовет. Так как в платке было много серебряных и золотых монет, нам неудобно было отказаться, и каждый из нас немного положил в платок. В это время у каждого из нас промелькнула мысль (я знаю наверное, что у каждого пробежала эта мысль!): «Ах, если б мне этот платок с деньгами! Какой спектакль я сыграл бы за этим столом!..»

У нашей хозяйки, Хаеле Рамшевич, можете себе представить, даже глаза загорелись. Это заметили все, даже внук Баалшема со своим габе. Они не торопились, однако, убрать платок со стола. Они сидели оба, опустив руки, и как-то странно разглядывали карты, которые были разбросаны по столу. Похоже было на то, что они видят карты первый раз в жизни.

— Извините, пожалуйста, я хочу вас спросить, мы не мешаем вам? — так говорит внук Баалшема со своей елейной речью и слащавой улыбочкой. Он показал мизинцем на разбросанные карты. — Это что такое, вот это?

— Карты, — отвечают ему оба разом, хозяин и хозяйка. Они переглядываются с нами, словно говоря: «Есть еще, видно, на свете такие дикари, которые не знают, что такое карты...»

Внук Баалшема закрыл один глаз, сморщил лоб и нос, повернул лицо к габе и произнес с легким вздохом:

— Кнарты?..

— Кнарты! — ответил ему габе, тоже слегка вздохнув.

— Не кнарты, а карты! — рискнула поправить их Хаеле Рамшевич, не спуская глаз с платка с деньгами.

Ни внук Баалшема, ни габе, разумеется, ничего не ответили хозяйке и даже не подарили ее взглядом своих мягких, улыбающихся, умных глаз. Такие евреи, можете себе представить, не смотрят на женщин.

— Скажите же мне, пожалуйста, я вас прошу, если мы не мешаем вам, — снова обратился внук Баалшема к хозяину, — что такое кнарты? И зачем они нужны? То есть я хочу сказать, что с ними делают?

— Играют, — отвечает ему Рамшевич. — Когда приходит праздник хануки, играют в карты.

Внук Баалшема опять закрыл один глаз, снова медленно повернул лицо к габе и проронил с легким вздохом:

— В праздник хануки у них играют в кнарты. Ох-ох-ох!

— В кнарты! — повторил габе с таким же вздохом.

— Что же это такое? — снова обратился внук Баалшема к хозяину со своей медлительной елейной речью. — Как это играют в кнарты? Для чего играют?

— Ради денег, — отвечает ему Рамшевич и смотрит на нас и на платок с деньгами.

Ответ «ради денег», видимо, показался двум гостям совершенно диким и ни с чем несообразным, потому что они оба одновременно повернулись друг к другу и скорчили такую гримасу, что все присутствующие, которые до сих пор только тихонько посмеивались, не могли больше выдержать и разразились громким смехом.

— Что тут смешного? — заступилась за них хозяйка и закурила, чтоб скрыть улыбку. А хозяин, Велвл Рамшевич, пришел ей на помощь и объяснил этим евреям коротко и ясно смысл карточной игры: карты — забава, чтобы провести время, и также средство добыть деньги. Короче: карты — это дело. Такое же дело, как всякое другое.

Так выпалил Велвл, зять кантора, взялся за карты и строго посмотрел на окружающих. Всем своим видом он хотел показать этим докучливым евреям, что все поглощены делом, что время дорого, что им пора уже перестать морочить людям голову и они могут идти подобру-поздорову.

Но этим евреям, казалось, и в голову не приходило встать и уйти. Наоборот, они еще больше,

можете себе представить, придвинулись к столу и смотрели, как хозяин сдает карты, такими глазами, как будто ожидали, что вот-вот выскочит из карт невесть какое чудо!

— Если мы вам не помешаем, — обратился к нам ко всем внук Баалшема со своей елейной речью и сладенькой улыбочкой.

— Вы хотите посмотреть, как играют в карты? — поддержал его Велвл Рамшевич, — смотрите. Вы нам ничего не испортите. Ну, ребята, за работу! Время не ждет! Чей ход?

И картеж пошел, как прежде, даже с еще бо́льшим оживлением, с еще бо́льшим жаром и, как это называется, «с душой».

Наши два гостя только смотрели нам в глаза, прислушивались к нашей речи и заглядывали в карты ко всем. Каждый раз, когда мы осторожно, понемножку, можете себе представить, заглядывали в свои карты, наши два еврея тоже, согнувшись в три погибели, заглядывали снизу вверх или сверху вниз вместе с нами. При этом они так уморительно гримасничали, что можно было околеть со смеху, если бы, к счастью, каждый из нас не был так захвачен игрой.

А карты, можете себе представить, имеют такую силу, что разве только землетрясение может оторвать от них.

Я боюсь, что я был единственным, кто, как говорится, смотрел в оба. От времени до времени я поглядывал на этих двух евреев. Больше чем наверное, что мы казались им чудаками, которые занимаются странным делом, говорят странным языком и ведут себя, как дикари: сидят без шапок, курят папиросы, обмениваются бумажками, бросают деньги в тарелку и говорят между собой на таком языке, который может показаться турецким. Потому что кто это, можете себе представить, обязан понимать, что такое «пас», «квенц», «шраге», «виза», «нарош», «парни», «девки», «валет», «королева», «король», «туз» и тому подобные слова, которые относятся к карточному языку?

Могу поклясться, что мы все уже почти не помнили о наших гостях, как вдруг кто-то хлопнул белой рукой по лежавшей на столе колоде карт и сказал:

— Тише, люди! Мы поняли, мы уловили смысл игры! Это искушение, бесовское искушение! Спаси нас господь! Сделайте одолжение, разрешите нам тоже играть! Ах, неотвязное искушение! Ах, грешны мы, грешны, да простит нас господь! Пожалуйста, дайте и нам поиграть. Мы тоже хотим вкусить этой игры, хотим узнать, что такое кнарты!

Это были слова внука Баалшема. Произнесены они были чуть не со слезами на глазах, таким дрожащим голосом, с таким чувством и с таким жалобным видом, что положительно сердце разрывалось, глядя на него. К этому нужно прибавить еще, можете себе представить, платок с серебром и золотом... Каждому хотелось (я убежден, что каждому!), чтобы этот платок с серебром и золотом перешел к нему... У нашей Хаеле даже глаза вспыхнули и щечки зарделись. Она обратилась к мужу, который как будто оцепенел, и ко всем нам:

— Люди просят... Что вам стоит? Дадим им карты ради праздника! Ради хануки! — добавила она обрадованно, довольная, по-видимому, тем, что вспомнила о празднике хануки. А глаза ее, можете себе представить, все время неотрывно смотрели на платок... Но внук Баалшема пока подвинул платок к себе и принялся трепетными руками извлекать оттуда монету за монетой. Он набрал кучку денег, вернее, две кучки; положил одну себе, другую — габе. При этом он громко оправдывался перед самим собой:

— Ничего! С нами бог! Одно из двух: если мы выиграем, тогда будет больше денег на ешибот... Если же мы, не дай бог, проиграем, бог простит нас. «Он эрех апаим» [1], — добавил он по-древнееврейски, подняв очи горе.

Габе подхватил его слова и, тоже закатив глаза, добавил по-древнееврейски:

---

[1] Долготерпеливый *(древнееврейск.)*.

— Бог наш эрех апаим, многомилостивый и истинный.

Все то, что я вам рассказываю, произошло так неожиданно, что ни у кого из нас, можете себе представить, не было времени задуматься, и все казалось нам совершенно естественным. К тому же мысли у всех нас, должен признаться, были прикованы к платку, а глаза — к кучкам денег...

Оставалось только решить, кто будет играть. Так как прибавилось два игрока, возник вопрос, кто из нас должен выбыть. Никому из нас, можете себе представить, не хотелось выйти из компании и потерять возможность играть с внуком Баалшема, который принес с собой такой платок... И началась перепалка: «Иди ты», «Иди ты, почему я?», «Почему не ты?»

Первой жертвой был зятюшка-цаца, о котором я вам раньше говорил, Эля Рафальский, тот самый, который благословлял ханукальные свечи за всех нас. На него пал жребий, потому что так хотела Хаеле Рамшевич. Она считала, что он должен идти домой: уже поздно, его тесть и теща будут в претензии, будут скандалить. Ну их к дьяволу!

Но так говорилось только для виду. На самом же деле всем был известен секрет, что Эля проигрался в пух, что в кармане у него свистит, а давать взаймы ему никто не хочет: посреди игры не дают взаймы.

От одного игрока избавились. А что делать с другим? Надо бросать жребий, тянуть узелки, как это в таких случаях делается... Но зачем буду я вас долго мучить? Мы крепко взяли в оборот наших двух евреев и начали помаленечку да полегонечку их обыгрывать. В платке у них монет делалось все меньше, а у нас — все больше. Новоиспеченные игроки были совершенно опьянены игрой и пылали, как соломенная стреха. Дошло уже до того, что платок вот-вот опорожнится до дна и от их состояния останется одно воспоминание... Мы стали уже задумываться: что будет, если они останутся без единой копейки, без единого гроша? Что скажут в городе? Что скажут люди?..

Но карты, можете себе представить, имеют такое свойство, что вот вы низринуты в прах, вот-вот, кажется, вас вынесут, завернутого в саван, как вдруг блеснет счастье — и пойдет вам такая карта, что вы и сами не понимаете, каким образом и откуда. Нашим гостям вдруг стало везти, как говорится, хоть в колокола звони. Особенно с той минуты, как Баалшем стал сам сдавать карты.

— Надо взять царство дьявола в свои руки. Это последняя ставка, — сказал он, сдавая карты сначала медленно, с большим напряжением, неопытной дрожащей рукой, с каким-то рассеянным блуждающим взором.

Это смешило нас необыкновенно. Но чем дальше, тем быстрей сдавал он карты, все быстрей, и, наконец, дошло до того, можете себе представить, что у него все в руках горело. И везло ему невероятно. Если у вас хорошая карта, у него лучше; если у вас короли — у него тузы; если у вас тузы — у него «нарош»! А если вы испугались — «квенц», — то у него «шраге».

— Господа!.. — вскочил из-за стола внук Баалшема уже на рассвете. Он выпрямился и стал укладывать весь выигрыш уже не в платок, а во все карманы, закатывая глаза и слегка вздыхая.

А габе вслед за ним, тоже закатывая глаза и тоже вздыхая, закончил стихом:

— «...близится время утренней молитвы». День настал. Пора в синагогу...

Сонные, одуревшие, голодные и убитые, злые друг на друга, как это бывает после проигрыша, мы некоторое время еще оставались сидеть как истуканы. Потом вдруг все поднялись и бросились к столу — к водке и закуске. Бросились все, кроме наших двух гостей, которые уже готовы были пуститься в путь и только искали глазами мезузу... Но хозяин, Велвл Рамшевич, вскочил и, раскинув руки, преградил гостям дорогу:

— Нет, не выйдет! Вы не уйдете из моего дома, пока с нами не закусите!..

Более страшной мести наш Велвл не мог придумать. Наши гости, можете себе представить, растерялись, стали озираться кругом и смотрели друг на друга такими глазами, как если бы им предложили опорожнить карманы и вернуть весь выигрыш. Первым отозвался внук Баалшема со своей елейной речью и приторной улыбочкой.

— Мы, конечно, очень вам благодарны. Гостеприимство — один из величайших заветов в священном писании... Но вы не должны забывать того, что мы такие евреи, которые не всякую пищу едят...

Это уже всех нас возмутило: «Ах так?! Не всякую пищу вы едите? Вы сомневаетесь, кошерная ли у нас пища? А в карты играть — это вам можно?.. Никакой бог вам не поможет. Если вы попробовали, что такое «оке» и банчок, то теперь вы должны отведать и наших яств».

Наши два еврея стояли бледные как смерть и смотрели друг на друга странными глазами. Затем внук Баалшема испустил глубокий вздох, почти стон, и, закатив глаза, сказал нам:

— Впрочем, вы правы: во-первых, мы у евреев... К еврею нельзя относиться с недоверием... Во-вторых, если даже, упаси боже, не так строго кошерно, так одно из двух... бог велик! «Если бы пытали Хананью, Мишоеля и Азарью, то поклонились они идолу» *, — заключил свою речь внук Баалшема и с добродетельным видом направился к столу, где хозяйка уже готовила селедку, кильки и колбасу.

— Лехаим [1], евреи! Лехаим! — снова вздохнув, сказал внук Баалшема. Он едва пригубил и принялся дрожащими руками за закуску — сначала за кильки с селедкой, затем за колбасу. То же сделал и габе. И оба они, бедняги, то и дело вздыхали, чуть не давились каждым куском. А когда они закусили, Велвл решил насладиться местью до конца, без всякой жалости, как настоящий злодей, он сказал им:

— А знаете ли вы, что вы ели настоящую трефную колбасу из с...? *

---

[1] За ваше здоровье *(древнееврейск.)*.

Велвл больше ничего добавить не мог, потому что оба еврея схватились за голову, стремглав бросились к дверям и, можете себе представить, унеслись, как буйный ветер, даже не простившись.

Удовлетворение местью было так велико, что мы почти забыли, как в эту ночь потеряли все свои деньги. Мы схватились за бока и, можете себе представить, принялись хохотать... Мы хохотали, хохотали и снова принимались хохотать... Как вдруг услышали нечеловеческий крик:

— Боже мой! Гром меня порази! Смотрите-ка, смотрите! Я этого не вынесу!

Это был голос Хаеле Рамшевич. Мы совсем не заметили, что она, перекусив, принялась за обычную свою работу. Она собирала использованные карты, чтобы продать их лавочнику или обменять на новые. Разбирая карты, она обратила внимание на то, что слишком много попадается ей тузов, по шесть-семь тузов в одной колоде!..

Мы все бросились к картам и, можете себе представить, открыли целый клад тузов, королев, королей и других крупных карт. А просто крапленых карт было без счета...

Мы не стали уже расходиться по домам, а отправились по всем синагогам и молельням разыскивать наших «гостей». Мы прислушивались, приглядывались, принюхивались, расспрашивали о внуке Баалшема и о его габе. Но, как и следовало ожидать, никто не слышал и никто не видел ни внука, ни его пособника.

Тогда нас осенила мысль пойти на вокзал. На вокзале мы смотрели, смотрели, высматривали, три раза прошли взад и вперед по всем вагонам — нет внука, нет габе. Как сквозь землю провалились!

Уже после третьего звонка, после последнего свистка паровоза мы услышали из одного вагона знакомый голос:

— Кнарты!!

Мы бросились в ту сторону и стали искать глазами. Из открытого окна вагона второго класса смотрели на нас две фигуры — одна длинная и

тонкая, другая — короткая и толстая. У обоих были бритые лица. На них были куцые пиджачки, а на головах — маленькие кепки. И все же эти лица показались нам знакомыми. Не столько лица, сколько глаза — мягкие, улыбающиеся, воровские глаза.

Первым узнал их зятюшка-цаца, Эля Рафальский. Как только он увидел их улыбающиеся лица, он прямо указал на них пальцем.

— Вот они! — не своим голосом закричал он. — Вот они, эти два еврея с кнартами. Они!

Но поезд уже тронулся. Колеса завертелись, и, проезжая мимо нас, наши ночные гости снова подарили нас взглядом своих мягких, улыбающихся, плутовских глаз. А Эле Рафальскому за его выкрик они издали преподнесли особый подарок — комбинацию из двух с половиной пальцев...

ТРИ КАЛЕНДАРЯ

Как известный Толмачев стал антисемитом

Рассказ одесского разносчика еврейских газет, продающего из-под полы «интересные открытки» из Парижа. Рассказ передан его собственными словами

— Вы спрашиваете, как это я, еврей, отец семейства, торгую этакой пакостью, запретным товаром — «интересными открытками» из Парижа? За это я должен быть благодарен только ему, нашему Толмачеву, чтоб ему погибель! Теперь, когда уже прошло столько лет и Толмачев уже не Толмачев, а Одесса опять Одесса, можно рассказать всю правду о том, как наш Толмачев стал таким антисемитом. Боюсь, что я вот, каким вы меня видите, порядочно в этом виноват, а может быть, и целиком во всем виновен.

Ах, вас «удивляет», какое отношение имею я, разносчик еврейских газет, продающий из-под полы «интересные открытки» из Парижа, к генералу Толмачеву? И «вообще», что у меня общего с генералами? Ну, так вот, понимаете ли, каждый «warum» [1] имеет свой «darum» [2], а еврей есть еврей... Если у вас есть время, я расскажу вам кое-что интересное.

---

[1] Почему *(нем.)*.
[2] Потому *(нем.)*.

Это было совсем как сейчас, в полупраздник кущей, здесь же, в Одессе, порядочно лет тому назад. Одесса была «вообще» Одессой, о Толмачеве ничего не слыхали, и еврей мог беспрепятственно бегать по улицам и продавать молитвенники и всякие иные книжки. Такого «обилия» еврейских газет еще не было, некого и нечего было бояться и незачем было промышлять контрабандными открытками из Парижа.

И вот расхаживаю я со своим товаром — всякими молитвенниками и календарями на круглый год — по Ланжеронской и Екатерининской, возле Фанкони, где шатаются все биржевики и маклера и «вообще» всякие евреи, и высматриваю, не пошлет ли мне бог какой-нибудь заработок. Расхаживаю, значит, вот такой, каким вы меня видите, по тротуару у кафетерия Фанкони, где обычно наши биржевики ботинки рвут, и думаю про себя: где добыть покупателей на оставшиеся календари? Прошел уже Новый год, Судный день, скоро совсем незаметно уйдут и кущи, а я все еще не распродал свои остатки, и бог знает, продам ли их, потому что это такой товар, что если уж он останется после праздников, то его смело можно подарить иноверцу. К чему, например, «простроченный» [1] еврейский календарь? А у меня после Нового года остались целых три «простроченных» календаря. Было у меня их сто штук, и я их растыкал вот здесь же на улице; наделил главным образом биржевиков. «Вообще» биржевик не «ай-яй-яй» какой еврей, он не очень уважает еврейский молитвенник, но еврейский календарь на круглый год это даже для биржевика иной раз товар. Надо ведь знать, когда придет пасха, когда читать поминальную молитву по покойнику. Еврей есть еврей.

Останавливаюсь возле Фанкони и разглядываю биржевиков, которые снуют мимо меня взад и вперед, — я знаю их всех как облупленных, — и размышляю: кому же предложить мои остатки, когда я всех уже «обеспечил» календарями на круглый год?

---

[1] Искаженное от слова «просроченный».

Стою так размышляю и вдруг вижу за столом у Фанкони, поближе к улице, сидит генерал в эполетах и помешивает ложечкой кофе, а подле него стоит «красная шапочка», из тех, что бегают на посылках. Генерал что-то наказывает ему, говорит еще и еще раз, а «красная шапочка» на все отвечает: «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Думаю: «Что такое может наказывать ему генерал?» — и пододвигаюсь к генеральскому столику поближе, а сам смотрю в сторону. Слышу, генерал говорит «красной шапочке» ясно, четко, разжевывает каждое слово и кладет прямо в рот:

— Помни, что тебе говорят! Отправляйся ко мне домой, на Херсонскую, номер три, и скажи генеральше, что сегодня у нас обедает граф Мусин-Пушкин. Помни же, — повторяет он, — и не забудь: Херсонская, номер три, граф Мусин-Пушкин!

«Красная шапочка» стоит перед ним, вытянувшись в струнку, и только повторяет:

— Слушаюсь!

Когда посыльный направился к выходу, генерал снова крикнул вслед:

— Помни — Херсонская, номер три, граф Мусин-Пушкин!

Генерал уже собрался пить свой кофе, как вдруг приметил меня, а я стоял совсем близко и заглядывал ему в чашку, боже сохрани, безо всякого умысла, но «вообще», просто так. И тогда он, сверля меня глазами, крикнул:

— Тебе чего надо?

Это значит, что я тут делаю? Думаю: чего мне надо, ты мне не дашь. Стоп, а может быть?! Что я здесь теряю? И я вот, какой ни на есть, сказанул:

— Ваше превосходительство, купите у меня календарь!

Он уставился на меня.

— Какой календарь?

— Еврейский календарь.

Он глянул на меня как на сумасшедшего и спросил:

— Зачем мне еврейский календарь?

— Зачем он вам нужен, я не знаю, но мне это нужно. Идут праздники! Осталось всего три календаря. Купите, ваше превосходительство!

Говорю, а сам думаю: «Вот будет замечательно, если дело пойдет на лад и генерал прикажет себе подать еврейский календарь на круглый год!»

Ну, так оно и было. Не успел я вымолвить: «Ваше превосходительство», — как их превосходительство гаркнул мне: «Пошел вон!»

Вся кровь застыла у меня в жилах, и я, как вы видите меня, схватил свою пачку и собрался уже сделать «налево, кругом!», как вдруг слышу: «Ступай сюда!» Генерал, стало быть, опять зовет. Ничего не поделаешь, возвращаюсь к нему. Генерал приказывает мне подать календарь. Достаю календарь. Он спрашивает: «Сколько стоит твой календарь?» Говорю ему, сколько стоит календарь. Он берет календарь и платит мне за календарь, не торгуясь, не проронив ни слова, ни-ни.

Как вам нравится этот генерал? Разве жалко, если за такого генерала подохнут три биржевика?!

«Итак, думаю, почин есть!» Беру свою пачку и отправляюсь восвояси. Почин — дело хорошее, но что дальше делать? Где взять еще двух генералов, чтобы сбыть оставшийся товар — последние два календаря? И тут я пожалел — почему не предложил ему сразу два календаря. Разве не подобает генералу иметь два календаря на круглый год? Вы спросите, что он будет делать с двумя еврейскими календарями? А что он будет делать с одним еврейским календарем?

Размышляю вот этак, и вдруг в голову приходит новая идея: вспомнилось, как генерал вот здесь, недавно, несколько раз наказывал посыльному: «Генеральше... Херсонская, номер три... Граф Мусин-Пушкин...» Честное слово, здесь можно сбыть еще один календарь!

«Только не будь идиотом, Абрам Маркович (так зовут меня по отцу, Меер-Аншлу), и «куй железо» — лови покупателя!» — Так сказал я себе и недолго думая зашагал с Екатерининской на Дерибасовскую, с Дерибасовской на Преображенскую, с Преобра-

женской на Садовую, а оттуда прямо через Елизаветинскую на Херсонскую. Заявился на Херсонскую и давай искать номер три. Есть такой номер, честное слово! Да еще какой дом — каменный, двухэтажный, особняк! Замечательно! Что же дальше делать? Надо потянуть за звонок и спросить генеральшу. Подхожу и звоню, а сам думаю: будет интересно, если выйдет солдат да еще с собакой, покажет мне дорогу, а к тому ж натравит на меня пса. Только этого мне недоставало!

А было так. Прошла минута, другая, третья. Стою и стою — никто «не является». Думаю: должно же случиться на мое несчастье, что дома никого нет! А может, звонок испорчен? Надо еще раз попробовать! И я давай снова звонить — раз, другой, третий. Раскрылась дверь, и из нее выскочила прислуга со щеткой в руке:

— Что надо?

Я хотел было дать стрекача, но собрался с духом и заявил:

— Мне нужна генеральша. Лично нужна!

Посмотрела она на меня и, наверно, подумала: это еще что за наказание?! А потом — хлоп дверью перед самым носом. Хоть бы слово вымолвила! Вот так встреча! Может, она снова «явится»? А вдруг вышлет солдата с собакой? У меня даже явилась охота отступить. Но раз я уже здесь и позвонил — пропало, некуда деваться!

И вот, не прошло и полминуты, как открылась дверь и появилась барыня, молодая, красивая, кровь с молоком. Чтобы это была генеральша? Но для этого она слишком молода. Чтобы это была генеральская дочь? Но для этого он слишком молод. А время меж тем идет, и она спрашивает:

— Что надо?

Думаю, что же мне дальше делать? Сказать ей: «Ваше превосходительство»? Хорошо, если это генеральша! А если вдруг это не генеральша, за что ей следует «превосходительство»? Додумался обойтись вовсе без «превосходительства». Начинаю прямо с дела.

— Так и так,— говорю ей.— Генерал купил у меня численник, календарь значит, и просил, то есть приказал отнести его домой, на Херсонскую, номер три. Здесь мне заплатят. Но если вы не верите, генерал велел сказать для признака, что сегодня здесь обедает граф Пусин-Мушкин.

— Не Пусин-Мушкин, а Мусин-Пушкин,— смеется генеральша.

«Ну, думаю, раз ты смеешься, значит ты из тех барынь!» — и отвечаю ей:

— Для меня все равно — хоть Пусин-Мушкин, хоть Мушкин-Пушкин. Лишь бы знак правильный,— и подаю ей календарь.

Она берет его, рассматривает со всех сторон и спрашивает, сколько стоит этот календарь. Отвечаю, сколько стоит календарь. Она забирает календарь, платит мне за него и, улыбаясь, прощается со мной. Это значит: добрый день!

Как вам нравится эта барыня? Не барыня, а золото! За нее уж могут подохнуть не три биржевика, а целых тридцать.

Итак, избавился от залежи, остался один календарь. Можно отправиться домой обедать.

Пообедал, отдохнул немного, и начинает меня снова червь грызть: верно, избавился почти от всей залежи, остался только один календарь. Но хочется избавиться и от последнего. Кому нужен старый календарь, «простроченный»? Да, надо его сбыть! Но как от него избавиться, если большая часть биржевиков уже «обеспечена» календарями?! Надо пройтись по городу еще раз.

И недолго думая забираю свой узелок и давай шагать, просто так, «вообще». А так как я уже привык к Ланжеронской и Екатерининской, ноги сами несут меня туда, где биржевики ботинки бьют. Куда же еще идти? Может, все-таки господь пошлет покупателя,— ведь всего один календарь!

Шатаюсь взад и вперед, как маятник, наблюдаю за биржевиками, как они шмыгают, точно затравленные мыши, добывая свой рублик,— каждый ищет какой-нибудь заработок.

Расхаживая вот так, я, между прочим, замечаю у Фанкони опять какого-то генерала и снова в эполетах. «Ну, думаю, вот был бы номер, если бы бог послал мне нового генерала, чтобы сбыть последний календарь!» И тут я начинаю подумывать: «А жаль, что у меня только один календарь! Да, если генералы начнут покупать еврейские календари, то уж могут подохнуть все биржевики со всей их биржей!»

Приглядываюсь получше и узнаю вдруг своего генерала. Я его, понимаете ли, сразу узнал. Но и он, по-видимому, узнал меня. Откуда это видно? Я заметил, как он вскочил со стула и ткнул пальцем прямо в меня.

Плохо! Что делать? Не хватает мне связаться с генералом! И я давай тут же двигать ногами. Но как двигать! Я уже наперед рассчитал, что таким ходом я в две минуты буду на третьей улице.

И вот что было дальше. Не прошло и полминуты, как я услышал за собой погоню: кто-то мчится сзади и кричит, чтобы я остановился. Кто это может быть? Неужели сам генерал? Вот так генерал! И ведь посмотрите, что творится! Человек продал лишний календарь на круглый год — и началось светопреставление. Генералы бегут за ним следом!.. Плохо! Что же делать? Припустить сильней? А вдруг он свистнет, и набегут городовые? Не хватало еще, чтобы меня арестовали! Остановиться? А вдруг он спохватился насчет второго календаря! Ведь генеральшу-то я обманул. Ладно, притворюсь, что ничего не знаю, я не я. Буду идти, как иду, ни бежать, ни плестись, как человек, занятый своим делом. А если нагонит и спросит, чего бегу, скажу, что это у меня такая походка.

Ну вот, он меня и нагнал. Скверно ведь, правда? Но послушайте, что может бог сделать. Раз нагнал — ничего не поделаешь, остановился. Оглядываюсь. Какой там генерал! Ничего подобного. Никакого генерала! Это человек из тех, что подают у Фанкони кофе. Под мышкой у него салфетка, и он поминутно отирает ею пот со лба.

— Тьфу, чтоб тебя! — заявил он, когда мы остановились. — Чего ты скачешь, как дикий козел? Пошли со мной, тебя генерал зовет!

— Какой генерал? — спрашиваю. — И откуда видно, что он зовет именно меня?

— Что значит, откуда видно? Я ведь не оглох. Он сказал: «Вон он идет, еврей с книжками. Беги и приведи его сюда!»

«Коли так, думаю, несчастье еще не велико. Ангел смерти миновал меня. Можно еще что-то придумать». В тот же миг в голове у меня мелькнула совершенно новая комбинация: «Стоп, может, бог сотворит чудо, и я прикончу здесь третий, самый последний мой календарь?»

Недолго думая я хлопнул себя рукою по лбу и даже сплюнул.

— Так и говори! — вскрикнул я. — Что ж ты сразу мне не сказал, что это тот генерал, с книжками?.. Странный генерал! С самого утра торгуется со мной из-за книжки. Измучил всего. Стоит она один рубль, а он дает полтинник. Уж я отдавал ему за семьдесят пять, за семьдесят, за шестьдесят копеек, чтобы все кончить. А он уперся — полтина и полтина! Если б это была не последняя книжка, накажи меня бог, не уступил бы и полушки. Но раз она последняя, вот видишь, давай сюда полтину и неси ему книжку!

. . . .

. . . .

Кто был этот генерал, как его зовут, я и по сей день не знаю. Но «полагать полагаю», что это не кто иной, как Толмачев. Иначе откуда бы взялась у него такая дикая злоба, такая ненависть к евреям «вообще» и особенно к еврейским разносчикам? Свой гнев он излил главным образом на нас, газетчиков и книгонош. Мы до сих пор не смеем носа высунуть на улицу с еврейской книжкой или с газетой, и их приходится продавать из-под полы, как какую-нибудь контрабанду или что-то краденое. Моим врагам и вашим врагам иметь бы так свой нос, как можно иметь заработок и жить с продажи еврейских газет из-под полы. Приходится приторговывать «интересными

открытками» из Парижа, поштучно или пакетами. Это теперь мой главный предмет дохода. Газеты я держу так просто, «вообще», «интересные открытки» здесь лучше идут. На них среди биржевиков гораздо больше охотников, чем на еврейские газеты. Ох-хо-хо!

Я знаю, что это «паскудство» и что бог накажет меня. Но что же делать? Еврей ищет какой-нибудь заработок, детки кушать просят... Нет, наверно, бог простит! Вынужден будет простить, а? Куда же ему деться? А ведь надвигаются гошайнорабо? Как вы думаете, простит?.. Чтоб оно свалилось ему на голову! Я говорю о нашем Толмачеве. Если б не он, — чтоб на него погибель! — я бы до сих пор торговал молитвенничками и календарями на круглый год, не носился бы с этой пакостью... Послушайте, а может, вы на них охотник? Совершенно новая партия! Только что из Парижа!..

ПРИМЕЧАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАССКАЗЫ

«Железнодорожные рассказы» — цикл новелл, написанных Шолом-Алейхемом в период с 1902 по 1910 год. Для «Юбилейного издания», печатавшегося в издательстве «Прогресс» (а позднее «Централь»), Варшава, 1909—1914, Шолом-Алейхем объединил эти рассказы в отдельной книге под общим названием «Железнодорожные истории (записки коммивояжера)» и предпослал ей предисловие, озаглавив его «К читателям».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стр. 7. *Где евреям жить запрещено...* — См. об этом во вступительной статье к т. 1 наст. изд., стр. 6.

«Жаргон» — тоже мне дело! — Еврейская буржуазия, сионисты считали еврейским национальным языком древнееврейский язык, язык библии, а тот еврейский язык («идиш»), на котором говорили народные массы, они презрительно называли «жаргон».

Стр. 8. *...боюсь я их, как Аман трещотки...* — то есть ни капельки не боюсь. В праздник пурим во время публичного чтения в синагоге библейской «Книги Эсфири» при упоминании имени «Аман» дети «убивают» его грохотом специальных трещоток и колотушек.

Меламед — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622.

Батлен — завсегдатай синагоги, проводящий время в словопрениях по толкованию священного писания. В данном случае меламед и батлен — презрительные клички людей, ничего не понимающих в житейских делах.

Рассказ № 1

«КОНКУРЕНТЫ»

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Ди найе велт» («Новый мир»), Варшава, 1909.

Рассказ № 2

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОДНЕ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 17. *Кущи* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 634.

Стр. 21. *...зажарить цыпленка на коровьем масле... стричь бороду, ходить с непокрытой головой...* — все это запрещено еврейской религией.

Стр. 22. *...это у него от призыва.* — Имеется в виду призыв в армию.

Рассказ № 3

СТАНЦИЯ БАРАНОВИЧИ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 28. *Пуришкевич* В. М. (1870—1920) — монархист, черносотенец. Был известен своими погромными, антисемитскими выступлениями в Государственной думе и в печати.

Азеф Е. Ф. (1869—1918) — один из лидеров партии эсеров и ее «боевой организации». В 1908 году был разоблачен как секретный сотрудник департамента полиции.

Стр. 29. *Хедер* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629.

Рассказ № 4

ПРИНЯТ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 40. *...с процентами да с циркулярами.* — Речь идет о существовавшей в царской России процентной норме для евреев при поступлении в средние и высшие учебные заведения. В годы реакции, наступившей после революции 1905—1907 годов, последовал ряд циркуляров, еще более ограничивших права евреев на образование.

Рассказ № 5

ЧЕЛОВЕК ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 47. *Кантор* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 624.

Стр. 48. *Наши предки в Египте...* — По библейской легенде, предки евреев, израильтяне, жили в древнем Египте, где были порабощены и подвергались жестокой эксплуатации.

Стр. 51. *Ротшильды* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 606.

Стр. 54. *Ешибот* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 658.

...со «Щитом Давида»... — См. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 604: «Могиндовид».

Рассказ № 6

МОГИЛЫ ПРЕДКОВ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 57. *Элул* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 662.

Стр. 60. *Арце Башес* (искаженное Арцыбашев М. П.) — писатель. В романе «Санин», как и в других своих произведениях, М. Арцыбашев выражает упадочнические настроения той части буржуазной интеллигенции, которая после 1905 года, разочаровавшись в революции, искала забвения в чувственных удовольствиях, нередко кончая жизнь самоубийством.

Стр. 61. *Началось это с аграрных волнений...* — Речь идет о крестьянских волнениях 1905—1906 годов.

Стр. 63. *«Слихес»* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 606.

Рассказ № 7

ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 66. *Поляков* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 635.

Стр. 67. *Бармицве* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

Рассказ № 8

ЧУДО В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ КУЩЕЙ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 69. *...после «приговора».* — Согласно еврейским религиозным верованиям, в седьмой день кущей на небесах объявляется

«приговор», определяющий судьбу каждого человека в наступающем году.

...как у отца в винограднике... — См. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 657.

Стр. 70. *...отбил гейшайнес...* — В синагоге после молитвы «гейшайнес» («осанна») молящиеся бьют пучками вербы (которые тоже называются «гейшайнес») о пол.

Стр. 71. *Кугл* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 627.

Рассказ № 9

БЫТЬ БЫ СВАДЬБЕ, ДА МУЗЫКИ НЕ НАШЛОСЬ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 78. *...во времена конституции...* — Речь идет о «конституции» 17 октября 1905 года.

Рассказ № 10

ТАЛЕСКОТН

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1909.

Стр. 84. *Талескотн* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Стр. 85. *...без шапки ходит... у молодух собственные волосы...* — Согласно закону еврейской религии, мужчина не имеет права ходить с непокрытой головой, а женщина с первого дня замужества должна стричь волосы.

Стр. 86. *...бреет бороду, курит по субботам* — все это запрещено еврейской религией.

Стр. 89. *Филактерии* (тефилн) — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Рассказ № 11

«ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ»

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дер момент», Варшава, 1910.

Стр. 93. *Толмачев* — генерал, был градоначальником, а одно время и генерал-губернатором г. Одессы (1907—1911), ярый черносотенец.

Стр. 97. *Ханука* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 599.

Рассказ № 12
ГИМНАЗИЯ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг» («Еврейская народная газета»), изд. «Фолкс-билдунг» («Народное просвещение»), Варшава, 1902.

Стр. 107. *...на букву «ять».* — До реформы русской орфографии (1917—1918) в русской азбуке существовала буква «ять», обозначавшая звук «е». Слова с буквой «ять» приходилось заучивать наизусть.

Стр. 114. *...имеются две кошки* — игра слов. Кац по-еврейски — кошка.

Стр. 115. *«Исав»* (нееврей) *«Яков»* (еврей). — По библейской мифологии, Исав и Яков — сыновья патриарха Исаака; Яков — родоначальник еврейского народа.

Койрах — то же, что Корей; см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 600.

...зубрить с ним «Закон божий»... — До революции в учебных заведениях был обязательным предметом «Закон божий» (православной церкви). Евреи были освобождены от его изучения.

Рассказ № 13
С ПРИЗЫВА

Впервые напечатано в еврейском еженедельнике «Дер юд» («Еврей»), 1902. Редакция журнала находилась в Варшаве, а печатался он за границей, так как в царской России не удалось получить разрешения на его издание.

Стр. 119. *Талес* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Тефилн — то же, что филактерии, см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Перворазрядник — пользующийся льготой по первому разряду, то есть имеющий освобождение от действительной военной службы.

...но зовут его Алтер... — Чтобы уберечь ребенка от «дурного глаза» или от «нечистой силы» и т. п., суеверные родители звали его не по имени, а «Алтер», что по-еврейски значит — старик.

Стр. 120. *...к нашему казенному раввину...* — См. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 616: «Казенный раввин».

Рассказ № 14

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ДОБРЫМ!

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1903.

Рассказ № 15

ПОГОРЕЛЕЦ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 148. *Талмудтора* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Рассказ № 16

НЕУДАЧНИК

Впервые напечатано в еврейском иллюстрированном еженедельнике «Дер штрал» («Луч»), Варшава, 1910.

Рассказ № 17

СУЖДЕНО НЕСЧАСТЬЕ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 164. *Пусть живет себе там сто двадцать лет...* — обычное еврейское пожелание долголетия.

Рассказ № 18

НАКОСЯ — ВЫКУСИ!

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1910.

Стр. 166. *Егупец* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622.

...у меня нет правожительства! — При царизме евреи, за исключением особо привилегированных лиц, не имели права жить в Киеве.

Стр. 167. *...словишь «проходное»...* — «Проходное свидетельство» выдавалось полицией взамен отобранного паспорта. В частности, его получали евреи, не имевшие права жить в данной местности. Давало право свободного проезда до места жительства.

Только бы не идти по этапу! — В данном случае — идти под стражей до места постоянного жительства.

Стр. 168. *Все дело в Бродском.* — См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629: «Бродский».

Рассказ № 19

ТРЕТЬИМ КЛАССОМ

Впервые напечатано под названием «Письма с пути» в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1902.

МОНОЛОГИ

Цикл рассказов, написанных в период с 1901 по 1916 год.

ГОРШОК

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 181. *Трефное* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Стр. 186. *...обет давала... «продавала» его, и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила...* — Согласно народному поверью, давать обет — значит давать обещание по выздоровлении больного пожертвовать определенную сумму денег на синагогу или на благотворительные дела; «продавать» или «выкупать» — означает жертвовать на благотворительные цели столько денежных единиц, сколько составляет в сумме числовое значение букв имени больного; прибавить имя — значит обмануть ангела смерти; в данном случае прибавлено имя Хаим (по-древнееврейски — жизнь).

Стр. 191. *...горшок... придется выкинуть!* — У правоверных евреев существует отдельная посуда для мясной пищи и для молочной. Если молочное попадает в мясное или наоборот (что запрещено еврейской религией), то пищу и посуду полагается выкинуть.

ГУСИ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 197. *Капорес* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 614.

Стр. 199. *Кошерный* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 608.

Стр. 200. *«Ценистов»* — искаж. сионистов; см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 601.

Стр. 203. *...и пишет по субботам...* — Религия запрещает евреям трудиться в субботу.

БЕЛАЯ ПТИЦА

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дер фрайнд» («Друг»), Петербург, 1904.

Стр. 205. *Швуэс* — то же, что пятидесятница; см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 633.

...не слушать звуков рога... — В день еврейского религиозного Нового года в синагоге трубят в бараний рог; слушать его звуки для всех верующих евреев является обязательным.

Цшокке Г. (1771—1848) — немецкий педагог и писатель, сочинения которого были весьма популярны среди еврейских просветителей XIX века.

Стр. 206. *Герцль* Т. — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 601. Вел дипломатические переговоры с турецким султаном, которому в то время была подчинена Палестина, а также с некоторыми европейскими монархами.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИМЕС

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 211. *Цимес* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 600.

Стр. 212. *Бунимович* — виленский банкир.

Стр. 213. *Любавичская синагога* — синагога приверженцев любавичского цадика (вождя хасидов, проживавшего в местечке Любавичи бывшей Могилевской губернии).

Сирота — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 611.

...кормится за счет Двойры-Эстер — то есть в столовой благотворительного общества имени Двойры-Эстер.

Стр. 214. *...в шалаше* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 668: «...построил здесь кущу».

ЯИЧНИЦА БОГАЧА

Впервые напечатано после смерти писателя в сборнике «Миникес иомтевблат» («Праздничная газета Миникеса»), Нью-Йорк, 1921.

ЗА СОВЕТОМ

Впервые напечатано в еврейской еженедельной газете «Дер тог» («День»), Петербург, 1904.

Стр. 222. *...для города Кишинева... дал больше всех.* — То есть пожертвовал в пользу пострадавших от погрома. См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 634.

У ДОКТОРА

Впервые напечатано под названием «Человек с желудком» в газете «Дер тог», Петербург, 1904.

Стр. 236. *...имею долю в откупе коробочного сбора...* — См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 633: «Коробочный сбор».

ИОСИФ

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дер вег» («Путь»), Варшава, 1905.

Стр. 242. *...хрюкающего* — то есть свинины, которая предписаниями еврейской религии запрещена к употреблению в пищу.

Стр. 246. *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократии.

ХАВНО

Впервые напечатано в еврейском ежемесячном литературно-общественном журнале «Ди юдише цукунфт» («Еврейская будущность»), Краков, 1905.

Стр. 259. *Территориализм* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 601.

Ахадгаамизм, клойзнеризм — разные направления в сионизме.

Стр. 261. *...носить с собой в субботу деньги* — запрещено предписаниями еврейской религии.

Стр. 265. *«Кидеш»* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

«Змирес» — хвалебное субботнее песнопение во время трапезы.

Стр. 266. *«Гавдола»* — молитва на исходе субботы.

ВРАКИ

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дос тогблат» («Ежедневная газета»), Львов, 1906.

Стр. 272. *Особая маца* — маца из тщательно оберегаемой от влаги пшеницы.

Стр. 274. *...он сам произнес молитву: «Благословен сотворивший огненные светила».* — В данном случае имеется в виду, что персонаж рассказа сам поджег свой дом.

ТРИ ВДОВЫ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1907.

Стр. 292. *...книга Иова* — одна из библейских книг, которую рекомендуется читать в дни траура по близкому покойнику, когда всякое иное чтение запрещено.

Стр. 297. *Бисмарк* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 628.

Стр. 301. *Бундовец* — член еврейской мелкобуржуазной националистической партии «Бунд», идейно близкой меньшевикам.

Стр. 303. *Кант* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 671.

Спиноза — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист, идеолог наиболее реакционных кругов прусского юнкерства.

Спенсер Герберт — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 615.

С РИВЬЕРЫ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1910.

ГИТЛ ПУРИШКЕВИЧ

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Хайнт» («Сегодня»), Варшава, 1911.

Стр. 314. *Высоцкий* — владелец известной в дореволюционной России крупной фирмы по торговле чаем.

Стр. 319. *Пергамент* — депутат II и III Государственных дум, член буржуазной кадетской партии.

Стр. 320. *Ниселович и Фридман...* — депутаты III Государственной думы, члены кадетской партии.

Стр. 322. *...требуется кровь на пасху.* — См. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 617: «Процесс Менделя Бейлиса».

ДОКТОРА́

Впервые напечатано в сборнике «Дер журналист» («Журналист»), Варшава, 1912.

МИСТЕР ГРИН НАХОДИТ ЗАНЯТИЕ

Впервые напечатано в газете «Дер тог», Нью-Йорк, 1915.

Стр. 327. *Джейкоб Шиф, Нейтан Штраус, Гери Фишл* — американские банкиры.

Стр. 329. *Даунтаун* — часть Нью-Йорка, лежащая в низине.

Стр. 330. *Аптаун* — часть Нью-Йорка, лежащая на возвышенности.

ИСТОРИЯ С «ЗЕЛЕНЫМ»

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Ди вархайт» («Правда»), Нью-Йорк, 1916.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОЖИК

Впервые напечатано в еврейском еженедельнике «Идишес фолксблат» («Еврейская народная газета»), Петербург, 1887.

«Ножик» — первое произведение Шолом-Алейхема, на которое откликнулась литературная критика, предвещая блестящую будущность молодому таланту.

О том, как был написан рассказ «Ножик», Шолом-Алейхем сообщил в «Сведениях к моей биографии», посланных И. Х. Равницкому в 1903 году: «...приехал я в большой город по разным крупным делам и, устав за день, лег спать, но никак не мог уснуть. Тогда я встал, присел к письменному столу и написал,

не написал, а излил одну вещь, воспоминание о годах, проведенных в хедере, и назвал это «Ножик», и послал в редакцию...»

Стр. 342. *Пятикнижие* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 661.

Талмуд — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 611.

«Бык, который боднул корову...» — глава из талмудического трактата по разделу гражданского права.

Стр. 344. *...настоящий «завьяловский».* — До революции фирма Завьялова считалась лучшей по изготовлению ножей.

«Болок» — название одного из разделов Пятикнижия.

Стр. 351. *...позарился на кружку Меера-чудотворца...* — См. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 612: «Кружка Меера-чудотворца».

ФЛАЖОК

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1900.

Стр. 357. *Праздник торы* — то же, что «Симхес-тойре», см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 604.

Стр. 363. *Лагбоймер* — еврейский религиозный праздник (тридцать третий день после второго дня пасхи). В этот день дети, обучавшиеся в хедерах, выходили с учителями за город, играли и устраивали в складчину пирушки.

Стр. 365. *Моисей и Аарон* — библейские персонажи, пророк Моисей и первосвященник Аарон (брат Моисея).

Стр. 366. *...к хакофам...* — См. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 615: «Гакофес».

ХАНУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1900.

Стр. 372. *Ханукальные деньги.* — В праздник ханука принято было дарить детям небольшие суммы денег для игры в карты или юлу.

Ханукальная лампада. — В праздник ханука было принято зажигать так называемые ханукальные свечи в нарастающем порядке (в первый день — одну свечу, во второй — две и т. д.). Для этой цели существовала «ханукальная лампада» — восьмисвечник.

Стр. 377. *«Ашер-Йоцер»* — начальное слово молитвы.

Стр. 379. *«Шиши»* (шестой). — Чтение или присутствие при чтении шестого отрывка положенного раздела Пятикнижия считалось большой честью.

«Мафтир» — чтение одной из глав «Пророки». Считалось еще большей честью, чем чтение «Шиши».

Стр. 380. *Гилдойн* (гульден) — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613: «Восемнадцать гульденов за «койген».

Стр. 384. *Бадхн* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622.

ЧАСЫ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1900.

Стр. 388. *...женское отделение синагоги...* — обычно помещалось на втором этаже, над приделами.

У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 395. *Артаксеркс* — имя персидского царя в библейской книге «Эсфирь». Сюжет этой книги переработан в народное представление. В данном рассказе речь идет о любителе, представлявшем царя Артаксеркса.

Мордехай — привратник царя Артаксеркса.

Вашти — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 605.

Эсфирь — вторая жена Артаксеркса.

Аман — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 603: «Сущий Аман».

Стр. 396. *Иосиф-прекрасный* — персонаж из народного представления «Продажа Иосифа» на сюжет библейской легенды об Иосифе-прекрасном.

Стр. 398. *Не один, не два...* — Согласно народному поверью, при счете живых людей необходимо прибавлять перед каждым числом слово «не» во избежание «сглаза».

Стр. 400. *Мемухон* — советник царя в книге «Эсфирь». В народном представлении — царский гонец.

Стр. 401. *Мондриш* — имеется в виду Мордехай (см. прим. к стр. 395).

ОМРАЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 412. *Мезуза* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

Стр. 417. *Четыре вопроса.* — Во время вечерней пасхальной трапезы при чтении «Сказания о пасхе» («Хагоде») сын задает отцу (по тексту «Хагоде») «четыре вопроса» о значении и обрядах праздника пасхи; в ответ на эти вопросы следует чтение «Сказания».

«Хомец» — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 667: *«...к хомецу».*

...четыре бокала вина... — Согласно ритуалу пасхальной трапезы, положено выпить четыре бокала вина.

РЯБЧИК

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1901.

МАФУСАЛ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 438. *Мафусал* — библейский персонаж из мифа о первых поколениях людей на земле. Жил якобы больше всех — 969 лет.

СКРИПКА

Впервые напечатано в еврейском ежемесячном журнале «Ди юдише фамилие» («Еврейская семья»), Варшава, 1902.

Стр. 454. *Тувал-Каин, Мафусаил* — библейские персонажи. Согласно библейской мифологии, первым человеком, игравшим на музыкальном инструменте, был Иувал. Безбородько спутал этот мифологический образ с другими персонажами.

Царь Давид — библейский царь, который играл на музыкальном инструменте.

...Паганини его звали, тоже еврей. — Паганини Николо (1782—1840) — великий скрипач и композитор. Итальянец.

Стр. 458. *...солила мясо...* — Законом еврейской религии запрещено есть мясо, из которого не удалена кровь, поэтому всякое мясо до варки должно быть как следует вымочено и просолено.

ЦИТРУС

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолксцайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 468. *Цитрус* — то же, что эсрог — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 658. Самым лучшим считался эсрог «корфинский» (с острова Корфу). Имеет сосцевидную головку («питем»). Эсрог, потерявший головку, считается негодным.

Стр. 470. *...служит в проекте кассиром.* — Проект — контора откупщика коробочного сбора.

Стр. 474. *...первый раздел «Бытия»...* — «Бытие» — первая книга «Пятикнижия Моисеева», в третьей главе которой изложен библейский миф о «грехопадении».

ЗЕЛЕНЬ К ПРАЗДНИКУ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолксцайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 482. *Голиаф* — библейский персонаж, филистимлянский богатырь, убитый Давидом, ставшим впоследствии царем древнего Израиля.

ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

ПЕСЕЛЕ, ДОЧЬ РЕБЕ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

Стр. 494. *«Короткая пятница»* — пятница в самые короткие зимние дни.

«Великая суббота» — последняя суббота перед пасхой.

Стр 497. *Колбойник* — от древнееврейских слов «кол бой» — «все в нем» (здесь имеется в виду коробейник, имевший самый разнообразный товар).

Стр. 500. *...собрался миньен...* — десять евреев не моложе тринадцати лет.

...составили тноим... (условия) — письменное соглашение при помолвке перед браком. В этот акт включаются данные о приданом, о подарках и проч.

УБОГАЯ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

Стр. 505. *Ципойр-Бен-Болок* — перестановка имени и отчества библейского персонажа «Болок-Бен-Ципойр» (Болок сын Ципойра); ципойр по-древнееврейски — птица.

Стр. 510. *...сидеть «шиве»* (семь) — По еврейской религиозной традиции, ближайшие родственники покойника должны справлять траур в течение семи дней. Основной внешний вид траура — сидение на полу без обуви.

Стр. 513. *...поет на манер койгенов.* — Койген — якобы потомок жрецов, благословляющий паству во время религиозных праздников особым напевом.

ЮЛА

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

Стр. 534. *...семь коров...* — библейская легенда о сне египетского фараона в «Сказании об Иосифе-прекрасном».

Кадеш — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 598.

ШАЛАШ—ЛУЧШЕ НЕ НАДО!

Впервые напечатано под названием «Мойше — лучше и не надо!» в ежедневной газете «Дер тог», Петербург, 1904.

Стр. 538. *...накануне рошешона...* — накануне Нового года по еврейскому религиозному календарю.

Стр. 539. *Десять дней покаяния* — так называется промежуток времени с Нового года по Судный день.

Стр. 542. *«Грозные дни»* — еврейские религиозные праздники Новый год и Судный день.

Стр. 543. *Рахиль, Авигаил, царица Савская, Эсфирь* — женщины-красавицы, упоминаемые в библии.

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Впервые напечатано в газете «Дер тог», Петербург, 1904.

Стр. 547. *...с великолепным «востоком»...* — См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 632: «...с размалеванным «востоком».

Стр. 551. *«Рамбам»* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 605.

«Кузари» — религиозно-философское произведение известного еврейского средневекового поэта Иегуды Галеви (род. между 1080—1086, ум. около 1142).

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ КОРОЛЕЙ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 563. *Харойсес* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 669.

Не было в доме короля! — Мужчину, главу семьи, справляющего вечернюю пасхальную трапезу, называют в народе «королем».

Стр. 565. *Глубоко в земле лежат и баранки пекут.* — Еврейская поговорка; применяется к человеку, у которого плохи дела.

Стр. 567. *«Рабами мы были»* — начальные слова «Сказания о пасхе».

Стр. 568. *Тишебов* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 606.

ГЕЦЛ

Впервые напечатано под названием «История с орехами» в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 571. *Раши* — здесь: название комментария к библии.

ТРАПЕЗА

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Ди цайт» («Время»), Вильно, 1906.

ТРИ ГОЛОВКИ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1908.

Стр. 592. *Гошайнорабо* — седьмой день праздника кущей.

ЧЕТА

Впервые напечатано под названием «Чета к пасхе» в сборнике «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема», Одесса, 1909.

РАЗБОЙНИКИ

Впервые напечатано в сборнике «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема», Одесса, 1909.

ЭСФИРЬ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1910.

ПАСХА В ДЕРЕВНЕ

Впервые напечатано в газете «Ди найе велт», Варшава, 1910.

Стр. 633. *...гонения на евреев.* — Имеется в виду выселение евреев из сел и деревень, проводившееся царским правительством.

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ

АМАН И ЕГО ДОЧЕРИ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

Стр. 649. *«Песнь песней».* — Речь идет о библейской книге «Песнь песней», высокохудожественной лирической поэме о любви девушки из народа Суламифи к молодому пастуху, написанной около двух с половиной тысяч лет тому назад. Никакой «святости», конечно, в этой книге нет, вопреки утверждениям приверженцев иудаизма и христианства.

ПРАЗДНИК ТОРЫ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолксцайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 657. *Шмини-ацерес* — восьмой день праздника кущей.

НОВОСТЕЙ НИКАКИХ...

Впервые напечатано под названием «Два поздравительных письма к Новому году» в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1907.

Стр. 659. *Крушеван* П. А. — один из главарей черносотенного «Союза русского народа» (редактор-издатель кишиневских газет «Бессарабец» и «Друг», в которых вел антисемитскую агитацию, содействовавшую разразившемуся в 1903 году еврейскому погрому в Кишиневе. Не был ни председателем IV Думы, ни даже депутатом). Стал нарицательным именем черносотенца, погромщика.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Повесть «Песнь песней» написана Шолом-Алейхемом в 1909—1911 годах. Первые две части впервые напечатаны в газете «Дер фрайнд» (Варшава, 1909) под названиями «Страничка песни песней» и «Еще страничка песни песней». Следующие две части печатались впервые в 1911 году: третья часть — в еврейском еженедельнике «Дер американер» («Американец»), Нью-Йорк, под названием «Эта пасхальная ночь», четвертая часть — в нью-йоркской еврейской газете «Юдишес тагеблат» («Ежедневная еврейская газета») под названием «Суббота после швуэс».

Стр. 669. *Каббала* (предание) — еврейское религиозно-мистическое учение, возникшее в средние века.

Стр. 679. *Александр Македонский* (356—323 гг. до н. э.) — полководец и государственный деятель древнего мира, царь Македонии. В своих завоевательных походах разбил персов, захватив всю Малую Азию и Египет, проник в Западную Индию. Попутно Александр Македонский освободил Иудею из-под персидского ига. В еврейском народе о нем сложилось много легенд.

Стр. 694. *...«принцесса» крала у «его величества» из-под подушки традиционный опреснок...* — См. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 599: «Украдет у него мацу из-под подушки».

БЛИНЧИКИ

Впервые напечатано в газете «Хайнт», Варшава, 1909.

Стр. 713. *«Кошер».* — Надпись «кошер» еврейскими буквами делалась на вывесках столовых, ресторанов и гостиниц, где пища готовилась в соответствии с законами еврейской религии.

Стр. 730. *...жена Лота превратилась в соляной столб...* — Ссылка на библейскую легенду о жене Лота, которую бог за неповиновение превратил в соляной столб.

КАРТЫ

Впервые напечатано в газете «Хайнт», Варшава, 1913.

Стр. 733. *Стендер* — род пюпитра в синагогах, на который молящиеся кладут молитвенники.

Стр. 734. *Дайен* (судья) — помощник раввина.

Стр. 735. *...в дни «сефире»...* — промежуток времени между праздниками пасхи и пятидесятницы (швуэс), равен семи неделям, начиная со второго дня пасхи. В это время по еврейской традиции, воспрещаются всякие увеселения, запрещено также и стричься.

Стр. 736. *«Постные дни»* — три недели между постами «17 тамуза» и «9 аба»; в это время запрещено употреблять всякую мясную пищу.

Стр. 738. *Штраймл* — раввинская шапка с околышем из пышного меха.

Стр. 739. *...внук Баалшема* — см. прим. к т. 4 наст. изд., стр. 660.

Габе — в данном случае: «адъютант», помощник, прислужник (у хасидского цадика).

Стр. 746. *...то поклонились они идолу»...* — Речь идет о библейских персонажах, брошенных в огонь за то, что они не пожелали поклониться идолу.

...трефную колбасу из с[винины] — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 605: «Трефное мясо».

ТРИ КАЛЕНДАРЯ

Впервые напечатано в газете «Хайнт», Варшава, 1913.

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАССКАЗЫ

(Записки коммивояжера)

МОНОЛОГИ

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собр. соч., т. 5.

Редакторы *М. Беленький и Г. Фальк*
Художеств. редактор *Г. Кудрявцев*
Техническ. редактор *Г. Каунина*
Корректоры
А. Шлейфер и Г. Сурис

Сдано в набор 16/II 1960 г. Подписано к печати 11/VIII 1960 г. Бумага 84×108[1]/32. 24,5 печ. л.=40,18 усл. печ. л. 34,85 уч.-изд. л. Тираж 225 000. Заказ № 435. Цена 1 р. 21 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

1 р. 21 к.


ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ
5